

Семья Поланецких. Генрик Сенкевич

ГЛАВА I

Был час пополудни, когда Поланецкий подъезжал к кшеменьской усадьбе. В детстве он дважды бывал там на каникулах с матерью, дальней родственницей первой жены нынешнего владельца Кшеменя, и теперь пытался припомнить эти места, но давалось ему это с трудом. Ночью, при луне, все принимало иные очертания. Над кустарником, лугами и пашней низко стлался белесый туман, преображая все в безбрежное озеро, и впечатление это усиливалось благодаря дружному лягушачьему кваканью. Была ясная, лунная июльская ночь. По временам, когда умолкали лягушки, с росистых лугов доносился крик дергачей, а на заболоченных прудах за ольховником изредка, будто из-под земли, ухала выпь.

Поланецкий не мог не поддаться очарованию этой ночи. От нее повеяло на него чем-то родным, близким, и близость эту ощущал он тем сильнее, что давно не был здесь, всего два года как вернувшись домой из-за границы, где провел раннюю молодость и занимался коммерцией. И, подъезжая сейчас к спящей деревне, он вспомнил детство, мать, которой уже пять лет не было в живых, и все огорчения и беды той далекой поры показались сущими пустяками по сравнению с теперешними.

Наконец бричка въехала в деревню. У околицы на бугре стоял сильно покосившийся крест, готовый вот-вот упасть. Поланецкий помнил этот крест: здесь когда-то зарыли человека, который повесился в ближнем лесу, и люди долго боялись потом проходить ночью мимо.

За крестом начинались первые хаты. Но в деревне все уже спали. Ни одного оконца не светилось, лишь, насколько хватал глаз, в лунном сиянии купались кровли, казавшиеся на фоне ночного неба серебристо-белыми. Стены мазанок отсвечивали бледно-зеленым, иные же, в гуще вишневых садов, за высокими подсолнухами или тычковой фасолью, совсем тонули в тени. Во дворах тявкали собаки но сонно, как бы вторя вразнобой отдаленному кваканью лягушек, крикам выпы, дергачей и всем тем звукам, которые полнят летнюю ночь, лишь усиливая впечатление тишины.

Медленно катившаяся по рыхлой песчаной дороге бричка въехала в темную аллею, испещренную бликами лунного света, проникавшего сквозь листву. Слышно стало, как пересвистываются ночные сторожа. В конце аллеи белел дом, несколько окон еще светились. На стук колес на крыльцо выбежал мальчик и помог Поланецкому вылезти. Подошел и ночной сторож с двумя белыми дворнягами, как видно, молодыми и добрыми: вместо лая обе принялись ластиться к приезжему, прыгая на него и так бурно выражая свою радость, что сторож палкой вынужден был умерить их пыл.

Мальчик вынес вещи из брички, и спустя мгновение Поланецкий очутился в столовой, где его ждал накрытый к чаю стол. У одной стены стоял ореховый буфет, рядом с ним – часы с массивными гириями и кукушкой. На другой стене висело два скверных портрета, изображавших дам в нарядах восемнадцатого века; посередине стоял стол под белой скатертью, вокруг него – стулья с высокими спинками. Ярко освещенная комната с кипящим самоваром, от которого подымался пар, выглядела уютно и приветливо.

Поланецкий стал прохаживаться вдоль стола, но сапоги слишком резко скрипели в этой тишине, и он подошел к окну, глядя на залитый луной двор, где встретившие его так радостно белые дворняжки гонялись теперь друг за дружкой.

Немного погодя дверь из соседней комнаты отворилась, и вошла молоденькая девушка

- дочь владельца имения от второго брака, как догадался Поланецкий. При ее появлении он отошел от окна и, приблизившись в своих скрипучих сапогах к столу, поклонился и представился.
- Мы из телеграммы узнали о вашем приезде, – проговорила, протягивая ему руку, девушка. – Отец уже лег, ему нездоровится, но завтра он будет рад вас видеть.
- Извините, что так поздно, – ответил Поланецкий, – но поезд приходит в Чернев только в одиннадцать часов.
- И до Кшеменя еще две версты. Отец говорит, вы здесь бывали раньше.
- Да, приезжал матерью, когда вас еще на свете не было.
- Знаю. Вы – папин родственник.
- Собственно, родственник первой жены пана Плавицкого.
- Родственными связями отец очень дорожит, даже самыми дальними.

Она стала наливать чай, другой рукой отгоняя от самовара пар, который застилал ей глаза. Разговор прервался, слышалось только тиканье часов. Поланецкий, который интересовался молодыми женщинами, стал присматриваться к ней. Среднего роста, довольно стройная, темноволосая, с тронутым загаром, кротким, но как бы угасшим лицом. Голубые глаза и красиво очерченный рот.

Судя по лицу, нрава она была спокойного и мягкого. «Не красавица, но и не дурнушка», – подумал Поланецкий. Во всяком случае, мила и, наверное, добра, – за этой довольно заурядной внешностью должно скрываться множество добродетелей, присущих обычно деревенским барышням. Хотя он был еще молод, жизнь успела его научить, что мужчины при ближайшем знакомстве, как правило, проигрывают, а женщины выигрывают. Он слышал также, что все имение, правда, крайне расстроенное, лежит на панне Плавицкой и ей вечно некогда. Однако, несмотря на обременяющие ее заботы, казалась она спокойной и приветливой. «Наверно, ей спать хочется», – подумал он, заметив, что она невольно щурится при ярком свете висячей лампы.

Итог наблюдений был бы совсем положительный, если бы не обрывавшийся то и дело разговор. Впрочем, ведь она видела его впервые. И кроме того, сама его принимала – нелегкое дело для молодой девушки. Наконец, она догадывалась, что Поланецкий приехал не в гости, а за деньгами. Так оно, кстати, и было. Много лет назад мать его дала в долг двадцать с лишним тысяч под залог Кшеменя, и Поланецкий хотел теперь получить их обратно. Во-первых, проценты платились ему донельзя неаккуратно; во-вторых, будучи компаньоном торгового дома в Варшаве, он нуждался в капитале для заключения сделок. И он заранее дал себе слово ни на какие уступки не идти и любой ценой добиться своего. В делах такого рода он всегда старался быть твердым и непреклонным. Возможно, он не был таким по натуре, но возвел непреклонность в принцип, от которого не отступал из самолюбия. В результате он часто ставил себя в ложное положение, как это бывает с людьми, которые руководствуются в жизни придуманным для себя идеалом.

И сейчас, глядя на эту милую, сонную девушку, Поланецкий твердил себе, вопреки шевельнувшейся у него симпатии: «Все это очень мило, но вы мне все равно заплатите».

– Я слышал, – сказал он, помолчав, – что все дела по имению лежат на вас. Вы любите заниматься хозяйством?

– Я люблю Кшемень, – отвечала она.

– И я тоже любил в детстве. Но хозяйством заниматься... Уж больно условия сейчас неблагоприятные.

– Да, верно... Но мы делаем все, что в наших силах.

– То есть вы делаете все, что в ваших силах.

– Я помогаю отцу, он часто хворает.

– Я не знаток по этой части, но из того, что вижу и слышу, прихожу к выводу, что положение помещиков едва ли изменится к лучшему в ближайшем будущем.

– Мы уповаем на провидение.

– Это никому не возбраняется, но кредиторов к нему не отошлешь.

Она покраснела, и наступило неловкое молчание.

«Начал, так продолжай», – сказал себе Поланецкий и произнес вслух:

– Разрешите объяснить цель моего приезда.

Во взгляде, каким посмотрела на него девушка, можно было прочесть: «Ты ведь только что приехал, время уже позднее, и я с ног валяюсь от усталости, неужели же самая простая вежливость не подсказывает тебе отложить этот разговор?»

– Я знаю, зачем вы приехали, – сказала она. – Но, может, вам лучше поговорить с отцом?

– Хорошо. Простите меня, – произнес Поланецкий.

– Это мне надо просить прощения, а не вам. Каждый вправе требовать своего, к этому я привыкла. Но сегодня суббота, а в субботу всегда пропасть дел. И потом, понимаете, в делах такого рода... По мелочам я иной раз сама все улаживаю с евреями... Но в этом случае я бы предпочла, чтобы вы поговорили с папой. Так будет лучше для вас и для меня.

– Итак, до завтра, – сказал Поланецкий; у него язык не повернулся признаться, что в денежных вопросах он предпочитает, чтобы между ним и евреями не проводили никакой разницы.

– Разрешите налить вам еще чаю. – Нет, спасибо. Спокойной ночи.

Он встал и протянул ей руку; девушка подала свою значительно сдержанней, чем при встрече, едва коснувшись кончиков его пальцев.

– Мальчик вас проводит в вашу комнату...

Поланецкий остался один. Он испытывал некоторую неловкость и был недоволен собой, хотя не хотел себе в этом признаться. И стал даже себя уверять, что поступил совершенно правильно. Ведь он же за деньгами приехал сюда, а не любезностями обмениваться. Какое ему, собственно, дело до панны Плавицкой? Не детей с ней крестить. Грубияном его сочла, что ж, тем лучше: нахрапистого кредитора побыстрее стараются удовлетворить.

Недовольство собой было, однако, сильнее доводов рассудка. Внутренний голос шептал Поланецкому, что дело тут не в вежливости, а в сочувствии к усталой женщине. Он чувствовал: его бесцеремонность – поза, и он поступает так вопреки велению сердца и своим врожденным склонностям. Злился он и на панну Плавицкую, тем более что она ему понравилась. От девушки этой, как и от спящей деревушки, от лунной ночи, повеяло на него чем-то бесконечно близким, чего тщетно искал он в женщинах за границей и что сверх всяких ожиданий его растрогало. Но мы часто стыдимся своих душевных порывов. И Поланецкий устыдился, что вдруг расчувствовался, решив быть неумолимым и, невзирая ни на что, припереть завтра к стенке старика Плавицкого.

Мальчик провел его в спальню. Сразу же отпустив его, Поланецкий остался один. Это была та самая комната, в которой он останавливался, приезжая сюда с матерью еще при жизни первой жены Плавицкого. И его вновь обступили воспоминания. Окна выходили в сад, за садом был пруд, в котором отражалась луна. Пруд был виден лучше, чем в прошлые времена: тогда его заслонял могучий старый ясень, поваленный, наверно, бурей, – на том месте торчал теперь лишь обломанный ствол. Свежий облом особенно ярко сверкал в лунном свете. И все это дышало безграничным спокойствием. На Поланецкого, который жил в городе и занимался коммерцией, пребывая в вечной тревоге, вечном напряжении, умственном и физическом, окружившая его сельская тишина подействовала, как теплая ванна после изнурительного труда. И на душе у него стало легко. Он попытался было вернуться мыслями к делам, подумать, какой они примут оборот, принесут прибыль или убыток, вспомнить, наконец, о Бигеле, своем компаньоне, – как-то он там управляется без него; но не смог. И вместо этого стал думать о панне Плавицкой. Хотя она произвела на него хорошее впечатление, но как женщина оставила равнодушным, заинтересовав лишь как определенный человеческий тип, – быть может, оттого, что они едва успели познакомиться. Было ему тридцать с-небольшим, возраст, когда инстинкт с неумолимой силой толкает мужчину создать домашний очаг, обзавестись женой и потомством. Даже самый отчаянный пессимизм отступает перед этим инстинктом, от которого не спасают ни искусство, ни любая другая жизненная задача. В конце концов, вопреки своей философии, женятся и мизантропы, женятся, невзирая на искусство, и натуры артистические, равно как все, утверждающие, что целиком посвятили себя какой-либо цели. Нельзя жить лицемерно обманывая естественные влечения, и исключения лишь подтверждают это правило. Не женятся обычно лишь те, кому помешала та самая сила, которая связует взаимными узами, а именно обманувшиеся в любви. Поэтому жизнь старого холостяка если не всегда, то зачастую таит какую-нибудь трагедию.

Поланецкий не был ни мизантропом, ни сторонником теории безбрачия. Напротив, он хотел и считал, что должен жениться. Он чувствовал, что время его подошло, и подыскивал себе пару. Этим объяснялось его повышенное внимание к женщинам и особенно к девушкам. И, проведя несколько лет во Франции и Бельгии, связей с замужними женщинами он не искал, разве что с очень уж податливыми. Человек энергичный и деятельный, он полагал, что заводить романы с замужними женщинами могут себе позволить разве бездельники и что вообще волокитство процветает там, где у людей избыток денег, недостаток порядочности и отсутствие занятий, то есть

в обществе, где издавна существует имущее сословие, погрязшее в изощренной праздности, а стало быть, и развращенности. Поскольку сам он был занят и любовь для него связывалась прежде всего с мыслью о женитьбе, его как нравственно, так и физически влекли женщины незамужние. Знакомясь с девушкой, он тотчас задавался вопросом: «Может, она?», или «Может, такая вот?» И сейчас из головы у него не выходила панна Плавицкая. Еще раньше от родственницы ее, живущей в Варшаве, он слышал о ней много хорошего и даже трогательного. И перед глазами у него возникло ее спокойное доброе лицо. Вспомнились и ее слегка загорелые, но красивые, с длинными пальцами руки, и голубые глаза, и родимое пятнышко над верхней губой. И голос у нее тоже был приятный. И хотя он упорно повторял себе, что ни на какие уступки не пойдет и добьется своего, его огорчало, что в Кшемень судьба его привела в роли кредитора. «Товар-то хорош, – выражаясь торгашеским языком, говорил он себе, – но не за тем я ехал сюда, так нечего на него и пялиться».

И однако же «пялился» – и даже раздевшись и улегшись, все никак не мог уснуть. Уже запели петухи, в окна заглянул рассвет, а Поланецкому, как крепко ни зажмурился он, все виделись гладкий лоб панны Плавицкой, родинка над губой, руки, разливающие чай. И в сонном забытии, которое наконец овладело им, представилось, будто он берет эти руки в свои и притягивает к себе панну Плавицкую. Проснулся он на другой день поздно и, вспомнив девушку опять, подумал: «Так, значит, вот она какая!»

ГЛАВА II

Проснулся он, собственно, разбуженный мальчиком, который принес кофе и взял почистить его платье. Когда он вернулся, Поланецкий спросил, разве в доме не принято к завтраку всем сходиться в столовой.

- Нет, – ответил тот, – барышня встает рано, а старый пан спит допоздна.
- А барышня встала уже?
- Она в костеле.
- Ах, верно, сегодня же воскресенье. А разве барышня не с отцом ездит в костел?
- Нет, она к заутрене ездит, а старый барин – к поздней обедне, а потом еще у ксендза сидит.
- А по воскресеньям что делают господа?
- Дома сидят. К обеду пан Гонтовский приезжает.

Поланецкий помнил Гонтовского толстым, нескладным и угрюмым мальчиком, прозванным им «медвежонком». Отец Гонтовского, рассказывал казачок, лет шесть как помер, молодой барин теперь полновластный хозяин Ялбжикова.

- И каждое воскресенье здесь бывает?
- Иной раз и в будни навещается, по вечерам.

«Жених!» – промелькнуло в голове у Поланецкого.

– А что, барин уже встал? – спросил он немного погодя.

– Должно, звонил, коли Юзеф к нему пошел.

– Какой Юзеф?

– Камердинер.

– А ты кто?

– Я помощник его.

– Так ступай спроси, когда барин может меня принять.

Казачок вышел и вскоре вернулся.

– Барин велели сказать, что попросят вас, когда оденутся.

С тем он удалился. Поланецкий довольно долго прождал, вернее, проскучал в одиночестве. Когда ждать стало уже невтерпеж, он встал было, решив прогуляться, но вошел тот самый Юзеф и доложил, что старый пан просит его.

Через сени провел он его в комнату на другом конце дома. В первую минуту Поланецкий не узнал Плавицкого. Он помнил его весьма видным мужчиной в расцвете сил, а сейчас перед ним стоял старик со сморщенным, как печеное яблоко, лицом; не молодили его и крашенные усики. Как и черные, с боковым пробором волосы, они указывали лишь, что в нем еще не совсем угас интерес к своей особе.

– Стах! Как поживаешь, дорогой мальчик? – воскликнул Плавицкий, раскрывая объятия, и прибавил, указывая на свой белый жилет: – Поди ко мне!

Он прижал голову Поланецкого к своей груди, которая приподнималась от прерывистого дыхания.

Объятие было долгим, для Поланецкого – даже чересчур.

– Дай на тебя взглянуть, – проговорил наконец старик. – Копия, точная копия Анны! Бедная, дорогая Анна!

Плавицкий всхлипнул и безмянным пальцем притронулся к правому веку, словно желая смахнуть несуществующую слезу.

– Точная копия Анны! – повторил он. – Из всех родных самой преданной, самой расположенной ко мне была твоя мать.

Поланецкий стоял, несколько сконфуженный и одуревший от неожиданного приема и запаха фиксатуара, пудры и разных духов, которыми благоухало лицо, усы и жилет Плавицкого.

– А вы как поживаете, дядюшка? – спросил он наконец, полагая, что это обращение времен его детства больше всего соответствует торжественности момента.

– Как я поживаю? – переспросил Плавицкий. – Да недолго уж осталось мне поживать на этом свете! Недолго! Потому и рад я тебе... По-отечески рад... что вижу тебя в своем доме. И если благословение человека, стоящего на краю могилы, благословение старшего в семье что-нибудь значит в твоих глазах, я тебя благословляю.

И, прижав снова к груди голову Поланецкого, он поцеловал его и перекрестил. Молодой человек растерялся еще больше, и на лице его выразилась досада. Мать его была родственницей и подругой первой жены Плавицкого. Но с ним, насколько он помнил, ее не связывали сколько-нибудь близкие отношения, и сердечность приема, к которой волей-неволей приходилось подлаживаться, только его оттолкнула. Никогда не питавший к Плавицкому родственных чувств, Поланецкий подумал про себя: «Эта обезьяна хочет вместо денег отделаться от меня благословением», – и его взяла злость; впрочем, так легче было перейти к делу.

– Садись, мой мальчик, и будь как дома, – продолжал между тем Плавицкий.

Поланецкий сел.

– Дорогой дядя, – сказал он, – мне очень приятно видеть вас, и я, конечно, вас бы навестил и помимо всякой практической цели, но, как вы знаете, моя мать...

Плавицкий неожиданно положил ему руку на колено.

– А кофе ты пил?

– Пил, – отвечал сбитый с толку Поланецкий.

– А то ведь Марыня имеет обыкновение ни свет ни заря в костел уезжать. И ты прости, что я свою комнату тебе не уступил, но я стар... и привык к своей стариковской норе...

И плавным движением руки он обвел комнату.

Поланецкий невольно последовал взглядом за его жестом. Когда-то он за счастье почитал попасть в эту комнату, где развешено было оружие пана Плавицкого. С тех давних пор переменились здесь только обои, теперь розовые с бесчисленными квадратами, в каждом из которых удила рыбу юная пастушка, одетая в манере Ватто. У окна возвышался белый умывальник с зеркалом в серебряной раме, весь уставленный баночками, коробочками, флаконами, щетками, гребенками, пилочками для ногтей и другими туалетными принадлежностями. Рядом в углу, на подставке – трубки с янтарными мундштуками; над диваном – кабанья голова, под ней – две двустволки, ягдташ, охотничий рог и прочее охотничье снаряжение. В глубине комнаты виднелись стол с разложенными на нем бумагами и дубовые полки с книгами; всюду множество вещей, вероятно, нужных и красивых, но доказывавших прежде всего, что все в доме, как вокруг оси, обращается вокруг хозяина этой комнаты, который и сам не забывает позаботиться о себе. Словом, это была комната отнюдь не распростившегося с былыми замашками, пекущегося о мелких прихотях старого холостяка и эгоиста. И не требовалось особой пронизательности, чтобы понять: старик ни за что, никому своей комнаты бы не уступил.

– Ты удобно устроился? Как спал? – продолжал расспрашивать гостеприимный хозяин.

– Спасибо, хорошо; встал поздно.

– Надеюсь, погостишь у нас недельку.

Поланецкий, отличавшийся живым нравом, чуть не подскочил на стуле.

– Вы разве, дядя, не знаете, что у меня в Варшаве дела? И компаньон, которому трудно управляться одному. Так что мне надо вернуться как можно скорее и еще сегодня покончить с делом, из-за которого я приехал.

– Нет, мой мальчик, – проникновенно и с достоинством заговорил Плавицкий. – Во-первых, нынче воскресенье, а во-вторых, родственные чувства превыше всяких дел. Сегодня ты для меня родственник, а завтра, если угодно, можешь быть кредитором. Вот так-то! Сегодня ко мне пожаловал мой дорогой Стах, сын незабвенной Анны. И останется Стахом до завтра! Это говорит тебе старший в семье, и ты должен послушаться меня, своего любящего дядюшки...

– Хорошо, пусть будет по-вашему, – слегка поморщившись согласился Поланецкий.

– Вот сейчас твоими устами заговорила Анна... Трубку куришь?

– Нет. Я курю папиросы.

– И напрасно, поверь мне. Но для дорогого гостя найдутся и папиросы.

Разговор был прерван стуком подъехавшего к крыльцу экипажа.

– Это Марыня вернулась от ранней обедни.

Поланецкий взглянул в окно и увидел барышню в розовом платье и соломенной шляпке, вылезавшую из шарабана.

– Ты познакомился? – спросил Плавицкий.

– Еще вчера имел удовольствие...

– Единственное мое дорогое дитя! Сам понимаешь, только ради нее и живу я.

Дверь приоткрылась, и молодой голос спросил:

– Можно?

– Можно! Можно! У меня Стах, – отвечал Плавицкий.

Марыня с соломенной шляпкой, перекинутой на лентях через руку, стремительной походкой вошла в комнату и, поцеловав отца, протянула руку Поланецкому. В розовом ситцевом платье выглядела она очень стройной и хорошенькой. Что-то праздничное, воскресное было во всем ее облике, от нее будто веяло свежестью этого ясного погожего утра. Волосы у нее слегка растрепались, щеки зарумянились – она была само воплощение молодости. Ее оживленное лицо показалось Поланецкому красивей, чем вчера.

– Сегодня обедня начнется немного позже, – обратилась она к отцу. – Каноник сразу после службы уехал на мельницу причащать Святковскую. Она совсем плоха. Так что у тебя есть еще полчаса.

– Вот и хорошо, – сказал Плавицкий. – А пока познакомьтесь со Стахом поближе. Ей-богу, вылитая Анна! Впрочем, ты ведь ее не видела. Завтра он, Марыня, будет нашим кредитором, если пожелает, но сегодня – он наш родственник и гость.

– Чудесно, – отвечала Марыня, – значит, проведем воскресенье весело.

– Вы так поздно легли вчера, – заметил Поланецкий, – а сегодня к заутрене поехали!

– К заутрене ездим я да повар, чтобы с обедом успеть, – ответила она непринужденно.

– Я забыл вчера: вам кланяется пани Эмилия Хвастовская, – сказал Поланецкий.

– С Эмилькой мы уже полтора года не виделись, но переписываемся довольно часто. Я слышала, она с дочкой собирается в Райхенгалль.

– Да, на днях уезжают.

– Как девчушка?

– Очень рослая для своих двенадцати лет, но бледная. Вообще вид у нее нездоровый.

– А вы часто видите с пани Эмилией?

– Довольно часто. Это почти единственный дом в Варшаве, где я бываю, она очень симпатичная.

– Скажи, мой мальчик, – перебил Плавицкий, беря со стола пару свежих перчаток и кладя в боковой карман, – чем ты, собственно, занимаешься в Варшаве?

– Я, как теперь принято говорить, коммерсант. У меня торгово-посредническая контора на пару с неким Бигелем. Мы покупаем и перепродаем зерно, сахар, лес, вообще что придется.

– Я слышал, ты – инженер?

– Да, техник. Но мне не удалось найти работу на фабрике после границы, вот я и занялся торговлей, тем более что немного в этом разобрался, все-таки четыре года был компаньоном Бигеля, хотя дела-то вел он. Но узкая моя специальность – красильное дело.

– Как ты сказал?

– Красильное дело.

– Чем только в нынешнее время не приходится заниматься, – глубокомысленно заметил Плавицкий. – Но я не ставлю тебе этого в вину. Важно старинные семейные традиции блюсти, а работа, она не унижает человека.

Поланецкого, который при появлении Марыни пришел в хорошее расположение духа, развеселила «grandezza»[1 - важность (ит.).] Плавицкого.

– Ну и слава богу, – откликнулся он и улыбнулся, показывая крепкие белые зубы.

Марыня улыбнулась в ответ.

– Эмилька – кстати, она тоже вам симпатизирует – писала мне о вашем умении вести дела.

– В сущности, это несложно – ведь конкуренции почти нет, если не считать предпринимателей-евреев. Но и с теми вполне можно поладить, если только ты не антисемит, палки в колеса они не будут ставить. А что до пани Эмилии, в делах она смыслит не больше своей Литки.

– Да, практичной ее не назовешь. Если бы не брат ее покойного мужа, Теофил Хвастовский, она бы давно состояния лишилась. Теофил очень любит Литку.

– Да разве ее можно не любить? Я и сам в ней души не чаю. Девочка чудная, необыкновенная. Я питаю к ней решительную слабость.

«Резковат немного, – подумала Марыня, глядя на его открытое, выразительное лицо, – но, похоже, добрый».

Плавицкий между тем напомнил, что пора к обедне, и стал прощаться с Марыней, словно перед дальней дорогой; наконец, перекрестив ее, взялся за шляпу. Марыня пожала руку Поланецкому, сердечней, чем при встрече, а он, садясь в кабриолет, повторял про себя: «Мила и хороша собой!..»

Миновав аллею, по которой Поланецкий вчера приехал, экипаж выехал на дорогу, вдоль нее редким строем на разном расстоянии друг от друга тянулись старые, дуплистые березы. По одну сторону дороги росла картошка, по другую раскинулось необозримое поле ржи с уже отяжелевшими, клонившимися долу колосьями. Казалось, нива дремлет в тишине, пригреваемая солнцем. Впереди меж деревьев перепархивали сороки и удода. Поодаль шли межой деревенские девки, по грудь утопая в желтеющем море ржи, похожие в своих красных платках на цветущие маки.

– Хороша рожь, – сказал Поланецкий.

– Да, недурна. Трудимся в поте лица, а там что бог даст. Ты еще молод, дорогой, так вот, прими совет, пригодится в жизни. Делай все, что в твоих силах, а в остальном положишься на бога. Ему одному ведомо, что человеку нужно. Что урожай хороший будет, я заранее знал, потому что, когда господь хочет покарать меня, то посылает мне знамение.

– Что? – удивился Поланецкий.

– Перед тем, как случиться беде, из-за подставки с трубками – не знаю, заметил ли ты ее, – несколько дней кряду появляется мышь.

– Там, наверное, дыра в полу?

– Нет там никакой дыры, – произнес Плавицкий, прикрыв глаза и таинственно покачивая головой.

– Вам бы кошку завести.

– Зачем? Если богу угодно, чтобы мышь служила мне знаменем и предостережением, я не стану противиться его воле. Так вот, в нынешнем году она не показывалась ни разу. Я говорил Марыне... Может, это знак, что господь нас не оставит. Я ведь знаю, дорогой мой, ходят слухи, будто мы разорены, во всяком случае, что дела наши из рук вон плохи. Но суди сам: Кшемень со Скоками, Магерувкой и Сухотином – это около двухсот пятидесяти влук[2 - Влука – около 17 га .] земли. Под них в Обществе поземельного кредита взято шестьдесят тысяч, не больше, да по закладным, считая с твоими деньгами, у меня сто тысяч долгу. Всего это составит сто шестьдесят тысяч рублей. Теперь беря даже по три тысячи за влуку, получаем семьсот пятьдесят тысяч рублей, да те сто шестьдесят, вот тебе девятьсот десять тысяч...

– Как так? – перебил его озадаченный Поланецкий. – Вы и долги прочитываете к стоимости имения?

– Если бы оно ничего не стоило, никто под него гроша бы не дал, значит, надо и долг причислить к общей стоимости.

«Сумасшедший, что с ним толковать», – подумал Поланецкий и молча стал слушать.

– Магерувку я разобью на участки и продам. Мельницу тоже продам, а в Скоках и Сухотине залегают мергель. Знаешь, на сколько его там? Я подсчитал. На два миллиона рублей!

– А покупатель есть?

– Приезжал два года назад некто Шаум, осматривал поля. Правда, уехал, ничего не сказав, но я уверен: вернется. Иначе за трубами опять показалась бы мышь...

– Ну, дай бог, чтоб вернулся.

– Знаешь, что мне в голову пришло? Коли ты коммерсант, подыщи себе компаньонов да возьмишь-ка за это сам.

– Мне не по зубам.

– Тогда покупателя найди! Десять процентов вырученной суммы тебе дам.

– А Марыня что думает о мергеле?

– Марыня? Ну, что она может думать! Марыня – сущий клад, но совершенное дитя. Но и она верит, что провидение не оставит нас.

– Это я вчера слышал от нее.

Они приближались к Вонторам, где среди лип возвышался на пригорке костел. У пригорка сгрудилось десятка полтора крестьянских телег с решетчатыми грядами, несколько бричек и шарабанов.

Плавицкий перекрестился.

– Вот и наш костел, ты должен помнить его. Здесь все Плавицкие лежат, скоро и я сюда лягу. Мне как-то особенно нравится здесь молиться.

– Народу, видно, много будет, – заметил Поланецкий.

– Вон бричка Гонтовского, коляска Зазимских, шарабан Ямишей, еще других соседей. Ямишей ты помнишь, наверное. Она – замечательная женщина, а он – тюфяк и пальца ее не стоит, хотя советник и большим знатоком агрономии мнит себя.

Тут зазвонил колокол.

– Нас заметили, – сказал Плавицкий, – сейчас начнут. После обедни отведу тебя на могилу моей первой жены. Помолись за нее – тетка все-таки тебе... Достоянная была женщина, упокой, господи, ее душу.

И Плавицкий снова поднес палец к правому глазу, словно смахивая слезу.

– Пани Ямиш когда-то красавицей слыла. Это та самая? – спросил Поланецкий, чтобы переменить разговор.

Лицо Плавицкого сразу прояснилось. Он плутовато облизнул губы под крашеными усами и коснулся колена Поланецкого.

– Она и сейчас хоть кого может в грех ввести! – сказал он.

Наконец они подъехали и, чтобы не проталкиваться, обогнули костел и вошли сбоку через ризницу. Господа сидели на боковых скамьях. Плавицкий направился к передней, ктиторской, скамье, где расположились супруги Ямиши: он – с умным измученным лицом, выглядевший совершенным стариком, она – в ситцевом платье и соломенной шляпке под стать Марыне, невзирая на свои без малого шестьдесят. Судя по тому, как почтительно поклонился ей Плавицкий и как любезно кивнула она в ответ, отношения между ними были самые дружественные, исполненные взаимного понимания. Поднеся к глазам лорнет, пани Ямиш стала разглядывать Поланецкого, недоумевая, кто бы это мог сопровождать Плавицкого. Позади них, пока обедня не началась, один помещик спешил что-то досказать другому, очевидно, об охоте, так как повторял: «У меня гончие натасканные...» Потом они принялись злословить о Плавицком и пани Ямиш, так громко, что Поланецкий слышал каждое слово.

Наконец вышел ксендз. Костел и служба вновь напомнили Поланецкому детство, когда он бывал здесь с матерью. И он с невольным удивлением подумал, как мало все меняется в деревне, кроме разве людей; одни обращаются в прах, другие рождаются, но жизнь новая вливается в старые формы, и оттого приезжому после долгого отсутствия кажется, будто он был здесь только вчера. Все тот же костел; те же серые сермяги, русые мужицкие головы, красные и желтые платки, у девок цветы в волосах, все тот же запах ладана, аира и человеческих тел. За окном та же знакомая береза, чьи тонкие ветки перебирал ветер, клоня их к стеклу, – и костел наполнялся тогда зеленоватым светом. Только люди не те: кто воротился в землю и встал над нею травой; кто согнулся, поник, став словно меньше, будто сходя понемногу в могилу. Поланецкий, гордившийся тем, что ему чужды отвлеченные размышления, на деле, со своей не свободной еще от языческого пантеизма славянской душой, невольно постоянно им предавался. Вот и сейчас задумался он о том, какая зияющая пропасть разверзлась между прирожденным человеку страстным желанием жить и неизбежностью смерти. Не оттого ли, подумал он, и исчезают бесследно все философские системы, а церковная служба правится по-прежнему, ведь она приобщает к жизни вечной.

Воспитанный за границей, он не очень-то верил во все это или, по крайней мере, сомневался. Но и к материализму, как все нынешнее молодое поколение, испытывал непреодолимое отвращение, а где искать выход, не знал; более того, ему казалось, что он и не искал его. Подобно всем, ждущим чего-то несбыточного от жизни, впал он в безотчетный пессимизм, который заглушал, с головой уходя в ставшую второй натурой работу и только в минуты крайнего отчаяния задаваясь вопросом: к чему все это? К чему наживать состояние, трудиться, жениться, обзаводиться потомством, если конец все равно предрешен? Но то были лишь временные настроения, не переходившие в неизменное состояние. От этого спасали его молодость, хотя и не первая, но и не ушедшая, душевное и физическое здоровье, инстинкт самосохранения, привычка к труду, живой нрав и, наконец, та естественная сила, что влечет мужчину в женские объятия. Так и сейчас, отвлекшись от воспоминаний детства, от мыслей о смерти и бессмысленности женитьбы, подумал он, кому же отдать то хорошее, что еще есть в нем, и перед его внутренним взором предстала Марыня Плавицкая в розовом платье, облегаящем стройное молодое тело. Вспомнил он, как пани Эмилия, большая приятельница его и Марыни, смеясь, сказала ему перед отъездом: «Смотрите, если не влюбитесь в Марыню, я вас на порог больше не пушу». А он ответил весело, что едет за деньгами, а вовсе не влюбляться, но это была неправда. Он бы и не подумал ехать в Кшемь, если б не Марыня, – тормозил бы Плавицкого по-прежнему письмами или подал на него в суд. Уже в дороге стал он думать о ней, пытаясь представить себе, как она выглядит, и досадуя, что поехал из-за денег. Взяв за правило быть твердым, особенно в такого рода делах, он и теперь решил настоять на своем и скорее пересолить, чем недосолить. Решение это в первый вечер, при встрече с Марыней Плавицкой, только окрепло, потому что она хотя и понравилась ему, но не произвела ожидаемого впечатления. Сегодня же он увидел ее точно другими глазами. «Хороша, как это утро, и знает, что хороша, – подумал он. – Женщины всегда это сознают».

После такого открытия ему захотелось поскорее обратно в Кшемь – продолжить свои наблюдения над обитающим там типом женщин. Плавицкий, не дожидаясь конца обеда, перекрестясь, вышел; его ждали две важные обязанности: во-первых, помолиться на могилах своих жен возле костела, во-вторых, проводить пани Ямиш до экипажа, и поскольку пренебречь ни тем, ни другим нельзя было, приходилось поторапливаться. Поланецкий вышел с ним вместе, и вскоре они остановились перед двумя могильными плитами, вмурованными одна подле другой в стену костела. Преклонив колена и сделав строгое лицо, Плавицкий помолился, затем отер слезы, на сей раз истинные, и взял Поланецкого под руку.

– Обеих схоронил, а сам вот живу, – проговорил он.

В эту минуту пани Ямиш вышла из костела в сопровождении мужа, двух помещиков, которые о ней сплетничали перед обедней, и молодого Гонтовского.

– Будет садиться, обрати внимание, какие у нее стройные ножки, – шепнул Поланецкому Плавицкий.

Они присоединились к компании; последовали взаимные поклоны и приветствия. Плавицкий представил Поланецкого.

– Приехал вот дядюшку к груди прижать... чтобы покрепче поприть, – прибавил он, обращаясь к пани Ямиш, довольный своим каламбуром.

– Разрешаем только первое, в противном случае ему придется иметь дело с нами, –

отвечала дама.

– Имение мое недаром называется Кшемень[3 - Кшемень – кремь (пол.)], – продолжал Плавицкий, – он, хоть и молод, может себе зубы об него обломать.

– Какое блистательное остроумие... C'est inouï![4 - Это поразительно! (фр.)] – закатывая глазки, проговорила пани Ямиш. – Как вы себя чувствуете сегодня?

– Возле вас я молод и здоров.

– А Марыня?

– Она у ранней обедни была. Ждем вас к пяти часам. Моя маленькая хозяйшечка ломает себе голову, как бы вас получше угостить. Однако какой сегодня чудесный день!..

– Если мигрень моя позволит... и, конечно, муж. Приедем непременно.

– А вы, господа?

– Благодарствуйте, – промямлил помещик.

– Итак, au revoir![5 - до свидания! (фр.)]

– Au revoir! – отвечала дама, протягивая руку Поланецкому. – Очень приятно с вами познакомиться.

Плавицкий подал свою и довел пани Ямиш до экипажа. Оба соседа-помещика укатили, и Поланецкий остался наедине с Гонтовским, который посматривал на него без особого дружелюбия. Поланецкий помнил его неуклюжим мальчиком, теперь же прежний увалень превратился в рослого, быть может, не отличающегося особым изяществом, но, бесспорно, видного мужчину с пышными русыми усами. Поланецкому не хотелось первым начинать разговор, но и Гонтовский, засунув руки в карманы, упорно молчал.

«Однако хорошим манерам он так и не научился», – подумал Поланецкий, в свою очередь почувствовав неприязнь к этому бирюку.

Тем временем вернулся Плавицкий, спросив первым делом у Поланецкого: «Видал?», – а затем обратясь к Гонтовскому:

– Ты, Гонтось, на своей бричке поезжай, у нас только два места.

– Я в бричке поеду, потому что собаку везу для панны Марыни, – ответил молодой человек и, поклонясь, удалился.

Минуту спустя Плавицкий с Поланецким уже катили по дороге в Кшемень.

– Гонтовский, кажется, родня вам? – спросил Поланецкий.

– Так, седьмая вода на киселе. Они совсем обеднели. У этого, Адольфа, хуторок один остался и в карманах пусто.

– Зато сердце есть.

Плавицкий поморщился.

– Тем хуже для него, если на что-нибудь такое рассчитывает. Человек он, может, неплохой, да не нашего круга. Ни воспитания, ни образования, ни состояния. Марыня его привечает, вернее, терпит.

– А! Терпит все-таки?

– Видишь ли: я жертвую собой ради Марыни и сижу в деревне, она жертвует собой ради меня и тоже сидит в деревне. Вот как дело обстоит. А какое в деревне общество? Пани Ямиш много старше ее, молодежи нет, развлечений никаких, что тут делать? Запомни, мой мальчик: в жизни всегда приходится чем-то жертвовать. Надо это понять – умом и сердцем. В особенности тем, кто принадлежит к почтенным, старинным семьям. А что до Гонтовского, он всегда у нас обедает по воскресеньям, а сегодня, как ты слышал, еще и собаку Марыне везет.

Они замолчали, экипаж медленно катил по песчаной дороге. Перед ними с березы на березу – теперь уже в сторону Кшеменя – перепархивали сороки. Сзади ехал в своей бричке Гонтовский, размышляя приблизительно так: «Если он явился выжимать из них деньги, я сверну ему шею, а вздумает свататься к Марыне – тоже сверну».

Он с детства невзлюбил Поланецкого. Когда они изредка встречались раньше, Поланецкий его высмеивал, а то и поколачивал, будучи старше на несколько лет.

Наконец они приехали и через полчаса все вместе с Марыней сидели в столовой. Щенок Гонтовского, пользуясь привилегией гостя, вертелся под столом и без стеснения вскакивал всем на колени, радостно виляя хвостом.

– Сеттер-гордон, – сказал Гонтовский, – глупый еще, но вообще эти собаки умные и очень привязчивые.

– Чудесный песик. Большое вам спасибо! – сказала Марыня, любуясь щенком, его черной блестящей шерстью и желтыми надбровьями.

– Пожалуй, ласков чересчур, – промолвил Плавицкий, прикрывая колени салфеткой.

– И для охоты лучше, чем обыкновенные сеттеры.

– А вы любительница охотиться? – спросил Поланецкий.

– Нет, меня это никогда не привлекало. А вы?

– Да мне редко удается. Я ведь городской житель.

– А у кого ты бываешь? – спросил Плавицкий.

– Почти ни у кого. У пани Эмилии, у Бигеля, моего компаньона, да Васковского, бывшего моего гимназического учителя, большого оригинала, – вот и все. По делам приходится, конечно, и еще с разными людьми встречаться.

– Никуда не годится, мой мальчик. Молодой человек обязан бывать в обществе, особенно если вхож в него по праву рождения. Ты ведь не выскочка какой-нибудь, перед тобой все двери открыты. Нет, ты послушай меня. Вот и с Марыней точно такая же история. Два года назад, когда ей сровнялось восемнадцать, отвез ее на

зиму в Варшаву. Просто так это не делается, сам понимаешь, потребовались некоторые затраты и усилия с моей стороны. И что же? Сидела с пани Эмилией по целым дням и книжки читала. Как родилась дикаркой, так дикаркой и останется. Можете пожать друг другу руки.

– Вашу руку! – весело воскликнул Поланецкий.

– Нет, по совести – не могу! – засмеялась она. – Потому что было не совсем так. Книжки мы читали, но я часто и выезжала с папой. Натанцевалась, кажется, на всю жизнь.

– Ну, не зарекайтесь.

– Я не зарекаюсь, но ни капельки не жалею.

– Значит, не сохранилось приятных воспоминаний.

– Одно дело вспоминать, а другое – держать в памяти.

– Что вы этим хотите сказать?

– Память – это как огромный склад, где хранится все прошлое, а воспоминания – крупички, которые извлекаешь оттуда.

И, словно испугавшись собственной смелости, с какой она пустилась в отвлеченные дефиниции памяти и воспоминаний, Марыня залилась краской.

«Мила и притом неглупа», – подумал Поланецкий и сказал вслух:

– Вероятно! Мне и в голову не пришло!

И взглянул на нее с симпатией. Смущенная и вместе польщенная похвалой, Марыня и впрямь была мила. Еще сильнее она покраснела, когда молодой человек продолжил самоуверенно:

– Завтра, перед отъездом, надо будет попросить и для меня оставить на складе хотя бы... местечко.

Но тон был шуточный, так что невозможно было обижаться.

– Хорошо, но тогда и я попрошу о том же... – сказала она не без кокетства.

– Ну, в таком случае и зачищу же я на свой склад, придется мне, видно, насовсем там поселиться!

Для недавнего знакомства это было, пожалуй, несколько нескромно, но Плавичкий воскликнул:

– Молодец! Не то что Гонтось, молчит, как воды в рот набрал.

– Я привык руками работать, а не языком, – уныло отозвался молодой человек.

– Тогда бери вилку и ешь.

Поланецкий засмеялся, но Марыня даже не улыбнулась: ей стало жалко Гонтовского, и она заговорила о вещах более доступных.

«Что это, кокетство или доброта?» – спрашивал себя Поланецкий.

Размышления его были прерваны вопросом Плавицкого, вспомнившего, видимо, свою последнюю поездку в Варшаву.

– Скажи, Стах, ты знаешь Букацкого?

– А как же! Ведь он и мне родня, даже еще более близкая.

– Мы чуть не с целым светом в родстве, буквально с целым светом! Букацкий был самым усердным Марыниным кавалером: все вечера подряд с ней танцевал.

– А теперь в награду отправлен пылиться на склад! – засмеялся Поланецкий. – Хотя этот, положим, не запылится, он так ревностно следит за собой, вроде вас, дядюшка. Первый франт в Варшаве! Что он подельвает, спрашиваете? Воздухом дышит, то есть выходит или выезжает прогуляться в хорошую погоду. А вообще он – порядочный оригинал, голова у него совсем по-особенному устроена. Такое замечает, на что другой внимания бы не обратил. Встречаемся мы как-то после его возвращения из Венеции, спрашиваю, что он видел. «Видел, говорит, плывут по каналу Скьявони пол яичной скорлупы и пол-лимона; встречаются, сталкиваются друг с дружкой, расходятся, опять сходятся, и вдруг – раз! – лимон оказался в скорлупе, и дальше поплыли уже вместе. Видишь, что значит гармония!» Вот все его занятия, хотя человек он образованный и большой знаток искусства.

– Говорят, он не без способностей?

– Возможно, только проку от них мало. Типичный небокоптител. И был бы при этом хоть весел, а то еще вдобавок меланхолик. Да, забыл сказать: он в пани Эмилию влюблен.

– У Эмилии много бывает гостей? – спросила Марыня.

– Да нет. Я бываю, Васковский, Букацкий, ну, Машко еще, адвокат, – покупкой и продажей имений занимается.

– Ну да, она столько времени Литке уделяет, куда тут принимать гостей.

– Да, Литка, бедняжка, – вздохнул Поланецкий. – Может, подлечится в Райхенгалле, дай-то бог!

И безработное лицо его омрачилось. Теперь Марыня в свой черед взглянула на него с симпатией. «Да, наверно, он добрый», – подумала она опять.

– Машко, Машко... – повторил, как бы про себя, Плавицкий. – Тоже за Марыней увивался. Но не понравился ей. А что до перепродажи имений, при нынешних жалких ценах...

– По словам Машко, именно сейчас выгодно их покупать.

Между тем обед подошел к концу, и они, перешли в гостиную пить кофе. Плавицкий подшучивал над Гонтовским, что обыкновенно служило у него признаком хорошего

настроения, а молодой человек довольно терпеливо сносил насмешки ради Марыни, но с такой миной, которая ясно говорила: «Кабы не она, ты бы у меня запел по-другому!» После кофе Плавицкий стал раскладывать пасьянс, а Марыня села за фортепьяно. Играла она не бог весть как, но было приятно смотреть на ее милovidную головку, которая с такой спокойной грацией вырисовывалась за пюпитром. Около пяти часов Плавицкий сказал, глянув на часы:

– Что-то Ямиши не едут.

– Приедут, – успокоила его Марыня.

Но с этой минуты он беспрестанно посматривал на часы, восклицая: «Что-то Ямиши не едут!» А около шести объявил замогильным голосом:

– Что-то случилось!

– Горе прямо с ним! – тихо сказала Марыня подошедшему к ней Поланецкому. – Ничего там не случилось, но папа весь вечер будет теперь не в духе.

У Поланецкого чуть было не вырвалось: выпится, дескать, и завтра опять повеселеет; но, видя неподдельную заботу на лице девушки, он сказал:

– Насколько мне помнится, это недалеко. Пошлите узнать, что там приключилось.

– Папа, может, послать кого-нибудь к Ямишам?

– Не изволь беспокоиться, – язвительно сказал Плавицкий. – Я поеду сам.

И, позвонив, велел запрягать.

– Enfin[6 - В конце концов (фр.)], – в раздумье проговорил он, – почему бы девушке не остаться наедине с молодым человеком, никто не осудит, даже если застанет, это ведь не город. И потом, ты наш родственник... Гонтось, проводи-ка меня, пожалуйста, ты мне можешь понадобиться.

На лице молодого человека изобразилось крайнее неудовольствие.

– Я панне Марыне обещал лодку на воду столкнуть, садовник никак не может справиться, – сказал он, проведя рукой по светлым волосам. – А прошлое воскресенье дождь лил как из ведра, она мне не позволила.

– Ну так беги сейчас, до пруда тридцать шагов, успеешь обернуться.

И Гонтовскому волей-неволей пришлось отправиться в сад.

– Мигрень! Пари держу, что у нее мигрень! – твердил Плавицкий вслух, расхаживая по комнате и не обращая внимания на дочь и Поланецкого. – Гонтовский в случае нужды хоть доктора привезет, а этот тюфяк Ямиш, конечно, не догадается... Советник этот, которому все надо советовать, сам ничего не сделает. – И, обратясь к Поланецкому, словно ища, кому излить свое раздражение, в сердцах прибавил: – Ты и не представляешь, какой он тюфяк и растяпа!

– Кто?

– Ямиш.

– Папа... – начала было Марыня.

Но Плавицкий не дал ей договорить.

– Не нравится, знаю, не нравится тебе, что она питает ко мне капельку дружеского участия, – с нарастающим гневом сказал он. – Ну и читай на здоровье агрономические трактаты пана Ямиша, боготвори его, превозноси до небес, но и мне позволь самому выбирать себе друзей.

И тут Поланецкому еще раз представилась возможность удостовериться в Марыниной кротости: вместо того чтобы обидеться на отца, она подбежала к нему и, прижимаясь щекой к его крашеным усикам, стала приговаривать:

– Сейчас запрягут, сейчас, сейчас! Может, и мне с тобой поехать?.. Только не сердись, противный папка, а то еще заболеешь.

Плавицкий, видимо, действительно очень к ней привязанный, поцеловал ее в лоб.

– Знаю, знаю, ты у меня добрая девочка, – сказал он. – Но куда же это Гонтовский запропастился?

И, подойдя к открытой двери в сад, он стал звать молодого человека. Тот вскоре явился.

– Слишком далеко на берег вытащили, – сказал он, еле переводя дух, – и полна воды. Попробовал, да ничего не вышло.

– Ну, бери шляпу, и едем. Я слышу, экипаж уже подали.

Минуту спустя Марыня осталась с гостем одна.

– Папе не хватает в деревне общества, – сказала она, – поэтому он и дорожит так дружбой с пани Ямиш, но и муж ее на редкость благородный и образованный человек.

– Я видел его в костеле. У него вид был какой-то удрученный.

– Болен и утомлен: очень много работает.

– Совсем как вы.

– Нет, не как я. Пан Ямиш – образцовый хозяин, к тому же много пишет о сельском хозяйстве. Пан Ямиш – наша слава и гордость. Она женщина тоже хорошая, только, по-моему, немножко претенциозная.

– Экс-красавица.

– Вот именно. Я это отчасти приписываю деревенской жизни, накладывающей свой отпечаток. В городе в постоянном общении все наши странности и чудачества, наверно, больше сглаживаются, а здесь... отвыкаешь понемногу от людей, дичаешь и приходишь в обращении с ними до полной неестественности. Городским жителям все мы должны казаться смешными бирюками и чудаками.

– Не все! Не все! – запротестовал Поланецкий. – Вот вы, например, совсем не кажетесь.

– Это лишь вопрос времени, – улыбнулась Марыня.

– Но время несет с собой перемены.

– У нас мало что меняется, а если и меняется, большей частью к худшему.

– Но в девичьей жизни эти перемены нетрудно и предсказать.

– Для меня важнее всего сейчас, чтобы у папы уладилось все с Кшеменем.

– Значит, единственные цели ваши, главное в жизни – это папа и Кшемень?

– Да. Но я мало смыслю в делах, и помощница из меня плохая.

– Отец и Кшемень – больше ничего? – повторил Поланецкий.

Наступило молчание. Марыня спросила, не хочет ли он пройтись. Они спустились в сад и очутились вскоре на берегу пруда. Поланецкий, занимавшийся за границей спортом в разных клубах, сделал то, что не удалось Гонтовскому: спустил лодку на воду, но кататься на ней было нельзя из-за течи.

– Вот вам образчик моего хозяйства: дыра на дыре! – сказала со смехом Марыня. – И вину свалить не на кого: и сад, и пруд находятся всецело в моем ведении. Ну, да ладно, велю починить еще до того, как спустят пруд.

– Небось еще та самая лодка, на которой мне запрещалось кататься, когда я был мальчишкой.

– Очень может быть. Вещи меньше подвержены переменам и долговечней людей, вы разве не замечали? Грустно это сознавать.

– Авось мы окажемся долговечней этой утлой ладьи, насквозь пропитанной водой. Если это та же самая лодка, мне с ней положительно не везет. Раньше кататься не разрешали, сейчас вот оцарапался о какой-то ржавый гвоздь.

И, вытащив из кармана носовой платок, он левой рукой попытался перевязать палец на правой.

– У вас не получится, давайте лучше я, – сказала Марыня, следя за его неловкими попытками.

И стала завязывать ему руку, а он нарочно поворачивал ее, чтобы продлить удовольствие от этих нежных прикосновений. Затруднясь помехой, она взглянула на него, и глаза их встретились. Поняв его умысел, она покраснела и еще ниже опустила голову, будто целиком поглощенная своим занятием. У Поланецкого от ее близости, от исходившего от нее тепла забилося сердце.

– У меня сохранились очень приятные воспоминания о каникулах, которые я здесь проводил. Но те, что я теперь увезу, будут во сто крат приятней, – сказал он. – Вы так ко мне добры... Вы тут как цветок, в этом Кшемене. Нет, право же, я не преувеличиваю.

Марыня чувствовала, он говорит от чистого сердца, а смелость его приписала непосредственности природы, а не желанию воспользоваться тем, что он остался с ней наедине, и потому не обиделась, а только сказала с притворной строгостью своим приятным негромким голосом:

– Пожалуйста, без комплиментов, а то я руку плохо перевяжу, это раз. А два – убегу.

– Нет, уж лучше перевяжите плохо, только не убегайте. Смотрите, какой чудесный вечер...

Марыня кончила, и они пошли дальше. Вечер в самом деле был чудесный. Солнце садилось, и зеркальная поверхность пруда пламенела золотым огнем. Вдали, за прудом, темнел ольховник; ближайшие деревья необычайно четко вырисовывались на розовом закатном небе. За домом, во дворе, клекотали аисты.

– Как хорошо! Как здесь хорошо! – повторял Поланецкий.

– Очень! – отозвалась Марыня.

– Теперь я понимаю вашу привязанность к этим местам. И потом, труд... Чем больше его вкладываешь в какое-то дело, тем оно становится дороже. Да, в деревне бывают отрадные минуты, вот как сейчас, например. Да и вообще тут чудесно. А в городе иногда охватывает такая апатия, особенно когда день-деньской проверяешь счета... К тому же я совсем одинок. У Бигеля, моего компаньона, есть дети, жена, ему хорошо! Не то что мне. Порой я говорю себе: ну что проку в этой работе? Допустим, скоплю немного денег, а дальше что? Ничего не ждет, кроме работы. Сегодня, завтра – вечно одно и то же. Видите ли, всякое дело, в том числе и наживание денег, затягивает, и возникает иллюзия, будто это и есть цель. Но иной раз вдруг подумаешь: а может, прав этот чудаковатый Васковский, который говорит: у кого фамилия оканчивается на «-ский» или «-ич», тот не может всю душу вложить в одну только работу и тем удовольствоваться. В нас, по его словам, еще слишком свежа память о нашем предсуществовании – вообще, мол, у славян совсем иное предназначение. Большой оригинал, философ и мистик. Я спорю с ним – и наживаю капитал всеми доступными мне способами. Но вот сейчас, когда гуляю с вами в саду, – начинаю думать, что он прав.

Некоторое время шли молча. Закат отбрасывал на их лица свой румяный отсвет. Они чувствовали взаимную приязнь, углублявшуюся с каждой минутой. Им было хорошо и спокойно вдвоем.

Поланецкий ощутил это, видимо, с особенной силой.

– А правду говорила пани Эмилия, – сказал он, помолчав. – Теперь я сам вижу: через какой-нибудь час к вам начинаешь испытывать большее доверие, чем к иному человеку через месяц. Кажется, будто мы знакомы с вами много лет. Наверно, только доброта располагает так к себе людей.

– Эмилька меня любит, вот и хвалит, – ответила Марыня просто. – Но если даже так, я бываю доброй не со всеми.

– Да, вчера вы производили другое впечатление, но вы устали и вам хотелось спать.

– Пожалуй.

– Что же вы не легли? Чай и слуга мог подать; наконец, обошелся бы и без чаю.

– Что вы, не настолько уж мы негостеприимны. Кто-то из нас, сказал папа, должен вас встретить. Я побоялась, что он сам станет дожидаться – а ему вредно ложиться поздно, – и осталась за него.

«Как бы не так, стал бы он меня дожидаться! А ты – добрая душа, оберегаешь покой этого старого эгоиста», – подумал Поланецкий и сказал:

– Простите, что вчера я сразу же заговорил о деньгах. Привычка делового человека! Потом я страшно ругал себя за это. Право, мне очень совестно, простите меня.

– За что же? Вы ни в чем не виноваты. Вам сказали, что я всем ведаю, вы и обратились ко мне.

Вечерняя заря разгоралась все багровей. Они пошли домой, но вечер был так хорош, что остались на веранде, выходящей в сад. Поланецкий отлучился в гостиную и вернулся со скамеечкой, которую, опустясь на одно колено, подставил Марыне под ноги.

– Благодарю вас, – сказала она, наклонясь и придерживая платье руками. – Вы очень добры!.. Благодарю вас.

– Вообще-то я к людям невнимателен, – ответил Поланецкий. – Но знаете, благодаря кому я немножко научился заботиться о других? Благодаря Литке. Ее постоянно приходится опекать, и пани Эмилия заботится о ней неусыпно.

– Да, она самоотверженная мать, – отвечала Марыня, – и мы все ей будем помогать. Я пригласила бы их к нам, если б они в Райхенгалль не поехали.

– А я бы без приглашения приехал следом за Литкой.

– Приглашаю вас впредь от папиного имени в любое время.

– Не бросайтесь словами, а то я могу злоупотребить вашей любезностью. У вас здесь очень хорошо, и как только мне будет плохо в Варшаве, прилечу сюда под ваш кров...

Поланецкий уже сознательно говорил так, в расчете больше приблизиться к ней, и вместе – совершенно искренне, любуясь этим милым девичьим личиком, которое в лучах заходящего солнца показалось ему еще спокойней, чем прежде. А Марыня, подняв на него голубые глаза, будто спрашивая: «Ты серьезно или шутишь?», – ответила, понижая голос:

– Хорошо.

И оба замолчали, словно связанные незримой нитью этого взаимного обещания.

– Странно, что папы так долго нет, – сказала наконец Марыня.

И в самом деле, солнце уже зашло: в розоватых закатных сумерках бесшумно шныряла летучая мышь, с пруда доносилось кваканье лягушек.

Поланецкий промолчал, словно размышляя о своем.

– Я принимаю жизнь такой, какая она есть, мне некогда ее оценивать, – заговорил он немного погодя. – Когда мне хорошо, вот как сейчас, я доволен, когда плохо – огорчен, вот и все. Но лет пять-шесть назад было иначе. Мы собирались небольшой компанией и рассуждали о смысле жизни. Было среди нас несколько ученых и один писатель, теперь довольно известный в Бельгии. Мы спрашивали себя: куда идет человечество, в чем суть и цель всего этого, значение и конец? Читали философов-пессимистов, теряясь в неразрешимых загадках, доходя прямо до умопомрачения, – один мой знакомый, ассистент на кафедре астрономии, забрался в такие глубины мироздания, что и в самом деле лишился рассудка. Вообразил, будто по параболе уносится в бесконечность. Потом, правда, выздоровел – и стал священником. Мы тоже изнывали в бесконечной погоне за истиной... Как птицы, летящие над морем: негде присесть и передохнуть. В конце концов я отметил про себя две вещи: во-первых, мои друзья бельгийцы не относятся к этому так уж серьезно... Мы гораздо простодушней их... А во-вторых, у меня пропадает всякая охота трудиться, и я становлюсь тряпкой, бессильным размазней. Тогда я взял себя в руки и занялся всерьез красильным делом. Жизнь, сказал я себе, – это веление природы, и не в том суть, хорошо это или плохо, а в том, что она тебе дана. Значит, живи и бери от жизни, что можно. И я хочу взять. Правда, Васковский считает, будто мы, славяне, не можем удовольствоваться этим, но это еще не факт. Если он имеет в виду деньги, тогда еще куда ни шло, можно с ним согласиться. Но я, кроме денег, ценю в жизни спокойствие, и... знаете, еще ради чего стоит, по-моему, жить?.. Ради женщины. Надо иметь близкое существо, чтобы делиться с ним печалью и радостью. Все мы смертны – это верно! Перед лицом смерти человек бессилён. *That's not my business* [7 - Дальше я уже не властен (англ.)], – как говорят англичане. Но пока ты жив, надо с кем-то поделиться своим достоянием, своим добытком – деньгами, почетом или славой... Будь на Луне даже алмазные россыпи, какой в них толк, если некому их оценить? Так и человек: надо, чтоб кто-то его оценил. Вот я и думаю: кто же оценит меня, как не женщина – бесконечно добрая, преданная, горячо любимая и безраздельно мне принадлежащая. Без этого душевный покой невозможен, а без него жизнь теряет всякий смысл. Это вам говорит не романтик, не поэт, а коммерсант, человек практического склада. Иметь рядом близкое, дорогое существо – это и есть цель в жизни. А там что бог даст. Вот моя жизненная философия.

Хотя Поланецкий утверждал, что говорит, как коммерсант, он раз мечтался; летний вечер и присутствие молодой девушки, которая во многом соответствовала его идеалу, подействовали на него. Видимо, он и сам это почувствовал.

– Вот как я смотрю на жизнь, хотя далеко не всем это высказываю. Но сегодня вот потянуло на откровенность; права была пани Эмилия: с вами за день ближе сойдешься, чем с другим за год. Это все ваша бесконечная доброта, наверно. Ах, как было бы глупо не поехать в Кшемень! А теперь с вашего позволения буду часто сюда приезжать.

– Приезжайте, пожалуйста... когда захотите.

– Спасибо.

Они протянули друг другу руки, словно заключая союз между собой.

Ведь и он ей очень понравился – энергичный, с живыми глазами и обрамленным темной шевелюрой открытым, мужественным лицом. С ним повеяло в Кшемене чем-то новым, чего ей так не хватало, – словно раздвинулись горизонты, замкнутые до той поры прудом да ольховником. И за один этот день они сблизились, насколько это вообще возможно за день.

Наступило молчание, но и молча они, казалось, шли и шли вперед. Марыня подняла руку, указывая на встающий из-за ольховника свет.

– Луна, – сказала она.

– Да, луна! – повторил Поланецкий.

Красная, с колесо, луна медленно выкатывалась из-за деревьев. Но тут залаяли собаки, из-за дома донесся стук экипажа, и минуту спустя в гостиной, куда перед тем внесли лампу, показался Плавицкий.

Марыня перешла с террасы в гостиную, с нею – и Поланецкий.

– Ничего особенного, – сказал Плавицкий. – Просто неожиданно заехала Хромецкая; они думали, она скоро уедет, и не дали нам знать. Ямишу немного нездоровится, но он собирается завтра в Варшаву. А она обещала навестить нас послезавтра.

– Значит, все благополучно? – спросила Марыня.

– Выходит, так. А вы что делали?

– Лягушек слушали, – сказал Поланецкий, – и наслаждались.

– Что ж, и лягушки зачем-то созданы, не буду на бога роптать, хотя они спать мне не дают. Марыня, вели-ка чай подавать.

Чай уже ждал их в соседней комнате. За столом Плавицкий рассказывал о визите к Ямишам. А молодые люди молчали, лишь по временам обмениваясь сияющими взглядами, и на прощанье крепко пожали друг другу руки.

Ложась спать, Марыня испытала тяжесть во всем теле, как от сильной усталости, но усталость эта была особенная, приятная. И, опуская голову на подушку, она думала не о том, что завтра – понедельник, начало новой хлопотной будничной недели; думала она о Поланецком, и в ушах ее звучали слова: «Кто оценит меня, как не женщина – бесконечно добрая, преданная, горячо любимая и безраздельно мне принадлежащая».

А Поланецкий, закуривая в постели папироску, говорил себе: «И добра, и мила, и собой хороша, чего же больше?»

ГЛАВА III

Наутро погода была пасмурная, и Марыня проснулась с беспокойной совестью. Ей казалось, что вчера, словно подхваченная каким-то течением, она позволила себя увлечь слишком далеко и повела себя как самая настоящая кокетка. И это было тем

неприятней, что Поланецкий ведь приехал за деньгами. Вчера она об этом позабыла, а сегодня говорила себе: «Он, наверно, решил, что я хочу его завлечь и задобрить», – и при мысли об этом вся кровь бросилась ей в лицо. В ней, девушке прямой, самолюбивой, все возмущалось от сознания, что ее могут заподозрить в хитрости. И одно лишь это предположение сразу настроило ее против Поланецкого. Особенно мучительно было знать, что кшеменьская касса пуста и вообще у них нет ни гроша, а если что и появится после продажи магерувской земли, отец прежде Поланецкого постарается удовлетворить других, полагая долги им более важными. И хотя она поклялась себе сделать все, чтобы долг непременно и без проволочек был возвращен Поланецкому, но понимала, как мало от нее зависит. Отец охотно предоставляет ей вести хозяйство, но денежные дела ведет сам, не спрашивая ее совета. Тактика его в этом отношении сводилась к тому, чтобы всеми правдами и неправдами отделяться от кредиторов, отводя им глаза несбыточными планами и обещаниями, в которые он сам не верил. И так как взыскивать по закладным – дело вообще хлопотное и волокитное, которое можно оттягивать чуть не до бесконечности, Плавицкий благодаря своей тактике до сих пор оставался владельцем Кшеменя. В конце концов все это грозило полным и неизбежным крахом, но покамест старик всерьез уверился, что у него «практический ум», и советы и мнения дочери слушал с крайней неохотой, угадывая за ними сомнения в его «практичности», очень задевавшие его самолюбие.

Эта пресловутая практичность со всеми вытекающими последствиями уже принесла Марыне немало огорчений. И жизнь ее, исполненная труда на лоне природы, разве лишь со стороны могла показаться идиллической. Приходилось испытывать немало неприятностей и унижений, и спокойное выражение ее лица говорило не только о кротости, но и о большой выдержке и силе характера. Однако никогда еще, как ей казалось, не попадала она в положение более унижительное, чем сейчас.

«Лишь бы хоть он ни в чем меня не заподозрил», – повторяла она себе. Но что тут можно было сделать? Первой ее мыслью было поговорить с ним, прежде чем он увидится с отцом, и чистосердечно открыть ему положение дел как человеку, которому доверяешь. Но потом она подумала, что такой разговор может быть истолкован как попытка разжалобить, упрямить о снисхождении, а значит, обернется новым унижением. Тем не менее Марыня, вопреки всему, возможно, и пошла бы на это, не догадываясь она полуинтуитивно, с женской чуткостью к своим и чужим душевным движениям, что встреча их не случайна, что между ними уже что-то есть иди, во всяком случае, обнаружится в будущем. А коли так, всякое откровенное объяснение исключено. Оставалось только одно: увидеться и своим поведением развеять вчерашнее впечатление, порвать протянувшиеся между ними нити взаимной симпатии и предоставить ему полную свободу действий. Такой выход казался самым приемлемым, и, узнав от прислуги, что Поланецкий уже встал, напился чаю и пошел пройтись к проселку, она решила разыскать его.

Это оказалось несложным: он уже вернулся и, стоя за увитым диким виноградом крыльцом, ласкал тех самых собак, которые с такой радостью кинулись к нему накануне. Марыни он не заметил, и она, спускаясь, услышала его голос:

– Что, песики, еду небось получаете, а дом кто будет сторожить? И на чужих не лаете, даже еще ласкаетесь. Ах, глупые дворняги, ах, дармоеды!

Трепля их по белым головам, он вдруг в просвете между листьями увидел Марыню и кинулся к ней с сияющей улыбкой.

– Добрый день! А я тут с собаками беседую. Как спали?

– Благодарю, хорошо, – сказала она и холодно протянула руку; а он глядел на нее во все глаза, не скрывая радости и удовольствия.

Бедная Марыня тоже ему обрадовалась, обрадовалась от души. И сердце у нее сжалось оттого, что на его искреннее приветствие нужно отвечать так сдержанно и церемонно.

– Вы по хозяйству вышли? Разрешите мне с вами. Я сегодня же должен возвратиться, поэтому хочется с вами побыть. С удовольствием погостил бы подольше, да, видит Рог, не могу. Но теперь уж узнал сюда дорогу.

– Милости просим, если будет время.

Поланецкий посмотрел на нее с недоумением, только сейчас обратив внимание на ее ледяной тон и каменное лицо. Марыня ошибалась, думая, что он поступит так же, как поступили бы другие: возьмет ее тон. С его живостью и непосредственностью он не мог не спросить напрямик о причине.

– Вы чем-то огорчены?

– Нет, вам просто показалось... – смешалась она.

– Неправда. Я вижу прекрасно, и сами вы знаете, что не показалось. Вы такая сейчас, как в первый вечер. Но тогда я сам был виноват, заговорив некстати о деньгах. Вчера я попросил прощения, и все было хорошо – да еще как! А нынче опять. Скажите, почему?

Самый изощренный дипломат не поставил бы Марыню в более затруднительное положение. Ей казалось, она оттолкнет его своим поведением, а добилась обратного. Этот вопрос в упор задавался тоном не охладевшего, а незаслуженно обиженного человека.

– Скажите откровенно, что произошло? – продолжал он. – Скажите, прошу вас! Если вы считаете, как ваш отец, будто вчера я был гостем, а сегодня – кредитор, это же глупость... то есть ерунда! Я различий таких не признаю и никогда не буду вашим кредитором! – скорее уж должником, я и сейчас в долгу перед вами за вашу вчерашнюю доброту. И, видит бог, как бы мне хотелось остаться вашим должником.

С этими словами он заглянул ей в глаза в надежде вызвать давешнюю улыбку; но Марыня, хотя сердце у нее сжималось, не отступила от своего решения: во-первых, потому, что оно уже принято, а во-вторых, из опасения, как бы, признав его правоту, не пришлось пускаться в объяснения.

– Уверяю вас, – сказала она не совсем твердо, – вы или вчера меня не поняли, или сегодня. Я всегда одинакова и буду рада, если у вас сохранятся добрые воспоминания о нас.

Любезные слова, но в устах девушки, настолько непохожей на вчерашнюю, что на лице Поланецкого изобразилось раздражение и гнев.

– Если вам угодно, чтобы я сделал вид, будто верю вам, извольте. Но унесу все равно убеждение: в деревне в воскресенье ведут себя иначе, нежели в понедельник.

Марыню это задело; значит, Поланецкий успел уже невесть что вообразить об их отношениях.

– Я, право, не виновата, – скорее печально, чем сердито, возразила она и ушла под предлогом, что торопится к отцу.

Оставшись один, Поданецкий со злостью отогнал собак, которые опять стали ластиться к нему.

«Что же это такое? – рассуждал он сам с собой. – Вчера мила, сегодня дуется. Будто подменили! Как это глупо и пошло! Вчера – родня, а нынче – кредитор! Как можно так рассуждать! И кто дал ей право третировать меня, как тварь последнюю? Что я, ограбил кого-нибудь? И вчера небось знала, зачем я приехал. Хорошо же! Хотите видеть во мне кредитора – извольте! Пропади оно все пропадом!»

Марыня вбежала к отцу. Плавицкий уже встал и в халате сидел за столом с разложенными бумагами. Обернувшись, он поздоровался и снова углубился в чтение.

– Папа, – сказала Марыня, – я пришла поговорить насчет пана Поланецкого, ты...

– Я с твоим Поланецким в два счета управлюсь, – перебил он, не отрываясь от бумаг.

– Не думаю. Мне, во всяком случае, хотелось бы возвратить ему долг в первую очередь, чего бы нам это ни стоило.

Плавицкий повернулся и посмотрел на дочь.

– Как прикажешь тебя понимать: это опека над ним или надо мной? – спросил он ледяным тоном.

– Это дело нашей чести...

– И ты полагаешь, я нуждаюсь в твоих советах?

– Нет, но...

– К чему вообще этот пафос! Что с тобой сегодня?

– Папа, я прошу тебя, ради всего...

– А я тоже прошу предоставить это мне. Ты меня от хозяйства отстранила, я уступил, потому что не хочу отравлять оставшиеся мне годы ссорами с родной дочерью. Но не лишай меня хотя бы последнего угла, единственной этой комнаты, и не вмешивайся не в свое дело.

– Папочка, я ведь прошу только...

– Чтобы я на хутор перебрался? Какую же избу ты мне предназначаешь?

Пафос Плавицкий считал, видимо, своей привилегией: он даже привстал в своем персидском халате, ухватясь за ручки кресла, – ни дать ни взять король Лир, который всем своим видом давал понять бездушной дочери, что вот-вот рухнет, сраженный ее жестокостью. У Марыни слезы навернулись на глаза, горькое сознание

своего бессилия подступило к горлу. Она постояла с минуту молча и, боясь расплакаться, сказала тихо:

– Прости, папа...

И вышла из комнаты.

А через четверть часа в ту же комнату вошел по приглашению хозяина Поланецкий, раздраженный и злой, хотя старавшийся не показывать вида.

Плавицкий поздоровался, усадил его на стул, предусмотрительно поставленный рядом.

– Скажи, Стах, – заговорил он, кладя Поланецкому руку на плечо, – ведь ты не собираешься кровя нас лишить? И не желаешь смерти мне, который тебя встретил, как родного? И дочь мою не хочешь оставить сиротой, Не правда ли?

– Ни кровя, ни жизни лишать я вас не собираюсь, – отвечал Поланецкий, – и дочь чтобы ваша осталась сиротой, тоже не желаю. И прошу таких вещей не говорить, вы этим ничего не добьетесь, а мне неприятно это слушать.

– Хорошо, – ответил Плавицкий, несколько задетый тем, что его прочувственная речь не произвела должного впечатления. – Но не забывай, что ты бывал в моем доме еще ребенком.

– Да, бывал, с матерью, которая приезжала и после смерти тети Елены, потому что вы процентов не платили. Но это не имеет никакого отношения к делу. Долг числится за вами двадцать один год. С процентами это составляет двадцать четыре тысячи рублей. Для круглого счета, скажем, двадцать. Но эти двадцать тысяч вы обязаны вернуть, я для этого приехал.

– Приехал из-за денег... – поник Плавицкий головой. – Допустим; но почему же, Стах, вчера ты был совсем другой?

Поланецкого, который полчаса назад о том же спрашивал Марыню, вопрос этот совсем вывел из себя. Сдержавшись, он сказал:

– Давайте перейдем к делу.

– Не возражаю; но позволь мне сперва сказать несколько слов и не перебивай. Ты говоришь, процентов не платил. Верно. Но знаешь, какой у меня был расчет? Твоя мать не весь свой капитал мне отдала, не знаю, к вашей ли пользе, но это дело другое. Она бы и не могла без согласия опекунского совета. Так вот. Взял я деньги и подумал про себя: осталась женщина одна с ребенком на руках, неизвестно еще, как у нее сложится жизнь, пускай хоть эти деньги, отданные в долг, останутся у нее про черный день, пусть проценты нарастают, со временем они ей пригодятся. И с тех пор я все равно что ваша сберегательная касса. Твоя мать дала мне двадцать тысяч, а сейчас за мной двадцать четыре. Видишь, сколько! И ты за это хочешь мне отплатить неблагодарностью?

– Дорогой дядюшка, – сказал Поланецкий в ответ, – да вы, никак, меня за дурака или слабоумного принимаете. Предупреждаю заранее: меня на эту удочку не поймаете. Вы сказали, мне двадцать четыре тысячи причитается, где же они? Верните мне их в таком случае! И пожалуйста, без этих жалких слов...

– А ты имей, пожалуйста, терпение и не горячись, хотя бы из уважения к моему возрасту, – полным оскорбленного достоинства тоном возразил Плавицкий.

– Мой компаньон через месяц вносит двенадцать тысяч в одно дело, моя доля составляет столько же. Я, кажется, ясно сказал и еще раз заявляю: после двух лет бессмысленной переписки я не могу и не желаю больше ждать.

Плавицкий облокотился на стол, молча прикрыв рукою лицо.

Поланецкий с растущей неприязнью смотрел на него, ожидая ответа и спрашивая себя: «Кто он, плут или безумец? Или законченный эгоист, который добро и зло меряет собственной выгодой? Или воплощение того, другого и третьего?»

Плавицкий по-прежнему сидел, заслонив лоб, и молчал.

– Мне все-таки хотелось бы знать... – начал Поланецкий.

Но тот сделал знак, чтобы не мешал.

Наконец отнял руку от лица: оно сияло.

– Стах, – сказал он, – к чему нам ссориться, когда такой простой выход есть?

– Какой?

– Мергель!

– Что?!

– Привози своего компаньона, найди специалиста, пусть залезь оценит, и втроем оснуем компанию. Твой... как бить его, Бигель, пусть вносит свою долю, ты тоже доплатишь, если нужно, – и дело пойдет, прибыль можно получить колоссальную.

Поланецкий встал.

– Извините, но я не привык, чтобы надо мной насмехались. Мне нужны деньги, а не мергель, и все, что вы говорите, – глупые и недостойные уловки.

Наступило тягостное молчание. Плавицкий нахмурил лоб и насупил брови с видом разгневанного Юпитера. С минуту он взглядом испепелял смельчака, потом, шагнув к стене, на которой висело оружие, снял с гвоздя охотничий нож и протянул Поланецкому.

– Есть и другой выход: убей! – И распахнул полы халата, но потерявший терпение Поланецкий оттолкнул его руку.

– Перестаньте ломать комедию! – повысил он голос. – Я не желаю терять время на пустые разговоры. Хорошо, я уезжаю, надоели вы мне вот так с вашим Кшеменем, но имейте в виду, первому попавшемуся маклеру продаю закладную, даже за полцены, уж он-то не станет с вами церемониться.

– Иди! – театральным жестом простирая руку вперед, вскричал Плавицкий. – Продавай жидам родное гнездо, но помни: мое проклятие и тех, кто здесь жил,

всюду настигнет тебя!

С побледневшим от ярости лицом Поланецкий выскочил из комнаты, ища в гостиной шляпу и бранясь на чем свет стоит. Шляпа наконец нашлась, но только он хотел пойти посмотреть, не подана ли бричка, как вошла Марыня. При виде ее он поостыл немного, но, сообразив, что она всем тут заправляет, снова вспылал:

– Прощайте! Не желаю больше иметь никакого дела с вашим батюшкой. Вместо того чтобы вернуть деньги, он сначала меня благословил, потом мергель предложил, а напоследок проклял. Ничего себе, оригинальный способ платить долги...

В первую минуту Марыня хотела протянуть ему руку и сказать: «Негодование ваше мне понятно. Я сама была только что у отца, упрасивала его уплатить вам в первую очередь. Вы вольны поступать с нами, с Кшеменем как вам угодно, но не вините меня в злонамеренности, не думайте обо мне плохо».

Рука уже готова была протянуться, слова – слететь с губ, но Поланецкий, распаясь, совсем потерял самообладание.

– Довожу это до вашего сведения, – прибавил он, – потому что в первый вечер, когда я заговорил о деньгах, вы изволили оскорбиться и отослали меня к отцу. Благодарю за дельный совет, но он выгоден вам, а не мне, так что о дальнейшем я уж сам позабочусь.

Марыня закусила губы, на глазах ее выступили слезы негодования и обиды.

– Вы, конечно, можете меня оскорблять, заступиться за меня некому, – вскинув голову, сказала она.

И пошла к двери, чувствуя себя безмерно униженной и думая с горечью: вот награда за труд, в который она вкладывает все силы, весь пыл своей юной, чистой души. Поланецкий понял, что хватил через край. Он был отходчив, и гнев его моментально сменился жалостью. Он кинулся было за ней, готовый просить прощения, но поздно: Марыня удалилась.

Это еще больше его разъярило. Но злился он теперь и на самого себя. Ни с кем не простясь, уселся он в бричку, которую тем временем подали к крыльцу, и покинул Кшемень. Гнев душил его, и он ни о чем не мог думать, кроме мести. «Продам, за треть цены продам, пусть имущество описывают! Продам, даже если деньги не понадобятся, – просто назло!»

Гневное намерение сменилось твердым и непоколебимым решением. А поскольку Поланецкий был не из числа тех, кто не держит слова, данного даже самому себе, теперь оставалось только найти охотника приобрести закладную, взыскать деньги по которой значило, впрочем, в полном смысле обломать зубы о камень.

Бричка меж тем из аллеи выехала на открытую полевою дорогу. Поланецкий, придя понемногу в себя, стал думать о Марыне; мысли и впечатления сменялись, как в калейдоскопе: то он представлял себе ее лицо и фигуру, то вспоминал их воскресный разговор и как она была мила, и неприязненное чувство сменялось жалостью к ней, а жалость – опять злостью, ожесточением и недовольством собой, которое еще сильнее восстанавливало против нее. И каждое чувство попеременно овладевая им, освещало все своим светом. Вспоминая ее стройную фигуру, глаза и темные волосы, большой, но красиво очерченный рот, кроткое лицо, он не испытывал

к ней ничего, кроме симпатии. «Что-то чистое, девичье есть в ней», – подумал он; но вместе с тем губы, стан и плечи выдавали женщину, и было это особенно привлекательно. Вспомнились и ее приятный голос, спокойный взгляд и несомненная доброта. И он стал клясть себя при мысли, как груб был с ней перед отъездом, каким разговаривал тоном. «Если отец ее – старый фигляр, плут и дурак, – говорил он себе, – и она это знает, тем горше ее положение. Что же из этого следует? А то, что любой человек, у кого есть хоть капля сострадания, понял бы это и пожалел бедную, измученную девушку, а не накидывался на нее, как это сделал я». И он готов был пощечин себе надавать, представляя, как бы их сблизило и как она была бы ему признательна, прояви он после ссоры с ее отцом должную деликатность. Она протянула бы обе руки на прощанье, он бы поцеловал их, и они расстались бы друзьями. «Черт бы побрал эти деньги, – повторял он мысленно, – а заодно и меня!» Совершена непоправимая ошибка, и сознание этого лишало всякого душевного равновесия, толкая на путь, неправильность которого была для него очевидна. И он опять принимался за свой монолог: «И черт с ним, пускай все прахом идет! Продам закладную, и пусть у них описывают имущество, из дома выгоняют, поступит старик в какую-нибудь должность, а она – в гувернантки или за Гонтовского пойдет...» Нет, что угодно, только не это! Да он шею ему свернет! Пусть выходит за кого хочет, но не за этого болвана, увальня, невежу. И на голову бедняги Гонтовского так и посыпались нелестные эпитеты; вся злость обратилась против него, точно он был всему причиной. Свирепей людоеда приехал Поланецкий в Чернев на станцию, и попадись ему сейчас Гонтовский, он зубами впился бы ему в загривок, совсем как Уголино. К счастью, вместо Гонтовского он увидел несколько железнодорожных служащих, мужиков да евреев – и умное, страдальческое лицо советника Ямиша. Тот узнал его и, когда подошел поезд, пригласил к себе в отдельное купе, предоставлявшееся ему по знакомству с начальником станции.

– Знал, знал я вашего батюшку, – сказал он, – знал еще в лучшие его времена. Жена моя родом из тех мест. Помнится, Звихов, Вженчонца, Моцаже и Розвады принадлежали ему в Люблинском воеводстве. Знатное состояние! Дедушка ваш был в тех краях одним из самых крупных землевладельцев. А теперь... земли, наверно, в другие руки перешли?

– Не теперь, давно уже. Отец еще при жизни все состояние потерял. Болел, приходилось в Ницце жить, и хозяйство без присмотра в полный упадок пришло. Не получи мать наследство, уже после его смерти, нам совсем было бы худо.

– Зато вы преуспеваете. Имел я с вашей конторой дело через Абдульского – хмель вам продавал.

– Через посредство Абдульского?

– Да, и признаться, остался доволен. Ценой меня не обидели, и я убедился, что дело у вас ведется честно.

– Иначе нельзя. Компаньон мой, Бигель, – человек порядочный, я тоже Плавицкому не чета, – отвечал Поланецкий.

– Почему Плавицкому? – спросил удивленный Ямиш.

И Поланецкий, чье раздражение еще не улеглось, рассказал о происшедшем.

– Гм! В таком случае разрешите мне ответить откровенностью на откровенность, хоть он вам и родня, – заметил Ямиш.

– Какая родня! Его первая жена была родственницей и подругой моей матери – только и всего.

– Я его с детства знаю. Человек он неплохой, но испорченный. Единственный сын, которого сначала баловали родители, а потом – жены. Добрые, кроткого нрава, они обе молились на него. Всю жизнь он был словно солнце, вокруг которого остальные обращались как планеты, ну и привык считать, что люди ему всем обязаны, а он им – ничем. Когда единственным мерилom добра и зла становятся собственные удобства, очень легко о всякой морали позабыть. Плавицкий – человек самовлюбленный и распушенный; самовлюбленный потому, что всегда высоко мнил о себе, распушенный оттого, что никогда ни в чем не знал отказа. Постепенно то и другое так глубоко въелось, что стало второй натурой. Позже обстоятельства изменились к худшему, чтобы противостоять им, нужен был характер, а он всегда был бесхарактерным и начал прибегать к разным уверткам, ну и привык так жить в конце концов. Земля, скажу я вам, нас и облагораживает, и развращает. Один мой знакомый, обанкротившись, все, бывало, говаривал: «Это не я верчусь, она мной вертит». И он прав отчасти. Все мы рабы собственности, особенно земельной.

– Знаете, – сказал Поланецкий, – меня, хоть в роду моем все полагали свое благополучие в земле, к сельскому хозяйству не тянет. Знаю, что земледелие всегда будет существовать, без этого нельзя, но в теперешнем виде у него будущности нет. Все вы обречены.

– Я тоже на этот счет не обольщаюсь. Во всей Европе сельское хозяйство переживает упадок, это общеизвестно. Возьмем, к примеру, какого-нибудь помещика, у которого четверо сыновей, каждому, стало быть, достанется четверть отцовского достояния. Но каждый привык сызмала жить, как жил отец, – развязку легко предвидеть. Или же из четверых те, кто поспособнее, изберут себе иное поприще, а на земле останется самый неспособный, это уж обязательно. А бывает и так: один какой-нибудь вертопрах возьмет и промотает все, накопленное трудами многих поколений. И потом: землю возделывать мы еще умеем, а вот хозяйством управлять... А ведь хорошим администратором быть, пожалуй, поважнее, чем хорошим земледельцем. Что следует из этого? А то, что земля останется, мы же, ее владельцы, будем вынуждены ее покинуть. Но вот увидите: когда-нибудь, может быть, еще вернемся.

– Как так?

– Вот вы сказали, что вас тянет к земле, но это неверно. Она тянет – и притягательная сила ее так велика, что в известном возрасте и с известными средствами нельзя устоять и не приобрести хотя бы клочок земли. И с вами будет то же самое. И это лишь естественно. Потому что любое богатство, кроме земли, в конечном счете – фикция. Все из нее исходит, и все существует для нее. Промышленность, торговля и прочее по отношению к земле – как казначейский билет, который подлежит обмену на золото, хранящееся в банке. И вы, человек от земли, к ней вернетесь.

– Только не я.

– Разве можно знать наперед? Сейчас вы наживаете состояние, ну, а наживете, тогда что? В жизни должна быть цель. Поланецкие испокон века имели дело с землей, а вы, один из них, избрали другое занятие. Но ведь большинство помещичьих детей поневоле поступает так. Кто-то погибнет, а кто-то разбогатеет и

вернется, вернется не только с капиталом, но и с новой энергией и тем запасом знаний и умением расчетливо хозяйничать, которое дается практической деятельностью. Вернется, уступая влечению к земле и, наконец, чувству долга; последнее вам нет нужды объяснять.

– Хорошая сторона всего этого разве что одна: значит, мой так называемый дядюшка тоже обречен?

– Сколько ниточка ни тянется, а все равно оборвется, – сказал Ямиш после минутного раздумья. – По-моему, Кшемень им не удержать, даже если распродать Магерувку. Кого мне жаль, так это Марыню. Очень славная девушка. Вы, вероятно, не знаете, что два года назад старик вознамерился продать Кшемень и перебраться в город и отказался от этого не в последнюю очередь благодаря настояниям Марыни. То ли из-за матери, которая тут покоится, из уважения к ее памяти, то ли чтение на нее так повлияло – в последнее время много говорят и пишут о нашем долге перед землей, обязанности ее держаться, – но она сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить продажи. Бедняжка вообразила: нужно только поусердней взяться за дело, и все образуется. Отказывает себе во всем ради этого Кшеменя. И когда ниточка оборвется, а оборвется непременно, для нее это будет страшным ударом. Жалко девочку!

– Вы добрый человек, пан советник! – с присущей ему непосредственностью воскликнул Поланецкий.

Старик улыбнулся.

– Привязался к ней, – я ведь в некотором роде ее наставник по агрономической части. Очень будет ее не хватать.

Поланецкий помолчал, покусывая ус.

– Пусть замуж за кого-нибудь из соседей выходит, – сказал он, – вот и не придется уезжать.

– Замуж... замуж... Не так-то это просто для бесприданницы. Да и где тут у нас женихи? Гонтовский разве что. Он бы женился. Человек, кстати, неплохой и вовсе не такой ограниченный, как говорят. Но у нее-то чувства нет к нему, а не по любви она замуж не пойдет. К тому же Ялбжиков – именице крохотное. А старик еще в голову себе забрал, будто Гонтовские не ровня Плавицким, – тот, кажется, и сам в это уверовал. У нас ведь, вы знаете, всяк, кому не лень, барина из себя корчит. Один нос дерет оттого, что разбогател, другой – оттого, что разорился: а что ему остается делать. Люди посмеются, а там, глядишь, и привыкнут. Но не о том речь. Я знаю одно: кто на Марыне женится, приобретет сокровище.

У Поланецкого у самого было такое чувство, даже убеждение. И он, примолкнув, снова стал вспоминать о Марыне, воскрешать в памяти ее образ. И подумал, что будет тосковать по ней; но тотчас прогнал эту мысль, сказав себе, что такие встречи уже не раз бывали и неизменно забывались. Тем не менее, когда поезд подходил к Варшаве, он продолжал думать о ней и, выходя на вокзале из вагона, пробормотал сквозь зубы:

– Как нелепо получилось! Как нелепо!

ГЛАВА IV

Первый вечер по возвращении в Варшаву Поланецкий провел у Бигеля, своего компаньона и друга еще со школьной скамьи. Чех по происхождению, но из давно осевшей в Польше семьи, Бигель еще до объединения с Поланецким держал небольшую торгово-банковскую контору, пользуясь репутацией осторожного, но чрезвычайно добросовестного и аккуратного дельца. По вхождении же в дело Поланецкого – еще до окончательного возвращения из-за границы – их торговый дом, значительно расширив свои операции, стал совсем солидной фирмой. Компаньоны превосходно дополняли друг друга. У Поланецкого, живого и предприимчивого, рождались смелые замыслы, он был дельцом проницательным и дальновидным, а Бигель – превосходным исполнителем. Поланецкий был незаменим, когда нужно было действовать решительно, припереть кого-нибудь к стенке; когда же требовалась осмотрительность, терпеливость, умение обдумать, прикинуть, повернуть так и этак, появлялся на сцене Бигель. Словом, это были натуры противоположные, но, может быть, поэтому и крепко дружившие. В делах, правда, главенство принадлежало Поланецкому. Бигель верил в его недюжинные способности, а несколько идей, поданных Поланецким после вступления в дело и оказавшихся весьма прибыльными, еще больше эту веру укрепили. Мечтой обоих было сколотить капитал, достаточный, чтобы построить ситценабивную фабрику; технической стороной этого предприятия ведал бы Поланецкий, а административной – Бигель. Но хотя оба уже были люди состоятельные, до этой цели пока еще было далеко. Нетерпеливый, имевший широкие связи Поланецкий попытался было после заграницы привлечь «отечественные» капиталы, но столкнулся с общим недоверием. Как ни странно, фамилия его, раскрывая перед ним все двери, в делах скорее вредила, чем помогала. У тех, к кому он обращался, казалось, не укладывалось в голове, как это человек их круга, из хорошей семьи, с чисто польской фамилией может заниматься гешефтом. Поначалу это его страшно бесило, и рассудительному Бигелю долго приходилось ему втолковывать, что недоверие их оправдано, это плод многолетнего и горького опыта. Зная подноготную разных торгово-промышленных компаний, он называл ему множество имен, от государственного казначея Тизенгаузена и Теллюсов вплоть до директоров всевозможных земельных банков, которые к земле не имели ровно никакого отношения. «Время еще не пришло, – говорил Бигель, – но оно придет, вернее, уже наступает. На смену аферистам и дилетантам идут люди сведущие».

Не лишенный наблюдательности, несмотря на свою горячность, Поланецкий успел сделать немало любопытных открытий в кругах, куда имел доступ благодаря своим связям. К тому, что он занят делом, все относились в общем с одобрением. О нем отзывались даже с преувеличенной похвалой; но в этом одобрении слышалась как бы снисходительная нотка. Все подчеркивали, что уважают и считают его деятельность полезной, но не могли отнестись к ней как к вещи самой естественной и обыкновенной. «Они на меня поглядывают свысока», – думал Поланецкий и не ошибался. И пришел к заключению, что, попроси он руки какой-нибудь барышни из так называемого «хорошего» общества, его торговые дела и репутация «коммерсанта» скорее повредили бы ему, чем помогли, несмотря на всеобщее уважение. Любую из этих девиц выдали бы за него куда охотней, будь у него вместо прибыльного предприятия обремененное долгами имение или живи он на широкую ногу, проедаая проценты с капитала, а то и сам капитал.

После таких наблюдений Поланецкий охладел к светской жизни и в конце концов вовсе перестал бывать в обществе, довольствуясь лишь домом Бигеля, Эмилии Хвастовской да своей более тесной холостяцкой компанией. Обедал у Francois с Букацким, стариком Васковским и адвокатом Машко, ведя с ними нескончаемые беседы

и споры по разным поводам. Часто ходил в театр и другие публичные места, но в общем вел жизнь довольно уединенную и все не женился, несмотря на расположение к тому, подкрепляемое доводами рассудка, и достаток.

Поехав почти прямо с вокзала к Бигелям, Поланецкий первым делом излил злость, накопившуюся против «дядюшки», думая найти в лице хозяина дома благосклонного и сочувственного слушателя; но Бигель не выразил никакого особого волнения.

– Знаю я этот тип людей, – сказал он. – Да и, по правде говоря, откуда ему взять деньги, если у него их нет? Со всеми этими закладными надо ангельское терпение иметь. Земля быстро забирает денежки, а отдавать не торопится.

– Слушай, Бигель, – отвечал Поланецкий, – с тех пор, как ты спать стал после обеда и толстеть, с тобой тоже терпение нужно ангельское.

– А ты скажи по совести, – продолжал невозмутимо Бигель, – так уж тебе необходимы эти деньги? Разве нет у тебя суммы для уговоренного между нами пая?

– Интересно, а какое это имеет касательство к тебе или Плавицкому? Он должен, значит, пусть возвращает, и все тут!

Спор прекратило появление пани Бигель со стайкой детишек. Это была еще молодая, голубоглазая и темноволосая женщина, очень добрая и вечно занятая детьми, которых было шестеро и которых Поланецкий очень любил. За это она платила ему искренней дружбой, связывавшей ее и с Эмилией Хвастовской. Обе женщины знали и любили Марыню Плавицкую, порешив между собой женить на ней Поланецкого и настойчиво уговаривая его съездить в Кшемень. И теперь пани Бигель не терпелось узнать о его впечатлениях.

Но разговаривать не давали дети. Ясь, младший из умевших ходить, обхватив Поланецкого за ногу, тянул его к себе, крича: «Пам! Пам!», что на его языке означало: «Пан! Пан!»; девчушки, Эва и Иоася, без церемоний взобрались ему на колени, а Эдя с Юзей подступили к нему с серьезным разговором. Они прочли «Завоевание Мексики» и теперь в него играли. И Эдя, подняв брови и разводя руками, с жаром объяснял:

– Хорошо! Кортесом буду я, Юзя – конным конвоиром, но как быть, если ни Эвка, ни Иоася не хотят быть Монтесумой? Так ведь нельзя играть, правда? Кто-то же должен Монтесумой быть, иначе у мексиканцев не будет предводителя.

– А где у вас мексиканцы? – спросил Поланецкий.

– Вот эти стулья – мексиканцы, а те – испанцы, – отвечал Юзя.

– Ну, держитесь! Я буду Монтесумой, ну-ка, попробуйте теперь Мексику завоевать!

Поднялась невообразимая возня. Живой и непосредственный Поланецкий мгновенно обратился в ребенка и стал так отчаянно сопротивляться Кортесу, что тот запротестовал, заявив, и не без основания, что это противоречит истории: раз Монтесума был побежден, значит, пусть даст себя победить. Но Монтесума отвечал, что это его не касается, и продолжал сражаться. Игра затягивалась.

И пани Бигель спросила мужа, не дожидаясь конца:

- Ну, как визит в Кшемень?
 - Он там проделал в точности, что и сейчас, – флегматично отозвался Бигель. – Перевернул все вверх дном и уехал.
 - О ней он что-нибудь рассказывал?
 - Про Марыню я не успел расспросить, а с Плавицким расстался – хуже не придумаешь. Хочет продать закладную, а это, само собой, приведет к полному разрыву.
 - Жалко, – промолвила пани Бигель и за чаем, когда дети пошли спать, прямо спросила Поланецкого про Марыню.
 - Красива или нет, не знаю, – отвечал тот. – Я не задумывался над этим.
 - Неправда! – возразила пани Бигель.
 - Ну и пускай неправда. Ну и пускай мила, хороша собой и все что хотите. Да, можно влюбиться, да, можно жениться, но только ноги моей больше не будет в этом доме. Догадываюсь, зачем вы меня туда посылали. Надо было только предупредить заранее, что за птица ее отец; наверняка она характером в него, а раз так, благодарю покорно.
 - Подумайте, что вы говорите: «Мила, хороша собой, можно влюбиться» – и «характером в него». Одно с другим не вяжется.
 - Может быть, но что из этого. Не повезло, и баста!
 - А я вам вот что скажу: Марыня произвела на вас сильное впечатление – это раз. А два: другой такой замечательной девушки я в жизни не встречала, и кто на ней женится, будет только счастлив.
 - Тогда почему же на ней никто не женился до сих пор?
 - Да ведь ей двадцать один всего, она только в свет выезжать начала. И, пожалуйста, не думайте, будто нет на ее руку претендентов.
 - Ну вот и пусть выходит за них.
- Но он кривил душой: ему неприятна была мысль, что она может выйти за другого. И втайне был признателен пани Бигель за похвалы Марыне.
- Оставимте это, – сказал он. – Во всяком случае, вы ей настоящий друг.
 - Не только ей, но и вам! Признайтесь-ка откровенно, только совершенно откровенно: понравилась она вам?
 - Понравилась ли? Говоря откровенно, очень!
 - Ну вот видите! – воскликнула пани Бигель, просияв от удовольствия.
 - Что я вижу? Ничего не вижу! Да, понравилась, не отрицаю. Трудно представить себе создание милее и очаровательнее. К тому же она, наверно, еще и добрая! Но

что из этого? В Кшемень мне дороги больше нет. Я такого наговорил ей и Плавицкому, что об этом и думать нечего.

– Что, много натворили глупостей?

– Да уж немало.

– Это дело поправимое: напишите письмо...

– Писать Плавицкому и извиняться? Да ни за что! Ведь он же меня напоследок еще и проклял.

– Проклял?

– Да, по праву старшинства. От собственного лица и от имени всех предков. Он мне до того отвратителен, что я двух слов не смогу написать. Старый, надутый фигляр! Скорее уж у нее прощения попросить... да что это даст? Она будет на стороне отца, это можно понять. В лучшем случае ответит, что не сердится, на том наше знакомство и прекратится.

– Вот Эмилия вернется из Райхенгалля, и мы под каким-нибудь предлогом залучим Марыню сюда, тогда и постарайтесь загладить недоразумение.

– Поздно уже, поздно! – твердил Поланецкий. – Я себе дал слово продать закладную и продам.

– А может, это и лучше.

– Нет, хуже! – вмешался Бигель. – Я вот уговариваю его не продавать. А впрочем, думаю, и покупателя-то не найдется.

– Так что до тех пор Эмилия как раз успеет подлечить Литку и вернуться, – сказала пани Бигель и продолжала, обращаясь к Поланецкому: – После Марыни вам на других и смотреть не захочется, попомните мое слово. С Марыней я не так близка, как Эмилия, но попробую написать ей при случае и попытать, какого она мнения о вас.

На том и кончился разговор. По дороге домой Поланецкий отметил про себя, что Марыня уже прочно завладела его помыслами. По правде говоря, он ни о чем другом и думать-то не мог. Но вместе с тем понимал, что знакомство завязалось при неблагоприятных обстоятельствах и лучше, пока не поздно, выкинуть эту девушку из головы. Будучи отнюдь не слабовольным, а скорее сильным духом, и не склонный тешить себя мечтаниями, решил он трезво и всесторонне разобраться в своем положении. Девушка действительно обладала почти всеми достоинствами, какие хотелось бы видеть в своей будущей жене, к тому же прихлясь ему по сердцу. Но у нее отец, которого он и сейчас-то не переносит, а кроме того, такая тяжелая обуза, как этот Кшемень, настоящий камень на шею. «С этой напыщенной старой обезьяной я нипочем не уживусь, – размышлял Поланецкий. – Одно из двух: или под его дудку плясать, на что я, безусловно, неспособен, или ежедневно цапаться с ним, как вот в Кшемене. В первом случае я, независимый человек, попал бы в кабалу к старому эгоисту, во втором – в незавидном положении очутится моя жена, отчего пострадали бы наши отношения».

«По-моему, это трезво и логично, – продолжал рассуждать сам с собой

Поланецкий. – Неправ я был бы, будь я в нее влюблен. Но надеюсь, это не так; я увлечен, но не влюблен. А это разные вещи. Ergo[8 - Итак (лат.)], надо перестать о ней думать, пусть себе выходит за кого угодно».

При этой мысли у него опять шевельнулось ревнивое чувство, но он подумал: «Что удивительного, я ведь ею увлечен. И вообще, столько уже пережито подобных неприятностей, перенесу и эту. С каждым днем она будет все менее ощутимой».

Но скоро понял, что вместе с ревностью колет его и сожаление о том, что открывшаяся было перспектива исчезла. Завеса будущего словно приподнялась и, показав, как могло бы все быть, снова опустилась, и жизнь вернулась в прежнюю колею, которая вела в никуда, в пустоту. «А прав, пожалуй, Васковский, – подумал он, – деньги – лишь средство». А смысл жизни в другом. Должна быть цель, серьезное дело, и прямое, честное отношение к нему дает удовлетворение. Это удовлетворение и есть душа жизни, а без этого нет в ней ничего. Поланецкий был сыном своего века и носил в себе его великое смятение – это недуг нашей клонящейся к упадку эпохи. Он разочаровался в догмах, на которых прежде зиждилась жизнь. Усомнился и в рационализме: может ли он, спотыкающийся на каждом шагу, заменить веру; но и веры не обрел. От современных «декадентов» отличался он, однако, тем, что не носился с собой, со своими нервами и сомнениями, своей душевной драмой и не считал ее патентом на праздность. Напротив, у него было более или менее ясное чувство: жизнь, загадка она или не загадка, должна быть исполнена трудов и усилий. Ибо, коль скоро на все ее бесчисленные «почему» нельзя ответить, надо хотя бы что-то делать, – дело само отчасти и будет на них ответом, Пусть неполным, но, по крайней мере, облегчающим ответственность. Итак, где выход? В создании семьи и работе на благо общества. Доводами рассудка подкрепляла эта философия естественный мужской инстинкт, указывающий на брак как одну из главных жизненных целей, к которой Поланецкий давно всеми помыслами стремился. И в какой-то миг уверовал, что Марыня и есть та самая тихая гавань, куда «корабль бег направил в ненастную ночь». Когда же стало ясно: огни в этой гавани зажжены не для него и надо дальше плыть по неведомым водам, им овладели усталость и тоска. Но, посчитав свои рассуждения по сему поводу вполне логичными, он вернулся домой почти убежденный, что это еще «не то» и придется подождать.

Придя на другой день в ресторан обедать, он застал там Васковского с Букацким. Вскоре явился и Машко в белом жилете, с моноклем в глазу, с пышными бакенбардами, обрамлявшими его покрытую красными пятнами самодовольную физиономию. Поздоровавшись, они принялись расспрашивать Поланецкого о поездке в Кшемь: им было известно, почему на ней настаивали дамы, и о Марыне Плавицкой они знали от пани Эмилии.

Выслушав рассказ, Букацкий, с лицом бледнее северского фарфора, сказал с обычной своей флегматичностью:

– Значит, война? Коль скоро эта девушка так поразила твое воображение, сейчас бы самая пора повести на нее наступление. Женщины охотней принимают руку на каменистой дороге, чем на ровной.

– Ну, так и подавай ей руку сам, – ответил раздраженно Поланецкий.

– Видишь ли, мой милый, я этого не могу по трем причинам: во-первых, мое воображение пленено пани Эмилией; во-вторых, у меня по утрам болят шея и затылок – верное предвестие менингита; а в-третьих, я гол как сокол.

– Ты?

– Во всяком случае, сейчас – я купил несколько полотен Фалька, все *avant la lettre* [9 – подлинные (фр.)], и по крайней мере с месяц окажусь на мели. А если еще получу из Италии картину Мазаччо, о которой веду переговоры, то придется затянуть пояс на целый год.

Васковский, внешне чем-то напоминавший Машко, скорее всего, румянцем, но гораздо старше его и с лицом, дышавшим добротой, устремил свои голубые глаза на Букацкого.

– Тоже болезнь века, – сказал он. – Коллекционерство, одно коллекционерство, куда ни глянь.

– Ого! Сейчас начнется спор, – заметил Машко.

– Что ж, послушаем, все равно делать нечего, – сказал Поланецкий.

– А что вы имеете против коллекционерства? – принял вызов Букацкий.

– Ничего, – отвечал Васковский. – Это старческая – вполне в духе нашего времени – манера поклоняться искусству. Вам не кажется это признаком одряхления? По-моему, явление очень характерное. Раньше любители искусства шли к нему, любясь им в музеях, храмах, – так сказать, на месте; теперь его стремятся перетащить к себе в кабинет. Раньше увлечение им завершалось коллекционированием, а теперь с него начинают – и собирают далеко не лучшие образцы. Я даже не про Букацкого – сейчас любой мальчуган обязательно что-нибудь коллекционирует, если есть на что купить. Причем не какие-нибудь художественные произведения, а так, жалкие поделки, а то и просто всякие пустяки. Видите ли, мои милые, я всегда считал, что любовь и увлечение – вещи разные; по-моему, кто увлекается женщинами, на большое чувство не способен.

– Пожалуй, доля правды в этом есть! – воскликнул Поланецкий.

– Меня это мало трогает, – сказал Машко, запуская пальцы в свои длинные, по английской моде, бакенбарды. – Мне в этом слышится брюзжанье старого учителя на нынешние времена.

– Учителя? – переспросил Васковский. – Я к избиению младенцев не причастен и в роли Ирода не выступаю, с тех пор как по чистой случайности имею кусок хлеба. И потом, вы ошибаетесь, считая меня брюзгой. Напротив, я с радостью отмечаю приметы, предвещающие конец нашей эпохи и начало новой.

– Мы в открытом море и к берегу не скоро пристанем, – пробурчал Машко.

– Не перебивай! – сказал Поланецкий.

Но Васковского нелегко было сбить с толку.

– Дилетантство мельчит вкусы, и высокие идеалы гибнут. Их место занимает страсть к потреблению. А это не что иное, как идолопоклонство. Мы просто не отдаем себе отчета, насколько в нем погрязли. И что же остается? Остается дух, та духовность ариев, которая не коснеет, не замирает, – отмеченная печатью божественности, ока

несет в себе созидательное начало: ей уже тесно в языческих путях, она уже бунтует, и недалеко новое возрождение во Христе, в искусстве и всюду... В этом нет сомнения.

И глаза Васковского, простодушно-детские, словно лишь отражающие окружавшие предметы, и вместе устремленные в бесконечность, обратились к окну, за которым сквозь серые тучи там и сям пробивались солнечные лучи.

– Жаль, что не доживу из-за своей головы; интересное будет время, – сказал Букацкий.

Машко, недолюбливавший Васковского за бесконечные разглагольствования по всякому поводу и без повода и окрестивший его «пилой», вынул сигару из бокового кармана сюртука, откусил кончик и сказал, обращаясь к Поланецкому:

– Слушай, Стась, ты правда решил закладную продать?

– Да. А почему ты спрашиваешь?

– Хочу как следует обмозговать.

– Ты?

– А что? Ты знаешь ведь, я интересуюсь такими делами. Мы об этом еще потолкуем. Сегодня ничего определенного не могу тебе сказать, а завтра посмотрю по кадастровым книгам и решу, стоящее ли это дело. Приходи после обеда ко мне, и, может, мы за чашкой кофе о чем договоримся.

– Ладно. Договоримся или нет, желательно только поскорее. Хочу уехать, как позволят наши с Бигелем дела.

– А куда ты собираешься? – спросил Букацкий.

– Сам не знаю еще. Жарко уж очень в городе. Куда-нибудь, где лес и вода.

– Это устарелый предрассудок, – сказал Букацкий. – Одна сторона улицы в городе всегда в тени, не то что в деревне. Я вот хожу по теневой стороне и на жару не жалуюсь, и на лето не выезжаю никогда.

– А вы едете куда-нибудь? – спросил Поланецкий у Васковского.

– Пани Эмилия зовет в Райхенгалль. Может, и выберусь к ним.

– Поедьте вместе. Мне все равно куда. А Зальцбург я люблю, и пани Эмилию с Литкой приятно будет повидать.

Букацкий протянул свою худую прозрачную руку, взял зубочистку из стаканчика и, ковыряя в зубах, промолвил бесстрастным, безучастным голосом:

– У меня в душе подымается такая буря ревности, что я готов лететь за вами. Берегись, Поланецкий, а то взорвусь, как динамит.

Тон, каким это было сказано, настолько не соответствовал угрозе, что Поланецкий рассмеялся.

- Мне и в голову не приходило влюбляться в пани Эмилию. Благодарю за идею!
- Горе вам обоим! – сказал Букацкий, продолжая ковырять в зубах.

ГЛАВА V

На другой день после раннего обеда у Бигеля Поланецкий в условленный час направился к Машко. Видимо, его ждали: в кабинете стояли изящные кофейные чашечки и ликерные рюмки. Но сам хозяин отсутствовал: принимал, по словам лакея, клиенток. Из-за дверей гостиной вместе с его басом долетали женские голоса.

Коротая время, Поланецкий стал рассматривать развешанные по стенам портреты предков Машко, подлинность которых вызывала сомнения у приятелей молодого адвоката. Особенно один раскосый прелат служил мишенью неистощимых острот для Букацкого, но Машко это нимало не смущало. Он решил во что бы то ни стало выдать себя за человека знатного происхождения, с недюжинными деловыми качествами, зная, что в обществе, в котором он жил, может, и посмеются над ним, но ни у кого не достанет духу его одернуть. Сам же, напористый и беспардонный сверх всякой меры и, надо отдать ему должное, оборотистый, он намеревался добиться успеха с помощью этих своих качеств. Люди, к нему не расположенные, называли его наглецом – так оно и было, с той разницей, что наглость его была сознательной. Едва ли даже шляхтич родом, он со знатью держался так, словно был куда знатнее, с богачами – словно был куда богаче. И подобная тактика не только сходила ему с рук, но и возымела свое действие. Боялся он только зарваться; впрочем, и это понятие толковал достаточно расплывчато. И в результате добился, чего хотел: был всюду вхож и пользовался неограниченным кредитом. Среди дел, которые ему поручались, бывали прибыльные, но денег он не копил. Время, полагал он, еще не пришло – будущее, чтобы оправдать возлагаемые на него надежды, требовало затрат. Что вовсе, однако, не означало, будто он сорил деньгами или роскошествовал – так, по его представлению, вели себя лишь парвеню, – но когда нужно, умел быть, по его выражению, «благоразумно щедр». За Машко установилась репутация дельца ловкого и обязательного.

Обязательность его основывалась на предоставляемом ему кредите, поддерживая, в свой черед, этот кредит, что позволяло ему ворочать поистине крупными суммами. И он ни перед чем не останавливался. Кроме смелости, ему присуща была азартность, исключая долгие размышления, и вера в свою звезду. А сопутствовавший ему успех закрепил эту веру. Он сам толком не знал, какими средствами располагал, но распорядился большими капиталами и слыл богатым человеком.

Но главной пружиной его жизни было не корыстолюбие, а тщеславие. Богатство, конечно, тоже прельщало его, но пуще всего он стремился походить на важного барина в английском вкусе. Даже внешность свою заставил он служить этой слабости, чуть ли не гордясь тем, что был некрасив, находя в этом признак аристократизма. И если не примечательное, то нечто необычное было-таки в его наружности: в толстых губах, широких ноздрях, пятнах, рдевших на щеках. Самоуверенная надменность придавала ему сходство с англичанином, и впечатление это еще усиливалось тем, что он носил монокль, вскидывая поэтому голову – и задирая ее еще выше благодаря привычке расчесывать пальцами свои русые бакенбарды.

Поланецкий поначалу терпеть его не мог и не скрывал этого. Но постепенно свыкся с ним; отчасти потому, что с ним Машко держался иначе, чем с другими: может быть, питал к нему уважение в глубине души. А может, понимал: важничать с человеком таким горячим означало идти на риск немедля получить отпор, да еще весьма резкого свойства. В конце концов, часто встречаясь, молодые люди стали снисходительно относиться к взаимным слабостям, и выпроводивший посетительниц Машко отбросил всякую важность, заговорив с Поланецким как самый обыкновенный смертный, а не какой-нибудь вельможа или английский лорд.

– Хуже нет с бабьем дело иметь. *C'est toujours une mer a boire!*[10 - Хлопот не оберешься! (фр.)] Поместил их капитал в дело и регулярно плачу проценты – так нет же! По крайней мере, раз в неделю приходят справиться, не стряслось ли чего.

– А мне ты что скажешь? – спросил Поланецкий.

– Кофе прежде выпей, – сказал Машко, зажигая спиртовку под кофейником. – С тобой хоть канители не будет. Видел я опись и закладную. Дело нелегкое, хотя и не пропащее. Конечно, издержки будут, разьезды и так далее, поэтому целиком всей суммы дать я тебе не могу. Две трети выплачу в течение года в три приема.

– Ну что ж, согласен. Я ведь еще больше собирался уступить. Когда же первый платеж?

– Через три месяца.

– Я оставлю доверенность Бигелю на случай, если меня не будет.

– А сейчас едешь в Райхенгалль?

– Вероятно.

– Ого... это уж не Букацкий ли подал мысль?..

– Каждому свое... Ты же вот покупаешь зачем-то кшеменьскую закладную? Суцая ведь мелочь для тебя.

– Мелкие дела крупным не помеха. Но тебе я могу сказать: деньги у меня, ты знаешь, есть и кредит имеется. Но кусок земли, и притом большой, во всех смыслах – неплохое обеспечение. Плавицкий мне самому однажды говорил, что охотно продал бы Кшмень. А теперь, я думаю, пойдет на это еще охотней и отдаст дешевле, гораздо дешевле, с уплатой только части вперед, а остальное – в рассрочку, в виде какой-нибудь там *rente viagere*[11 - пожизненной ренты (фр.)]. Вообще посмотрим. Приведу имение в порядок, почищу его слегка, как лошадь перед ярмаркой, и, может, опять продам. А пока что буду числиться помещиком, чему я, *entre nous*[12 - между нами (фр.)], придаю некоторое значение.

Поланецкий, с трудом заставив себя выслушать Машко, сказал:

– Откровенность за откровенность: купить будет не так-то просто. Панна Плавицкая решительно не хочет его продавать. Женщина, что поделаешь! Привязалась к своему Кшеменю и сделает все, чтобы имение осталось у них.

– Ну, что же, в крайнем случае стану кредитором Плавицкого, – не беспокойся, деньги мои не пропадут. Во-первых, могу продать закладную по твоему примеру.

Во-вторых, у меня, как адвоката, побольше возможностей взыскать с него долг. Наконец, придумаю что-нибудь, какой-нибудь хитрый способ, и Плавицкому подскажу.

– Можешь сам пустить имение с молотка и сам же приобрести его на аукционе.

– Нет! Так пусть поступает кто-нибудь другой, но не Машко, черт побери! Есть и еще средство; как знать, может, оно больше устроит панну Плавицкую, чьи достоинства мне, кстати, небезразличны.

Поланецкий, допив чашку, со стуком поставил ее на стол.

– Ах, вот что! – сказал он. – Конечно, можно и так помещиком стать.

И в порыве досады и гнева хотел было встать и уйти, сказав Машко: «Я раздумал», – но сдержался.

– А почему бы и нет?.. – проговорил Машко, расчесывая пальцами бакенбарды. – У меня таких намерений не было, честное слово, и никаких определенных планов я не строю. А все-таки... чем черт не шутит? С панной Плавицкой я как-то зимой познакомился в Варшаве, она мне очень понравилась. Из хорошей семьи, имение расстроенное, правда, но большое, его еще можно в порядок привести. Как знать? И эту возможность стоит в соображение принять. Я с тобой начистоту, как всегда. Ты за долгом поехал, но я-то знал, зачем тебя туда направляют дамы. А вернулся злой как черт, и я допускаю, что на барышню ты видов не имел. Но если я ошибаюсь, то немедленно отступлюсь, не от планов – я тебя уверяю, их не было, – но даже от мыслей таких. Даю слово! Но в противном случае не будь собакой на сене и не становись девушке поперек дороги. А теперь давай, я слушаю тебя.

Поланецкий вспомнил свои вчерашние размышления и подумал, что Машко прав: ни к чему становиться Марыне поперек дороги.

– Никаких видов у меня на девушку нет, – сказал он, помолчав. – Женишься ты на ней или нет – дело твое. Но скажу честно: одно мне во всем этом не нравится, хотя это в моих же интересах, – что закладную покупаешь ты. Что у тебя нет сейчас намерений, я верю, ну, а если появятся? Это будет довольно странно... Будто ты расставил сети, хочешь оказать давление на нее... Впрочем, дело твое...

– Вот именно! И скажи мне это кто-нибудь другой, уж я бы сумел его поставить на место. А тебе ручаюсь: будь у меня такое намерение явилось, в чем я сомневаюсь, я не стал бы требовать руки панны Плавицкой в счет процентов Коль скоро я, положив руку на сердце, могу себе сказать, что купил бы закладную в любом случае, значит, и могу со спокойной совестью ее купить. Хочу купить Кшемень, потому что он мне нужен: вот как дело обстоит. А значит, вправе прибегнуть к потребным для этой цели средствам.

– Ну, ладно. Согласен. Вели составить контракт и пришли мне на подпись или сам занеси.

– Контракт мой помощник уже заготовил: дело только за твоей подписью.

И через четверть часа контракт был подписан. Вечером того же дня Поланецкий в прескверном настроении сидел у Бигелей; пани Бигель тоже была огорчена и не скрывала этого. И Бигель, пораскинув умом, протянул с обычной своей рассудительной осторожностью:

– Что Машко такой возможности не исключает, сомнений нет. Вопрос разве в том, обманывает он только тебя, отрицая это, или себя тоже.

– Боже ее упаси от Машко, – промолвила пани Бигель. – Мы все видели, какое большое впечатление она на него произвела.

– Мне всегда казалось, – заметил Бигель, – что для таких людей, как Машко, важнее всего состояние, но я могу ошибаться. Может, у него другой расчет: взять жену из хорошей, старинной семьи, умножив тем свои связи, подняв свой престиж, и стать поверенным в делах целого широкого общественного слоя. Расчет вовсе неплохой: если он воспользуется имеющимся у него кредитом, то при своей сноровке сумеет со временем очистить Кшемень от долгов.

– Вы сказали, панна Плавицкая произвела на него большое впечатление, – вставил Поланецкий, – помнится, ее отец тоже об этом поминал.

– Что же теперь делать? – спросила пани Бигель.

– Да ничего. Пусть выходит за Машко, если хочет, – отвечал Поланецкий.

– А вы?

– А я пока что уеду в Райхенгалль.

ГЛАВА VI

И правда, через неделю он уехал в Райхенгалль, еще перед тем получив письмо от пани Эмилии, которая справлялась о поездке в Кшемень. На письмо он не ответил, решив рассказать все при встрече. А Машко накануне его отъезда отправился в Кшемень – известие об этом подействовало на Поланецкого сильнее, чем можно было ожидать. Он убеждал себя, что уже в Вене забудет об этом, но не мог и, гадая о том, выйдет ли Марыня за Машко, даже послал из Зальцбурга письмо Бигелю, якобы деловое, а на самом деле в надежде что-нибудь разузнать. С пятого на десятое слушал он рассуждения своего попутчика, Васковского, о взаимоотношениях национальностей в Австро-Венгерской империи и о миссии современных народов вообще. Порой, поглощенный мыслями о Марыне, он даже забывал отвечать на вопросы. И удивительное дело: уже не образ ее, а точно она сама, живая, возникала у него перед глазами, до того отчетливо он видел ее. Видел милое, кроткое лицо с красиво очерченным ртом и родинкой над верхней губой, спокойный взгляд ее глаз – внимательный и сосредоточенный, когда она слушала его; видел всю эту стройную, грациозную фигурку, от которой веяло пылким и вместе чистым молодым одушевлением. Вспомнил ее светлое платье и выглядывающую из-под него туфельку, нежные, покрытые легким загаром руки и темные волосы, которыми в саду играл ветерок. Никогда он не предполагал, что воспоминания, причем о человеке, виденном мимолетно, могут быть почти осязаемы. И, почтя это за лишнее доказательство того, сколь глубокое она произвела на него впечатление, никак не мог свыкнуться с мыслью, что оставившее в его душе такой след существо достанется Машко. Ему становилось не по себе, и – в полном согласии с его деятельной натурой – являлось неудержимое желание любой ценой этому помешать. Но он тут же напоминал себе, что добровольно отказался от панны Плавицкой и это вопрос уже решенный.

В Райхенгалль приехали рано утром и в первый же день повстречали пани Хвастовскую с Литкой в городском саду, еще не успев узнать ее адрес. Не ожидавшая их встретить, особенно Поланецкого, пани Эмилия искренне обрадовалась. Радость ее омрачилась лишь одним: Литка, девочка очень впечатлительная, страдавшая астмой и с больным сердцем, обрадовалась еще больше и от сердцебиения и удушья чуть не потеряла сознание.

Но это с ней случалось часто, и, едва приступ прошел, все опять повеселели. По дороге домой девочка не отпускала руки «пана Стахао, время от времени еще крепче ее сжимая, точно желая удостовериться, что он тут, рядом с ней в Райхенгалле, и ее обычно печальное личико освещалось радостью. И Поланецкому не удалось улучшить минуту, чтобы поговорить с пани Эмилией, и она тоже не могла его ни о чем расспросить: Литка, без умолку болтая, водила гостя по Райхенгаллю, за один раз пытаясь показать ему все тамошние достопримечательности.

– Это еще что! – твердила она поминутно. – На Тумзее – вот где красиво, но туда мы завтра пойдем. – И переспрашивала: – Мамочка, ты ведь позволишь? Мне уже много можно ходить. А это совсем недалеко. Позволишь, да?

Иногда ж, отстранясь немного и не выпуская руки Поланецкого, взглядывала на него своими большими глазами и повторяла:

– Пан Стах! Пан Стах!

Поланецкий, со своей стороны, обращался с ней с заботливой нежностью старшего брата, лишь по временам добродушно ее удерживая:

– Не спеши, котенок, а то запыхаешься.

– Да ладно вам, пан Стах! – надувая губки, будто с неохотой соглашалась она и прижималась к нему.

Поланецкий нет-нет, да и поглядывал на светившееся радостью лицо пани Эмилии, словно давая ей понять, что хотел бы поговорить. Но безрезультатно: та, не желая огорчать Литку, предпочла отдать их общего друга в ее полное распоряжение. И лишь после обеда в саду, где Васковский среди зелени под чирикание воробьев принялся рассказывать, как любил птиц Франциск Ассизский, и девочка заслушалась, подперев голову рукой, Поланецкий улучил момент.

– Может, пройдемся с вами? – обратился он к Хвастовской.

– С удовольствием, – отвечала та. – Литка, посиди с паном Васковским, мы сейчас вернемся. Ну, что? – спросила она, отойдя на несколько шагов.

Поланецкий начал рассказывать, но то ли, зная утонченную натуру пани Эмилии, побоялся уронить себя в ее глазах, то ли последние размышления о Марыне лиричнее настроили его, только все в его рассказе предстало в ином свете. Ссоры с Плавицким он, правда, от нее не утаил, но умолчал, что и с Марыней обошелся перед отъездом прямо-таки невежливо, зато не поскупился на похвалы ей.

– И так как долг этот с самого начала встал между мной и Плавицким, поведя к размолвке, что не могло не отразиться на наших с панной Марыней отношениях, я решил продать закладную – и продал ее Машко перед отъездом сюда, – закончил он.

– И хорошо сделали. В таких делах не должно быть места никаким денежным соображениям, – с поистине святой простотой заметила пани Эмилия, не имевшая ни малейшего представления о практической жизни.

– Да, конечно!.. Вернее, нет!.. – возразил Поланецкий, устыдясь, что вводит в заблуждение этого ангела. – Мне кажется, я поступил дурно. И Бигель того же мнения. Ведь Машко будет притеснять их, предъявлять разные требования, может продать Кшемень с аукциона.. Нет, благородным мой поступок не назовешь, и сблизить он нас не сблизит. Я бы никогда так не поступил, если бы не был убежден, что все это надо выбросить из головы.

– Нет, нет! Не говорите так. Я верю в предопределение, верю, что вы самим небом предназначены друг для друга.

– Это мне непонятно. Выходит, не нужно ничего предпринимать, уж коли мне все равно суждено жениться на панне Плавицкой.

– Нет. Конечно, я со своим женским умом, может быть, говорю глупости, но мне кажется, провидение печется о всеобщем благе, оставляя нам свободу действий, и в мире столько горя как раз оттого, что люди противятся своему предназначению.

– Может, вы и правы. Но и доводам рассудка противиться трудно. Разум – это светоч, данный нам богом. И потом, кто поручится, что панна Марыня пошла бы за меня?

– Странно, что до сих пор нет письма от нее. Пора бы ей уже написать о вашем посещении. Думаю, самое позднее завтра получу от нее весточку – мы пишем друг другу каждую неделю. Она знает, что вы здесь?

– Нет. Я сам в Кшемене еще не знал, куда поеду.

– Это хорошо. Тем она будет откровенней, хотя и всегда правдива.

На том и кончился в первый день их разговор. Вечером, уступая просьбам Литки, порешили отправиться завтра на Тумзее, – выйти пораньше, пообедать на берегу озера и до захода солнца вернуться в экипаже или, если девочка не очень устанет, пешком. Не было еще девяти, когда Поланецкий в сопровождении Васковского приблизился к вилле, где жила с дочкой пани Эмилия. Обе, уже готовые, поджидали их на террасе, являя собой такое восхитительное зрелище, что даже старик Васковский умилился.

– Создает же господь бог людей по образу и подобию цветов! – промолвил он, указывая на мать с дочкой.

Недаром в Райхенгалле все ими восхищались. Пани Эмилия со своим одухотворенным ангельским личиком была воплощением материнской любви, нежности и самоотверженности; при виде больших, печальных Литкиных глаз, белокурых волос и тонких, точеных черт казалось, что это не живая девочка, а произведение искусства. Декадент Букацкий говорил про нее: она соткана из тумана, чуть тронутого розовым светом зари. В ней и впрямь было что-то неземное, а болезнь, чрезмерная впечатлительность и экзальтированность лишь подчеркивали это. Мать души в ней не чаяла, знакомые тоже, но общая любовь не испортила эту добрую от природы девочку.

В Варшаве Поланецкий по несколько раз в неделю бывал у них, искренне привязавшись к обеим. В городе женская честь уважается меньше, чем где бы ни было, и эти частые посещения тоже послужили поводом для сплетен – совершенно необоснованных: пани Эмилия была чиста, как дитя, и в ее восторженной головке не умещалась сама мысль о пороке. Она была столь невинна, что не догадывалась даже считаться с так называемыми условностями. Радушно принимая всех, кого любила Литка, она отказалась от нескольких выгодных партий, дав ясно понять, что живет лишь ради дочери. Один только Букацкий осмеливался утверждать, будто испытывает к ней нежные чувства. Для Поланецкого же эта кристально чистая женщина находилась на такой недостижимой высоте, что даже намек на любовное влечение не закрадывалось в его отношении к ней. И сейчас на замечание Васковского он отозвался простодушно:

– Да, обе восхитительны!

А поздоровавшись, повторил приблизительно то же, словно делясь впечатлением. Пани Эмилия улыбнулась, не скрывая удовольствия оттого, что похвала в равной мере относилась к Литке.

– Я получила сегодня утром письмо и нарочно захватила с собой, чтобы показать вам, – сказала она, подбирая на ходу подол длинного платья.

– Можно сейчас прочесть?

– Извольте.

Лесной дорогой пошли они на Тумзее; впереди – пани Эмилия с Васковским и Литкой, позади склонивший голову над письмом Поланецкий.

Письмо было такого содержания:

«Дорогая Эмилька! Получила нынче твое письмо и спешу ответить на твои многочисленные вопросы. По правде говоря, мне и самой не терпится поделиться с тобой своими впечатлениями. Пан Поланецкий уехал от нас в понедельник, то есть два дня назад. В первый день я приняла его обычно, как всех, и ничего такого мне в голову не пришло. На другой день, в воскресенье, я была свободна, и мы всю вторую половину дня провели вдвоем, так как папа уехал к Ямишам. Что тебе сказать о нем? Он интересный, простой и при этом настоящий мужчина! А когда речь зашла о тебе и Литке, я поняла, что он к тому же добрый. Мы долго гуляли в саду и по берегу пруда. Он поцарапался об лодку, и я перевязала ему руку. Он так умно говорил, что я просто заслушалась. Ах, Эмилька, дорогая, стыдно признаться, но в этот вечер он вскружил мне, несчастной, голову. Ты знаешь, до чего я одинока, замучена работой, как редко вижу таких людей. Мне показалось, что передо мной пришелец из какого-то другого, лучшего мира. Он не просто мне понравился, а покорила своей добротой, мысли о нем долго не давали мне заснуть. На другой день он, правда, поссорился с папой, досталось заодно и мне, хотя видит бог, как много я бы дала, чтобы между нами никаких денежных счетов не было. В первую минуту было очень обидно, и знай он, гадкий человек, сколько слез я пролила в своей комнате, так пожалел бы меня. Но потом я подумала: папа неправ, а он, видно, вспыльчив, и не сержусь больше на него. Скажу тебе по секрету: внутренний голос подсказывает мне, что он свою закладную на Кшемень не продаст, хотя бы для

того, чтобы еще раз к нам приехать. А то, что они так плохо расстались с папой, еще ни о чем не говорит. Папа сам не придает этому большого значения, это просто обычный его прием, который ничего общего не имеет с его убеждениями и чувствами. Во мне пан Поланецкий всегда найдет преданного друга, и я все сделаю, чтобы после продажи Магерувки устранить причины для недоразумений и вообще, чтобы не было больше между нами этих противных денежных расчетов. Ему волей-неволей придется еще приехать, хотя бы за деньгами, правда ведь? Может, и я ему понравилась немного, а что у вспыльчивого человека вырвется иной раз резкость – не беда. Только не говори ему ничего при встрече и, ради бога, не брани его. Я верю почему-то, что ни нам с папой, ни моему любимому Кшеменю ничего плохого он не сделает; и еще думаю, как хорошо было бы на свете, будь все другие похожи на него. Крепко тебя обнимаю, моя дорогая, и Литку тоже. Напиши поподробней о ее здоровье.

Любящая тебя М а р ы н я».

Дочитав, Поланецкий сунул письмо в боковой карман сюртука, застегнулся на все пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и почувствовал неодолимое желание разломать свою трость на мелкие куски и выбросить ее в ручей; однако ничего такого не сделал, пробормотав только сквозь стиснутые зубы: «Ну и прекрасно! Вообразила, что знаешь Поланецкого? Как же, надейся, не обидит он тебя! Смотри не просчитайся!» И закончил тираду, обратясь к самому себе: «Так тебе и надо! Она – ангел, и ты ее не стоишь».

И его снова охватило желание разломать трость. Девушка, как явствовало из письма, понадеялась на него, целиком вверясь его порядочности, а он жестоко и низко обманул ее; такие вещи не забываются, становясь источником постоянных страданий. Продать закладную – еще полбеда, но продать такому вот Машко, который покупал ее с видами вполне определенными, значило сказать ей: «Мне до тебя дела нет, иди за него, если хочешь». Какое горькое разочарование для нее, особенно после всего сказанного в то воскресенье, сказанного дружески и попросту, но и не без тайного умысла понравиться ей. Да, такое намерение у него было, и Поланецкий знал, что преуспел в нем. И теперь мог сколько угодно твердить себе, что это его ни к чему не обязывает, что мужчина при первом знакомстве в разговоре с женщиной только разведывает почву, наподобие улитки выставляет рожки. От этого ему было не легче. Впрочем, он не был склонен оправдывать себя, напротив, готов был пощечин себе надавать. Впервые он ясно понял, что рука и сердце Марыни могли бы принадлежать ему, и, чем реальней представлялась такая возможность, тем безвозвратной казалась утрата. И в довершение всего это письмо, которое произвело в нем форменный переворот. Все его отступнические доводы показались ему вдруг глупыми и плоскими. При всех своих недостатках Поланецкий не был черств, и письмо, свидетельствовавшее о Марыниной доброте, великодушии и готовности полюбить, тронуло его до глубины души. В результате облик Марыни предстал перед ним в столь розовом свете, что он подумал: «Ей-богу, теперь я в нее влюблюсь!»

И его охватило такое умиление, что и злость на себя прошла. Обогнав своих спутников, он увлек пани Эмилию за собой.

– Подарите мне это письмо, – сказал он.

– С превеликим удовольствием. Какое чистосердечное, правда? А вы вот утаили от меня, что и ей от вас досталось перед отъездом. Но не хочу вам выговаривать, раз уж она простила.

– Я бы тут же дал себя поколотить, если б думал, что это поможет. Но что об этом говорить, теперь уж не поправишь.

Пани Эмилия, однако, не разделяла его мнения. Напротив, видя, как близко к сердцу приняли оба это недоразумение, она преисполнилась радужных надежд. И ее милое, доброе лицо просияло от радости.

– Посмотрим, что-то еще будет через несколько месяцев, – сказала она.

– А что же может быть? Вы разве не догадываетесь, – ответил Поланецкий, думая о Машко.

– Помните одно: кто однажды снискал расположение Марыни, тот никогда его не потеряет, – возразила пани Эмилия.

– Не сомневаюсь, – печально отозвался Поланецкий, – но такие натуры и обид не прощают никогда.

Тут Васковский с Литкой их нагнали, и разговор поневоле прервался. Как всегда. Литка целиком завладела Поланецким. В мягком свете погожего утра они шли по лесу, и девочка живо всем интересовалась: то спрашивала, как называется дерево, то восклицала радостно: «Ой, рыжик!»

– Рыжик, рыжик, мой котенок, – машинально отвечал занятый своими мыслями Поланецкий.

Но вот дорога пошла под уклон, и перед ними открылось озеро. Через полчаса они вышли на мощеную дорогу вдоль самого берега; там и сям в воду вдавались деревянные мостки. Литке захотелось рассмотреть поближе больших рыб, плававших в прозрачной воде. Поланецкий, взяв ее за руку, повел на один из таких мостков. Привыкшие, что здесь их кормят хлебными крошками, рыбы подплыли ближе, полукружьем расположась у ног девочки. В голубоватой воде виднелись коричневато-золотистые спины карпов и серая крапчатая форель; круглые рыбы глаза уставились на девочку будто в ожидании.

– На обратном пути хлеба с собой прихватим, – сказала Литка. – Как странно они на меня смотрят! О чем они думают?

– Они тугодумы, очень медленно соображают, – сказал Поланецкий. – Только через час или два дойдет до них: «А-а, вот тут стояла белокурая девочка в розовом платье и черных чулочках».

– А про вас что подумают они?

– Что я цыган: у меня ведь волосы темные.

– Ну нет, у цыган не бывает дома.

– И у меня. Литка, дома тоже нет. Мог быть, да я его продал.

Голос его дрогнул, и в нем против обыкновения послышалась печаль. Девочка пристально поглядела на него, и на ее впечатлительном личике тоже отразилась печаль, как в воде – ее собственная фигурка. И после, когда они присоединились к

остальным, она все подымала на него тревожно и вопросительно грустные глаза.

– Что с вами, пан Стах? – спросила Литка наконец, крепче сжав его руку.

– Ничего, детка. Просто люблюсь озером, вот и молчу.

– Вчера я так обрадовалась, что смогу вам Тумзее показать...

– Да, очень красиво здесь, хотя и нет скал. А что в том домике, вон, на другом берегу?

– Там мы будем обедать.

Пани Эмилия меж тем оживленно беседовала с Васковским; тот, ежеминутно снимая шляпу и шаря по карманам в поисках носового платка, чтобы лысину отереть, делился с ней своими наблюдениями над Букацким.

– Тоже арийской духовностью томится, – заключил старик. – Вечная тревога, вечная, неутолимая жажда покоя. Чтобы заполнить жизнь, скупает картины и гравюры. Ах, как тяжело на все на это смотреть! В душе у этих детищ века – пропасть, бездонная, как вот это озеро, а они все думают заполнить ее какими-то картинами, офортами, своими дилетантскими увлечениями, Бодлером, Ибсеном и Метерлинком, псевдонаучным знанием, наконец. Бедные бьющиеся в клетке птицы! Это все равно что бросить вон тот камешек в Тумзее и воображать, будто озеро полно.

– А чем же заполнить жизнь?

– Любой высокой идеей, всяким большим чувством – при условии, если они зиждятся на вере. И Букацкий обрел бы покой, которого он бессознательно ищет, любя он искусство по-христиански.

– А вы ему об этом говорили?

– Говорил, много чего говорил – ему и Поланецкому. Убеждал их житие Франциска Ассизского почитать, а они отмахиваются да смеются. А ведь это поистине великий, святой человек, равного ему не было в средние века, мир ему обязан своим обновлением. Появись в наши дни подобный праведник, заветы Христа возродились бы еще шире, еще полнее.

Приближался полдень. Лес дышал смолистым зноем, голубое небо без единого облачка смотрелось в неподвижную водную гладь, которая, казалось, дремала в наполненной солнцем тишине.

Наконец они подошли к дому в саду, где помещался ресторан, и сели в тени за накрытый под буком столик. Поланецкий, подозвав кельнера в засаленном фраке, заказал обед, и они в ожидании молча стали любоваться озером и окрестными горами.

В нескольких шагах цвели ирисы, орошаемые бьющим из камней фонтанчиком.

– Мне это озеро и эти ирисы почему-то напоминают Италию, – проговорила пани Эмилия, глядя на цветы.

– Потому, что нигде больше нет такого множества ирисов и такого множества

озер, – отвечал Поланецкий.

– И нигде человек не испытывает такого умиротворения, – прибавил Васковский. – Вот уже много лет подряд я каждую осень езжу в Италию в поисках, где провести остаток дней своих. Я долго колебался, не зная, что предпочесть: Перуджию или Ассиз, но в прошлом году остановился на Риме. Он – как преддверие иного мира, откуда видно уже сияние его. В октябре опять туда поеду.

– Очень завидую вам, – сказала Хвастовская.

– Литке уже двенадцать лет... – начал Васковский.

– И три месяца, – вставила Литка.

– И три месяца... И хотя для своих лет она еще сущее дитя и у нее ветер в голове, пора бы ей кое-что в Риме показать, – продолжал Васковский. – Впечатления детства – самые долговечные. Не беда, если умом и сердцем не все еще можно постичь, это придет потом, зато как приятно, когда, будто озаренные внезапным светом, всплывут в памяти давнишние картины. Давайте поедем вместе в Италию в октябре.

– Нет, только не в октябре! У меня есть свои женские заботы, удерживающие в Варшаве.

– Какие же это заботы?

– Первая, самая важная и самая женская, – смеясь, сказала пани Эмилия, указывая на Поланецкого, – женить вот этого господина, который сидит сейчас насупясь, оттого что без памяти влюблен...

Поланецкий, очнувшись от задумчивости, махнул рукой.

– В Марыню? В Плавицкую? – спросил Васковский с детской непосредственностью.

– Да, в нее, – отвечала пани Эмилия. – Был вот в Кшемене и напрасно старается скрыть, что она покорила его сердце.

– А я этого и не скрываю.

Но дальнейшему разговору помешало печальное обстоятельство: Литке вдруг сделалось дурно. Удушье, сердцебиение: так всегда начинались эти приступы вызывавшие опасение за ее жизнь даже у докторов. Мать тотчас подхватила ее на руки. Поланецкий опрометью кинулся на кухню за льдом. Старик Васковский с усилием подтащил садовую скамейку – лежать девочке легче было дышать.

– Устала, детка? – шептала мать побелевшими губами. – Вот видишь, для тебя слишком далеко, золотко мое. Хотя доктор разрешил... Уж очень сегодня жарко! Ну ничего, ничего, сейчас все пройдет! Сокровище ты мое, доченька любимая!..

И стала покрывать поцелуями влажный лоб ребенка. Прибежал Поланецкий со льдом, за ним – хозяйка ресторана с подушкой. Девочку уложили на скамейку, и, пока мать заворачивала лед в салфетку, Поланецкий, наклонясь, спросил.

– Ну, как ты, котенок?

– Ничего, только дышать трудно, – отвечала она, хватая воздух, как рыба, открытым ртом.

Но улучшения пока не наступало, и даже под платьем было заметно, как лихорадочно бьется ее маленькое больное сердце.

Понемногу лед принес облегчение, и приступ прошел, осталась лишь усталость. Литка улыбнулась матери, которая не сразу пришла в себя от испуга. Перед обратной дорогой необходимо было подкрепиться, и Поланецкий велел подать обед, но, кроме Литки, никто почти к нему не притронулся: все с затаенной тревогой поглядывали на нее, боясь, как бы приступ не повторился. Так прошел час. В ресторан начала стекаться публика, и пани Эмилия заторопилась домой; но пришлось дожидаться Экипажа, за которым Поланецкий послал в Райхенгалль.

Наконец экипаж приехал, но в дороге их ждала новая неприятность. Хотя лошади шли шагом и дорога была ровная, возле Райхенгалля Литка от тряски опять стала задыхаться. Она попросилась из экипажа, но пешком ей трудно было идти. Пани Эмилия хотела было взять ее на руки, но Поланецкий, воспротивившись этому акту материнской самоотверженности, к тому же непосильному, сказал девочке:

– Давай-ка, Литка, я тебя понесу. А то мама устанет, и заболит.

И без дальних слов легко поднял ее и понес, обхватив одной рукой, чтобы показать: это совсем не трудно, еще и подшучивая для вящей убедительности:

– Невелик наш котенок, вот только ножонки длиннющие, до самой земли достают. Обними-ка меня за шею, не так тряско будет.

И он двинулся с осторожностью, но ходко, чтобы, не мешкая, показать ее врачу. Плечом он чувствовал, как частит ее сердечко, она же, обняв его худыми ручонками за шею, все твердила:

– Пустите, пан Стах!.. Не хочу... Пустите меня!

– Не пушу! – отвечал он. – Сама видишь, как вредно тебе ходить пешком. Мы всегда теперь будем брать с собой большое удобное кресло на колесиках, устанешь – посажу и повезу.

– Нет, нет! – возражала Литка со слезами в голосе.

Так нес он ее, бережно, как старший брат или отец, и сердце его переполняла нежность. Ведь он и правда любил эту девочку, а кроме того, впервые осознал то, в чем до сих пор не отдавал себе ясного отчета: что брак сулил ему отцовство со всеми его радостями. И, неся на руках эту чужую, но дорогую ему девочку, понял, что создан быть не только супругом, но и отцом, – что цель и назначение жизни не в чем ином, как в этом.

И, устремясь мыслями к Марыне, с удвоенной силой ощутил, что именно ее, а не какую-либо другую женщину хотелось бы ему видеть своей женой и матерью своих детей.

ГЛАВА VII

В следующие дни Литка чувствовала себя все еще неважно, но и ослабевшую ее ненадолго выводили гулять по настоятельному совету доктора. Васковский решил сам к нему сходить и расспросить подробней о ее здоровье. Поланецкий, поджидавший его в читальном зале, по лицу догадался, что вести неутешительные.

– Доктор говорит, что непосредственной опасности сейчас нет, но долго она все равно не проживет, – сказал Васковский. – Велит не спускать с нее глаз, так как ни за что не может поручиться.

Поланецкий закрыл руками лицо.

– Вот несчастье! Какой для матери удар! Она этого не перенесет. Такая девочка – и обречена! Просто верить не хочется.

В глазах Васковского стояли слезы.

– Я спрашивал, будет ли она при этом страдать. Он сказал, что нет не обязательно, может и тихо угаснуть. Словно заснет.

– Матери он не говорил?

– Нет. Сказал только, что порок сердца и что у детей это часто проходит бесследно. Но сам он не надеется на благоприятный исход.

Однако смиряться с несчастьем было не в правилах Поланецкого.

– Мнение одного врача еще ничего не значит, – заявил он. – Надо сделать все для ее спасения, пока есть хоть малейшая надежда. Доктор мог и ошибиться. Отвезти ее в Мюнхен к специалисту или его пригласить сюда. Правда, пани Эмилия напугается, но что делать. А впрочем, погодите. Я могу пригласить его прямо сейчас. А пани Эмилии мы скажем, будто к одному больному приехал известный специалист и грех не посоветоваться с ним о Литке. Надо спасти девочку. Но придется ему заранее написать, чтобы знал, как вести себя с матерью.

– А кому ты собираешься писать?

– Кому? Сам не знаю! Да здешний доктор укажет. Пойдемте к нему, сейчас каждая минута дорога.

В тот же день все устроилось, и вечером они пошли к пани Эмилии. Литка чувствовала себя хорошо, но была молчалива и грустна. Матери и другу своему, правда, улыбалась, словно благодаря за заботу, но развеселить ее Поланецкому не удалось. Непрестанно беспокоясь о ней, он и настроение ее считал грозным знаком прогрессирующей болезни, предчувствием близкой смерти и с ужасом говорил себе: «Она уже не такая, как прежде, нити, связывающие ее с жизнью, постепенно обрываются». Еще больше испугался он при словах пани Эмилии:

– Литке лучше, но знаете, о чем она просит? Вернуться поскорее в Варшаву.

Поланецкий сделал над собой усилие, чтобы не показать, как это его встревожило.

– Ах, негодница! – с напускной веселостью сказал он девочке. – И тебе не жалко

озеро бросать?

– Нет, – ответила девочка не сразу, покачав белокурой головкой, и опустила глаза, чтобы скрыть наворачившиеся слезы.

«Что с ней?» – встревожился Поланецкий.

А все объяснялось очень просто. Здесь, у этого самого озера, она узнала, что у нее хотят отнять «пана Стаха», ее дорогого друга и товарища. Он, оказывается, любит Марыню Плавицкую, а она-то думала, только ее и маму. Мама хочет женить его на Марыне, а она-то считала, что он всецело принадлежит ей. И ее охватил безотчетный страх лишиться «пана Стаха», чувство грозящей ей несправедливости, первой в жизни. И если б еще кто-нибудь другой готовил ей обиду, а то сама мама и «пан Стах». Заколдованный круг, из которого бедняжка не знала, как выйти. Жаловаться им на них же самих? Видно ведь, что они этого хотят, что таково их желание; им это нужно, и они будут довольны, если это случится. Сказала же мама: «пан Стах» влюблен в Марыню, и он этого не отрицал; значит, надо смириться, проглотить обиду и даже маме ничего не говорить.

И Литка затаила впервые постигшее ее горе. Да, придется смириться. Горе, однако, – плохой врачеватель, а если еще сердце больное, все это могло кончиться трагичней, чем кто-либо из окружающих был в состоянии подозревать.

Специалист из Мюнхена приехал и, проведя два дня в Райхенгалле, подтвердил диагноз местного врача. Пани Эмилию он постарался успокоить. А Поланецкому сказал: девочка может прожить – и месяцы, и годы, но жизнь ее всегда будет на волоске, готовом от самой малости оборваться, и велел неусыпно следить за ней, оберегая от любых волнений, приятных и неприятных.

Литку окружили вниманием и лаской, охраняя от малейших волнений, но от самого большого, каким были для нее письма Марыни, не уберегли. Она ко всему теперь прислушивалась, и до ее чутких ушей дошли отголоски разговоров о новом письме из Кшеменя, полученном неделю спустя. И хотя оно, казалось, должно было рассеять ее опасения насчет «пана Стаха», она страшно огорчилась. Пани Эмилия сначала не решалась показать это письмо Поланецкому. Но он ежедневно справлялся, нет ли вестей из Кшеменя, и, значит, пришлось бы лгать. Она же, напротив, чувствовала себя обязанной сказать правду, чтобы он знал, каких затруднений ожидать.

На другой день вечером, уложив Литку спать, она сама завела об этом разговор.

– Марыня очень расстроена тем, что вы продали закладную.

– Что, пришло письмо?

– Да.

– Можно мне прочесть?

– Нет, я сама вам прочту некоторые выдержки. Марыня просто подавлена.

– Она знает, что я здесь?

– Она, должно быть, до сих пор не получила моего письма, хотя странно, почему Машко, будучи у них, ей об этом не сказал.

– Машко уехал раньше меня и точно не знал, поеду ли я в Райхенгалль. Тем более я сам перед отъездом говорил, что могу и передумать.

Пани Эмилия пошла к бюро, принесла бювар, поправила лампу и, сев напротив Поланецкого, вынула из конверта письмо.

– Видите ли, – сказала она, прежде чем приступить к чтению, – ее огорчает даже не сама продажа закладной, а как бы вам сказать... Она размечталась, все это приобрело для нее другой, значительный смысл... Да, вы ей причинили большое разочарование.

– Никому другому я этого не сказал бы, – отозвался Поланецкий, – но вам признаюсь откровенно: большей глупости я в жизни не совершал, но ни за одну и не платился так жестоко.

Она с сочувствием посмотрела на него своими добрыми бледно-голубыми глазами.

– Бедный! Вы и в самом деле так увлечены Марьей? Я спрашиваю не из любопытства, а из расположения к вам... Чтобы помочь вам, хочется быть уверенной...

– А знаете, что меня доконало? – с жаром перебил Поланецкий. – То, прошлое ее письмо. Она мне еще в Кшемене понравилась, когда мы познакомились. И я все думал о ней, говоря себе: «Такой славной, милой девушки мне еще встречать не доводилось! Вот о какой я мечтал!» Но что поделаешь! Я давно себе дал слово не быть размазней, своего не упускать. А когда человек поставит себе что-нибудь за правило, он уж от него не отступит, понимаете, хотя бы из самолюбия. И потом, в каждом из нас сидят как бы двое, и один критикует другого. Вот этот другой и стал меня убеждать: «Ничего из этого не выйдет! Все равно с отцом ее не уживешься». Он и правда несносный субъект! И я решил поставить на этом крест. И продал закладную. Вот как было дело. Потом я заметил, что все время думаю о панне Плавицкой и не могу отвязаться от мысли: «Вот о ком ты мечтал!» И я понял, что сделал глупость. И пожалел об этом. А после того письма, когда мне стало ясно, что и с ее стороны что-то было, – что и она могла бы меня полюбить, стать моей женой, я почувствовал, что люблю. Право, я или с ума схожу, или это так! Когда у тебя самого разыгрывается фантазия, это одно, а вот если убедишься: и ты небезразличен, – это уже совсем другое! Вот почему письмо это меня доконало, я просто не знаю, что теперь делать!

– Не стану читать вам все подряд, – помолчав, сказала пани Эмилия. – Вот тут она пишет: пробуждение после краткого сна было слишком неожиданным. Пан Машко, по ее словам, в денежных делах очень деликатен, хотя не скрывает, что преследует собственную выгоду.

– Ей-богу, она выйдет за него!

– Вы ее не знаете. О Кшемене она пишет вот что: «Папа хочет продать имение и поселиться в Варшаве. Ты знаешь, как люблю я Кшемень, как сроднилась с ним, но после всего происшедшего я сама усомнилась, не напрасно ли стараюсь. Последнюю попытку делаю отстоять этот милый моему сердцу уголок. Папа говорит, совесть ему не позволяет меня в деревне похоронить, но от сознания, что все это ради меня, только еще тяжелей. Какая ирония судьбы! Пан Машко предлагает папе три тысячи ежегодно до скончания дней и всю сумму сполна от продажи Магерувки. Он свою выгоду блюдет, это естественно, но если дело примет такой оборот, имение

достанется ему почти задаром. Даже папа сказал: „В таком случае если я год проживу, то получу за имение три тысячи, – ведь Магерувка и так мне принадлежит“. На что Машко ответил: при теперешнем положении дел деньги за Магерувку все равно пойдут кредиторам, а на его условиях папа получит их наличными и может жить себе на здоровье хоть тридцать лет а то и больше. Это тоже верно. Я знаю, папу его предложение в принципе устраивает, но он хочет выторговать побольше. Во всем этом одно утешение: в Варшаве я буду чаще видеться с тобой и Литкой. Обоих вас люблю искренне, от души и знаю, что на вашу дружбу, по крайней мере, могу всегда рассчитывать».

Наступило молчание.

– Ну что ж, – сказал Поланецкий, – я отнял у нее Кшемень, зато взамен послал жениха.

Он и не подозревал, что Марыня почти теми же словами выразилась в письме, и пани Эмилия пропустила их единственно из жалости. Машко неприкрыто ухаживал за Марыней, когда Плавицкие в последний раз были в Варшаве, и теперь ей не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться, зачем эта перекупка закладной и приезд в деревню. Вот откуда вся горечь, переполнявшая сердце Марыни, и глубокая ее обида на Поланецкого.

– Надо непременно все это распутать, – сказала пани Эмилия.

– Сам послал ей жениха! – повторил Поланецкий. – И не могу даже сказать в свое оправдание, что не знал о его намерениях.

Пани Эмилия повертела письмо в своих тонких пальцах.

– Так нельзя это оставить! – сказала она. – Я хотела соединить вас из симпатии к вам обоим, и ваше огорчение – лишь довод в пользу этого. Меня совесть замучит, если оставлю вас в беде. Не отчаивайтесь... Есть прекрасная французская поговорка, – по-польски она звучит ужасно, – о том, что может женщина, если захочет. Так вот, я очень хочу вам помочь.

Поланецкий схватил ее руку и поднес к губам.

– Более доброго и благородного человека, чем вы, я еще не встречал.

– Мне дано было счастье в жизни, – отвечала пани Эмилия, – а так как путь к нему, по-моему, лишь один, мне хочется, чтобы его избрали те, кто мне дороги.

– Вы правы! Другого пути нет и быть не может! Если тебе дана жизнь, проживи ее с пользой для себя и близкого существа.

– Вот и я, уж коли взялась в первый раз за роль свахи, тоже хочу сыграть ее с пользой, – засмеялась пани Эмилия. – Надо только обдумать хорошенько, что же нам предпринять.

И она подняла глаза. Свет лампы упал на ее еще очень молодое личико, на светлые волосы, слегка вьющиеся надо лбом, – во внешности ее было столько очарования, девственной чистоты, что Поланецкому, хотя мысли его были заняты другим, невольно вспомнилось прозвище, данное ей Вукацким: вдова-девица.

– Марыня сама очень прямодушная, – после минутного молчания сказала она, – поэтому лучше напишем ей все как есть. Я напишу, как вы мне сказали: что она понравилась вам и вы поступили так, не подумав, единственно из опасения не поладить с ее отцом, и теперь очень об этом жалеете, просите не ставить вам в укор и не лишать надежды на прощение.

– А я напишу Машко, что откупаю у него закладную с выгодой для него.

– Вот он, трезвый, расчетливый Поланецкий! – засмеялась пани Эмилия. – А еще похвалялся, что победил свой польский характер, свое польское легкомыслие.

– Так оно и есть! – воскликнул повеселевший Поланецкий. – Расчетливость мне как раз и говорит, что дело стоит затрат. – Но, помрачнев, добавил: – А вдруг она ответит, что они с Машко обручились?

– Не думаю. Вполне возможно, что пан Машко – достойнейший человек, но ей не пара. Не по склонности она замуж не пойдет, а он, насколько мне известно, ей не нравится. Этого опасаться нечего. Плохо вы знаете Марыню. Сделайте все от вас зависящее, а уж насчет Машко не тревожьтесь.

– Я лучше ему сегодня же телеграмму пошлю вместо письма. Не будет он долго в Кшемене сидеть, как раз по возвращении в Варшаву и получит.

ГЛАВА VIII

Через два дня пришел ответ от Машко: «Вчера купил Кшемень». Хотя такого оборота дела можно было ожидать и письмо Марыни должно было подготовить к нему Поланецкого, известие поразило его, точно удар грома. Словно из-за него стряслось неожиданное, непоправимое несчастье. У пани Эмилии, хорошо знавшей привязанность Марыни к Кшемению и не скрывавшей от Поланецкого, что его продажа не облегчит их сближения, тоже шевельнулось недоброе предчувствие.

– Если Машко не женится на ней, – сказал Поланецкий, – он обдерет как липку ее отца. Его-то репутация не пострадает, а старик останется без гроша. Продай я закладную любому ростовщику, старик изворачивался бы, платил по мелочам, но больше отделялся посулами – и катастрофа, нависшая над именем, отодвинулась бы на годы. А там глядишь, обстоятельства бы переменялись; во всяком случае, можно было бы хоть получить настоящую цену. А теперь, если они разорятся, я буду виноват.

Пани Эмилия смотрела на дело и с другой стороны.

– Что Кшемень продан, еще полбеды, – сказала она, – но все выглядело бы совсем иначе, сделай это кто-нибудь другой, а не вы, тем более вскоре после знакомства с Марыней. Хуже всего, что от вас-то она как раз такого не ожидала.

Поланецкий сам прекрасно это сознавал и, привыкнув во всем отдавать себе ясный отчет, должен был себе сказать: Марыня для него потеряна навсегда. Оставалось одно: примириться с этим, забыть ее и поискать себе другую спутницу жизни. Но все в нем восставало против этого. И хотя чувство его к Марыне вспыхнуло внезапно и, не подкрепленное ни временем, ни более близким знакомством, питалось главным образом воспоминаниями о ее облике, оно за последние недели окрепло.

Способствовало этому и письмо, утвердившее Поланецкого в убеждении, что он поступил с ней нехорошо. Жалость и раскаяние, имеющие Столь большую власть над мужским сердцем, подогрели его чувство к ней. Вдобавок этот сильный человек, чью энергию трудности только возбуждали, не привык подчиняться обстоятельствам. Не такого он был нрава. И, наконец, отказаться от Марыни не позволяло ему также самолюбие. Одна мысль о том, что когда-нибудь придется себе признаться: ты был орудием в руках Машко, который воспользовался тобой для достижения своей цели, позволил ему это, – приводила его в ярость. Пусть Машко и не добьется Марыниной руки, пусть дело ограничится только покупкой Кшеменя, для Поланецкого и этого было больше чем достаточно. И ему нестерпимо захотелось чинить всякие препятствия Машко, вставлять ему палки в колеса, спутать, во всяком случае, его дальнейшие планы, чтобы знал: одной адвокатской верткости мало, когда имеешь дело с настоящей волей и энергией.

Все эти благовидные и менее благовидные доводы неудержимо побуждали к одному: действию, делу. А между тем обстоятельства складывались так, что ничего сделать было нельзя. В этом и заключался трагизм его положения. Сидеть в Райхенгалле, предоставляя Машко осуществлять свои планы, раскидывать сети, искать Марыниной руки? Нет, ни за что на свете! Но как же тогда быть? На этот вопрос Поланецкий не находил ответа. Впервые в жизни было у него ощущение, будто его посадили на цепь, и чем непривычней оно было, тем тяжелей он его переносил. Впервые посетила его также раздражительность и бессонница. И в довершение всего Литка почувствовала себя снова хуже, и в свинцово-тяжкой, гнетущей атмосфере жизнь стала невыносимой.

Через неделю пришло новое письмо от Марыни... На сей раз она ни словом не поминала ни Поланецкого, ни Машко. Не сетуя и не сообщая никаких подробностей, коротко извещала о продаже Кшеменя. Но это лишь подтверждало, как ей трудно.

Поланецкий предпочел бы, чтобы она его обвиняла. Он прекрасно понимал: молчание о нем означало, что он окончательно изгнан из ее сердца. Умолчание же о Машко могло означать и нечто совсем другое. Если Кшемень ей так уж дорог, она, может статься, отдаст руку теперешнему его владельцу, чтобы туда вернуться, – и уже склоняется к этому. У Плавицкого был, правда, шляхетский гонор, и Поланецкий принимал это в расчет, но старик эгоист до мозга костей и ради своего благополучия пожертвует и гонором, и дочерью.

Сидеть сложа руки в Райхенгалле в ожидании, соизволит ли Машко сделать Марыне предложение, стало для Поланецкого поистине пыткой. К тому же и Литка опять и опять просилась в Варшаву, и Поланецкий решил вернуться, тем более что приближался срок уговора с Бигелем начинать новое дело.

Решив возвратиться, он сразу почувствовал облегчение. Приедет, посмотрит на месте, как обстоят дела, и увидит, что можно предпринять. Во всяком случае, лучше, чем сидеть в Райхенгалле. Для пани Эмилии и Литки отъезд его не был неожиданностью. Они с самого начала знали, что он приехал на несколько недель, и надеялись вскоре увидеться в Варшаве. В середине августа пани Эмилия тоже собиралась уезжать. А до конца месяца решила пожить вместе с Васковским в Зальцбурге и уже оттуда вернуться в Варшаву. Поланецкому она пообещала регулярно сообщать о здоровье Литки и написать Марыне, чтобы выяснить ее отношение к Машко.

В день отъезда все трое приехали на вокзал проводить его. В вагоне он вдруг почувствовал, что ему жалко уезжать. Что-то еще ждет его в Варшаве, неизвестно,

а тут, по крайней мере, самые близкие ему на свете люди. И, высунувшись из окна, он глядел в устремленные на него печальные Литкины глаза, на приветливое лицо пани Эмилии с ощущением, будто это его семья. И вновь его поразила необычайная красота молодой вдовы, ее до неправдоподобия изящное, ангельски доброе лицо и тонкая девичья фигура в черном платье.

– Будьте здоровы, – говорила она, – пишите нам. Увидимся недели через три.

– Через три... – откликнулся Поланецкий. – Непременно напишу. До свидания, Литуся!

– До свидания! Передайте привет Эве и Иоасе!

– Передам! – И он протянул руку в окно. – Не забывайте своего друга!

– Не забудем! Не забудем! Хотите, закажем молебен и девять дней будем молиться за ваши успехи? – пошутила пани Эмилия.

– Нет, спасибо! Я и так вам благодарен. До встречи, Васковский!

Поезд тронулся. Пани Эмилия и Литка махали зонтиками, пока клубы дыма и пара, выпускаемые набиравшим скорость паровозом, не заслонили окно, в которое выглядывал Поланецкий.

– Мама, а правда нужно помолиться за пана Стаха? – спросила Литка.

– Правда, Литуся. Он так добр к нам. Надо попросить бога послать ему счастья.

– А разве он несчастлив?

– Нет... То есть... видишь ли, у всех свои огорчения. Есть они и у него.

– Знаю, я слышала на Тумзее, – отозвалась девочка, прибавив тихонько: – Я помолюсь...

Едва Литка их немного опередила, Васковский, который при всех своих достоинствах не умел держать язык за зубами, сказал пани Эмилии:

– У него золотое сердце, и он вас обеих любит, как родной брат. Теперь, когда профессор подтвердил, что опасности нет, я могу все рассказать. Так вот, это Поланецкий его специально пригласил, так он испугался за девочку на Тумзее.

– Так это он? – переспросила тронутая до слез пани Эмилия. – Вот видите, какой он человек! За это я добуду ему Марыню, – поспешила она добавить.

Поланецкий тоже уезжал, преисполненный нежности и благодарности: в минуты невезения и уныния дружеское участие всегда особенно ценишь. Забившись в угол вагона и вспоминая пани Эмилию, он говорил себе: «Вот бы влюбиться в нее! С ней я обрел бы покой, уверенность в своем счастье! И цель была бы в жизни: знал бы, для кого тружусь, знал бы, что нужен кому-то, что существование мое имеет смысл. Она, правда, говорит, что никогда замуж не выйдет, но за меня... как знать. А у той при всех ее совершенствах, может быть, сердце черствое».

И вдруг спохватился, что о пани Эмилии может думать спокойно, а при мысли о той к горлу подступает томительное и сладостное волнение. К той влекло неудержимо.

Только что пожимал он руку пани Эмилии и никакого трепета не испытывал, а при одном воспоминании о теплой Марыниной ладони его до сих пор бросало в дрожь.

И так до самого Зальцбурга он думал только о Марыне, пусть не решая ничего, но задаваясь вопросами, что же делать и в чем его обязанность перед ней в сложившихся обстоятельствах.

«Что Кшемень продан по моей вине, отрицать не приходится, – рассуждал он. – Кшемень дорог ей не из материальных соображений, не из-за денег, которые можно бы выручить, не поторопись они с продажей. Он дорог ее сердцу. А я лишил ее и денег, и привязанности. Словом, обездолил. Закона я не преступил, но совесть – не свод законов, для ее спокойствия мало такого оправдания. Да, я виноват и не отрицаю этого, а коли так, надо искупить свою вину.

Но как?»

«Откупить Кшемень у Машко денег не хватит. Оно и хватило бы, пожалуй, но тогда придется выйти из дела и изъять свой капитал, что практически невозможно. Бигель может разориться из-за этого, значит, это исключается. Остается одно: невзирая ни на что, поддерживать знакомство с Плавицким и, немного выждав, сделать предложение панне Марыне, а если откажут, по крайней мере, совесть будет чиста».

Но тут послышался другой, внутренний голос, который о себе уже заявлял: «Совесть тут ни при чем. Будь панна Плавицкая некрасива и старше на десять лет и поступи ты точно так же – лиши ее имения и прочего, – тебе и в голову бы не пришло просить ее руки. Уж признайся, что тебя ее личико, глазки, губки, плечи, фигурка влекут, притягивают, как магнит, и не лицемер».

Но Поланецкий не церемонился со своим вторым «я», порой бывая с ним весьма резок, и сейчас, не отступая от этого обыкновения, возразил: «А почему ты знаешь, дурак, как я бы поступил и в этом случае, чтобы загладить свою вину? И если сейчас, заглаживая ее, я намерен сделать предложение, что тут удивительного? Обычно предложение делают женщинам, которые нравятся, а не тем, которые отталкивают. Не можешь ничего умнее сказать, лучше помалкивай».

Внутренний голос попытался еще робко предостеречь Поланецкого, напомнив, что Плавицкий может приказать спустить его с лестницы или, в лучшем случае, укажет на дверь. Но Поланецкий не испугался. «В наше время к таким способам не прибегают, – подумал он, – а не примут меня Плавицкие, тем хуже для них».

Однако не могут же они его не принять, хотя бы из чистой вежливости. А впрочем, с Марыней можно будет встретиться и у пани Эмилии.

Размышляя таким образом, доехал он до Зальцбурга. Оставался еще час до мюнхенского поезда, который должен был доставить его в Вену, и он решил пройтись по городу; но в ресторанном зале неожиданно наткнулся на Букацкого в светлом клетчатом пиджаке, с обычным его моноклем в глазу, в маленькой мягкой шляпе на маленькой головке.

– Ты ли это? Или дух твой? – воскликнул Поланецкий.

– Я, я, успокойся, – ответил Букацкий флегматично, как будто они расстались час назад. – Как живешь?

- А ты что тут делаешь?
- Ем котлету на маргарине.
- В Райхенгалль направляешься?
- Да. А ты – домой?
- Домой.
- Сделал пани Эмили предложение?
- Нет.
- Тогда у меня нет к тебе претензий. Езжай с богом.
- Твои шуточки неуместны. Литка смертельно больна.
- А-я-яй! – подняв брови, воскликнул Букацкий, и лицо его приняло серьезное выражение. – А ты не преувеличиваешь?

Поланецкий кратко изложил ему диагноз.

- Как тут не быть пессимистом! – помолчав, сказал Букацкий. – Бедная девочка и бедная мать! Если это случится, уж и не знаю, что с ней будет.
- Она верующая, но страшно даже подумать.
- Выйдем в город, тут дышать нечем...

Они вышли на улицу.

- Как тут не быть пессимистом! – все повторял Букацкий по дороге. – Литка, эта голубка! Как ее не пожалеть, а вот смерть не пожалеет.

Поланецкий молчал.

- Теперь и сам не знаю, – продолжал Букацкий, – ехать ли в Райхенгалль. Без пани Эмили мне жизнь не в жизнь. Когда она в Варшаве, я хоть предложение ей делаю раз в месяц – и каждый месяц получаю отказ. Так и живу с первого числа по первое, как на жалованье. Сейчас вот первое прошло, и мне чего-то недостает, как будто жалованье кончилось. А матери известна вся серьезность положения?
- Нет. Жизнь девочки на волоске, но так может продолжаться и еще несколько лет.
- Гм! А кто может поручиться, что нам отпущено больше? Скажи, ты часто думаешь о смерти.
- Нет. А какой смысл? В этой тяжбе я в заведомом проигрыше, чего же ее и затевать, особенно прежде времени.
- В заведомом-то заведомом, а все-таки тягаемся с ней до самого конца. В том и смысл: иначе жизнь была бы скучнейшим фарсом. А так она хоть глупая драма. Что до меня, я могу выбирать одно из трех: повеситься, поехать в Райхенгалль или в

Мюнхен еще раз посмотреть Бёклина. Если быть последовательным, надо бы выбрать первое, но поскольку мне это несвойственно, я предпочту Райхенгалль. Ни изяществом рисунка, ни колористичностью пани Эмилия не уступит Бёклину.

– А в Варшаве что слышно? – невпопад спросил Поланецкий; вопрос этот вертелся у него на языке с самого начала разговора. – Ты видел Машко?

– Видел. Он купил Кшемень и теперь, что ни говори, богатый помещик, хотя у него хватает ума не важничать. Он благосклонен, снисходителен, милостив, доступен, словом, изменился к лучшему; мне это, правда, безразлично – какая мне от этого польза! Но ему это явно на пользу пошло.

– На Плавицкой он не собирается жениться?

– Говорят, собирается. Твой компаньон Бигель упоминал об этом – и еще Кшемень купил он очень выгодно. Да, впрочем, приедешь, сам узнаешь.

– А где сейчас Плавицкие?

– В Варшаве. В гостинице «Рим». А барышня собой недурственная. Я был у них на правах кузена, разговаривал о тебе.

– Мог бы найти более приятную для них тему.

– А Плавицкий рад случившемуся. По его словам, ты, сам того не желая, оказал им услугу... Я спросил барышню, как это она раньше не познакомилась с тобой? Она ответила, что ты, наверно, за границей был, когда они в Варшаву приезжали.

– Да, в Берлин ездил по делам и пробыл там довольно долго.

– Незаметно по ним, чтобы они сердились. Хотя, по слухам, барышня с таким увлечением занималась хозяйством, что ей впору бы дуться на тебя: как-никак ты лишил ее любимых занятий. Но мне она ничего такого не говорила.

– Вероятно, скажет мне, такая возможность у нее будет, я сразу по приезде нанесу им визит.

– В таком случае сделай одолжение: женись на ней. Мне больше улыбается видеть тебя своим кузеном, чем этого Машко.

– Ладно, – отрывисто сказал Поланецкий.

ГЛАВА IX

Вернувшись в Варшаву, Поланецкий первым делом отправился к Бигелю, и тот подробно ему рассказал, на каких условиях продан Кшемень. Условия были чрезвычайно выгодны для Машко. По прошествии года он обязался уплатить Плавицкому тридцать пять тысяч рублей, которые должен был выручить за Магерувку, а кроме того, пожизненно выплачивать ему по три тысячи рублей в год. Поначалу сделка не показалась Поланецкому такой уж невыгодной для Плавицких, но Бигель был на этот счет другого мнения.

– Не в моих правилах осуждать людей, – сказал Бигель, – но этот Плавицкий явно старый эгоист: ему лишь бы в свое удовольствие пожить, а о дочери не подумал, пожертвовал ее будущностью ради собственного удобства. Но при этом поступил крайне легкомысленно. Считается, что обеспечением его ренты служит Кшемень, но это фикция, так как имение разорено, в него надо вкладывать деньги. Приведет его Машко в порядок – хорошо, нет – ренту будет выплачивать неисправно, это в лучшем случае, и Плавицкий может на целые годы остаться без гроша. Что тогда делать? Отнять Кшемень. Но Машко к тому времени залезет в новые долги, хотя бы для того, чтобы уплатить старые, а обанкротится, на Кшемень наложат свою лапу кредиторы – им же несть числа. В конечном счете все зависит от порядочности Машко. Очень может быть, что он честный человек, но дела ведет рискованно: один какой-нибудь неверный шаг – и он погиб. Как знать, не такой ли шаг – и покупка Кшеменя? Ведь чтобы привести имение в порядок, ему придется полностью исчерпать свой кредит. Знал я людей, которые преуспевали, а приобрели крупную земельную собственность – и конец.

– Но у Плавицкого в любом случае останется капитал от продажи Магерувки, – заметил Поланецкий, словно отгоняя собственные сомнения.

– Если старик его не проест, не проиграет, не промотает.

– Надо что-то предпринимать. Я виноват, что имение продано, я должен им теперь и помочь.

– Ты? – удивился Бигель. – Я думал, ты порвал с ними всякие отношения.

– Попытаюсь их опять возобновить. Завтра иду к ним с визитом.

– Не знаю, обрадуются ли они тебе.

– Я тоже не знаю.

– Хочешь, вместе пойдем? Тут важно лед сломать. Могут ведь не принять тебя одного... Жалко, жены нет, я в городе один... Сажу дома вечерами, играю на виолончели, но днем у меня времени много, могу с тобой пойти.

Однако Поланецкий отклонил его предложение и на другой день, одевшись с особой тщательностью, отправился к Плавицким один. Он знал, что недурен собой, и хотя обычно не придавал этому значения, на сей раз решил для успеха предприятия ничем не пренебрегать. И по дороге стал обдумывать, что говорить, как поступать, заранее пытаясь представить себе, как его примут.

«Лучшее, что можно придумать, – это искренность и простота», – решил он, сам не заметив, как очутился перед «Римом».

Сердце у него забилось сильнее.

«Хорошо бы их не оказалось дома, – промелькнуло у него в голове. – Оставлю визитную карточку и посмотрю, отдаст мне визит Плавицкий или нет». Но тут же сказал себе: «Не трусь!» – и вошел в гостиницу.

Узнав у портье, что Плавицкий у себя, он послал визитную карточку, и его тотчас попросили подняться в номер.

Плавицкий сидел за столом и писал письма, посасывая трубку с большим янтарным мундштуком. При появлении Поланецкого он поднял голову и, глядя на него через пенсне в золотой оправе, сказал:

– Милости прошу!

– Я узнал от Бигеля, что вы в Варшаве, и пришел засвидетельствовать свое почтение.

– Очень мило с твоей стороны, – отвечал Плавицкий, – я, по правде говоря, от тебя этого не ждал. Мы плохо с тобой расстались, причем по твоей вине. Но если ты почел своей обязанностью навестить меня, я как старший снова принимаю тебя в свои объятия.

Но объятий на этот раз не последовало, старик ограничился тем, что протянул через стол руку Поланецкому, которую тот пожал, подумав про себя: «Как же, тебя навестить, ничем я тебе не обязан».

– Переезжаете в Варшаву? – после небольшой паузы спросил он.

– Да. Всю жизнь вот в деревне провел, привык с петухами вставать, хлопотать по хозяйству... Нелегко мне будет привыкать к вашей Варшаве. Но девушке не годится жить затворницей, и пришлось эту жертву принести; впрочем, мне это не впервой.

Поланецкий две ночи провел в Кшемене и был свидетелем, что Плавицкий вставал около одиннадцати, а хлопоты его... они хозяйства не касались; но он промолчал: его мысли были заняты другим. Из номера Плавицкого открытая дверь вела в соседнюю комнату, – должно быть, Марынину. Косясь на эту дверь, Поланецкий подумал вдруг, что Марыня вообще может не выйти к нему.

– А панну Марыню буду я иметь честь повидать? – спросил он.

– Марыня пошла квартиру посмотреть, которую я утром приискал. Сейчас вернется, это недалеко. Квартирка, скажу я тебе, – просто загляденье! У меня будут кабинет и спальня, у Марыни – тоже славная комнатка. Столовая, правда, темновата, зато гостиная точно бонбоньерка...

И он многословно принялся описывать квартиру, точно довольный ребенок или предвкушающий наслаждение сибарит.

– Только приехал – и квартиру нашел. Варшаву я хорошо знаю, мы с ней старые знакомые, – заключил он.

В соседнюю комнату кто-то вошел.

– Наверно, Марыня, – сказал Плавицкий и спросил громко: – Марыня, ты?

– Я, – отозвался молодой голос.

– Иди сюда, у нас гость.

В дверях появилась Марыня. При виде Поланецкого на лице ее изобразилось удивление.

Поланецкий встал, поклонился, а когда она приблизилась к столу, протянул руку. Она ответила столь же вежливым, сколь и холодным пожатием. И сразу же обратилась к отцу, словно в комнате никого другого не было:

– Квартиру я посмотрела. Уютная, удобная. Одно меня смущает: не слишком ли улица шумная?

– Здесь улицы все шумные, это не деревня, – заметил Плавицкий.

– Извините, я пойду сниму шляпу, – сказала Марыня, ушла и долго не показывалась.

«Больше не выйдет», – подумал Поланецкий.

Но она, наверно, только поправляла волосы перед зеркалом, потому что опять вернулась, спросив.

– Я не помешаю?

– Нет, – ответил отец, – дел с ним у нас теперь никаких нет, чему я, кстати, очень рад. Пан Поланецкий к нам с визитом.

Поланецкий слегка покраснел.

– Я только что из Райхенгалля, – сказал он, чтобы переменить тему. – Пани Эмилия и Литка кланяются вам. Отчасти поэтому осмелился я к вам явиться.

Лицо Марыни на минуту утратило выражение холодного спокойствия.

– Эмилька писала, что у Литки был сердечный приступ, – сказала она. – А как она сейчас себя чувствует?

– Больше приступа не было.

– Я жду письма от нее, может быть, оно и пришло, но, наверно, по старому, кшеменьскому адресу, вот я и не получила.

– Перешлют, – сказал Плавицкий, – я распорядился все пересылать сюда.

– Вы больше не вернетесь в деревню? – спросил Поланецкий.

– Нет, не вернемся, – сказала Марыня, и лицо ее приняло прежнее отчужденное выражение.

Наступило минутное молчание. Поланецкий смотрел на девушку, и в душе его происходила борьба. Он не мог глаз оторвать от ее лица, и ему все ясней становилось, что она, да, она в его вкусе, что именно такую мог бы он полюбить, что это его идеал женщины, и тем невыносимей была для него ее холодность. Как много бы он дал за то, чтобы увидеть на ее лице прежнее внимание, то любопытство, с каким она слушала его в Кшемене, тот неподдельный интерес в лучащихся улыбкой глазах. Как много дал бы, чтобы все это вернуть, но не знал, прямой выбрать путь или обходной, и потому колебался; Наконец избрал тот, который больше отвечал его натуре.

– Я знал, – сказал он вдруг, – как вам дорог Кшемень, и сам же, вероятно,

способствовал его продаже. Мне очень жаль, если это так, и я, признаюсь вам открыто, всегда буду сожалеть об этом. Не могу даже сказать в свое оправдание, что поступил необдуманно или сгоряча. Напротив, я долго размышлял, но соображения мои были злы и неразумны. Тем сильнее я виноват, и очень прошу простить меня.

С этими словами он встал. Щеки его пылали, взгляд выражал искренность и правдивость, но сказанное им не возымело никакого действия. Поланецкий избрал неверный путь. Он слишком мало знал женщин и не понимал, насколько их суждения, особенно о мужчинах, зависят от их чувств – стойких или сиюминутных. Под властью этих чувств они могут все истолковать и в хорошую и дурную сторону, и справедливо, и несправедливо, повернуть так и эдак: глупость принять за ум, ум – за глупость, эгоизм – за самоотверженность, самоотверженность – за себялюбие, грубость – за откровенность, откровенность – за бестактность. Мужчина, чем-либо навлекший на себя неприязнь, не может быть в глазах женщины искренен, справедлив или хорошо воспитан. А Марыня со времени приезда Машко в Кшемь питала глубокую неприязнь к Поланецкому и не поверила в его искренность. «Что же это за человек, – подумала она, – если считает сегодня злым и неразумным то, что вчера совершил в полном разумении?..» Кшемь, его продажа, приезд Машко и цель его, которая была для нее очевидна, – все это причиняло боль, как незаживавшая рана. И Поланецкий, казалось ей, бесчувственно и грубо бередила теперь эту рану.

Он встал, глядя ей прямо в лицо в ожидании, что она протянет руку в знак дружбы и прощения, ясно сознавая: сейчас решается его судьба; но глаза ее потемнели, словно от боли и гнева, и стали еще более непроницаемыми.

– Можете не беспокоиться, – с вежливой холодностью ответила она, – папа вполне доволен продажей и никаких претензий к пану Машко не имеет.

С этими словами она тоже встала, полагая, что Поланецкий хочет проститься. Он постоял еще, уязвленный, разочарованный, с униженным чувством, что его отвергли, и закипая гневом от этого оскорбления.

– Если так, – сказал он, – то мне и правда нечего беспокоиться.

– Да, да, – подтвердил Плавицкий. – Сделка очень выгодная.

Поланецкий вышел, нахлобучив шляпу, и, перескакивая сразу через несколько ступенек, все твердил про себя на лестнице: «Ноги моей больше у вас не будет».

Но домой возвращаться, оставаться наедине с собой не хотелось, – он чувствовал, гнев его задушит, и пошел куда глаза глядят. Ему показалось, он разлюбил Марыню, больше того: возненавидел; однако не переставая думать о ней и, прими его мысли более спокойный оборот, понял бы, как глубоко затронула его эта новая встреча. Он вновь увидел ее, смотрел на нее, сравнивая с тем образом, который запечатлелся в памяти, – и образ этот, обретя живые краски, стал еще привлекательней, еще сильнее завладел его воображением. И, несмотря на гнев, в глубине его души росли восхищение и симпатия. Теперь для него существовало как бы две Марыни: одна – кшемьская, кроткая, расположенная, жадно ему внимающая и готовая полюбить, и другая, варшавская, которая оттолкнула его с таким холодным пренебрежением. Женщина части предстает перед мужчиной как бы в двух обличьях, и непреклонная подчас больше ему импонирует, чем благосклонная. Поланецкий не ожидал увидеть Марыню такой, и к гневу его примешивалось удивление. Зная себе цену и будучи достаточно самонадеян, он был убежден, хотя сам себе в этом не

признавался, что стоит ему только протянуть палец – и за него тотчас ухватятся. А вышло не так. Эта кроткая Марыня нежданно-негаданно обернулась судьей, выносящим свой приговор, королевой, дарующей милость и немилость. И Поланецкий не мог освоиться с этой мыслью, гнал ее прочь; но такова уж природа человеческая: когда он понял, что совсем не столь желанен для нее, даже, по ее мнению, недостойн, она, несмотря на весь гнев, обиду и ожесточение, сильно возвысилась в его глазах. Самолюбию его был нанесен удар; но воля, поистине твердая, сопротивлялась, восставая против препятствия. Мысли беспорядочно кружились у него в голове, мысли, а вернее, чувства, оскорбленные и терзающие душу. Он сто раз повторял себе: забыть все, хочу и должен забыть, – но, не в силах совладать с собой, в то же самое время втайне, в сокровенной глубине души надеялся на скорый приезд пани Эмилии и на ее помощь.

В этом душевном смятении он и не заметил, как очутился на середине Съезда[13 - Спускающаяся к Висле улица в Варшаве.]. «Какого черта понесло меня на Прагу?»[14 - Часть Варшавы, расположенная на правом берегу Вислы.] – спросил он себя и остановился. Погожий день клонился к вечеру. Внизу блестела Висла, за ней и ближайшими купами деревьев расстилалась бескрайняя равнина, подернутая розовато-сизой дымкой на горизонте. Там где-то, за этой дымкой, был Кшемень, который так любила, а теперь потеряла Марыня. «Интересно, а что она сделает, если я верну ей его?» – подумал Поланецкий, вглядываясь в далекую дымку.

Но представить себе толком не мог, зато ясно представил, какое горе для нее лишиться этого клочка земли. И его охватила жалость к ней, потеснив и как бы приглушив обиду. Совесть стала ему нашептывать, что получил он по заслугам.

«Странно все-таки, что я непрерывно думаю об этом», – сказал он себе на обратном пути.

И в самом деле: никакие финансовые операции, даже самые важные, не занимали его еще до такой степени, не заставляли и вполнину так волноваться. И снова вспомнились ему слова Васковского, что добывание денег не может для него стать всем, не таков он по натуре. И никогда с такой очевидностью не всплывала догадка, что бывают дела куда поважней и позначительней. Второй раз за этот день испытал он чувство удивления.

Уже около девяти завернул он к Бигелю. Один в просторной пустой квартире, Бигель сидел в дверях выходящей в сад веранды и играл на виолончели так проникновенно, что в доме все гудело.

– Ты был у Плавицких? – прервав тремоло, спросил он при виде Поланецкого.

– Был.

– Ну и как она?

– Как графин воды со льда. В такой жаркий день даже приятно. Впрочем, они были весьма любезны.

– Так я и думал.

– Играй дальше.

Бигель заиграл «Грезы», то закрывая при этом глаза, то устремляя их на луну.

Раздававшаяся в тишине мелодия, казалось, наполнила истомой дом, сад и самую ночь.

– Знаешь что? – кончив и помолчав немного, сказал Бигель. – Вот вернется пани Эмилия, и жена пригласит ее в деревню вместе с Марыней Плавицкой. Может, там скорей лед тронется.

– Сыграй еще раз.

Снова полились звуки, навевая грезы и покой. Поланецкий был молод и потому не совсем чужд мечтательности. И ему представилось, как любящая и бесконечно любимая им Марыня, прильнув головой к его груди, с рукой в его руке, слушает «Грезы» вместе с ним.

ГЛАВА X

Плавицкий был человеком, что называется, хорошо воспитанным и отдал визит Поланецкому на третий день. Не на второй – такая поспешность означала бы войти в близкие отношения. Но и не на четвертый или пятый, ибо это разошлось бы со светскими обычаями. Словом, не раньше и не позже, а в точном согласии с правилом «savoir vivre»[15 - уметь жить (фр.)]. Он всю жизнь гордился глубоким знанием этого правила во всех тонкостях и оттенках, соблюдение которого почитал верхом мудрости. Чуждый ограниченности, он допускал, правда, существование и других отраслей знания, но с неперемennым условием не переоценивать их значения и не навязывать людям хорошо воспитанным.

Поланецкий, готовый терпеть все, лишь бы сохранить отношения с Марыней, с трудом скрыл радость, охватившую его при виде Плавицкого. С гостем был он на радостях сама любезность и доброжелательность, не без удивления отметив про себя, как преобразилась его внешность в городе. Шевелюра цвета воронова крыла по части безупречной черноты пришла в полное соответствие с маленькими закрученными кверху усиками, статную грудь облегал белый жилет, а пунцовая гвоздика в петлице сюртука сообщала его внешности совсем праздничный вид.

– Право, дядюшка, я не сразу вас и узнал! – воскликнул Поланецкий. – Подумал, юноша какой-то.

– Bonjour, bonjour![16 - Здравствуй, добрый день (фр.)] – отвечал Плавицкий. – Пасмурно нынче, да и темновато у тебя, вот ты и принял меня за юношу.

– Темнота тут ни при чем – фигура-то какая! – И Поланецкий, схватив его без церемоний за бока, стал вертеть во все стороны, приговаривая: – Талия прямо как у барышни! И я бы не прочь такую иметь!

Плавицкий, несколько шокированный столь бесцеремонным обращением и вместе польщенный восхищением, вызванным его особой, повторял, отмахиваясь от Поланецкого:

– Voyons![17 - Здесь ну ладно! (фр.)] Ты с ума сошел! Я ведь и обидеться могу! С ума сошел!

– Ну, дядюшка, успех вам у женщин обеспечен.

- Как ты сказал? – опускаясь в кресло, переспросил Плавицкий.
- Я говорю, вы, дядюшка, сердца покорять сюда приехали...
- Вот уж о чем не думал. Ты вправду сумасшедший!
- А пани Ямиш? Как будто я сам не видел...
- Что? – прижмурил один глаз Плавицкий, высунув кончик языка, но тотчас поднял брови, спохватясь: – Пани Ямиш... Видишь ли, она хороша для Кшеменя. Я, между нами, не выношу аффектации, это ужасно отдает провинцией. Она меня просто замучила этой своей аффектацией, ну да бог с ней! Женщина должна иметь мужество состариться, иначе отношения вместо дружбы переходят в пытку.
- Значит, вы, дядюшка, почувствовали себя мотыльком в сачке?
- Пожалуйста, не говори так, – произнес Плавицкий с достоинством, – не воображай, будто между нами что-то было. А если даже так, ты от меня об этом ни слова не услышишь. Видишь ли, в этих вещах между вами и нами, старшим поколением, – огромная разница. Мы тоже не были святыми, но умели молчать, а это великое достоинство, без него немыслимо то, что именуется истинным благородством.
- Из этого я заключаю, что вы мне не откроете, куда это вы направляетесь с такой великолепной гвоздикой в петлице.
- Нет, отчего же?.. Изволь... Машко пригласил позавтракать с ним, меня и еще там несколько человек. Я было отказался, не хотел Марыню одну оставлять... Но я ради нее уже столько дома в деревне насиделся, что не мешает немного и развлечься. А ты не зван?
- Нет.
- Странно. Ты хотя и коммерсант, как ты себя называешь, но из хорошей семьи. Впрочем, Машко и сам адвокат... Однако, скажу я тебе, как сумел он себя поставить, вот не ожидал.
- Машко и на голову сумеет встать.
- Всюду бывает, все его принимают. Раньше я был против него предубежден.
- А теперь?
- Надо отдать ему должное, во всей этой истории с Кшеменем он вел себя, как джентльмен.
- И панна Марыня того же мнения?
- Наверно... хотя, я думаю, Кшемень она не сможет позабыть... Продал-то я его ради нее, но не все в молодости доступно пониманию. Положим, я это предвидел, так что готов с покорностью снести. Что же до Машко... пожалуй, ей не в чем его упрекнуть. Кшемень, правда, он купил, но...
- Готов его вернуть?..

– Мы люди свои, и, между нами говоря, сдается мне, что да... Он еще в прошлый наш приезд увлекся Марыней, хотя тогда у них как-то не пошло. Марыня была еще очень молода, и он ей не понравился, да и меня коробило немного это его происхождение. А тут еще Букацкий проезжался на его счет. В общем, кончилось ничем.

– Как же ничем, если опять начинается.

– А я узнал, что он из старинного рода, только итальянского; его предки – выходцы из Италии. Когда-то они были Маско и сюда попали с королевой Боной, а потом осели в Белоруссии. Он даже и похож немножко на итальянца, ты не находишь?

– Скорее на португальца.

– Ну, какая разница... И в конце концов, сам посуди: продать имение и все-таки остаться при нем – это, знаешь, надо придумать... А Машко... ну да, по-моему, у него именно такие намерения, но Марыня – странная девушка. Как это ни прискорбно, приходится признаться, что чужого человека скорей поймешь, чем собственную дочь. Но если она скажет себе: «Paris vaut la messe»[18 - Париж стоит обедни (фр.)], как говорил Талейран...

– Талейран? А я думал, Генрих Четвертый.

– Конечно, ты же коммерсант, человек другого времени. Что вам, молодым, история, прошлое, вам бы только деньги делать... Так что все зависит от Марыни, но настаивать я не буду; при наших связях может представиться партия и получше. Надо только показаться на люди, старые знакомства возобновить. Это, конечно, требует усилий, но раз нужно, так нужно. Думаешь, хочется мне идти на этот завтрак? Нисколько! Но ведь и мне придется молодежь у себя принимать. Надеюсь, и ты нас не забудешь...

– Разумеется...

– А знаешь, что про тебя говорят? Что ты чертовски ловко деньгу умеешь наживать. Ну и ну! И в кого ты такой уродился, не в отца, во всяком случае. Но я тебя за это не осуждаю – нет, нет!.. Хотя напал ты на меня беспощадно, чуть не слопал, как волк ягненка, но ты мне нравишься – что-то в тебе есть, словом, я тебе симпатизирую.

– А я вам!

Плавицкий не лукавил. Деньги вызывали у него невольное благоговение, и к этому молодому человеку, который умел их наживать, он испытывал уважение, граничащее с симпатией. Это не какой-нибудь ждущий подачек бедный родственник, и Плавицкий, хотя не имел пока на него никаких видов, решил сохранять с ним добрые отношения.

– А ты неплохо устроился! – сказал он перед уходом, осмотревшись по сторонам.

И это была тоже правда. Квартира Поланецкого обставлена была так, будто он не сегодня завтра собирался жениться. Такое убранство само по себе доставляло ему удовольствие, придавая его мечтам видимость реальности.

Оглядев гостиную, которая сообщалась с другой комнатой, поменьше, обставленной тоже с большим вкусом, Плавицкий спросил:

- Отчего ты не женишься?
- Женюсь непременно, и в самое ближайшее время.
- А я знаю на ком, а я знаю на ком!.. – плутовато протянул Плавицкий, трепля Поланецкого по колену.
- Вы у нас – голова! От вас разве укроешься!
- Что, угадал? На вдовушке, да? На вдовушке?
- Милый дядюшка...
- Ась? Благослови тебя бог, а я тебя благословляю. Ну, пора идти, на завтрак нужно поспеть, а вечером – на концерт, в «Долину».
- В обществе Машко?
- Нет, с Марыней, но Машко тоже будет.
- И мы с Бигелем собираемся.
- Так, стало быть, увидимся. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда могут сойтись.
- Как сказал Талейран...
- Ну, до свидания.

Поланецкий не прочь был иной раз послушать музыку, но на этот концерт идти не собирался. Однако едва Плавицкий обмолвился о Марыне, ему сразу захотелось ее увидеть. Оставшись один, он поразмышлял некоторое время, идти или нет, но, так сказать, только для проформы, заранее зная, что не устоит и пойдет. Бигель, заглянувший к нему по делу после полудня, не заставил себя долго уговаривать, и около четырех часов они оказались в «Долине». День, ясный и теплый, несмотря на сентябрь, привлек многочисленную публику, одетую совсем по-летнему. Молодые женщины в светлых платьях, со светлыми зонтиками напоминали рой пестрых мотыльков на солнышке. И в этом рое любимых и влюбленных, слетевшихся сюда послушать музыку и пофлиртовать, должна была где-то находиться и Марыня. Поланецкому вспомнились студенческие годы, когда он влюблялся в незнакомок и, в надежде на новую встречу отыскивая их потом в толпе, поминутно ошибался, вводимый в заблуждение похожей шляпкой, прической или фигурой. И сейчас принял издали за Марыню уже нескольких чем-то похожих барышень, и всякий раз, когда говорил себе: «Она», сердце у него, как и давным-давно, вздрагивало и замирало. Но теперь он злился, находя себя смешным – понимая: такие поиски свидания, всепоглощающая сосредоточенность на одном существе только сильнее привязывают к нему, подогревают увлечение.

Между тем, прежде чем он увидел ту, которую искал, заиграл оркестр. Пришлось сесть и слушать, что он и сделал безо всякого удовольствия, презирая в душе Бигеля, который при первых звуках музыки замер и закрыл глаза. В антракте он приметил наконец блестящий цилиндр и черные усики Плавицкого, а рядом – Марынин профиль. С ними сидел и Машко, величественно-невозмутимый, с видом английского

лорда. Время от времени обращался он к Марыне, которая отвечала ему легким кивком.

– Плавицкие здесь, – сказал Поланецкий, – надо пойти поздороваться.

– Где ты их увидел?

– А вон, рядом с Машко.

– Верно. Пойдем.

И они направились к ним. Марыня, которая дружила с женой Бигеля, сердечно с ними поздоровалась, а Поланецкому лишь кивнула сдержанно, хотя и не настолько, чтобы это бросалось в глаза, и принялась расспрашивать его спутника о здоровье жены и детей. Бигель в ответ усиленно приглашал ее с отцом к себе на дачу в будущее воскресенье.

– Жена будет очень, очень рада! – повторял он. – Может быть, и пани Эмилия вернется к тому времени.

Марыня пыталась отказаться, но Плавицкий, жаждавший развлечений и знавший по прошлому своему приезду, что Бигели живут широко, принял приглашение. Было решено, что они приедут к обеду и вечером вернуться. Поездка необременительная, так как дача была недалеко, у первой пригородной станции.

– А пока садитесь с нами, – предложил Плавицкий, – тут как раз несколько свободных стульев.

– Вы не получали от пани Эмилии писем? – прежде чем сесть, осведомился у Марыни Поланецкий.

– Я как раз хотела спросить у вас то же самое – отвечала она.

– Нет. Но я завтра справлюсь по телефону о здоровье Литки.

На этом разговор прекратился. Бигель подсел к Плавицкому. Поланецкий пристроился к краю. Марыня снова обернулась к Машко – виден был только ее профиль, и то не вполне. За несколько недель, проведенных в городе, она как будто немного осунулась, во всяком случае, стала бледнее, прозрачнее, отчего длинные ресницы казались еще темней и гуще. И во всей ее внешности было особенное изящество, чему немало способствовали изысканный туалет и тщательная прическа, непохожая на прежнюю. Раньше она закалывала волосы ниже, теперь, по последней моде, зашпилила высоко, под самой шляпкой. Поланецкий окинул взглядом ее стройную фигуру и восхитился ее грациозностью, которая проглядывала во всем, даже в манере держать руку на коленях. Она показалась ему по-настоящему красивой. И он снова всем существом почувствовал: если у каждого мужчины есть свой идеал красоты, которым определяется для него мера женского очарования, то Марыня очень к нему близка, если не тождественна.

И, глядя на нее, все повторял про себя: «Ах, иметь бы такую жену, такую жену!»

Но она беседовала с Машко, обращаясь к нему, пожалуй, чересчур часто, – сохраняй Поланецкий хладнокровие, он спохватился бы: а не нарочно ли, назло ему она это делает? Так оно, видимо, и было. Но, судя по румянцу, вспыхивавшему на ее щеках,

разговор шел оживленный.

«Да она с ним просто-напросто кокетничает!» – стиснув зубы, подумал Поланецкий.

И ему страшно захотелось узнать, о чем они говорят. Но расслышать было трудно. Публика во время продолжительного антракта вела себя довольно шумно, и между ними сидели два человека. Но в перерыве между номерами до него донеслись отрывистые фразы Машко, который имел обыкновение для большего веса говорить с ударением.

– Он мне нравится... У всех свои слабости, его слабость – деньги... Я ему благодарен, что надоумил... Кшемень – это он... К вам он, по-моему, искренне расположен, потому что не скупился... и, признаться, заинтриговал...

Марыня с живостью ему отвечала, потом до Поланецкого снова долетел обрывок фразы:

– Характер еще не выработался... Энергии хоть отбавляй, но рассудительности... хотя по натуре он добрый.

Поланецкий не сомневался, что речь идет о нем, разгадал он и тактику Машко. Отозваться по видимости доброжелательно и беспристрастно, скорее хвалить, во всяком случае, признавать достоинства и вместе с тем бросать тень – это был излюбленный прием молодого адвоката. Себе он тем самым отводил особое место нелицеприятного судьи. Поланецкий понимал: Машко не столько хотел принизить его, сколько сам возвыситься – и, наверно, говорил бы точно так же про любого, в ком чужал соперника. Окажись Поланецкий в его положении, он, может быть, сам избрал бы подобную тактику. Но это не помешало ему счесть поведение Машко подлостью, за которую он поклялся отомстить при первом удобном случае.

Под конец концерта Поланецкому представилась возможность убедиться, насколько Машко освоился с ролью жениха. Когда Марыня сняла перчатки, чтобы завязать вуалетку, и они соскользнули с ее колен, Машко их поднял и держал с зонтиком вместе, потом снял со спинки стула ее пелерину, перекинув через руку, чтобы подать, когда они выйдут из сада; словом, он откровенно ухаживал, хотя и о спокойным тактом вполне светского человека.

Вид у него был уверенный и довольный. И в самом деле: исключая короткий разговор с Бигелем, Марыня все остальное время, пока не слушала музыку, разговаривала исключительно с ним. И сейчас, направляясь к выходу, прошла с ним вместе впереди отца, и Поланецкий снова увидел ее обращенное к Машко улыбающееся лицо. Разговаривая, они смотрели прямо в глаза друг другу, и слушала она Машко с очевидным увлечением. Вне всякого сомнения, кокетничала! Понимал это и сам Машко, но и тот при всей своей проницательности не догадывался, что она хочет подразнить Поланецкого.

У входа в сад их ждал экипаж. Машко, усадив ее и Плавицкого, стал прощаться. Но Марыня сказала, наклонясь к нему:

– Как? Ведь папа звал вас к нам? Правда, папа?

– Да, был такой уговор.

Машко уселся, и они укатили, раскланявшись с Бигелем и Поланецким. Довольно

долго приятели шли молча Наконец Поланецкий сказал, стараясь не выдать волнения:

– Интересно, сделал он уже ей предложение?

– Не думаю, но к тому идет.

– По-моему, тоже.

– Мне всегда казалось, Машко за состоянием будет Охотиться. А он возьми и влюбись. Выходит, никто от этого не застрахован, даже помышляющие единственно о карьере... Машко влюблен! Кстати, женись он, ему и деньги за Кшемень выплачивать не придется. Да, не такое уж и невыгодное дельце, как может показаться. А уж хороша... что правда, то правда!

И оба опять замолчали. Но у Поланецкого было тяжело на душе, и ему хотелось выговориться.

– Скажу тебе прямо, – начал он, – мне просто нестерпима мысль о том, что она может выйти за него. И еще это ощущение полнейшей своей беспомощности! Хуже не придумаешь. Какую глупую и нелепую роль сыграл я во всем этом!

– Да, ты опрометчиво поступил, но с кем не бывает. Всему виной необычное стечение обстоятельств: ее отец оказался твоим должником. Твое представление о денежных делах – и его... Вы как с разных планет. Вот и конфликт налицо. Конечно, ты немного перегнул; но, с другой стороны, слишком уступать ты тоже не мог, хотя бы из-за Марыни. Уступал бы, уступал бы ради нее – и что? Получилось бы, что она отцу пособница, задобрила тебя, не так ли? Нет, с этим надо было кончать!

Бигель задумался и, помолчав, заключил с обычной своей рассудительностью:

– Тебе ничего другого не остается, как только полностью устраниться и предоставить делу идти своим чередом, сказав себе: я сам этого хотел.

– Да какой мне прок говорить так, когда это не так! – вскричал с живостью Поланецкий. – Потому что не так! Все не так! Вовсе я этого не хотел. Вот уж дурацкое положение, ничего себе. Заварил кашу, а теперь расхлебывай. Всегда знал, чего хочу, и вот поступил не знаю как.

– Дело сделано, чего теперь жалеть.

– Сказать-то, милый, легко, а мне жить не хочется. Планы строить, как раньше? Думаешь, очень меня заботит, здоров я буду или болен, обеднею или разбогатею.. При одной мысли о будущем скучно и тошно становится. Ты свою жизнь устроил и привязан к ней, а я что? Блеснула надежда, и нет ее. Это, знаешь, здорово обескураживает.

– На панне Плавицкой в конце концов свет клином не сошелся.

– Это все слова! То-то и оно, что сошелся, иначе я себе и голову бы не сушил, а нашел другую. Да что говорить! В том-то и дело, что мне нужна она, и никуда от этого не денешься. А через год мне, может, на голову кирпич упадет или другую полюблю, вообще, что завтра будет, я не знаю, а вот что мне сейчас плохо, это факт. Тут еще много чего другого примешивается, о чем сейчас не хочется говорить. Для спокойной жизни надо иметь свой честно заработанный кусок хлеба,

не так ли? Но тот же покой потребен и для жизни внутренней. И нельзя с этим тянуть, а я все откладывал до женитьбы, думал: с образом жизни и образ мыслей переменится; сперва с одним покончу, а потом примусь за другое. А тут, как нарочно, все запуталось! Мало сказать, запуталось – прахом пошло! И так всегда: только мелькнуло – исчезло. Вечно пребываешь в неизвестности. По мне, уж лучше бы они обручились, по крайней мере, все было бы ясно.

– Вот что я тебе скажу, – заметил Бигель, – когда мне случалось в детстве занозиться, я вытаскивал занозу сам, это не так больно.

– Ты прав! – ответил Поланецкий, но тут же прибавил: – Видишь ли, занозу можно вытащить, если только не глубоко засела и есть за что ухватиться... Впрочем, к чему эти сравнения! С занозой человек ничего не теряет, а я лишаюсь видов на будущее.

– Это верно, но если нет другого выхода...

– Трудно с этим смириться, если только ты не последний тюфяк.

Разговор прервался. Прощаясь. Поланецкий сказал.

– Знаешь, что? Наверно, я не буду вас в воскресенье.

– И правильно сделаешь, – отвечал Бигель.

ГЛАВА XI

Дома ждал Поланецкого приятный сюрприз – телеграмма от пани Эмилии: «Приезжаем завтра утром. Литка здорова». На столь скорый приезд Поланецкий не рассчитывал, но так как о нездоровье Литки речи не было, он догадался: пани Эмилия спешит заняться его делами, и ощутил прилив благодарности к ней. «Вот добрая душа! – говорил он себе. – Вот истинный друг!» И вместе с благодарностью в сердце его закралась надежда, что Марыня будет принадлежать ему, словно пани Эмилия обладала каким-то чудодейственным талисманом или волшебной палочкой. Как это свершится, Поланецкий не представлял, но знал одно: теперь, по крайней мере, есть искренне расположенный к нему человек, который вступится, отзовется о нем с похвалой, рассеет предубеждения, накопившиеся по воле обстоятельств. Уж пани Эмилия проявит должную настойчивость – он полагал это даже ее долгом. Оказываясь в затруднении, мы часто склонны переложить долю ответственности на другого. Так и Поланецкому, особенно в минуты отчаяния, казалось, что пани Эмилия потворствовала его чувству к Марыне; не покажи она ему того письма об ответной готовности полюбить, он, может быть, и сумел бы вытравить ее образ из сердца и позабыть. Отчасти так оно и было, ибо письмо решительно повлияло на его отношение к Марыне. Он убедился, что счастье было близко, почти реально, что Марыня уже склонялась к взаимности. Расставаться с надеждой, когда она почти сбылась, особенно трудно, и Поланецкий, может быть, не жалел бы так о неудаче и легче бы с ней примирился, если бы не это письмо. О том, что он сам просил его показать, Поланецкий уже забыл, и теперь, несмотря на всю дружескую признательность пани Эмилии, считал ее ни мало ни много как обязанной помочь. Впрочем, по его представлению, отчасти это должно произойти само собой, благодаря частым встречам с Марыней в благоприятной обстановке, в доме, где хозяйка любит его и ценят, а значит, и гости будут относиться не хуже. Все это вселяло в него новую надежду, которая еще сильнее приковывала его мысли к

Марыне. И, решив перед тем не ехать к Бигелям, он теперь передумал: ведь если Литка здорова, пани Эмилия тоже непременно будет там. И независимо от своих чувств к Марыне, он от души радовался, что повидает обеих, особенно Литку, к которой успел крепко привязаться.

В тот же вечер короткой запиской он сообщил Плавицкому о приезде пани Эмилии, полагая, что Марыня будет ему благодарна за это посредничество, и дал знать на квартиру Хвастовских, чтобы приготовили чай. А сам нанял извозчика, доставить их с вокзала домой, и наутро уже в пять часов явился на вокзал.

Было свежо, и Поланецкий, чтобы согреться, быстрым шагом прохаживался по перрону в ожидании поезда. Дали, станционные постройки, вагоны на запасных путях окутывал туман – понизу густой, выше он редел и розовел, что предвещало погожий день. На перроне, кроме железнодорожных служащих и чиновников, в этот ранний час никого не было, но понемногу начала появляться публика. И внезапно из тумана выступили две женские фигуры; в одной Поланецкий с бьющимся сердцем узнал Марыню – она пришла с горничной встретить пани Эмилию. Не ожидая ее увидеть, он в первую минуту растерялся. Она тоже остановилась, смущенная и удивленная. Но в следующее же мгновение он подошел, протягивая руку.

– Доброе утро! – сказал он. – Оно и правда обещает быть добрым к нам. Если, конечно, наши путешественницы приедут.

– Значит, это еще не наверняка? – спросила Марыня.

– Нет, отчего же? Разве что-нибудь непредвиденное случится. Вчера вечером я получил телеграмму и послал записку пану Плавицкому, думая обрадовать вас новостью.

– Спасибо. Такая приятная неожиданность!..

– То, что вы так рано встали, – лучшее тому свидетельство.

– Еще старая моя привычка.

– Но мы слишком уж рано пришли. Поезд прибывает только через полчаса. Мой совет – лучше погуляйте, не стойте на месте: утро прохладное; хотя день обещает быть хорошим.

– Да, туман рассеивается, – сказала Марыня, поднимая кверху голубые глаза, которые в утреннем свете показались Поланецкому фиолетовыми.

– Не хотите ли пройтись по перрону?

– Спасибо. Я лучше в зале посижу.

И, кивнув, ушла. Ему было немного досадно, что она не захотела остаться, но он подумал, что это, может быть, не принято. А мысль, как должен сблизить их приезд пани Эмилии и сколько встреч сулит, еще больше его ободрила. И удивительный подъем и одушевление овладели им, нарастая с каждой минутой. Представляя себе фиолетовые очи Марыни, ее порозовевшие от утренней прохлады щеки и проходя мимо окон зала, где она сидела, он с веселым задором повторял про себя: «Что сидишь там, прячешься от меня, все равно тебя найду!»

И с небывалой силой ощутил, как мог бы полюбить ее, будь она к нему хоть чуточку снисходительней.

Между тем раздался звонок, и через несколько минут в тумане, который все еще стлался по земле, хотя вверху уже голубело небо, неясно проступили очертания поезда, все более четкие по мере приближения. Замедляя ход, паровоз в клубах дыма подкатил к перрону и остановился, с оглушительным шипением выпуская под передние колеса пар.

Поланецкий устремился к спальному вагону, и первое лицо, мелькнувшее в окне, было Литкино, которое просияло при виде его, словно осветясь солнцем. Девочка радостно замахала ему руками, и спустя мгновение Поланецкий был в вагоне.

– Котенок мой дорогой! – вскричал он, сжимая Литкины руки в своих. – Выспалась? Здорова?

– Здорова! Вот мы и вернулись наконец! И будем теперь вместе! Доброе утро, пан Стах!

Рядом с девочкой стояла пани Эмилия; «пан Стах» и ей с чувством поцеловал руку.

– Доброе утро, дорогая пани! Извозчик ждет, – торопливо, как всегда при встрече, стал он объяснять. – Вы можете сразу же ехать, багаж получит мой человек, дайте только квитанцию. Дома вас поджидают с чаем. Пожалуйста, квитанцию. Панна Плавицкая тоже здесь.

Марыня стояла подле вагона, и обе, радостно улыбаясь, бросились пожимать друг дружке руки. Литка помедлила словно в нерешительности, но потом с обычной безоглядной искренностью кинулась ей на шею.

– Марыня, поедem к нам пить чай, – сказала пани Эмилия. – Нас ждут дома, а ты, пооди, и не завтракала? Поедем, а?

– Вы же устали: всю ночь в дороге.

– Мы от самой границы спали как убитые, только-только успели одеться и умыться. Все равно будем чай пить, так что ты нам ничуть не помешаешь.

– В таком случае с удовольствием.

– Мамочка а пан Стах? – спросила Литка, дергая мать за платье.

– Ну конечно, и пан Стах Он обо всем позаботился, все для нас приготовил, значит, и он должен поехать.

– Должен! Должен! – воскликнула, оборачиваясь к нему, Литка.

– Не должен, а хочет, – шутливо возразил он.

Вчетвером уселись они в пролетку. Поланецкий был в отменном настроении – еще бы! Напротив сидит Марыня, рядом – Литка. На душе у него стало светло, как в этот утренний час, и проснулась уверенность, что отныне все пойдет хорошо. Во всяком случае, он принадлежит к тесному кружку людей, связанных общими интересами и взаимной симпатией, и к нему же будет принадлежать Марыня. Вот и сейчас она близ

него, а главное, их сближает общая приязнь к пани Эмилии и Литке.

Все четверо непринужденно болтали по дороге.

– Отчего вы, Эмилька, приехали раньше срока? – спросила Марыня.

– Литка все время просилась домой.

– Тебе не нравится за границей?

– Нет.

– По Варшаве соскучилась?

– Да.

– А по мне? Ну-ка, отвечай, не то плохо будет.

Обведя взглядом мать, Марыню, Поланецкого, Литка сказала наконец:

– И по вас, пан Стах, тоже соскучилась.

– Вот тебе за это, получай! – сказал Поланецкий и, схватив ее руку, хотел поцеловать, но она стала вырывать ее и в конце концов спрятала руки за спину. А он, поворачась к Марыне, проговорил с улыбкой, показывая свои крепкие белые зубы: – Вот видите, вечно мы с ней воюем и, однако, любим друг друга.

– Так всегда обыкновенно и бывает, – отвечала Марыня.

– Эх, кабы всегда! – возразил он, глядя ей в глаза серьезно и прямо.

Марыня, покраснев слегка, приняла сосредоточенный вид и, не отвечая ничего, заговорила с пани Эмилией.

– А пан Васковский? – обратился Поланецкий к Литке. – В Италию уехал?

– Нет, он в Ченстохове сошел и приедет послезавтра.

– Здоров он?

– Здоров, – ответила девочка и, взглянув на своего друга, сказала: – Пан Стах похудел, правда, мама?

– Вы и в самом деле неважно выглядите, – заметила пани Эмилия.

Поланецкий осунулся немного – он плохо спал, и виновница его бессонницы сидела напротив в пролетке. Но он сослался на множество хлопот и дел. Тут они подъехали к дому.

Пани Эмилия пошла поздороваться с прислужгой, Литка побежала следом, и Поланецкий с Марыней на короткое время остались одни в столовой.

– У вас, наверно, нет здесь никого ближе пани Эмилии? – спросил Поланецкий.

– Ни ближе, ни дороже.

– Трудно жить без душевного тепла... а она так добра, так отзывчива. У меня нет своей семьи, а у них я как в родном доме. И когда они здесь, Варшава кажется мне совсем другой, – сказал он, прибавив уже менее уверенно: – А на этот раз я радуюсь и за вас и хочу надеяться, что благодаря им мы ближе познакомимся... избежим новых недоразумений.

И с мольбой посмотрел на нее, словно желая сказать: «Я не могу так жить! Ну, протяни же руку в знак примирения, будь добрее со мной, хотя бы ради сегодняшнего дня».

Но именно потому, что безразлично относиться к нему она не могла, он вызывал у нее растущую неприязнь. И чем добросовестней и симпатичней он казался, тем невероятней и непростительней выглядел в ее глазах его поступок.

Деликатной и скорее робкой по натуре Марыне не хотелось омрачать этот день резким ответом, и она предпочла промолчать. Но он и не нуждался в словесной отповеди, прочтя во взгляде ее приблизительно следующее: «Чем меньше ты будешь стараться возобновить наши отношения, тем лучше, а еще лучше вообще держаться подальше друг от друга».

И радость его тотчас померкла, сменившись негодованием и печалью, которая была сильнее, потому что его неодолимо влекло к Марыне, хотя пропасть между ними – это было очевидно – увеличивалась с каждым днем.

И он только глядел на ее милое, доброе лицо, чувствуя: чем безвозвратней он ее теряет, тем дороже она ему становится.

Появление Литки положило конец этой невыразимо тягостной сцене. Оживленная, улыбающаяся, растрепанная, вбежала она в комнату, но, увидев их, остановилась, всмотрелась своими темными глазами сначала в него, потом в нее и, притихнув, села к чайному столу. И хотя Поланецкий скрепя сердце старался быть за завтраком оживленным и разговорчивым, ее тоже не удалось развеселить.

Обращаться к Марыне он избегал, беседуя преимущественно с Литкой и пани Эмилией, и, странное дело, Марыню это уязвило. И к прежним обидам прибавилась еще одна.

Вечером другого дня пани Эмилия с Литкой были приглашены на чашку чая к Плавицким. Зван был и Поланецкий, но не пришел. И это – так уж устроен человек – в свой черед задело Марыню. Тот, кого ненавидишь, должен быть рядом, как и любимый. И Марыня невольно весь вечер посматривала на дверь, а когда стало ясно, что Поланецкий не придет, она, к удивлению пани Эмилии, начала кокетничать с Машко.

ГЛАВА XII

Машко был неглуп, но чрезвычайно Высокого мнения о себе и потому принимал за чистую монету изъявляемое ему Марыней расположение. Да и не было особых оснований сомневаться. Неровность ее поведения он приписывал отчасти кокетству, отчасти настроению, и хотя такая переменчивость немного беспокоила его, но не настолько, чтобы удержать от решительного шага.

Бигель был недалек от истины, говоря, что Машко влюблен. Так оно и было. Марыня и раньше нравилась ему, а точный подсчет всех плюсов и минусов окончательно убедил его, что плюсов больше. Конечно, большую цену для молодого адвоката представляло бы состояние, но трезвый взгляд на вещи и доскональное знание общества, в котором он вращался, подсказывали, что богатой невесты ему не найти – ее попросту не отдадут за него. По-настоящему богатые невесты принадлежали или к родовой аристократии, – а в столь высокие сферы он доступа не имел, – или к финансовому миру, который, со своей стороны, желал вступить в родственные отношения с более или менее знатными фамилиями. И Машко прекрасно понимал: аляповатые портреты епископов и рыцарей – предмет насмешек Букацкого – не приблизят его к банкирским сейфам. И не будь даже предки плодом его фантазии, сама адвокатура послужила бы для финансовых тузов неким *deminutionem caritatis*[19 – принижаящим обстоятельством (лат.)]. Да и у него по известным национальным причинам брак такого рода вызывал несколько брезгливое чувство, тогда как женитьба на девушке из хорошей дворянской семьи неизъяснимо прельщала, как всякого парвеню.

Приданого у Марыни, правда, нет или почти нет. Зато женитьба на ней освобождает от денежных обязательств, налагаемых покупкой Кшеменя. И потом, породнившись со старинным шляхетским семейством, можно заполучить дворянскую клиентуру, что уже само по себе немало. А там, благодаря связям Плавицких, к нему перешли бы дела двух-трех, а то и целого десятка по-настоящему состоятельных семей, на что давно уже были направлены его усилия.

У Плавицких, как у всех помещиков средней руки, были родственники, которых они чурались, но были и такие, которые чурались их самих, – не то чтобы из гордости; это получалось как-то само собой, в силу некоего закона социального отбора, сближающего людей более или менее одного общественного уровня. Однако важнейшие семейные торжества на время скрепляют ослабевшие семейные узы, и Машко не просто льстило, что на свадьбе его будут сливки общества, – он рассчитывал в будущем извлечь из этого выгоду для себя. Надо только ловко намекнуть им, как удобно и надежно для них поручить свои дела известному своей энергией адвокату, причем не постороннему, более того: родственнику. Дать им понять, что это доброхотное даяние с их стороны как бы на приданое бедной девушке. Приняв все это в соображение, Машко решил, что сумеет войти к ним в доверие, а со временем и прибрать к рукам. Сначала, по расчетам Машко, будут просто между прочим, в разговоре спрашивать совета как у знакомого или дальнего родственника, больше сведущего в юридических заках; если же советы окажутся дельными, станут обращаться все чаще и в конце концов во всем положатся на него. Таким образом, помогая им, он поможет себе. Расширит поле своей деятельности, очистит Кшемень от долгов и, нажив состояние, бросит наконец адвокатскую практику, которой занимался лишь поневоле, рассматривая ее как средство для достижения цели: занять высокое положение, подобающее человеку со средствами и крупному землевладельцу, представителю большой и сильной общественной партии. Прежде чем сделать предложение Марыне, он все предусмотрел, рассчитал и взвесил.

Не предусмотрел только, что может влюбиться.

За это он порядком рассердился на себя, поскольку полагал, что светский человек, как и во всем, в любви должен быть умерен: одно из его стойких заблуждений. Принадлежи он к высшему обществу по рождению, а не старайся в него втереться, он не боялся бы любить, как диктует сердце. Несмотря на весь свой ум, он не понимал, что высшая привилегия этого почитаемого привилегированным общества есть

свобода. И поэтому был не очень доволен собой, теряясь против обыкновения и млея в присутствии Марыни. Но вместе с тем цель, к которой он стремился, стала постепенно сливаться в его представлении со счастьем, которым наслаждался он до упоения.

Все это было ново для него, настолько, что даже слепило открывшимися перед ним горизонтами. Дожив до тридцати с лишним лет, Машко не знал, что такое увлечение, и лишь теперь понял, сколько в этом прелести и очарования. Случалось, Плавицкий принимал его у себя, и, если Марыня была в соседней комнате, он мыслями переносился к ней, с трудом понимая, о чем идет разговор. При ней же им овладевали смягчая и облагораживая, неведомые ему дотоле умиление и нежность. Его голубые глаза утрачивали к такие минуты холодный, стальной блеск и глядели с кротким, восторженным выражением; красные пятна на щеках, придававшие ему некоторое сходство с Васковским, рдели еще ярче; вся важность соскакивала с него, и свои темные бакенбарды теребил он не как английский лорд, а как простой влюбленный смертный. О ее счастье думалось ему как о своем – потому, наверно, что добро рисовалось в его и только его, Машко, обличье: вот до каких высот он дошел.

Любовь его возросла настолько, что, отвергнутая, могла стать опасной, особенно при его безудержной решительности и отсутствии твердых нравственных правил. До той поры он не любил, и Марыня первая разбудила его сердце. Не красавица, она в высшей степени обладала тем, что называется очарованием женственности, – это и делало ее особенно привлекательной именно в глазах мужчин решительных, энергичных. Ее грациозная фигура приводила на память гибкое растение, и, хотя наружность не была чем-либо примечательна, приглядевшись, каждый, не обладая даже воображением, не мог не ощутить: есть в этом открытом лице, ясном взоре, немного чувственных губках нечто влекуще-незаурядное, достойное любви.

Но если Машко, сознавая это сам, становился лучше, то Марыня после переезда в Варшаву чувствовала себя душевно оскудевшей. Продажа Кшеменя лишила ее привычных занятий и здоровой нравственной опоры. Исчезла цель, делающая жизнь осмысленной. И вдобавок горести и неприятности, выпавшие на ее долю и тоже не прошедшие бесследно. Марыня сама ощутила происшедшую в ней перемену и спустя несколько дней после того, как весь вечер напрасно прождала Поланецкого, первая заговорила об этом, сидя в сумерках с пани Эмилией в примыкавшей к детской маленькой гостиной.

– Я вижу, – сказала она, – мы уже не так откровенны друг с другом. Хотелось бы поговорить с тобой по душам, но я не решаюсь: мне кажется, я недостойна твоей дружбы.

Пани Эмилия склонилась к Марыне и поцеловала ее в висок. Лицо ее светилось добротой.

– Ах, Марыня, Марыня! Всегда такая уверенная, благоразумная, и вдруг такие речи?

– Да, в Кшемене я была, наверно, лучше. Ты не представляешь, как дорог мне был этот уголок. Все дни мои были заполнены, а главное, во мне жила какая-то безотчетная надежда, что впереди меня ждет счастье. А теперь ничего этого нет, в Варшаве я себя словно потеряла, хуже того, испортилась. Я видела, как ты удивлялась, что я кокетничаю с Машко. Не говори, будто не заметила. Думаешь, я сама знаю, зачем? Наверно, оттого, что испорченная или обозлилась на себя, на него, на весь мир. Я ведь не люблю его и никогда за него не выйду, значит,

поступаю бесчестно и признаюсь в этом со стыдом; но иногда словно нарочно хочется кому-то досадить. Нет, я недостойна твоей дружбы, потому что совсем не такая, как была.

И по лицу ее заструились слезы. Пани Эмилия стала еще ласковей ее утешать.

– Пан Машко явно добивается твоей руки, – сказала она ей, – и мне казалось, что ты согласна. Признаться, меня это огорчило: Машко тебе не пара, но, зная, что такое Кшемень для тебя... Я подумала, ты не хочешь его лишиться.

– Да, сначала у меня была такая мысль... Я все пыталась себя убедить, что он нравится мне, не надо его отталкивать... Ради Кшеменя. И по другим причинам. Но не сумела... Не могу даже из-за Кшеменя платить такой дорогой ценой. Вот это-то и дурно! Зачем тогда кривить душой, обманывать пана Машко? Ведь это же просто нечестно!

– Водить его за нос, конечно, нехорошо, но, кажется, я догадываюсь, откуда это у тебя. Ты обижена и сердита на другого, правда ведь? Но ты успокойся, беда эта поправимая, только завтра же переменись с Машко, чтобы он ни на что не рассчитывал... смотри, Марыня: пока еще не поздно, пока ты не связана обещанием.

– Я сама знаю, Эмилька, и понимаю. С тобой я себя чувствую честной и порядочной – прежней; понимаю, что не только слова обязывают, но и поведение. И он вправе меня упрекнуть...

– А ты скажи, что хотела его полюбить, но не смогла. Все равно лучшего выхода нет...

Они помолчали. Но обе понимали, что весь разговор впереди, что они еще не коснулись главного, больше всего занимавшего их или, по крайней мере, пани Эмилию.

– Признайся, Марыня, – сказала она, беря ее за обе руки – ты с ним кокетничала, чтобы досадить пану Станиславу?

– Да, – упавшим голосом ответила Марыня.

– Значит, его приезд в Кшемень и ваши разговоры настолько тебе запомнились?

– Да, лучше было бы забыть.

Пани Эмилия погладила ее по темным волосам.

– Ты не представляешь, какой это добрый, порядочный и благородный человек. Он наш друг и всегда любил Литку за то, что я ему бесконечно признательна. Но ты сама знаешь, что такое дружеские отношения, обычно от них ни тепло ни холодно. А он и в этом смысле – исключение. Ты не поверишь, до чего он мил и отзывчив был в Райхенгалле: когда Литка заболела, он вызвал к ней известного доктора из Мюнхена, а мне, чтобы не волновать, сказал, будто он приехал к другому больному и надо просто воспользоваться случаем. Это человек надежный, на него можно положиться, порядочный и притом сильный. Бывают люди интеллигентные, но слабохарактерные; у других характер есть, но нет чуткости, душевной тонкости. А он соединяет в себе и то, и другое. Да, я забыла: когда деверь взялся устроить наши дела, так как Литке грозила опасность вообще остаться без всего, ему помог

в этом Поланецкий. Будь Литка постарше, я бы ей лучшего мужа не пожелала. Даже передать не могу, сколько он хорошего нам сделал.

– Если столько же, сколько мне – плохого, значит, много.

– Марыня, он же не со зла. Знала бы ты, как он казнит себя, как горько раскаивается.

– Он мне сам говорил, – отвечала Марыня. – Я, Эмилька, много об этом думала; сказать по правде, ни о чем другом и думать не могла и считаю, что он передо мною виноват. В Кшемене он был со мной предупредителен, так предупредителен, что мне даже показалось – Одной тебе могу я признаться, – правда, я уже писала: после того воскресного вечера, что мы провели с ним, я заснуть не могла, все думала о нем, стыдно даже вспомнить теперь... Казалось, еще один день, еще приветливое слово, и я полюблю его на всю жизнь... И он меня – так мне казалось. А наутро он уехал, рассерженный... И из-за папы, и из-за меня, поэтому я его не осуждала: помнишь, что я тебе писала в Райхенгалль? Доверилась ему, как и ты... Так вот, он уехал... Сама не знаю почему, но я думала: приедет. Или напишет. А он не приехал и не написал. Внутренний голос шептал мне: Кшемена он не отнимет. Отнял... А потом... Я знаю, у Машко был с ним откровенный разговор, и он заверил его, что никаких таких видов не имеет... Ах, Эмилька, дорогая!.. Может, он и не виноват, но столько горя причинить. Из-за него я не только милого моему сердцу уголка лишилась, любимых занятий, я больше потеряла: веру в жизнь, в людей... в то, что добро и справедливость восторжествуют над злом и низостью. И сама стала хуже. Я себя не узнаю: правда, правда. Имел он право поступить, как поступил со мной? Допустим. Я готова признать и его не виню. Только, видишь ли: из-за этого во мне что-то надломилось. И тут уж ничего не поделаешь, этого не поправить. Ну, правда же: разве мне легче оттого, что он потом одумался, жалеет о своем поступке, жениться даже готов? Как же легче, если я, уже почти полюбив, теперь не только его не люблю, но просто еле выношу. Он мне ненавистен, а это даже хуже полного безразличия... Я знаю, что ты задумала, но строить жизнь можно только на любви, а не на ненависти. Отдать ему руку, тая в душе такую муку и обиду, не в силах простить горя, которое он мне вольно или невольно причинил? Не думай, будто я не замечаю его достоинств, но чем они очевидней, тем мне неприятней, и я ничего не могу с собой поделать; придиись мне между ним и Машко выбирать, я предпочла бы Машко, пускай и без его достоинств. Против твоих похвал ему мне нечего возразить, но знай: я его не люблю и не люблю никогда...

Теперь слезы выступили уже на глазах у пани Эмилии.

– Бедный пан Стах! – сказала она, как бы думая вслух, и спросила, помолчав: – И тебе его ничуть не жалко?

– Жалко, когда вспомню, каким он был в Кшемене, жалко, когда его не вижу, но стоит увидеть – не жалко. Одна только неприязнь.

– Это потому, что ты не знаешь, какой он несчастный был в Райхенгалле. А сейчас ему еще хуже. Он ведь совсем одинок.

– А ты, твоя дружба? А Литка, которую он любит?..

– Это, Марыня, совсем не то! Я ему очень благодарна за его любовь к Литке, но ты сама понимаешь, это же другое, тебя он иначе любит, и во сто раз сильнее, чем Литку.

В комнате сделалось совсем темно; слуга внес зажженную лампу и, поставив на стол, вышел. При свете ее пани Эмилия заметила возле двери в детскую маленькую, съжившуюся на козетке фигурку в белом.

– Литка, ты?

– Я, мамочка.

В голосе ее пани Эмилии почудилось что-то необычное, она встала и быстро подошла к девочке.

– Почему ты здесь? Что с тобой?

– Мне грустно и плохо.

Присев на козетку, мать притянула девочку к себе и заметила слезы у нее на глазах.

– Литуся, ты плачешь? Что с тобой?

– Мне грустно, очень грустно!

И, уткнувшись головой в материнское плечо, она заплакала. Ей было отчего грустить: она узнала, что «пан Стах» сейчас еще несчастней, чем в Райхенгалле, и что Марыню он любит в сто раз больше, чем ее.

В тот же вечер перед сном, уже в ночной рубашке, Литка, привстав на цыпочки, прошептала матери на ухо:

– Мамочка, у меня большой грех на совести...

– Какой же, бедненькая ты моя?

– Я не люблю Марыню... – прошептала она еще тише.

ГЛАВА XIII

Пани Эмилия с Литкой и Марыня с отцом отправились к Бигелям обедать на дачу, расположенную в лесу в двух с половиной часах езды от города. Был ясный сентябрьский день, в воздухе и на стерне поблескивали нити паутины. Листва была еще зеленая, лишь кое-где перелески пестрели будто желто-красными гроздьями и букетами. Эта бледно-золотистая осень напомнила Марыне сельские работы, запах ржи в закромах, усеянные скирдами поля, открытые взору просторы, окаймленные ольхами на горизонте. И ей жаль стало той покойно-размеренной жизни, в сравнении с которой вседневно бурлящая, но чуждая городская казалась суетной и ничтожной. Та, полная для нее смысла и значения, теперь, как подсказывало ей чувство, потеряна безвозвратно, и впереди нет ничего, что могло бы заменить или возместить эту потерю. Прежнее можно было обрести вновь, сделавшись женой Машко, но при одной мысли об этом ее брала тоска, и Машко со своим столичным гонором, своими бакенбардами и пятнами на щеках, строивший из себя лорда, становился ей противен. Никогда еще не испытывала она столь острой неприязни к Поланецкому,

который лишил ее Кшеменя, вместо него подсунув Машко. Последнего она презирала, а того, казалось, ненавидела. Ей представилась жизнь с отцом среди городской суеты без цели, без дела, без идеала, только тоска о прошлом – и пустота, пустота в будущем. И от этого погожего осеннего денька вместо умиротворения повеяло на нее горькой печалью. Поездка вообще была невеселая. Литка сидела насупясь, потому что «пана Стаха» с ними не было. Пани Эмилия поглядывала на нее с тревогой, опасаясь, что угрюмость эта – признак нездоровья. Один только Плавицкий был в отменном расположении духа, особенно поначалу. В светлом пальто поверх наглухо застегнутого сюртука с красной гвоздикой в петлице, с торчащими пиками усами, он мнил себя неотразимым, ощущая прилив бодрости и сил, тем более что донимавший его время от времени ревматизм не беспокоил благодаря хорошей погоде. К тому же напротив сидела одна из красивейших женщин Варшавы, и он надеялся, что его неоспоримые мужские достоинства не оставят ее равнодушной, во всяком случае, будут отмечены и оценены. На худой конец пусть хотя бы подумает: «Ах, какой, наверно, был красавец!» За неимением лучшего пан Плавицкий удовольствовался бы и таким, сказанным в прошедшем времени комплиментом. И в надежде на это он был поистине обворожителен: то отечески снисходителен, то игриво-шаловлив; нынешняя молодежь, по его понятиям, не умела ухаживать за дамами, и, любезничая с пани Эмилией, он ударялся даже в мифологию, что отчасти было и оправдано, ибо он пожирал ее взглядом, как сатир.

Но поскольку все это принималось лишь со слабой улыбкой и без должного внимания, он в конце концов омрачился и перешел на другое, в частности, на то, что благодаря знакомствам дочери сошелся с «буржуазией», чему отчасти и рад, – до сих пор ему доводилось видеть подобное общество только на сцене, а между тем надо и в жизни общаться с самыми разными людьми, это всегда поучительно. И в заключение прибавил, что люди известного круга должны не отталкивать, а привлекать к себе всех остальных, дабы внушать им правильные взгляды, и он не собирается отказываться от этой своей гражданской миссии. Тут его исполненное благородства лицо приняло меланхолическое выражение, и так они подъехали к даче Бигелей.

Дача и еще два-три домика рядом стояли прямо в сосновом бору среди вековых сосен, местами вырубленных, а местами стоявших группами, иногда по несколько десятков. Они, казалось, дивились, откуда здесь, в бывлой глуши, этот дом, но гостеприимно заслоняли его от ветра, а в тихие дни овевали целебным смолистым ароматом.

Бигели в окружении стайки детишек вышли навстречу гостям. Особенно сердечно пани Бигель поздоровалась с Марыней, которую искренне любила, а кроме того, надеялась: чем лучше будет Марыне в их обществе, тем скорее смягчится ее сердце для Поланецкого. Плавицкий, который познакомился с Бигелем у пани Эмилии в свой прошлый приезд и оставил у них тогда в виде ответного жеста лишь визитную карточку, теперь держался таким всемилостивым вельможей, как и подобает благовоспитанному человеку, взявшему на себя к тому же миссию привлекать на свою сторону «буржуазию». Он поцеловал пани Бигель руку, сказав ее супругу добродушно-покровительственным тоном:

– По нынешним временам каждому лестно посетить дом такого человека, а мне особенно, поскольку мой племянник, занявшись коммерцией, стал вашим компаньоном.

– Поланецкий – дельный человек, – ответил Бигель просто, пожимая протянутую ему руку в перчатке.

Дамы прошли в дом снять шляпы и, так как было совсем тепло, тотчас вернулись на веранду.

– Что, пана Поланецкого нет еще? – спросила пани Эмилия.

– Он здесь с самого утра, – отвечала пани Бигель, – а сейчас пошел навестить Краславскую. Это тут рядом, – объяснила она Марыне, – полумверсты не будет... Тут вокруг много дач, а эти дамы – наши ближайшие соседки.

– Я видела Терезу Краславскую на карнавале, – заметила Марыня. – Помнится, она всегда очень бледная была.

– Она и сейчас малокровьем страдает. Хотя и провела прошлую зиму в По.

Меньшие Бигели увлекли тем временем Литку, которую обожали, под сосны поиграть. Девочки стали ей показывать свои маленькие садики, разбитые на песке, в которых, собственно, всерьез ничего не росло. Осмотр то и дело прерывался поцелуями: девчурки, встав на цыпочки, чмокали Литку в щеку, а она, наклоня русую головку, с нежностью целовала их в ответ.

Мальчики тоже не хотели отставать. Сначала вытоптали всю клумбу перед домом, выбирая для Литки георгины покрасивей, потом заспорили, какие она любит игры, и направились к пани Эмилии за разрешением спора.

– Я знаю, больше всего она любит серсо, – закричал Эдик, имевший обыкновение говорить очень громко, закрывая при этом глаза, – но мы не знаем, можно ли ей...

– Можно, только бегать нельзя.

– Хорошо, тетя Эмилия! Мы будем так бросать, чтобы кольца прямо к ней летели. А Юзек, если не умеет, пусть не бросает.

– Нет, я тоже хочу! – заныл Юзек.

И при мысли, что может лишиться такого удовольствия, выгнул губы подковой, готовясь зареветь.

– Юзек, я сама буду бросать тебе серсо, часто-часто! – поспешила Литка предотвратить взрыв отчаяния.

И глаза Юзека, уже наполнившиеся слезами, мигом просохли и заулыбались.

– Не бойтесь, они ее не обидят, – успокаивал пани Эмилию Бигель. – Такие сорванцы, но удивительно, до чего с ней осторожны! Это Поланецкий им внушил заботиться о ней.

– На редкость славные дети! – сказала пани Эмилия.

Детвора сбилась в кучу, разбирая кольца и палки. Литка, самая старшая и самая высокая, стояла в середине, и, хотя детей Бигеля никак нельзя было назвать некрасивыми, она со своим нежным, одухотворенным личиком и до неправдоподобия тонкими чертами казалась в окружении их пухлых здоровых мордашек существом с другой планеты. Первой обратила на это внимание пани Бигель.

– Смотрите, прямо королева! Честное слово, не могу ею налюбоваться.

– И сколько благородства, – прибавил Бигель.

Пани Эмилия с бесконечной любовью смотрела на дочь. Дети разбежались, образовав большой круг и разноцветными пятнами запестрели на блеклом фоне опавшей хвои, будто яркие грибочки, выросшие под соснами-исполинами.

Спустясь с веранды, Марыня встала рядом с Литкой последить, чтобы девочка не слишком утомилась, бегая за кольцами.

В это время на ведущей к даче широкой лесной дороге показался Поланецкий. Дети заметили его не сразу, он же, окинув взглядом веранду, поляну перед домом и заметив светлое платье Марыни под соснами, ускорил шаг.

Не желая волновать мать, которая боялась каждого ее быстрого движения, Литка оставалась на месте, ловя только кольца, летевшие прямо на нее, а за остальными бегала Марыня. От беготни волосы у нее растрепались, она поминутно их поправляла и, когда Поланецкий входил в калитку, как раз стояла, подняв руки и откинувшись назад.

Поланецкий не мог оторвать от нее глаз, никого не видя, кроме нее; казавшаяся на просторной поляне чуть ниже ростом и моложе, она была так девственно прекрасна, словно самой природой создана для того, чтобы, заключив ее в объятия, прижать к груди как женщину и вместе самое дорогое на свете существо. Ни разу еще не ощущал он с такой силой, как страстно ее любит.

Увидев его, дети побросали кольца и палки и с визгом кинулись навстречу. Игра прекратилась. Литка тоже устремилась было за ними, но внезапно остановилась, переводя свои большие глаза с Поланецкого на Марыню и обратно.

– А ты не хочешь разве побежать навстречу пану Поланецкому? – спросила Марыня.

– Нет...

– Почему, Литуся?

– Потому что...

Бедная девочка слегка покраснела, но не смогла или не посмела сказать вслух, что думала: «Потому что он любит тебя больше, чем меня, и смотрит только на тебя».

Поланецкий шел, отбиваясь от детей и твердя:

– Отстаньте, сорванцы, не то всех сейчас на землю уложу!

И, приблизившись, протянул сначала руку Марыне – в его глазах читалась просьба улыбнуться ему приветливо, встретить хоть чуточку теплее; потом спросил у Литки:

– Ну что, котенок, здоров?

Увидев его и услышав, девочка позабыла о своем горе и потянулась к нему обеими руками.

– Здоров, здоров! Вы к нам не пришли вчера, пан Стах, и было очень скучно, идите за это к маме на расправу.

Спустя минуту все были на веранде.

– Ну, что Краславские? – спросила пани Эмилия.

– Здоровы, собираются зайти после обеда, – ответил Поланецкий.

К самому обеду приехал Васковский с Букацким, который вернулся в Варшаву накануне. Коротко знакомый с Бигелями, он мог позволить себе явиться без приглашения, к тому же слишком большим искушением было и присутствие пани Эмилии. Впрочем, поздоровался он с ней в обычной своей шуточной манере, безо всяких сантиментов. Она обрадовалась ему: он развлекал ее своими экстравагантными суждениями.

– Вы, кажется, собирались в Мюнхен, а потом в Италию? – спросила она Букацкого, когда все сели за стол.

– Да, – отвечал он, – но я забыл разрезательный нож и вернулся за ним с дороги.

– О, это, конечно, уважительная причина!

– Ну да, всегда все объясняют важными причинами, терпеть этого не могу. И почему это надо важным причинам оказывать предпочтение перед неважными? Впрочем, вчера я по чистой случайности сделал действительно важное дело: последний долг отдал своему другу. Был на похоронах Лисовича.

– Это маленький такой, худощавый спортсмен? – спросил Бигель.

– Да, – сказал Букацкий. – И никак не могу прийти в себя от удивления: он, всю жизнь занимавшийся этой чепухой, вдруг отважился на такой серьезный поступок, как смерть. Просто не узнаю Лисовича! Неожиданности на каждом шагу.

– Кстати, – сказал Поланецкий, – от Краславских я слышал, будто Плошовский, кумир всех варшавянок, застрелился в Риме.

– Он мне родня, – заметил Плавицкий.

Больше всего взволновало это известие пани Эмилию. Самого Плошовского она не знала, но видела несколько раз его тетку, – старший брат ее мужа, прожив свое состояние, служил у нее управляющим. И ей известно было, как Плошовская привязана к племяннику.

– Господи, какое несчастье! – ахнула она. – Неужели правда? Такой молодой, богатый и одаренный человек... Бедная тетушка Плошовская!

– И такое огромное состояние без наследника! – добавил Бигель. – Имение их здесь, под Варшавой, так что кое-что я о них знаю. У Плошовской не было никого, кроме одной дальней родственницы, Кромицкой, и племянника Леона. И вот обоих нет больше в живых.

Теперь взволновался Плавицкий. Он и впрямь приходился Плошовской дальней родней и даже видел ее раза два-три, хотя вспоминал об этих встречах с содроганием, ибо

она неизменно резала ему всю правду в глаза – проще говоря, ругала направо. И он впоследствии всячески избегал ее, и они не поддерживали отношений, что не мешало ему в светской беседе вернуть словечко о знатной, богатой родне. Плавицкий принадлежал к категории людей, весьма у нас многочисленной, которые убеждены, что сам господь бог придумал для них этот легкий способ разбогатеть: получить наследство, – и едва забрезжит хоть малейшая надежда, они уже принимают ее за очевидность.

– А может, небо рассудило, что другие руки сумеют лучше распорядиться этим состоянием, – сказал он, торжествующим взглядом обведя присутствующих.

– Мы встретились как-то с Плошовским за границей, – заметил Поланецкий, – он показался мне человеком незаурядным. Помню его очень хорошо.

– Говорят, прекрасный и милейший был человек, – отозвалась пани Бигель.

– Да простит ему бог, – сказал Васковский. – Я тоже его знал: это был истинный ария!

– Озория, – поправил Плавицкий.

– Ария, – настаивал Васковский.

– Озория... – подчеркнул Плавицкий с достоинством.

И оба старика на потеху Букацкому уставились друг на друга, недоумевая, о чем, собственно, спорят.

– Ну так как же: ария или Озория? – спросил Букацкий, вставляя монокль.

Конец недоразумению положил Поланецкий, объяснив, что Озория – название герба Плошовских, а следовательно, можно одновременно быть арией и Озорией, с чем Плавицкий не очень согласился, заметив вскользь, что честное имя носить не стыдно и незачем переименовывать его.

– Я приемлю только один род самоубийства, – обычным своим безразличным тоном сказал Букацкий, обращаясь к пани Эмили, – самоубийство из-за несчастной любви, почему и пытаюсь вот уже несколько лет решиться на это, но пока не могу.

– Говорят, самоубийство – признак трусости, – заметила Марья.

– Выходит, я не лишаю себя жизни от избытка храбрости.

– Давайте лучше о жизни, а не о смерти поговорим, – предложил Бигель, – и о том, что в жизни всего важнее, – о здоровье. За здоровье пани Эмили!

– И Литки! – прибавил Поланецкий и, обратясь к Марье: – За здоровье наших общих друзей!

– С удовольствием! – ответила Марья.

– Видите ли, – продолжал он, понижая голос, – я их не только друзьями считаю, но... как бы это лучше выразиться?... Заступницами своими. Литка, она, конечно, еще дитя, но пани Эмили не будет приближать к себе недостойных, и если кто-то

предубежден против меня, пускай даже справедливо, – если я поступил не так или просто нехорошо и этот «кто-то» видит, как я мучаюсь этим, ему не может не прийти в голову: раз пани Эмилия искренне расположена ко мне, значит, не такой уж я плохой человек.

Марыня смешалась, ей стало жаль его, а он закончил еще тише:

– А я и правда мучаюсь! Меня все это очень тяготит!

Но прежде чем она успела ответить, Плавицкий провозгласил тост за здоровье пани Бигель, произнеся по этому поводу целую речь, смысл которой сводился к следующему: женщина – венец творения и перед ней все должны склонять голову, как перед королевой, и сам он всегда склонял и склоняет голову перед женщинами вообще, а перед пани Бигель сейчас в особенности.

Поланецкий от души пожелал ему провалиться. Такой удобный момент – он чувствовал, Марыня уже готова была сменить гнев на милость, – и вот упущен. Марыня, подойдя к пани Бигель, обняла ее, а вернувшись на свое место, не поддержала начатого разговора. Прямо же переспросить Поланецкий не решался.

Сразу после обеда прибыли Краславские: мать, женщина лет пятидесяти, живая, самоуверенная и очень разговорчивая, и дочь – в противоположность ей чопорная, холодная и сухая, которая вместо «так» говорила «тэк», впрочем, с довольно красивым, хотя и бледным лицом, напоминающим гольбейновских мадонн.

Поланецкий начал развлекать ее со злости, нет-нет, да и поглядывая на Марыню, на ее свежее румяное личико и голубые глаза, и твердя про себя: «Хоть бы словечко доброе сказала! Ох ты... ох ты, бессердечная!»

Так злился, распалялся он все больше и, когда девица вместо «мама» проронила «меме», переспросил довольно нелюбезно:

– Кто?

А «меме» вываливала меж тем запас новостей, вернее, домыслов о самоубийстве Плошовского.

– Вообразите, господа, – с жаром тараторила она, – он из-за Кромницкой застрелился; я сразу подумала. Вот уж кокетка была, упокой господи ее душу, – никогда я ее не любила. Вовсю с ним кокетничала, я даже избегала бывать с Терезой там, где они могли повстречаться, – дурной ведь пример для молодой девушки. Упокой господи душу ее... Тереза ее тоже недолюбливала.

– Ах, пани, но я слышала, это был суший ангел! – воскликнула пани Эмилия.

А Букацкий, никогда в жизни не видевший Кромницкую, подтвердил флегматично:

– Манате, это архангел был, je vous donne ma parole d'honneur[20 - Мадам... даю вам честное слово (фр.)].

Краславская смолкла на минуту, не найдясь, что ответить, и, сердясь в душе, чуть было не отплатила колкостью; остановило ее то обстоятельство, что Букацкий, человек состоятельный, – хорошая партия для Терезы. Поланецкий пользовался ее благосклонностью по тем же соображениям, – из-за них решила она поддержать этим

летом знакомство с Бигелями, что, впрочем, не мешало ей не узнавать их на улице.

– Для вас, мужчин, – заявила она, – каждая красивая женщина – ангел или архангел. А я вот не люблю, даже когда мне про Терезу так говорят. А Кромицкая, может, и добрая была, но бестактная, это уж верно!

На этом разговор о Плошовском прекратился, тем более что Краславскую отвлекал Поланецкий, который любезничал с Терезой. Любезничал он отчасти со злости на себя, отчасти назло Марыне, стараясь внушить себе, что ему с Терезой хорошо и она не лишена даже известной привлекательности, но нашел, что шея у нее тонка и глаза маленькие я тусклые, которые как-то вдруг, ни с того ни с сего оживляются и вопросительно смотрят на него. Отметил он про себя также, что она – тихий деспот: стоило матери заговорить громче, она подносила к глазам лорнет, пристально смотрела на нее, пока та под действием этого магнетического взгляда не понижала голоса или вовсе не умолкала. В общем она порядком ему надоела, и он продолжал оказывать ей внимание единственно от отчаяния, силясь вызвать хоть некое подобие ревности у Марыни. Неудачи в любви даже умных людей вынуждают порой прибегать к самым неумным приемам. Ибо результат получается обратный: с одной стороны, чувство разгорается лишь у того, кто к ним прибегает; с другой – они плодят новые недоразумения, не облегчая, а усложняя сближение. Дошло до того, что истосковавшийся по Марыне Поланецкий готов был уже любую ее резкость снести, лишь бы подойти и поговорить, но сделать это казалось еще трудней, чем час назад.

И он вздохнул с облегчением, когда наступил вечер и гости собрались уходить. Однако перед тем Литка шепнула что-то матери, обняв ее за шею, и та, кивнув, сказала Поланецкому:

– Пан Станислав, если вы не думаете здесь заночевать, поедemте с нами. Литка сядет между мной и Марыней, так что места хватит.

– Благодарю. Это очень кстати, так как остаться я не могу, – сказал Поланецкий и, догадавшись, кому принадлежала эта идея, обернулся к Литке: – Ах ты, котенок мой дорогой...

А та, прижимаясь к матери и подняв на него глаза, печальные и вместе счастливые, спросила тихо:

– Вы рады, пан Стах?

Через несколько минут они отправились в путь. Чудесный день сменился чудесной ночью, немного прохладной, но ясной, озаренной серебристым лунным сиянием. После тягостного и пустого для него времяпрепровождения Поланецкий наконец почувствовал себя свободным и почти счастливым: два дорогих, близких ему существа сидели напротив и одно – бесконечно любимое. Лицо Марыни в лунном свете казалось исполненным кротости и покоя. И Поланецкому подумалось, что и чувства ее должны быть сейчас такими же мягкими и умиротворенными – и, может быть, неприязнь к нему растаяла в этом разлитом вокруг безмятежном спокойствии.

Литка уселась поглубже и, казалось, задремала. Поланецкий прикрыл ей ноги шалью пани Эмилии, и некоторое время они ехали молча.

Затем пани Эмилия заговорила о Плошовском, – ее потрясло известие о его смерти.

– За всем этим, несомненно, таится драма, – сказал Поланецкий, – и пани Краславская, наверно, отчасти права, утверждая, что между двумя этими смертями есть какая-то связь.

– Ужасно, что, осуждая самоубийство, а его должно осуждать, мы как бы заодно отказываемся сочувствовать несчастью.

– Сочувствовать надо тем, кто способен чувствовать, то есть живым, – отозвался Поланецкий.

Разговор прекратился, и снова несколько минут прошло в молчании. Когда проезжали мимо стоящего в глубине парка дома с освещенными окнами, Поланецкий указал на него:

– Вилла Краславских.

– Не могу ей простить, как она отзывалась об этой несчастной Кромицкой, – заметила пани Эмилия.

– А она очень жестокой может быть, – сказал Поланецкий. – И знаете, почему? Из-за дочки. Окружающий мир для нее – только фон, а чем он черней, тем ярче на нем выделяется ее Тереза. Мамаша, может статься, имела свои виды на Плошовского, а Кромицкую считала помехой, вот и возненавидела ее.

– Тереза – красивая девушка, – заметила Марыня.

– Для некоторых, кроме светских отношений, существуют еще другие, более глубокие; а для Терезы этими светскими все начинается и кончается. Она – сущий автомат, и сердце у нее начинает биться, лишь когда мать заведет его ключиком. Впрочем, таких много, и даже те, кто производят лучшее впечатление, на деле ничем от них не отличаются, Вечная история Галатеи... И представьте, в куклу эту, в погашенную эту свечку, без памяти влюбился несколько лет назад один мой знакомый, молодой врач. Дважды он делал ей предложение и дважды получал отказ, как видно, мама с дочкой метили выше. Тогда он завербовался на службу в голландские колонии – и умер, наверно, там от лихорадки, потому что поначалу часто писал мне, справляясь о своем автомате, потом письма перестали приходить.

– А она об этом знает?

– Знает, я, встречаясь с ней, всегда о нем поминаю. И, что самое удивительное, такое упоминание ни на минуту не смущает ее покоя. Она о нем говорит, как о любом другом знакомом. И если бедняга надеялся смертью своей пробудить у нее жалость, он глубоко заблуждался... Я покажу вам как-нибудь одно его письмо. Я попытался открыть ему глаза на предмет его страсти, а он ответил: «Я ее не идеализирую, но ничего не могу с собой поделаться...» А, между прочим, скептиком был, позитивистом, одним словом, сыном своего века... Но что любви разные там философские школы и веяния. Все проходит, а она была, есть и будет... Он как-то сказал мне: «Я предпочел бы быть несчастливym с ней, чем счастливым с другой...» Да что тут толковать! Самый что ни на есть трезвый ум не может с сердцем совладать, и дело с концом!

Опять наступило молчание. Они ехали по обсаженной каштанами дороге, и мелькающие стволы в свете каретных фонарей казались розоватыми.

– Несчастен – значит, терпи! – как бы подытожил Поланецкий вслух свои мысли.

Пани Эмилия склонилась над Литкой.

– Ты спишь, деточка? – спросила она.

– Нет, мамочка, – ответила девочка.

ГЛАВА XIV

– Никогда я не стремился разбогатеть, но если провидению угодно отдать нам хотя бы часть этого огромного состояния, я противиться его неисповедимой воле не стану... – сказал Плавицкий. – Мне-то оно ни к чему, мне, кроме четырех досок да тихих дочерних слез, скоро ничего не нужно будет; но тут речь о Марыне, ради которой я жид.

– Хочу обратить ваше внимание, – заметил Машко хладнокровно, – что, во-первых, шансов очень мало...

– Но почему же не принять их в расчет?..

– Во-вторых, Плошовская еще жива...

– Но из старушки песок уже сыплется... Ей сто лет в обед!

– В-третьих, она может завещать состояние на благотворительные цели...

– Но разве нельзя этому как-нибудь воспрепятствовать?

– В-четвертых, вы приходите к ней очень дальней родней. Этак всех можно в Польше за родственников счесть.

– Но более близких у нас же нет.

– А Поланецкий тоже ведь ваш родственник?

– Ничего подобного! Моя первая жена была в родстве с ним, а не я.

– А Букацкий?

– Да что вы! Букацкий – двоюродный брат жены моего шурина.

– А другой родни у вас нет?

– Гонтовские из Ялбжикова считают, что мы в родстве. Но знаете ведь, как оно бывает... Каждый говорит о себе то, что ему лестно... Так что оставим Гонтовского.

Машко нарочно разрисовывал сначала трудности, прежде чем подать какую-то надежду.

– У нас все охочи до наследства и, едва где что объявится, слетаются со всех сторон, как воробьи на пшеницу... Так что все зависит от того, кто раньше заявит

свои права, чем их подкрепит и, наконец, кто будет их защищать. Не забывайте: опытный, предприимчивый адвокат и самую малость может обратить на пользу дела, а неопытный и пассивный при обилии доказательств ничего не добьется.

– Это я сам знаю. У меня всегда дел было – вот...

И он провел по горлу.

– Вдобавок легко стать игрушкой в чьих-нибудь руках, жулик может ободрать вас как липку, – прибавил Машко.

– Я надеюсь, вы не откажете нам в дружеской услуге в случае надобности.

– Можете не сомневаться, – изрек Машко с важностью, – к вам и панне Марыне я питаю истинно родственные чувства.

– Благодарю вас от имени сироты, – ответил Плавицкий.

Волнение помешало ему продолжить.

– Если хотите, чтобы я защищал ваши интересы в этом деле, – Машко принял серьезный вид, – в деле, которое, как я вас предупредил, может кончиться ничем, дайте мне полномочия, и в этом деле, и в остальных... Вы догадываетесь, уважаемый пан Плавицкий, что я имею в виду. – И молодой человек взял Плавицкого за локоть. – Так сделайте одолжение, выслушайте меня внимательно.

Он понизил голос и, хотя в комнате никого не было, заговорил совсем доверительно. Доверительно, но вместе с тем с достоинством и сдержанностью, подобающей человеку, который знает себе цену.

Плавицкий то закрывал глаза, то прижимал Машко руку и под конец сказал:

– Прошу в гостиную, я пришлю туда Марыню. Что уж она скажет, не знаю, но все в божьей воле. Я всегда вас ценил, а сейчас ценю еще больше... И – вот вам мой ответ!

Он широко раскрыл объятия, а Машко склонился к нему, повторяя не без волнения, но со значительностью:

– Благодарю вас, благодарю!

В следующую минуту он уже был в гостиной.

Марыня вышла к нему с лицом очень бледным, но спокойным, Машко подвинул ей стул и сел сам.

– Я здесь с ведома и разрешения вашего отца, – заговорил он. – И в том, что я сейчас скажу, не будет для вас ничего неожиданного. Молчание мое говорило о том же – и вы догадывались, что оно значит. Но настало время словами выразить мои чувства, и я делаю это, обращаясь к вашему сердцу и вашему разуму. Я вас люблю и готов быть опорой в вашей жизни, а вам вверяю свою и от души прошу стать моей спутницей до конца дней.

Марыня помолчала, как бы подыскивая слова.

– Я должна сказать вам прямо и честно, хотя признание это нелегко, очень нелегко; но не хочу вводить в заблуждение такого человека, как вы: я не любила вас, не люблю и никогда за вас не пойду, даже если мне вообще не суждено будет выйти замуж.

Воцарилось долгое молчание. Красные пятна на лице Машко зардели еще ярче, глаза засветились холодным, стальным блеском.

– Ответ ваш столь же решителен, сколь неожидан и прискорбен для меня. Но, может быть, прежде чем давать такой решительный отказ, вы подумали бы несколько дней.

– Вы только что сами сказали, что я догадывалась о вашем чувстве, стало быть, у меня было время разобраться в себе, и ответ мой обдуман.

– Надеюсь, вы не станете отрицать, что ваше обращение со мной давало повод заговорить с вами об этом? – спросил Машко сухо и резко.

Он был убежден: Марыня станет оправдываться, говоря, что он неправильно истолковал ее поведение, что в нем не было ничего, подающего какую-либо надежду, словом, будет увиливать, как обычно кокетки, вынужденные искупать кокетство ложью. Но она, подняв на него глаза, сказала:

– Не отпираюсь, я не всегда держала себя с вами, как должно; я виновата и очень прошу меня простить.

Машко молчал. Женщина, которая изворачивается и хитрит, вызывает презрение; женщина, которая признается в своей вине, обезоруживает противника, если у того есть хоть капля благородства, прирожденного или привитого воспитанием. В таких случаях последний и единственный шанс тронуть женское сердце – великодушно простить. И Машко, хотя перед ним разверзлась пропасть, понял это и решил все поставить на карту.

От возмущения и уязвленного самолюбия он весь дрожал, но, овладев собой, взял шляпу и, подойдя к Марыне, поднес ее руку к губам.

– Я знал, как дорог вам Кшемень, – сказал он, – и купил его лишь затем, чтобы положить к вашим ногам. Теперь я понял, что избрал неверный путь, и с безграничным сожалением отступаю. Прощения просить должен я, а не вы. Вы ни в чем не виноваты. Ваш покой дороже мне собственного счастья, и я прошу как о единственном одолжении: не упрекайте себя ни в чем. А теперь прощайте!

И ушел.

Бледная и подавленная, Марыня долго сидела неподвижно. Такого благородства она от него не ожидала. И в голове у нее пронеслось: «Тот из своекорыстных побуждений отнял у меня Кшемень, а этот купил, чтобы мне вернуть!» И Поланецкий окончательно пал в ее глазах. В эту минуту она совсем забыла, что Машко купил Кшемень не у Поланецкого, а у ее отца, и купил на выгодных условиях; вернуть же хотя и собирался, но с тем, чтобы одновременно завладеть ее рукой, избавляясь заодно от обременительной платы за него; и, наконец, Кшеменя, собственно, никто не отнимал: просто отец продал его по доброй воле, так как нашелся покупатель. Но в те минуты она не рассуждала, а противопоставляла Машко и Поланецкого, чисто по-женски превознося первого и незаслуженно принижая второго. Поступок Машко так

ее растрогал, что, если б не отвращение к нему, она вернула бы его обратно. И в какой-то момент даже сказала себе, что обязана это сделать, но сил не достало.

А Машко, спускаясь по лестнице, – она не могла этого знать, – был вне себя от бешенства и отчаяния. Перед ним действительно разверзлась пропасть.

Его расчеты не оправдались; женщина, которую он любил по-настоящему, не отвечала ему взаимностью и отвергла его, и, хотя на словах старалась щадить его самолюбие, он был оскорблен, как никогда. До сих пор, предпринимая что-либо, Машко полагался только на свой ум и силы и всегда был уверен в успехе. Отказ Марыни поколебал эту уверенность. Впервые усомнился он в себе, впервые почувствовал, что звезда его может закатиться и его постигнет поражение на том поприще, на котором пока сопутствовала удача. Больше того: казалось, это уж случилось. Кшемень Машко купил очень выгодно, но такое большое имение было ему не по карману. Не откажи ему Марыня, он бы вышел из положения, – не пришлось бы тогда заботиться о пожизненной ренте Плавицкому и платеже за Магерувку, как это предусматривалось контрактом. Теперь же, кроме этих денег, Придется, и безотлагательно, платить тяготеющие на имении долги, так как они растут с каждым днем из-за огромных процентов, грозя ему полным разорением. А он располагает лишь кредитом, еще не подорванным, правда, но держащимся буквально на нитке; и если ниточка эта лопнет, он погиб окончательно и бесповоротно.

Поэтому при мысли о Марыне, кроме горечи утраты и боли об утраченном счастье, Машко испытывал временами и приступы безграничного, почти безумного гнева и непреодолимую жажду мести. Человек с сильным характером, он никому не спускал обиды. И, входя к себе, цедил сквозь стиснутые зубы: «Не согласишься быть моей женой, я тебе этого не прошу, согласишься – все равно не прошу».

Меж тем к Марыне поспешил Плавицкий.

– Ты отказала ему, иначе он зашел бы ко мне перед уходом.

– Да, папа.

– И никакой надежды не подала?

– Нет... Я его уважаю, бесконечно, но этого не могу.

– А он что тебе сказал?

– Все, что мог сказать такой благородный человек, как он.

– Новое несчастье, – промолвил Плавицкий, – кто знает, не лишила ли ты меня куска хлеба на старости лет... Но я знал наперед: с этим ты считаться не станешь.

– Я не могла, не могла иначе.

– Не хочу тебя неволить. Пойду искать утешения там, где стариковское горе встречает сочувствие.

И пошел к Lours'у смотреть на игру в бильярд. На Машко он готов был согласиться, но блестящей партией его в общем не считал, полагая, что Марыне может представиться лучшая, и не слишком горевал о случившемся.

Спустя полчаса Марыня уже входила к пани Эмилии.

– Ну вот, камнем меньше на душе, – в дверях сказала она, – я нынче решительно отказала Машко.

Пани Эмилия молча ее обняла.

– Мне жаль его, – продолжала Марыня. – Он так благородно и деликатно поступил со мной; впрочем, много от него и нельзя ожидать, и люби я его чуточку, хоть сейчас дала бы свое согласие.

И она пересказала пани Эмилии разговор с ним. Действительно, трудно было его за что-либо упрекнуть, и пани Эмилия была даже несколько удивлена: Машко, по ее мнению, был по натуре груб, и она не предполагала, что в столь трудную для него минуту он поведет себя так достойно и благородно.

– Дорогая Эмилька, – сказала Марыня, – твои дружеские чувства к пану Поланецкому мне известны, но если судить этих двух людей по делам их, а не словам, сразу станет ясна вся разница. Сравни.

– Никогда я не стану сравнивать, – отвечала пани Эмилия. – Сравнения здесь просто неуместны. Пан Станислав, на мой взгляд, на целую голову выше Машко, а ты судишь предвзято. По какому ты праву говоришь: «Один отнял Кшемень, другой хотел вернуть». Это же не так. Поланецкий его не отнимал, а сейчас, будь это в его власти, отдал бы тебе его с радостью. В тебе, Марыня, говорит предубеждение.

– Не предубеждение, а факты, с которыми нельзя не считаться.

– Ну, конечно, предубеждение, – повторила пани Эмилия, усадив ее рядом с собой. – И скажу, чем оно вызвано: он до сих пор тебе безразличен.

Марыня вздрогнула, как от прикосновения к открытой ране.

– Пан Поланецкий мне безразличен... Ты права... – помолчав, ответила она изменившимся голосом. – Но мое расположение обратилось в неприязнь, и знаешь что, Эмилька: случись мне между ними выбирать, я, не колеблясь, предпочла бы Машко.

Пани Эмилия опустила голову, и Марыня обвила руками ее шею.

– Мне так неприятно огорчать тебя, но не умею я кривить душой. Сдается мне, что и ты меня разлюбишь, и останусь я на свете одна-одинешенька.

И она была не так далека от истины. Несмотря на объятия и поцелуи при расставании, обе молодые женщины почувствовали, будто меж ними и правда пробежала какая-то тень, охладив прежде столь сердечные отношения.

Пани Эмилия несколько дней колебалась, передавать ли Марынины слова Поланецкому, но он так горячо просил не скрывать от него ничего, что она подумала: может, и лучше сказать ему все как есть.

– Спасибо, – поблагодарил он, выслушав ее. – Если панна Плавицкая меня презирает, мне ничего не остается, как смириться с этим, но сам себя презирать я не согласен. Я и так зашел слишком далеко. Вы, дорогая пани, знаете, что если я

и провинился перед ней, то старался загладить свою вину и заслужить прощение. Остальное не в моей власти. Не скрою, мне тяжело, но размазней я никогда не был и не буду и сумею побороть свое чувство к панне Плавицкой, выброшу его в окошко, как ненужный хлам. Клятвенно вам это обещаю!

– Я вам верю, но скольких это стоит мучений.

– Ничего! – отвечал он почти весело. – Будет невтерпеж, попрошу вас рану перевязать – и знаю наперед: от одного прикосновения ваших добрых рук станет легче. Литуса вам поможет, и я даже не пикну.

Вернувшись после этого домой, он почувствовал прилив сил и энергии. Ему казалось, он сумеет обуздать свое чувство, переломить, как ломают палку о колено. И на несколько дней этого подъема хватило. Он нигде не появлялся, кроме конторы, где разговаривал с Бигелем только о делах, работая все дни напролет и не позволяя себе даже думать о Марыне.

Но не мог отогнать этих дум в бессонные ночи. И тогда со всей ясностью сознавал, что Марыня могла бы его полюбить, и выйти за него, и что лучшей жены не найти, – с ней он был бы счастлив, как ни с какой другой, и любил бы, как никого на свете.

От размышлений этих копилась печаль, она заполонила его существование и не покидала, точа, разъедая душу и тело, как ржавчина железо. И Поланецкий стал чахнуть.

Ломка чувства, как он убедился, влечет за собой и неизбежную ломку счастья. Никогда еще не ощущал он такой пустоты в себе и впереди себя и не понимал так ясно, что восполнить ее нечем. Понял он также, что можно любить женщину и не такой, какая она есть, а такой, какой бы могла быть. И тосковал безмерно.

Но не терял власти над собой и избегал встреч с Марыней. Зная заранее, в какие дни она бывает у пани Эмилии, он там не показывался.

Лишь когда Литка заболела, стал ежедневно бывать у пани Эмилии, проводя там целые дни и часами просиживая у постели больной вместе с Марыней.

ГЛАВА XV

Бедная девочка никак не могла оправиться после нового, небывало сильного сердечного приступа. Дни она проводила в гостиной на шезлонге: уступая ее просьбам, доктор и пани Эмилия разрешили ей подыматься на время с постели. Она любила, когда Поланецкий оставался подле нее, и болтала, о чем придется, с ним и матерью. С Марыней же, напротив, бывала молчалива, иногда подолгу всматриваясь в нее и подымая глаза к потолку, словно обдумывая что-то и стараясь понять, разобраться в себе. Случалось, и наедине с матерью впадала она в задумчивость, и как-то раз позвала, словно очнувшись ото сна:

– Мамочка, сядь, пожалуйста, поближе, вот сюда.

Пани Эмилия села; девочка обняла ее, склонив головку ей на плечо.

– Мамочка, – промолвила она нежным, ослабевшим от болезни голоском, – я хотела тебя о чем-то спросить, только не знаю, как это лучше сказать.

– О чем же, детка?

Литка помолчала, словно собираясь с мыслями, потом спросила:

– Мамочка, а если любишь кого-нибудь, что тогда?

– Если любишь, Литуся? – повторила вопрос пани Эмилия, не сразу поняв, что имеет в виду девочка.

Но та не умела выразиться ясней.

– Что тогда, мамочка?..

– Тогда хочется, чтобы любимый был здоров, вот как я тебе желаю здоровья.

– А еще?

– Чтобы он счастлив был и ему хорошо жилось на свете, а приключится с ним беда, хочется избавить его от страданий.

– А еще что?

– Чтобы всегда рядом был, как ты со мной, и любил, вот как ты меня любишь.

– Теперь я поняла, – сказала Литка задумчиво. – Я и сама так думала.

– Значит, верно думал, мой котик.

– Знаешь, мамочка, еще в Райхенгалле – помнишь, на Тумзее – я слыхала, что пан Стах любит Марыню. И теперь поняла: он, должно быть, очень несчастный, хотя ничего не говорит.

– Ты, котик, не устала? – спросила пани Эмилия, опасаясь, как бы девочка не разволновалась от этого разговора.

– Нет, нисколечко! Я теперь поняла: он хотел, чтобы она его полюбила, а она его не любит, и еще ему хотелось всегда быть с ней, а она живет с отцом и не хочет на нем жениться.

– Выйти замуж за него..

– Да, замуж. А он огорчается, да, мамочка?

– Наверно, деточка.

– Я и сама знаю. А если б она вышла за него, то полюбила бы его?

– Наверно, котик, он ведь такой добрый.

– Теперь понимаю.

И девочка закрыла глаза. Пани Эмилия подумала, что она засыпает, но Литка немного погодя снова спросила:

- А нас он перестанет любить, если женится на Марыне?
- Нет, Литуся, он всегда будет нас любить.
- Но Марыню больше?
- Марыня была бы ему ближе. Но почему, котик, ты об этом расспрашиваешь?
- Это нехорошо?
- Нет, ничего плохого тут нет, ровно ничего! Просто боюсь, как бы ты не устала.
- Нет, нет! Все равно я и так думаю о пане Стахе. Только ты Марыне не говори.

После этого разговора Литка была несколько дней как-то особенно молчалива и еще пристальней прежнего всматривалась в Марыню. Иногда возьмет ее за руку, взглянет в лицо, словно собираясь о чем-то спросить. А если Марыня сидела возле нее с Поланецким, переводила глаза на него и опять закрывала. А они часто теперь приходили, каждый день по нескольку раз, – помочь пани Эмилии, которая по ночам сама дежурила возле Литки, не доверяя никому, и уже неделю не спала, прилегала лишь ненадолго днем по настоянию Литки. Насколько серьезно больна дочка, пани Эмилия не представляла, да и доктор, не в состоянии предугадать течение болезни, не знал, очередное это ухудшение или конец, и по просьбе Поланецкого лишь усиленно успокаивал мать.

Но предчувствие говорило ей, что жизнь девочки в опасности, и, несмотря на уверения доктора, сердце у нее порой замирало. При Литке она старалась быть оживленной и веселой, как и Поланецкий с Марыней, но от девочки, которая стала очень наблюдательной, не могло укрыться беспокойство, тщательно скрываемое матерью.

Однажды утром, оставшись наедине с Поланецким, который надувал глобус из шелковой тафты, принесенный ей в подарок, она сказала вдруг:

- Пан Стах, я иногда замечаю, что мама очень огорчается из-за моей болезни.
- Ничего подобного, – отвечал Поланецкий, перестав надувать шар. – Что за глупости тебе приходят в голову! Конечно, она предпочла бы видеть тебя здоровой, не радоваться же ей...
- Почему другие дети здоровы, а я вечно больна?
- Ничего себе здоровы! А Бигели – разве не переболели все по очереди коклюшем? Несколько месяцев подряд весь дом блял, как овчарня. А Юзек не схватил разве корь, по-твоему? Ребятишки вечно хворают, одно горе с ними.
- Это вы только так говорите, – покачала она головой, – они хворают, но потом выздоравливают... А у меня совсем не то. Мне надо все время лежать, иначе сердце начинает биться. Позавчера я услышала музыку, подошла к окну – мамы в комнате не было, вижу, похороны, и подумала: наверно, я скоро умру...

– Что ты болтаешь. Литка! – воскликнул Поланецкий и, чтобы скрыть волнение и показать, как мало значения придаст ее словам, снова принялся надувать глобус.

Но девочка продолжала о том, что ее занимало.

– Иногда я так задыхаюсь и сердце у меня так бьется, так бьется... Мама велит мне тогда повторять: «Святой боже», и я повторяю, потому что очень боюсь умереть! На небе хорошо, я знаю, но там мамочки не будет, а одной на кладбище... И ночью...

Поланецкий отложил шар и сел возле девочки.

– Литуся, дорогая, ради мамы, ради меня не думай ты об этом! – сказал он, беря ее за руку. – Все будет хорошо, но если мама узнает, чем ты себе головку забиваешь, вот тогда она огорчится не на шутку! Помни, ты только вредишь себе этим...

– Пан Стах, миленький, – молитвенно сложила руки Литка, – один еще только вопрос, один-единственный – последний!

Он склонился к ней.

– Ну, спрашивай, котик. Только, чур, без глупостей.

– Вы очень обо мне будете горевать?

– Видишь, какая ты нехорошая!

– Пан Стах! Ну, скажите...

– Я?.. Что за несносный ребенок! Ты же знаешь, как я люблю тебя... Очень люблю! Не дай бог... Ни о ком в целом свете я так не горевал бы... Перестанешь ты наконец, приставучка ты этакая, сокровище ты мое!..

Девочка подняла на него обрадованный взгляд.

– Перестала уже... Вы очень добрый, пан Стах! – И только спросила напоследок, когда входила мать, а он собрался уходить: – Вы не сердитесь на меня, пан Стах?

– Нет, Литуся, – ответил Поланецкий.

В передней услышал он легкий стук в дверь – пани Эмилия распорядилась снять все звонки. Он открыл и увидел Марыню, приходившую обычно по вечерам.

– Как Литка? – спросила она, поздоровавшись.

– Как всегда.

– Доктор был?

– Был, но не сказал ничего нового. Разрешите?

И он хотел было помочь ей снять пальто. Но она отстранилась, не желая принимать его услуг. Он же, взвинченный разговором с Литкой, неожиданно вспылал.

– Это же простая вежливость, но если б даже не так, неужели нельзя, переступив порог этого дома, оставить свою неприязнь ко мне: как-никак здесь больной ребенок, который дорог не только мне, но, кажется, и вам. Значит, вам не хватает не только доброты, но и обыкновенной тактичности! Я ведь и любой другой даме помог бы снять пальто – и, да будет вам известно, ни о чем не думаю сейчас, кроме Литки!

Он говорил с такой запальчивостью, что Марыня растерялась и капельку даже испугалась, покорно позволив снять с себя пальто и не только при этом не обидясь, но, наоборот, подумав: так может говорить лишь человек искренний, всерьез встревоженный и огорченный, а стало быть, глубоко чувствующий и, в сущности, добрый.

Быть может, эта внезапная вспышка гнева так на нее подействовала, но только впервые со встречи в Кшемене он не возбудил в ней антипатии, живо напомнив того энергичного молодого человека, с которым она гуляла по саду. Впечатление, правда, было мимолетное и не могло изменить их отношений, но все же взгляд, устремленный на него, был скорее изумленный, чем сердитый.

– Простите... – промолвила она.

Но он, устыдясь, пришел уже в себя.

– Нет, это вы простите. Литка говорила мне сегодня, что умрет, и это так взбудоражило меня, что я сам не свой. Вы должны меня понять и извинить.

С этими словами он, крепко пожав ей руку, вышел.

ГЛАВА XVI

На другой день Марыня предложила пожить у пани Эмилии, пока Литка не поправится. Литка присоединилась к ее просьбе, и пани Эмилия, поколебавшись, согласилась. Она падала с ног от усталости: состояние девочки требовало постоянного и неусыпного внимания, ведь приступ мог повториться в любой момент. Положиться же на прислугу, даже самую преданную, было страшно: вдруг задремлет как раз, когда понадобится срочная помощь. Присутствие Марыни обещало измученной матери надежную поддержку и облегчение.

Плавицкий не возражал, так как все равно предпочитал обедать в ресторане. К тому же Марыня ежедневно забегала домой справиться о его здоровье, проверить счета, а потом возвращалась, оставаясь полночи при девочке.

Таким образом, Поланецкий, который проводил у пани Эмилии все свободное время, принимая, вернее, вежливо выпроваживая посетителей, приходивших справиться о здоровье больной, ежедневно виделся с Марыней.

И восхищался ею. Терпеливей и заботливей ухаживать за девочкой не смогла бы и сама пани Эмилия. От недосыпания и постоянной тревоги под глазами у Марыни появились темные круги, но сил и энергии, казалось, прибавлялось с каждой минутой. Притом она была сама нежность и доброта, оказывала Литке необходимые услуги так незаметно и деликатно, что девочке было с ней хорошо, несмотря на затаенную обиду, и, когда Марыня отлучалась на несколько часов к отцу, она с

нетерпением поджидала ее возвращения.

Кстати, и состояние ее немного улучшилось. Доктор разрешил ей вставать, ходить по комнате, сидеть в кресле, которое в солнечные дни подвигалось к балконной двери, чтобы девочке видны были прохожие и проезжающие мимо экипажи.

Тут же часто сидели Поланецкий, пани Эмилия и Марыня, и происходящее на улице служило предметом разговора. Порой Литка бывала задумчивой и утомленной, порой же природа брала свое, и тогда ее занимало все: и бледное октябрьское солнце, золотившее крыши, стены и зеркальные витрины магазинов, и наряды прохожих, и крики разносчиков. Казалось, могучая стихия жизни, бурлящий ее водоворот увлекают девочку и вливают в нее новые силы. Иногда странные наблюдения приходили ей в голову; так, однажды при виде проезжавшей телеги с лимонными деревьями в кадках, которые беспорядочно раскачивались при каждом сотрясении, несмотря на скрепляющую их цепь, она вдруг сказала:

– У них сердца нет. – И спросила, поглядев на Поланецкого: – Пан Стах, а деревья долго живут?

– Очень долго, некоторые тысячу лет.

– О, тогда я хотела бы деревом быть. Мамочка, а какое дерево тебе больше всех нравится?

– Береза.

– Тогда я хочу быть маленькой березкой. А мамочка была бы большой, и мы росли бы рядом. А вы, пан Стах, хотели бы березой быть?

– Да, если бы поблизости маленькая березка росла.

Литка посмотрела на него, грустно качая головой.

– О нет! – сказала она. – Я теперь все знаю. Знаю, с кем вы, пан Стах, хотели бы рядом расти.

Марыня, смутясь, опустила глаза на рукоделие, а Поланецкий стал поглаживать белокурую головку, приговаривая:

– Ах ты, мой котеночек, мой славный, мой любимый! Ах, ты мой...

Литка молчала, две слезинки повисли на ее длинных ресницах и медленно скатились по щекам.

Но тут же она подняла свое милое, просиявшее улыбкой личико.

– Я очень мамочку люблю, – сказала она, – и пана Стаха тоже... и Марыню...

ГЛАВА XVII

Ежедневно приходил узнать о Литкином здоровье Васковский и, хотя его большую часть не принимали, приносил ей цветы. Как-то, встретившись с ним за обедом,

Поланецкий поблагодарил его от имени пани Эмилии:

– Но это же всего-навсего астры! – возразил он и спросил: – А как она себя чувствует сегодня?

– Сегодня как раз неплохо, но вообще неважно. Хуже, чем в Райхенгалле. Со страхом ждешь, что сулит наступающий день, и как подумаешь, что ее может не стать...

Он замолчал в волнении и, чтобы справиться с ним, сказал со злостью:

– Нечего уповать на какое-то там милосердие! Есть только голая логика: у кого больное сердце, тот должен умереть! Черт бы подрал всю эту жизнь!

Подошел Букацкий, тоже привязанный к Литке, и, узнав, о чем речь, в свои черед напал на старика, не желая мириться с мыслью о ее смерти.

– Как можно столько лет добровольно себя обманывать, проповедуя нечто для слепого рока совершенно безразличное.

– Дорогие мои, нельзя собственной брэнной меркой мерить милосердие и премудрость всевышнего, – спокойно возразил старик. – В пещере нас окружает тьма, но это еще не дает права утверждать, что там, снаружи, нет ясного неба и солнца, света и тепла...

– Вот так утешение! – перебил Поланецкий. – От такой философии и мухе радости мало, что же говорить о матери, у которой умирает единственная горячо любимая дочь.

Но голубые глаза старика уже устремились куда-то за грань земного.

– А мне кажется, эта девочка, – сказал он, помедлив, будто вглядываясь во что-то, но не вполне различая, – не затем в стольких сердцах пробудила любовь, чтобы явиться и сгинуть бесследно. Что-то тут есть... Что-то ей свыше было предназначено, и она не умрет, не исполнив своего предназначения.

– Мистика! – сказал Букацкий.

– Это бы хорошо! – перебил Поланецкий. – Мистика не мистика, а как бы хорошо! В несчастье даже тень надежды помогает. У меня тоже не уместается в голове, что она умрет.

– Как знать, может, она еще нас всех переживет, – прибавил Васковский.

Поланецкий достиг той стадии скептицизма, когда человек, во всем изверясь, полагает возможным самое невероятное оттого, что этого жаждет его душа. И, приободрясь, он вздохнул облегченно.

– Может, смилуется небо над ней и пани Эмилией, – сказал он. – Я готов сто обеден заказать, лишь бы это помогло.

– Закажи хоть одну, но с искренней верой.

– И закажу, непременно закажу! А что до искренности, я и собственной шкуры

искренней бы не спасал.

Васковский улыбнулся.

– Ты на верном пути, – сказал он, – ибо умеешь любить.

У всех отлегло от сердца. Букацкий, хотя в душе и не был согласен с Васковским, возражать не стал, – когда перед лицом неподдельного горя люди ищут утешения в религии, скептицизм, как глубоко ни укоренился, смущенно отступает и кажется себе ничтожным и жалким.

В эту минуту вошел Бигель и, видя повеселевшие лица, спросил:

– Малютке лучше?

– Нет, нет! – возразил Поланецкий. – Это слова нашего добрейшего Васковского целительно подействовали на нас.

– Ну и слава богу! Жена пошла в костел заказать обедню, а оттуда к пани Эмилии. А я отпущен на все четыре стороны и могу пообедать с вами. И если Литке лучше, сообщу и другую радостную новость.

– Какую?

– Только что я встретил Машко, кстати, он тоже сейчас здесь будет, поздравьте его, он женится.

– На ком? – спросил Поланецкий.

– На соседке на моей.

– На Краславской?

– Да.

– Понятно, – сказал Букацкий, – важностью своей, родословной и богатством повергнув их во прах, из оного слепил себе жену и тещу.

– Объясните мне одно, – сказал Васковский. – Ведь Машко молится богу...

– Постольку, поскольку он консерватор, – перебил Букацкий, – из приличия...

– ...как и эти дамы, – продолжал Васковский.

– Потому что так принято...

– Почему они не задумываются о жизни вечной?

– Машко, ты почему не задумываешься о жизни вечной? – обратился Букацкий ко входившему адвокату.

– Что ты сказал? – спросил Машко, подойдя к ним.

– Я говорю: tu, felix, Машко, nube![21 - ты, счастливец... женись! (лат.)]

Посыпались поздравления, он принимал их с подобающим достоинством, потом сказал:

– Дорогие друзья, поскольку все вы знаете мою невесту, не сомневаюсь в вашей искренности...

– И напрасно! – вставил Букацкий.

– ...а потому благодарю от всей души.

– Вот и пригодился тебе Кшемень, – прибавил Поланецкий.

И в самом деле, не окажись Машко владельцем имения, сватовство его могло быть и не принято. Но именно поэтому замечание Поланецкого его задело, и он сказал, досадливо поморщившись:

– Ты мне эту покупку облегчил, но я даже не знаю, благодарить или клясть тебя за это.

– Почему?

– Да этот твой дядюшка – не встречал субъекта несносней и надоедливей, а уж кухня твоя... Очень милая барышня, но только и знает, что с утра до вечера на все лады склоняет этот Кшемень, каждый раз проливая слезу. Тоска зеленая; ты редко у них бываешь, но уж поверь мне.

– Слушай, Машко, – глядя на него в упор, сказал Поланецкий, – я дядюшку своего честил на все корки, но из этого еще не следует, что позволю честить его в своем присутствии, особенно тому, кто на нем нажился. Что же до панны Марии, она жалеет о Кшемене, знаю, но это говорит лишь о том, что она не бездушная кукла, не манекен, а женщина, у которой сердце есть. Понял?

Воцарилось молчание. Машко отлично понял, в кого метил Поланецкий со своей куклой и манекеном, и пятна у него на лице побагровели, а губы вздрогнули. Но он сдержался. Машко был не робкого десятка, но бывают люди, с которыми и смельчаки предпочитают не связываться. Для него таким человеком был Поланецкий.

– Чего ты кипяتيشся, – сказал он, пожимая плечами. – Если тебе это неприятно...

– Я не кипячусь, – перебил Поланецкий, по-прежнему глядя на него в упор, – но советую запомнить мои слова.

«Ссоры ищешь, изволь», – подумал Машко и сказал:

– Запомнить запомню, но со мной разговаривать таким тоном не советую – мне может это не понравиться, и я потребую объяснения.

– Черт возьми! – вскричал Букацкий. – Что у вас происходит?

Поланецкий, у которого давно уже копилось раздражение против Машко, не остановился бы на этом, если бы в эту минуту не вбежал запыхавшийся слуга пани Эмили.

– Барышня помирает! – доложил он.

Поланецкий побледнел и, схватив шляпу, кинулся к дверям. Наступило тягостное, продолжительное молчание, которое нарушил Машко.

– Я забыл, к нему надо быть сейчас снисходительным... – сказал он.

Васковский молился, закрыв руками лицо. Потом поднял голову:

– Поправший смерть и над смертью властен.

Через четверть часа Бигель получил записку от жены. В ней было всего два слова: «Приступ прошел».

ГЛАВА XVIII

Поланецкий мчался к дому пани Эмилии, боясь не застать Литку в живых, – слуга по дороге сообщил ему, что у девочки сделались судороги, и она кончается. Пани Эмилия выбежала ему навстречу.

– Лучше! Лучше! – выдохнула она через силу.

– Доктор здесь?

– Да.

– А Литка?

– Уснула.

Лицо пани Эмилии, еще бледное от пережитого страха, выражало робкую надежду и радость. Губы у нее были совершенно белые, глаза воспаленные и красные, щеки горели. Целые сутки она не спала и смертельно устала.

Доктор, энергичный молодой человек, считал, что опасность миновала.

– Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы приступ повторился, и мы этого не допустим.

Слова эти, сказанные уже при Поланецком, ободрили пани Эмилию. Они обнадеживали: ведь врач считал возможным предотвратить приступ. Но одновременно и предостерегали, что следующий может оказаться роковым. Но пани Эмилия цеплялась за малейшую надежду, как падающий в пропасть человек – за ветки деревьев, растущих на краю.

– Не допустим! Не допустим! – лихорадочно повторяла она, пожимая руку доктору.

Поланецкий украдкой глянул ему в глаза, словно желая удостовериться, не говорит ли он этого лишь для спокойствия матери, безотносительно к медицинским показаниям.

– Вы останетесь при больной? – не без умысла спросил он.

– Не вижу никакой необходимости, – отвечал врач. – Девочка измучена и, наверно, будет спать долго и крепко. Завтра я ее навещу, а сегодня со спокойной душой могу отправляться домой. – И обратился к пани Эмилии: – А вам тоже нужно непременно отдохнуть. Опасность миновала, и ни к чему больной видеть по вашему лицу, что вы устали и встревожены. Она еще слишком слаба, волнение ей может повредить...

– Я не смогу заснуть... – сказала пани Эмилия.

Доктор пристально посмотрел на нее своими светло-голубыми глазами.

– Через час вы ляжете и заснете, – внятно и отдельно произнес он. – И проспите шесть или восемь часов. – Ну, скажем, восемь... А завтра почувствуете себя окрепшей и отдохнувшей. Спокойной ночи!

– А как же капли, если девочка проснется?

– Капли даст ей кто-нибудь другой. Спокойной ночи.

И доктор откланялся. Поланецкий хотел было выйти следом, чтобы с глазу на глаз расспросить о состоянии Литки, но раздумал, решив, что пани Эмилию это может встревожить, и дал себе слово завтра же зайти к нему домой и поговорить.

– Послушайтесь совета, – сказал Поланецкий, когда они остались вдвоем. – Вам нужно отдохнуть. А я пойду к Литке и обещаю ни на минуту не отлучаться.

Но она ничего не ответила, не переставая думать о девочке.

– Знаете, – сказала она немного погодя, – перед тем как заснуть, после приступа, она несколько раз спрашивала про вас... и про Марыню. «Где пан Стах?» – с этим вопросом и уснула.

– Бедная, дорогая девочка! Я все равно пришел бы после обеда. Мчался, не помня себя... Когда начался приступ?

– Перед полуднем. С утра она была грустная, будто уже чуяла. Вы ведь знаете, она всегда говорила мне, что чувствует себя хорошо, а тут видно было, что ей неможется, – перед тем как начался приступ, села возле меня и попросила взять ее за руку. А вчера – забыла вам сказать – странный вопрос мне задала: «Это правда, – говорит, – если больной ребенок попросит о чем-нибудь, ему никогда не отказывают?» Я сказала: правда, если, конечно, просьба выполнима. Что-то, видимо, не давало ей покоя, так как вечером, когда к нам заглянула Марыня, она опять спросила о том же. Перед сном повеселела, а с утра уже стала жаловаться, что задыхается. Хорошо, что я еще до начала приступа послала за доктором и он сразу приехал.

– А еще лучше, что ушел, уверенный, что приступ не повторится. По-моему, он действительно в этом убежден, – сказал Поланецкий.

– Велико милосердие господне! По бесконечной доброте своей... – подняла к небу глаза пани Эмилия, но, как ни крепилась, рыдания не дали ей договорить: радость, сменившая подавленную тревогу и отчаяние, разрешилась слезами.

Свойственная этой тонко чувствующей натуре экзальтированность всегда преобладала

над рассудительностью, отчего пани Эмилия редко могла здраво оценить положение вещей. Так и сейчас она целиком отдалась убеждению, что с болезнью Литки покончено и приступ этот последний – девочка будет отныне совершенно здорова.

Поланецкому не достало ни духа, ни охоты остеречь ее от крайностей, удержать где-то посередине между отчаянием и радостью. Сердце сжалось у него от жалости, и он вновь небывало остро ощутил, как привязан, пускай совершенно платонически, к этой высокой души женщине. Будь Она его сестрой, он обнял бы ее и прижал к груди.

– Слава богу, слава богу! – сказал он, поцеловав ее нежную исхудалую руку. – А теперь, дорогая пани Эмилия, вам надо подумать о себе, а я иду к Литке и не отлучусь, пока не проснется.

Он оставил ее. У Литки царил полумрак: жалюзи были спущены, и лишь красноватые лучи заходящего солнца, проникая в щели между планками, слабо освещали комнату но небо вскоре заволочлось тучами. Литка крепко спала. Поланецкий сел подле нее, всмотрелся в ее спящее личико, и у него упало сердце. Она лежала навзничь; худые, прозрачные руки неподвижно покоились на одеяле, вокруг сомкнутых век залегла глубокая тень. Бледность, казавшаяся в красноватом сумраке восковой, приоткрытый рот и сам мертвый сон – все это придавало ее лицу выражение отрешенности, какое бывает у покойников. И только по тому, как едва приметно приподымались на груди оборки ночной кофточки, можно было заключить, что ребенок жив. Дыхание было спокойное и равномерное. Поланецкий долго всматривался в ее болезненное личико, чувствуя то же, что всегда при мысли о собственной жизни: самой природой предназначено ему быть отцом; наравне с женой он безгранично любил бы детей, в чем и нашел бы весь смысл и цель существования. Чувство это еще больше обострили жалость и нежность к этой девочке, чужой ему, но в эту минуту дорогой, как родное дитя. «Лишись она матери, – думалось ему, – взял бы ее к себе и знал, зачем живу».

И еще ему подумалось: если б ценой своей жизни можно было выторговать у смерти этого «котенка», над которым она кружит, как хищная птица над голубкой, он бы не поколебался. И не испытанное дотоле умиление охватило его: этот решительный, даже суровый человек готов был сейчас с такой нежностью целовать эти ручки и головку, на какую не всякая женщина способна.

Тем временем совсем стемнело. В комнату вошла пани Эмилия, рукой заслоня голубоватый свет ночника.

– Спит? – шепотом спросила она, ставя ночник на столик в изголовье постели.

– Спит, – ответил Поланецкий тоже шепотом.

Мать стала всматриваться в спящую девочку.

– Видите, – продолжал тихо Поланецкий, – какое ровное и спокойное дыхание. Завтра ей будет лучше.

– Конечно, – с улыбкой отвечала мать.

– А теперь последуйте ее примеру. Идите спать! Не то я не на шутку рассержусь.

Глаза ее обратились на него, благодарно улыбаясь. В слабом голубоватом свете

ночника она казалась волшебным видением. И, глядя на ее ангельское лицо, Поланецкий невольно подумал, что они с Литкой – точно неземные существа, по чистому недоразумению оказавшиеся в этом мире.

– Конечно, – повторила она. – Теперь я могу отдохнуть. Пришли Марыня с Васковским. Марыня хочет непременно остаться на ночь.

– Тем лучше. Она очень хорошо за ней ухаживает, Спокойной ночи!

– Спокойной ночи.

Опять оставшись один, Поланецкий стал думать о Марыне. Узнав, что сейчас увидит ее, ни о чем другом он думать уже не мог и все спрашивал себя: в силу какой удивительной загадки природы полюбил он не пани Эмилию, хотя она явно красивей и, наверно, добрей и лучше, сама способна на самоотверженную любовь, – а именно эту девушку, которую он несравненно меньше знал и, заслуженно или незаслуженно, меньше уважал? Стоило ей только появиться, и у него пробуждались чувства, которые мужчина испытывает лишь при виде своей избранницы, тогда как на пани Эмилию при всей ее женственности смотрел он, как на картину или статую. В чем тут дело, отчего, чем интеллигентней и утонченней человек чем впечатлительней, тем большее он различие проводит между женщинами? И он не находил другого ответа, кроме того, который слышал от молодого доктора, влюбленного в Краславскую: «Я ее не идеализирую, но ничего не могу с собой поделать» Однако это лишь подтверждало факт, а не объясняло, но искать причину уже времени не было: дверь открылась, и вошла Марыня. Они обменялись кивком. Поланецкий бесшумно переставил кресло к кровати больной, знаком указав Марыне сесть.

– Идите чай пить, – первой заговорила, вернее, зашептала Марыня – Там Васковский.

– А пани Эмилия?

– Пошла спать. Сказала, ей самой чудно, но такое чувство, что нужно лечь.

Подозреваю, что это доктор ее загипнотизировал. И хорошо сделал. Ведь Литке действительно лучше.

Марыня посмотрела ему в глаза.

– Правда лучше, – повторил он. – Если, конечно, приступ не повторится... а есть надежда, что нет.

– Ну и слава богу? Идите же пить чай.

Но он предпочитал сидеть с ней вот так, рядом и перешептываться доверительно.

– Ладно, пойду, только попозже, – сказал он. – Давайте уговоримся, что вы тоже пойдете отдохнуть. Мне говорили, ваш отец захворал. Пришлось, наверно, и с ним сидеть.

– Он поправился уже, и мне хочется непременно Эмильку сменить. Она сказала, прислуга прошлую ночь тоже не спала, так как Литке еще накануне нездоровилось... Возле нее постоянно должен кто-то находиться; давайте дежурить по очереди: я, вы и Эмилька.

– Хорошо. Не сегодня я уж не уйду, останусь – не здесь, так в соседней комнате, чтобы в случае чего быть под рукой. Когда вы узнали о приступе?

– Я не знала ничего. Просто зашла проведать, как обычно.

– А за мной слуга прибежал в ресторан. Представляете, как я сюда летел, боялся, в живых ее не застаю. И самое удивительное, что за обедом мы с Букацким и Васковским говорили почти исключительно о Литке, пока Машко не пришел и не объявил, что женится.

– Машко женится?

– Да. Никто еще не знает, но нам он торжественно об этом объявил. На панне Краславской; помните, у Бигеля была в тот раз? Для Машко – хорошая партия.

Наступило молчание. Известие о том, как легко утешился молодой адвокат, должно было бы принести облегчение Марыне, которая, не любя Машко и отказав ему, после не раз упрекала себя, думая, что разбила его надежды и заставила его страдать. Однако новость ее удивила и уколола. Женщине, которая кому-то сочувствует, хочется, во-первых, чтобы этот «кто-то» в самом деле был несчастен, а во-вторых – самой быть его утешительницей; если же в этой роли выступает другая, она бывает несколько разочарована. К тому же самолюбию Марыни был нанесен двойной удар. Она не предполагала, что ее можно так быстро забыть, и вынуждена была признаться себе, что напрасно считала Машко личностью незаурядной. До сих пор он был для нее чем-то вроде козырного туза в игре против Поланецкого; теперь козыря этого она лишилась – и почувствовала себя почти уязвленной. Что ей, правда, не помешало не кривя душой сообщить Поланецкому, как она рада, хотя, в сущности, не очень приятно было вдобавок еще именно от него узнать об этом.

Поланецкий с некоторых пор был с ней очень сдержан и ничем не выдавал своих чувств. Но при этом, поскольку им приходилось часто встречаться, избегал и чрезмерной скованности, держась доброжелательно и непринужденно, что в ее глазах служило доказательством охлаждения к ней. И хотя прежняя обида не изгладилась, напротив, укоренилась еще сильнее, хотя то, первое разочарование стало постоянным источником горечи, мысль – так уж устроен человек, – что ее собственная холодность ему безразлична, была для Марыни просто невыносима. Ей даже почудилось, будто Поланецкий злорадствует, что она обманулась в Машко и, потеряв возможность выбирать между ними двумя, которой как-никак еще недавно располагала, оказалась совсем уж в унижительном положении, словно ею пренебрегли.

Но Поланецкий был далек от чего-либо подобного. Конечно, он был доволен, что Марыня, предпочтя ему Машко, теперь убедилась, как глубоко она заблуждалась; но ему и в голову не приходило торжествовать или злорадствовать по поводу ее одиночества – ведь он больше чем когда-либо готов был раскрыть ей объятия и признаться в любви. Пускай он упорно, даже с ожесточением старался это чувство вытравить – делалось это исключительно из-за отсутствия какой бы то ни было надежды. Отдавать все душевные силы любви без взаимности – это казалось ему ниже всякого мужского достоинства. И он старался, по его собственному выражению, не «поддаваться», как мог старался, хотя при этом прекрасно понимал, что такая борьба подтачивает, выматывает и, даже если кончится победой, вместо счастья принесет опустошенность. Кроме того, до победы ему было далеко. Ценой огромных усилий добился он лишь того, что к чувству его примешалась горечь. Фермент этот,

как известно, разрушает любовь – по той простой причине, что отравляет ее, и со временем мог он ее уничтожить и в сердце Поланецкого. Но пока результат был ничтожный! Сидя неподалеку от Марыни, глядя на ее лицо при слабом свете ночника, он твердил про себя: «Если б она только захотела!» И, злясь сам на себя, честно признавался: пожелай только она, он тотчас с радостной готовностью склонился бы к ее ногам. Какой жалкий итог и какая безысходность! Ибо одновременно он сознавал: недоразумение между ними зашло так далеко, что Марыня при всем своем желании не могла бы опять стать такой, как в Кшемене, – самолюбие, невозможность переступить через самое себя сковали бы ей уста. Между ними была скорее мыслима любовь, чем понимание, – вот до чего запутались их отношения.

Недолгий разговор опять сменила тишина, нарушаемая лишь дыханием больной да унылым позваниванием стекол, которые кропил мелкий дождик. Надвигалась сырая, осенняя ночь – гнетущая, нагоняющая тоску и мрачные мысли. Печаль навевала и сама комната – в темных ее углах, казалось, затаилась смерть. Время тянулось бесконечно медленно. И Поланецкого внезапно охватило дурное предчувствие. Глянув на Литку, он подумал: сущее безумие – надеяться, будто она может выжить. Тщетно они бодрствуют! Напрасно надеются! Зачем обольщаться? Эта девочка должна умереть! Должна потому, что слишком любима, слишком обожаема и добра. А за ней последует мать – и образуется пустота, абсолютная и безнадежная. Как жестока жизнь! Вот он, у которого в целом свете нет никого, кроме этих двух существ, которые его любят и которым он небезразличен, а придется их лишиться. Пока они живы, у него есть зацепка в жизни, а без них она опустеет; без них что ждет его, какое будущее? Слепое, глухое и бессмысленное, как лицо идиота...

Самый сильный и деятельный человек нуждается в чьей-то любви. Иначе в душу ему заползает смерть и воля его противится жизни. Нечто подобное испытал в те минуты Поланецкий. «Почему бы, собственно, не пустить себе пулю в лоб, – подумал он. – Не с горя, а просто оттого, что жизнь без них лишится всякого смысла. А коли так, зачем и влачить ее, разве что из любопытства: до чего она еще может довести».

Не то чтобы у него созрело решение. Это был скорее порыв уставшего от цепей несчастья – минутное ожесточение, ищущее, на кого излиться. И вдруг нашедшее Марыню. Он сам не знал, почему ему внезапно почудилось, что все беды от нее, что это она внесла разлад в их тесный кружок, принесла огорчения, которых они не ведали: будто камень бросила в тихую заводь, и волны пошли во все стороны, достигнув не только его, но и Литки с пани Эмилией. Как человек, слушающийся голоса разума, а не чувств, он понимал нелепость подобных обвинений, но не мог отделаться от мысли, что до появления Марыни все было хорошо – настолько, что недалекое прошлое казалось даже счастливым. Любил он тогда Литку светлой, ничем не омраченной отцовской любовью. Кто знает, может, со временем полюбил бы и пани Эмилию? До сих пор их связывали лишь узы дружбы, но не оттого ли, что других сам он не искал? Как часто женщины из благородства не переступают границу, отделяющую дружбу от любви, не желая отягощать ею человека любимого, но не идущего навстречу. И тогда овладевает душой их тихая, затаенная грусть, и лишь в дружеской нежности остается черпать сладостное утешение.

Познакомившись с Марыней, Поланецкий всю душу отдал ей. Зачем? Для чего? Себе на горе. И в довершение всех бед умирает Литка – единственная его отрада; в любую минуту может умереть. Поланецкий снова устремил на нее взгляд, говоря ей мысленно:

«Хоть ты не покидай нас, деточка! Ты так нужна нам, и мне, и своей маме. Даже

подумать страшно, как жить мы будем без тебя!»

Вдруг он спохватился, что глаза девочки смотрят на него. Он подумал было, что ему почудилось, и сидел не шевелясь, но девочка улыбнулась и прошептала:

– Пан Стах...

– Да, Литуся. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, а где мама?

– Скоро придет. Мы еле уговорили ее лечь поспать.

Литка повернула голову, увидела Марыню.

– А, и тетя Марыня тут! – сказала она.

Последнее время она стала называть ее «тетей».

Марыня встала и, взяв с ночного столика пузырек, при свете ночника накапала капель в ложку и дала Литке, а когда та выпила, губами прикоснулась к ее лбу.

Некоторое время все молчали.

– Не будите маму, – проговорила девочка, ни к кому не обращаясь.

– Нет, нет, никто ее не разбудит. Все будет так, как ты захочешь, – отвечал Поланецкий, поглаживая лежащую поверх одеяла ручонку.

А Литка глядела на него, повторяя по своему обыкновению:

– Пан Стах... пан Стах...

Казалось, она вот-вот уснет. Но лоб у нее наморщился, словно она о чем-то усиленно размышляла, и, приоткрыв глаза, она стала переводить их с Марыни на Поланецкого и опять на Марыню.

В комнате было тихо, только дождь барабанил по стеклу.

– Что с тобой, детка? – спросила Марыня.

– У меня к вам просьба, тетя Марыня, – сложив руки, едва слышно прошептала Литка, – большая-пребольшая... Но я не решаюсь сказать...

Марыня с нежностью склонилась к ней.

– Говори, дорогая! Сделаю все, что ты захочешь.

– Хочу, чтоб вы полюбили пана Стаха, – прошептала девочка, схватив ее руку и прижав к своим губам.

В наступившей тишине слышалось только учащенное дыхание девочки.

– Хорошо, милая, – раздался наконец спокойный голос Марыни.

Поланецкого душили слезы. Он забыл в этот миг обо всем, даже о Марыне, – видел одну лишь больную, обессиленную девочку, которая и перед смертью думает о нем.

– И замуж выйдете за него?

В голубоватом свете ночника лицо Марыни казалось очень бледным, губы у нее дрожали, но она ответила не колеблясь:

– Да, Литуся.

Девочка опять прильнула губами к ее руке. Потом откинулась на подушку и некоторое время лежала с закрытыми глазами. По щекам ее скатились две слезинки.

Воцарилось долгое молчание. Дождь стучал в окна. Поланецкий и Марыня сидели неподвижно, не глядя друг на друга, словно во сне. Они чувствовали: этой ночью решилась их судьба, но были слишком потрясены. Охваченные смятением, ни он, ни она даже не старались в себе разобраться.

Так, в молчании, которое они инстинктивно боялись нарушить, чтобы не встретиться случайно глазами, проходил час за часом. Пробило полночь, затем час. Около двух, точно тень, в комнату проскользнула пани Эмилия.

– Спит? – спросила она.

– Нет, мамочка, – отвечала Литка.

– Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, мамочка.

Пани Эмилия присела на край постели, и больная девочка, обвив руками ее шею, спрятала белокурую головку у нее на груди.

– Вот теперь я знаю, мамочка, – прошептала она, – если больной ребенок о чем-нибудь попросит, ему и правда не отказывают.

Молча прижалась она к матери. Потом протянула, едва выговаривая слова, как полусонные или очень ослабевшие дети:

– Мамочка, пан Стах не будет больше грустить, сейчас скажу тебе, почему...

Но тут мать почувствовала, что головка ее отяжелела, а на висках и руках выступил холодный пот.

– Литуся! – испуганно вскричала она.

– Как-то странно... Слабость какая-то... – промолвила девочка. – Море! Огромное... И мы плывем по нему! – Мысли у нее, видимо, путались. – Мама, мама!..

Начался новый, страшный и жестокий приступ. Тело девочки свело судорогой, глаза закатились. Сомнений не было: близилась смерть; все выдавало ее присутствие – и бледный свет ночника, и мрак, затаившийся в углах, и стук дождя в окна, и завывание ветра, в котором чудились жуткие требовательные крики.

Поланецкий вскочил и побежал за доктором. Через четверть часа оба уже стояли перед дверью, не зная, жива ли еще девочка: вошли – впереди Поланецкий, за ним доктор, все твердивший с той самой минуты, как его подняли с постели:

– Наверно, волнение или испуг...

Слуги с сонными, встревоженными лицами замерли в коридоре, в квартире повисла тяжелая, гнетущая тишина.

Ее нарушил прерывистый голос Марыни – бледная как полотно, она первая торопливо вышла из комнаты:

– Воды для пани Эмилии! Барышня умерла!

ГЛАВА XIX

В конце осени выдаются дни ясные, но печальные, как улыбка гаснувшей от чахотки женщины. В такой ясный, погожий день хоронили Литку. Оставшиеся в живых продолжают чувствовать и думать за своих умерших и в том обретают утешение. Поланецкому, занятому похоронами, еще тоскливей стало от этой печальной осенней ясности, но, поставив себя на место Литки, он подумал: лучшего прощального дня и она не могла бы пожелать, и испытал некоторое облегчение. До сих пор он не осознавал всей тяжести утраты. Сознание этого приходит позже, после возвращения в опустелый дом, когда любимое существо остается на кладбище. К тому же хлопоты, связанные с похоронами, не оставляли времени для размышлений. Даже такой естественный акт, как смерть, люди сумели обставить разными затруднительными формальностями. Но Поланецкому хотелось отдать Литке последний долг, да, кроме того, и некому было этим заняться. У пани Эмилии все жизненные силы, благодаря которым человек мыслит, действует, принимает решения, со смертью дочери будто иссякли. Унесший ее дитя ветер оказался слишком силен для такого агнца, как она. К счастью, от непосильного горя сердце не только разрывается, но и цепенеет, становясь бесчувственным. Это именно и произошло с пани Эмилией. Поланецкий заметил, что лицо ее словно застыло: в нем читался один беспредельный ужас. Она не плакала, не жаловалась, лишь трагический и вместе наивно-детский лепет срывался изредка с ее губ, подтверждая: ум еще не в силах постигнуть несчастье во всей его безмерности, а цепляется за какие-то мелочи, занимаясь ими с таким усердием, точно девочка еще жива. В убранной крепком комнате на атласной подушке, утопая в цветах, покоилось тело, которое уже ни в чем не нуждалось; между тем впавшая от горя в детство мать все беспокоилась, не забыла ли чего. Когда ее пытались оторвать от гроба, она не сопротивлялась, только начинала жалобно стонать, будто теряя от боли рассудок.

Поланецкий с деверем пани Эмилии, Хвастовским, приехавшим накануне похорон, хотели было увести ее после того, как гроб закрыли крышкой, но она стала звать Литку по имени, и у них не хватило духа настоять на своем. Наконец многолюдная процессия – с факелами и заунывным пением – тронулась, во главе шли священнослужители, за ней потянулась вереница карет. И сразу же стеклась толпа зевак, которые упиваются в наше время зрелищем человеческого горя, как в древности тешились льющейся на арене цирка кровью. Пани Эмилия с Марыней и поддерживавшим ее под руку деверем шла за катафалком с отрешенным, безучастным лицом. Глаза ее и мысли были прикованы к белокурой прядке Литкиных волос,

которая случайно, когда закрывали гроб, выбилась из-под крышки. Всю дорогу бедная мать смотрела на нее и твердила не переставая: «Боже мой, волосики ребенку прищемили!»

От горя, усталости, нервного напряжения, еще усиленного бессонницей, Поланецкому было до того тяжело, что по временам его охватывало непреодолимое желание с полдороги вернуться домой и броситься на диван, ничего больше не зная, не думая, не требуя, не любя и вообще не чувствуя, Но эгоистическое это желание его самого удивило и возмутило; он знал, что не повернет назад и выпьет чашу до дна – не только потому, что так принято, а потому, что горе и любовь к Литке всего сильнее. Все остальное побледнело, отступило на задний план, стало для него, по крайней мере в те минуты, совершенно безразлично. Все внутри у него словно смешалось и заостенело: горе и печаль чисто механически сосуществовали с мимолетными внешними впечатлениями, отрывочными наблюдениями. Он то смотрел на дома, мимо которых двигалась похоронная процессия, и отмечал про себя, какого они цвета, то неизвестно зачем читал вывески, попадавшие на глаза, то вдруг спохватывался, что ксендзы перестали петь, и с суеверным страхом ждал продолжения. То начинал рассуждать, как будто только что очнулся и пытался понять, где он и что с ним происходит. «Это дома, это вывески, – говорил он себе, – это пахло смолой от горящих факелов, а там, наверху, лежит Литка, и мы идем на кладбище...» И его внезапно захлестывала жалость к девочке, которая была ему так дорога, с такой нежностью ему улыбалась. Он припоминал ее прежней, когда еще нес на Тумзее на руках, и на даче у Бигелей, потом у нее дома, когда она сказала, что хочет быть березкой, и наконец, за несколько часов до смерти, когда Литка попросила Марыню выйти за него замуж. Конечно, Литка не могла его любить, как взрослая, и, как взрослая, пожертвовать собой, обручая с Марыней, этого он не думал; неосознанное чувство девочки нельзя было назвать настоящей любовью, но чутье безошибочно подсказывало: что-то подобное было и жертва была, жертва ради него, во имя глубокой, исключительной привязанности к нему. И так как утрату даже самых близких людей мы прежде всего измеряем уроном, какой она причинила нам, Поланецкий стал твердить себе: «Она одна любила меня по-настоящему! Теперь у меня никого на свете нет!» И, глядя на гроб, на развевающуюся белокурую прядь, называл ее всеми ласковыми именами, какими только звал при жизни, Но зов остался без ответа, и его начали душить слезы. Есть что-то надрывающее душу в безразличии мертвых. Когда существо, откликавшееся на каждый твой взгляд и слово, становится безучастным, вчера еще любившее – охладельм, сердечно и повседневно близкое тебе – величественно-недоступным, повторяй не повторяй себе: «Смерть», – легче от этого не будет. Вместе с болью утраты растет разочарование, как бы душевная обида, наносимая покойником, который глух к нашему горю, к нашим стенаниям. И у Поланецкого возникло такое же чувство: как будто Литка, удалясь в лучший мир, сделавшись из близкой – далекой, возвышенно-недоступной, как святая, и вместе с тем совершенно равнодушной к отчаянию матери и горю покинутого друга, нанесла им всем кровную обиду. Отчасти это было чувство эгоистическое, но, не будь этого эгоизма, который мучается раньше всего собственной болью и собственным одиночеством, люди – особенно верящие в загробную жизнь и райское блаженство, – наверно, и не оплакивали бы покойников.

Наконец похоронная процессия из города вышла на открытое, свободное пространство и, миновав заставу, потянулась вдоль кладбищенской ограды, у которой стояли нищие и ряды венков из еловых веток и иммортелей для украшения могил. Ксендзы в белых стихарях, могильщики с факелами, катафалк и следовавшие за ним остановились у ворот. Поланецкий, Букацкий, Хвастовский и Бигель, сняв гроб, понесли его на плечах к склепу, где был похоронен Литкин отец.

Пустота и тишина, которые обычно обступают лишь дома, по возвращении с похорон, на сей раз, казалось, поджидали уже на кладбище. День был ясный, по-осеннему бледный, и последние пожелтые листья бесшумно опадали с деревьев; погребальное шествие словно растворилось среди усеянных крестами блеклых просторов, которым, казалось, нет конца, будто кладбище уходило в бесконечность. Черные остовы оголенных деревьев с тоненькими, еле различимыми веточками вверху, похожие на привидения серые и белые надгробия, ковер из палых листьев, устилавший длинные, прямые аллеи, – все это, как Элизиум, было исполнено глубокого покоя и дремотной меланхолии, навевая образ тех «стран хладных и печальных», к которым в мрачных раздумьях устремлялся Цезарь и куда готовилась вступить еще одна *animula vagula*[22 - маленькая странница-душа (лат.)].

Гроб приблизился Наконец к открытой могиле. Послышались надрывающие душу слова: «*Regnem aeternam...*», а затем: «*Anima eius...*»[23 - «Вечный покой...», «Душа ее...» (лат.)] Сквозь пелену горя и туманившую Зрение путаницу мыслей и впечатлений Поланецкий смутно, как во сне, различал застывшее лицо и остановившиеся глаза пани Эмилии, слезы Марыни, которые его почему-то раздражали, восковую бледность Букацкого, – обычное философическое настроение покинуло его у входа на кладбище, – гроб Литки. Когда на крышку со стуком упала первая горсть земли, он последовал общему примеру, но едва гроб на ремнях опустили в могилу и каменные створы склепа закрылись, горло у него снова перехватило; сознание почти оставило его – он ощущал только полнейшую пустоту. «Прощай, Литуся!» – повторял он, и два эти простые слова показались ему позже такими жалкими и ничтожными в сравнении с обуревавшей его душевной мукой. Все было кончено. Погребальное шествие стало быстро таять. Поланецкого привел в себя ветер, налетевший откуда-то из-за могильных крестов. У склепа остались только пани Эмилия, Марыня, жена Бигеля, Васковский и Литкин дядя. Поланецкий ждал, решив, что уйдет последним, и повторял мысленно: «Прощай, Литка!» Он думал о смерти, о том, что и ему суждено стать обитателем этого града надгробий – вернее, океана, который поглощает все людские мысли, стремления, чувства... И ему представилось, будто он сам и все, кто стоял рядом и уже разошедшиеся, все плывут на корабле, несущемся в бездну. Загробная жизнь... До нее ли сейчас было.

Меж тем опустились ранние осенние сумерки. Очертания крестов стали еще призрачней. Учитель и Хвастовский повели пани Эмилию к выходу безо всякого сопротивления с ее стороны. Поланецкий, повторив еще раз: «Прощай, деточка», направился следом.

Выйдя за кладбищенские ворота, он подумал: «Страшно даже представить себе, как это девочка теперь там одна. Слава богу, мать ничего не сознает. Мертвые покидают нас – и мы их тоже покидаем».

Издали глядел он на карету, увозившую пани Эмилию. И ему чудилось в этом нечто противоестественное.

Но когда сам сел на извозчика, то при мысли о том, что мучительный и тяжелый обряд совершен и теперь можно отдохнуть, почувствовал облегчение. Дома все показалось ему мрачным и неприятным: нечему радоваться, нечего ждать, не на что надеяться. Но, растянувшись со стаканом чая на диване, он испытал чисто физическое наслаждение человека, отдыхающего после тяжких трудов, – и на душе вновь стало легче, даже покойней: ну вот, похороны состоялись, с этим покончено. И память тут же подсказала изречение одного мыслителя: «Каковы преступники, не знаю, зато порядочные люди омерзительны». И Поланецкий сам себе стал противен.

Вечером он все-таки вспомнил: надо бы проведать пани Эмилию, которую Марыня на несколько недель хотела взять к себе. Уходя, увидел фотографию Литки на столе и поцеловал ее. А четверть часа спустя уже звонил в квартиру Плавицких.

Слуга доложил, что хозяина нет дома и у них, кроме пани Хвастовской, ксендз Хиляк и Васковский. В гостиной его встретила Марыня, растрепанная, с покрасневшими глазами, внешне сильно подурневшая. Зато обращение ее с Поланецким заметно переменилось к лучшему, словно перед общим горем отступили все обиды.

– Эмилька у меня, – прошептала она. – Она плоха, но стала хоть понимать, когда к ней обращаешься. Сейчас там Васковский... Он так хорошо умеет с ней разговаривать... Вам непременно нужно видеть Эмильку?

– Нет. Я зашел только узнать, как она, и сейчас же уйду.

– Может, ей и захочется вас увидеть, не знаю... Подождите минутку, я скажу ей. Наверно, ей будет приятно, ведь Литка так вас любила.

– Хорошо, – сказал Поланецкий.

Марыня исчезла в соседней комнате, но, видимо, ей не сразу удалось вставить слово: через полуотворенную дверь доносился голос Васковского, убежденно, настойчиво толковавший о чем-то, будто пытавшийся пробиться сквозь броню оцепенения и горя.

– ...как бы вышла в другую комнату за игрушкой и вернется сейчас... – говорил старик. – Она не вернется; но вы последуете за ней. Дорогая пани, попробуйте взглянуть на смерть не с нашей, житейской, а с высшей, небесной точки зрения. Девочка продолжает жизнь в вечности и счастлива, потому что разлука с вами для нее – одно мгновение. Она там, – продолжал он убежденно, – счастлива; она видит, что вы направляетесь к ней, и уже простирает к вам руки, зная: еще миг – и вы соединитесь, ибо с божественной, высшей точки зрения страдания наши и сама жизнь преходящи, за ее порогом нас ждет вечность... подумайте, вы навеки будете с Литкой, в покое и блаженстве... не страшась ни болезней, ни смерти. Века пройдут, а вы будете неразлучны.

«Если б так... – с горечью подумал Поланецкий. – Не пойду туда, зачем, если я не разделяю таких чувств!»

Но наперекор себе все-таки вошел, даже не дожидаясь Марыни, подумав: пусть поступок его бессмыслен, но продиктован чувством долга, ибо сторониться чужого несчастья недостойно. Эгоизм, «уши заткнув среди стенающих ближних», ищет себе оправдания в том, что в настоящем горе никакие утешения якобы все равно не помогут. И понимавшему это Поланецкому совестно было отгораживаться от чужого несчастья ради собственного спокойствия. Войдя, он увидел пани Эмилию, сидевшую на софе; рядом стояла лампа, а под ней – пальма, бросавшая на голову несчастной тень, похожую на гигантские растопыренные пальцы. Васковский сидел с пани Эмилией, держа ее за руки и глядя ей в лицо. Поланецкий отнял у него ее руки и, склонясь над ними, молча стал покрывать поцелуями.

Она замигала, будто прогоняя сон, и в новом приливе горя вскричала:

– Помните, как она...

И зарыдала – надрывно, ломая руки и задыхаясь. Силы ее оставили, сознание помутилось. Едва она пришла в себя, Марыня увела ее к себе. А Поланецкий с Васковским перешли в гостиную, где их остановил Плавицкий, вернувшийся тем временем из города.

– Тяжело, когда такое в доме, – сказал он. – Хотелось бы больше покоя, свободы располагать собой, но как быть! Приходится чем-то поступиться, ну что же, я готов...

Через полчаса пришла Марыня с известием: пани Эмилия немного успокоилась и по ее просьбе прилегла. Гости простились и ушли.

На землю пал туман, который густой пеленой заволок улицы и радужными ореолами окружил фонари. У обоих на уме была Литка, которая первую свою ночь проведет вдали от матери, среди сонма мертвецов. И Поланецкому стало страшно – не за Литку, за пани Эмилию, которая не могла не думать о том же. Одновременно вспомнила она слова Васковского, обращенные к несчастной.

– Я слышал, что вы ей говорили... Если ей от этого легче, тогда хорошо. Но видите ли, будь все это так, нам сейчас бы впору... ну, пир, что ли, устроить и ликовать по поводу Литкиной кончины.

– А откуда ты знаешь, может, после смерти мы и будем ликовать.

– Скажите лучше, откуда знаете вы.

– Я не знаю, я верю.

Возразить на это было нечего, и Поланецкий заговорил, словно рассуждая сам с собой:

– Милосердие, небесный свет, вечность, соитие души... Все это слова, а на деле что? Труп ребенка в могиле и убитая горем мать. Как может смерть укреплять веру, если она, напротив, возбуждает сомнения? Вам вот жалко девочку, мне – тем более, и сам собой возникает вопрос: зачем она умерла, к чему такая жестокость? Знаю, вопрос не нов, миллиарды людей уже им задавались, и нет на него ответа. Но если единственное утешение в смерти, на черта мне оно! Оттого зубами хочется скрежетать и выть от отчаяния... Рассудок отказывается это понимать и бунтует – и все тут! Вот мой вывод, и вряд ли вас он устроит.

– Христос воскрес, ибо был богом, – промолвил Васковский, тоже как бы про себя, – но, как человек, тоже перенес смерть. Что же мне, жалкому червяку, остается, как и в смерти не восславлять волю и промысел божий?

– Нам никогда друг друга не понять, – отозвался Поланецкий.

– Скользко, дай-ка руку, – сказал Васковский и, опершись на Поланецкого, продолжал: – Я знаю, у тебя доброе, любящее сердце, ты был к девочке очень привязан и все сделал бы для нее, правда ведь? Так вот, сделай для нее хотя бы такую малость: помолись за упокой ее души. Если, по-твоему, ей это не поможет, скажи себе в оправдание: больше я ничего для нее сделать не могу.

– Ах, да оставьте вы! – сказал Поланецкий.

– Ей, может, и не нужно это, но память твоя будет дорога, и, благодаря тебе, она станет заступницей твоей перед богом.

Поланецкий вспомнил, как, узнав о последнем Литкином приступе, Васковский сказал, будто девочке что-то предназначено свыше и она не умрет, не исполнив своего предназначенья. И уже готов был напустить на старика, но вдруг замер, пораженный мыслью: а ведь Литка обручила их перед смертью с Марыней.

И спросил себя невольно: «Может, для того и жила она на свете?» Но тут же с возмущением отбросил эту мысль. И внезапно ощутил прилив гнева на Марыню, даже презрение к ней.

«Нет, такой ценой мне ее не нужно! – подумал он, стискивая зубы. – Нет! Довольно я настрадался из-за нее. Дюжину таких я отдал бы за Литку!»

– Шагу нельзя ступить, ни зги не видно, – сетовал между тем ковылявший рядом Васковский. – И булыжник скользкий от сырости. Без тебя я давно бы упал.

– Видите ли, дорогой мой, – уже поостыв, сказал Поланецкий, – уж если ходить по земле, надо под ноги смотреть, а не устремлять очи горе.

– Ты крепко на ней стоишь.

– И вижу хорошо, даже в этой мгле. Все мы блуждаем во мгле, а что за ней – черт его знает. И рассуждать об этом – все равно что ветки сухие ломать да в воду бросать и утверждать, будто они зацветут. А они сгнивают, и больше ничего. Мне тоже что-то такое померещилось, из чего расцвел бы цветок, да вода унесла. Глупости это все!.. Но вот и дом ваш, спокойной ночи!

Они расстались. Поланецкий вернулся домой еле живой от усталости, а когда лег, его стали преследовать мучительные мысли и картины. И все представлялась убитая горем пани Эмилия с тенью пальмовых листьев на лице, похожей на гигантскую, хищно растопыренную длань. «Так можно философствовать до самого утра, – бормотал он. – Жизнь – такая вот длань, которая бросает свою тень на нас! Длань зловещая, потому что, будь она помилосердней, девочка не умерла бы, а разговоры Васковского... это все курам на смех!»

Тут ему вспомнилось, что Васковский не только о смерти рассуждал, но и просил помолиться за упокой Литкиной души. Поланецкий заколебался и долго боролся с собой. Он не верил, что молитва его может быть услышана Литкой и как-то помочь ей, и это сковывало язык. Стыдно было произносить неискренние слова, но и бездействовать казалось не лучше. «В конце концов, что мне об этом известно? – размышлял он. – Ничего! Тьма и тьма кругом. Пользы никакой, но что я могу еще сделать для моего котенка, для милой моей девчушки, которая даже в день смерти беспокоилась обо мне».

Еще несколько минут он крепился, потом привстал в постели на колени и произнес:

– Упокой, господи...

Но спокойней не стало, напротив, только еще больше жаль стало Литку, и одновременно поднялось раздражение против Васковского, который поставил его перед дилеммой: изменить самому себе или предать в каком-то смысле Литку. Наконец, почувствовав, что сыт по горло этими терзаниями, он решил завтра с утра

отправиться в контору и заняться с Бигелем делами, чем придется, лишь бы вырваться из томительного, заколдованного круга своих мыслей.

Но Бигель, опередив его, сам явился к нему наутро, быть может, с намерением его отвлечь. И Поланецкий с головой окунулся в текущие дела, но через час пришел Букацкий, проститься.

– Уезжаю сегодня в Италию, и бог весть, когда вернусь, – заявил он. – Хотелось вот повидаться и пожелать вам всех благ. Смерть девочки сильнее меня расстроила, чем можно было предполагать.

– И потому ты уезжаешь?

– Это долгий разговор. Видишь ли, у нас это называют буддизмом... Да назови как угодно, но все мы втайне во что-то веруем, на что-то уповаем... на какое-то там милосердие божие, – тем и жив человек. А на деле что получается? Жизнь, что ни день, бьет нас по физиономии, и это порождает душевный разлад, неудовлетворенность, подавленность. Здесь поневоле к кому-то привязываешься, начинаешь сочувствовать чужому горю, это все слишком мучительно; больше не хочу.

– А при чем тут Италия?

– При чем Италия? Да при том, что там солнце, которого здесь нет, искусство, к которому я питаю слабость, кьянти, которое способствует пищеварению. И, наконец, там совершенно безразличные мне люди – пускай себе умирают хоть сотнями, мне от этого ни тепло ни холодно. Буду любоваться картинами, покупать, что приглянется, лечить свой ревматизм и свою головную боль, – и превращусь в более или менее гладкое, сытое и здоровое животное; это лучшее, о чем только можно мечтать, уж поверь мне. А тут я не могу быть вполне животным, как мне хочется.

– Наверно, ты прав, Букацкий. Вот и мы тут засели за счеты, чтобы голову себе забить и не думать ни о чем. Не знаю, как Бигель, а я, как наживу с твое, обязательно последую твоему примеру.

– Итак, до свидания – во времени и пространстве! – сказал Букацкий.

– Он прав, – повторил после его ухода Поланецкий. – Возьми меня: насколько я был бы счастливей, если б не привязанность к Литке и пани Эмилии. Добровольно отравлять себе жизнь: в этом отношении мы неисправимы, он прав. Вечно мы кого-то или что-то любим. Это наша наследственная болезнь. Неистребимая романтическая сентиментальность... и вечные тернии в сердце.

– Тебе кланяется старик Плавицкий, – перебил Бигель. – Вот он никого, кроме себя, не любит.

– Это, пожалуй, верно; но у него не хватает ума и смелости сказать себе, что ничего дурного и предосудительного в этом нет. Напротив, он убежден в обратном, и это его тяготит. У нас даже такой, как он, вынужден притворяться, будто к кому-то или чему-то равнодушен.

– А ты будешь сегодня у пани Эмилии?

– Непременно! Установить, что у тебя лихорадка, – еще не значит излечиться от нее.

В тот день он дважды заходил к Плавицким; в первый раз не застал Марыню и пани Эмилию дома, а Плавицкий на вопрос, где дочь, с подобающим случаю патетическим смирением ответил: «У меня теперь нет дочери!» Поланецкий, боясь сорваться и наговорить дерзостей, поспешно удалился и пришел вечером.

На этот раз к нему вышла Марыня, сказав, что пани Эмилия заснула, впервые после похорон. Сообщая об этом, она не отнимала у него руки, что, несмотря на полную сумятицу в мыслях, не ускользнуло от внимания Поланецкого. Он заглянул вопросительно ей в глаза; она слегка покраснела. Оба сели, и между ними завязался разговор.

– Мы на Повонзках[24 - Кладбище в Варшаве.] были, – сказала Марыня, – я пообещала Эмильке ежедневно ездить с ней туда.

– А хорошо ли напоминать ей каждый день о покойной, раны беречь?

– Ах, да разве они затянулись, – отвечала Марыня. – И потом, как ей в этом отказать? Я тоже подумала сначала, ей будет очень тяжело; но убедилась, что это не так. Она выплакалась на кладбище, и ей стало легче. А на обратном пути все вспоминала Васковского, что он ей сказал тогда – это ее единственное утешение, единственное!

– Пусть хоть этим утешается, – отвечал Поланецкий.

– Знаете, первое время я избегала упоминать о Литке, но она сама о ней непрерывно говорит. И вы тоже не бойтесь разговаривать с ней о девочке, это ей доставляет облегчение. – И понизив еще больше голос, Марыня продолжала не совсем уверенно: – Она все казнит себя за то, что в последнюю ночь послушалась доктора и пошла спать. Жаль потерянных мгновений, которые она могла бы провести с Литкой, вот что не дает ей покоя. Сегодня, когда мы вернулись с кладбища, она все до мельчайших подробностей стала выпрашивать: как Литка выглядела, долго ли спала, принимала ли лекарство, что говорила при этом, разговаривала ли с нами... И заклинала меня передать каждое слово.

– И вы ей рассказали?..

– Да.

– Как же она к этому отнеслась?

– Расплакалась.

Они замолчали. Марыня первая нарушила затянувшееся молчание.

– Пойду посмотрю, как она. – Но тотчас вернулась со словами: – Слава богу, спит.

В тот вечер Поланецкий так и не видел пани Эмилию – она впала словно в летаргический сон. При прощании Марыня опять пожала ему руку, долго и крепко.

– Вы не сердитесь на меня за то, что я сказала Эмильке о последней Литкиной просьбе? – спросила она робко.

– Я не о себе сейчас думаю, а о пани Эмилии, – сказал Поланецкий. – И если ей от

этого легче, я могу быть вам только признателен.

– Значит, до завтра?

– До завтра.

Поланецкий попрощался и подумал, спускаясь по лестнице: «Она уже считает себя моей невестой».

Так оно и было. Марыня действительно смотрела на него, как на жениха. Безразличен он ей никогда не был; сама степень ее обиды и недоброжелательства указывала на это. И если себе он во время болезни и похорон Литки казался воплощением эгоизма, в ее глазах он был сама доброта, добрее всех. Остальное довершили Литкины слова. Сердце ее было открыто для любви, и теперь, связав себя обещанием, поклявшись Литке перед смертью любить ее друга и выйти за него, она, по ее представлению, должна была бы, и не любя, полюбить Поланецкого. Любить его стало как бы обязанностью, долгом. Ибо жить для нес, как для цельной женской натуры, которые пока еще не перевелись, означало исполнять долг, причем не только добровольно, но и самоотверженно.

Понимаемый так долг сам порождает любовь, которая светит и греет, как солнце, умиротворяет, как ясное голубое небо. И жизнь уподобляется тогда не колючему, сухому терновнику, а пышному, благоухающему цветку.

Вот такая способность к жизни и счастью заложена была в этой выросшей в деревне, но здравомыслящей и тонко чувствовавшей девушке.

И когда Поланецкий ушел, она мысленно уже не называла его иначе, как «Стах». И в самом деле, в ее представлении он был теперь ее Стахом.

А Поланецкий машинально все повторял про себя перед сном: «Она считает себя моей невестой».

Смерть Литки и переживания последних дней оттеснили Марыню не только в мыслях, но и в сердце его далеко на задний план.

Теперь же он снова стал думать о ней и о своем будущем. И целый рой вопросов окружил его, ответить на которые он был не в состоянии, во всяком случае, сейчас.

Они его просто пугали, у него не было ни сил, ни желания опять возлагать на себя прежнее бремя. Опять начинать сначала, возвращаться в этот заколдованный круг, чтобы тревожиться и терзаться, стремиться к чему-то, что приносит лишь разочарование, мучиться любовью? Не лучше ли проверять с Бигелем счета, наживать деньги, а потом махнуть в Италию, как Букацкий, или еще куда-нибудь, где можно наслаждаться солнцем, искусством, пить вино, способствующее пищеварению, а главное, жить среди людей, тебе безразличных, чье счастье не согреет сердца, но зато и горе, смерть не заставят пролить ни слезинки.

ГЛАВА XX

Несмотря на душевные переживания Поланецкого, фирма процветала. Благодаря

здравомыслию Бигеля, его осмотрительности и аккуратности дела велись безупречно, и у клиентов не было поводов для недовольства, жалоб и нареканий. Известность их торгового дома день ото дня росла, сфера его деятельности постепенно, но неуклонно расширялась, и положение упрочивалось. Поланецкий, хотя и лишился спокойствия, работал не меньше Бигеля. Утренние часы он ежедневно проводил в конторе, и чем тяжелей было у него на душе, чем запутанней становились их отношения с Марыней после ее переезда в Варшаву, тем с большим рвением он трудился. Эта утомительная и порой требовавшая большого умственного напряжения работа, никак, однако, не касавшаяся его терзаний и не растравлявшая их, стала в конце концов для него чем-то вроде тихой пристани, где он мог укрыться от житейских бурь. И он даже ею увлекся. «Тут, по крайней мере, знаешь, что делаешь и чего добиваешься, – говорил он Бигелю, – тут все предельно ясно, и если работа и не заменит мне счастья, деньги дадут независимость и свободу, и чем разумней ими пользоваться, тем лучше». Последние события лишь утвердили его в этом. И в самом деле, сердечные привязанности приносили только неприятности. Плод их был горек, тогда как деловые успехи были истинной услугой и надежной защитой от невзгод. Во всяком случае, ему хотелось так думать, хотя это было и не так. Он сам понимал, что свести свою жизнь к занятиям в конторе – значит обеднить ее, но сам же себя убеждал: раз иного выхода нет, благоразумней удовольствоваться этим; лучше быть преуспевающим коммерсантом, чем неудачливым идеалистом. И после смерти Литки твердо решил искоренять в себе душевные порывы, которые все равно обречены оставаться безответными и доставлять одни огорчения. Бигель, разумеется, одобрял такую перемену в умонастроении своего компаньона, поскольку она шла на пользу дела.

Однако Поланецкий не мог за несколько недель перемениться настолько, чтобы охладеть ко всему, что еще недавно было ему дорого. И время от времени ходил на Литкину могилу, к надгробью, которое бывало уже по-зимнему заиндевевшим по утрам. Дважды встречал он на кладбище пани Эмилию с Марыней и один раз отвез их в город. Пани Эмилия поблагодарила его по дороге за память о дочке, и Поланецкий обратил внимание на ее почти спокойный тон. Причина стала ему ясна, когда она сказала при расставании: «Я все думаю, что в сравнении с вечностью разлука наша – как мгновенье ока, и Литка поэтому не тоскует; вы даже представить себе не можете, какое это утешение для меня!» «Да уж, чего не могу, того не могу», – сказал про себя Поланецкий. Но убежденность пани Эмилии его поразила. «Если это обман, – подумалось ему, – то обман во спасение, ведь даже в смерти понуждает он искать силы для жизни...»

И Марыня в первом же разговоре с ним подтвердила: да, пани Эмилия живет только этой надеждой, которая смягчает ее горе. По целым дням только о том и говорит, повторяя с какой-то одержимостью; разлука для живущих жизнью вечной – лишь краткий миг. И эта одержимость Марыню начинала даже беспокоить.

– Так говорит, будто Литка жива и они не сегодня завтра увидятся.

– Но в этом ее спасение, – заметил Поланецкий. – Васковский оказал ей огромную услугу. Пусть думает как хочет, вреда от этого не будет.

– Да она и права, ведь так оно и есть.

– Не будем об этом спорить.

Хотя Марыню беспокоила навязчивость, с какой пани Эмилия возвращалась к мысли о жизни вечной, она сама ее разделяла, и скептицизм, сквозивший в словах

Поланецкого, немного ее покоробил и огорчил.

Но, не желая этого показывать, она перешла на другое.

– Я отдала увеличить фотографию Литки. И из трех карточек, которые вчера принесли, одну решила отдать Эмильке. Хотя сперва побоялась, не слишком ли это ее взволнует. Но теперь вижу, что это, наоборот, будет ей очень приятно.

Марыня подошла к этажерке с книгами, на которой лежали завернутые в папиросную бумагу фотографии, и, присев к маленькому столику рядом с Поланецким, принялась их разворачивать.

– Эмилька вспомнила, как Литка незадолго перед смертью говорила: хорошо бы нам всем троим стать березками и расти рядышком. Помните? – спросила она.

– Помню. Ее еще поразило, что деревья живут так долго. И она задумалась, каким бы хотела стать, и решила: березкой, она ей особенно нравилась.

– А вы сказали, что хотели бы расти рядом... И мне захотелось здесь, на паспарту, нарисовать березы. Видите, даже начала, но плохо получается, давно не рисовала, и потом, я не умею так, по памяти.

И она показала Поланецкому березы, нарисованные акварелью на одной из фотографий, низко склоняясь над нею, так как была немного близорука, и на мгновенье коснувшись волосами его виска.

Для него она давно уже была совсем не той Марыней, о которой он мечтал вечерами, возвратясь от пани Эмилии, и которая владела всеми его помыслами. Это время прошло, и мысли его были заняты другим. Но тот тип женщин, к которому она принадлежала, по-прежнему необычайно волновал его как мужчину. И когда волосы коснулись его виска и он совсем близко увидел ее матовое, чуть зарумянившееся личико, склоненный над рисунком стан, влечение к ней вспыхнуло с прежней силой, и кровь стремительней побежала в жилах, разгорячая воображение.

«А что, если сейчас поцеловать ее в глаза, в губы... – промелькнуло в голове. – Интересно, как она к этому отнесется?»

И им вдруг овладело страстное искушение уступить этому порыву, пускай даже и оскорбительному для нее. Хотя бы такой ценой вознаградить себя – и отомстить ей за долгое пренебрежение, за все горе, волнения и неприятности, которые он по ее милости испытал.

– Сегодня мне это кажется еще хуже, – продолжала меж тем Марыня, рассматривая рисунок. – К сожалению, деревья уже облетели, а я только с натуры умею рисовать.

– Нет, совсем не плохо, – возразил Поланецкий. – Но если эти березы должны изображать пани Эмилию, Литку и меня, почему же их четыре?

– Четвертая – это я, – немного смешавшись, ответила Марыня. – Мне тоже хотелось бы когда-нибудь расти вместе со всеми вами...

Поланецкий кинул на нее быстрый взгляд, а она торопливо заговорила, заворачивая фотографии:

– У меня столько воспоминаний связано с Литкой... В последнее время мы с ней и с Эмилькой почти не разлучались... И теперь Эмилька мне самый близкий человек... Я была им другом, как и вы... Не знаю, как бы это сказать... Нас было четверо, осталось трое, и общая память нас связывает... Литка нас связывает. Как вспомню о ней, тотчас начинаю думать об Эмильке и о... вас. Потому и нарисовала четыре березки. И фотографии три заказала, видите: одна Эмильке, другая мне, третья вам.

– Спасибо, – ответил Поланецкий.

– В память о ней, – крепко пожав протянутую им руку, сказала она, – мы должны простить друг другу все взаимные обиды.

– Я уже о них забыл, – отвечал Поланецкий. – Что до меня, я стремился к этому задолго до Литкиной смерти.

– Моя вина, что этого не случилось, простите меня.

Теперь она протянула ему руку. Поланецкий хотел было поднести ее к губам, но заколебался и вместо этого спросил:

– Итак, мир?

– И дружба, – сказала Марыня.

– И дружба.

Глаза ее светились тихой радостью, сообщая лицу такое доброе, доверчивое выражение, что Поланецкому невольно вспомнилась та, прежняя Марыня в лучах заходящего солнца на веранде кшеменьской усадьбы.

Но после Литкиной смерти подобные воспоминания казались ему неуместными, поэтому он поднялся и стал прощаться.

– Вы не останетесь у нас на вечер? – спросила Марыня.

– Нет, мне пора.

– Я скажу Эмильке, что вы уходите, – сказала она, направляясь к двери в соседнюю комнату.

– Она о Литке думает или молится, иначе сама бы пришла. Не надо ей мешать, а я приду завтра.

– И завтра приходите, и каждый день, хорошо? Помните, вы теперь для нас «пан Стах», – сказала Марыня, подходя к нему и с нежностью заглядывая в глаза.

Уже второй раз назвала она его так после Литкиной смерти, и Поланецкий задумался по дороге домой:

«Она ко мне очень переменилась. Держится так, словно уже моя невеста, и все оттого, что дала обещание умирающей девочке. Обязалась меня полюбить – и обязательно себя заставит! Ну, таких у нас хоть отбавляй!»

И внезапная злость охватила его.

«Знаю я эти рыбки природы с холодным сердцем и экзальтированной головой, набитой так называемыми принципами. Все ими делается из принципа, во имя долга, а чувств – ровно никаких! Я мог бы дух испустить у ее ног и не добиться ничего, но раз уж долг повелевает полюбить меня, она полюбит, причем всерьез».

В заграничных своих странствиях – или, во всяком случае, в прочитанных романах – Поланецкий сталкивался, видимо, совсем с иными женщинами. Но тут в нем пробудился здравый смысл.

«Послушай, Поланецкий, – заговорил голос рассудка, – но этим как раз и отличаются избранные, преданные природы, на которые можно положиться, с кем можно связать свою жизнь. Не сходи с ума! Тебе ведь жена нужна, а не мимолетная любовная интрижка». Но Поланецкий не внял своему внутреннему голосу и продолжал упорствовать.

«Хочу, чтобы меня любили ради меня самого».

«Но ведь не важно, за что полюбили, – стал увещевать рассудок, – со временем полюбят и ради тебя самого, это в порядке вещей, важно, что после стольких перипетий и взаимных обид пали вдруг преграды, вот это почти что чудо, поистине божий промысел». Но Поланецкий все дулся.

Наконец на помощь рассудку пришло чувство – то влечение, которое он испытывал к Марыне, делавшее ее желанней всех остальных.

«Любишь ты ее или нет, – говорило оно, – но сегодня, когда ты ощутил ее близость, у тебя дыхание захватило. Отчего же тебя не бросает в дрожь рядом с другой женщиной? Подумай-ка!»

Но у Поланецкого был на все один ответ: «Рыба! рыба с принципами!»

Однако в голове опять промелькнуло: «Лови же ее, если она все-таки предпочтительней остальных. Другие женятся, пора и тебе. Да и чего тебе, собственно, нужно?.. Той любви, над которой ты первый готов посмеяться? Ну, хорошо, любовь угасла, но осталось влечение и убеждение: она – девушка честная и надежная».

«Да, но любовь, безразлично, от ума она или от сердца, – размышлял он, – дает решимость, а какая у меня решимость? Одни колебания, сомнения, которых раньше не было. И вообще, надо еще взвесить, что лучше: панна Плавицкая или приходно-расходное сальдо фирмы „Бигель и Поланецкий“? Деньги – это могущество и свобода, а свободой вполне можно воспользоваться, лишь когда руки не связаны и сердце не занято».

Поглощенный этими мыслями, пришел он домой и лег спать. Во сне привиделись ему березы на песчаных косогорах, ясные голубые глаза, и повеяло теплом от лица, обрамленного темными волосами.

Несколько дней спустя, когда Поланецкий собирался утром в контору, к нему пожаловал Машко.

– У меня к тебе просьба, даже две, – сказал он. – Начну с денежной, тут легче сказать «да» или «нет».

– Финансовыми делами я, мой дорогой, занимаюсь в конторе, поэтому начни лучше со второй.

– Контора ваша тут ни при чем, просьба у меня частная. Деньги мне нужны, потому что я, как ты знаешь, жениусь. Расходов у меня больше, чем волос на голове, и вдобавок уйма неотложных платежей. И тебе платить тоже подходит срок – первый взнос по кшеменьской закладной. Так вот, не можешь ты отложить этот платеж еще на квартал?

– Если говорить совершенно откровенно, могу, но не хочу.

– Откровенность за откровенность: а что если я не заплачу в срок?

– Что же, со всяким бывает, – отвечал Поланецкий, – но ты, я знаю, заплатишь, не считай меня, пожалуйста, глупее, чем на самом деле.

– Почему ты так в этом уверен?

– Ты женишься, притом на богатой невесте; слухи о твоей несостоятельности могли бы тебе повредить. Из-под земли достанешь, но заплатишь.

– Из пустого кувшина сам Соломон ничего не выцедит.

– Выцедил бы, поучись он у тебя. Ты, между нами говоря, всю жизнь только этим и занимаешься.

– Так, значит, ты уверен, что заплачу?

– Да.

– Ты не ошибся. И я, конечно, не вправе просить тебя об одолжении. Но я устал от всего этого. Без конца изворачиваться, просить у одного, чтобы заткнуть рот другому, – никаких сил не хватает!.. Но скоро я вроде бы брошу якорь. Через два месяца пристану к берегу, только пара мало в котлах... Что ж, не хочешь выручить, придется кшеменьский лес вырубить, другого ничего не остается.

– Да какой так в Кшемене лес? Старик Плавицкий небось все уже повырубил.

– А за усадьбой, туда, к Недзялково, большая дубрава.

– Верно, там есть.

– Вы, по-моему, с Бигелем и с такими делами управляетесь. Так вот, купите у меня лес. Мне, по крайней мере, покупателя не искать, а вы будете с барышом.

– Я поговорю с Бигелем.

– Значит, ты не против?

– Нет. Если дешево отдашь, может, я и сам... Но надо прежде прикинуть все выгоды и невыгоды такого дела. И ты тоже прикинь и давай твои условия. Пришли опись, сколько там леса и какого сорта. Я не помню.

– Пришлю через час.

– Тогда я дам тебе вечером ответ.

– Но одно условие я хотел бы оговорить заранее: раньше двух месяцев лес не вырубать.

– Почему?

– Эта дубрава – истинное украшение Кшеменя, и после свадьбы я ее у тебя откуплю, внакладе ты, разумеется, не останешься.

– Там видно будет.

– Кроме того, мергель. Помнишь, ты сам говорил. По оценке Плавицкого его там на миллионы, что, конечно, ерунда, но в умелых руках и это может оказаться делом прибыльным. Подумайте с Бигелем, я принял бы вас в долю.

– Если дело стоящее, почему бы и нет? Фирма наша для того и существует.

– Но об этом потом, давай вернемся к дубраве. В общих чертах сделка наша такова: я в обеспечение долга уступаю тебе дубраву – или часть ее, в зависимости от стоимости – вместо первого взноса по закладной, а ты обязуешься ее не вырубать в течение двух месяцев.

– Ну что ж, это меня, пожалуй, устраивает, – сказал Поланецкий. – Потом, конечно, возникнут такие вопросы, как доставка леса на железную дорогу и тому подобное, но это мы обсудим при заключении контракта, если вообще до этого дойдет.

– Ну, хоть эта забота с плеч! – вздохнул Машко, потирая лоб. – Мне ежедневно десятки таких вот дел приходится улаживать, представляешь, это не считая переговоров с пани Краславской, которые стоят всего остального. Да еще за невестой ухаживай... – махнул рукой Машко и, запнувшись, прибавил: – Тоже нелегко.

Поланецкий удивленно посмотрел на него. В устах Машко, который слова не скажет без оглядки на светские приличия, это было неожиданно.

– Но не в этом дело... – продолжал между тем Машко. – Помнишь, мы чуть не поссорились перед смертью Литки... Ты был расстроен и раздражен, я упустил из вида, как ты привязан к ней, вел себя просто по-хамски... Прости меня, я сам во всем виноват.

– Кто старое помянет... – отвечал Поланецкий.

– Я к тому, что у меня еще одна просьба. Окажи услугу: друзей у меня нет, родственники, какие есть, того не стоят, а шаферы нужны, ума не приложу, где их взять, куда толкнуться... Приходилось, конечно, вести дела разных знатных баричей... Но просить только ради титула первого попавшегося шута горохового нелегко.

как-то, да и желания нет. А хочется, чтобы шаферами у меня были люди достойные и – скажу прямо – с положением. Теща и невеста придадут этому большое значение. Короче: согласен ты быть моим шафером?

– В другое время я бы не отказал. Сейчас все объясню. Ты видишь, у меня ни крепа нет на шляпе, ни плерезов на сюртуке, вроде бы я не в трауре, но поверь: горю так, будто собственного ребенка потерял.

– Прости, я не подумал об этом, – сказал Машко.

Его слова тронули Поланецкого.

– Если другого выхода не будет... и ты действительно никого не найдешь, придется, видно, согласиться, но, честно говоря, после таких похорон тяжело быть на свадьбе.

Он не сказал, правда, «на такой свадьбе», но Машко угадал его мысли.

– И потом еще одно, – продолжал Поланецкий. – Ты, наверно, слышал о бедняге докторе, который безнадежно был влюблен в твою невесту. Осуждать ее за то, что она не отвечала взаимностью, нельзя, конечно, но он за это жизнью поплатился: уехал куда-то к черту на кулички и умер, понимаешь? А мы в приятельских отношениях были, он мне свои горести поверял, плакался в жилетку... Ну скажи сам, могу я после этого быть шафером другого?..

– Неужто он и правда умер от любви к моей невесте?

– А ты что, не знал?

– Первый раз слышу и просто ушам своим не верю.

– Оказывается, уже помолвка, а не только женитьба меняет человека... Я тебя не узнаю.

– Я же тебе сказал, что устал безумно, просто дух вон, тут уж не до маски.

– До какой маски?

– До такой, что есть две категории людей. Одни живут, как бог на душу положит, поступая по обстоятельствам; у других есть жизненная программа, которой они более или менее придерживаются. Так вот, я отношусь к этим последним. Привык носить благопристойную личину, она стала моей второй натурой. Но представь, что идешь с кем-нибудь в страшную жару; тут и самый что ни на есть *сomme il faut* [25 - благовоспитанный (фр.)] не выдержит и не только сюртук, но и жилет расстегнет... Вот и я позволил себе расстегнуться.

– То есть?

– То есть я просто потрясен, что кто-то мог без памяти влюбиться в мою невесту, в ней ведь все неестественно: и мысли, и движения, и слова – холодная, чопорная, будто заводная кукла, как ты однажды сказал в сердцах. Так оно и есть, совершенно с тобой согласен. Но я не хочу, чтобы ты думал обо мне хуже, чем я заслуживаю. Да, я не люблю ее, и моя женитьба – это брак по расчету, такому же трезвому, холодному, как сама невеста. Влюблен я был в панну Плавицкую, но она

меня отвергла. А на Краславской женюсь ради ее состояния. Ты скажешь, это непорядочно, на это я возражу тебе: тысячи так называемых порядочных людей, которым ты подаешь руку, поступали и поступают так же. И живут, пусть без особых радостей, и никакой трагедии в этом нет. Сначала хуже, потом получше. Приходит на помощь привычка, сближают прожитые вместе годы, которые приносят что-то вроде привязанности, дети; так оно и идет, ни шатко ни валко. И таких браков большинство, потому что большинство предпочитает ходить по земле, а не витать в облаках. Гораздо хуже, если муж, скажем, существо земное, а жена – небесное создание или наоборот, тогда никакое согласие невозможно. Что до меня, я всю жизнь жилы из себя тянул. Родом я из бедной семьи и не скрываю, что хочу выбиться в люди. Можно бы остаться безвестным адвокатишкой и только деньги копить, сколотил бы состояние – сыну открыл в жизни дорогу. Но как это не рожденных еще детей любить, я этого не умею. И потом, сам хочу что-то значить, определенное положение занимать, какое у нас возможно занять, вес иметь в своем кругу. Так вот и вышло: что адвокат наживет, то grand seigneur[26 - вельможа (фр.)] спустит. Положение, как известно, обязывает. Но мне уже надоело это безденежье и вечное верченье: там отрежешь, тут залатаешь. Вот почему я и женюсь на панне Краславской, а она, в свой черед, выходит за меня, принимая меня за того, за кого я себя выдаю, – за важного барина, который балуется адвокатурой... Так что мы квиты с ней, никакого подвоха, обмана тут нет, или, вернее, оба друг дружку обманываем одинаково. Вот тебе вся правда, можешь, если угодно, меня презирать.

– Клянусь, я никогда не уважал тебя больше, – отвечал Поланецкий. – Кроме чистосердечия, еще и удивительная смелость.

– Благодарю за комплимент, но при чем тут смелость?

– При том, что ты, несколько не обольщаясь, все-таки женишься на ней.

– Это скорее свидетельствует об уме. Да, я хотел жениться на богатой, но не думай, что взял бы первую попавшуюся! Нет, любезный друг, вступая в брак с панной Краславской, я знаю, что делаю. У неб масса достоинств, для такого брака поистине неоценимых. Женой она будет малоприятной: холодной, надутой, даже высокомерной, если ее не приструнить. Зато соблюдение приличий для них с матерью – настоящее священнодействие, они до тонкостей знают, что «принято», что «не принято» и вообще все так называемые светские условности. Это во-первых. Во-вторых, она уж никак не авантюристка по натуре, и хотя совместная жизнь с ней радости не сулит, но не сулит и скандалов. И потом, она во всем очень педантична, а это немаловажно не только в отношении религиозных обрядов, но и будущих супружеских обязанностей. Счастья с ней я не узнаю, зато обрету покой, и, как знать, может, от жизни больше и требовать нельзя. И тебе, друг мой, тоже советую: выбирай жену прежде всего спокойную. Возлюбленная может быть какая угодно: пикантная, пылкая, романтическая, утонченная. Но в жене, с которой надо жизнь прожить, ищи того, на что можно опереться: уравновешенности.

– Никогда я тебя глупым не считал, но ты, оказывается, еще умнее, чем я думал.

– Возьми наших женщин, к примеру, из деловых, финансовых кругов. Они воспитываются на французских романах, и знаешь, кем потом становятся в собственных глазах?

– Представляю более или менее, но с удовольствием послушаю тебя, ты сегодня завидно красноречив.

- Непогрешимыми богинями и судительницами.
- А для мужей?
- Лицемерками и мучительницами.
- Это, пожалуй, больше относится к очень богатой и не имеющей традиций среде. Там – все внешность и туалет, а внутри – не душа, а более или менее изящный хищный зверек.
- Да, но именно этот мир с его богатством и роскошью, с его забавами и повальным дилетантизмом – художественным, литературным, даже религиозным, задает тон и всеми дирижирует.
- Нас это пока не коснулось.
- Нас пока еще не очень. Впрочем, бывают и исключения, тем более вне этой среды. Вот хотя бы панна Плавицкая. Какое спокойное, безмятежное счастье сулит жизнь с такой женщиной, притом очаровательной! Но увы, она не про меня.
- Ай да Машко! В уме твоём, должен признаться, я не сомневался, но пылкости такой не ожидал.
- А как ты думал! Ведь как-никак я в Плавицкую был влюблен, а женюсь вот на Краславской.

Последние слова Машко выговорил чуть ли не со злостью. Наступила минутная пауза.

- Значит, ты отказываешься быть у меня шафером? – спросил он.
- Дай подумать.
- Через три дня я уезжаю.
- Куда?
- В Петербург. По делам. И пробуду там недели две.
- Когда вернусь, дам тебе ответ.
- Ладно. Сегодня же пришлю тебе план дубравы с указанием количества и размера стволов. Главное – пока не платить!
- А я сообщу тебе мои условия.

Машко простился и ушел, вскоре отправился к себе в контору и Поланецкий. Посоветовавшись с Бигелем, он решил сам купить лес, если дело окажется стоящим. Что-то тянуло его зацепиться как-нибудь за Кшемень – что, он еще не отдавал себе отчета. Вернувшись домой, Поланецкий предался размышлениям о сказанном Машко про Марыню. Да, Машко прав, жизнь с такой женщиной будет не только безмятежно счастливой, но и полной очарования. Но при этом он не мог не отметить, что отдает предпочтение скорее вообще типу женщин, к которому принадлежала Марыня, чем ей самой. И стал уличать себя в явной непоследовательности. С одной стороны,

ему до отвращения, даже до злобы претили всякие сердечные узы и привязанности, которые только стесняют и мучают. При одной мысли об этом он внутренне содрогался. «Хватит! Довольно с меня! – говорил он себе. – Это недуг, который подрывает здоровье и выбивает из колеи». Но с другой стороны, он был чуть ли не в претензии на Марыню за то, что она не воспылала к нему такой нездоровой страстью, а склонна полюбить его скорее из чувства долга. И еще: отвергая любовь, он все-таки недоумевал, отчего она так быстро стала угасать и отчего Марыня была ему дороже, когда от него отвернулась, чем теперь, когда выказывает ему свое расположение.

«В конце концов, – рассуждал Поланецкий, – влюбленный становится сам не свой, теряет голову, словом, будь она неладна, эта любовь! У панны Плавицкой больше достоинств, чем она сама догадывается: обязательна, справедлива, спокойного нрава, хороша собой, и притом меня влечет к ней, – и все-таки чувствую: она уже перестала быть для меня тем, чем была, что-то во мне, черт возьми, перегорело!»

«Но что именно? – продолжал он рассуждать. – Если способность любить, оно и к лучшему, – ведь я пришел к заключению, что любовь непростительная глупость; однако в таком случае надо бы радоваться, а я нисколько этому не рад».

Наверно, пришло ему на ум, у него сейчас просто упадок сил, как после тяжелой болезни или операции, и жизнь с ее каждодневными заботами поможет избыть это недомогание.

Под «каждодневными заботами» подразумевал он работу в конторе.

В ресторане, куда Поланецкий зашел пообедать, застал он Васковскогo; два официанта в сторонке поглядывали на старика и перемигивались, когда тот, подняв вилку с куском мяса, застывал в такой позе или начинал бормотать что-то себе под нос. Последнее время Васковский возымел обыкновение разговаривать сам с собой, причем так громко, что прохожие оборачивались на улице. И сейчас он с отсутствующим видом поднял на Поланецкого голубые глаза и заговорил, точно очнувшись ото сна и следуя за ходом занимавшей его мысли:

- По ее словам, она так будет ближе к дочери.
- Кто «она»?
- Пани Эмилия.
- Что значит «ближе»?
- Она хочет вступить в общину милосердных сестер.

Поланецкий замолчал, пораженный этим известием. Сколько ни философствовал он, порицая чувство, рассуждая о нем как о недуге всего общества, две святыни оставались в его душе неприкосновенны: Литка и пани Эмилия. Литка теперь стала лишь дорогим для него воспоминанием, но к пани Эмилии он питал прежнюю братскую нежность, которой никогда не касались его сомнения.

Некоторое время он помолчал, собираясь с мыслями, потом сердито взглянул на Васковскогo.

- Это вы ее уговорили. Не собираюсь пускаться сейчас с вами в рассуждения о

мистицизме, о ваших сомнительных, на мой взгляд, идеях, но знайте: вы будете повинны в ее смерти – у не просто-напросто не хватит физических сил ходить за больными, и больше года она не протянет, понимаете?

– Дорогой мой, – отвечал Васковский, – вот ты уже и осудил меня, не выслушав. А задумывался ты когда-нибудь над значением слова «праведник»?

– Мне не до слов, когда речь идет о жизни близкого человека.

– Она вчера совершенно неожиданно сообщила мне о своем решении, и я спросил: «Дитя мое, а хватит ли у тебя сил, ведь это тяжелый труд?» А она улыбнулась и сказала: «Не отговаривайте меня, в этом мое утешение и счастье. Если окажется, что я непригодна, меня не возьмут, а примут и у меня не останется сил, мы быстрее соединимся с Литкой: я так тоскую по ней!» И с такой простотой и верой сказала – разве я мог ей возразить? А ты сам как поступил бы на моем месте? Даже неверующий, и тот не осмелился бы сказать ей, что Литки нет и что исполненная труда, милосердия и самоотречения жизнь, благочестивая смерть могут не соединить их... Придумай для нее лучшее утешение, если можешь! Подай другую надежду, если найдешь; успокой, если знаешь как. Скажи откровенно, осмелишься ты ее отговорить, когда с ней увидишься?

– Нет, – ответил Поланецкий и прибавил: – Кругом сплошные огорчения!

– Единственное, что можно сделать, – продолжал Васковский, – это попытаться уговорить ее не обрекать себя на непосильный труд сестры, а удалиться в какой-нибудь монастырь. Есть такие, где человек, сей ничтожный атом, как бы растворяется в созерцании бога, переставая жить для себя, а стало быть, и страдать...

Поланецкий махнул рукой.

– Не разбираюсь в этом, – сказал он резко, – и не желаю разбираться.

– Я тут прихватил с собой итальянскую книжку о монашеском орденах назаретянок, – сказал Васковский, расстегивая сюртук. – Вот только куда она подевалась? Помнится, в карман ее сунул перед уходом...

– На что мне ваши назаретянки?

Васковский между тем в поисках книжки за сюртуком расстегнул и жилет.

– Что ж это я ищу? – задумчиво спросил он. – Ах, да, итальянскую книжку. Через несколько дней я уезжаю в Рим. И надолго, очень надолго. Помнишь, я сказал как-то: этот город – преддверие иного мира? А мне пора в царство божие. Очень бы хотелось, чтобы пани Эмилия со мной поехала, но она никуда от своей дочки не уедет. Останется здесь ходить за болящими. Но может, все-таки устав назаретянок пришелся бы ей по сердцу?.. Он прост и ясен, как заповеди первых христиан... Скоро в путь... Не разум влечет меня туда – там лучше нас смыслят, но сердце, любящее сердце всех малых сил.

– Застегните жилетку, – сказал Поланецкий.

– Сейчас. Ты хотя и горяч, но человек с душой, и я бы поделился с тобой кое-какими, заветными мыслями... Видишь ли, христианство не только что себя не

исчерпало, как полагают иные философствующие недоумки, оно лишь половину своего пути проделало.

– Дорогой мой друг, – отозвался Поланецкий мягче, – я с удовольствием выслушаю вас, но только не сегодня, сейчас я ни о чем, кроме пани Эмилии, думать не могу; у меня комок в горле... Ведь это форменная катастрофа!

– Для нее – нет! И жизнь, и смерть – равное благо для нее.

– Господи, даже дружба причиняет страдания, – пробормотал Поланецкий, – что уж говорить о любви. Всякая привязанность несет одни огорчения. Прав Букацкий... Предайся мыслям – беда, отдайся чувствам – тоже, что за жизнь!..

На этом разговор прервался, верней, перешел в монолог Васковского о Риме и христианстве. Пообедав, они вместе вышли; мимо, позванивая бубенцами, проносились санки, и на улице было по-зимнему оживленно, с утра выпало много снега, а под вечер установилась ясная морозная погода.

– Застегните, пожалуйста, жилетку, – повторил Поланецкий, заметив, что Васковский по-прежнему расстегнут.

– Сейчас, – ответил тот, просовывая в жилетную петлю пуговицу от сюртука.

«Славный, однако, старик, – думал Поланецкий по дороге домой. – Но привяжись я к нему покрепче, с ним непременно приключится беда, просто рок какой-то. Хорошо, что он мне довольно безразличен».

Он, конечно, себя обманывал, стараясь внушить себе нечто прямо противоположное, ибо на самом деле питал самые добрые чувства к Васковскому и совсем не был равнодушен к его судьбе.

Первое, что он увидел дома, было улыбающееся личико Литки, глядевшее на него с портрета, присланного в его отсутствие Марыней. Поланецкого это взволновало до глубины души. Он всегда испытывал волнение при воспоминании о девочке или при виде ее карточки. Ему казалось тогда, что любовь к ней, схороненная в тайниках души, оживает с новой, неслабеющей силой, заливая его волной нежности и печали. И воскресая эта печаль причиняла такую острую боль, что он избегал воспоминаний о Литке, как бессознательно избегают боли. Но на этот раз печаль была приятна. Литка улыбалась ему в свете лампы, словно говоря: «Пан Стах». А вокруг ее головки на белом паспарту зеленели четыре березки, нарисованные Марыней.

Долго он не сводил глаз с портрета. «Теперь я знаю, в чем счастье, – мелькнуло у него в голове, – оно в детях». Но тотчас же возразил себе: «Своих детей я никогда не буду так любить, как эту бедняжку».

Вошел слуга и подал ему Марынино письмо, которое принесли вместе с портретом. «Папа просит вас зайти к нам вечером, – писала Марыня. – Эмилька сегодня перебралась к себе, ей хочется побыть одной. Посылаю фотографию Литки и очень прошу прийти – надо поговорить об Эмильке. Папа пригласил также пана Бигеля и обещался занять его, так что мы сможем побеседовать спокойно».

Пробежав письмо, Поланецкий переоделся, почитал немного и отправился к Плавицким.

Бигель уже четверть часа как пришел и играл с Плавицким в пикет; Марыня сидела поодаль у маленького столика с каким-то рукодельем. Поланецкий, поздоровавшись со всеми, подсел к ней.

– Большое спасибо за фотографию, – сказал он. – Увидел я ее неожиданно, и Литка возникла передо мной, как живая; я долго не мог опомниться. Вы знаете, такие мгновения – истинное мерило нашего горя, всей глубины которого мы даже не сознаем. Спасибо вам! И за четыре березки тоже... Что до пани Эмилии, я уже все знаю от Васковского. Но что это – намерение или твердое решение?

– Скорее твердое решение.

– И что вы об этом думаете?

Марыня подняла на него глаза, словно ища поддержки.

– Ей это не под силу, – вымолвила она наконец.

Помолчав, Поланецкий беспомощно развел руками.

– Мы уже говорили с Васковским, – сказал он. – Я накинулся на него, подумав, что это его идея, но он клянется, что непричастен к этому. И сам стал спрашивать: а какое утешение можно дать ей взамен, и я не нашел ответа. И правда: что ей еще остается в жизни?

– Да, – тихо отозвалась Марыня.

– Думаете, я не знаю, откуда у нее это желание? Она хочет поскорей умереть, но религия не позволяет ей лишиться себя жизни. И вот, зная, что труд этот ей не по силам, именно потому и берется за него.

– Да, – повторила Марыня, низко склоняясь над работой.

Поланецкий видел только ровную ниточку пробора в ее темных волосах. Перед ней стояла коробочка с бисером, которым она расшивала разные вещицы для благотворительной лотереи, и слезы, смешиваясь с бисеринками, закапали с ее глаз.

– Я все равно вижу, что вы плачете, – сказал Поланецкий.

Она подняла заплаканное лицо, словно и не стараясь скрыть от него слезы.

– Эмилька правильно поступает, я знаю, но очень жаль ее!..

Поланецкий, волнуясь и не находя слов, впервые со времени их знакомства поцеловал ей руку. Бисеринки из глаз Марыни посыпались еще чаще, и она вынуждена была встать и выйти.

Поланецкий подошел к игрокам, как раз когда Плавицкий кисло-сладким тоном говорил своему партнеру:

– Опять рубикон! Нелегко, нелегко. Но вы – представитель нового времени, а я – приверженец старых традиций... и должен быть побежден.

– Какое это имеет отношение к пикету? – невозмутимо отпарировал Бигель.

Вскоре Марыня вернулась, объявив, что чай подан. Глаза у нее слегка покраснели, но лицо было приветливо и спокойно. И после чая, когда Бигель с Плавицким снова засели за карты, она пустилась с Поланецким в такой тихий и доверительный разговор, какой бывает только между близкими людьми, которых многое связывает в жизни. И хотя их связывали смерть Литки и горе пани Эмилии, это не мешало Марыниным глазам улыбаться Поланецкому – печально и вместе с тем радостно.

И поздно вечером, после ухода Поланецкого, он стал для нее в мыслях уже просто «Стахом».

А сам он впервые после смерти Литки вернулся домой в хорошем настроении. И, расхаживая по комнате, останавливался то и дело перед ее портретом с четырьмя березками, нарисованными Марыней, и думал, что узы, которыми их соединила Литка, безо всякого вмешательства, а просто сами собой, как бы некой таинственной силой вещей, становятся с каждым днем все крепче. И пусть прежней, давней охоты упрочить эти узы у него нет, решимости порвать их, особенно теперь, сразу после Литкиной смерти, тоже не хватает.

Уже ночью занялся он просмотром присланных Машко бумаг. Но не мог сосредоточиться и все делал ошибки в подсчетах, – ему виделась Марыня, как она сидит с поникшей головой и слезы ее падают в коробочку с бисером. На другой день он купил у Машко лес, кстати, очень выгодно.

ГЛАВА XXII

Через две недели вернулся из Петербурга Машко, довольный удачным оборотом своих дел, и привез важную новость, сообщенную ему, как он уверял, конфиденциально и пока никому не известную. Прошлый урожай повсеместно был очень плох, и будущий год угрожал быть голодным. Уже сейчас появлялись зловещие признаки этого, а к весне, с истощением хлебных запасов, бедствие, как легко было предположить, могло стать всеобщим. Ввиду этого люди сведущие стали поговаривать о возможном запрете на вывоз зерна за границу, – такого рода слухи Машко и привез, утверждая, что они из самых надежных источников. Это известие произвело на Поланецкого большое впечатление, и он несколько дней провел взаперти с карандашом в руках, после чего отправился к Бигелю, предложив использовать все наличные деньги, а также кредит для оптовой закупки зерна.

Бигель вначале испугался – но его обыкновенно всякое начинание пугало. Поланецкий, впрочем, не скрыл, что это операция крупного масштаба, от которой зависит вся их дальнейшая судьба. Полная неудача была маловероятна, зато в случае успеха они сразу становились состоятельными людьми. Что из-за нехватки зерна цены на него и за границей подскочат, было заранее ясно. Можно было также ожидать, что возможность сделок с иностранными хлеботорговцами будет ограничена; но это едва ли коснется контрактов, заключенных перед тем. Так или иначе повышение цен на внутреннем рынке сомнений не вызывало. И Поланецкий, насколько был в силах, все это прикинул и рассчитал, так что Бигель как человек здравомыслящий при всей своей осторожности не мог не признать, что шансы у них есть и жаль их упускать.

После нескольких совещаний он наконец сдался, и Поланецкий настоял на своем: главный комиссионер фирмы Абдульский в скором времени выехал за границу с полномочиями закупать зерно этого и будущего урожая.

Вслед за Абдульским отправился в Пруссию Бигель, и Поланецкий остался один во главе фирмы, трудясь с раннего утра до позднего вечера и почти нигде не показываясь.

Но в предвкушении больших барышей, которые откроют ему широкое поле деятельности в будущем, он не замечал, как летело время. Взятая за это дело и вовлек в него Бигеля Поланецкий прежде всего потому, что считал его прибыльным. Но были у него и другие соображения. Их торговый дом, его операции предоставляли ему слишком тесное поприще, не дававшее – он это чувствовал – приложить все силы и способности, применить свои специальные знания. И какие это, в сущности, были операции? Подешевле купить, подороже продать и положить выручку в карман – только и всего. Самим заключать сделки или посредничать – Поланецкому этого было мало. «Хотелось бы изготавливать что-нибудь или добывать, – говаривал он Бигелю, когда уставал или был не в духе. – По сути, мы всего лишь стараемся так направить находящийся в обращении денежный поток, чтобы хоть маленькая струйка забегала к нам в кассу, а производить ничего не производим». Так оно и было. Поланецкий же мечтал, нажив состояние и располагая капиталом, приняться за какое-нибудь дело, позволяющее развернуться, дающее выход творческой энергии.

Такой случай, по его убеждению, представился сейчас, и он ни за что не хотел его упускать.

«А об остальном подумаю потом», – повторял он про себя.

Под «остальным» подразумевал он потребности духовные и сердечные: свое отношение к вере, к людям, к родине и любви. Он понимал: только выяснив все это, можно обрести покой и твердую почву. Иные всю жизнь обходятся без этого, меняя свои взгляды в угоду любому веянию. Поланецкий этого не принимал. В теперешнем своем состоянии он скорее склонен был решать эти вопросы с прямолинейной трезвостью позитивиста или материалиста, но понимал, что решать необходимо.

«Надо знать, для чего я живу», – говорил он себе.

Тем временем он много работал и почти ни с кем не встречался. Но отгородиться от всех он не мог. И убедился, что даже самое сокровенное, сокрытое в тайниках души не зависит только от тебя – на ход мыслей и продиктованные ими поступки влияют внешние обстоятельства и люди, как близкие нам, так и далекие. Это подтвердилось во время прощального визита к пани Эмилии, которая в те дни с нетерпением ждала, когда ее примут в общину сестер.

Как ни был он занят, но к ней все-таки забегал, хотя несколько раз не заставал, а однажды столкнулся у нее с пани Бигель и Краславскими, матерью и дочкой, чье присутствие его очень стесняло. Наконец, когда Марьяна-сообщила, что пани Эмилия через несколько дней принимается в новицы, он пошел с ней проститься.

Она была спокойна, даже весела, но у него сердце сжалось при взгляде на ее бледное, отливающее перламутром лицо с голубыми жилками на висках. Она была красива, но какой-то уже неземной красотой, и Поланецкий подумал: «Мы прощаемся навсегда, она не протянет там и месяца; вот еще одна привязанность, от которой только горе и страдания».

Пани Эмилия заговорила о своем решении как о чем-то обыденном, само собой разумеющемся, естественном следствии всего происшедшего, лишившего ее жизненной опоры, и он понял: отговаривать ее было бы бессмысленно и бесчеловечно.

– Вы останетесь здесь, в Варшаве? – спросил он.

– Да. Я хочу быть поближе к Литке, и общинная настоятельница разрешила мне остаться дома, пока я не приобрету нужных навыков, а потом переберусь в одну из здешних больниц. Конечно, если ничего не помешает. Пока я буду дома, мне разрешат по воскресеньям навещать Литкину могилу.

Поланецкий молчал, стиснув зубы.

«И с такими руками она хочет ухаживать за больными?» – подумал он, взглянув на ее нежные, точно вылепленные из воска пальчики.

Но в то же время он догадывался, что хочет она совсем другого. Под ее внешним спокойствием и смирением скрывалась безмерная мука, которая была страшнее смерти и которую облегчить могла только смерть. Умереть, но не беря на душу греха, а в добродетели, воздаянием за каковую и будет ее соединение с Литкой...

И Поланецкий лишь теперь уразумел, что бывает разная степень горя и страдания. Ведь вот и он любил Литку, но скорбь и воспоминания о ней не вытеснили у него интереса к жизни, каких-то стремлений, мыслей, ожиданий. А у пани Эмилии не осталось ничего, будто она сама умерла вместе с дочерью, и если ее еще что-то занимало, если будило какие-то чувства к ближним, то лишь в связи с Литкой, из-за Литки, для Литки.

Поланецкому тяжело было это последнее свидание. Он искренне был привязан к пани Эмилии и чувствовал, что теперь эти узы порываются навсегда и пути их расходятся; он пойдет своим, а она сделает все, чтобы поскорей погасить свою жизнь, возлагая на себя бремя благословенное, но непосильное, приближающее конец.

Мысль эта сковала ему язык. Но в последнюю минуту чувства прорвались наружу.

– Милая, бесконечно дорогая пани Эмилия! – в волнении вымолвил он, целуя ей руку. – Спаси и помилуй вас бог!

Ему не хватило слов, а она сказала, не отнимая у него руки:

– Я до самой смерти не забуду, как добры были вы к Литке. Марыня мне сказала, что Литка вас соединила, и я верю: вы будете счастливы, иначе господь не внушил бы ей этого. При каждой встрече с вами я буду думать, что ваше счастье – Литкина заслуга. Пусть ее желание исполнится побыстрее, и да благословит вас бог!

Поланецкий ничего не ответил, а по дороге домой подумал: «Литкино желание!.. Она не допускает даже мысли, что можно его не исполнить, – разве я мог ей сказать, что не питаю к панне Плавицкой прежних чувств...»

Вместе с тем ясно было, что дальше так продолжаться не может и отношения с Марыней в ближайшее же время надобно скрепить либо разорвать, положив конец неопределенности, чреватой недоразумениями и сложностями. Ясно было: нельзя

тянуть, иначе это будет непорядочно. И его снова охватило беспокойство; казалось, как ни поступи, счастья это все равно не принесет.

Дома он нашел записку от Машко такого содержания:

«Заходил к тебе сегодня два раза. Какой-то полоумный в присутствии моих подчиненных нагрубил мне из-за того, что я продал дубраву. Фамилия его Гонтовский. Зайду к вечеру, надо переговорить».

Не прошло и часа, как Машко явился.

– Ты знаешь этого Гонтовского? – не снимая пальто, спросил он.

– Знаю. Сосед и дальний родственник Плавицкого. А что такое, что случилось?

– Понять не могу, откуда он узнал о продаже леса, – ответил Машко, снимая пальто. – Я никому ничего не говорил, мне же как раз важно было, чтобы не узнали.

– Абдульский, наш агент, ездил осматривать дубраву. От него он и мог узнать.

– Послушай, как все было. Сижу я у себя в конторе, приносят визитную карточку Гонтовского. Я понятия не имел, кто это такой, велю впустить. Входит какой-то субъект и прямо с порога начинает меня допрашивать: правда ли, что я продал дубраву и хочу продать часть земли? Я, естественно, вопросом на вопрос: а какое ему, собственно, дело? А он мне: вы, говорит, обязались выплачивать пожизненно пенсион Плавицкому, а если разорите имение таким хищническим хозяйствованием, с вас и взыскать будет нечего. Ты догадываешься, конечно, что я ему посоветовал надеть шляпу, застегнуться хорошенько, чтобы не простудиться, и уходить, откуда пришел. Он раскричался, обозвал меня в присутствии всех лжецом и мошенником, сообщил, что остановился в гостинице «Саксония», и удалился. Ты случайно не знаешь, где тут собака зарыта и что сие все значит?

– Знаю. Во-первых, человек он недалекий и неотесанный. Во-вторых, он много лет влюблен в pannу Плавицкую, вот и счел своим долгом рыцаря заступиться.

– Ты ведь знаешь, меня нелегко вывести из себя, но тут у меня такое ощущение, будто все это в каком-то сне. Чтобы меня кто-то посмел оскорбить за то, что я продаю свою же собственность, – нет, это уму непостижимо!

– Ну и что ты намерен предпринять? Плавицкий первый же намылит ему шею и заставит перед тобой извиниться.

Лицо Машко исказила такая холодная, бешеная злоба, что Поланецкому невольно подумалось: «Ну, заварил наш увалень кашу, не догадывается небось, что с Машко ему так просто ее не расхлебать».

– Я никому еще не позволял оскорблять себя безнаказанно и не позволю, – сказал Машко. – А он меня не только оскорбил, но еще и такую свинью подложил, сам даже не подозревает.

– Он молокосос и невменяемый к тому же.

– Бешеная собака тоже невменяема, однако ее пристреливают. Как видишь, я

совершенно спокоен, так вот, послушай, что я тебе скажу: для меня это катастрофа, и еще вопрос, сумею ли я оправиться.

– Говоришь ты спокойно, но тебя душит злость, и поэтому ты преувеличиваешь.

– Нисколько. Наберись терпения и выслушай до конца. Дело вот как обстоит: если женитьба моя расстроится или хотя бы отложится на несколько месяцев, все полетит к черту: и моя репутация, и кредит, и Кшемень, все. Я уже тебе говорил: пар у меня в котлах на исходе, время остановиться. Краславская идет за меня не по любви, а потому что ей двадцать девять лет и в ее глазах это партия если не блестящая, то, во всяком случае, вполне приличная. Но если окажется, что все это только одно звание, она тотчас порвет со мной. Узнай сегодня мамаша с дочкой, что я продал кшеменьскую дубраву, нуждаясь в деньгах, мне завтра же отставку дадут. Теперь вот и сообрази: скандал-то публичный был, при моих подчиненных. Утаить его не удастся. Допустим, продажу еще можно как-то объяснить, но оскорбление – от него никуда не денешься. Если я не потребую удовлетворения у Гонтовского, меня сочтут проходимцем, который не дорожит своей честью, а вызову (не забывай: они – ханжи, каких свет не видывал, этикет для них важнее всего) – отвернутся от меня, как от скандалиста. Если застрелю Гонтовского, порвут со мной, как с убийцей, а он меня ранит – порвут, как с недотепой, который не умеет постоять за себя. Девяносто шансов из ста, что они именно так и поступят. Теперь понятно тебе, почему я сказал, что я конченный человек и пропало все: и мой кредит, и репутация, и Кшемень?

Поланецкий махнул беспечно рукой с безучастностью мужчины к другому мужчине, до которого ему мало дела.

– Ба! – воскликнул он. – Кшемень могу и я у тебя купить. Но положение действительно пиковое. Как ты думаешь с Гонтовским поступить?

– Обиды я до сих пор никому не спускал, – ответил Машко. – Шафером моим ты отказался быть, так, может, согласишься быть секундантом?

– В этом не могу отказать.

– Благодарю. Гонтовский остановился в «Саксонии».

– Завтра я буду у него.

После ухода Машко Поланецкий собрался к Плавицким, думая провести у них остаток вечера.

«С Машко шутки плохи, – размышлял он по пути, – это может печально кончиться, но мне-то какое дело? И вообще, что они все для меня и что я им? Как, в сущности, одинок на свете человек!»

Но внезапно понял: Марыня – вот единственное небезразличное ему существо, которому и до него есть дело.

И едва он вошел в комнату, как ее рукопожатие тотчас это подтвердило.

– Я знала, что вы придете, – сказала она своим приятным, спокойным голосом. – Видите, для вас и чашка поставлена.

ГЛАВА XXIII

У Плавицких Поланецкий застал Гонтовского. Молодые люди поздоровались сдержанно, с явным недружелюбием. Гонтовский в тот день чувствовал себя особенно несчастным. Старик Плавицкий, как обычно, подтрунивал над ним – даже больше обычного: он был в отменном расположении духа, рассчитывая на изрядное наследство после кончины Плошовской. Марыню сковывало присутствие Гонтовского, и, скрывая это, она была с ним подчеркнуто любезна и приветлива. Поланецкий же делал вид, будто вовсе его не замечает. Старик Плавицкий ничего, по-видимому, не знал, и Гонтовский боялся, как бы Поланецкий не выдал его, намекнув о ссоре с Машко.

Поланецкий сразу смекнул, что заинтересованный в его молчании «увалень» попал к нему в зависимость, и, хотя ради Машко не стал рассказывать о случившемся, не мог отказать себе в удовольствии подразнить Гонтовского. И принялся впервые после смерти Литки ухаживать в этот вечер за Марыней, что явно доставляло ей удовольствие. Оставив Гонтовского наедине с Плавицким, они прохаживались по комнате и оживленно беседовали. Потом сели возле пальмы, под которой Поланецкий после похорон видел пани Эмилию, и заговорили о поступлении ее в общину сестер. А Гонтовскому казалось, что так ворковать могут разве только обрученные, и он испытывал муки, какие переживает, наверно, лишь душа – и не в чистилище даже, ибо там еще есть надежда, а когда за ней закроются врата с надписью: «*Lasciate ogni speranza*» [27 - Оставь надежду всяк сюда входящий (ит.)]. Видя их вот так, рядом, он уверился, что дубраву купил Поланецкий, желая сохранить для Марыни хоть часть Кшеменя, а значит, действовал с ее ведома и согласия. И при мысли, что он натворил, учинив Машко скандал, у него волосы вставали дыбом, и отвечал он Плавицкому невпопад, а то и вовсе нес околесицу, и тот тем откровенней потешался над «провинциалом», который последнего ума лишился в городе. Себя Плавицкий почитал уже варшавянином.

Но настал момент, когда молодые люди остались наедине: Марыня занялась в соседней комнате приготовлением чая, а Плавицкий пошел к себе за сигарой.

– Выйдемте после чая вместе, – воспользовавшись этим, обратился Поланецкий к Гонтовскому, – нам с вами надо потолковать по поводу вашего столкновения с Машко.

– Ладно, – угрюмо буркнул тот, сообразив, что Поланецкий – секундант Машко.

Пришлось выпить чаю, а потом еще довольно долго сидеть – не любивший рано ложиться Плавицкий предложил Гонтовскому сыграть партию в шахматы. Пока они играли, Поланецкий с Марыней опять сели в сторонку и повели оживленный разговор, причиняя этим «увальню» невероятные страдания.

– Вам, верно, приятен приезд пана Гонтовского, он напоминает Кшемень, – сказал вдруг Поланецкий.

На лице Марыни выразилось удивление оттого, что Поланецкий заговорил о Кшемене, тогда как они по молчаливому уговору должны были избегать этого предмета.

– О Кшемене я больше не вспоминаю, – помолчав, ответила она.

Но она сказала неправду: в глубине души ей было бесконечно жаль тех мест, где она выросла, жаль своих трудов и неосуществившихся надежд. Но она считала, ее обязывает забыть долг и день ото дня растущее чувство к Поланецкому.

– Кшемень, – прибавила она взволнованно, – был причиной нашей ссоры, а я хочу мира между нами, мира навсегда.

И взглянула в глаза ему с тем очаровательным кокетством, на которое легкомысленная женщина способна всегда, а порядочная – лишь когда любит.

«Какая она добрая», – подумал Поланецкий, а вслух сказал:

– У вас есть против меня неотразимое оружие. Это оружие – доброта, с ее помощью можно меня заманить хоть в ад..

– Я никуда не собираюсь вас заманивать, – сказала она.

И, словно в подтверждение, засмеялась, качая своей красивой темноволосой головой, а Поланецкий, глядя на ее лицо и чуть великоватый улыбающийся рот, думал: «Люблю я ее или нет, но притягивает она меня, как магнит».

И никогда прежде – даже когда он не сомневался еще в своем чувстве, стараясь его побороть, – она не нравилась ему так и не вызвала такой симпатии.

Время было, однако, уже позднее, и, попрощавшись, они с Гонтовским вышли на улицу.

Поланецкий, не очень умевший сдерживаться, вдруг остановился и спросил злосчастного «увальня» почти вызывающе:

– Вы знали, что кшеменьскую дубраву купил я?

– Знал, – отвечал Гонтовский, – ваш агент, как его... который говорит, что татарин родом, заезжал ко мне в Ялбжиков и сказал, что вы.

– Почему же вы не мне скандал закатили, а Машко?

– Не устраивайте мне допрос, я прокурорского тона не люблю. Поскандалили мы с этим господином по той простой причине, что вы Плавицким ничего не должны, а он ежегодно должен им выплачивать обещанную сумму, и, если разорит Кшемень, с него взятки гладки. Вот вам ответ на вопрос, почему я с ним побранился.

Поланецкий не мог не признать, что ответ не лишен смысла, и решил подойти с другого конца.

– Пан Машко просил меня быть его секундантом, – начал он, – вот почему я в это вмешиваюсь. Но как секундант я с вами объяснюсь завтра, сегодня же как лицо частное и родственник Плавицких, хотя и дальний, хочу вам только заявить: вы оказали очень плохую услугу пану Плавицкому и, если они останутся с дочерью без куска хлеба, виноваты в этом будете вы. Да, только вы!

Гонтовский вытаращил глаза.

– Без куска хлеба?.. Я?..

– Да, вы, – повторил Поланецкий. – Послушайте-ка, что я вам скажу. Обстоятельства так складываются, что дуэль, независимо от исхода, может иметь роковые последствия для Плавицких. Вы их форменным образом разорите, лишив средств к существованию, можете мне поверить.

Если Гонтовский и впрямь не любил прокурорского тона, сейчас ему представлялась возможность это доказать. Но он совершенно растерялся и стоял, испуганно разинув рот, не в силах произнести ни слова.

– Каким образом? Почему? – помолчав, выдавил он. – Уверяю вас, до этого не дойдет, даже если мне Ялбжиков придется продать...

– Пан Гонтовский, – перебил Поланецкий, – к чему этот разговор! Я с детства знаю те места. Ну что такое Ялбжиков? Какой от него доход?

Поланецкий попал в самую точку. Ялбжиков был маленьким именищем в сто тридцать пять десятин; кроме того, вместе с именем Гонтовский унаследовал, как водится, кучу долгов, и слова Поланецкого окончательно его сразили.

Но тут в голове у него мелькнуло: а что, если это все не так, мало ли чего наговорит Поланецкий, и он ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку.

– Что-то я вас не понимаю, – сказал он. – Бог свидетель, скорее я сам погибну, чем Плавицких погублю, и да будет вам известно, что этому господину Машко я с наслаждением шею бы свернул, но если надо, черт с ним, ради Плавицких я даже готов отступить. Но после инцидента с Машко я сейчас же к пану Ямишу пошел – он в Варшаву на выборы приехал – и все ему выложил. Он сказал, что я выкинул глупость, и отругал меня – что правда, то правда! И будь во мне дело, я рукой бы махнул: что там моя шкура, но коли речь о Плавицких, я уж поступлю, как пан Ямиш скажет, – и будь что будет! Пан Ямиш там же остановился, в гостинице «Саксония».

На том они и расстались, и Гонтовский побрел в гостиницу, кляня на чем свет стоит и Машко, и себя, и Поланецкого. Он догадывался, что Поланецкий не привирает, произошла непоправимая беда: он причинил вред панне Марии, ради которой жизни бы не пожалел. Если до сих пор у него оставалась некоторая надежда, теперь все кончено: Плавицкий откажет ему от дома; панна Мария выйдет за Поланецкого – разве что сам он не согласится. Но кто же не согласится взять ее в жены? И бедняга понял, что, придись ей выбирать, он оказался бы на последнем месте среди претендентов. «Да и что у меня есть! – рассуждал он сам с собой. – Паршивый Ялбжиков, и ничего больше. Ни ума, ни денег. У других хоть знания, а я и не знаю ничего! Другие что-то из себя представляют, а я ровно ничего. Поланецкий и богат, и образован, а что я люблю ее больше, какой от этого прок? Если вместо помощи я, болван, еще ей и навредил...»

Поланецкий на обратном пути примерно то же думал о Гонтовском, но ни капельки ему не сочувствовал. Дома он застал Машко; тот ждал его уже целый час и, едва он вошел, объявил:

– Вторым секундантом будет Кресовский.

Поланецкий поморщился недовольно.

– Видел я Гонтовского, – сказал он.

– Ну и что?

– Дурак он.

– В этом я не сомневаюсь. Но ты с ним переговорил от моего имени?

– От твоего – нет. Как родственник Плавицкого сказал ему, что он ему оказал медвежью услугу.

– И объяснений не потребовал?

– Нет. Слушай, Машко, ведь ты прежде всего удовлетворение хочешь получить, не так ли? Мне тоже совсем не требуется, чтобы один из вас продырявил башку другому. После всего услышанного он согласился на любые твои условия. К счастью, за советом Гонтовский обратился к Ямишу, а это человек спокойный и благоразумный, который понимает, что поступил он глупо, и уже его отчитал.

– Ладно, – сказал Машко, – дай мне перо и бумагу.

– Возьми на столе.

Машко присел и стал писать. Кончив, он протянул исписанную четвертушку Поланецкому.

Тот прочел:

«Сим заявляю, что набросился на пана Машко с оскорблениями в нетрезвом виде и не соображая, что говорю. Сегодня придя в себя, в присутствии свидетелей, моих и пана Машко, а также бывших при том лиц, признаю, что поступил необдуманно и по-хамски. Полагаясь на доброту и великодушие пана Машко, с глубоким сожалением и смирением прошу у него прощения и публично подтверждаю, что его поведение не подлежит обсуждению моему и лиц, мне подобных».

– Пусть прочтет это вслух и распишется, – сказал Машко.

– Но ведь это же чертовски жестоко! Кто на это пойдет?

– Ты согласен, что этот дурень вел себя со мной возмутительно?

– Согласен.

– И понимаешь, какие последствия может иметь для меня этот скандал?

– Это еще неизвестно.

– А мне вот известно. Во всяком случае, скажу тебе одно: они жалеют уже, что связали себя словом, и под любым благовидным предлогом порвут со мной. Это как пить дать. Я пропал, окончательно и бесповоротно.

– Да брось ты!

– Нет, ты понимаешь: нужно же сорвать на ком-то досаду, и Гонтовский поплатится у меня так или иначе.

Поланецкий пожал плечами.

– Что ж, и мне тоже не с чего ему сочувствовать. Будь по-твоему.

– Кресовский будет у тебя завтра в девять утра.

– Хорошо.

– Ну, до свидания. Да, увидишь Плавицкого, передай: в Риме скончалась его родственница, некто Плошовская, – он ведь на наследство рассчитывает. Завещание ее здесь хранится, у нотариуса Подвойного, и завтра будет вскрыто.

– Плавицкий знает уже, она пять дней как умерла.

Оставшись один, Поланецкий задумался: а как же взыскать долг с Машко, если он обанкротится, и встревожился, не видя никакого способа. Однако сообразил, что долг этот ипотечный и будет числиться по закладной, держателем которой он так и так останется. Утешение, правда, слабое: с имения, как и с Машко, ничего не получишь; но ничего не поделаешь, приходится довольствоваться этим.

Потом в голову пришло другое. Подумалось о Литке, пани Эмилии, Марыне, и поразила разница между миром женским, миром чувств, главная пружина которого – любовь и счастье ближних, и миром мужчин, полным соперничества, борьбы, раздоров, ссор, дуэлей, стремления к наживе – всего, что опустошает душу. И его осенило, как прежде: если возможны вообще на этом свете покой, счастье и умиротворение, то лишь с любящей женщиной. Это ощущение настолько не вязалось с его умонастроением последних дней, что он растерялся. Но, продолжая сравнивать два эти мира, не мог не признать, что мир женский, мир любящий, имеет свои преимущества и право на существование.

И будь он более сведущ в Священном писании, ему, несомненно, вспомнились бы слова: «Мария избрала благую часть».

ГЛАВА XXIV

Кресовский на следующее утро опоздал почти на целый час. Он был, что называется, небокопитель, то есть лицо без определенных занятий. Зато происходил из старинного рода и промотал довольно большое состояние. То и другое вполне оправдало его в глазах всех, позволяя безбедно существовать, всюду бывать и слыть порядочным человеком. Каким образом два вышеозначенных отличия делают это возможным – тайна больших городов. Но мало того: кроме признанного и прочного положения в обществе, считалось, что во всех щекотливых делах надлежит обращаться к нему. Кресовский неизменно оказывался арбитром на судах чести, секундантом на дуэлях. Финансовые тузы охотно приглашали его на званые обеды, на свадьбы, крестины и прочие торжества, и его благородная лысина и истинно польская физиономия служили достойным украшением стола.

По сути же это был человек глубоко разочарованный, вдобавок страдавший чахоткой, а потому желчный и раздражительный, но не лишенный чувства юмора, которое позволяло ему подмечать смешное даже в мелочах, чем он немного напоминал Букацкого. Трунил он и над собственной ворчливостью, не мешая и другим

проезжаться на этот счет, но в меру. Если же кто забывался, то, выпятив грудь, напускался на шутника, так что с ним предпочитали не связываться. По слухам, он не раз сохранял присутствие духа, когда иные терялись; словом, умел «быть на высоте». И, помимо собственной шляхетской особы, на все и вся смотрел с этого высока, не исключая времени, отчего всегда и везде опаздывал.

Но Поланецкому Кресовский, поздоровавшись, почел необходимым объяснить причину своего опоздания.

– Вы не замечали, – сказал он, – когда очень спешишь и ни в коем случае нельзя опаздывать, вещи, самые нужные, как нарочно, все куда-то деваются, как сквозь землю проваливаются. Камердинер за шляпой – шляпы нет как нет, калош тоже нет, портмоне тоже обязательно куда-то запропаستится. И так всегда. Пари держу, что всегда.

– Да, бывает, – отвечал Поланецкий.

– Я даже придумал способ, как с этим бороться. Пропало что-нибудь – я сяду и скажу себе вслух с улыбкой: «Люблю вещи терять; ищешь – сразу оживляешься, двигаешься: и время быстрее проходит, и для здоровья полезно; хорошо». И что же вы думаете? Пропажа тотчас находится.

– Стоит, пожалуй, запатентовать такое изобретение, – заметил Поланецкий. – Давайте, однако, поговорим о деле Машко.

– Придется к пану Ямишу идти. Машко прислал мне письмецо для передачи Гонтовскому. И ни слова не хочет менять, а в таком виде оно абсолютно неприемлемо, слишком резкое, Гонтовский не подпишет... Так что дуэли не избежать, другого выхода я не вижу.

– Гонтовский целиком положился на пана Ямиша и все сделает, как он скажет. А Ямиш – человек мягкий и хворый, не будет горячиться, да и сам не одобряет Гонтовского, может, он даже и примет условия Машко, как знать.

– Ямиш – известный тюфяк! – бросил Кресовский. – Но пойдете, уже поздно.

Они вышли, и несколько минут спустя сани их остановились у гостиницы «Саксония». Ямиш их поджидал, но принял в халате по причине нездоровья. Кресовский, взглянув на его интеллигентное, но болезненно-одутловатое лицо, подумал: «Этот на любые уступки пойдет».

– Садитесь, господа, – говорил между тем Ямиш. – Я здесь всего три дня, да и чувствую себя неважно, но рад буду, если удастся уладить недоразумение. Я уже задал этому забияке головомойку, можете мне поверить. – И, передернув плечом, спросил у Поланецкого: – А что у Плавицких слышно? Я у них еще не был и по своей любимице, Марыне, скучаю...

– Панна Мария здорова, – отвечал Поланецкий.

– А старик?

– Его дальняя родственница умерла несколько дней назад, очень богатая, он наследства ждет. Вчера мне об этом говорил. Но я слышал, что она все на благотворительные цели завещала... Завещание сегодня или завтра будет вскрыто.

– Надоумил бы ее господь бог Марыне оставить что-нибудь... Но давайте ближе к делу. Наш долг, господа, сделать все возможное, чтобы кончилось оно полюбовно, думаю, объяснять вам это нет нужды.

Кресовский поклонился. Надоели ему подобные вступительные речи, он слышал их бог весть сколько раз.

– Сознаем, сознаем лежащую на нас ответственность! – перебил он.

– Не сомневаюсь, – добродушно ответил Ямиш. – И сам признаю: Гонтовский ни малейшего права не имел так поступать и заслуживает наказания, поэтому я готов его склонить к уступкам, и весьма значительным, дабы пан Машко получил желаемую сатисфакцию.

Кресовский достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул Ямишу с усмешкой.

– Пан Машко ничего больше не желает, кроме того, чтобы пан Гонтовский огласил этот документик при свидетелях с обеих сторон и очевидцах скандала и затем поставил под ним свою досточтимую подпись.

Отыскав среди бумаг очки и нацепив их на нос, Ямиш углубился в чтение. Лицо его постепенно покраснело, потом побледнело, он засопел. Кресовский и Поланецкий с трудом верили своим глазам: перед ними был совсем не тот человек, который за минуту перед тем готов был пойти на любые уступки.

– Господа, – произнес он прерывающимся голосом, – пан Гонтовский поступил как сумасброд и забияка... но пан Гонтовский – шляхтич. Прошу передать это пану Машко от его имени.

И, разорвав бумажку на четыре части, кинул ее с этими словами на пол.

Дело принимало непредвиденный оборот. Кресовский уже было подумал, будто поведение Ямиша оскорбительно для него как секунданта, и мгновенно застыл и оскалился, точно злая собака, но Поланецкому, который хорошо относился к Ямишу, поступок его понравился.

– Господин советник, – сказал он веско, – пану Машко нанесено оскорбление столь тяжкое, что меньшим он не удовлетворится. Но мы с паном Кресовским ожидали от вас такого ответа, который только увеличивает наше уважение к вам.

Ямиш сел, тяжело дыша, – он страдал астмой.

– Я мог бы поручиться за Гонтовского, что он готов извиниться перед паном Машко, – сказал он, немного отдышавшись, – но не в таких выражениях. Но не будем терять время понапрасну. Я вижу, тут возможно единственное удовлетворение: с оружием в руках. Сейчас придет Вильковский, другой секундонт Гонтовского; если можете его подождать, мы обсудим условия дуэли.

– Вот это называется брать быка за рога, – заметил Кресовский, которого подкупила прямота Ямиша.

– Только по необходимости, печальной необходимости, – отозвался Ямиш.

Поланецкий глянул на часы.

– В одиннадцать мне надо быть в конторе, – сказал он, – если изволите, пан Ямиш, я забегу к вам около часа посмотреть и подписать условия дуэли.

– Хорошо. Заверяю вас: я понимаю, что эти условия не должны вызывать насмешливую улыбку, но, с другой стороны, надеюсь, что ни пан Кресовский, ни вы, пан Поланецкий, не станете настаивать на противоположной крайности.

– Нет. Можете быть спокойны. Я не собираюсь требовать крови во что бы то ни стало, – сказал Поланецкий.

С тем он ушел; в конторе ему действительно предстояло лично уладить несколько важных дел, так как Бигель все еще отсутствовал. В полдень он подписал условия дуэли: они были суровы, но не чрезмерно, и отправился в ресторацию, надеясь встретить Машко.

Но Машко был, видимо, у Краславских, а Поланецкий, едва вошел, наткнулся на Плавицкого; как всегда, свежий, молодежавый, безукоризненно одетый и побритый, он был, однако, мрачнее тучи.

– Что вы тут делаете, дорогой дядюшка? – спросил Поланецкий.

– Я не обедаю дома, когда чем-нибудь расстроен, чтобы не огорчать Марыню, – отвечал старик. – Зайду куда-нибудь, съем крылышко куриное, проглочу ложку компота – мне и довольно. Присаживайся, если у тебя нет компании повеселее.

– Что-нибудь случилось? – спросил Поланецкий.

– Старые традиции гибнут, только и всего!

– Ну, эта беда не одного вас касается.

Плавицкий хмуро и вместе многозначительно взглянул на него.

– Сегодня вскрыли завещание, – сказал он.

– Ну, и что?

– Вот именно, «что»? Вся Варшава твердит небось теперь: «Даже дальнюю родню не забыла!» Покорно благодарю за такую память! В завещании есть запись в пользу Марыни, но какая? Четыреста рублей пожизненно ей отказала. И это называется миллионерша! Такую сумму прислуге можно завещать, но не родственнице.

– А вам что, дядюшка?

– Мне – ничего. Управляющему пятнадцать тысяч, а обо мне ни слова.

– Вот те на!

– Гибнут добрые старые традиции! Сколько, бывало, людей богатело вдруг благодаря наследству. А почему? Потому что в семье мир да лад был.

– И сейчас, случается, тысячи в наследство получают, я знаю таких.

– Да, есть такие, есть! И немало даже; но я не из их числа. – И, подперев голову рукой, Плавицкий пожаловался, точно произнося горестный монолог: – Вечно кто-то, кому-то, что-то, где-то... – И со вздохом прибавил: – А мне никто, нигде, никогда, ничего...

Поланецкому пришла на ум шальная мысль, и он, не чая всей ее жестокости, ляпнул ему в утешение:

– Э, да ведь она в Риме умерла, а это завещание давно составлено, поговаривают, будто есть и другое. Вот погодите, придет из Рима поправочка, и проснетесь в одно прекрасное утро миллионером.

– Не придет, – возразил старик.

Но слова Поланецкого произвели на него впечатление: он принялся на него поглядывать и ерзать, как на иголках.

– А ты, значит, допускаешь?.. – не выдержав, спросил он наконец.

– Не вижу в этом ничего невозможного, – с напускной серьезностью ответил Поланецкий.

– Будь на то воля провидения...

– И это не исключено.

Плавицкий покосился на зал: он был пуст. Тогда, неожиданно отодвинувшись от стола, он ткнул себя пальцем в жилетку:

– Поди сюда, дай я тебя обниму, мой мальчик...

Поланецкий склонился к нему на грудь, и старик дважды поцеловал его в лоб, приговаривая растроганно:

– Спасибо, что ободрил и утешил... Конечно, на все воля божья, но спасибо на добром слове. Теперь я могу тебе признаться, что написал ей. Ничего такого, просто, чтобы напомнить ей о нас. Спросил, когда истекает аренда на один ее фольварк. Брать его в аренду я, понятно, не собирался... а так, намек... Дай тебе бог здоровья, утешил ты меня... Завещание, наверно, написано до моего письма, потом она поехала в Рим, по дороге, может быть, думала о письме, о нас с Марыней... Так ты полагаешь, что возможно?.. Дай тебе бог!

Он совершенно ожил и, причмокнув, хлопнул Поланецкого по колену.

– А знаешь что, мой мальчик? Не распить ли нам по этому случаю бутылочку «Мутон-Ротшильда»? Вдруг твое предсказание сбудется.

– Не могу, ей-богу, не могу, – стал отказываться Поланецкий, уже стыдясь немного своей выходки, – и не уговаривайте даже.

– Нет, ты должен.

- Честное слово, не могу. У меня дел полно, для этого нужна ясная голова.
- Вот упрямый осел! Ну, я один выпью полбутылочки – за исполнение желаний.

Он велел подать вина и поинтересовался:

- А что за дела?
- Да разные. После обеда к Васковскому наведаться надо.
- Что это за личность, кстати?
- Да, вот и он как раз наследство получил! – воскликнул Поланецкий. – После брата, горнозаводчика, и довольно значительное. Но он бедным деньги раздает.
- Бедным раздает, а сам в дорогих ресторациях обедает: вот так филантроп! Будь у меня что раздавать, я себе не оставил бы ни копейки.
- Он долго хворал, и доктор велел ему хорошо питаться. Но он заказывает только, что подешевле. Живет в тесной каморке и птиц разводит, а в двух больших комнатах у него знаете кто ночует? Беспризорные ребятишки, которых он с улицы приводит.
- Я так и думал, что у него тут... – И Плавицкий постучал себя пальцем по лбу.

Васковского Поланецкий не застал и около пяти часов, побывав перед тем у Машко, зашел к Марыне – его немного мучила совесть из-за галиматши, которую он наплел Плавицкому. «Старик дорогое вино теперь будет пить в расчете на наследство, – думал он, – а они и так, по-моему, живут не по средствам. Нельзя слишком затягивать шутку».

Марыня вышла к нему в шляпе. Она собралась к Бигелям, но пригласила его войти. Он не отказался, так как все равно не собирался засиживаться.

- Поздравляю с наследством, – сказал он.
- И я тоже рада, – ответила она, – ведь это деньги верные, что в нашем положении очень важно. Да мне и вообще хочется богатой быть.
- Это зачем?
- Помните, вы сказали как-то, что хотели бы иметь капитал, чтобы основать фабрику, а не заниматься коммерцией? Мне это запомнилось. Ну, а мечтать всякий волен, вот и я мечтаю: иметь бы много-много денег.

Но, спохватясь, не сказала ли лишнего и не выдала ли себя, она опустила глаза и стала разглаживать юбку на коленях.

- А я, знаете, пришел просить прощения у вас, – сказал Поланецкий. – Сегодня за обедом я наговорил каких-то глупостей вашему отцу насчет того, что покойница могла в его пользу завещание изменить. А он, представьте, поверил. Мне бы не хотелось, чтобы он напрасно обольщался, позвольте, я пойду к нему и постараюсь разубедить.

Марыня рассмеялась в ответ.

– Я уже пробовала, а он знаете как меня разругал! Вот видите, что вы натворили. Вам и впрямь есть за что прощения просить.

– Так простите же меня!

Он взял ее руку и стал покрывать поцелуями, а она, не отнимая ее, шутливо и растроганно повторяла:

– Ах, какой вы нехороший, пан Стах! Какой нехороший!

ГЛАВА XXV

Кресовский с доктором и футляром с пистолетами ехали в одной пролетке, Машко с Поланецким – в другой; обе направлялись к Белянам. День был ясный, морозный, розоватая дымка застилала горизонт. Под колесами повизгивал снег, от заиндевевших лошадей шел пар; деревья покрывала густая изморозь.

– Морозец знатный, – заметил Машко. – Палец к курку примерзнет.

– Да, без шубы неуютно будет.

– Вот и не возитесь, избавьте от канители. Скажи Кресовскому, сделай милость, пусть сразу приступает к делу. Пока доедем, – прибавил Машко, протирая запотевшие очки, – солнце подыметя, глаза будет слепить.

– Ничего, скоро все будет позади, – отозвался Поланецкий. – Главное, Кресовский вовремя явился, а они привыкли вставать рано, их ждать долго не придется.

– Знаешь, о чем я думаю сейчас? – сказал Машко. – Есть в жизни одна вещь, о которой всегда почему-то забывают, строя планы или затевая что-нибудь, а ведь из-за нее все может рухнуть, пойти прахом, развалиться. Это – глупость человеческая. Допустим, я вдесятеро умней и заботы у меня тоже посерьезней, что я не Машко, а крупный политический деятель, ну, Бисмарк или Кавур какой-нибудь, которому средства нужны для осуществления своих целей и который каждый свой шаг поэтому рассчитывает, каждое слово взвешивает... И вот является какой-то кретин – предвидеть этого не дано, будь ты хоть семи пядей во лбу, – и все летит к черту. В этом есть что-то фатальное! Застрелит он меня или нет – не то важно, а что из-за скотины этой все мои усилия пойдут насмарку!

– Так разве можно это предвидеть? Все равно как если б кирпич на голову упал.

– Вот это меня и бесит!

– А насчет застрелит, нечего об этом думать.

Машко овладел собой и снова стал протирать очки.

– Милый мой, как будто я не вижу, что ты всю дорогу за мной наблюдаешь и подбодрить меня стараешься. Что ж, это вполне естественно. И я со своей стороны хочу тебя заверить: краснеть вам за меня не придется. Конечно, я волнуюсь, вот тут, под ложечкой, сосет, но знаешь, почему? Опасность, выстрелы – это все

пустое! Дай мне пистолет, отведи в лес – хоть полдня палить готов в этого идиота и полдня стоять под его выстрелами. Я уже раз участвовал в дуэли и знаю, что это такое. Волнуешься из-за самой комедии: приготовлений, секундентов, – от сознания, что на тебя смотрят, из боязни оплошать, осрамиться. Это как публичное выступление: самолюбие затрагивается, и ничего больше. Для нервных людей дуэль, конечно, большое испытание. Но у меня нервы крепкие. Есть у меня и еще преимущество: я привык на людях бывать, не то что он. С другой стороны, такой остолоп лишен воображения, не может себе представить, как будет выглядеть его разлагающийся труп и прочее. Но собой владеть я умею лучше... И еще одно, к слову: философия философией, но все решает характер, темперамент. Мне эта дуэль ничего не дает и ни от чего не спасает, напротив, у меня из-за нее неприятности могут быть. И все-таки я не удержался... Возненавидел этого идиота, до того он меня довел, раздавить его хочу, уничтожить – тут уж не до рассуждений... Будь уверен, стоит мне только увидеть его ослиную рожу – сразу перестану волноваться, забуду всю эту комедию, никого, кроме него, не будет для меня существовать.

– Да, это мне знакомо, – сказал Поланецкий.

Пятна на лице Машко стали сизыми от холода, что его не красило, придавая ему прямо-таки зловещий вид.

Тем временем они приехали. И почти тотчас же, скрипя по снегу, показалась пролетка с Гонтовским, Ямишем и Вильковским. Выйдя, они раскланялись с противниками и всемером, считая и доктора, направились в глубь леса, к месту, накануне выбранному Кресовским.

Извозчики поглядели вслед семерым мужчинам, чьи черные пальто резко выделялись на фоне белого снега, и перемигнулись.

– Кумекаете, чем дело пахнет? – спросил один.

– Нам, чай, не впервой! – ответил второй.

– Дураки дерутся – умный не встречай!

А те, с трудом вытаскивая из снега калоши, выдыхая целые клубы белого пара, шли по лесу к противоположной опушке. Ямиш в нарушение установленных правил приблизился по дороге к Поланецкому.

– Моим искренним желанием было, чтобы мой подопечный извинился перед паном Машко, но на таких условиях это унижительно, – сказал он.

– Я, со своей стороны, просил Машко смягчить выражения, но он уклонился...

– Так, значит, ничего другого не остается. Страшно нелепо, но другого выхода нет!

Поланецкий ничего не ответил, и некоторое время они шли молча.

– Да, – заговорил снова Ямиш. – До меня дошли слухи, будто Марыня Плавицкая получила что-то по завещанию.

– Да, хотя и немного.

– А старик?

– Злится, что не ему все состояние досталось.

– Он немножко того... – сказал Ямиш, постучав рукою в перчатке по лбу. Потом, оглядевшись, прибавил: – Что-то мы долго идем.

– Скоро будем на месте.

И они пошли дальше. Солнце уже поднялось над лесом. Деревья отбрасывали на снег голубоватые тени, но постепенно становилось все светлее. С верхушек, где гомозились вороны и галки, бесшумно осыпался сухой, мягкий, как пух, снежок, конусообразными грядками ложась вокруг стволов. Тишь и покой царили в лесу. А люди пришли нарушить их выстрелами друг в друга.

На опушке, куда они наконец вышли, было совсем светло. Краткое предисловие Ямиша о худом мире, который лучше доброй ссоры, дуэлянты выслушали, даже не опуская высоких, закрывавших уши меховых воротников; когда же Кресовский зарядил пистолеты, сразу взяли их и, сбросив шубы и подняв дула кверху, встали друг против друга.

Гонтовский тяжело дышал, лицо у него было красное, усы обмерзли. Весь вид его говорил о том, что он делает над собой невероятные усилия и, если б не выдержка и боязнь показаться смешным, не позволявшие поддаться чувству, он кинулся бы на противника и избил его рукояткой пистолета, а то и просто кулаками. Машко, который перед тем делал вид, будто не замечает Гонтовского, вперил в него взгляд, полный нескрываемой злобы, ненависти и презрения. Пятна на его щеках опять запылали. Но держался он хладнокровней Гонтовского я в своем долгополом сюртуке, в шляпе с высокой тульей, с длинными бакенбардами походил на актера, играющего роль вызванного на дуэль невозмутимого джентльмена.

«Уложит нашего увальня как собаку», – промелькнуло у Поланецкого в голове.

Команда раздалась, и два выстрела нарушили лесную тишину. Затем послышался надменный голос Машко:

– Прошу еще раз зарядить пистолеты.

У ног его на снегу расплзлось меж тем кровавое пятно.

– Вы ранены, – сказал, подбегая доктор.

– Возможно, но прошу зарядить...

Он покачнулся – пуля действительно угодила в него, зацепив коленную чашечку.

Дуэль была прервана. Один Гонтовский стоял на месте, выпучив глаза, не понимая, что произошло.

Когда раненому была оказана первая помощь, Ямиш подтолкнул Гонтовского к нему.

– Признаю, что незаслуженно оскорбил вас, и беру свои слова обратно... приношу свои извинения, – пробормотал он сбивчиво, но искренне. – Вы ранены... но я, право, этого не хотел.

Минуту спустя, когда в сопровождении Ямиша и Вильковского он покидал место дуэли, снова послышался его голос.

– Ей-богу, всему виной пистолет, я целил поверх его головы.

Машко за весь тот день не сказал больше ни слова и на вопрос врача, очень ли беспокоит рана, лишь молча покачал головой.

– Как будто и неглупый человек, – узнав о случившемся, сказал Поланецкому Бигель, который накануне с целым ворохом контрактов вернулся из Пруссии, – а тоже с придурью... С его хваткой, множеством выгодных дел этот Машко прекрасно мог бы зарабатывать, целое состояние сколотить, а вот поди ж ты! Лезет в авантюры, кредит исчерпывает без остатка, имение себе покупает, корчит важного барина, лорда английского, черт его знает кого, лишь бы самим собой не быть. Странно, а главное – ведь это очень распространено! Подумаешь иной раз: не так уж и плоха жизнь, но люди своей безалаберностью, дикими претензиями и причудами, – а у нас так их хоть отбавляй! – сами портят ее, словно нарочно. Желание больше иметь, больше значить в обществе – все это можно понять, но зачем же добиваться этого, не считаясь с реальностью! Ни ума, ни предприимчивости у Машко не отнимешь, но если его поступки взвесить, то ей-богу... – И Бигель постучал себя пальцем по лбу.

Машко меж тем, стиснув зубы, молча страдал – рана была неопасная, но очень болезненная. Вечером в присутствии Поланецкого он дважды терял сознание от боли и так ослаб, что самообладание, помогавшее ему держаться весь день, совсем оставило его.

– Ну и везет же мне! – выдавил он, полежав молча после ухода врача, сделавшего перевязку.

– Не думай сейчас об этом, – сказал Поланецкий, – а то лихорадка прикинется.

– Посрамлен, ранен, разорен – и все сразу! – продолжал Машко.

– Перестань об этом думать, слышишь?

– Ах, оставь! – опершись локтем на подушку и зашипев от боли, вскинулся Машко. – Может, и случая больше не представится с порядочным человеком поговорить. Через неделю-другую от меня шарахаться начнут, а ты – лихорадка! Самое, пожалуй, невыносимое во всей этой катастрофе, в этом полнейшем фиаско, что теперь любой кретин, любая дура будут толковать: «Так я и знал! Мы давно это предвидели!» Да, они все предвидят заранее... Особенно если это свершившийся факт. Они всегда готовы выставить попавшего в беду человека глупцом или безумцем.

Тут Поланецкому пришли на память слова Бигеля. И удивительное дело! Все дальнейшие речи Машко были как бы ответом на них.

– Думаешь, я не сознавал, что рискую, пру напролом, важничая, нос деру не по чину?.. Никто об этом не догадывался, но ты должен знать, что я-то понимал. Понимал – и говорил себе: так надо; иначе не пробьешься. И что же? Может, жизнь устроена не лучшим образом или вообще все шиворот-навыворот идет, но, если бы не этот нелепый случай, непредвиденный скандал, я бы своего добился – именно благодаря тому, что вел себя так, а не иначе... Будь я скромник, не видать бы мне панны Краславской как своих ушей... У нас непременно надо кого-то корчить из себя,

и, если все прахом пошло, не мое тщеславие тому виной, а этот вот дурак.

– Невеста же еще не отказала тебе, черт возьми!

– Ну, милый мой, ты просто женщин этих не знаешь. Они скрепя сердце на Машко помирились, потому что Машко везло... Но чуть тень одна падет на меня, мое имя, репутацию человека состоятельного, они порвут со мной самым безжалостным образом, да еще очернят, чтобы себя в глазах света обелить... Да что ты, собственно, знаешь о них? Панна Краславская Марыне не чета! – И после минутного молчания Машко продолжал слабеющим голосом: – Кто мог еще меня спасти, так это она... Ради нее нашел бы я пути побезопасней... И Кшемьень был бы спасен... Надобность отпала бы долг выплачивать ей и пенсион тестю... Выпутался бы как-нибудь. Знаешь, я ведь по уши был в нее влюблен... Сам от себя ничего подобного не ожидал. Но ей больше улыбалось на тебя дуться, чем меня любить... Теперь-то я понял. Да поздно уже...

Поланецкому неприятен был этот разговор, и он перебил Машко с некоторой даже горячностью:

– Удивительно, как это ты с твоей напористостью считаешь, что все потеряно, когда ничего еще не потеряно. Что до панны Плавицкой, ты сам сжег за собой все мосты, сделав предложение Краславской. Но в остальном дело обстоит не так уж плохо. Тебя оскорбили, да, но ты же дрался; пускай ранен, но легко и поправишься через несколько дней; и, наконец, она ведь тебе еще не отказала. И пока это доподлинно неизвестно, ты унывать не имеешь права... Просто ты нездоров, вот и оплакиваешь себя прежде времени. А я тебе вот что скажу надо им дать знать о случившемся. Хочешь, я к ним завтра зайду? Как они к этому отнесутся – их дело, но пусть лучше от очевидца узнают, чем от сплетников городских.

– Я все равно собирался ей писать, – сказал Машко после короткого раздумья, – но, если ты зайдешь, будет еще лучше. На благоприятный исход я, правда, не надеюсь, но надо сделать все от меня зависящее. Благодарю тебя. Ты сумеешь представить дело в нужном свете, в этом я не сомневаюсь. Только ни слова о денежных затруднениях!.. О дубраве скажи, что это пустяк, чистая любезность по отношению к тебе... Бесконечно тебе благодарен. Не забудь упомянуть, что Гонтовский извинился передо мной.

– А кто будет за тобой ходить?

– Мой камердинер с женой. Доктор сегодня еще раз придет вместе с фельдшером. Больно чертовски, но чувствую я себя сносно.

– Значит, до свидания.

– Спасибо. Ты...

– Спи спокойно.

Поланецкий ушел, не без раздражения думая по дороге домой: «Вот уж кому не свойственна сентиментальность, а ведь туда же: считает обязательным делать вид, что он тоже... Панна Плавицкая! Он, видите ли, ее любил... ради нее пошел бы другими путями... она бы его еще спасла... Дань романтике, причем вносимая фальшивой монетой: что же это за любовь, если месяца не прошло, как он делает предложение этой кукле – из голого расчета. Может, я просто глуп, но мне это непонятно, и в

искренность страданий, от которых с такой легкостью излечиваются, я не верю. Мучайся я неразделенной любовью, не женился бы через месяц на другой. Будь я проклят, если не так! Но в одном он прав; Марыню равнять с Краславской не приходится. Тут двух мнений быть не может. Ничего общего! Ровно ничего!..»

И это заключение было ему чрезвычайно приятно. Дома нашел он письмо из Италии от Букацкого и записку от Марыни, полную тревоги и недоумения по поводу дуэли; она просила известить ее завтра утром, как это произошло и что послужило причиной. Особенно ее беспокоило, кончилось ли дело этим, не последуют ли еще какие-нибудь неприятности.

Под впечатлением слов Машко, что Марыня Краславской не чета, он неожиданно для себя ответил ей сердечней, чем самому хотелось, и, отдав записку слуге, распорядился снести ее завтра в девять утра на квартиру Плавицких. Затем принялся за письмо Букацкого, которое с первых же строк привело его в недоумение.

«Да ниспошлет тебе Сакья-Муни блаженство nirваны, – писал Букацкий. – И передай, пожалуйста, Капланеру, чтобы не высылал мне трех тысяч рублей во Флоренцию, как было условлено, а придержал их у себя впредь до моего распоряжения. Подумываю, не стать ли вегетарианцем (видишь, какие глубокие мысли меня занимают?). Если раздумья эти меня не слишком утомят и я приму такое решение, а оно, в свой черед, не окажется для меня непосильным, то перестану быть животным плотоядным и значительно сокращу расходы на прожиток. Вот в чем все дело! Тебя же прошу поменьше волноваться, жизнь не стоит того.

Знаешь, я, кажется, понял, почему славяне синтез предпочитают анализу. Они лентяи, анализ же требует умственного напряжения. Размышлять обо всем и ни о чем можно и после сытного обеда с сигарой во рту. Впрочем, не спорю: бездельником быть приятно. Во Флоренции, особенно на Арно, совсем тепло. Я прогуливаюсь себе на солнышке и предаюсь размышлениям о флорентийской школе. Познакомился я тут с одним способным художником-акварелистом, который живет продажей своих работ; он, кстати, тоже славянин и утверждает: искусство – величайшее свинство, порожденное мещанским влечением к роскоши и избытком денег у одних за счет других. Словом, послушать его, так искусство – это подлость и обман. Напустился на меня, как на собаку, твердя, что искусство и буддизм нельзя совместить, это верх непоследовательности, но я на него набросился с не меньшей яростью, возражая, что предпочитать последовательность непоследовательности – верх обскурантизма и гнусной мещанской ограниченности. Он до того был ошарашен, что лишился дара речи. Уговариваю его повеситься, но он не хочет. Скажи, а ты уверен, что Земля вращается вокруг Солнца, не выдумка ли это? Впрочем, мне решительно все равно! Очень жаль было ту девочку, которая умерла. Я и здесь о ней часто думаю. Как нелепо! А что пани Эмилия подельвает? Каждому предопределено свое, ей – быть ангелом доброты и терпения. Но скажи: какой прок ей в этой добродетели? Без этого жилось бы проще и веселее. Тебя же заклинаю: не женись! Женишься – сын родится, будешь работать, чтобы оставить ему состояние, оставишь – он вырастет похожим на меня, а я, хотя малый неплохой, но сильно сомневаюсь, нужен ли кому-нибудь. Будь здоров, о ты, воплощенная энергия, душа и компаньон посреднической фирмы, будь здоров, брэнная телесная оболочка, заядлый труженик, неумный накопитель, будущий отец семейства, погрязший в хлопотах поилец и кормилец! Обними Васковското за меня. Он тоже созерцатель. Да просветит тебя Сакья-Муни, дабы ты познал: на солнце теплей, чем в тени, а лежать лучше, чем

СТОЯТЬ.

Твой Б у к а ц к и й».

«Вот так каша! – подумал Поланецкий. – Сплошные выверты, самообман, дошедший до крайности, ставший привычкой, второй натурой. А уж коли так, прощай, разум, воля к жизни! Душа начнет разлагаться, как труп. И тогда очертя голову только в омут, наподобие хоть Машко, хоть Букацкого. В обоих случаях пойдешь ко дну. Но черт возьми! Неужели же нельзя здоровую и нормальную жизнь вести, если только ты не совсем безголовый. Вот Бигель: живет не тужит. Жена любимая, ребятишки, в которых он души не чает; работает, правда, как вол, но и обществом не пренебрегает – и своей виолончелью: играет на ней при луне, Подняв очи горе. Не скажешь ведь про него, что он завзятый материалист. Нет! В нем как-то уживается и то, и другое. И ему хорошо!»

Расхаживая по комнате, Поланецкий время от времени бросал взгляд на портрет, с которого смотрело на него улыбающееся личико Литки в обрамлении березок. И все сильнее овладевала им потребность произвести расчет с самим собой. И он как «коммерсант» стал сличать свой кредит и дебет, что оказалось довольно просто. В графе «приход» когда-то на главном месте значилась привязанность к Литке. И в свое время она была ему так дорога, что, будь ему еще год назад сказано: «Возьми ее и считай своей дочерью», он без колебаний сделал бы это, и у него явилась бы в жизни цель. Теперь это отошло в область воспоминаний, переместясь из графы «счастье» в графу «горе». Итак, что же в итоге? Во-первых, жизнь как таковая, во-вторых, интересы духовные, которые ее как-никак скрашивают, затем надежды на будущее, материальный достаток и, наконец, их торговый дом. Так-то оно так, но чего-то во всем этом недоставало. Успехи их фирмы радовали, но род деятельности сам по себе особой радости не доставлял. Напротив, конторская работа не удовлетворяла, не давая развернуться, надоедала и раздражала. С другой стороны, духовные интересы, работа ума, книги – все это разнообразит жизнь, но не может заполнить ее целиком. «Букацкий, – продолжал Поланецкий рассуждать сам с собой, – ушел в это с головой, только этим и живет, и в результате он конченный человек, опустошенный и больной. Любоваться цветами приятно, но только их ароматом дышать – вредно и опасно». И действительно, не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить, как много вокруг людей полуневменяемых, чьи души отравлены духовным морфием дилетантизма.

Дилетантизм нанес вред и ему – из-за него он стал скептиком. От опасного недуга спасли его только здоровый от природы организм, дававший естественное направление избытку энергии, и работа. Но что дальше? И может ли вообще так продолжаться? На этот вопрос он со всей решительностью ответил себе: нет! Если дела их торгового дома не могут заполнить жизнь, а заполнять ее дилетантством опасно, надо найти для нее другое содержание, иные обязанности, открыть для себя иной мир, новые горизонты. И путь к этому один: женитьба.

Раньше при слове «женитьба», «жена» в его воображении возникало некое безликое и безымянное существо, воплощающее все мыслимые физические и нравственные достоинства. Теперь оно обрело реальные приметы. У него были ясные голубые глаза, темные волосы, крупный рот, и звалось оно Марыня Плавницкая. Кроме нее, никто ему не был нужен, и представлял он ее себе настолько живо, что сердце начинало биться сильнее. Вместе с тем он прекрасно сознавал, что его чувство лишилось некой мечтательной надежды, жажды обладания и заодно боязни утраты – той робости, трепета, обожания, которые побуждают пасть к ногам любимой, когда чувственная любовь отступает перед поклонением и в отношении к женщине

закрадывается нечто мистическое: мужчина ощущает себя возлюбленным и одновременно покорным ее рабом. Все это осталось позади. Теперь мысли его о Марыне были трезвы, даже дерзки. Он знал, что может прийти и взять ее, и если сделает это, так по двум причинам: во-первых, его влечет к ней, как ни к одной другой, а во-вторых, рассудок подсказывает жениться, причем именно на ней.

«Потому что на нее всецело можно положиться, – думал он. – Душа у нее не опустошена, не очерствела. Чувства не убиты эгоизмом, и с собой носить она не станет. Это сама порядочность, сам долг во плоти – скорее уж о том придется заботиться, чтобы она себя не слишком забывала. Если я и разумом за нее, к чему искать другую, это было бы глупо».

И не бесчестно ли с его стороны бросить теперь Марыню» стал он спрашивать себя. Теперь, когда Литка их соединила. При одной мысли о том, чтобы пойти против ее воли, пренебречь жертвой столь дорогого ему существа, сердце у него падало. Но разве он уже не исполнял все-таки ее воли? В противном случае надо было бы вести себя совсем иначе. Не являться после смерти Литки к ним в дом, не встречаться с Марыней, руки ей не целовать, не поддаваться чувству и не заходить так далеко, что отступить теперь – значит оскорбить ее, предстать перед ней в постыдной роли человека, который сам не знает, чего хочет. Не слеп ведь он, чтобы не видеть: Марыня уже считает себя его невестой, и если не обеспокоена до сих пор его молчанием, так единственно потому, что приписывает это не оставившей еще их обоих скорби по Литке.

«Итак, все доводы рассудка в пользу женитьбы; инстинкт самосохранения, влечение, наконец, чувство порядочности. Так, стало быть?.. Так, стало быть, я бы последним олухом и прохвостом был, начни я опять колебаться, уходить от решения. Нет, нет, это дело решенное!»

Поланецкий вздохнул и стал прохаживаться. Под лампой лежало письмо Букацкого. Он взял его и наугад прочел:

«Тебя же заклинаю: не женись! Женишься – сын родится, будешь работать, чтобы оставить ему состояние, оставишь – он вырастет похожим на меня...»

– Так знай же, вертопрах: я женюсь! – сказал с вызовом Поланецкий. – Женюсь на Марыне Плавицкой, слышишь? И состояние наживу, а будет сын – постараюсь, чтобы не вырос декадентом, понял?

Он был доволен собой.

Тут взгляд его упал на портрет Литки, и им овладело волнение. Печаль и любовь к ней ожили в его сердце с новой силой. И он спросил вслух у девочки, как советуются с дорогими покойниками в важных случаях жизни:

– А ты доволен, котеночек?

Личико ее в овале березок, нарисованных Марыней, улыбалось ему с портрета, словно подтверждая: «Да, да, пан Стах!»

Глаза у Поланецкого наполнились слезами.

Перед тем как лечь, он взял у слуги записку, которую велел отнести утром Марыне, и написал другую, еще сердечнее:

«Дорогая пани! Гонтовский по нелепейшему поводу учинил Машко скандал, из-за чего и вышла дуэль. Машко легко ранен. Противник там же, на месте, принес ему извинения. Никаких последствий иметь это не будет, если не считать того, что я еще раз убедился, какая вы добрая, отзывчивая, хорошая, и завтра с вашего позволения приду вас поблагодарить и поцеловать милые ваши, дорогие ручки. Буду после полудня – утром, прямо из конторы, придется зайти к Краславским, потом забегу к Васковскому попрощаться, хотя если б мог, предпочел бы начать день совсем, совсем не с них.

П о л а н е ц к и й».

Кончив, он глянул на часы и, хотя было уже одиннадцать, велел сегодня же отнести записку.

– Войди через кухню, – сказал он слуге, – и если барышня уже легла, оставь там.

И, отослав его, обратился в воображении к «барышне»: «Если ты не поймешь, зачем я завтра приду, значит, ты очень недогадлива».

ГЛАВА XXVI

Ранний визит Поланецкого очень удивил Краславскую, однако она приняла его, полагая, что он к ней неспроста. Поланецкий выложил все как есть, умолчав только о том, что могло повредить Машко: об угрожающем состоянии его дел.

Пожилая дама смотрела на него своими неподвижными, будто высеченными из камня, тускло-зелеными глазами, и ни один мускул в течение разговора не дрогнул на ее лице.

– Во всем этом непонятно мне только одно, – выслушав сказала она, – зачем понадобилось продавать дубраву? Ведь лес – это украшение усадьбы.

– Лес там – поодаль от дома, – ответил Поланецкий, – и затеняет поле, так что оно пустоует, а Машко – человек практичный. Говоря по правде, мы с ним старые знакомцы, и сделал он это по дружбе. Я, как вы знаете, занимаюсь перекупкой, и мне понадобился дубовый лес, вот он и продал мне, сколько мог.

– Тогда почему же этот молодой человек...

– Вы знакомы с паном Ямишем? – перебил Поланецкий. – Он по соседству с Кшеменем и Ялбжиковом живет, спросите у него, он вам сам скажет, что этот молодой человек немножко того, все в округе это знают.

– В таком случае не следовало бы пану Машко его вызывать.

– Видите ли, – теряя терпение, возразил Поланецкий, – у нас, у мужчин, несколько иные понятия на этот счет.

– Разрешите, я с дочкой поговорю.

«Самый подходящий момент встать и откланяться», – подумал Поланецкий; однако он пришел, так сказать, на разведку и должен был для Машко что-то разузнать.

– Я как раз иду к пану Машко, и если вам угодно что-нибудь передать... – предложил он.

– Одну минутку, – сказала Краславская и скрылась за дверью.

Поланецкий остался один и ждал так долго, что стал уже терять терпение. Наконец мать вышла к нему вместе с дочкой. В белой шемизетке с матросским воротником, небрежно причесанная, барышня показалась Поланецкому довольно миловидной, несмотря на покрасневшие глаза и прыщики на лбу, – правда, старательно запудренные. Наверно, она недавно встала и не успела еще как следует проснуться; томный вид и милый утренний туалет придавали ей некоторое очарование. Но анемичное лицо не изображало никаких чувств.

Раскланявшись с Поланецким, она сказала своим холодным, невыразительным голосом:

– Передайте, пожалуйста, пану Машко, что я очень огорчена и встревожена. Рана действительно неопасная?

– Абсолютно.

– Я упростила маму поухаживать за паном Машко; мы поедем вместе, я подожду в экипаже, чтобы узнать, как его здоровье. А потом заеду за ней – и буду отвозить ее каждый день, пока пан Машко не поправится. Мама так добра, что согласилась, – передайте пану Машко.

Чуть приметный румянец окрасил ее бледные щеки и тотчас пропал. Поланецкий, который не ожидал от нее ничего подобного, был очень удивлен, – в эту минуту она показалась ему очень привлекательной.

«Однако женщины лучше, чем мы подчас о них думаем, – говорил себе Поланецкий, направляясь к Машко. – Обе кажутся порядочными ледышками, но дочка не совсем бесчувственная. Машко еще мало ее знает, это будет для него приятный сюрприз. Старуха приедет, увидит всех этих епископов и горбоносых кастелянов, над которыми столько издевался Букацкий, и окончательно уверует в его знатность».

С этими мыслями пришел он к Машко, но у того как раз был врач, и Поланецкому пришлось подождать. Однако едва доктор вышел, Машко велел просить его.

– Ну что, был у них? – спросил он, даже не поздоровавшись.

– Как ты себя чувствуешь, как спал?

– Хорошо. Но не в этом дело... Ты у них был?

– Был. Вкратце вот что могу сказать: через четверть часа приедет старшая Краславская, ходить за тобой, а дочка (она просила это передать) будет ждать на извозчике известий о твоём здоровье. И еще она просила передать, что очень огорчилась, испугалась и благодарит бога, что все легко обошлось. Вот видишь!.. А от себя прибавлю: она совсем, совсем недурна и мне понравилась. Ну, я побежал, мне некогда.

– Да подожди, сделай милость! Обожди хоть минутку! Нет у меня жара, не думай, можешь меня не щадить...

– Какой ты, однако, нуда! – перебил Поланецкий. – Слово тебе даю: это правда, зря ты клеветал на свою невесту.

Машко опустил на подушку голову.

– Я готов... ее полюбить... – помолчав, сказал он, словно рассуждая сам с собой.

– Вот и отлично! – отозвался Поланецкий. – Будь здоров! А я пойду попрощаюсь с Васковским.

Но вместо Васковского зашел к Плавицким – и никого не застал. Старик вообще редко сидел дома, а Марыня, как ему сказали, ушла часом раньше. Мужчина, который идет к нравящейся ему женщине, обдумывая по дороге слова признания, и не застаёт ее дома, чувствует себя довольно глупо. В таком глупом положении оказался и Поланецкий, порядочно разозлившийся. Тем не менее он отправился в цветочный магазин и, накупив цветов, распорядился отослать их Плавицким. А представив себе, как обрадуется Марыня и с каким нетерпением будет ждать вечера, сам повеселел и, пообедав в ресторане, заявился к Васковскому совсем в отличном расположении духа.

– Пришел с вами проститься, – сказал он. – Когда вы едете?

– Как поживаешь, дорогой? – вопросом на вопрос ответил старик. – С отъездом пришлось немножко повременить – я, видишь ли, приютил тут на зиму нескольких мальчуганов...

– Из тех юных ариев, которые лезят по чужим карманам?

– Нет, нет... У них, как бы тебе сказать, задатки добрые... но их нельзя оставить без присмотра! И надо вот было приискать человека, который пожил бы здесь с ними.

– Да он тут изжарится. Как вы переносите такую духоту?

– Я дома сижу без сюртука – и не стану его с твоего позволения надевать. Да, у меня жарковато, но потоотделение полезно для организма, да и пернатые мои любят тепло.

Поланецкий огляделся по сторонам. В комнате было по меньшей мере с полдюжины овсянок, жаворонков, синиц и чижей, не говоря уже о воробьях: целая стайка их порхала за окном в ожидании кормежки. В комнате Васковский держал только птиц, купленных на птичьем рынке, а воробьев не пускал. «Куда их всех, а нескольких впустить – тоже несправедливо», – говорил он. Клетки висели по стенам и в оконной нише, но птицы только спали в них, а днем летали по всей комнате, наполняя ее щебетом и оставляя свои визитные карточки на книгах и рукописях, которыми завалены были столы и все углы.

Были пичуги совсем ручные, садившиеся Васковскому на голову. Под ногами хрустела конопляная шелуха. Для Поланецкого это была картина привычная, и он только плечами пожал.

– Все это, конечно, очень мило, – заметил он, – но позволять драться у себя на голове, по-моему, уже слишком. И пометом пахнет.

– Франциск Ассизский всему виной, – отвечал Васковский. – Это благодаря ему полюбил я птиц. Есть у меня и парочка голубей, но они не летают, такие сидни.

– Вы, наверно, увидите с Букацким, – сказал Поланецкий. – Я от него письмо получил. Вот.

– Можно прочесть?

– Для того я его и прихватил.

Васковский взял письмо и, дочитав до конца, заметил:

– Люблю Букацкого за доброту. Но, по-моему, он немножечко того...

И Васковский постучал себя пальцем по лбу.

– Это уже становится забавным! – воскликнул Поланецкий. – Представьте себе, в последние дни я только и слышу про своих знакомых: «Он немножечко того...» – и пальчиком тук-тук по лбу Ничего себе, приятное окружение!

– Так оно отчасти и есть!.. – с улыбкой отвечал Васковский. – А знаешь отчего? Это все беспокойный дух ариев, который в нас, славянах, бродит сильнее, чем на Западе. Ведь мы – самые младшие арии, сердце и ум у нас еще не охладели. И чувствуем острее, принимаем ближе к сердцу, и думаем серьезней, все сразу стараемся к жизни приложить... Я много повидал на своем веку и давно это заметил... Славянская натура – она удивительная!.. Вот, например, немецкие студенты кутят – и что же? Это не мешает им прилежно учиться и вырастать дельными людьми. А попробуй начать таким же манером кутить славянин! Да он погибнет, упьется насмерть. И так во всем. Немец-пессимист напишет целые трактаты о том, как безотраднa жизнь, но это не помешает ему пить пиво, плодить детей, наживать деньги, поливать свои клумбы и спать сном праведника под периной. А славянин или повесится, или погрязнет в распутстве, бесшабашной жизни, сам влезет в грязь, которой и захлебнется... Встречал я, дорогой мой, таких байронистов, которые до смерти добайронничались... Как же, как же... Знал и таких народолюбцев, которые спивались по кабакам. Мы ни в чем не знаем меры и не будем знать, потому что безмерная увлеченность идеей всегда сочетается у нас с безмерным легкомыслием... и еще знаешь с чем? С тщеславием. Ах, боже мой, до чего же мы тщеславны! Вечно лезем вперед, хотим быть на виду, чтобы о нас говорили, удивлялись и восхищались. Возьми того же Букацкого: по уши погряз – вот именно погряз – в скептицизме, в пессимизме, в буддизме, в декадентстве и невесть в чем еще, полный хаос; в самое болото залез и отравляется этими миазмами. И бравирует еще. Удивительные натуры! Искренние, чуткие, все близко к сердцу принимающие и заодно – актерствующие. Думаешь о них с симпатией, но хочется одновременно и смеяться, и плакать.

И Поланецкий вспомнил, как в первое посещение Кшеменя рассказывал Марине о своем житье-бытье в Бельгии – как с несколькими друзьями-бельгийцами увлекся пессимистической философией, убедясь, что не в пример им вкладывает в это всю душу и только портит себе жизнь.

Это верно, – подтвердил он. – Мне тоже приходилось это замечать. Так что ни черта из всех нас не получится.

– Нет, наше назначение в другом, – сказал старый учитель, с отсутствующим видом глядя в замерзшее окно. – Наша горячность, способность увлекаться идеей – все это бесценные свойства для выполнения миссии, которую Христос возложил на славян. – И, указав на загаженную птицами рукопись, Васковский загадочно сказал: – Видишь, с чем я еду в Рим. Труд всей моей жизни... Хочешь, почитаю?

– К сожалению, мне очень некогда. И поздно уже.

– Да. Смеркается. Ну тогда в двух словах... Я думаю – больше того: глубоко верю, – что славян ждет величайшая миссия... – Старик остановился, потирая лоб рукой. – Что за удивительное это число – три... Есть в нем какая-то тайна!

– Вы говорили о миссии славян, – нетерпеливо напомнил Поланецкий.

– Погоди, тут есть связь. Видишь ли, в Европе три племени: романское, германское и славянское. Первые два уже выполнили свое предназначение. И будущее принадлежит третьему.

– И что же должно оно совершить?

– Что там ни говори, но социальные отношения, закон, правила общежития и так называемая частная жизнь – все это опирается на христианское учение. Мы со своими пороками его искажаем, тем не менее все им держится. Но пройдена пока только половина, первая стадия!.. Некоторые считают, будто христианство исчерпало себя. Нет; оно лишь вступает в свою вторую стадию. Сейчас заветы евангельские блюдутся отдельными лицами и на историю не влияют, понимаешь? Ввести их в историю, положить в ее основу любовь к ближним, возвысить до степени отношений исторических – вот в чем миссия славян... Но они сами об этом еще не знают, и надо открыть им глаза.

Поланецкий молчал, не зная, что ответить.

– Вот над чем размышлял я долгие годы и что изложил в этом сочинении, – продолжал Васковский, указывая на рукопись. – Это труд всей моей жизни. Собственная моя высокая миссия.

«На которую пока гадят овсянки. И бог весть сколько еще будут гадить», – подумал Поланецкий. Вслух же сказал:

– И вы надеетесь, если труд этот напечатают?..

– Нет, я ни на что не надеюсь. Я – жалкий червь и умом своим не могу всего постигнуть, но я люблю своих ближних... Труд мой исчезнет, как камень, брошенный в воду, но он всколыхнет воду, и по ней пойдут круги. А потом, как знать, может, явится миру избранник... Чему быть, того не миновать. Не во власти нашей отказаться от возложенной на нас миссии, даже если самим этого захотеть... И не надо вообще отвлекать людей от их предназначения, стараться насильно его изменить. Что для других хорошо, для нас может быть плохо, коль скоро нам уготован совсем иной удел. Противиться, стало быть, – напрасный труд. И ты тоже напрасно внушаешь себе, будто хочешь только деньги делать, и ты тоже никуда не уйдешь от себя и своего предназначения.

– Я и не ухожу, я женюсь. Верней, собираюсь жениться, если отказа не получу.

Васковский обнял его за плечи.

– Ну и с богом! Вот это хорошо!.. Бог тебя благослови! Знаю, так вам наказала дорогая наша девочка... Помнишь, я же говорил: у нее тоже есть свое предназначенье и она не умрет, пока его не выполнит. Пошли ей господь вечное блаженство, а вам – свое благословенье... Марыня – золото!

– А вам желаю счастливого пути и благополучного завершения вашей миссии!

– А тебе... тебе – исполнения желаний.

– Желаний?.. Я, пожалуй, не прочь этак с полдюжины маленьких миссионеров народить! – весело сказал Поланецкий.

– Ах, плут! Все бы тебе шутить! – ответил Васковский. – Ну беги, я к вам еще загляну...

Выбежав, Поланецкий сел на извозчика и поехал к Плавицким. Дорогой он обдумывал, что скажет Марыне, и приготовил целую речь, в меру нежную и в меру здравую, как и пристало человеку солидному, который нашел себе избранницу по велению не только сердца, но также и ума.

Марыня, видно, не ждала его так рано – лампы в комнатах еще не были зажжены, хотя на небе догорали последние отблески заката.

При взгляде на Марыню вся умно составленная речь вылетела у Поланецкого из головы. Целуя ей руки, он только робко, взволнованно спросил:

– Вы получили письмо и цветы?

– Да...

– И догадались, зачем я?..

У Марыни сердце билось так сильно, что не давало говорить.

– Вы согласны исполнить Литкину волю? И стать моей женой? – запинаясь, спрашивал он.

– Да, – прозвучало в ответ.

Теперь уже Поланецкому не хватало слов, чтобы сказать, как он ей благодарен. Он только все крепче прижимал к губам ее руки и, не отпуская, привлекал ближе к себе. По жилам его вдруг пробежал огонь; он обнял ее и стал искать губами ее губы. Но она отвернулась, и он стал целовать ее в висок. В полутьме слышалось их прерывистое дыхание; наконец Марыня вырвалась из его объятий.

Спустя несколько минут горничная внесла зажженную лампу. Придя в себя, Поланецкий испугался собственной дерзости и с беспокойством взглянул на Марыню. Он был убежден, что оскорбил ее, и готов был просить прощения. Но, к радости своей, не заметил на ее лице никаких признаков гнева. Она потупилась, щеки ее

пылали, прическа слегка растрепалась, все в ней выдавало смятение – она была точно в дурмане. Но то было сладостное смятение любящей женщины, которая понимает: жизнь ее вступила в новую полосу и требует от нее немалых жертв, но она идет на это по своей воле и желанию – любя, покоряется мужчине с полным сознанием его прав.

Поланецкий ощутил прилив нежности к ней. Ему показалось, он любит ее, как прежде, до смерти Литки. «Не нужно себя сдерживать, – подумал он, – стесняться своей доброты и нежности», – и снова почтительно поднес ее руку к губам.

– Знаю, что недостойн вас, это без слов ясно. Но, видит бог, все для вас сделаю, что в моих силах.

Марыня растроганно взглянула на него.

– Лишь бы вы были счастливы...

– Не быть с вами счастливым... невозможно. Я понял это еще в Кшемене. Но вы знаете сами, потом все расстроилось. Я думал, вы пойдете за Машко, и совсем истерзался!..

– Я сама в этом виновата, простите... милый Стах!

– Нет, недаром сегодня Васковский сказал: «Марыня – золото!» – с чувством воскликнул Поланецкий. – Это сущая правда. Все так говорят. И не просто золото – сокровище, драгоценный клад!

Ее добрые глаза заискрились смехом.

– Но не слишком ли тяжелый?..

– Не беспокойтесь, у меня достанет сил его нести... Вот теперь я знаю, ради чего жить.

– Я тоже... – отозвалась Марыня.

– Вам говорили, что я уже был сегодня у вас? Не застал и послал эти хризантемы. После вашего вчерашнего письма я сказал себе: это же просто ангел, надо бесчувственным чурбаном быть или безумцем, чтобы мешкать дольше.

– Я так встревожилась и огорчилась из-за этой дуэли. Скажите: правда, что все уже позади?

– Честное слово.

Марыне хотелось расспросить подробней, но вернулся Плавицкий: слышно было, как он покашливает в передней, ставит палку, снимает пальто. Открыв дверь, он увидел их вдвоем.

– Что это вы сидите тут рядком?

Марыня подбежала к отцу, обняла его за шею и подставила лоб для поцелуя.

– Как жених и невеста, папа!

– Что, что ты сказала? – отстранив ее, переспросил Плавицкий.

– Я сказала, – спокойно глядя ему в глаза, отвечала Марыня, – что пан Станислав сделал мне предложение, и я очень счастлива...

Подойдя к Плавицкому, Поланецкий крепко обнял его.

– С вашего, дядюшка, согласия и благословения...

С возгласом «Дитя мое!» Плавицкий неверным шагом отступил к кушетке и тяжело опустился на нее.

– Извините, – лепетал он, – это все волнение... Пустяки, не обращайтесь внимания... Дети мои... если вы нуждаетесь в моем благословении, от души вас благословляю.

И, благословляя их, разволновался еще пуще: Марыню он искренне любил. Голос его прерывался, и молодые люди разбирали лишь отдельные слова и обрывки фраз: «Какой-нибудь угол для меня... старику голову приклонить... который трудился всю жизнь... Сирота... Единственное дитя...»

Они наперебой его утешали и настолько в этом преуспели, что спустя полчаса старик хлопнул вдруг Поланецкого по плечу.

– Ах, разбойник! – сказал он. – Ты, стало быть, на Марыню виды имел, а я, грешным делом, думал, ты...

Остальное он договорил Поланецкому на ухо.

– Как вам такое могло в голову прийти! – воскликнул тот, покраснев. – Осмелюсь мне сказать это кто-нибудь другой...

– Но-но-но! – засмеялся Плавицкий. – Нет дыма без огня.

– У меня к вам просьба, – прощаясь в тот вечер с Поланецким, сказала Марыня. – Вы мне не откажете?

– Только прикажите.

– Я давно дала себе слово: если придет такой день, съездить вместе на могилу Литки.

– Ах, милая пани, – только и мог вымолвить Поланецкий.

– Что люди скажут, нам дела нет, ведь правда?

– Конечно! Неужто обращать внимание на пересуды? Спасибо вам от души, что подумали об этом. Милая моя пани... моя Марыня!

– Она, наверно, смотрит сейчас и молится за нас.

– Она – наша маленькая заступница.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

– До завтра.

– До завтра, – повторил он, целуя ей руки. – До завтра, до послезавтра и каждый день... до самой свадьбы! – прибавил он шепотом.

– До свадьбы! – ответила Марыня.

Поланецкий ушел, обуреваемый мыслями, чувствами, впечатлениями. Но в этой сумятице чувств главенствовало одно: значительность происшедшего. Главным было, что судьба его решена и с колебаниями, метаниями отныне покончено: надо начинать новую жизнь. И это ощущение не было неприятно, напротив, особенно упоительно было вспомнить, как он целовал Марыню в висок. При воспоминании об этом все недостававшее его чувству показалось бесконечно малым, ничтожным, и в голове мелькнуло: найдено все, что нужно для полного счастья. «Жизнь с ней не может быть в тягость!» – подумал он, и даже сама мысль об этом показалась ему кошунственной. Думал он и о Марыниной доброте, ее преданности, о том, что женщине с таким сердцем и характером можно целиком довериться, не опасаясь ничего, она не истерзает, не покалечит душу, сумеет по достоинству оценить все лучшее в нем, будет жить не для себя, а для него. И, раздумывая об этом, Поланецкий спрашивал себя: да разве можно найти жену лучше? И только дивился своим недавним сомнениям.

Однако и он чуял всю огромность, серьезность предстоящей перемены, и где-то в потаенном уголке души пробуждалась робость перед этим неведомым еще счастьем.

Но он гнал беспокойство, говоря себе: «Не трус же я и не рохля какой-нибудь. Путь только один – вперед, и я не отступлю».

А дома при взгляде на Литкин портрет перед ним вдруг словно открылись новые светлые горизонты. И у него тоже, у них с Марыней, будут дети! – пронеслось в голове. Вот такая же белокурая девчушка, которую он будет любить бесконечно! И у него сильней забилось сердце, и нахлынувшие чувства вызвали прилив бодрости, какой он не испытывал уже много лет. Он был счастлив вполне. Раздеваясь, он наткнулся в кармане на письмо Букацкого и, глянув в него мельком, расхохотался так громко, что камердинер с беспокойством заглянул в комнату. Поланецкого так и подмывало сказать ему о своей женитьбе.

Заснул он уже под утро, но встал бодрый, отдохнувший и, одевшись, помчался в контору сообщить поскорее радостную новость Бигелю.

Тот обнял его и, обдумав со свойственной ему основательностью услышанное, сказал:

– Пожалуй, это самый разумный шаг в твоей жизни. – И прибавил, указав на конторку с бумагами: – Вон те контракты сулят тебе доход, но этот – счастье.

– А что? Нет разве? – самодовольно воскликнул Поланецкий.

– Сбегаю домой, не терпится сказать жене, а ты ступай, можешь больше не приходиться. Я заменю тебя до свадьбы и в медовый месяц.

– Ладно. Заскочу сейчас на минутку к Машко, а потом мы с Марыней съездим на кладбище к Литке.

– Что ж, она это заслужила.

По дороге Поланецкий снова закупил цветов и с запиской, что скоро придет, послал Марыне; сам же помчался к Машко.

Попечение Краславской явно пошло на пользу Машко; он и сейчас поджидал ее. Услышав новость, он с чувством пожал руку Поланецкому.

– Одно могу тебе сказать: будет ли она с тобой счастлива, не знаю, но ты с ней – несомненно.

– Да, женщины вообще лучше нас. Надеюсь, и ты после всего не станешь этого оспаривать, – ответил Поланецкий.

– Признаться, я до сих пор не могу прийти в себя от изумления. Они лучше нас и... загадочней. Представь себе...

Машко замаялся, словно сомневаясь, продолжать ли.

– Ты о чем?

– А, ладно! Человек ты не болтливый и столько раз доказывал свою дружбу, что между нами не должно быть секретов. Так вот, представь, вчера после твоего ухода пришло анонимное письмо – у нас этот благородный обычай, как известно, в чести, – где сообщалось, что папаша Краславский живет и здоровствует.

– Что за чепуха! Может, просто сплетни.

– А может, и нет. Будто бы он в Америке. Тут как раз была пани Краславская. Я ей ничего не сказал, но позже, когда она, посмотрев портреты, стала расспрашивать про мою родословную, в свою очередь спросил, давно ли она овдовела. И вот что она мне ответила: «Мы уже девять лет как живем вдвоем с дочкой, но это печальная история, не хочется сейчас об этом говорить». Заметь, она не сказала прямо, когда умер ее муж.

– А ты что по этому поводу думаешь?

– Думаю, если папаша жив, он из тех личностей, о чьем существовании предпочитают умалчивать; «история», должно быть, поистине печальная.

– Ну, все давно бы вышло наружу.

– Мама с дочкой несколько лет жили за границей. Мало ли что там могло быть. Впрочем, моих планов это не меняет. Если пан Краславский сидит в Америке и не кажет сюда носа, значит, на то есть веские причины и я могу поступать, как если б его вообще на свете не было. Во всяком случае, уже есть надежда, что свадьба не расстроится: люди, которым приходится что-то скрывать, становятся менее разборчивыми.

– Прости за нескромный вопрос, – перебил Поланецкий, берясь за шляпу, – но меня интересует моя закладная и как ты собираешься поступить с Плавицким. Ты уверен,

что у Краславских есть деньги?

– Откровенно говоря, подозреваю, что даже немалые, хотя карт своих они мне не раскрывают. Похоже, что у них большой наличный капитал. Мать не раз мне говорила: состояние мужа ее дочь мало заботит. Несгораемую кассу я видел собственными глазами. Живут они на широкую ногу. Я в Варшаве почти всех ростовщиков знаю, евреев и не евреев, и мне доподлинно известно: никому из них они не должны ни гроша. Ты ведь сам знаешь, какая у них прекрасная вилла с Бигелями по соседству. Капитала они не трогают, для этого они слишком благоразумны.

– Но точная цифра тебе неизвестна?

– Я пробовал осторожно подъехать, но, не решив еще, породнюсь ли с ними, не старался особенно нажимать. Мне дали понять, что у них тысяч двести, а будет и больше.

Поланецкий попрощался. «Все какие-то тайны, сплошной мрак и риск, – думал он, направляясь к Плавицким. – Нет, это не по мне».

Полчаса спустя они уже ехали с Марыней на кладбище. День был по-весеннему теплый, но серый, город выглядел уныло и неряшливо. Подтаявший снег на кладбище пластами сползал с могил, обнажая жухлую, полусгнившую траву. С могильных крестов и голых ветвей падали крупные капли, и налетавший порывами теплый ветер бросал их в лицо Марыне и Поланецкому. Ветер так трепал ее юбку, что приходилось придерживать рукой. Наконец они остановились у Литкиной могилы.

И тут было мокро, уныло, грязно; из-под раскисшего снега вылезла осклизлая земля. Никак не умещалось в голове, что девочка, которую так берегли, любили и баловали, лежит здесь в сырости и непроглядной тьме. «Пусть смерть и естественное явление, – размышлял Поланецкий, – но примириться с этим невозможно». Всякий раз, побывав на Литкиной могиле, возвращался он, ропща и негодуя в душе. И теперь его осаждали те же мысли; любить Литку, зная, что на глубине нескольких футов лежит в земле ее почерневшее, разлагающееся тело, – в этом было для него нечто чудовищное. «Не надо мне тут бывать, – твердил он себе, – только в ярость слепую приходишь от своего бессилия, всякая охота жить пропадает». Но еще больше мучило другое: сознание, что, сколько ни думай о смерти – а не думать о ней невозможно, – без веры все равно ничего не придумаешь, кроме каких-то безнадежно глупых, жалких, пошлых пустяков. «Речь ни много ни мало, как о самом существовании, а на уме одни избитые, общие места. Какой-то порочный круг!» И в самом деле: если при мысли о смерти все в жизни лишается смысла, а, к сожалению, это так, и если тысячи людей до него, приходя к тому же заключению, не находили ни отрады, ни удовлетворения, какое дает познание истины... Что же он мог тогда сказать по этому поводу утешительного и небанального? Легко было увидеть, что вся жизнь человеческая, история, философия, в сущности, лишь борьба со смертью, борьба неустанная, отчаянная, вполне объяснимая, но одновременно безмерно глупая и бесцельная, ибо исход ее заранее предрешен. Но понимание этого в свой черед, не давало никакого облегчения, возвращая в тот же замкнутый круг. «Единственная цель всех усилий в том, чтобы выжить, а единственный результат – смерть. Полнейший абсурд, невероятный в своей нелепости, если б не сама отвратительно беспощадная действительность, которая живые, любимые существа обращает в тлен».

Таковыми и подобными мыслями терзался Поланецкий при каждом посещении кладбища. Но

сегодня он надеялся, что его избавит от них присутствие Марыни, а оказалось наоборот. Подорвавшая в нем веру в смысл и нравственную целесообразность жизни смерть Литки поколебала и его первое, чистое и не ведавшее сомнений чувство к Марыне. И вот, стоя с ней у Литкиной могилы, он вдруг с удвоенной силой вновь ощутил присутствие и тлетворное дыхание смерти, о которой успел было позабыть. И снова жизнь, а с ней любовь показали ему миражем, а повседневные хлопоты – тщетой и суетой. Если не милосердие и разум правят миром, зачем тогда трудиться, любить, иметь семью? Неужто лишь затем, чтобы, произведя на свет детей и привязавшись к ним всем сердцем, беспомощно взирать потом, как слепая, нелепая, грубая и возмутительная сила душит их, как волк ягнят, и воображать себе, приходя к ним на могилу, как они гниют там во мраке и сырости. Лежит же вот Литка в земле!

На редкость унылый день еще больше растревлял душу. В прежние приходы сюда кладбище представлялось Поланецкому некоей бескрайней пустотой, которая поглощает всякую жизнь, но вместе с тем и печаль, навеяв сон и покой. Но сегодня умиротворения и покоя не было. Со стволов и могильных памятников кусками отваливался снег; среди мокрых деревьев с карканьем кружило воронье. Внезапные, сильные порывы ветра срывали капли с ветвей, с какой-то суетливой безнадежностью кропя ими скопище бесстрастно застывших каменных крестов.

Помолясь, Марыня сказала, понизив голос, как говорят обычно на кладбище:

– Теперь душенька ее здесь, витает над нами.

Поланецкий не ответил, ему пришло в голову, что они с Марыней – точно обитатели разных планет. И еще подумалось: будь в ее словах хоть крупица правды, все его душевные терзания не стоят выеденного яйца. Ибо тогда выходило бы, что люди умирают, их зарывают, но смерти нет.

Марыня стала укладывать на могиле венки из иммортелей, которые они купили у кладбищенских ворот, а на него нахлынули не мысли даже, а смутные ощущения. «Нет в этом мире ни на что ответа, – следя за ними, думал он, – замкнутый круг, из которого нет выхода».

И внезапно поразился: а ведь не будь Марынино представление о смерти известным допущением веры, выскажи его как гипотезу какой-нибудь философ, эту гипотезу сочли бы гениальнейшей из всех. И правда: все объясняет, на все дает ответ, освещает не только загадку жизни, но и темную тайну смерти. Человечество в изумлении преклонялось бы перед таким мудрецом и его теорией.

Но, с другой стороны, и сам он, казалось, чувствовал незримое присутствие Литки. Сама она стала прахом, но ее мысли, желания, чувства остались жить, разойдясь волнами. Вот они помирились с Марыней, стали женихом и невестой, стоят сейчас у ее могилы, потом заживут вместе, у них народятся дети, которые, в свою очередь, будут жить, любить, производить потомство, – что это, как не волны, идущие от этой девочки вдаль цепью явлений, которым несть конца. Но как же смертный может источать эту нескончаемую, бессмертную энергию, как это уразуметь? Марыня в своей безыскусной вере нашла ответ, а он, Поланецкий, не находит.

В одном Марыня права: душа Литки с ними. У Поланецкого даже забрезжило некое смутное, не имевшее четких логических очертаний предположение, что, может быть, все передуманное, пережитое нами в жизни, все наши помыслы, стремления, привязанности преобразуются в какую-то материю, стократ более неуловимую и

тонкую, чем эфир, и из нее возникает некое наделенное самосознанием астральное сверхбытие, которое извечно либо же раз от раза себя воспроизводит, усложняясь и совершенствуясь, – и так до бесконечности. Может быть, мысли и чувства могут, как атомы, слагаться в отдельные особи, ибо родственны по происхождению, исходят из мозга и сердца и тяготеют друг к другу, как вот простые вещества, которые по столь же необъяснимой причине образуют, соединяясь, физическое тело. Размышлять об этом было, правда, некогда, но ему почудилось, будто завеса перед глазами чуть раздвинулась. Он мог, конечно, заблуждаться, но, чувствуя в ту минуту, что Литка с ними, не видел, как это иначе истолковать.

На колокольне посреди кладбища зазвонили: показалась похоронная процессия. Поланецкий подал руку Марыне, и они направились к воротам.

– Теперь я уверена: мы будем счастливы, – очевидно, все еще с мыслью о Литке сказала Марыня и прижалась к его плечу, быть может, оттого, что становилось трудно идти против ветра, который все усиливался.

Внезапным порывом ветра ее вуаль забросило на шею Поланецкому, и это вернуло его к действительности. Он взял под руку любящую его женщину, думая: если любовь и не спасает от смерти, то, во всяком случае, примиряет с жизнью.

В пролетке он всю дорогу не выпускал Марыниной руки. Вновь стала оживать надежда, что эта милая, бесконечно добрая девушка сумеет исцелить его, вернуть утраченную полноту чувств. «Жена моя!» – повторял он про себя, глядя на нее и читая в ее глазах: «Твоя!»

Плавицкий еще не вернулся со своей предобеденной прогулки, и дома они оказались одни. Поланецкий подсел к Марыне.

– Вы сказали, что Литка с нами, и это правда! – заметил он под впечатлением своих мыслей. – Я всегда возвращался с кладбища совершенно разбитый, а теперь вот нет. Хорошо, что мы там побывали.

– Как будто она нас благословила, – отозвалась Марыня.

– И у меня такое же чувство. И еще мне кажется, это крепче связало, больше сблизило нас.

– Да. И с грустью, и с радостью будем ее вспоминать.

– Если вы уверены, что мы будем счастливы, – продолжал он, взяв ее руки в свои, – тогда зачем медлить? Моя хорошая, чудесная, я тоже верю: нам будет хорошо, поэтому давайте не откладывать свадьбу. Мы оба хотим начать новую жизнь, так начнем ее скорее.

– Как вы решите, так и будет.

Он привлек ее к себе, ища, как накануне, ее губы. И она, то ли считая, что у него теперь больше прав на нее, то ли под влиянием проснувшейся и у нее самой страсти, не отвернулась, а, закрыв глаза, подставила губы, словно давно жаждавшие этого поцелуя.

ГЛАВА XXVII

Для Поланецкого наступила пора предсвадебных хлопот и приготовлений. Квартира, правда, была готова уже с полгода назад, еще до знакомства с Марыней. В свое время, когда Букацкий подтрунивал над этим, говоря, что Поланецкому не терпится жениться, он и не возражал.

– Что ж, деньги есть, могу позволить себе такую роскошь, – отвечал он. – Тем более что уже предпринимаю кое-что в этом направлении, и планы мои даже близки к осуществлению.

Букацкий называл весьма похвальной его предусмотрительность, выражая только удивление, почему он и акушерку с нянькой заранее не приищет. Иногда такие разговоры кончались ссорой. Поланецкий не выносил, когда ставили под сомнение его трезвый взгляд на вещи. Букацкий же считал, что вить уютное гнездышко загодя – сентиментальность поистине птичья, достойная разве овсянки какой-нибудь. Один твердил: хочешь поймать птицу, заводи клетку, это логично; другой возражал: если нет птички на примете и неизвестно, попадется ли, нечего зря и аппетит дразнить. Стычка кончалась обычно намеками на тонкие ноги Букацкого: с такими и за бескрылыми не больно погоняешься, на что Букацкий отвечал довольным смехом.

И вот, хотя клетка была готова и птичка не только поймана, но и приручена, оказалось, что дел еще непочатый край. Оставалось только недоумевать, почему такой естественный акт, как женитьба, обставлялся в цивилизованном обществе столькими сложностями. Никому ведь не дается право вмешиваться в нравственную сторону этого дела, стеснять свободу выбора, зачем же тогда придавать такое значение формальностям.

Но Поланецкий негодовал только потому, что, во-первых, не знал законов, во-вторых, отличался нетерпеливым нравом, и бумажная волокита его раздражала, а в-третьих, просто как человек деловой, который хотел побыстрее это уладить, коль скоро уже решился, отбросив всякую рефлексию и мудрствования. В этом отношении он даже гордился собой, особенно сравнивая себя, например, с Плошовским, чья любовная история была у всех на устах еще до того, как стала известна из его дневника. «Я из другого теста», – повторял он не без самодовольства. Вместе с тем, вспоминая Плошовского – его фигуру, благородное лицо с тонкими, но характерными чертами, образованность его, гибкий, проницательный ум, необыкновенный дар привлекать к себе людей, особенно женщин, – Поланецкий не мог не признать, что он по натуре человек менее изысканный и утонченный, вообще сделан из более грубого материала. На что, однако, сейчас же являлось возражение: сами нынешние условия жизни требуют твердости и выносливости, чрезмерная изнеженность, утонченность, физическая и нравственная, просто пагубна. Так что он, Поланецкий, гораздо жизнеспособнее. «Наконец, я приношу пользу обществу, а он годился быть разве украшением гостиных, – думал Поланецкий. – Я всегда сумею на хлеб заработать, а он умел только хлебные шарики катать. Я умею, и неплохо, красить ситцы, а он только красавиц умел в краску вгонять. А какая разница между нами в отношении к женщине! Он подверг скрупулезному анализу свои чувства и чувства любимой женщины и в результате, так и не решив, достаточно ли сильно любит, погубил и ее, и себя. Я тоже не уверен в цельности моего чувства, но тем не менее женюсь – и был бы тряпкой, а не мужчиной, если бы, страшась будущего, упустил счастье, которое оно мне сулит».

Но как Поланецкий не зарекался, все-таки сам впал в грех анализа, хотя и не против себя, а против Марыни. Правда, пошел он на это, потому что заранее был

уверен в благоприятном результате. Он понимал: для обоюдного счастья недостаточно доброй воли одного, она бессильна без поддержки другого. Но не сомневался в отзывчивости Марыни. Натура у нее была честная и прямая; к тому же необходимость с юных лет трудиться, условия жизни приучили ее больше заботиться о других, нежели о себе. В сердце ее, кроме того, словно неусыпное загробное благословение, жила память о матери; эту несчастливую женщину, ее кроткий нрав, простоту и честность по сей день добрым словом поминали в окрестностях Кшеменя. И Поланецкий был убежден, что не разочаруется, положась на сердце и характер Марыни. Не раз приходили ему на ум слова одной хорошей знакомой его матери. Когда ее спрашивали, чья будущность тревожит ее больше, дочерей или сыновей, она отвечала: «Конечно, сыновей; дочери в худшем случае будут лишь несчастливы». И правда, ведь на сыновей влияют потом школа, свет, и они могут сделаться негодяями; дочери же, которым дома привиты понятия порядочности, «в худшем случае будут лишь несчастливы». Так и Марыня, думал Поланецкий. Он рассматривал, анализировал ее характер не как ученый, стремящийся познать неизвестное и предугадать непредвиденное, а как ювелир, который любит свое сокровище.

И вдруг однажды они с Марыней серьезно поссорились. Поводом послужило письмо Васковского, полученное Поланецким из Рима через несколько недель после отъезда старого учителя и прочитанное от первого до последнего слова Марыне. Вот что в нем было:

«Дорогой друг! Я остановился на виа Тритоне, во Французском пансионе. Наведайся, пожалуйста, ко мне на квартиру, посмотри, не обижают ли Снопчинский моих мальцов и есть ли корм и вода у братии святого Франциска. С наступлением весны надо открыть окна и клетки: кто хочет, пусть остается, а кто не хочет – улетает. Меньших моих братьев из рода homo sapiens[28 - человек разумный (лат.)], то есть мальчишек, надлежит кормить досыта – деньги я оставил, побольше любить и поменьше досаждать нравочениями. Снопчинский всем хорош, но, к сожалению, меланхолик. Правда, он говорит, что виновата зима. Но когда на него нападает, как он выражается, хандра, он по целым неделям сидит сиднем, уставясь на носки своих сапог, и молчит, а с детьми, чтобы завоевать их доверие, непременно надо разговаривать. Вот и все, что касается Варшавы.

Сочинение, о котором я тебе говорил, труд моей жизни, печатается на французском языке в типографии журнала «Италия». Надо мной и моим французским языком здесь посмеиваются, но к этому я привык. Сюда приехал Букацкий. Он добрый и славный малый, но всегда был со странностями, а сейчас совсем свихнулся: уверяет, будто прихрамывает на одну ногу, чего я не замечаю. Очень любит тебя и Марыню, вообще всех, только не хочет в этом признаваться. Зато как пойдет рассуждать – уши вянут. Бог тебя благослови, мой мальчик, тебя и твою славную Марыню. Хотелось бы присутствовать на вашей свадьбе, но не знаю, успею ли до пасхи напечатать мою книгу; так что ты почитай пока, что я тут тебе напишу и для чего я, собственно, взялся за перо. И, пожалуйста, не относись к моим словам, как к стариковскому брюзжанию; ты ведь знаешь, я был учителем и занятие это оставил, только получив наследство от брата, успев много повидать и испытать. Если у вас будут дети, не мучай их занятиями, пусть себе резвятся на свободе. На том можно бы и кончить, но, зная твою слабость к цифрам, приведу тебе цифры. Так вот, ребенок занят в день столько же, сколько чиновник, с той разницей, что чиновник может поболтать с сослуживцами, покурить, а ребенок ни на минуту не может отвлечься, иначе перестанет понимать объяснения учителя. Вернувшись из присутствия, чиновник отдыхает, а ребенок готовит уроки на следующий день; даже у способного ученика

уходит на это четыре часа, а у менее способного – и все шесть. Прибавь к этому еще, что детям из бедных семей самим приходится давать уроки, а детям состоятельных родителей – заниматься с репетиторами. В итоге получается, что ребенок работает двенадцать часов в сутки. Двенадцать часов!.. Ты понимаешь, к чему это приводит, отдаешь себе отчет? Дети растут болезненные, исковерканные, с нехорошими наклонностями, угрюмые и строптивые. Мы сами укорачиваем их век, и непонятно, почему эта изуверская метода до сих пор находит себе сторонников. В наше время даже на фабриках сокращают рабочий день, к детской же участи филантропы глухи. А какое тут широкое поле для деятельности, какое святое, благородное дело, честь и слава его поборникам! Не мучай своих деток учебем, прошу тебя. И Марыню прошу, оба обещайте мне это. От чистого сердца прошу, а не ради пустословия, как стал бы уверять Букацкий, это ведь величайшая реформа, которой ждет будущее, вторая по значению после слияния христианского учения с историей. Со мной несколько дней назад приключился странный случай в Перуджии, но об этом в другой раз, а пока обнимаю вас обоих».

Марыня слушала, уставясь на носки своих башмаков, наподобие Снопчинского, о котором шла речь в начале письма. Поланецкий же, дочитав, громко рассмеялся.

– Бесподобно! Мы еще не поженились, а он уже заступает за наших детей и жалеет их заранее. Совсем как я со своим гнездышком. Сам виноват, – прибавил он, – наобещал ему. – И, заглядывая Марыне в глаза, спросил? – А вы что на это скажете?

Бывают в жизни каждого неудачные минуты, когда говоришь и делаешь тебе несвойственное. Так и с Поланецким. Резковатый иногда, но не грубый, он по внутренней деликатности не уступал и женщине. А между тем его взгляд и слова, обращенные к девушке, да еще такой скромной, как Марыня, походили на самую настоящую грубость. Она, конечно, знала, что в замужестве рождаются дети, но представление об этом имела самое общее и считала, что об этом не говорят, а если и говорят, то не прямо, а в сокровенную минуту с бьющимся сердцем на ухо любимой, как о чем-то заповедном, о некоем *sanctissimum*[29 - святая святых (лат.)] будущей совместной жизни. Поэтому небрежный тон Поланецкого возмутил и задел ее. «Как он этого не понимает?» – пришло ей невольно в голову. Но и она отнеслась к его словам не так, как в другое время. Подобно всем робким людям, от смущения и досады она рассердилась на него сильнее, чем сама того хотела.

– Как вы ведете себя со мной? – вскричала она. – Как вы позволяете себе со мной разговаривать?

Поланецкий продолжал смеяться, желая все обратить в шутку.

– Зачем же сердиться? – спросил он наконец.

– Вы держитесь со мной неподобающим образом.

– Не понимаю, о чем вы.

– Тем хуже для вас.

Улыбка мигом сбегала с его лица, и, покраснев от гнева, он торопливо заговорил, не вполне уже отдавая себе отчет в своих словах:

– Может, я и глуп, но не настолько, чтобы не отличить доброты от злости. А злость терпеть я не хочу! Сами себя вините, что шум такой подымаете из-за пустяков, а я лучше уйду, коли уж мое присутствие так вас раздражает.

И, схватив шляпу, поклонился и вышел. Марыня не пыталась его удержать. Обида и гнев оттеснили в ту минуту все другие чувства, да и вообще все смешалось, как будто ее обухом ударили. Мысли разлетелись стайей вспугнутых птиц, и в голове стучало только: «Все кончено! Он больше не вернется!» Прекрасное здание, которое уже воздвигалось в ее воображении, вдруг превратилось в обломки. Одиночество, пустота, истерзанное сердце и мучительная, бесцельная жизнь – вот ее будущий удел. А счастье было так близко!.. Случившееся было настолько неожиданно и непонятно, что она не могла опомниться. Подойдя к бюро, машинально стала перебирать бумаги – с такой поспешностью, будто от этого зависела ее судьба. Скользнула взглядом по фотографии Литки и упала на стул, прижав руки к вискам. Но на ум пришло: воля Литки священна для них, они обязаны ей покориться, – и в душе затеплилась искра надежды. Взволнованно заходила она по комнате, стараясь припомнить, что же, собственно, произошло, и представляя себе Поланецкого, каким он был два-три дня назад, за неделю до этого. И обида сменилась сожалением, которое росло одновременно с симпатией к Поланецкому. Она стала себя упрекать за то, что напрасно вспыхнула, ее долг принимать его и любить таким, каков он есть, а не требовать, чтобы он приноравливался к ней. «Ведь это живой человек, а не кукла», – несколько раз повторила она. И ее охватило чувство вины и раскаяния. Доброе, любящее ее сердце вступило в спор с трезвым голосом рассудка, которого она не была лишена, но который напрасно твердил ей на этот раз, что Поланецкий неправ и она ничем его не оскорбила. «Он вернется, если хоть чуточку любит», – возражала она, но при мысли о мужском самолюбии, достаточно развитом у Поланецкого, ей становилось страшно; она была слишком умна, чтобы не заметить его желания казаться человеком волевым. Со стороны и это можно было истолковать не в его пользу, но она еще больше к нему расположилась.

Получаса не прошло, как она уже сочла себя кругом виноватой: он и без того уже «натерпелся из-за нее», и надо уступить, то есть первой сделать шаг к примирению. Это означало, в ее представлении, написать ему и объяснить. «Разве он этого не заслужил, ведь как его намучила история с Кшеменем». И она готова уже была плакать от жалости к нему. Вместе с тем шевелилась и робкая надежда: а может, этот «гадкий, противный» Стах поймет, чего стоило ей написать первой, и вернется еще сегодня?

Чего, казалось бы, проще написать несколько идущих от сердца теплых слов, которые пробудят отклик в другом сердце. Но не тут-то было! У письма ведь нет глаз, в которых стоят слезы, нет личика с печальной и нежной улыбкой, нет ни дрожащего от волнения голоса, ни протянутой руки. Письмо – это черные буквы на бездушной бумаге, которые можно прочесть и так, и этак.

Марыня рвала уже третий листок, когда в полуотворенную дверь просунулось сморщенное, как печеное яблоко, лицо отца с нафабранными усами.

– Поланецкого нет? – спросил он.

– Нет.

– А будет он еще сегодня?

– Не знаю, папа, – со вздохом ответила Марыня.

– Если придет, скажи ему, детка, что я вернусь самое позднее через час и хочу с ним поговорить.

«Ох, как бы я сама хотела с ним поговорить!» – подумала Марыня.

Разорвав третий листок бумаги и взяв четвертый, она задумалась: обратить все в шутку или просто прощения попросить? Шутка может показаться неуместной, а в просьбу о прощении можно вложить больше чувства, но как это трудно! Не уйди он, стоило бы только руку протянуть, но он вылетел пулей, такой несносный – и такой любимый...

Она подняла глаза к потолку – еще поломать свою темноволосую головку, как вдруг в передней раздался звонок. Сердце молотом застучало в груди, в голове молнией пронеслось: «Он или не он?»

Дверь открылась. Это был он.

Поланецкий вошел, мрачно глядя исподлобья, как волк, не зная, как его примут. Марыня вскочила с сердцем, встрепенувшись, как птица, с сияющими глазами, счастливая и бесконечно тронутая его поступком, и, подбежав, положила руки ему на плечи.

– Какой вы добрый! Великодушный! – сказала она. – А я хотела к вам писать!

Поланецкий молча прижимал ее руки к губам.

– Вы должны были приказать с лестницы меня спустить, – вымолвил он наконец.

И от переполнявшей его благодарной нежности стал целовать ее в глаза, губы, виски, в растрепавшиеся в его объятиях волосы. В такие минуты он не сомневался, что любит ее настоящей, безраздельной любовью.

– Вы слишком добры ко мне, – сказал он, выпуская ее из объятий. – Но это хорошо, ваша доброта меня обезоруживает. Я пришел прощения просить – ни на что уже не рассчитывая. Я сразу остыл... И ругал себя последними словами, не могу даже передать, как мне было больно. Ходил по улице в надежде увидеть вас в окне и по вашему лицу решить, стоит ли возвращаться.

– Это мне надо прощения просить, я во всем виновата. Видите, вон разорванные клочки?.. Это я все писала и писала.

А он пожирал ее глазами – эти волосы, которые она торопливо закалывала шпильками. С раскрасневшимся, радостным лицом и лучившимся счастьем глазами она казалась ему красивей и желанней, чем когда-либо.

Марыня заметила, что он смотрит на ее волосы, и смущение боролось в ней с женским кокетством. Сделав вид, будто не может справиться с волосами, отпустила их, и они волной упали ей на плечи.

– Не смотрите так, а то уйду, – приговаривала она.

– Но ведь это сокровище принадлежит мне, – отозвался Поланецкий. – Ничего роскошней я еще не видывал. – И снова простер к ней руки, но Марыня увернулась

от него.

– Нет, нет! – возражала она. – Мне и так стыдно, что я не ушла.

Наконец волосы были приведены в порядок, и они, сев рядом, стали разговаривать спокойней, хотя не отрывая глаз друг от друга.

– Вы и правда хотели мне писать? – спросил Поланецкий.

– Видите, вон порванная бумага...

– Нет, право же, вы слишком ко мне добры!

Она устремила взгляд на полку, висящую над бюро.

– Потому что я перед вами виновата. Кругом виновата! – И, подумав, что еще недостаточно великодушна, прибавила, покраснев и опустив глаза: – Потому что пан Васковский прав, говоря... что ученье...

У Поланецкого было одно желание: опуститься перед ней на колени и ноги ей целовать. Красота ее и доброта окончательно его сразили и покорили.

– Я пропал, совсем пропал! – вскричал он, облекая в слова свое чувство. – Вы будете вертеть мной, как захотите!

Она затрясла головой и весело рассмеялась.

– Ой, не знаю! У меня характера не хватит.

– Это у вас-то? Послушайте, я расскажу вам одну презабавную историю. В Бельгии познакомился я с двумя сестрами по фамилии Уотерс. У них был кот Мату, которого они обе обожали. Ласковый такой, кажется, мухи не обидит. И вот одной подарили ручного зайца. И что вы думаете? Кот его так боялся, что со страху прыгал на шкафы, на печь, куда попало. И вот пошли они как-то погулять и по дороге спохватились, что кот с зайцем остались. «А не обидит его Мату?» – спрашивает одна сестра другую. «Мату? Да у него поджилки от страха трясутся», – и спокойно идут себе дальше. Возвращаются через часок, и... угадайте, что случилось? От зайца одни уши остались! Вот и с женщинами так же. Делают вид, будто нас боятся, а потом от нас – рожки да ножки.

И Поланецкий рассмеялся, а Марыня вторила ему.

– И от меня рожки да ножки останутся, я уж знаю, – прибавил он, сам, впрочем, не веря себе, убежденный, что у них все будет иначе.

– Нет, у меня характер не такой, – задумчиво ответила Марыня.

– Тем лучше, – заметил Поланецкий. – Знаете, жизненный опыт подсказывает мне, что верховодит обычно тот, кто эгоистичней.

– Или кто меньше любит.

– Это одно и то же. Про себя одно могу сказать: свяжи меня жизнь с какой-нибудь мегерой, я бы ее вот как в руках держал (он растопырил пальцы и сжал их в

кулак). Но с такой голубкой, как вы, совсем другое дело. С вами, боюсь, придется воевать, чтобы вы не слишком забывали о себе, думая о других. Такая уж у вас натура – я знаю, кого в жены беру. Впрочем, не только я так считаю, вон Машко, не бог весть какой мудрец, и тот сказал: «Она с тобой может быть несчастлива, но ты с ней – никогда». И он прав. Интересно, как он со своей женой будет обращаться. У него ведь рука твердая.

– Он сильно влюблен?

– Не так, как недавно, когда вы с ним кокетничали.

– А он заслужил примерным поведением, не то что некоторые.

– Машко и эта Краславская – странная пара. Она недурна собой, несмотря на бледность и на свои красные глаза. Но Машко женится из-за денег. Он думал, она его тоже не любит, и после дуэли с Гонтовским (тоже нашелся рыцарь!) не сомневался, что они воспользуются случаем и порвут с ним. Оказалось, ничего подобного, и представьте, теперь его тревожит, что все складывается слишком уж благополучно... Ему это кажется подозрительным. Вообще тут много загадочного. Говорят, отец невесты жив... Бог его знает!.. Нелепость какая-то. Счастья там не будет, во всяком случае, как я себе его представляю.

– А как вы представляете?

– По-моему, счастье – это когда жене во всем доверяешь, вот как я вам, и ясно видишь жизненную цель.

– А по-моему, счастье – быть любимой; во это еще не все.

– Что же еще?

– Быть достойной любви и... – запнулась Марыня, ища нужных слов, и докончила: – Мужа уважать... И трудиться вместе с ним.

ГЛАВА XXVIII

Поланецкий не ошибался. У Машко все шло настолько гладко, невеста и будущая теща вели себя так примерно, что это повергало его во все большее беспокойство. Он сам подсмеивался над своими страхами, но однажды, поскольку с некоторых пор не имел секретов от Поланецкого, заявил ему с цинической откровенностью:

– Они сущие ангелы, но у меня от их доброты волосы дыбом встают. Сдается мне, здесь что-то неладно.

– Ты лучше бога благодари!

– Нет, слишком уж они добродетельны! Никаких недостатков, даже тщеславия. Вчера, например, объясняю им, что адвокатскую практику веду из убеждения, что в наши дни даже выходцы из лучших семей должны делать что-то, работать, служить. Угадай, что они ответили? Что это, дескать, занятие ничуть не хуже другого и любой труд почетен, а стыдиться его могут только люди пустые и никчемные. Целый фейерверк общих мест выпустили, так что мне тоже захотелось подпустить

какую-нибудь прописную истину вроде: «Добродетель – превыше всего», и тому подобное. Нет, что-то тут нечисто, уж поверь мне. Я думал, причина в папаше, но, оказывается, нет. У меня уже есть о нем кое-какие сведения: живет в Бордо, прозывается мосье де Лангле, у него семья – незаконная, но большая, которую он содержит на средства, посылаемые пани Краславской.

– Ну и чем тебе это мешает?

– Мне? Ничем.

– Если так, то несчастные они женщины, больше ничего.

– Да, если б их доход равнялся их несчастью. Я ведь в стесненных обстоятельствах, не забывай. Если же они и вправду состоятельные и вообще такие, какими кажутся, я еще, пожалуй, влюблюсь, что достаточно глупо. А если у них ничего нет – тоже могу влюбиться, что уже глупее глупого. Барышня начинает мне нравиться.

– Ты не прав, это совсем не глупо. Только помни о своих делах и немножко о моих. Приближается срок платежа, а я, как тебе известно, в таких вопросах непреклонен.

– Я еще не совсем выдохся, кредит имею. А вы все-таки обеспечены ипотекой. Впрочем, на днях у Краславских званый вечер, будет оглашена наша помолвка, после чего я рассчитываю узнать о них что-нибудь подостоверней. Нет, чтобы такой деловой человек, как я, и кинулся головой в омут... Просто уму непостижимо, – продолжал Машко свой монолог. – С другой стороны, даже у самых осведомленных людей нет и тени сомнения в состоятельности Краславских. Вот только это их благородство настораживает!..

– Твои опасения скорее всего необоснованны, – перебил с некоторым раздражением Поланецкий. – Хотя не такой уж ты и деловой человек, милый мой, все из себя барина строил и до сих пор строишь, вместо того чтобы просто заработок искать.

Через несколько дней у Краславской действительно состоялся раут по случаю помолвки дочери с Машко; была звана и Марыня – Краславская, которой импонировали Плавицкие с их знатной родней, не уклонялась от знакомства с ними, не то что с Бигелями. Машко пригласил своих приятелей, блиставших больше именами, чем умом, – все молодых людей с моноклями в глазу и прямым пробором в волосах. Были среди них пять братьев Выжей: Мизя, Кизя, Бизя, Брелочек и Татусь, прозванных «спящими красавицами», потому что оживали они только на масленицу, на время балов, когда энергично работали ногами, а потом на весь пост опять впадали в спячку, во всяком случае, умственную. Букацкий любил их и все над ними потешался. Приглашен был также барон Кот, который, узнав случайно, что жил в незапамятные времена некий Кот из Дембна, стал прибавлять каждый раз, когда его представляли: «из Дембна», и на все, что ему ни говорили, отвечал: «Quelle drôle d'histoire!»[30 – Вот забавная история! (фр.)] Машко был со всеми ними на «ты», хотя и несколько третировал, – так же, как Коповского, молодого человека с красивой прической и столь же красивыми, но совершенно бараными глазами. Из людей более солидных были Поланецкий и Кресовский. Пригласила Краславская и десяток дам с дочками – за ними с привычной небрежностью ухаживали братья Выжи, но девичьи их сердца замирали лишь при приближении гамлетичного Коповского, чей ум вполне мог уместиться в «ореховой скорлупке», – на том и кончалось его сходство с Гамлетом, но их это не смущало. Несколько плешивых стариков дополняли собравшееся в гостиной общество.

Невеста в белом платье была хороша необыкновенно, не портили ее даже красные глаза. Загадочное, сонное выражение сообщало ее лицу какую-то особенную женственность и прелесть. Чем-то она напоминала картины Перуджино. Внезапно оживляясь, она вспыхивала, как лампа матового стекла, но быстро угасала, что, впрочем, не лишало ее очарования. В тот вечер в легком белом платье она казалась привлекательней обычного. И Поланецкий отметил про себя: эта женщина с холодным сердцем и холодным умом – вполне подходящая жена для такого вот Машко, для которого тоже важнее всего светские приличия. Уже сейчас можно предсказать: их супружеская жизнь уподобится прохладному серому дню, когда солнце не греет, но зато и грозы можно не опасаться. Вот сидят оба в углу гостиной, в стороне от остального общества, но не дальше, чем предписывается правилами хорошего тона, и внимания оказывают друг другу ровно столько, сколько полагается; Машко с ней нежен, но в меру, в его обхождении угадывается прежде всего желание выглядеть вполне correct[31 - корректно (фр.)], – и она платит ему той же монетой. Любезно улыбаются, заглядывают друг дружке в глаза, он разговорчивей, как и пристало будущему главе семейства; словом, являют собой самую идеальную и образцовую пару, если подходить со светскими мерками. «Я бы не выдержал такой пытки», – думал Поланецкий. И вдруг вспомнил беднягу доктора, который так любил ее, а теперь гниет в могиле где-то в тропиках, всеми позабытый, будто его и не было на свете, а она сидит себе невозмутимая, вся в белом, со светской улыбкой на устах. Его взяла злость. Он не просто порицал ее спокойствие, ему претила бесчувственность, эта летаргия души, недуг, еще недавно столь модный и громогласно превозносимый поэтами, почитаемый за нечто демоническое, но с тех пор изрядно опошлившийся и ставший верным признаком умственной и моральной нищеты. «Дура самая настоящая, и еще бессердечная притом», – подумал он. И понял, почему Машко не верит в их благородство, и Машко сразу вырос в его глазах как проницательный и умный человек.

Затем он принялся сравнивать с Краславской свою невесту и с удовлетворением установил: «Нет, Марыня на нее не похожа». Глядя на нее, он отдыхал душой. Краславская была словно тепличный цветок, лишенный притока вольного воздуха, а от Марыни веяло свежестью и силой. Но, даже подходя со светскими мерками, сравнение оказывалось в пользу Марыни. Поланецкий не был противником так называемой светскости, которая если не всегда, то часто свидетельствовала, по его понятиям, о душевном благородстве, особенно у женщин. И, переводя взгляд с одной на другую, пришел к заключению, что Краславской светскость привита воспитанием, отчего она держится несколько неестественно, а у Марыни это врожденное. Это натура ее, родовая суть, облагороженная вековой культурой, у Краславской же – наружность, наряд. Не во всем соглашаясь с Букацким, но отдавая должное меткости его суждений, он вспомнил, как тот говорил: женщин, независимо от происхождения, можно разделить на патрицианок, у которых культура, нормы поведения, духовные потребности в самой крови, и на плебеек, для кого все это нечто вроде мантильи, накидываемой к приходу гостей.

И, любясь благородным профилем Марыни, Поланецкий с самодовольством парвеню, который женится на княжне, подумал, что будущая его жена в полном смысле слова патрицианка. К тому же патрицианка красивая. Женщине, чтобы заблестеть, недостает подчас фона да капельки счастья. Так и Марыня, после Литкиных похорон показавшаяся Поланецкому чуть не дурнушкой, поражала теперь своей красотой. По сравнению с ней Краславская была точно линиятое платье рядом с новым, и, если бы приданое Марыни могло тягаться с ее внешностью, она прослыла бы здесь первой красавицей. Братья Выжи, вздевая пенсне на носы, уже и так с интересом обращали к ней свои лошадиные лица, а барон Кот «из Дембна» развязно заметил: хорошо, что

она помолвлена, а то бы и он «втюрился».

В тот вечер Поланецкий обнаружил, что ревнив, – свойство, которого он раньше за собой не замечал. Причем ревнив совершенно безосновательно: ведь он много раз имел возможность убедиться, что Марыня вне всяких подозрений и ей слепо можно верить. В свое время он ревновал ее к Машко, но то было понятно, а теперь сам становился в тупик: почему так бесит его, что какой-нибудь Коповский с личиком херувима и птичьими мозгами подсаживается к Марыне и из приличия занимает ее дурацким разговором, а она тоже из приличия любезно ему отвечает. «Не может же она, в самом деле, язык ему показать!» – стал он себя урезонивать. Но потом ему показалось, что она больно уж часто к нему поворачивается, слишком ласково смотрит и чересчур благосклонно с ним беседует. И за ужином, сев рядом с ней, он угрюмо молчал, а на вопрос, что с ним, не нашел ничего лучше, как сказать:

– Не хочу портить впечатление, произведенное на вас паном Коповским.

Ей приятно было, что он ревнует, и она, сделав усилие, чтобы не рассмеяться, взглянула на него с притворной серьезностью.

– Вы тоже находите, что в нем что-то есть?

– Еще бы! Когда он по улице идет, можно подумать, что прическу свою несет, проветривает, чтобы ее моль не съела.

– Гадкий ревнивец! – прошептала Марыня, все еще сдерживая смех, но в глазах ее запрыгали веселые искорки.

– Я? Вот уж нет.

– Ну так и быть, перескажу наш разговор. Вчера во время концерта – вы, наверно, слышали – у одного музыканта был каталептический обморок. Кто-то рядом с нами заговорил об этом, и я так, между прочим, спросила у Коповского, приходилось ли ему видеть случай каталепсии. Знаете, что он мне на это ответил? Что у каждого может быть свое мнение. Ну, как вам это нравится? Не правда ли, что-то в нем есть?

Поланецкий, перестав сердиться, рассмеялся.

– Он не понимает, о чем его спрашивают, вот и отвечает невпопад, – сказал он.

Остальную часть вечера они провели вместе в добром согласии. Прощаясь – Плавицкие не могли его подвести в двухместной пролетке, – Марыня спросила:

– Придете к нам завтра обедать, противный вы насмешник?

– Приду, потому что люблю вас, – отвечал Поланецкий, укрывая ей ноги меховой полостью.

– И я вас, – шепнула она ему на ухо, словно сообщая великую тайну.

И хотя он сказал, что чувствовал, слова Марыни были ближе к правде.

Домой Поланецкий возвращался в сопровождении Машко. По дороге говорили о вечере. И Машко рассказал, что перед прибытием гостей попытался было поговорить с

Краславской на деловую тему, но не получилось.

– Была удобная минута, – объяснял он, – и я совсем было решился, конечно, в самой деликатной форме, спросить. Но смелости не хватило. Да и вообще, почему, собственно, сомневаться, что у моей невесты есть приданое? Потому только, что они обходятся со мной лучше, чем я ожидал? Шутки шутками, но я боюсь заходить слишком далеко. Что, если мои опасения окажутся напрасными и деньги у них есть? Тогда моя чрезмерная настойчивость может показаться слишком уж утилитарной. Этого тоже не стоит упускать из вида, чтобы не потерпеть крушения у самой гавани.

– Ну ладно, допустим – и скорей всего это так, – что деньги у них есть. А если нет? Что ты намерен делать? Порвешь с ней или женишься все-таки?

– Нет, в любом случае не порву, потому что ничего не выгадаю. Если свадьба расстроится, все равно меня это от банкротства не спасет. Выложу им начистоту, в каком я положении, и, полагаю, панна Краславская сама мне откажет.

– А если не откажет?

– Тогда влюблюсь в нее и постараюсь как-нибудь поладить с кредиторами. Перестану, как ты говоришь, «барина из себя строить» и примусь зарабатывать на нас обоих. У меня репутация неплохого адвоката. Впрочем, ты знаешь.

– Весьма с твоей стороны похвально, но ни мне, ни Плавицким от этого еще не легче.

– Вы в лучшем положении, чем другие, – у вас на крайний случай остается Кшемень. Ты возьмешь имение в свои твердые руки и сумеешь выжать из него доход. Хуже с теми, кто верил мне на слово; честно говоря, это меня больше волнует. Я пользовался полным доверием – и до сих пор еще пользуюсь... Это мое самое больное место; но если б немножко подождали, выкрутился бы как-нибудь... А капелька семейного счастья только помогла бы работать...

Машко не закончил: они были у дома Поланецкого. Но перед тем как попрощаться, он сказал вдруг:

– Я знаю, в глубине души ты меня считаешь мошенником. Но я честней, чем тебе кажется. Да, я важного барина из себя строил, как ты выражаешься, мне ужом приходилось изворачиваться, не всегда идти к цели прямым путем. Но я устал ловчить и, честно говоря, истосковался по счастью, которого в жизни не имел. Поэтому и хотел жениться на твоей теперешней невесте, хотя у нее нет состояния. А что до панны Краславской, веришь ли, иногда мне хочется, чтобы и у нее не оказалось денег, но чтобы она не отвернулась от меня, узнав, что и я весь тут. Честное слово... Ну, спокойной ночи!

«Ну и ну! – подумал Поланецкий. – Это что-то новое».

Войдя в ворота, он в удивлении остановился перед своей квартирой: оттуда доносились звуки фортепиано. Это оказался Вигель, который ждал его уже часа два, по словам слуги.

Сперва Поланецкий встревожился, но рассудил, что он не стал бы играть, случись что-нибудь. И действительно: Бигелю срочно понадобилась его подпись по делу,

которое предстояло завершить завтра утром.

– Чего же ты не оставил бумагу и не пошел домой спать? – спросил Поланецкий.

– А я уже поспал у тебя на диване, а потом сел поиграть. Когда-то я изрядно играл на фортепиано... не хуже, чем на виолончели, но сейчас пальцы не слушаются. Твоя Марыня, кажется играет. Когда в семье музицируют, это приятно!

– Моя Марыня? – засмеялся своим добрым, сердечным смехом Поланецкий. – Моя Марыня играет совсем по евангельскому изречению: «Не ведает левая, что творит правая». Она, бедняжка, ни на что не претендует, играет, разве уж очень попросят.

– Ты вроде бы подтруниваешь, но так трунят только влюбленные.

– А я и есть самый настоящий влюбленный. По крайней мере, мне так кажется. И в последнее время все чаще, должен тебе сказать. Выпьешь чаю?

– Пожалуй. Ты от Краславских?

– Да.

– Ну и как там Машко? Пристает наконец к берегу?

– Мы только что расстались. Он меня проводил до самого дома. Машко – он иной раз такое скажет... Кто бы ожидал.

Обрадовавшись собеседнику – ему давно хотелось поговорить по душам, – Поланецкий пересказал Бигелю свой разговор с Машко, выразив удивление относительно того, что даже такому человеку не чужды романтические порывы.

– Он не мошенник, – сказал Бигель, – он только еще вступил на этот скользкий путь, и все из-за тщеславия и боязни, что скажут в свете. Но, с другой стороны, эта боязнь и спасает его от окончательного падения. А что до романтических порывов... – Бигель откусил кончик сигары, осторожно поднес к ней спичку, закурил, наморщив лоб, затем сел поудобней и продолжал: – Букацкий отпустил бы в связи с этим десяток иронических замечаний насчет нашего общества. Он вот издевается над тем, что мы не можем жить без привязанностей, – помнится, ты так мне говорил. Считает, что это глупо и бессмысленно, а по-моему, это добрый знак. Каждый должен в жизни что-то совершить, а мы что можем? Денег у нас нет, практического ума и дальновидности мы почти лишены, хозяйствовать не умеем; единственно, что нам дано, – кого-то или что-то любить: дар почти неосознанный, скорее настроение, склонность или потребность. Я ведь, знаешь, человек деловой, положительный, здраво на вещи смотрю. И об этом только из-за Букацкого говорю.. Потому что в другой стране твой Машко был бы шельма первостатейный. Я много знаю таких. А у нас и под личиной мошенника что-то человеческое можно обнаружить – и ничего удивительного тут нет! Ибо пока в душе тлеет хоть искра добра, ты еще не совсем оскотинился, а в нас есть эта искра благодаря потребности любить.

– Ты мне Васковского напоминаешь. То, что ты говоришь, очень похоже на его теорию о миссии славян как самого молодого европейского народа.

– Васковский тут ни при чем! Я говорю, что думаю. И убежден: без этого мы на части распадаемся, как бочка без обруча.

– Послушай, что я тебе скажу. Я давно это для себя решил. Любить или не любить что-то или кого-то – это каждый вправе выбирать. А вот вообще не любить, ничего и никого, – нельзя. Я много думал об этом. После смерти Литки казалось мне и кажется иногда до сих пор, будто что-то во мне перегорело. Бывают минуты – не знаю, как тебе объяснить, – апатии, опустошенности, сомнения меня одолевают, и если я все-таки женюсь, то поступаю сознательно, чтобы эта неопределенная потребность в любви получила твердую, реальную почву...

– Не только поэтому, – возразил неумолимо логичный Бигель, – ты ведь не из чисто рассудочных побуждений женишься. Невеста твоя – славная, красивая девушка, тебя к ней влечет, и не внушай себе, будто это не так, а то я и тебя в притворстве заподозрю... А сомнения, милый мой, это перед женитьбой вещь обычная. Вот я, вроде бы никакой не философ, а перед свадьбой раз по десять на дню себя спрашивал: крепко ли я свою невесту люблю? И так ли, как надлежит? И может это не любовь, а страсть? Бог знает что выдумывал! А женился – жена мне попалась хорошая – и успокоился. И вам с Марыней будет хорошо, только не надо усложнять, в себе копать, свои ощущения анализировать, это самое последнее дело.

– Может, и так, – отвечал Поланецкий. – Я не из числа тех, кто, лежа кверху брюхом, с утра до вечера копается в себе, но все же нельзя на некоторые факты глаза закрывать.

– На какие факты?

– На такие, например, что вначале мое чувство к Марыне было иным. Надеюсь, оно снова станет прежним, к этому, кажется, идет. Женюсь я вопреки этим своим наблюдениям, закрываю на них глаза, но совсем откинуть их не могу.

– Ну что ж, дело твое.

– Но еще я считаю, что лучше пусть окна выходят на солнечную сторону, иначе в квартире будет холодно.

– Вот это ты хорошо сказал.

ГЛАВА XXIX

Зима между тем пошла на убыль, пост близился к концу, а тем самым приближался и срок свадьбы как Поланецкого, так и Машко. Приглашенный шафером Букацкий прислал Поланецкому письмо, в котором, между прочим, говорилось: «Выводить высшую творческую силу из естественного состояния абсолютного покоя и принуждать ее при помощи брака воплощаться в крикливое земное существо, которому потребна люлька и которое развлекается тем, что засовывает в рот большой палец ноги, преступно. Однако же, поскольку у вас топят лучше здешнего, я приеду».

И действительно, за неделю до праздников он приехал и привез в подарок Поланецкому искусно изукрашенный листок пергамента, вроде извещения о смерти, на котором под соответствующей эмблемой – песочными часами – значилось: «Станислав Поланецкий после продолжительной и тяжелой холостяцкой жизни...» и т. д.

Подарок понравился Поланецкому, и назавтра около полудня он понес его показать

Марыне. У него совершенно вылетело из головы, что было воскресенье, и, заранее предвкушая, как приятно они проведут время до обеда, он был огорчен и разочарован, увидев Марыню в шляпе.

– Вы уходите? – спросил он.

– Я в костел. Сегодня ведь воскресенье.

– Верно! Как же это я забыл? А я думал, мы вместе посидим... Так было бы славно...

– А служба божия? – спросила она просто, подняв на него свои спокойные голубые глаза.

Поланецкий не придал ее словам особого значения, не предполагая, что в духовном перерождении, которое ему суждено будет пережить, они именно бесхитростностью своей окажут на него определенное действие.

– Служба божия, – повторил он машинально. – У меня есть время, пойдете.

Марыня искренне обрадовалась.

– Чем я счастливей, тем сильнее верую, – призналась она по дороге.

– Это знак душевного здоровья, другие только в беде про бога вспоминают.

В костеле Поланецкому опять пришло на мысль то, о чем уже думалось ему в Вонторах, где в первое его посещение Кшеменя были они с Плавицким у обедни: «Философские учения и школы проходят бесследно, а служба – службу правят по-прежнему». В этом было для него что-то необъяснимое. Тяжело пережив смерть Литки, он постоянно возвращался мыслями к этим загадочным вопросам. Стоило только оказаться на кладбище, в костеле или в иных каких-то обстоятельствах, не связанных прямо с повседневностью, как он задумывался о загробной жизни. И его поражало, что, несмотря на все философствование и сомнения, люди живут, словно заранее уверенные в этой будущей жизни. Как много делается во имя ее; сколько мелких эгоистических желаний подавляется, сколько воздвигнуто костелов, больниц, приютов, домов призрения в надежде, что за это воздастся на небесах.

Еще сильнее его поразило соображение: ведь чтобы примириться с жизнью, надо сперва примириться со смертью, а без веры в какое-то загробное воздаяние возможно ли это? Когда же веришь, вопрос отпадает сам собой, будто его и не было. Живи себе и радуйся жизни. Ибо если так, чего еще желать? Впереди иное бытие, манящее хотя бы уже своей неведомостью, и надежда на это несет мир и покой. Пример тому Марыня. Из-за близорукости она низко склонялась над молитвенником, но, едва поднимала лицо, Поланецкий видел на нем такую безмятежность, отрешенность, просветленность – поистине ангельские. «Вот она счастлива и всегда будет счастлива, – говорил себе Поланецкий, – к тому же еще и умница; потому что, будь правда на противоположной стороне, исканье ее давало бы хоть какое-то удовлетворение, а так... Изводиться из-за неразрешимых загадок просто глупо».

Поланецкий не мог забыть выражения Марыниного лица и сказал на обратном пути:

– В костеле вы напомнили мне Фра Анджелико. У вас было такое безмятежное и счастливое выражение.

– А я и на самом деле счастлива. И знаете, почему? Потому что я сейчас лучше. Прежде я таила в сердце обиду и неприязнь и никакой надежды впереди, так было горько, даже вспомнить страшно! Говорят, несчастье облагораживает, но я, видно, не отношусь к таким избранным натурам. Не знаю, может, и облагораживает, но горечь, обида, озлобленность отравляют, как яд...

– А вы очень меня ненавидели?

– Очень. По целым дням только и думала о вас, – взглянув на него, ответила Марыня.

– В пронизательности Машко не откажешь, – заметил Поланецкий. – Он сказал как-то: «Она не меня любит, а тебя ненавидит».

– Ой, да! Вот уж ненавидела...

За разговором они дошли до дома. Поланецкий не мог отказать себе в удовольствии показать Марыне пергамент. Но ей шутка не понравилась. Брак был освящен в ее представлении не только чувством, но и религией. «Таковыми вещами не шутят», – сказала она, признавшись, что Букацкий ей неприятен.

Букацкий явился после обеда. За несколько месяцев, проведенных в Италии, он отощал еще больше, что говорило явно не в пользу кьянти, якобы исцеляющего от катара желудка. Нос его заострился наподобие кончика ножа, а уморительное, с кулачок, иронически улыбающееся личико стало словно фарфоровое. От приходился родней и Поланецкому, и Марыне и потому без стеснения нес всякий вздор. Прямо с порога заявил, что ввиду участвовавших везде случаев помешательства помолвка их нисколько его не удивляет, хотя огорчает, и приехал он в надежде еще спасти их, но теперь видит, что поздно и остается только смириться. Марыня рассердилась.

– Побереги свое остроумие для свадебного застолья, – укорил и хорошо к нему относившийся Поланецкий. – Скажи лучше, как поживает Васковский?

– тоже помешался, – с серьезным видом заявил Букацкий.

– Так нельзя шутить, – возразила Марыня.

– И совсем это не смешно, – прибавил Поланецкий.

– Да, помешался, – все с той же серьезностью продолжал Букацкий. – Вот вам доказательства: во-первых, расхаживает по Риму без шляпы, вернее, расхаживал, сейчас он в Перуджии, во-вторых, накинулся на одну хорошенькую молодую англичанку, доказывая, что англичане только в частной жизни следуют евангельским заветам, а в отношении Ирландии ведут себя не по-христиански, в-третьих, он печатает брошюру, где утверждается, будто миссия возродить и обновить историю посредством христианства возложена на самое юное арийское племя. Согласитесь, что доказательства веские.

– Это мы знали еще до его отъезда и, если больше с ним ничего не случилось, надеемся, что увидим его в добром здравии.

– А он не собирается возвращаться.

Поланецкий вынул записную книжку, написал несколько слов карандашом и протянул Марыне со словами:

– Прочтите и скажите, согласны ли вы?

– Ну, если в моем присутствии начинают обмениваться записками, то я уйду, – сказал Букацкий.

– Нет, нет, это не секрет!

Марыня покраснела от удовольствия и, словно не веря глазам, стала спрашивать:

– Да? Это правда?..

– Зависит только от вас.

– Ах, пан Стах, я даже мечтать об этом не смела. Пойду папе скажу.

И выбежала из комнаты.

– Будь я поэтом, я бы повесился, – сказал Букацкий.

– Почему?

– Если несколько слов, нацарапанных компаньоном торгового дома «Бигель и К°», могут произвести впечатление сильнее самого совершенного сонета, лучше в подмастерья к мельнику идти, чем писать стихи.

Марыня на радостях забыла записную книжку, и Поланецкий подал ее Букацкому.

– Прочти, – сказал он.

– «После свадьбы – Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, согласны?» – вслух прочел Букацкий. – Итак, путешествие по Италии?

– Да. Представь, бедняжка еще не была за границей; Италия кажется ей заколдованным царством, куда вступить ей не дано. Это для нее большая радость, а мне доставить ей удовольствие хочется, черт возьми!

– Любовь и Италия! Боже мой, неужто тебе это еще не надоело! Ведь это старо, как мир.

– Неправда! Влюбись, и увидишь все в другом свете.

– Я, милый мой, свое отлюбил и больше не влюблюсь. Загадка сфинкса давно уже разгадана мной и больше не соблазняет.

– Женись, Букацкий!

– Не могу – по причине слабого зрения и больного желудка.

– Какое это имеет отношение к женитьбе?

– Видишь ли, женщина – это как лист бумаги, с одной стороны он исписан ангелом,

с другой чертом, бумага просвечивает, слова сливаются – получается каша, которой ни разобрать, ни переварить.

– Как ты можешь всю жизнь шутить?

– Женатый, холостой – все равно от смерти не уйдешь. Мы иной раз о ней позабываем, да она-то о нас нет.

Тут вернулась Марыня с отцом, который тотчас заключил Поланецкого в объятия.

– Марыня мне сказала, что вы после свадьбы в Италию собираетесь.

– Да, если будущая моя повелительница не возражает.

– Не только не возражает, – подхватила Марыня, – но от радости совсем голову потеряла и на одной ножке прыгать готова, как будто ей десять лет.

– Если благословение одинокого старца будет вам споспешествовать в далеком путешествии, то благословляю вас, – произнес Плавицкий, возводя очи горе и подымая длань на потеху Букацкому.

Но Марыня, схватив отцовскую руку, со смехом поцеловала ее.

– Папочка, ты еще успеешь, мы ведь только после свадьбы собираемся.

– И вообще, что особенного, – прибавил Букацкий, – купили билет, сдали вещи в багаж – и вся недолга. Садись да поезжай.

– Вы уже до того дошли, что благословение одинокого старца и отца почитаете излишним? – патетически спросил Плавицкий циника.

Букацкий обнял его вместо ответа за плечи и, поцеловав в жилетку, сказал:

– А не хотите, одинокий старец, в пикет сыграть? А эти двое безумцев пускай всласть наговорятся.

– Но с Рубиконом?.. – осведомился старик.

– С чем вам только будет угодно, – ответил Букацкий и предложил молодой паре: – Давайте я буду вашим чичероне в Италии.

– Боже избави, – отвечал Поланецкий. – Я только в Бельгии и Франции побывал, в Италии не довелось, но хочется посмотреть, что покажется интересным нам, а не тебе. Знаю я таких оригиналов, для вас искусство – только предлог порисоваться своими познаниями. – И продолжал, обращаясь к Марыне: – Да, да, вот до чего доходят. Великого в своей простоте искусства они не понимают, им подавай что-нибудь поизысканней, чтобы пощекотать свой пресыщенный вкус и ученость свою продемонстрировать. Они за деревьями леса не видят. Их не великие произведения привлекают, которыми станем любоваться мы, а ничтожные, о которых никто не слышал; откапывают какие-то никому не ведомые имена, рассуждают с ученым видом о разных живописных манерах, вбивая себе и другим в голову, что вещи слабые и недотянутые лучше сильных и совершенных. Воспользоваться его услугами – значит проглядеть храмы, таращась в лупу на мелочи какие-то. Все это снобизм, пресыщенность, изощренность, а мы люди простые, вот что я вам скажу.

Марыня с гордостью смотрела на своего жениха, точно желая сказать: «Видите, как умно!» И гордость ее еще возросла при словах Букацкого:

– Ты совершенно прав. – Но тут же он прибавил: – Но будь ты даже неправ, этот суд все одно решит дело в твою пользу.

Это задело Марыню.

– Простите, не настолько уж я ослеплена.

– А я – вовсе не знаток искусства.

– Нет, знаток.

– А если так, то да будет вам известно, что доскональное, в подробностях знание предмета вовсе не исключает любви к искусству, поэтому верьте мне, а не Поланецкому.

– Нет! Я верю пану Стаху.

– Что и требовалось доказать, – отпарировал Букацкий.

Марыня растерянно переводила взгляд с одного на другого. Из затруднения ее вывело появление отца с картами. Жених с невестой стали рука об руку прохаживаться по комнатам. У Букацкого вид был скучающий, и скоро скука завладела им окончательно. Под конец вечера настроение у него совсем упало; маленькое его личико сморщилось еще больше, нос заострился сильнее, и он стал похож на увядший лист.

– Ты чего скис? – спросил Поланецкий, выходя от Плавицких.

– Да я ведь как паровоз, – отвечал Букацкий, – пока с утра есть топливо, еду, а к вечеру кончается – останавливаюсь.

– Какое же топливо ты предпочитаешь? – спросил Поланецкий, глядя на него испытующе.

– Разное есть. Идем ко мне, крепким кофе тебя угощу, это нас освежит.

– Прости, может, это не деликатно с моей стороны, но мне кто-то говорил, будто ты давно уже к морфию пристрастился.

– Совсем недавно, – отвечал Букацкий. – Но знал бы ты, какие манящие дали открываются.

– Побойся бога, ведь это вредно!

– Да, вредно. А тебе незнакома такая вещь, как тоска по смерти?

– Нет, – отвечал Поланецкий. – Я уж скорее тоскую по жизни.

С минуту они помолчали.

– Не беспокойся, ни морфия, ни опиума не стану тебе предлагать, – первым нарушил молчание Букацкий. – Угощу тебя крепким кофе и настоящим бордо. Оргия вполне невинная.

Квартира Букацкого была жилищем человека богатого, немного удручающим своей неуютностью, но полным всяких художественных вещиц, картин и гравюр. В комнатах горели лампы, – Букацкий, даже когда спал, не выносил темноты.

На столе появилось вино, в спиртовке под кофейником вспыхнуло голубое пламя.

– Глядя на меня, – растянувшись на диване, сказал вдруг Букацкий, – на такого хрупкого и изможденного, ты небось не подозреваешь, что смерти я несколько не боюсь.

– Зато подозреваю, что своими вечными шуточками ты просто обманываешь себя и других, а по сути все это напускное, несвойственное тебе.

– Нет, отчего же, меня забавляет человеческая глупость.

– Если ты считаешь себя умней других, почему же ты так бестолково устроил свою жизнь? – спросил Поланецкий и, пообеда взглядом книги, картины, прибавил: – Несмотря на эту обстановку, живешь ты довольно-таки бестолково.

– Не спорю.

– И ты тоже притворяешься! Какое-то повальное заболевание всего нашего общества. Ты просто позер!

– Может быть. Но это постепенно становится второй натурой.

Оживясь от выпитого вина, Букацкий стал разговорчивей, хотя прежняя веселость к нему не вернулась.

– Видишь ли, перед собой, по крайней мере, я ничуть не притворяюсь, – заметил он. – И все, что могут обо мне сказать, я давно уже обдумал и сказал себе сам. Жизнь веду самую нелепую и никчемную, хуже не придумаешь. Но вокруг меня зияющая пустота – и я боюсь ее, вот и заполняю всей этой дребеденью, чтобы отогнать страх. Смерти-то можно не бояться: умереть – значит ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Но это другое. После смерти я сам буду частью этой пустоты, но ощущать ее при жизни, постигать умом, осознавать... Ей-богу, преподанная штука! К тому же со здоровьем дело швах, на исходе последние силы. Огонь едва во мне тлеет, вот и приходится его искусственно поддерживать. И никакого позерства или притворства, как ты говоришь, тут нет. А что, разжегши огонь, я воспринимаю жизнь юмористически, так ведь и больной лежит на том боку, на каком ему удобней. Мне так удобней; поза, может быть, искусственная, согласен, но всякая иная будет причинять мне боль, только и всего.

– А почему бы тебе делом каким-нибудь не заняться?

– Ах, оставь! Во-первых, я много чего знаю, да ничего не умею, во-вторых, болен, в-третьих, не советуй паралитику, у которого ноги отнялись, ходить побольше. Давай на этом поставим точку! Выпей лучше, и давай о тебе поговорим. Панна Плавицкая – хорошая девушка, и ты правильно делаешь, что женишься на ней. Что я днем болтал – это все не в счет! Она славная и любит тебя... – И, придя в еще

большее возбуждение от вина, Букацкий продолжал торопливо: – То, что я днем болтаю, не в счет! Сейчас ночь, мы с тобой выпили, и хочется поговорить по душам. Тебе вина или кофе? Люблю этот запах: мокро пополам с цейлонским... Да, охота по душам поговорить! Так вот, взгляды мои в общем тебе известны. Не знаю уж, какое счастье приносит слава, не испытал, и шансов прославиться никаких: храм в Эфесе давно сожжен... Но думаю, так себе, небольшое, мышонка не прельстит, даже натошак, не только что после плотного завтрака в кладовке... Зато знаю, что такое достаток, поскольку имею небольшое состояние, и попутешествовать успел, сладость свободы вкушать, и женщин узнал, да, черт побери, даже слишком хорошо! И что книги дают, тоже узнал. Кроме того, собрал вот в этой комнате толику картин, гравюр и фарфора... Но слушай, что я тебе скажу: все это ерунда! Вздор! Прах! Ничто – в сравнении с любящим сердцем. Вот мой вывод, итог, только поздно я к нему пришел, в конце жизни, нормальные люди понимают это с самого начала.

Он замолчал, нервно помешивая ложечкой кофе, а Поланецкий вскочил и воскликнул со свойственной ему непосредственностью:

– Ах, скотина! Что ж ты болтал несколько месяцев назад, будто в Италию удираешь, так как там никому до тебя дела нет и тебе все безразличны. Ведь не будешь же ты отпираться?

– Мало ли что я сегодня утром тебе наговорил, тебе и твоей невесте. Сказал, что помешались. А теперь вот говорю: правильно! Ты логики в моих словах не ищи. Языком молоть и правду говорить – вещи разные. Сейчас, после двух бутылок, я правду тебе говорю.

– Ну, это уж ни на что не похоже! Вот она, сермяжная правда! Не дознаешься, пока к стенке не припрешь, – твердил, расхаживая по комнате, Поланецкий.

– Любить – хорошо, – продолжал Букацкий, наливая себе вторую чашку кофе дрожащей рукой, – но быть любимым лучше. Выше ничего нет! Я бы все отдал... Но не обо мне речь. Жизнь – бездарная и плоская комедия, даже неподдельное страдание выглядит в ней иногда пошлой мелодрамой; единственное, что в ней хорошего, – быть любимым. Представь: этого я не испытал, а вот ты не искал, а нашел...

– Не говори так, ты не знаешь, чего мне это стоило.

– Знаю. Васковский рассказывал... Какое это имеет значение. Важно, чтобы ты это ценил.

– Что ты имеешь в виду? Я сам знаю, что меня любят, женюсь – и дело с концом!

– Нет, Поланецкий... – положил Букацкий ему руку на плечо. – Я себя глупо веду, когда дело касается меня, но о других судить могу довольно верно. Так вот, это не «конец», а только начало... Большинство так говорит: «Женюсь – и дело с концом!» – и глубоко заблуждается.

– Что-то слишком сложно для меня.

– Видишь ли, жениться – значит не только брать, но и давать, и женщина должна чувствовать это. Понял?

– Не совсем.

– Не прикидывайся! Женщина должна быть не только собственностью, но и собственницей Сердце за сердце? Иначе все насмарку пойдет. Браки бывают удачные и неудачные. Супружество Машко по многим причинам будет неудачным, – в частности по той, о которой я говорю.

– А он вот другого мнения. Жаль, что сам ты не женился, коли так хорошо осведомлен, как должно поступать.

– Одно дело знать, а другое – сообразно с этим поступать. Будь это одно и то же, мы бы не оступались столько и не ударялись пребольно. И потом, ты представь только меня в роли жениха!

Буцацкий засмеялся своим пискливым смехом. Он развеселился и снова обрел способность видеть все в смешном свете.

– Ты и то смешон будешь в этой роли, что уж обо мне говорить. Умора – животики можно надорвать. Сам через две недели убедишься... Например, будешь одеваться, чтобы в костел ехать. У тебя любовь, предстоящая жизнь на уме, сердце замирает, а к тебе садовник с букетом, и фрак надо надевать, да запонки куда-то подевались, лакированные ботинки не лезут, галстук не завязывается – все разом, полный хаос, сплошная мешанина! Спаси, господи и помилуй! Жаль, милый, тебя, но ты не принимай, пожалуйста, всерьез, что я тут тебе наговорил. Сейчас, кажется, новолуние, оно всегда меня на сентиментальный лад настраивает. Все это чепуха!.. Просто новолуние! Расчувствовался, как овца, у которой ягненка отняли. Будь я неладен, каких банальностей наговорил.

Но Поланецкий встал на дыбы.

– Много я видел разных странностей, но знаешь, что несуразней всего в тебе и тебе подобных? То, что вы, исповедуя полную свободу и не признавая никаких авторитетов, как огня боитесь даже крупницы правды только потому, что ее могли высказать до вас. Слов не хватает, до чего глупо! А что до тебя, мой дорогой, ты не сейчас самим собой был, а минуту назад. А сейчас опять дрессированному пуделю уподобился, который на задних лапках ходит... Но меня и десяток таких пуделей не переубедит; все равно я знаю: мне крупный выигрыш достался в жизненной лотерее.

Рассерженный, покинул он Буцацкого, но по дороге понемногу успокоился.

«Вот они какие! – твердил он про себя. – Вот в чем они признаются, Машко и даже Буцацкий, в минуту откровенности. А я одно знаю: мне выпало огромное счастье, и я уж сумею его сберечь».

Дома взглянул он на Литкин портрет и вслух сказал: «Котеночек ты мой милый!..» И, засыпая, думал о Марыне со спокойной нежностью человека, сознающего, что совершил шаг правильный и серьезный.

Ибо, несмотря на предупреждение Буцацкого, был по-прежнему убежден, что женитьба все разрешит и всем сомнениям положит конец.

ГЛАВА XXX

«Катастрофа», по выражению Буцацкого, наконец наступила. И Поланецкий сам

убедился, что, если бывают в жизни дни, когда совершенно невозможно собраться с мыслями, это прежде всего свадьба. В голове даже не мысли кружились, а какие-то смутные обрывки впечатлений. Главное чувство было: в его жизни начинается новая эра, он принимает на себя серьезные обязанности, выполнять которые должен старательно и добросовестно, но одновременно страшно тревожился, почему до сих пор кареты нет, и, распаляемый тревогой, грозился про себя: «Пусть попробуют опоздать, негодяи, я им покажу!» Минутами же глубоко проникался торжественностью момента, ощущая страх перед будущим и той ответственностью, которую возлагал на себя, и в столь приподнятом настроении намыливал подбородок, не забывая подумать: а не лучше бы ради такого исключительного случая пригласить парикмахера – привести в порядок шевелюру. И все это время мысленно был с Марыней, представляя ее себе так отчетливо, будто она была здесь, рядом. Вот сейчас она одевается, думал он, стоит у себя перед зеркалом, разговаривает с горничной и всем своим существом стремится к нему, а у самой сердце замирает, и, умиленный, он обращался к ней с целым монологом: «Только не бойся, глупенькая, видит бог, я тебя не обижу», видя себя в воображении добрым и снисходительным мужем – и с особым волнением поглядывая на лакированные ботинки возле кресла, на котором лежал сшитый к свадьбе фрак. А время от времени приговаривал себе в ободрение: «Жениться так жениться!» И твердил, что глупо было колебаться: второй такой Марыни на свете не найдешь, – остро чувствуя, как любит ее, и попутно соображая: дождь бы не пошел и в костеле ордена визитинок может быть холодно, хотя погода неплохая, и что лучше повязать белый галстук, чем надевать бабочкой, и что всего через час он будет стоять на коленях рядом с Марыней и нет, пожалуй, обряда важнее венчания, – есть в нем некое таинство, и нечего, черт побери, еще над всякими пустяками голову ломать, все это схлынет через час, а завтра они уедут и заживут размеренной, спокойной супружеской жизнью.

Но внезапно все мысли разлетелись, как стая вспугнутых воробьев, и в голове становилось пусто. И он машинально, одними губами повторял бессмысленные фразы: «Восьмое апреля, завтра среда, где мои часы, завтра среда», спохватываясь и констатируя: «Совсем спятил», после чего разлетевшиеся мысли опять возвращались и принимались стаей кружиться в голове.

Тем делом приехал Абдульский, комиссионер торгового дома «Поланецкий, Бигель и К^о», шафер вместе с Букацким. Татарин родом, с красивым смуглым лицом, он выглядел очень эффектно во фраке и белом галстуке, и Поланецкий выразил надежду, что он и сам вскоре женится. «Рад бы в рай, да грехи не пускают», – возразил тот молча, как в пантомиме, пересчитывая несуществующие банкноты, и заговорил про Бигелей. Детишки, по его словам, рвутся в костел и на свадьбу, но родители берут только двоих старших, а разногласия и распри по этому поводу жена Бигеля пресекла при помощи шлепков. Чадолюбивый Поланецкий был страшно возмущен.

– Я с ними сыграю шутку! Они уехали уже?

– Должно быть, да.

– Вот что: по дороге к Плавицким завернем к ним и прихватим всю ораву. Поставим пани Бигель перед свершившимся фактом.

Абдульский не советовал, но только подлил масла в огонь. Сели в карету, поехали за детьми. Поланецкий был в доме своим человеком, гувернантка не осмелилась ему перечить, и полчаса спустя он, к величайшему ужасу Бигельши, вошел в квартиру во главе стайки Бигелят в домашней одежке, с завернувшимися воротничками, растрепанных, с испуганными, но счастливыми мордашками.

– Детей обидеть хотели? – подбегая к невесте и целуя ей руки в белых перчатках, воскликнул Поланецкий. – Ну, скажите, что я поступил правильно!

Марыня просияла от удовольствия, тронутая этим новым доказательством его доброты, и от души обрадовалась детям; ее забавляло, что гости поглядывали на ее будущего супруга как на чудака. Не омрачал ее радости и растерянный вид Бигельши, которая, торопливо поправляя воротнички, приговаривала: «Вот уж сумасшедший».

Мнение ее отчасти разделял и Плавицкий. Но Марыня с Поланецким были заняты собой и ничего вокруг не замечали. Оба взволновались. Поланецкий смотрел на Марыню, едва узнавая ее. Вся в белом – от тупель до перчаток, с миртовым венком на голове, в длинной фате, она была совсем другая. В облике ее была какая-то торжественная отрешенность, напоминая Литку в гробу, – сравнение это прямо не пришло ему в голову, но его охватила робость перед Марыней в белом; он не мог себя чувствовать с ней так просто, как вчера, когда она была в обычном своем платье.

Однако же он заметил, что выглядит Марыня хуже обычного, – свадебный венок редко красит женщин, к тому же покрасневшее от волнения и беспокойства лицо на белом фоне казалось еще красней. Но, как ни странно, именно это особенно тронуло Поланецкого. И в его добром от природы сердце шевельнулось что-то похожее на жалость и умиление. «И у нее сердечко бьется, наверно, как у пойманной птички», – подумал он и, чтобы успокоить ее, стал говорить ей самые ласковые слова, сам удивляясь, откуда они берутся и как легко слетают с языка. Причиной была сама Марыня, ее видимые трепет и полное доверие, с каким отдавала она сердце и душу, себя, свою жизнь на радости и на горе, до самой смерти, – это и чувствовал Поланецкий, становясь нежнее, ласковей и красноречивей. Держась за руки, они с любовью, с преданностью и верой в будущее смотрели друг другу в глаза. Доверие стало обоюдным. Еще несколько минут – и будущее станет настоящим. Головы их прояснились, беспокойство понемногу улеглось и с приближением венчанья сменилось глубокой сосредоточенностью. Мысли Поланецкого не метались больше стайкой вспугнутых воробьев, осталось только удивление, как это при своем скептицизме он с такой серьезностью относится к предстоящему обряду. Но, в сущности, скептиком он не был. И в глубине души даже сожалел об утрате веры, к которой если и не приобщился вновь, то лишь из-за непривычки да своей душевной ленности. Скептицизм коснулся его лишь поверхностно: так ветер рябит водную гладь, не проникая в глубину. Он отвык от внешней, обрядовой стороны, но это было поправимо и зависело от Марыни, тем более что предстоящее уже сейчас казалось ему столь торжественным, значительным и священным, что он, низко склонив голову, готов был приступить к этому таинству.

Но церковному обряду предшествовала еще одна церемония, по сути не менее торжественная, но Поланецкому претившая: надо было преклонить колени перед Плавицким, которого он не уважал, принять его благословение и выслушать напутственную речь, которую тот, ясное дело, не преминет произнести. «Но коли уж я решил жениться, – стал себе заранее внушать Поланецкий, – то должен все исполнять, что требуется, а какая физиономия будет у этой обезьяны, Букацкого, мне безразлично». И он покорно опустился рядом с Марыней на колени и выслушал напутствие Плавицкого, которое, против ожидания, оказалось кратким. Старик был сам непритворно взволнован, руки у него и голос дрожали, и он с трудом выговорил лишь несколько слов, заклиная Поланецкого не запрещать Марыне хоть изредка приходить помолиться на его могилу, пока она совсем травой не зарастет.

Однако торжественность минуты была в некотором смысле нарушена: Юзек Бигель, видя на глазах у Плавицкого слезы, а Поланецкого и Марыню – на коленях (что у них дома означало наказание, предшествуя часто еще более решительным педагогическим мерам), зажмурился от страха и сочувствия, разинул рот и громко заревел. А поскольку братья и сестры последовали его примеру, к тому же все заторопились в костел, слова Плавицкого о «заросшей могиле» не могли произвести должного впечатления.

В карете, сидя меж Абдульским и Букацким, Поланецкий не вступал в разговор, односложно отвечая на вопросы и рассуждая сам с собой. Через несколько минут, думалось ему, свершится то, о чем мечтал он в последнее время и что вплоть до смерти Литки составляло предмет его горячих, заветных желаний. И опять он внутренне содрогнулся, представив разницу между своими чувствами в недавнем прошлом и теперь. Разница ведь все-таки была. Раньше он стремился и жаждал, а теперь просто как бы соглашался без прежнего пыла. Он даже похолодел от этой мысли, подумав: а что, если у него нет тех нравственных качеств, без которых невозможно строить совместную жизнь? Но он умел справляться с собой и отгонять беспокойство и сказал себе твердо: «Во-первых, сейчас не время думать об этом, во-вторых, реальность не всегда соответствует мечтаниям, это давно известно». А вспомнив предостережение Букацкого – «не только брать, но и давать», – отмахнулся: все это нюансы, подобные тончайшей, паутиной пряже, а жизнь грубее и проще и не обязательно согласуется с априорными теориями. И опять повторил себе, как уже много раз до того: «Женюсь – и дело с концом!» Это вернуло его к действительности, к происходящему вот сейчас, и он ни о чем не думал больше, кроме Марыни, костела и венчания.

А Марыня дорогой потихоньку молилась, чтобы муж был с ней счастлив – и для себя просила капельку счастья, крепко веря в заступничество матери там, на небесах.

Потом сквозь толпу приглашенных и зевак их под руки повели к алтарю, и они, как в тумане, видели знакомые, незнакомые лица рядом и мерцающие свечи впереди. Заметили пани Эмилию в белой наколке сестры милосердия, ее глаза, улыбающиеся сквозь слезы. И оба вспомнили Литку – и в голове промелькнуло, что это благодаря ей идут они сейчас к алтарю. Затем опустились на колени; перед ними возвышалась фигура ксендза, над ними сияли свечи, блистали позолотой иконные лики главного алтаря. Обряд венчания начался. Они стали повторять за ксендзом слова брачного обета, и Поланецкого, который держал Марыню за руку, неожиданно для него самого охватило волнение, какого он не испытывал с тех пор, как мать водила его к первому причастию. И в этой обычной, узаконенной церемонии, в силу которой мужчина обретает право на женщину, в этом единении рук, этом обете почудилось ему присутствие как бы некоей таинственной высшей силы – самого бога, перед которым смиряется душа и трепещет сердце. В тишине раздались торжественные слова: «*Quod Deus, junxit, homo non disjungat*»[32 - Что бог соединяет, человек не разъединит (лат.)], и Поланецкий всем существом ощутил, что Марыня отныне – плоть и кровь его, часть души его, и он для нее тоже. На хорах грянуло «*Veni creator*»[33 - Творец явился (лат.)], и Поланецкие вышли из костела. Но перед тем пани Эмилия успела обнять Марыню и шепнуть: «Благослови вас бог». Они поехали к себе на свадебный обед, а она поспешила на кладбище к Литке с радостным известием, что «пан Стах» обвенчался с Марыней.

Две недели спустя портье гостиницы «Бауэр» в Венеции подал Поланецкому конверт с варшавским штемпелем. Они с женой как раз садились в гондолу, направляясь в храм Санта Мария делла Салуте; была годовщина смерти Марыниной матери, и они заказали там мессу за упокой ее души. Поланецкий опустил письмо в карман, не ожидая из Варшавы никаких важных новостей, и спросил:

- Не слишком ли рано приедем?
- Пожалуй; до службы еще целых полчаса.
- Может, хочешь поехать к Риальто?

Марыня на все соглашалась с радостью. Никогда не бывавшая до того за границей, она жила, как в волшебном сне. От избытка чувств она иногда кидалась вдруг мужу на шею, точно это он воздвиг Венецию и своей красотой город обязан исключительно ему.

- Смотрю и не верю своим глазам, – повторяла она то и дело.

Они направились к Риальто. Благодаря раннему часу движение было небольшое, каналы дремали, день был тихий, неяркий, – один из тех, когда от Канале гранде, несмотря на все великолепие, веет кладбищенским покоем, дворцы кажутся пустыми и заброшенными, а их неподвижное отражение в воде невыразимо печально, будто они канули в вечность. В такие минуты созерцаешь их в молчании, опасаясь словами нарушить лежащую на всем тишину.

Так и смотрела на них Марыня, а менее впечатлительный Поланецкий, вспомнив про письмо, достал его и углубился в чтение.

- А!.. И Машко женился, – сказал он. – Они свою свадьбу справили через три дня после нас.
- Что ты говоришь? – спросила Марыня, моргая глазами, будто только проснувшись.
- Я говорю, моя милая мечтательница, что Машко обвенчался.
- Что мне Машко, когда у меня есть мой Стах, – отозвалась она и, положив голову мужу на плечо, заглянула ему в глаза.

Поланецкий улыбнулся улыбкой человека, который снисходительно позволяет любить себя, принимая это как должное, и, несколько рассеянно поцеловав жену в лоб, продолжал читать; письмо, видимо, его занимало.

- Это форменная катастрофа! – вскричал он вдруг, подскочив, как ужаленный.
- Что случилось?
- У его жены десять тысяч рублей, завещанных дядюшкой. И больше ни гроша.
- Но это совсем немало.
- Немало? Послушай, что он пишет: «Теперь мое банкротство – вещь неизбежная, объявление меня несостоятельным – только вопрос времени». Оба друг в дружке

обманулись, понимаешь? Он рассчитывал на ее состояние, она – на его.

– Хорошо, что есть хотя бы на что жить.

– Да на жизнь-то хватит, но с долгами расплатиться... А это и нас с тобой касается, и твоего отца. Все ведь может пропасть.

– Стах, – не на шутку встревожилась Марыня, – если нужно твое присутствие, давай вернемся... Какой для папы удар!

– Я немедленно напишу Бигелю, чтобы действовал за меня и спас, что можно... Но не принимай, детка, этого так близко к сердцу. У меня хватит на прожиток – и нам, и твоему отцу.

– Ты добрый, Стах!.. – обняла его Марыня за шею. – С таким, как ты, мне не страшно ничего.

– Да и не все еще потеряно... Найдет Машко кредиторов – и вернет нам долг. Может быть, на Кшемень найдет покупателя. Да, вот он пишет как раз, чтобы я Буцацкого спросил, не купит ли, просит его уговорить. Буцацкий уезжает в Рим сегодня вечером, и я его пригласил позавтракать с нами... Что ж, спрошу. Человек он состоятельный, и занятие в жизни появилось бы. А интересно все-таки, как Машко будет жить с женой? Он пишет тут в конце: «Я не скрыл от нее состояния своих дел, она отнеслась к этому спокойно, зато ее мать рвет и мечет». Еще он пишет, что привязался в последнее время к жене, и расстанься они, это было бы для него большим ударом. Ну, да лирика эта мало меня трогает, хотя и любопытно, чем все это кончится.

– Она его не бросит, – заметила Марыня.

– Не знаю. Я тоже сначала так думал, а теперь вот сомневаюсь. Хочешь пари?

– Нет, я вообще не стремлюсь выиграть. Ты, противный, плохо знаешь женщин.

– Напротив, хорошо и потому утверждаю: далеко не все такие, как эта девочка рядом со мной в гондоле...

– В гондоле, в Венеции... со своим Стахом! – отозвалась она.

Тем временем подъехали к собору. Вернувшись от обедни, они застали поджидавшего их Буцацкого в сером в клетку дорожном костюме, который был ему слишком свободен, в желтых ботинках и невообразимой расцветки галстук, повязанном со столь же невообразимой небрежностью.

– Сегодня еду, – сказал он, поздоровавшись с Марыней. – Снять вам квартиру во Флоренции? Или, может быть, палаццо?

– Значит, вы по дороге остановитесь во Флоренции?

– Да. Хочу дать знать в галерее Уффици о вашем приезде, чтобы ковер на лестнице постелили, и черного кофе выпить, – вообще-то в Италии он дрянной, но во Флоренции у Джакозо, на виа Торнабуони, отменнейший... Это единственное, ради чего стоит посетить этот город.

- Почему вам доставляет удовольствие говорить не то, что вы думаете?..
- Нет, в самом деле, я бы вам удобную квартирку приискал на Лунг-Арно.
- Мы сначала поедem в Верону.
- Из-за Ромео и Джульетты? Ну что ж, поезжайте, пока вы еще при этих именах не машете пренебрежительно рукой. Через месяц, пожалуй, поздно будет.

Марыня фыркнула, как рассерженная кошка.

- Стах, не позволяй этому господину меня дразнить.
- Ладно, - ответил Поланецкий, - давай я ему голову отрублю, но только после завтрака.

...Еще не рассвело.

Нас оглушил не жаворонка голос,

А пенье соловья. -

продекламировал Букацкий и спросил у Марыни: - Он написал хоть один посвященный вам сонет?

- Нет...
- Дурной знак!.. Вот у вас балкон выходит на улицу. И он ни разу не появлялся там, внизу, с мандолиной?..
- Нет.
- Плохо ваше дело.
- Да там и встать-то негде - кругом вода...

- Мог бы на гондоле подплыть. У нас, конечно, не так, атмосфера другая, но в Италии, уж кто взаправду влюблен, либо сонеты сочиняет, либо серенады поет. Это установленный факт, объясняется он географическим положением страны, морскими течениями, химическим составом воздуха и воды, так что кто сонетов не пишет и под балконом не поет, тот просто-напросто не любит. Хотите, назову авторитетные сочинения, трактующие об этом предмете.

- Придется, видно, прямо сейчас ему голову рубить, - вставил Поланецкий.

Но до приведения приговора в исполнение дело не дошло, так как завтрак был подан. Они сидели за отдельным столиком, но в зале был и общий табльдот, для Марыни, которую все живо занимало, - добавочный источник впечатлений: еще бы, увидеть самых доподлинных англичан! Было ощущение, будто ты в таких экзотических краях, куда ни одного кшеменьского жителя не занесет и не заносило. Восторженность ее подавала Букацкому и даже Поланецкому повод для беспрестанных шуток, но вместе с тем доставляла неподдельное удовольствие. Букацкий признавался, что вспоминает свою молодость, а Поланецкий окрестил жену полевым цветочком, говоря, что путешествовать с такой, как она, большая радость.

Однако «полевой цветочек», отметил про себя Букацкий, тонко чувствовал искусство и держался очень естественно. Марыне многое было известно по книгам или гравюрам. Но, не зная чего-нибудь, она прямо в этом сознавалась, не повторяя плоских или высокопарных общих мест. Зато уж если ей нравилось что-то, восхищалась прямо-таки до слез. Букацкий то высмеивал ее безжалостно, то уверял, что все так называемые знатоки в шорах, а вот она – истинная ценительница как натура впечатлительная, непосредственная и неиспорченная и будь ей лет десять, ей вообще не было бы равных.

Но на сей раз говорили не об искусстве, а о варшавских новостях.

– Я письмо от Машко получил, – сообщил Поланецкий.

– И я тоже, – сказал Букацкий.

– И ты? Значит, сроки в самом деле подпирают. Нужда, как видно, крайняя. Ну так, стало быть, тебе известно.

– Уговаривает меня купить, прямо закликает, – ну, ты знаешь что, – умышленно не договорил Букацкий, памятуя, что Кшемень был причиной размолвки между Поланецким и Марыней.

– Ах, господи! – догадавшись, отозвался Поланецкий. – Мы раньше избегали даже произносить это слово, это было как прикосновение к ране, но теперь что же, мы муж и жена... Нельзя же всю жизнь бояться этого.

Букацкий бросил на него быстрый взгляд, а Марыня покраснела.

– Стась совершенно прав, – сказала она. – Я знаю, речь о Кшемене.

– Да, о Кшемене.

– Ну и что? – спросил Поланецкий.

– Я не стал бы его покупать уже хотя бы потому, что пани Марине может показаться, будто им перебрасываются, как мячиком.

– Но я и думать забыла о Кшемене, – еще сильнее покраснев, сказала Марыня и посмотрела на мужа.

– Это лишний раз доказывает, какая ты у меня умница, – похвалил он ее, одобрительно кивнув головой.

– Но если пан Машко разорится, – продолжала Марыня, – Кшемень распродадут по частям или он попадет к ростовщику, а это мне было бы неприятно...

– Как же так! – воскликнул Букацкий. – Вы ведь только что сказали, что думать забыли о нем!

Марыня снова взглянула на мужа, на сей раз – растерянно, а он рассмеялся.

– Что, попалась? – И сказал Букацкому: – Видно, ты для Машко якорь спасения.

– Якорь?.. Скорее уж соломинка, ты посмотри только на меня... Кто за такую соломинку схватится, ко дну пойдет. И потом, сам Машко говорил, что меня ничем не проймешь. Может, он и прав. Поэтому мне и нужны сильные ощущения... Если я помогу Машко и он выкарабкается, опять встанет на ноги, то начнет по-прежнему корчить из себя лорда, а его жена – важную даму, и оба будут до отвращения сомне *il faut...* и передо мной в который уже раз разыграется прескучная комедия, вызывающая у меня зевоту. А без моей помощи он разорится, погибнет, произойдет что-то неожиданное, из ряда вон выходящее, даже трагическое, может быть, – а это меня расшевелит. Подумайте сами: за пошлую комедию мне деньги пришлось бы платить, и немалые, а трагедию я смогу задаром посмотреть. Чего же тут раздумывать!

– Фу, как вам не стыдно говорить так! – воскликнула Марыня.

– Я не только говорю, я и напишу ему об этом. Ведь он меня надул самым бессовестным образом.

– Как это?

– А так! Я думал; вот сноб, демонический характер, не ведающий угрызений совести и добрых порывов. А на поверку оказывается, что он не лишен порядочности: хочет расплатиться с кредиторами, любит эту свою куклу с красными глазами, жалеет ее и разлука с ней была бы страшным ударом для него... И у него еще хватает наглости писать мне об этом... Что за народ, ни на кого нельзя положиться!.. Вот почему я за границей, иначе просто невыносимо.

Марыня не на шутку рассердилась.

– Если вы будете такие вещи говорить, я заставлю Стася с вами раззнакомиться.

– Ты и правда готов ради красного словца голову заморочить себе и другим, никогда не рассудишь здраво, по-людски, – пожал плечами Поланецкий. – Пойми, это я тебе советую Кшемень купить, это в моих интересах, да и ты нашел бы себе какое-то дело, занятие...

Букацкий засмеялся.

– Я тебе уже говорил, что предпочитаю делать то, – сказал он, – что нахожу приятным, а так как мне всего приятней ничего не делать, то, не делая ничего, я и делаю самое приятное. Докажи, что это глупо, коли ты умник такой! И потом: я – в роли землепашца!.. Это уж превосходит всякое воображение. Я, кого погода занимает только в одном смысле: зонт брать или трость, и вдруг на старости лет стану, как журавль на одной ноге, в небо поглядывать и гадать, дождь будет или ведро? Мне – и вдруг беспокоиться из-за того, уродится ли пшеница, взойдет ли репа, не загниет ли картофель, успею я убрать горох, сумею поставить Ицыку из Песьей Вольки столько мер зерна, сколько подрядился, не заболют ли мои кони сапом, а овцы – ящуром? Совсем выжить под старость из ума и мямлить через каждые два слова: «сударь мой» и «как бишь его»? *Voyons! Pas si bete!*[34 - Нет уж! Нашли дурака! (фр.)] Мне, свободному человеку, стать *glebae adscriptus*?[35 - приписанным к земле? (лат.)] Чтобы меня «благодетелем» величали и «соседушкой», свойским парнем прослыть, сарматом, ляхом?

И, разгоряченный вином, стал вполголоса цитировать Сляза из «Лиллы Венеды»:[36 - «Л и л л а В е н е д а» – драма польского поэта-романтика Ю. Словацкого (1809 –

1849). П е р е в о д В. Л у г о в с к о г о.]

Тому б я плюнул в очи, кто посмел
Назвать меня вдруг ляхом. Неужели
На лбу моем начертано семь смертных
Грехов, а также пьянство и обжорство,
И грубость, и влечение к гербам.

– Вот и говори с ним! – сказал Поланецкий. – Тем более что отчасти он прав!

Марыня же, приумолкшая с той минуты, как Букацкий стал перечислять сельские заботы, вдруг страхнула с себя задумчивость.

– Когда папа бывал нездоров, – сказала она, – а в Кшемене он чувствовал себя гораздо хуже теперешнего, я помогала ему по хозяйству и понемногу привыкла к этому. И хотя, видит бог, хлопот всегда было довольно, мне хозяйственные дела доставляли такое удовольствие, что и сказать не могу. Сперва я не понимала, почему, но пан Ямиш мне растолковал. Сельским трудом, говорил он, жизнь держится, любой другой – только производный от него или вообще лишний... Позже мне яснее стало многое, о чем он не поминал. Выйдешь весной в поле, глянешь, как зеленеет все, и на душе радость. И я теперь знаю почему. Потому что люди не могут без лжи, а в земле – правда. Ее не обманешь, и она тоже может дать или не дать, но не обмануть... Приверженность к земле – это как к истине, и кто ее любит, того и она научит любить... Роса не только на хлеба, на траву ложится, она и в душу проникает, сердце оттаивает, и человек становится лучше, – ведь правда и любовь к богу приближают. Вот почему я так любила Кшемень.

Невольный испуг, не наговорила ли она лишнего и не рассердился ли ее «Стах», волнение, вызванное воспоминаниями, – все это вдруг отразилось в ее глазах, осветило лицо, юное, как утренняя заря.

Букацкий не отводил от нее взгляда, будто созерцал какой-то неведомый, только обнаруженный шедевр венецианской школы; затем, полуприкрыв глаза, спрятал свое маленькое личико за огромным узлом замысловато повязанного галстука.

– *Delicieuse!*...[37 - Прелестна!.. (фр.)] – прошептал он и, высвободив опять подбородок, прибавил: – Вы правы, совершенно правы...

– Тогда, значит, вы не правы, – логично возразила Марыня, не поддаваясь комплименту.

– Это совсем другое. Вы правы потому, что это вам идет, женщины в таких случаях всегда правы.

– Стась! – обратилась она к мужу за поддержкой.

Столько очарования было в ней в эту минуту, что и он ответил ей восхищенным взглядом; лицо его лучилось улыбкой, ноздри раздувались от волнения.

– Ах, детка! – произнес он, ладонью прикрыв ее руку, и, наклонясь шепотом прибавил: – Будь мы одни, расцеловал бы эти милые глазки и губки.

И в этом таился немалый самообман: недостаточно видеть лишь внешнюю привлекательность, любоваться зардевшимся лицом, глазами, губами, надо было

разглядеть ее душу, а он не разглядел, о чем свидетельствовало его снисходительное: «Ах, детка!» Марыня была для него очаровательной женщиной-ребенком, и большего он в ней не видел.

Между тем подали кофе.

– Так значит Машко ударился в лирику! Да еще после свадьбы, – сказал Поланецкий, чтобы покончить с этим разговором.

– Что после свадьбы, в том нет ничего странного, – ответил Букацкий, залпом выпив горячий кофе, – а вот что Машко... Немножко лирического настроения как раз после свадьбы... Впрочем, прошу прощения! Я чуть было не сказал банальность... Простите великодушно, не буду больше!.. Обещаю. Вовремя язык себе обжег, но я пью такой горячий, потому что мне сказали: от головной боли помогает, а голова так болит, так болит...

Он приложил руку к затылку и, закрыв глаза, посидел так некоторое время.

– Вот, мелю языком, а голова-то болит. Пойти бы мне домой, да художник один сюда придет, Свирский; мы вместе едем во Флоренцию. Замечательный акварелист, без преувеличения замечательный... Такого мастерства никто еще в акварели не достигал. Да вот и он!

Свирский оказался легок на помине. Выросши вдруг в дверях, он стал искать глазами Букацкого. И, приметив, направился к их столику.

Это был плотный, коренастый человек с могучей шеей и широкой грудью, смуглый и черноволосый, как итальянец. Лицо у него было ничем не примечательное, но глаза умные, пронизательные и добрые. На ходу он слегка раскачивался из стороны в сторону.

Букацкий в таких выражениях представил его Марыне:

– Разрешите вам представить пана Свирского, гениального художника, который не только талантлив, но и возымел несчастную мысль не зарывать свой талант в землю, как многие другие, хотя мог бы это сделать с не меньшим успехом... Но он предпочитает наводнять мир акварелями и упиваться славой.

– Хотелось бы, чтобы это была правда, – улыбнулся Свирский, показывая два ряда мелких, но крепких и белых, как слонобая кость, зубов.

– Сейчас объясню, почему он не погубил свой талант, – продолжал Букацкий. – Причина до того тривиальна, что порядочный художник постеснялся бы признаться: из любви к Погнембину, это где-то возле Познани, да? А любит он свой Погнембин, потому что родился там. Родись он на Гваделупе, любил бы Гваделупу, что вдохновляло бы его точно так же. Вот что меня в нем возмущает, – по-вашему, я неправ?

Марыня подняла на Свирского свои лазоревые очи.

– Пан Букацкий совсем не такой плохой, каким старается показаться. Вас ведь лучше и нельзя было отрекомендовать.

– Умру в неизвестности, – прошептал Букацкий.

А Свирский меж тем пожирал Марыню глазами – смотреть так на женщину, не оскорбляя ее, может позволить себе только художник. Во взгляде его читалось восторженное недоумение.

– Такое лицо – в Венеции... Просто невероятно! – пробормотал он наконец.

– Что ты сказал? – спросил Букацкий.

– У пани, говорю я, чисто польское лицо. Вот тут, например, – очертил он большим пальцем свой нос, губы и подбородок. – И какая тонкость линий!

– Ага! – оживился Поланецкий. – Мне тоже всегда так казалось.

– Пари держу, что тебе это никогда и в голову не приходило, – возразил Букацкий.

Но Поланецкий польщен был и горд впечатлением, какое Марыня произвела на известного художника.

– Если бы вам доставило удовольствие написать портрет моей жены, мне доставило бы еще большее удовольствие иметь его, – сказал он.

– Извольте, буду рад, – ответил Свирский просто, – но я сегодня уезжаю в Рим. У меня начат портрет пани Основской.

– Мы тоже будем там не дальше чем через десять дней.

– Что ж, решено!

Марыня стала благодарить, покраснев до корней волос. Но Букацкий, попрощавшись, увлек художника за собой.

– У нас еще есть время, – сказал он, выходя. – Пошли к Флориани, выпьем по рюмке коньяка.

Пить Букацкий не любил и не умел, но с тех пор, как пристрастился к морфию, пил много и через силу, но безостановочно, так как слышал, будто одно другим обезвреживается.

– Приятная пара эти Поланецкие! – заметил Свирский.

– Недавно поженились.

– Он, видно, души в ней не чает. Когда я похвалил ее, у него глаза заблестели, приосанился даже от гордости.

– Она его во сто раз больше любит.

– А ты почему знаешь?

Букацкий не ответил, вздернул только свой острый носик.

– В любви и супружестве отталкивает меня то, – заговорил он, словно рассуждая сам с собой, – что один всегда верховодит, а другой жертвует собой. Вот

Поланецкий, человек он хороший, ну и что? Она ему и душевными качествами, и умом не уступит, но любит сильнее, и жизнь сложится у них примерно так: он будет, как солнце, благосклонно светить и дарить ее своим теплом, а она станет его принадлежностью, малой планетой, которая обращается вокруг него. Это уже сейчас обозначилось... Она уже вошла в сферу его притяжения. Есть в нем какая-то такая самоуверенность, которая меня бесит. Он к ней в придачу получит все прочее, она – только его, без всякой придачу. Он позволит себя любить, почитая любовь к ней за особую свою милость, добродетель и достоинство; для нее же его любить – счастье и вместе долг... Скажите, какое благостно-лучезарное божество!.. Так и подмывает воротиться и выложить им все, – хоть немножко омрачить их безмятежное счастье!

Они дошли до кафе, сели на улице за столик; им тотчас подали коньяк. Свирский молчал, раздумывая о Поланецких.

– А если ей, невзирая ни на что, будет с ним хорошо? – сказал он наконец.

– Мало ли, ей и в очках будет хорошо: она близорука.

– Побойся бога! С таким лицом – и очки?!

– Видишь, тебя возмущает одно, а меня – другое.

– У тебя в голове, точно мельница кофейная: мелет и мелет, пока не перемелет все в мельчайший порошок. Чего ты, собственно, хочешь от любви?

– Я? От любви? Равным счетом ничего. Черт бы ее совсем побрал! У меня от нее колотье под лопаткой начинается. Но был бы я совсем другим и ждал от нее чего-нибудь и меня бы спросили, какой она должна быть и чего я хочу...

– Ну? Начал, так кончай!

– Я бы хотел, чтобы чувственность и уважение уравнивали друг друга. – И прибавил, выпив рюмку коньяка: – Ну вот, сказал что-то, кажется, не такое уж глупое, если и не очень умное... А впрочем, все равно!..

– Нет, это не глупо.

– Ей-богу, мне все равно!

ГЛАВА XXXII

После недельного пребывания во Флоренции Поланецкий получил от Бигеля первое деловое письмо, и вести были настолько благоприятные, что превзошли самые смелые ожидания. Запрещение вывоза хлеба за границу из-за голода было обнародовано. Контора их успела к тому времени закупить и вывезти огромное количество хлеба, а так как цены за границей сразу подскочили, они оказались в барыше. Тщательно продуманная и с размахом проведенная, операция оказалась настолько выгодной, что из людей состоятельных они сделались чуть ли не богачами. Впрочем, Поланецкий, с самого начала уверенный в успехе, и не питал никаких опасений, но все же удача была не только кстати в финансовом отношении, но и льстила самолюбию. Успех всегда опьяняет, прибавляя самоуверенности. И Поланецкий не удержался, чтобы не

дать понять в разговоре с женой, какой он незаурядный человек, на целую голову превосходящий остальных, вроде самого высокого дерева в лесу, как умеет всегда добиться своего, – словом, редкая птица среди неумеек и недотеп, которых в обществе полным-полно. И трудно было найти слушателя более благодарного, все принимающего на веру, нежели Марыня.

– Ты женщина, зачем мне тебе излагать все сначала и во всех подробностях, – говорил он не без некоторого покровительственного оттенка. – Как женщина ты лучше поймешь, если я так скажу: вчера я еще не мог купить тот медальон с черной жемчужиной, который мы видели у Годони, а сегодня могу – и куплю тебе.

Марыня стала его благодарить, прося не делать этого, но он обнял ее, заверяя, что не отступит, – это дело решенное и «Марыся» может уже считать себя обладательницей большой черной жемчужины, которая восхитительно будет выглядеть на ее белой шейке. И начал ее в эту шейку целовать, а нацеловавшись, стал за неимением другого слушателя рассуждать, улыбаясь жене и своим мыслям:

– Я уж не говорю о тех, кто ровно ничего не делает; Букацкий, например, куда он годен... Не буду говорить и о разных ослах вроде Коповского – что ума у него ни на грош, всем известно; но взять даже таких, которые что-то делают и далеко не дураки. Бигель, к примеру: сумел бы он воспользоваться удобным случаем? Да нет, стал бы раздумывать, тянуть, сегодня он решился, завтра отступил – и упущен момент. Здесь что важно? Голову надо, во-первых, иметь на плечах, а во-вторых, сесть спокойненько и все рассчитать. И если уж делать, то делать! При этом не заносясь и ничего из себя не воображая. Машко вроде бы и неглуп, а смотри, что натворил!.. Я по его стопам не ходил и не пойду.

И, расхаживая по комнате, встряхивал в подтверждение своей густой черной шевелюрой, а Марыня, которая во всем ему целиком доверяла, теперь, после одержанной победы, ловила каждое его слово как откровение.

– Знаешь, что я думаю? – сказал он, остановясь наконец перед ней. – Трезвость взгляда – вот признак ума. Можно быть интеллигентным, восприимчивым, как губка впитывать знания, но не уметь при этом здраво судить о вещах. Пример – Букацкий. Не сочти меня хвастуном, но обладай я такими же познаниями об искусстве, то и судил бы о нем основательней. Он же начитался, нахватался всего, а собственного мнения не имеет. Уверяю тебя, я бы из этих беспорядочных сведений сумел вывести что-нибудь свое.

– Еще бы, нисколько не сомневаюсь? – ответила Марыня.

Быть может, Поланецкий в чем-то был и прав. Человек совсем неглупый и, пожалуй, более сосредоточенного и основательного ума, нежели Букацкий, он не обладал, однако, его живостью и разносторонностью, – что не приходило ему в голову. Не помышлял он и о том, что заносчивые суждения, какие позволил он себе высказать наедине с Марыней, у людей посторонних и более скептических встретили бы критику и насмешку. Но с ней он уже не стеснялся. Если позволительно капельку щегольнуть, то перед кем же, как не перед женой? Сам ведь говорил: «Женюсь – и дело с концом»; теперь-то она его.

Вообще никогда он еще не был так счастлив и доволен жизнью, как теперь. Будущее обеспечено благодаря удаче в делах. Жена у него молодая, привлекательная и умница, для которой слово его свято; да и как иначе, если губы ее весь день горели от поцелуев, а честное, доброе сердце было исполнено благодарности за его

любовь. Чего было еще желать, чего ему не доставало? К тому же был он доволен и собой, полагая, что везением в жизни, сулящей благополучие и покой, в значительной мере обязан себе и своему уму. Он видел: другим плохо, а ему хорошо, и считал это своей заслугой. Он всегда думал, что для душевного равновесия нужно разобраться в самом себе, своем отношении к людям и богу. Первые два условия он полагал выполненными. У него были жена, работа, надежное будущее; он взял на себя и сделал все, что мог наметить и выполнить. Что касается отношения к людям, он позволял иногда себе покритиковать их, даже побранить, но чувствовал, что в глубине души любит их, не в силах не любить, даже если б захотел, и готов, коли надо, в огонь и в воду ради них; стало быть, и тут все обстояло благополучно. Оставалась вера. Если и к ней отношение прояснится, определится, он мог бы на склоне лет сказать себе, что исполнил свое назначение на земле; знал, ради чего жил, к чему стремился и почему должен умереть. Не будучи ученым, Поланецкий был, однако, настолько сведущ в науках, чтобы понимать: искать разрешения всех сомнений и вопросов в так называемой философии бесполезно, скорее дать его могут здравый взгляд на вещи и особенно чувство, тоже, конечно, простое, здоровое, предохраняющее от разных экстравагантностей. И представлял себя в воображении – а он не был его лишен, – честным, порядочным, степенным человеком, примерным мужем и отцом семейства, который трудится, молится богу, водит детей в костел по воскресеньям и вообще ведет в нравственном отношении чрезвычайно здоровую жизнь. Идеальная эта картина так улыбалась ему, а чего только не сделаешь ради своих идеалов! Будь побольше полезных членов общества, думалось ему, оно само было бы жизнеспособней и здоровей, чем сейчас, когда низшие слои неразвиты, а высшие состоят из недоумков, дилетантов, декадентов и тому подобных сомнительных личностей с мозгами набекрень. Как-то вскоре после знакомства с Марьей Поланецкий пообещал себе и Бигелю, что едва разберется в себе и своем отношении к людям, как всерьез приступит к выяснению последнего, третьего вопроса. Время это теперь наступило или наступало. Он понимал, что для этого необходима самоуглубленность, а свадебное путешествие, новые ощущения и впечатления, жизнь в гостиницах и беготня по музеям к этому не располагали. Лишь в редкие минуты, когда ничто не отвлекало, обращался он мыслями к этому ставшему для него главным предмету. Поощряли его и разные внутренние влияния, казалось бы незначительные, но делавшие свое уже потому, что он им не сопротивлялся. Поощряло прежде всего присутствие Марыни. Поланецкий не сознавал всей его благотворности, да и никогда бы не признал, но от постоянного общения с этой кроткой, искренне и бесхитростно верующей натурой, столь обязательной во всем, касающемся религии, у него возникало невольное ощущение покоя и умиротворенности, даваемое именно верой. И всякий раз, как он провожал Марыню в костел, ему приходил на память вопрос ее в Варшаве: «А служба божия?» И постепенно он привык ходить с женой в церковь, – сначала не хотел отпускать одну, а потом стал получать от этого и своего рода удовольствие, какое испытывает, например, ученый, наблюдая интересующее его явление. И таким образом, несмотря на неподходящие условия, переезды, на мешающую сосредоточиться смену впечатлений, продвигался вперед по новой стезе. И мысли его об этом стали принимать все большую смелость и определенность. «В конце концов, – говорил он себе, – я ведь чувствую бога! Чувствовал у гроба Литки, чувствовал, хотя и не признаваясь себе, в словах Васковского о смерти, чувствовал и во время венчания, и у наг, на равнинах, и здесь, среди снежных вершин; только неясно еще, как его славить, чтить и любить? Как вздумается или как моя жена? И как учила меня мать?»

В Риме он первое время об этом не думал. Столько новых впечатлений, что было не до того. Вечером они с Марьей с ног валились от усталости, и он со страхом вспоминал слова Букацкого, который для собственного удовольствия брал иногда на

себя обязанности их гида, повторяя: «Вы и тысячной доли не видели, что здесь стоит посмотреть, хотя в общем-то совершенно безразлично, что дома сидеть, что сюда приезжать».

Им целиком овладел дух противоречия – в каждой следующей фразе утверждал он прямо противоположное предыдущей.

Из Перуджии приехал Васковский повидаться, и Марыня обрадовалась ему, как близкому родственнику. Но когда радость встречи улеглась, Марыня заметила печаль в его глазах.

– Что с вами? – спросила она. – Вам плохо здесь?

– Нет, дитя мое, – отвечал Васковский, – здесь хорошо, и в Перуджии, и в Риме... очень, очень хорошо! Помни, когда ты ходишь по улицам этого города, у тебя под ногами – история. Это, как я всегда говорю, преддверие мира иного, только...

– Что «только»?..

– Только люди... не по злобе – тут, как всюду, хороших людей больше, чем плохих, – но мне больно, что и тут, как на родине, меня принимают за помешанного.

– Значит, причин огорчаться у вас не больше, чем дома? – заметил присутствовавший при разговоре Букацкий.

– Это верно, – отвечал Васковский, – но там у меня есть люди близкие, вот как вы, которые меня любят, а здесь я совсем одинок... Вот и тоскую. – И продолжал, обращаясь к Поланецкому? – В здешних газетах пишут про мою книгу. В некоторых – сплошные издевки; ну, да бог с ними! Другие соглашаются, что проникновение христианского духа в историю действительно означало бы начало новой эпохи. Кто-то признал, что в частной жизни люди живут по-христиански, а в политической – еще по-язычески, и даже назвал выдающейся мою мысль; но и он, и остальные смеются над утверждением, что эту обновительную миссию бог возложил на поляков и другие молодые арийские народы. А мне это больно... И недвусмысленно намекают, что у меня тут не того... – И бедняга постучал себя пальцем по лбу. Но через минуту поднял голову? – В сомнениях и скорби бросает сеятель свое зерно, но, пав на благодатную почву, оно, даст бог, и взойдет. – Потом стал расспрашивать про пани Эмилию и наконец, словно очнувшись, посмотрел на них своими наивными глазами? – А вам-то хорошо?

Марыня подбежала вместо ответа к мужу и, прижимаясь головой к его плечу, сказала:

– Нам – вот!.. Вот как хорошо!

Поланецкий погладил ее по темным волосам.

ГЛАВА XXXIII

Неделю спустя Поланецкий повез Марыню на виа Маргутта к Свирскому, с которым они успели коротко сойтись, встречаясь чуть не каждый день, и который собирался как раз начать Марынин портрет. У него застали они Основских, познакомься с ними тем

легче, что дамы уже встречались как-то на балу, а Поланецкого в свое время представляли Основской в Остенде, и оставалось лишь возобновить знакомство. Правда, он не мог припомнить, задавался ли и в тот раз вопросом, как всегда при виде каждой хорошенькой женщины: «Не она ли?..» Во всяком случае, это было не исключено: пани Основская слыла девушкой красивой, хотя несколько взбалмошной. Теперь это была женщина лет двадцати шести или восьми, высокая, со смуглым, но свежим лицом, пунцовыми губками, спутанной челкой и раскосыми глазами фиалкового цвета, которые придавали ей сходство с китайкой и вместе сообщали лицу выражение насмешливое и плутоватое. Манера ходить у нее была странная: всем телом подавшись вперед с заложенными за спину руками; Букацкий острил, что она выставляет свой бюст en offrande[38 - напоказ (фр.)]. Не успели они возобновить знакомство, как Марыне она уже сказала, что они обязательно подружатся, поскольку позируют одному художнику, Поланецкому – что помнит его по Остенде как превосходного танцора и causeur'a[39 - собеседника (фр.)] и не преминет этим покорытоваться, и обоим – что рада встрече и в восторге от Рима, вилла Дориа – просто прелесть, вид с Пинчио бесподобен, что она знакома с сочинениями Росси в переводе Аллара, а сейчас читает «Космополис» и надеется побывать с ними в катакомбах. И тотчас – сумасбродка, экзотический цветок, китайка, – пожав Свирскому руку и кокетливо улыгнувшись Поланецкому, упорхнула со словами, что уступает место достойнейшей. Основский – светлый блондин с ничем не примечательным, но добродушным лицом и очень молодой – вышел следом, не проронив почти ни слова.

– Ну, унеслась буря? – вздохнул Свирский с облегчением. – Минуты не усидит спокойно, невероятно трудно с ней.

– Какое интересное у нее лицо? – сказала Марыня. – А можно взглянуть на портрет?

– Пожалуйста. Почти окончен, – ответил Свирский.

Марыня и Поланецкий подошли ближе. Им не пришлось придумывать комплименты; восхищение их было неподдельным. Акварельный портрет по выразительности и теплоте колорита мог соперничать с написанным маслом и вместе с тем необычайно полно передавал характер Основской. Свирский спокойно выслушал похвалы, не скрывая, что портрет и ему самому нравится. Затем, прикрыв, отнес его в темный угол мастерской, усадил Марыню на заранее приготовленный стул и стал пристально в нее всматриваться.

Его упорный взгляд смущал ее, и она слегка покраснела. А Свирский бормотал с довольной ухмылкой:

– Другой тип, другой... как небо и земля!

Он то прищурился, приводя Марыню в еще большее смущение, то отступал к мольберту, продолжая вглядываться в нее и говоря как бы сам с собой:

– Там чертовщинку надо было уловить, а тут – женственность.

– Ну, если вы сразу это подметили, – отозвался Поланецкий, – портрет выйдет что надо.

Свирский отворотясь от мольберта и Марыни и показав свои крепкие зубы, весело улынулся Поланецкому.

– В том и дело! Женственность – и сугубо польская – вот главное в лице вашей жены.

– Ее-то вы и ухватите, как черта на том портрете.

– Стась? – воскликнула Марыня.

– Я только повторяю слова пана Свирского.

– Ну, не черта, а скажем, чертенка, с вашего позволения... И хорошенького, и опасного. Когда рисуешь, все это невольно подмечаешь. Пани Основская – любопытный тип.

– Почему же?

– А вы на ее мужа обратили внимание?

– Я была так поглощена ею, что не до него было.

– Вот видите, она его затмила, при ней его не замечаешь, но хуже то, что и она его не замечает, а он ведь добрейший малый, на редкость деликатен и хорошо воспитан, очень богат и совсем не глуп – и в придачу безумно ее любит. – Свирский сделал несколько штрихов, рассеянно протянув? – Любит безу-умно... Поправьте, пожалуйста, волосы здесь, над ухом... Если ваш муж охотник поболтать, ему не повезло: я за работой рта не закрываю, Букацкий говорит, что слова не вставишь. Она видите ли, кокетка, хотя, может, и чиста, как слеза. Холодное сердце и горячая голова... Опасное сочетание! Ух, какое опасное! Романы глотает дюжинами – само собой, французские... По ним психологию изучает, черпает представление о женской натуре, ее загадочности – и отыскивает загадочность в себе, хотя ей она ничуть не свойственна, нахватывается все новых претензий – ум свой развращает и развращенность эту принимает за ум, а мужа ни во что не ставит.

– Да вы, оказывается, страшный человек? – заметила Марыня.

– Пан Свирский, пан Свирский? – воскликнул Поланецкий. – Напугали вот мою жену, она завтра к вам ехать побоится.

– А чего же бояться. Она – совсем другой тип... Основский-то не глуп, но вообще люди, особенно, прошу прощения, женщины, до того ограничены, что ценят только ум самоуверенный, валящий наповал, как обух, полосующий, как бритва, или жалящий, как змея. Слава богу, наблюдал сто раз!.. – И снова устремил взгляд на Марыню, прищурился одним глазом. – Вообще, до чего все недалекие! Я часто спрашивал себя: ну почему порядочность, чистосердечность и такая вещь, как доброта, ценятся меньше, чем так называемый ум? Почему к людям обычно подходят с двумя мерками: умен или глуп, а не говорят, к примеру, добродетельный или порочный; понятия эти даже из употребления вышли, кажутся смешными.

– Потому что ум – это светильник, озаряющий путь и порядочности, и доброте, и чистосердечию, – сказал Поланецкий. – Иначе они нос себе расквасят или – что еще хуже – разобьют носы другим.

Марыня не проронила ни слова, но на лице ее было написано: «Какой умница мой Стась!»

«Умница» прибавил между тем:

– К Основскому это не относится, я совсем его не знаю.

– Основский ее любит, как только можно любить жену или ребенка, как единственное свое счастье, а у нее голова набита разным вздором, и взаимностью она ему не отвечает. Я человек неженатый, женщины мне интересны, и мы иногда по целым дням болтаем, вернее, болтали о них с Букацким, пока они его больше занимали. Так вот, женщин он делит на плебеек, то есть натуры низменные и недалекие, и на патрицианок, аристократок духа, которых отличают благородство и высокие стремления, разумея под этим твердые устои, а не громкие фразы. Отчасти это верно, но я предпочитаю свое деление, оно проще: сердца благодарные и неблагодарные. – Он отошел от рисунка, прищурился, взял зеркальце и, наведя на эскиз, стал изучать отражение. – Вы спрашиваете, что я под этим понимаю? – обратился он к Марыне, хотя она ни о чем его не спрашивала. – А вот что: благодарное сердце чувствует любовь, отзывается на нее, любит за эту любовь и все полнее отдается, ценит ее и чтит. А сердца неблагодарные только ищут любви и, чем она преданней, тем меньше ею дорожат, пренебрегая ею и попирая... Женщину с таким сердцем достаточно полюбить, чтобы она разлюбила. Когда рыбка попалась, рыбаку нечего беспокоиться; так и пани Основская: знает, что муж никуда не денется. По сути, это грубейшая форма эгоизма, простительная разве дикарям, так что храни бог пана Основского, а она со своими раскосыми фиалковыми глазками и подвитой челкой катись ко всем чертям! Писать ее занятно, но жену такую иметь – боже избави! Поверите ли, я из-за того и не женюсь, хотя мне уже за сорок; бессердечную полюбить боюсь.

– Но ведь это легко распознать, – заметила Марыня.

– Черта с два. Особенно если влюбишься без памяти. – Он подался своим атлетическим торсом вперед, приглядываясь к наброску. – Ну, хватит на сегодня! Развел скучищу, мухи дохнут небось. Завтра, когда надоест, хлопните только в ладоши – вот так... С Основской я так не болтаю – она сама любит поговорить. Названиями книжек так и сыплет. Ну да ладно! Что-то я еще хотел вам сказать... Да, вот у вас сердце благодарное!

Поланецкий рассмеялся и пригласил его пообедать с ними, посулив общество Букацкого и Васковского.

– С удовольствием, – отвечал Свирский, – я тут совсем одичал в одиночестве. Небо сегодня ясное и, кстати, полнолуние, поедемте. Колизей посмотрим при луне.

Парадоксы расточать за столом было некому: Букацкий не пришел, сообщив запиской, что нездоров. Зато Свирский с Васковским сразу сошлись и подружились. Свирский только за работой не давал никому слова сказать, а вообще любил и умел слушать, и хотя старик со своими воззрениями казался ему порой комичным, его искренность и доброта располагали к себе. Художника поразила какая-то мистическая одержимость в выражении его лица и глаз. Слушая его рассуждения об ариях, он уже начал мысленно набрасывать его портрет, пытаясь представить, как будет смотреться эта голова, если хорошенько схватить это выражение.

Под конец обеда Васковский спросил, не хочет ли Марыня увидеть папу римского, потому что через три дня придут паломники из Бельгии и можно к ним присоединиться. Свирский, у которого была куча знакомых в Риме, в том числе из

высшего духовенства, прибавил, что это легко устроить.

– Вы здесь родились? – взглянув на него, спросил Васковский.

– Живу с шестнадцати лет.

– Ах, вот как...

Боясь показаться навязчивым и смущаясь от этого, но желая все-таки знать, кто этот симпатичный человек, Васковский спросил, пересилив робость:

– Вы с Квиринала родом... или из Ватикана?

– Из Погнембина, – нахмурился, ответил Свирский.

Обед кончился, а с ним и дальнейшие разговоры. Марыня еле могла усидеть на месте, взволнованная тем, что увидит Капитолий, Форум и Колизей при лунном свете. Но через несколько минут они уже ехали к руинам по освещенному электрическими фонарями Корсо.

Была тихая теплая ночь, и ни души близ Форума и Колизея, как, впрочем, нередко и днем. Неподалеку от церкви Санта Мария Либератриче кто-то играл у открытого окна на флейте, и в тишине отчетливо слышалась каждая нота. Передняя часть Форума была в глубокой тени от Капитолийского холма и храма на нем, но задний план заливал яркий зеленоватый свет, и Колизей казался в этом освещении серебряным. Экипаж остановился под аркадами исполинского цирка, и общество направилось к центру арены, обходя громоздящиеся у стен обломки колонн, фриз, груды камня, кирпича и торчащие там и сям низкие цоколи. Тишь и безлюдье невольно побуждали к молчанию. Через своды внутрь проникали снопы лунного света, сонными бликами озаряя арену и стену напротив, высвечивая выемки, трещины, серебра покрывающие ее мох и плющ. Терявшиеся в таинственном мраке остатки стен вдали напоминали черные разверстые пасти. Из низко расположенных куникулов веяло духом запустения. В лабиринте стен, арок, чресполосице света и теней терялось ощущение реальности. Развалины гигантского здания казались чем-то призрачным – вставшим в тишине и лунном сиянии грустно-величавым видением мучительного и кровавого прошлого.

Свирский первым нарушил молчание.

– Сколько слез, сколько страданий видело это место, – сказал он, понизив голос. – Какая безмерная трагедия! Что там ни говорите, а есть в христианстве некая сверхчеловеческая сила, этого не приходится оспаривать. – И продолжал вполголоса, обращаясь к Марыне: – Вообразите себе римскую державу: целый мир, миллионы людей, жестокие законы, сила, не виданная ни до, ни после, образцовая, не сравнимая ни с чем организация, величие, слава, сотни легионов, огромный город – властелин этого мира, а вон там – Палатин, властитель города. Казалось, нет такой мощи, которая сокрушила бы все это. И вот являются два иудея, Петр и Павел, и побеждают – не оружием, а словом; взгляните: кругом развалины, Палатин – в руинах, Форум – в руинах, а над городом – кресты, кресты и кресты...

Снова воцарилась тишина, только со стороны Санта Мария Либератриче доносились звуки флейты.

– И тут тоже был крест, – указал на арену Васковский, – но они его снесли...

Поланецкий задумался над словами Свирского, которые меньше поразили бы его, если б не продолжавшаяся исподволь душевная борьба.

– Да, в этом есть что-то сверхчеловеческое, – сказал он, следуя за ходом своих мыслей. – Тут истина светит, как эта вот луна.

Они медленно направились к выходу. Снаружи затарахтел экипаж, потом в темном проходе, ведущем к арене, послышались шаги, и из темноты выступили две высокие фигуры.

Одна – в сером платье, отливавшем в лунном свете сталью, – приблизилась, желая разглядеть посетителей.

– Добрый вечер! Ночь такая чудная, что мы тоже выбрались в Колизей. Какая ночь!

Поланецкий сразу узнал по голосу Основскую.

– Я скоро начну верить в предчувствия, – протягивая руку, сказала она ему голосом томным, как флейта, певшая у Санта Марии. – Что-то мне подсказывало: я непременно здесь встречу знакомых. Какая дивная ночь!

ГЛАВА XXXIV

Возвратясь в гостиницу, Поланецкие нашли визитные карточки Основских – и удивились: ведь им как молодоженам полагалось бы нанести визит первыми. Не ответить на такую любезность было нельзя, и они на другой день поспешили отдать визит. Навестивший их перед тем Букацкий, хотя совершенно больной и еле державшийся на ногах, не преминул съязвить, по своему обыкновению, оставшись наедине с Поланецким:

– Она с тобой будет кокетничать, но ты не воображай, что она влюбится. Это, знаешь, как бритва, она в ремне нуждается, чтобы ее правили, вот ты и послужишь таким ремнем, не больше.

– Во-первых, ремнем я быть не собираюсь, а во-вторых, об этом вообще рано говорить.

– Рано? Значит, ты оставляешь для себя такую возможность?

– Нет, просто у меня сейчас совсем другое на уме, и потом я с каждым днем все больше люблю Марыню, так что «рано» означает в этом смысле уже и «поздно», и если я разохотил пани Основскую, боюсь, как бы ее охоты, наоборот, не притупить.

Поланецкий не кривил душой: голова его действительно была занята другим, и вообще помышлять о ком-либо, кроме жены, было не ко времени.

И он был настолько уверен в себе, что даже не прочь был подвергнуть себя испытанию. Иными словами, с удовольствием поводил бы Основскую за нос.

Позавтракав, Поланецкие поехали на сеанс к Свирскому, но продолжался он недолго: художник был членом жюри какого-то конкурса и спешил на заседание. Через

четверть часа по возвращении к ним явился Основский.

После разговора со Свирским Поланецкий испытывал к нему нечто вроде пренебрежительной жалости. Но у Марыни он возбуждал живейшую симпатию. Все услышанное о его доброте, деликатности и привязанности к жене расположило ее к нему. И ей казалось, что все это написано у него на лице, довольно привлекательном, хотя и угреватом.

– Я к вам с предложением, по поручению жены, – поздоровавшись, сказал Основский с непринужденностью, отличающей людей хорошего круга. – С визитами вежливости меж нами, слава богу, покончено, хотя за границей вообще бы можно этим пренебречь. Так вот, мы хотим вам предложить поехать сегодня вместе к святому Павлу, а потом в Тре Фонтане. Это уже за городом. Там старинный монастырь, и оттуда чудный вид открывается. Мы бы очень рады были, если б вы составили нам компанию.

Марыня, большая любительница прогулок, особенно в приятном обществе, вопросительно взглянула на мужа в ожидании его решения. Поланецкий видел, что ей хочется, а к тому же подумал: «Захотелось щелчок по носу получить – пожалуйста».

– Я бы с удовольствием, но что скажет моя высочайшая повелительница?

«Повелительница» не вполне уверена была в искренности своего верноподданного, но, видя его улыбку и хорошее настроение, решила наконец вынести и свое суждение:

– Большое спасибо, боюсь только, это вам доставит лишние хлопоты...

– Не хлопоты, а радость, – возразил Основский. – Итак, решено! Через четверть часа заезжаем за вами.

И четверть часа спустя они отправились в путь. Раскосые глаза Основской светились удовлетворением и торжеством. В лиловом фуляровом платье и мантилке, затейливой, как восьмое чудо света, она выглядела настоящей русалкой. И как уж это получилось, но прежде чем они доехали до монастыря, Основская, не обмолвись ни словом, сумела дать своему новому знакомому понять: «Жена твоя мила, но провинциалка, а мой муж вообще не в счет. Только мы с тобой можем разделить и оценить наши обоюдные впечатления».

Поланецкий решил ее подразнить.

Когда подъехали к базилике святого Павла – кстати, Основская называла его не иначе, как «San Paolo fuori le Mura»[40 - Святой Павел за городскими стенами (ит.)], муж ее хотел выйти из экипажа, но она запротестовала.

– Остановимся на обратном пути, когда будем знать, сколько у нас еще времени, а сейчас едемте прямо в Тре Фонтане. – И добавила, обернувшись к Поланецкому? – На этом древнем подворье много такого, о чем я бы хотела вас порасспросить.

– Боюсь вас разочаровать, – ответил Поланецкий. – В этих вещах я полный профан.

Вскоре стало ясно, что лучше всех в достопримечательностях, мимо которых они проезжали, разбирался Основский. Бедняга целыми днями корпел над путеводителями – отчасти потому, что сам хотел быть гидом при своей жене, отчасти же в надежде

завоевать ее благосклонность своими познаниями и объяснениями. Но поскольку они исходили от мужа, она пропускала их мимо ушей. Ей больше нравилась дерзкая самоуверенность, с какой признавался в своем невежестве Поланецкий.

За святым Павлом открылся вид на Компанью с ее акведуками, которые, казалось, торопливо сбегали вниз, к городу, и на Альбанские горы в голубоватой дымке вдали, задумчиво-величавые и светлые одновременно.

Устремив на них мечтательный взгляд, Основская спросила:

– Вы уже побывали в Альбано, в Неми?

– Нет, – ответил Поланецкий. – Сеансы у Свирского разбивают день; пока не будет готов портрет, придется от казаться от дальних прогулок.

– А мы были, но если выберетесь туда, возьмите меня с собой... Пожалуйста, возьмите... Хорошо? Вы не возражаете? – обратилась она к Марыне. – Я буду, как говорится, третьим лишним; но постараюсь не мешать. Забьюсь в уголок – и ни гугу... Буду тихо-тихо сидеть.

– Ах, ты у меня совершенное дитя? – воскликнул Основский. – Я просто влюбилась в Неми, но муж мне не хочет верить, – продолжала она. – Да, прямо-таки влюбилась. Мне там почудилось, будто христианство туда еще не проникло и по ночам на берег выходят жрецы и совершают свои языческие обряды у озера. Тишина и тайна – вот в двух словах что такое Неми. Поверите ли: мне отшельницей захотелось стать, и до сих пор это желание не проходит, вот до чего сильное впечатление. Поселиться бы там в уединенной обители над озером, в длинном сером балахоне ходить, как Франциск Ассизский, и босой... Да, стать пустынною! Чего бы я только за это не дала... Так и вижу себя там, на берегу...

– А я как же, Анетка? – полушутя, полусерьезно спросил Основский.

– Ты бы утешился, – последовал лаконичный ответ.

«Ну да, ты стала бы отшельницей при условии, что на другом берегу столпились-бы дюжины две фатов и разглядывали бы тебя в лорнет, как она там выглядит да что поделявает», – подумал Поланецкий.

Как хорошо воспитанный человек, он не мог высказать этого вслух, но описал ей нечто подобное.

– Конечно? – засмеялась она. – Я жила бы подаянием, значит, поневоле зависела бы от людей. Вот приехали бы вы, я вышла бы к вам с протянутой рукой и попросила тихонько: «Un soldo! Un soldo!»[41 - сольдо (ит.).] – И протянула к нему свои маленькие ладошки, потрясая ими и умоляюще повторяя: – Un soldo per la rovera! Un soldo!..[42 - Одно сольдо несчастной! Одно сольдо!.. (ит.)]

При этом она смотрела ему в глаза.

– Место называется Тре Фонтане, потому что там три источника, – объяснял тем временем Марыне Основский. – Там обезглавили святого Павла, и, по преданию, голова его, скатившись трижды ударилась о землю, и в этих трех местах забили источники. Теперь вся округа принадлежит ордену траппистов. Раньше тут свирепствовала лихорадка, опасно было ночевать, но теперь стало здоровей

благодаря тому, что все склоны засадили эвкалиптами. Вон, уже отсюда видно.

Основская же, откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза, рассказывала Поланецкому:

– Здесь сам воздух пьянит меня... Дома я неприхотлива, довольствуюсь малым, а тут сама не своя, хочу чего-то. А чего – сама не знаю. Какие-то смутные ожидания и предчувствия томят, непонятная тоска... Может, это дурно и нельзя говорить вам об этом. Но я всегда говорю, что думаю. Когда я маленькой была, меня называли простушкой. Пусть лучше муж увезет меня отсюда. Буду жить в своем тесном домике, как улитка или черепаха.

– Что хорошо для улитки или черепахи, не годится для птицы, к тому же райской, – отвечал Поланецкий с полной серьезностью. – Существует легенда, будто у райских птиц ножек нет, поэтому они, не зная отдыха, все только летают и летают.

– Ах, какая восхитительная легенда... – отозвалась Основская. И, подняв ладони, пошевелила ими наподобие крылышек, повторив? – Летают только и летают!

Сравнение с райской птицей ей польстило, а контраст серьезности и некоторой небрежности тона совместно с чуть насмешливой миной удивил. Заинтригованная, она подумала, что он умней и не так легко ей поддастся, как казалось.

Тем временем доехали до Тре Фонтане.

Осмотрели сад, храм и часовню, где были в подземелье три источника. Основский своим мягким, несколько монотонным голосом излагал все, что вычитал перед тем. Марыня внимательно слушала, а Поланецкий подумал: «Находиться в его обществе триста шестьдесят пять дней в году, пожалуй, скучновато».

Это соображение оправдывало до некоторой степени в его глазах пани Основскую; она же в своем новом амплуа райской птицы так и перепархивала не только с места на место, но и с одного предмета на другой также в разговоре. Отведав эвкалиптового ликера – монахи изготавливали его как средство против лихорадки, – она решительно заявила, что, будь мужчиной, непременно вступила бы в орден траппистов; потом ухватилась за мысль, что и моряком быть очень романтично: «Одно море и небо кругом – лазурь без конца и без края, словно при жизни в раю!» В конце концов над всем остальным одержало верх желание стать великим, величайшим писателем, передавать тончайшие движения души, неосознанные чувства, неуловимые впечатления, все контуры, цвета и оттенки. И она под секретом сообщила, что ведет дневник, которым «добряк Юзек» восторгается, но она-то знает, что это все пустое, и ничуть не обольщается ни насчет дневника, ни по поводу Юзeka с его восторгами.

Юзек смотрел на нее влюбленными глазами, и немое обожание было написано на его угреватом лице.

– Нет, позволь, насчет дневника ты уж права! – не выдержал он.

В обратный путь отправились уже под вечер. Большое красное солнце клонилось к закату, и деревья отбрасывали длинные тени на дорогу, а горы и акведуки порозовели. Отъехали уже с полпути, когда у святого Павла зазвонили к вечерне. Тотчас отозвалась еще одна колокольня, потом еще и еще, и вот уже зазвонили десятки колоколов. Как бы вторя друг другу, они слились в хор, столь многогласно

протяженный, будто не в одном городе, а вся округа, равнина и горы, сам воздух звали к вечерне.

Поланецкий посмотрел на Марыню; лицо ее в золотистом отсвете зари было спокойно и сосредоточенно. На нем было то же молитвенное выражение, как и в Кшемене, когда благовестили в Вонторах. Всегда и всюду то же. И Поланецкому опять вспомнились ее слова: «А служба божия?» И послышалось в них что-то необыкновенно простое и умиротворяющее. И вместе с тем с приближением к городу открывалась вся крепость, жизнестойкость и огромность этой веры. «Все это стоит уже тысячи полторы лет, – думалось ему, – стоит своими храмами, колоколами, незабываемой силой креста, которой и обязан вечный этот город своею вечностью». И в памяти отдались слова Свирского: «Кругом развалины, Палатин – в руинах, Форум – в руинах, а над городом – кресты, кресты и кресты!» В этой незабываемости, думалось дальше, есть, конечно же, нечто сверхчеловеческое. Колокола меж тем продолжали звонить, и небо над городом пламенело в лучах заката. Молитвенное настроение, объяввшее Марыню и как бы разносимое вечерним благовестом над городом и всей землей, захватило и Поланецкого, его неиспорченную в глубине души, и у него зашевелилась мысль: «Какой я, однако, глупец и гордец, если, ища веры и бога, тщусь облечь в свои какие-то формулы эту любовь и почитание, вместо того, чтобы принять те, которые Марыня называет „службой божией“ и которые лучше, наверно, всяких иных, коль скоро человечество не отступает от них вот уже почти две тысячи лет!..» И, будучи человеком практического ума, поразился очевидности этой мысли, которую, ободрясь, и принялся развивать: «С одной стороны, тысячелетняя традиция, бог весть сколько поколений, сколько общественных устройств и авторитетных умов, которых эти формы удовлетворяли и которые они почитали за единственно возможные; а с другой стороны кто? Я? Какой-то там компаньон торговой фирмы „Бигель и Поланецкий“, который вознамерился изобрести более совершенные формы общения с богом! Вот еще дурень нашелся! Я не привык лицемерить сам с собой, и вряд ли мне приятно будет выглядеть перед собой недоумком. И потом, так молилась моя мать, так молится моя жена, и ни в ком я не ощущал такого душевного спокойствия, как в них».

Он взглянул на Марыню. Она улыбнулась ему, кончив, видимо, свою мысленную молитву.

– Ты что молчишь? – спросила она.

– Мы все молчим, – ответил он.

Так оно и было, но по разным причинам. Пока Поланецкий предавался своим размышлениям, Основская несколько раз заговаривала с ним и бросала на него выразительные взгляды. Но он отвечал невпопад, взглядов вовсе не замечал, словом, обидел ее. Что он встретил ее намерение стать монахиней любезно завуалированной дерзостью, можно еще было простить, ей это даже понравилось, но полное невнимание смертельно ее оскорбило, и в отместку она тоже перестала его замечать.

Но как женщина светская стала подчеркнута любезна с Марыней. Выведав у нее планы на завтра и узнав, что Поланецкие собираются в Ватикан, сказала: у них тоже есть билеты, и они со своей стороны не преминут побывать там.

– А вы знаете, как надо одеться? – осведомилась она. – Черное платье и черная кружевная косынка на голове. Это немного старит, но так принято.

- Да, пан Свирский предупредил меня, – отвечала Марыня.
- Во время сеансов он только о вас и говорит. Он к вам очень расположен.
- И я к нему.

За этой беседой подъехали к гостинице. Поланецкому от его красивой спутницы досталось на прощанье такое вялое и прохладное рукопожатие, что, несмотря на всю свою рассеянность, он был озадачен.

«Что это, новая уловка или задел чем ненароком?» – промелькнуло у него в голове. И вечером он спросил у Марыни:

- Какого ты мнения об Основской?
- Наверно, пан Свирский отчасти прав, – ответила она.
- Пишет небось сейчас свой дневник, который Юзек считает шедевром... – заключил Поланецкий.

ГЛАВА XXXV

На другой день он едва узнал ее, когда она, одевшись, вошла к мужу. В черном платье и черной кружевной косынке Марыня казалась и выше, и стройнее, и смуглей, и старше своих лет. Но ему нравилась в ней эта спокойная серьезность, напоминавшая день их свадьбы. Полчаса спустя они выехали, и Марыня призналась по дороге, что у нее душа от страха замирает. Поланецкий шутил, успокаивал ее, хотя у самого сердце было не на месте, а под сводами огромной полукруглой колоннады у собора святого Петра оно забилось сильнее, – и явилось странное ощущение, будто он стал меньше ростом. У лестницы, где стояли пышно разодетые служители в ливреях, придуманных еще Микеланджело, поджидал их Свирский, и, смешавшись с толпой, преимущественно из бельгийцев, они поднялись вверх. Марыня, слегка оглушенная, сама не заметила, как очутилась в огромном зале, где народу было еще больше, лишь посередине, меж двумя шпалерами папских служителей, оставался свободный проход. В толпе тихо переговаривались по-французски и по-фламандски, обращая вдруг головы и взгляды к этому проходу, где, выходя из соседнего зала, появлялись время от времени фигуры в странных одеяниях, заставлявших Поланецкого переноситься воображением куда-то в антверпенские или брюссельские картинные галереи. Перед ним словно воскресало средневековье: то явится средневековый рыцарь в шлеме, хотя не в таком точно, как на старинных картинах; то герольд в коротком красном плаще и красном берете. За приоткрытыми дверями мелькали пурпурные мантии кардиналов и фиолетовые – епископов, страусовые перья, кружева на черном бархате и убеленные сединами головы старцев с иссохшими, как у мумий, лицами. Но чувствовалось, что взоры скользят по этим причудливым одеяниям, ярким краскам и этим лицам как бы мимоходом, в ожидании чего-то более важного, высшего, что сердца и души замерли в напряженной жажде какого-то мгновения, которое бывает раз в жизни и навсегда остается в памяти. Рука Марыни, за которую держал ее Поланецкий, чтобы не потерять в толпе, вздрагивала от волнения, и сам он посреди этих притихших лиц, этого исторического действия, словно бы воскресшей седой старины, этого сосредоточенного ожидания снова испытал странное ощущение, будто становится меньше, меньше – таким ничтожно малым, как никогда еще в жизни.

Вдруг рядом послышался сдавленный шепот:

– Едва нашел вас. Теперь, кажется, уже скоро.

Но оказалось, не так скоро. Тогда Свирский, поздоровавшись со знакомым прелатом, сказал ему что-то, и тот любезно провел их в соседний, обитый красным штофом зал. Поланецкий с удивлением обнаружил, что и здесь полно, только в одном конце, отделенном почетной стражей, где на возвышении стояло кресло, не было никого, кроме нескольких прелатов и епископов, которые непринужденно беседовали между собой. Атмосфера напряженного ожидания чувствовалась тут еще сильнее. Все стояли, затаив дыхание, с таинственным и торжественным видом. Голубоватый дневной свет принимал необычный оттенок на пурпурном фоне обоев, и солнечные лучи, проникавшие сквозь оконные стекла, казались тоже багряными.

Еще некоторое время длилось ожидание; но вот из первого зала донеслись глухой шум, гомон, восклицания, и в распахнутых боковых дверях показалась папская гвардия, несущая фигуру в белом. Марыня судорожно сжала руку мужа, он ответил ей пожатием, и, как во время венчания, все теснящиеся мысли, впечатления слились в одно общее чувство исключительной важности и торжественности происходящего.

Один из кардиналов начал что-то говорить, но Поланецкий не слышал и не понимал его. Глаза, сознание, вся душа его прикованы были к фигуре в белом. Ничто не ускользнуло от его внимания. Поражали худоба, изможденность, болезненный вид этого старца, прозрачная бледность лица, как у покойника. Было в нем нечто бесплотное, полупризрачное: как брезжущий сквозь матовое стекло свет, дух сквозил через телесную оболочку, как бы лишь посредствующую между миром бренным и нетленным, человеческим и вместе сверхчеловеческим, еще земным и уже неземным. Плоть представляла в этом удивительном единстве словно чем-то нематериальным, а дух – чем-то реальным.

И когда все стали подходить под его благословение и Поланецкий увидел у его ног Марыню, внезапно осознав: к этим коленям, почти уже бестелесным, можно склониться, как к отцовским, – им овладело волнение столь сильное, что глаза затуманились. И впрямь, никогда еще не ощущал он себя до того малой песчинкой, однако же с благодарно бьющимся сердечком ребенка.

Вышли все в молчании. У Марыни глаза были такие, будто она только что проснулась, руки Васковского дрожали. К завтраку притащился Букацкий, но нездоровье помешало ему развлечь общество. Даже Свирский против обыкновения был немногословен за работой и все только приговаривал, возвращаясь к занимавшему его предмету:

– Нет, нет. Кто не видел этого, не поймет. Такое не забывается.

Под вечер Поланецкий с Марыней отправились полюбоваться закатом к Тринита деи Монти. Угасающий день был необычайно хорош. Город весь утопал в рассеянном золотистом сиянии, далеко внизу у их ног, на пьядца ди Эспанья, уже начинало смеркаться, но в мягком свете сумерек можно было ясно различить сирень, ирисы и белые лилии в витринах цветочных магазинов по обе стороны Кондотти. От всей картины веяло глубоким, невозмутимым покоем, она дышала обещанием мирной ночи и сна. Пьядца ди Эспанья понемногу погружалась во тьму, только Тринита еще горела пурпуром.

Спокойствие это передалось и Поланецкому с Марыней. С умиротворенной душой

спускались они по гигантским ступеням. Разлитый в небе закатный свет словно озарял и события минувшего дня, сообщая им тихую, величавую ясность.

– Знаешь, я вспомнил, что в детстве дома у нас принято было вместе молиться перед сном, – нарушил молчание Поланецкий, заглядывая вопросительно жене в глаза.

– Стах, милый, – ответила она взволнованно, – я не решилась сама тебе предложить... Как я тебя люблю!..

– Помнишь, ты сказала: «А служба божия?»

Она не помнила.

Сказано это было тогда просто и естественно, как нечто самое обычное, и не могло удержаться в памяти.

ГЛАВА XXXVI

У Основской Поланецкий был по-прежнему в немилости. Встречаясь с ним между сеансами у Свирского, она ограничивалась лишь ничего не значащими учтивыми фразами, которых требовала вежливость. Не заметить этого Поланецкий не мог и по временам спрашивал себя: «Чего ей, собственно, надо?» И хотя это в общем мало его трогало, но трогало бы еще меньше, будь ей не двадцать восемь лет, а пятьдесят восемь и если б не эти фиалковые глазки и пунцовые губки. И хотя она вправду была ему безразлична и ровно никаких видов на нес у него не было, но такова уж натура человеческая, не может не соблазняться мыслью: а что, если бы он добивался ее благосклонности, – как далеко могли бы зайти их отношения?

Они совершили еще одну прогулку вчетвером – в катакомбы святого Калликста. Поланецкий не хотел оставаться в долгу, оплатив любезностью за любезность, то есть экипажем за экипаж. Но совместная прогулка ничего не изменила: натянутость оставалась.

Разговаривали они друг с другом только для соблюдения приличий, и Поланецкого это в конце концов начало злить. Из-за Основской между ними установилась какая-то особая таинственность, проистекавшая из того, что их взаимная неприязнь была известна лишь им одним и приходилось ее скрывать. Поланецкий надеялся, что все это прекратится, едва портрет ее будет закончен, но, хотя лицо было написано, оставалось много мелких доделок, требовавших присутствия обворожительной натурщицы.

Сталкивались они по той простой причине, что Свирскому не хотелось даром время терять, и Поланецкие являлись, когда в мастерской еще были Основские. Иногда они немного задерживались, чтобы, поздоровавшись, обменяться впечатлениями о вчерашнем дне; Основская, случалось, отсылала мужа с поручениями, и, уходя, он оставлял экипаж перед домом.

Однажды Марыня села позировать еще при Основской, и та, узнав, что Поланецкие накануне были в театре, и надевая перед зеркалом перчатки и шляпку, принялась расспрашивать об опере и актерах, а потом попросила Поланецкого проводить ее до экипажа.

Накинув мантилью, но не завязав на поясе пришитые сзади к подкладке тесемки, она вышла в прихожую и внезапно остановилась.

– Никак эти завязки не могу в перчатках найти, – сказала она. – Будьте добры, помогите!

Поланецкому в поисках завязок пришлось полуобнять ее за талию. И у него вдруг вспыхнуло острое желание, тем более что она к нему наклонилась и он ощутил вблизи ее дыхание и теплоту ее тела.

– За что вы на меня сердитесь? – спросила она вполголоса. – Это просто нехорошо. Мне так не хватает дружеского участия. Что я вам сделала?

Наконец, отыскав завязки, он отстранился от нее и, придя в себя, с грубоватым торжеством человека прямолинейного, желающего подчеркнуть свой триумф и неудачу другого, отрезал:

– Ничего вы мне не сделали и сделать не можете!

Но она отразила его дерзость, как теннисный мячик.

– Впрочем, мне настолько безразлично чужое мнение, совершенно безразлично.

И, не обменявшись больше ни словом, они дошли до экипажа.

«Вон что, – думал, возвращаясь, Поланецкий. – Значит, тут можно пойти так далеко, как только захочешь».

И снова по всему телу пробежала искусительная дрожь.

«Как только захочешь», – повторил он.

При всем том он безотчетно впадал в ошибку, какую постоянно совершают десятки мужчин – любители поохотиться в чужих владениях.

Кокетка с черствым сердцем и развращенным умом, Основская все же была еще очень далеко от грехопадения.

Вернулся Поланецкий в мастерскую с таким чувством, будто принес ради Марыни огромную жертву, и ему стало немного обидно оттого, что, во-первых, она об этом никогда не узнает, а во-вторых, узнай даже, не сумеет оценить его поступок. Это вызвало у него раздражение, и, посмотрев на жену, на ее чистые глаза, спокойное и красивое лицо добропорядочной женщины, он невольно сравнил обеих и сказал про себя: «Ах, что Марыня! Да она скорее сквозь землю провалится. Такая никогда не изменит!»

И удивительное дело: отдавая ей должное, он вместе с тем испытал как бы некоторое сожаление и разочарование. Она столь безусловно ему принадлежала, что не возникало даже потребности ею восхищаться.

И до конца сеанса он все возвращался мыслями к Основской. Казалось, после случившегося она перестанет подавать ему руку, но он опять ошибся. Напротив, желая показать, насколько безразличны ей сам он и его слова, она стала еще

любезней прежнего. Зато у Основского вид был оскорбленный, и он день ото дня держался с ним все суше, – видимо, из-за наговоров своей «Анетки».

Но вскоре иные события вытеснили из памяти этот эпизод. Давно уже недомогавший Букацкий с некоторых пор стал жаловаться на особенно сильную головную боль и странную слабость во всем теле, как будто оно отказывается ему повиноваться. Остроумие его порой еще вспыхивало, но быстро гасло, как бенгальский огонь. Все реже являлся он и в отель пообедать с ними. И вот как-то утром прислал записку, где нетвердой рукой было нацарапано: «Мой дорогой, нынче ночью я понял, что придется скоро отбыть в дальний путь. Если хочешь со мной повидаться перед отъездом, загляни, если, разумеется, у тебя нет более интересного занятия».

Утаив записку от жены, Поланецкий тотчас отправился к Букацкому. Он застал его в постели и при нем доктора, которого тот сразу же отослал.

– Ты меня страшно напугал, – сказал Поланецкий. – Что с тобой?

– Да так, пустяки: левая половина тела парализована.

– Бог с тобой, что ты говоришь!

– Золотые слова! Самое время о боге подумать. Левая рука отнялась и левая нога – встать вот не могу. Нынче утром обнаружил, когда проснулся. Думал, и речи лишился, попробовал произнести вслух: «Per me si va», – оказывается, нет! Язык работает, теперь в голове надо порядок навести.

– Почему ты уверен, что это паралич? Может быть, временное онемение.

– «Что – жизнь? Мгновение одно!?» – продекламировал Букацкий. – Пошевелиться не могу, значит, конец – или, если угодно, начало!

– Это было бы ужасно, но я не верю. У каждого могут руки, ноги онеметь.

– Бывают иногда неприятные ощущения, сказал карась, когда кухарка соскабливала с него чешую. Признаться, мне сначала жутко сделалось. Как будто волосы дыбом встают, – бывало у тебя когда-нибудь такое чувство? Приятным его не назовешь. Но сейчас я уже успокоился немного. Три часа прошло – и будто уже лет десять лежу в параличе. Дело привычки, как сказал рыжик, жарясь на сковороде. У меня времени в обрез, вот и несую всякий вздор. Пойми, дорогой: несколько дней – и Букацкого не будет!

– Ты и правда вздор несешь! И в параличе люди по тридцать лет живут.

– Даже по сорок? – подхватил Букацкий. – Паралич – это в некотором смысле роскошь, а я не из тех, которые могут себе ее позволить. Для здоровяка какого-нибудь с толстой шеей, крепкими плечами и ногами это даже, пожалуй, передышка, возможность в себя прийти после бурной молодости, мозгами пораскинуть, а для меня... Помнишь, ты все над моими тощими икрами издевался? Так вот, по сравнению со мной теперешним у меня тогда слоновая болезнь была! Это неправда, будто человеческое тело трехмерное, я – так просто плоскость, даже линия; кроме шуток, линия, уходящая в бесконечность!..

Поланецкий, сердясь, возражал, приводил в пример какие-то случаи.

– Ах, оставь! – отмахнулся Букацкий. – Я-то чувствую и знаю: через несколько дней – паралич мозга. Я никому не говорил, но уже год живу в ожидании этого – и книжки медицинские штудировал... Еще удар – и готово? – Он помолчал. – Не думай, не боюсь, наоборот. Я ведь одинок как перст. Никого у меня на свете нет... Ухаживать и тут, и даже в Варшаве все равно будут чужие, нанятые люди. Неподвижный, никому не нужный – разве это жизнь? А если и язык отнимется, любая сиделка или санитар смогут меня спокойно съездить по физиономии, когда вздумается. Слушай: в первую минуту я правда испугался, когда ясно стало, что паралич, но в моем немощем теле обитает гордый дух – помнишь, я тебе говорил, что смерти не боюсь? И не боюсь!

В глазах Букацкого вспыхнул на миг огонек мужества и решимости, не угасавший в глубине его расслабленной, изломанной души.

Сердце у Поланецкого дрогнуло.

– Адя, дорогой, – мягко сказал он, кладя ладонь на недвижную руку Букацкого, – не думай, что мы бросим тебя на произвол судьбы, и не говори, пожалуйста, будто у тебя никого на свете нет. А я, а моя жена? И Свирский, и Васковский, и Бигели. Ты не чужой нам. Перевезу тебя в Варшаву, помещу в больницу, станем о тебе заботиться, а если кто посмеет ударить тебя, как ты говоришь, по физиономии, я все кости ему переломлю, а кроме того, у нас же милосердные сестры есть и среди них – пани Эмилия.

Букацкий был взволнован, хотя старался не подавать вида. Он слегка побледнел, глаза его затуманились.

– Ты добрый малый, – сказал он после затянувшегося молчания. – Чудо сотворил, сам того не подозревая: доказал мне, что у меня еще остались какие-то желания... В самом деле, как хотелось бы очутиться в Варшаве, быть со всеми вами... Вернуться опять в Варшаву – какое счастье!..

– А пока тебя надо поместить в какую-нибудь лечебницу, под постоянный присмотр. Свирский должен знать, какая лучше. Ты уж положишься на меня, ладно? И разреши за тебя распоряжаться.

– Делай как знаешь, – ответил Букацкий, на которого новые виды на будущее и энергичность Поланецкого подействовали ободряюще.

Поланецкий немедля отправил с посыльным записки Свирскому и Васковскому. Полчаса спустя оба явились, Свирский – с известным в городе врачом, и Букацкого еще до обеда перевезли в больницу, поместив в светлой, уютной палате.

– Какой приятный, теплый тон, – сказал он, оглядывая золотистого цвета стены и потолок. – Красиво. – И обратился к Поланецкому: – Вечером зайти, а сейчас ступай к жене.

Тот попрощался и ушел. Дома он в осторожных выражениях рассказал о случившемся, опасаясь, как бы не напугать Марыню неожиданным известием, особенно если она теперь в положении, Марыня стала проситься к больному, если не сегодня же, то завтра утром, и Поланецкий согласился. Сеанса на другой день не было, и они сразу после завтрака отправились в больницу.

При Букачком все это время неотлучно находился Васковский. Едва больной освоился

на новом месте, на больничной постели, старик рассказал ему, как однажды думал уже, что умирает, но после причастия и исповеди сразу почувствовал себя намного лучше.

– Это, уважаемый, метода известная, – усмехнулся Букацкий. – Знаю я, куда вы клоните.

Старик смешался, будто уличенный в чем-то нехорошем, и развел руками.

– Пари готов держать, что тебе бы это помогло.

– Ладно, ладно, через пару деньков на том свете разберусь, кому там что лучше помогает, – блеснув былым остроумием, ответил Букацкий.

Неожиданный приход Марыни тем более его обрадовал, что он, по его уверениям, уже и не рассчитывал увидеть на этом свете женщину, вдобавок – землячку. Все это выкладывалось брюзгливым тоном, но видно было, что он растроган.

– Что вы за романтики? – твердил он. – Возиться с таким скелетом... Когда вы научитесь здраво на вещи смотреть? Ну к чему это? Зачем? Даже перед смертью навьючиваете меня обязанностью благодарить, хотя я и благодарен – искренне, за все!..

Но Марыня не дала ему рассуждать о смерти, заговорив о необходимости переехать в Варшаву, домой, – так спокойно и уверенно, как о чем-то не подлежащем никакому сомнению, и понемногу уверенность эта передалась и больному. Она советовала, как с этим лучше устроиться, а он внимал ей с жадностью. Ум его словно притупился, и он послушно позволял руководить собой, как ребенок, бедный, несчастный ребенок.

В тот же день навестил его и Основский, добрый, заботливый, как брат родной. Букацкий и не чаял ничего подобного. И когда поздно вечером к нему опять зашел Поланецкий, признался ему с глазу на глаз:

– Откровенно говоря, только сейчас я чувствую, в какой глубокий фарс превратил свою жизнь, вся пошла псу под хвост. – И прибавил, помолчав немного? – И если б еще удовлетворение от нее получал, а то ведь и этого нет! В какое идиотское время мы живем! Человек почему-то раздваивается: все, что в нем лучшего, прячет, укрывает подале, а сам корчит не то обезьяну какую-то, не то шута, вдобавок несчастного, обманывающего самого себя. Всячески себе внушать, что жизнь еще хуже, чем она есть, – что может быть нелепее! Одно утешение, что, во всяком случае, смерть не выдумана, хотя опять же не резон звать ее, покуда жив...

– Дорогой, ты всегда был мастер изводить себя пустым философствованием. Перестань хоть сейчас.

– Наверно, ты прав. Но горько сознавать, что, пока на ногах был, более или менее здоров, вышучивал жизнь... А сейчас, скажу тебе по секрету, так хочется еще пожить.

– И поживешь.

– Да брось! Это все жена твоя убедила меня, да я не верю уже. Тяжело мне. Загубил я себя. Но послушай, что я хочу сказать. Придется мне там ответ держать или нет, не знаю. Честь по чести, не знаю! Но что-то томит; беспокойно так,

страшно... Знаешь, отчего? Что не сделал ничего для своих, своей земли, а ведь мог бы, мог!.. Вот отчего и страх берет, правду говорю. Это же недостойно человека! Не сделал в жизни ничего хорошего, хлеб задаром ел... И вот – смерть. Если там – муки, мне они уготованы за это... Ох, Стах... Тяжело!..

И хотя он пытался говорить в своей обычной небрежной манере, лицо его было тревожно, губы побелели, на лбу выступили капли пота.

– Перестань, – перебил Поланецкий. – Выброси все это из головы! Вредишь себе только.

– Не перебивай, дай договорить? – не отступал Букацкий. – После меня останется довольно значительное состояние, хоть оно службу сослужит. Часть я завещаю тебе, а остальное употреби на что-нибудь полезное. Ты человек практичный, и Бигель тоже. Подумайте, на что пустить эти деньги, у меня, боюсь, времени уже не будет. Пообещай мне это!

– И это, и все, что скажешь!

– Спасибо. Странная какая-то тревога, и совесть мучает! Не могу отделаться от чувства вины. А возможности были, нет, это нехорошо. Хоть перед смертью сделать бы добро. Шуточное ли дело... смерть! Не заглянешь, не узнаешь, что там: покрыто мраком неизвестности... И протухать, гнить и разлагаться во мраке, в крошечной этой тьме... Скажи, ты верующий?

– Да.

– А я ни то ни се. Увлекался, помимо всего прочего, буддизмом. И если бы не сознание вины, было бы легче. Вот уж не думал, что это так мучительно. Я чувствую себя пчелой, которая ограбила собственный улей, а это же подло. Но ведь состояние не уйдет со мной, правда? Не так уж я много издержал, и все – на картины, а они тоже ведь останутся, верно? Эх, хотелось бы пожить, ну хоть годик, ну хоть столько, чтобы здесь, на чужбине, не умереть... – Он немного помолчал. – Мне ясно одно: жизнь может сложиться плохо, если не сумеет ее устроить, но сама она – благо.

Поланецкий ушел уже поздно ночью, всю следующую неделю состояние Букацкого то улучшалось, то ухудшалось. Доктора не могли сказать ничего определенного, но полагали, что дорога ему не повредит. Свирский с Васковским вызвались сопровождать его. Тосковал он все сильнее, чуть не каждый день вспоминая пани Эмилию, сестру милосердия. Но в самый канун отъезда у него внезапно отнялся язык. У Поланецкого сердце надрывалось при виде его глаз, выражавших то безумную тревогу, то страстную немую мольбу. Он пытался что-то написать, но не смог. Вечером появились симптомы поражения мозга, и он скончался.

Временно его похоронили на Кампо-Санто. Поланецкий догадывался, что было в умоляющем взгляде Букацкого: желание, чтобы прах его перевезли на родину. Свирский поддержал его предложение.

Так лопнул этот мыльный пузырь, отливавший порой всеми цветами радуги, но, как любой мыльный пузырь, эфемерный и недолговечный...

Кончина его глубоко опечалила Поланецкого, и он целыми часами размышлял об этом странном человеке, не делясь своими мыслями с Марыней, – у него еще не вошло в

привычку делиться с ней тем, что было на душе. Впрочем, размышляя о покойном, выводы он, как это часто бывает делал в свою пользу.

«Букацкий, – рассуждал он, – жил в разладе с самим собой; не было у него житейской сметки, блуждал, как в лесу, – куда минутная прихоть поведет. И был бы от этого хоть какой-то прок, получай он хоть какое-никакое удовольствие, – ладно, имело бы смысл. А то ведь страдал. Ну правда: не глупо разве всю жизнь лишать себя вина, уверяя, что это уксус. Я вот более здраво смотрю на вещи, во всяком случае, никогда не обманывал сам себя. Что там ни говори, а с жизнью и верой к какой-то ясности пришел».

Но он и прав был, и неправ. Особенно далеко было до ясности в отношениях с собственной женой.

Он думал: взял на свое попечение и обеспечение, обходится ласково, целует – вот и все обязательства перед ней. А между тем в их отношениях все чаще стало сказываться то, что он лишь как бы соизволял и позволял себя любить. Не раз Поланецкому приходилось сталкиваться со странным явлением: когда известный своей порядочностью человек совершит благородный поступок, все говорят, махнув рукой: «Ах, этот пан Х.! Это вполне естественно!» А поступи вдруг честно какой-нибудь прохвост, те же люди скажут с почтительным удивлением: «Не так-то он, значит, плох». Сотни раз убеждался Поланецкий, что грош, поданный скупцом, производит большее впечатление, нежели золотой, получаемый от человека щедрого. И вот сам бессознательно держался с Марыней точно так же. Она душу свою, всю себя дарила ему, а он как бы говорил, махнув рукой: «Ах, эта Марыня! Это же вполне естественно!» Не будь ее любовь столь беззаветна, доставайся она ему трудно, знай его жена, какое она сокровище, и веди себя соответственно, мни себя божеством, которому надлежит поклоняться, и требуй этого, он бы поклонялся и чтил ее. Таково уж сердце человеческое, лишь немногие светлые натуры умеют подняться выше этого общего уровня. Марыня отдавала Поланецкому свою любовь как принадлежащую ему по праву, и он принимал ее как должное. Его любовь почитала она за счастье, каковым он ее милостиво оделял, сам себя почитая неким божком для нее. Лишь единый лучик падал на преданное женское сердце, остальные божок приберегал для себя. Брал все, возвращая лишь малую долю. Не было в его чувстве той робкой преданности, которая сквозит в каждом ласковом движении, давая понять любимой: «Я у твоих ног».

Но оба еще этого не понимали.

ГЛАВА XXXVII

– Я даже и не спрашиваю, счастлив ли ты, – говорил Бигель Поланецкому после его возвращения, – с такой женой быть несчастливым невозможно.

– Ты прав, – отвечал Поланецкий. – Марыня – чудная женщина, лучше не найти. – И продолжал, обращаясь к его жене? – И мне, и ей хорошо, иначе и быть не может. Помните давние наши беседы о супружестве и любви? Помните, я боялся, как бы мне не попала жена, которая захочет заслонить собой для мужа весь свет, завладеть всеми его помыслами, всеми чувствами, стать единственной целью его существования? Помните, я еще говорил вам с пани Эмилией, что любовь к женщине не может и не должна заменять мужчине все, что, кроме нее, есть в жизни и много другого?

– Да, помню, но помню и свой ответ: что домашние дела нисколько не мешают мне, к примеру, любить детей... Не знаю, но, по-моему, есть вещи, которые не расставишь строго по своим местам, как по полочкам.

– Она права, – поддержал ее Бигель. – Я замечал, что мерки физических явлений часто переносят на чувства либо идеи, а это ошибка: тут речи быть не может о строгом порядке.

– Ты уж молчи, покорный муж? – пошутил Поланецкий.

– Ну и что, если мне так лучше, – возразил Бигель невозмутимо. – Да и тебя тоже покорят.

– Меня?

– Да, тебя. Лаской, добротой, нежностью.

– Это разные вещи. Одно дело – под обаянием, а другое – под башмаком. Не мешайте мне Марыню хвалить. Мне ведь необычайно повезло: она довольствуется моим чувством, не требуя никакого безоглядного поклонения. И я за то ее люблю! Бог уберег меня от жены, требующей от мужа, чтобы тот посвятил ей всего себя: ум, душу, жизнь *et cetera*[43 - и так далее (лат.)], и хвала ему за это, ибо подобной жены я бы не вынес. Это возможно, я допускаю, но добровольно, а не насильно.

– Поймите, пан Станислав, – возразила пани Бигель, – все мы, женщины, в этом отношении одинаково требовательны. Но по началу за истинное чувство часто принимаем лишь подобие его, а потом...

– А потом? – поддразнил Поланецкий.

– Потом... природы благородные довольствуются тем, что для вас, мужчин, звук пустой, а для нас часто – единственная опора в жизни.

– Что же это за магический талисман?

– Смирение.

Поланецкий рассмеялся.

– Покойный Букацкий говаривал, что смирение для женщин – род шляпки, которая им к лицу. Шляпка смиренности, вуалька интересной томности – что, разве так уж плохо?

– Нет, неплохо. Да, если хотите, это всего-навсего наряд, но в нем легче в рай попасть.

– В таком случае моя Марыня попадет прямо в ад, потому что в такие одежды, надеюсь, никогда рядиться не станет. Кстати, вы ее сейчас увидите, она обещалась зайти к вам к концу наших конторских занятий. Опаздывает, как всегда, копуха она у меня, но должна вот-вот быть.

– Отец, наверно, задержал. Оставайтесь, пообедайте с нами, попросту, без всяких

церемоний, хорошо?

– Ладно, останемся.

– Мы сегодня обедаем не одни, еще гости будут. Пойду распоряжусь, чтобы для вас поставили приборы.

И она вышла.

– А кто у вас обедает? – спросил Поланецкий.

– Завиловский, наш новый письмоводитель.

– Какой Завиловский?

– Тот самый, известный поэт.

– С Парнаса за конторку? Как же так?

– Не помню уж, кто сказал, что наше общество держит своих гениев на голодной диете. Он талантлив, говорят, но стихами на жизнь не заработаешь. Цисковский ушел от нас в страховое общество, ты знаешь, ну, и на вакантное место явился Завиловский. Я колебался сначала, но он сказал, что для него ото кусок хлеба и возможность писать. И потом, откровенность его понравилась: сразу признался, что может переписываться на трех языках, но ни одним не владеет порядочно, а о деловой корреспонденции вообще понятия не имеет.

– Ну, это-то не беда, – сказал Поланецкий, – за неделю научится. Вопрос в том, надолго ли его хватит, не будет ли эта корреспонденция залеживаться... С поэтами хлопот не оберешься!

– Ну что ж, тогда дадим ему расчет. Но, видишь ли, раз уж сам пришел наниматься... Лучше взять такого вот Завиловского, чем неизвестно кого. Заступит на место через три дня. А пока я выплатил ему жалованье за месяц вперед.

– Он что, нуждается?

– Кажется, да. Я знаю старика Завиловского, ну того, богача, у которого дочка. Так вот, я спросил, не родственник ли он ему, он стал отнекиваться, но покраснел, так что я думаю, да. У нас ведь все наизуоборот: одни не хотят знать бедных родственников, другие – богатых. А все эта чертова амбиция и разные там причуды. Впрочем, тебе он наверняка понравится. Жене моей он понравился.

– Кто понравился твоей жене? – спросила, входя в комнату, пани Бигель.

– Завиловский.

– Я читала его стихотворение «На пороге», по-моему, очень хорошее. И потом, у него такой вид, будто он держит что-то в тайне.

– Бедность свою держит, вернее, она его.

– Нет, у него вид человека глубоко разочарованного.

– Ты видал такую фантазерку? Она уже успела мне сообщить, что он, наверно, много страдал в жизни, а я возразил: разве от золотухи в детстве или от глистов, и она, конечно, обиделась. Для нее это слишком прозаично.

– Но Марыня моя отличается... – посмотрел на часы Поланецкий и начал выражать нетерпение. – Вот копуха!

Но в ту же минуту «копуха» явилась. С пани Бигель встреча вышла не шумная, так как они уже виделись на вокзале. Поланецкий объявил жене, что они остаются обедать, и она с радостью согласилась. Тут гурьбой вбежали дети и стали здороваться.

Пришел вскоре и Завиловский; Бигель представил его Поланецкому. Это был еще молодой человек, лет двадцати семи или восьми, и Поланецкий, глядя на него, отметил про себя, что он вовсе не производит впечатления человека, много страдавшего в жизни. Просто, видимо, неловко себя чувствовал в обществе, наполовину ему незнакомом. У него было нервное лицо с сильно выдающимся, как у Вагнера, подбородком, живые черные глаза и высокий, очень нежный лоб, на котором жилы выступали в виде буквы «V».

– Я слышал, вы через три дня начинаете с нами сотрудничать? – обратился к нему Поланецкий.

– Да, сударь. То есть я собираюсь служить в вашей конторе.

– Ну, вот еще, «сударь»! У нас не принято так друг друга величать, – рассмеялся Поланецкий. – Разве что жене моей польстит и возвысит ее в собственных глазах. – И спросил Марыню? – Слушай, хотелось бы тебе, чтобы тебя «сударыней» величали? Забавно, правда?

Завиловский сконфузился, но, услышав Марынин ответ, засмеялся вместе с остальными.

– Нет, не хотелось бы. «Сударыня» мне вот в таком чепце представляется, – развела она руками, – а я чепчиков терпеть не могу.

Среди этого добродушного веселья Завиловский почувствовал себя было свободнее, но опять смутился, когда Марыня с ним заговорила.

– А я давно знаю вас по вашим стихам. Только новых не читала, мы ведь недавно вернулись. Есть у вас что-нибудь новое?

– Нет, – ответил он. – Стихи для меня, как виолончель для пана Бигеля. Пишу в свободное время и для собственного удовольствия.

– Позвольте вам не поверить, – усомнилась пани Поланецкая.

И была права, потому что дело обстояло совсем не так. Ответ был неискренним; но уклончивость Завиловского вызывалась желанием, чтобы в нем видели прежде всего писмоводителя, конторского служащего, а не поэта. И обращался он к Бигелю с Поланецким почтительно вовсе не из искательности, а давая понять, что не считает службу в конторе зазорной для себя, относится к ней серьезно, как к любой другой, и намерен так же относиться впредь. Но было тут еще кое-что. Несмотря на молодость, Завиловский успел приметить, как смешны те, кто, написав несколько

стишков, принимают романтические позы и жаждут поклонения. И, боясь тоже показаться смешным, из болезненного самолюбия впал в другую крайность: чуть ли не стыдился своих стихов. Особенно в последнее время, из-за крайней нужды, стеснительность эта стала почти маниакальной, и малейший намек на стихи приводил его в тайную ярость.

Вместе с тем он понимал, что непоследователен, ибо в таком случае надо бы не писать их и не публиковать, но отказаться от этого не мог. Слава его еще не увенчала, но отблеск ее уже коснулся чела, осеняя его то ярче, то слабее, в зависимости от появления стихов. С каждым новым сиял он все заметней, и для Завиловского, столь же честолюбивого, сколь и талантливого, сияние славы, в сущности, было дороже всего на свете. Ему хотелось, чтобы только о нем и говорили, и если, казалось, забывали, он испытывал тайные муки. Но чтобы отворили заглазно. Он страдал словно болезненным раздвоением самолюбия: жаждал славы и вместе с тем, из гордости и дикой застенчивости, ее чурался, – боясь, как бы не сказали: недостойн. Вообще в нем было много противоречивого: развитое воображение и тонкость чувств ему человеку молодому и впечатлительному, мешали подчас найти себя. Служители муз часто держатся из-за этого неестественно.

За обедом заговорили, само собой, об Италии и о людях, с которыми Поланецкие там встречались. Поланецкий рассказал о Букацком, о его последних минутах и последней воле, согласно которой должен был получить значительные деньги. Но еще значительней была сумма, оставленная на благотворительные цели, – как ею распорядиться, предстояло решить с Бигелем. Букацкого все любили и жалели, а пани Бигель даже расчувствовалась, когда Марыня упомянула, что перед смертью он исповедался и умер, как подобает христианину. Но жалость была такого свойства, что не помешала собравшимся с аппетитом отобедать, и если Букацкий всерьез мечтал о нирване, мечта его теперь сбылась, – забыли его столь же быстро, сколь и безболезненно, даже люди близкие и к нему расположенные. Неделя, месяц, год – и имя его кануло в Лету. Ничьей особенно глубокой любви он не завоевал, сам никого не любил, – такое дитя, Литка, и та оставила по себе след глубже в памяти и сердцах. Завиловский, его не знавший, заинтересовался было рассказом Поланецкого, но, выслушав до конца, задумался и сказал: «Эпигонская жизнь». Букацкого, имевшего обыкновение обращать все в шутку, огорчила бы такая эпитафия.

Марыня, желая придать разговору более веселое направление, принялась рассказывать о прогулках по Риму и его окрестностям, которые они совершали то вдвоем, то с Основскими или Свирским.

Бигель с Основским были однокашниками и встречались изредка.

– Он раб двух маний, – сказал Бигель, – одна – любовь к жене, другая – ненависть к своей тучности. Он склонен к полноте, а вообще – чудесный малый.

– Но он совсем не толстый, – заметила Марыня.

– Два года назад был настоящий толстяк, но стал кататься на велосипеде, заниматься фехтованием, лечиться диетой по Беттингу, летом ездить в Карлсбад, зимой то в Италию, то в Египет, и похудел. Но я не точно выразился, полноты не переносит его жена! А он худеет в угоду ей. И ночи напролет ногами дрыгает на балах все для той же цели.

– *Sclavus saltans*[44 - Прыгающий раб (лат.)], – сказал Поланецкий. – Свирский

нам о нем рассказывал.

– Я понимаю, можно любить жену, – сказал Бигель, – беречь ее, что называется, как зеницу ока. Все это так. Но я слышал, что он стихи жене посвящает, по книге с закрытыми глазами гадает, любит она его или не любит. А выйдет, что нет, – впадает в черную меланхолию. Влюблен, короче говоря, как мальчишка. Каждый взгляд ловит, каждому ее слову придает особое значение; не только ей ручки-ножки целует, но даже перчатки украдкой, думая, что никто не видит... Черт знает что! И так уже много лет.

– Как трогательно? – воскликнула Марыня.

– А тебе хочется, чтобы и я был таким? – спросил Поланецкий.

– Нет, – подумав, ответила Марыня, – тогда ты был бы не тем, кто ты есть.

– Ответ, достойный Макиавелли? – воскликнул Бигель. – Его стоит записать: тут тебе и похвала, и чуточка критики, и констатация, что так, как есть, хорошо, но бывает и получше. Ну, что тут скажешь!

– Я бы счел это похвалой, – отозвался Поланецкий и обернулся к хозяйке дома? – А вы бы истолковали как покорность?

– Нет, это любовь, покорность судьбе наступит позже; она как подкладка, которую подшивают в холода, – ответила, смеясь, пани Бигель.

Завиловский смотрел на Марыню с любопытством. Она казалась ему красивой и симпатичной, а ответ ее заставил задуматься. Сказать так могла только женщина очень любящая и беспредельно преданная. И он с невольной завистью взглянул на Поланецкого, а поскольку был бесконечно одинок, припомнил слова песенки: «У соседа хата была, у соседа жинка мила...»

До тех пор он не принимал участия в разговоре, отделяясь односложными ответами, но тут решил, что молчать дольше неудобно. Однако мешали робость и зубная боль, утихая, но временами напоминавшая о себе. Это окончательно лишало его смелости. Наконец, собравшись с духом, он спросил:

– А что пани Основская?

– У пани Основской есть муж, который любит за двоих, чего ей беспокоиться, – ответил Поланецкий. – Так, по крайней мере, считает Свирский. Что еще о ней сказать? Глаза как у китайки, кличут Анетой, в переднем зубе пломба, которую видно, когда она смеется, поэтому она предпочитает улыбаться. Вообще как попка в клетке: вертит головкой и верещит: «Сахару! Сахару!»

– У твоего Свирского злой язык? – возразила Марыня. – Это очаровательная женщина, живая, остроумная. А любит ли она своего мужа, этого пан Свирский знать не может, в это она его не посвящала. И вообще это все досужие домыслы.

А Поланецкий подумал: во-первых, не домыслы; а во-вторых, жена его столь же добродетельна, сколь и наивна.

– Интересно, а если бы и она его любила, как он ее? – сказал Завиловский.

– Это была бы редкостная форма эгоизма: эгоизм вдвоем, – откликнулся Поланецкий. – Они были бы так заняты собой, что ничего и никого вокруг бы не видели.

– Свет, излучая тепло, от этого не меркнет, – улыбнулся Завиловский.

– В вашем сравнении больше поэзии, чем физики, – заметил Поланецкий.

Но обеим женщинам ответ Завиловского пришелся по душе, и они горячо его поддержали. Бигель к ним присоединился, и Поланецкий остался в меньшинстве.

Затем речь зашла о Машко и его жене. Машко, по словам Бигеля, взялся вести запутанное дело о признании недействительным завещания Плошовской, которое опротестовали ее дальние родственники, притязающие на миллионное наследство. Плавицкий писал об этом дочери в Италию, но Марыня считала, что все эти миллионы – такой же мираж, как надежды на кшеменьский мергель, и когда обмолвилась было мужу, он тоже махнул только рукой. Но выходило, что игра стоит того, коли Машко взялся, значит, полагал Бигель, не все формальности соблюдены, а уж выиграй он, сразу на ноги встанет, так как выговорил себе крупный гонорар. Поланецкого очень заинтересовало это известие.

– Машко, точно кошка, всегда на ноги падает, – заметил он.

– Молите бога, чтобы и на этот раз шею себе не свернул, для вас с отцом, пани Марыня, это очень важно, – сказал Бигель. – Один Плошов с фольварками в семьсот тысяч оценен, а кроме того, солидный наличный капитал.

– Приятный был бы сюрприз, – отозвался Поланецкий.

Но Марыня огорчилась, узнав, что среди опротестовавших завещание оказался и ее отец. Ведь Стах – тоже человек состоятельный и, если захочет, сам наживет миллионы, она слепо верила в это; у отца пенсия, кроме того, она уступила ему ренту за Магерувку, так что нужда никому не грозила. Конечно, для Марыни было большим соблазном откупить Кшемень и возить туда на лето своего Стаха, но не такой ценой.

– А мне очень неприятно, – возразила она с горячностью. – Покойная прекрасно распорядилась. И нехорошо нарушать волю умерших, отнимать деньги, назначенные для бедняков и школ. Племянник ее покончил с собой, и она, может быть, думала хоть душу его спасти, заступиться перед всевышним! Нет, так не годится!.. Нельзя только о своей выгоде печься!..

Она даже раскраснелась.

– Ишь ты, какая решительная? – промолвил Поланецкий.

– Ну, Стах, скажи, разве я неправа, скажи, ведь я права? – повторяла она, как капризный ребенок, надув пухлые губки. – Ты обязан сказать.

– Ты права, без сомненья, но Машко может и выиграть процесс.

– В таком случае, я желаю ему неудачи, – ответила она.

– Ишь ты, решительная какая? – повторил он.

«И какая добрая притом, какая благородная!» – подумал Завиловский, и в его воображении поэта доброта и благородство тотчас приняли облик этой стройной, темноволосой и голубоглазой женщины с чуть широковатым ртом.

Бигель с Поланецким удалились после обеда посоветоваться за сигарами и кофе, как лучше распорядиться деньгами Букацкого. Некурящий Завиловский остался с дамами в гостиной. Марыня, как жена совладельца фирмы, почла своей обязанностью ободрить их будущего служащего.

– Мы с пани Бигель хотим жить одной большой, дружной семьей, поэтому считайте нас своими друзьями, – сказала она, подходя к молодому человеку.

– С превеликим удовольствием, с вашего позволения, – отвечал тот. – Я уже и так почел своим долгом засвидетельствовать вам свое почтение...

– Я только на свадьбе повидалась со всеми служащими, а потом мы сразу уехали, но теперь познакомимся поближе. Муж высказал желание, чтобы мы собирались раз в неделю поочередно у нас и у Бигелей. Мысль хорошая, но у меня одно условие.

– Какое? – спросила пани Бигель.

– На этих встречах – никаких разговоров о делах! Будем слушать музыку – пан Бигель, надеюсь, об этом позаботится, – читать стихи, такие, как «На пороге».

– Только в мое отсутствие, – сказал Завиловский с принужденной улыбкой.

– Отчего же? – спросила, взглянув на него, Марыня со свойственной ей прямоотой. – В обществе людей, искренне к вам расположенных? Мы, еще не будучи знакомы, не раз говорили, думали о вас, а теперь и сам бог велел.

Завиловский был совершенно обезоружен и подумал, что судьба свела его с людьми необыкновенными. Во всяком случае, пани Поланецкая представлялась ему именно такой. Боявшийся как огня насмешек над своими стихами, длинной шеей, острыми локтями, он утратил свою обычную скованность, перестав ее дичиться. Он чувствовал: она никогда не говорит ничего просто так, из светской любезности, – ее слова подсказывались добротой и отзывчивостью. К тому же его захватила, как Свирского в Венеции, ее внешность. И, по привычке облекать впечатления в словесную форму, он мысленно стал искать определений ее красоты, понимая, что они должны быть изысканны и вместе просты, выразительны и скромны, как сама ее красота, изящная и безыскусная. В нем заговорил поэт, нашедший тему.

Марыня между тем, движимая самыми лучшими побуждениями, стала расспрашивать его о семье, но появление в гостиной Бигеля и Поланецкого избавило его, к счастью, от неприятной, видимо, для него необходимости отвечать. Отец его, известный в свое время картежник и кутила, вот уже несколько лет как лишился рассудка и находился в больнице для умалишенных.

Конец этому щекотливому объяснению положила музыка. Бигель, посоветовавшись с Поланецким и подтвердив, что проект получается отличный, только надобно хорошенько его обдумать, взялся за виолончель.

– Удивительное дело, – помолчав, сказал он, – когда играешь, кажется, что ни о чем не думаешь, но это не так! Какие-то клеточки в мозгу продолжают работать, и,

как ни странно, именно тогда и приходят самые лучшие мысли.

Он установил виолончель между колен и, закрыв глаза, заиграл «Весеннюю песню».

Завиловский ушел в тот вечер от Бигеля, очарованный и доброжелательной простотой как хозяев, так и гостей, и «Весенней песней», но особенно Поланецкой.

Она же была далека от мысли, что благодаря ей поэзию, быть может, озарит новая искра вдохновения.

ГЛАВА XXXVIII

Через неделю поте приезда Поланецким нанесли визит супруги Машко. Она в сером платье с отделкой из перьев марабу выглядела чрезвычайно эффектно. Воспаление глаз, которым она прежде страдала, прошло. Лицо ее сохраняло свое обычное безучастно-сонливое выражение, но теперь это придавало ей какую-то особую поэтичность. Старше Марыни почти на пять лет, Краславская до замужества выглядела зрелой не по возрасту, а сейчас будто помолодела. Ее высокая, очень стройная фигура в облегающем сером платье казалась девически юной. Не любивший ее Поланецкий, как ни странно, находил ее в то же время привлекательной и при встрече каждый раз говорил себе: «Все-таки в ней что-то есть!» Даже ее детски монотонный голосок обладал для него своим очарованием. И он должен был признать, что она очень хороша и, в отличие от Марыни, заметно изменилась к лучшему.

Сам Машко тоже расцвел, как подсолнух. Он весь исходил самоуверенной важностью, впрочем, с оттенком снисходительного благоволения. Вид у него был такой, будто его владений за день не объехать, – словом, он пыхился больше, чем когда-либо. Лишь любовь его к жене была непритворной – в каждом взгляде на нее читалось настоящее обожание. Да и правда, трудно было найти женщину, столь отвечающую его понятиям о хорошем тоне, благовоспитанности и светскости. Ее невозмутимость и как бы замороженность в обращении представлялись ему чем-то непревзойденным. «Чувство собственного достоинства» не покидало ее ни при каких обстоятельствах, даже с мужем наедине. Как истинный парвеню, которому удалось жениться на княжне, – а она была ею в его глазах, – он любил ее именно за это и в ней свою удачу.

На Марынин вопрос, где провели они медовый месяц, пани Машко отвечала: «В имении мужа», – таким тоном, словно «имение» было по меньшей мере майоратом, который переходил от отца к сыну на протяжении двадцати поколений, прибавив, что за границу они собираются в будущем году, когда муж покончит с делами, а пока на летние месяцы снова поедут в «имение мужа».

– Вы любите деревню? – спросила Марыня.

– Мама любит, – последовал ответ.

– А Кшемень нравится вашей маме?

– Да, только окна в доме, как в оранжерее, в мелких переплетах!

– Ну, это отчасти по необходимости, – засмеялась Поланецкая, – разбейся такое стекло, его любой стекольщик вставит, а за большим пришлось бы аж в Варшаву

посылать.

– Муж говорит, что выстроит новый дом.

Марыня тихонько вздохнула, поспешив перевести разговор на другую тему. Заговорили про общих знакомых. Оказалось, пани Машко вместе с «Анеткой» Основской и младшей ее родственницей Линетой Кастелли посещали когда-то уроки танцев и дружны до сих пор; Линета же еще красивей Анеты, а к тому же рисует и сочиняет стихи – у нее их целый альбом. Анета, по слухам, будто бы уже вернулась и до июня проживет на даче вместе с Линетой и тетужкой ее, пани Бронич. «Очень будет приятно... Такие милые люди!»

Поланецкий с Машко вышли между тем в маленькую гостиную, разговарившись о наследстве Плошовской.

– Должен тебе сказать, что, кажется, я выкарабкаюсь, – сообщил Машко. – А ведь на краю гибели был. Но вот взялся за это дело – и сразу твердую почву под ногами почуял. Давно у меня такого не было. Тут миллионами пахнет. Плошовский-то сам был побогаче своей тетки и перед тем, как пустить себе пулю в лоб, завещал свое состояние матери Кромицкой. Когда же та отказалась, все перешло к старухе Плошовской. Представляешь теперь, какое богатство осталось после старушенции.

– Тысяч около семисот, по словам Бигеля.

– Ежели твой Бигель так уж любит считать, скажи ему: почти вдвое больше. Ну-с, не так-то просто меня потопить! Умею за себя постоять, могу это сказать по праву. И самое забавное, что обязан этим знаешь кому Т Твоему тестю. Как-то он упомянул об этом, но я тогда отмахнулся. А потом начались мои злключения, я тебе писал. Еще немножечко, и пропал бы. И вот недели три назад встречаю случайно твоего тестя, и он опять о Плошовской, ругает ее на все корки. И тут я хлоп себе по лбу. Чем, думаю, я рискую? Абсолютно ничем. Попросил нотариуса Вышинского: едва стало известно, какой я гонорар получу, если выиграю дело, ко мне моментально преисполнились доверия, заимодавцы опять вооружились терпением, открыли кредит, и вот – держусь... Помнишь, еще недавно я совсем было раскис: стал идиллии себе всякие рисовать, – тружусь упорно, как муравей, во всем себя ограничиваю... Чепуха это все, мой дорогой! Ты вот упрекал меня в актерстве, но у нас без этого не проживешь. И сейчас нужно делать вид человека состоятельного и уверенного в успехе.

– Скажи честь по чести: это дело справедливое?

– Что значит «справедливое»?

– Ну, не придется подтасовывать, чтобы его выиграть?

– Видишь ли, в каждом деле есть обстоятельства, которые можно обратить в свою пользу, и искусство адвоката как раз в том, чтобы их выявить. Здесь вопрос, собственно, в чем? Кто наследники, то есть, по закону ли составлено завещание, а закон придумал не я.

– Ты рассчитываешь выиграть?

– Когда завещание опротестовывают по суду, всегда есть шансы выиграть, потому что истец обычно действует стократ энергичней ответчика. Кто будет выступать

против? Учреждения по самой природе своей медлительны, нерасторопны, представители их лично не заинтересованы в исходе дела. Возьмут адвоката – хорошо! Но что ему заплатят? Сколько могут заплатить? Не больше чем предусмотрено в таксе. Так что их адвокату, может быть, выгодней и проиграть в случае, если мы с ним вступим в соглашение. В судебном разбирательстве, как в жизни: выигрывает тот, кто больше этого хочет.

– Но ведь против тебя ополчится общественное мнение, если ты такое завещание опротестируешь. Моя жена, к примеру; хотя она до некоторой степени лицо заинтересованное...

– Как это «до некоторой степени»? Да я вас просто облагодетельствую.

– Допустим, Но мою жену возмутило и продолжает возмущать это дело.

– Твоя жена – исключение.

– Не совсем. И мне оно не по душе.

– Что я слышу?! И ты в романтику ударился?

– Милый мой, мы друг друга знаем не первый день, и меня такими фразами не возьмешь.

– Ладно. Поговорим тогда об общественном мнении. Так вот: известное недоброжелательство человеку в полном смысле *сomme il faut* скорее на пользу, чем во вред. И еще: на меня бы ополчились, как ты выразился, если б я дело проиграл, вот ты что пойми. А если выиграю, уважать только больше будут, а я его выиграю? – И, помолчав, продолжал? – Но взглянем на все на это со стороны чисто экономической. Капитал за границу не уплывет и применение найдет, пожалуй, даже лучшее. Суди сам: ну, пустили бы эти деньги на прокормление нескольких дюжин заморышей, и выросли бы они худосочными, хилыми людьми – это же к вырождению нации ведет; или дюжина швей получила бы швейные машины; или сколько-то там баб и мужиков прожили на два, на три года дольше; общество от этого не выиграет ничего. Это непроизводительные расходы. Пора нам усвоить азы политической экономии... Наконец, скажу тебе прямо: еще немного, и мне бы конец. Мне в первую голову о себе приходится думать, о жене, о своей будущей семье. Вот окажешься когда-нибудь в таком же положении, поймешь. Я предпочел выплыть, а не идти ко дну – на это каждый имеет право. Жена моя получает пенсион, и не малый, – я писал тебе, но состояния у нас нет или почти нет. А ей еще отцу надо какую-то сумму выплачивать, которую пришлось увеличить, потому что он пригрозил в противном случае приехать, а это мне совсем не улыбается.

Значит теперь дополнительно известно, что Краславский жив? Ты, помнится, что-то про это говорил.

– Тем более не стану ничего скрывать. О жене моей и теще всякие сплетни распускают, я знаю, болтают невесть что, поэтому расскажу тебе все, как есть. Краславский живет в Бордо, он был агентом по продаже сардин и неплохо зарабатывал, но лишился места из-за пристрастия к абсенту, вдобавок обзавелся второй семьей. Мои посылают ему три тысячи франков в год, но ему не хватает, между получками он нуждается, вследствие чего пьет еще больше и бомбардирует несчастных женщин письмами, грозя написать в газеты, как они с ним обращаются, хотя он и такого обращения не заслуживает. Сразу же после свадьбы я получил от

него письмо с просьбой прибавить ему тысячу франков. Он, конечно, не преминул сообщить, что они его «заели», он-де жертва их эгоизма и не видел счастья в жизни – ну, и предостерегал меня против них... Но гонор у бестии шляхетский? – со смехом продолжал Машко. – Решил с горя афишки в театре продавать, велели надеть каскетку, а он наотрез отказался. «Все бы ничего, если б не эта проклятая каскетка? – писал мне. – Как дали ее мне – ну, не могу, и все!..» С голоду предпочитал умереть, но каскетку не надел: вот он какой, мой тесть. Был я однажды в Бордо, но, убей меня бог, не помню, какие там растакие фуражки носят эти продавцы афиш, а хотелось бы поглядеть, что за фуражка... В общем, я так рассудил: приплачу лучше тысячу франков, чтобы подальше держать с этим его абсентом и фуражкой... Меня другое огорчает: злые языки болтают, будто он и здесь не то рассильным был, не то писарем, это ложь бессовестная, стоит любой гербовник открыть – и станет ясно, кто такие Краславские. Там все родственные связи как на ладони, и Краславским их не занимать стать. Сам под гору покатился, но рода он знатного. У них много родственников, и не каких-нибудь с бору по сосенке, – рассказываю тебе не почему-нибудь, а чтобы ты знал истинное положение вещей.

Но родословная Краславских мало занимала Поланецкого, и они вернулись к дамам, тем более что пришел Завиловский – Поланецкий пригласил его к чаю, пообещав показать фотографии с итальянскими видами. Целые кипы их лежали на столе, но Завиловский взял Литкин портрет и не мог оторвать восхищенного взгляда. Поздоровался с Машко и опять стал его рассматривать, продолжая начатый разговор.

– Никогда бы не подумал, что это настоящий, живой ребенок, а не вымысел художника, – сказал он. – Головка прелестная, а выражение какое! Это ваша сестренка?

– Нет, – отвечала Поланецкая. – Этой девочки нет в живых.

Упавшая на это ангельское личико трагическая тень только усилила в глазах поэта его очарование, пробудив у Завиловского еще большее сочувствие, и он еще долго рассматривал портрет, то отстраняя его, то приближая.

– Я спросил, не сестра ли она вам, – сказал он наконец, – потому что сходство есть в чертах... верней, в выражении глаз... Да, что-то есть!

Завиловский говорил вполне искренне, но Поланецкий так свято чтит память покойной, что сравнение с Марыней, чьей красоте он сам отдавал должное, показалось ему профанацией. И, взяв портрет из рук Завиловского, он поставил его на место.

– Никакого сходства, по-моему, нет? – возразил он с горячностью, почти резкостью. – Решительно никакого! Не понимаю, как можно даже сравнивать!

– По-моему, тоже, – согласилась Марыня, хотя ее и задел этот резкий тон.

Но Поланецкому недостаточно было ее согласия.

– Вы знали Литку? – обратился он к пани Машко.

– Знала.

– Ах да, вы же ее видели у Бигелей.

– Да.

– Правда, сходства никакого?

– Правда.

Преклонявшийся перед Поланецкой Завиловский поглядел на него с удивлением, а тот любовался стройной фигурой пани адвокатши в сером облегающем платье, восклицая мысленно: «Как грациозна!»

Супруги Машко стали вскоре прощаться. Целуя руку Марыне, Машко сказал:

– На днях я, может быть, поеду в Петербург, не забывайте, пожалуйста, мою жену.

За чаем Марыня напомнила Завиловскому его обещание принести и прочесть стихотворение «На пороге» в другом варианте, Завиловский, который к ним сразу расположился, прочел не только это, но и еще одно, недавно написанное. Видно было, что он сам удивлен тем, как осмелел и разохотился.

– Мне кажется, мы уже век знакомы, хотя я был у вас всего два раза, – прочтя стихи и выслушав искренние похвалы, сказал он с такой же искренностью. – Мне это даже странно.

Поланецкий вспомнил, что сам сказал нечто подобное Марыне в Кшемене; но теперь принял слова Завиловского на свой счет.

А Завиловский имел в виду прежде всего Марыню; он покорен был ее внешностью, естественностью, добротой.

– Талантлив, бестия! Спору нет, – сказал жене после его ухода Поланецкий. – Он как будто немного изменился, ты не заметила?

– Подстригся просто, – ответила Марыня.

– А! И подбородок еще больше выдается.

Он встал и принялся собирать и укладывать фотографии на полочку над столом. Напоследок взял портрет Литки.

– Отнесу его к себе в кабинет.

– У тебя ведь висит там тот, раскрашенный, с березками.

– Да, но я не хочу, чтобы он лежал тут у всех на виду. Каждый, кому не лень, замечания будет делать, меня это раздражает. Ты не возражаешь?

– Нет, Стах, конечно, – ответила Марыня.

ГЛАВА XXXIX

Бигель настойчиво уговаривал Поланецкого не свертывать коммерческих операций и

не братья очертя голову за иного рода дела. «Мы основали солидную фирму, – твердил он, – таких у нас раз-два, и обчелся, и обществу, и нам от этого польза». Было бы, по его словам, непростительно забросить дело, благодаря которому они почти удвоили свое состояние, но именно теперь всего разумней действовать с особой осторожностью и осмотрительностью, и эта первая смелая спекуляция, хотя удачная, пусть будет последней, не служа соблазном. Поланецкий соглашался: да, осторожность особенно необходима, когда дела идут успешно, но жаловался: контора не дает развернуться, хотелось бы заняться каким-нибудь производством. Но у него хватало практического смысла, чтобы не помышлять о собственной фабрике. «Маленькую иметь не стоит, – рассуждал он, – не выдержать конкуренции с крупными, которые выбрасывают товар en gros [45 - крупными партиями, оптом (фр.)], а для большого дела средств не хватит. В акционерной же компании я бы не на себя работал, а на других». Он понимал также, что среди поляков акционеров найти нелегко, а чужаков привлекать не хотел, зная наперед, что к нему отнеслись бы с недоверием, – сама его фамилия оказалась бы уже помехой. Здравомыслие Поланецкого радовало Бигеля, для которого главным было сохранить фирму.

Но Поланецкого стало преследовать еще одно извечное, старое, как мир, желание: приобрести недвижимость. Благодаря выгодной спекуляции и записи в завещании Буцацкого он сделался богатым человеком, но, несмотря на трезвый практицизм, испытывал странное ощущение, что это богатство, пусть и вложенное в надежные бумаги и запертое в несгораемой кассе, тоже бумажное и таковым остается, пока не сделается чем-то осязаемым, о чем можно сказать: «Мое!» Это странное желание овладевало им все сильнее. Не что-нибудь невероятное, а скромный, но собственный угол, где можно чувствовать себя полновластным хозяином. Рассуждая об этом с Бигелем, он все доказывал, что иметь недвижимость – это, наверно, страсть прирожденная; ее можно подавить, но в зрелом возрасте она непременно пробуждается с новой силой. Бигель соглашался.

– Вполне возможно. Желание твое законно: ты женат и хочешь жить в собственном, а не наемном доме, и средства у тебя для этого есть. Так что дело теперь только за тобой.

Сперва Поланецкий задумал построить большой дом в городе: он удовлетворял бы его желанию, а заодно приносил бы доход. Но в один прекрасный день сообразил: в этом весьма практичном плане мало привлекательного, это главная его уязвимая сторона. Уж если «мое», – значит, любимое, а как любить каменный дом, в котором кто ни попадя снимает квартиры? Он было устыдился этой мысли, найдя ее слишком романтической, но потом сказал себе: «Нет! Употребить свой капитал себе на радость – это не романтизм, а довод рассудка». И стал подумывать о том, чтобы приобрести домик поменьше в городе или за городом, где можно поселиться вдвоем с женой. Но при доме обязательно хоть клочок земли с какой-нибудь растительностью. Приятен был бы один вид деревьев в своем саду, перед своим домом, на своей земле. Он сам себе удивлялся, но ничего не мог с собой поделать. И в конце концов пришел к заключению, что самое лучшее – купить небольшой дом за городом, вроде дачи Бигелей, с землей, где и лес, и огород, и сад, и аист будет гнездиться на старой липе.

«Если средства позволяют, лучше что-нибудь в таком роде, в этом есть своя прелесть и ничего дурного», – говорил он себе.

И он стал с разных сторон обдумывать свой план. Уж коли речь идет о семейном гнезде, где предстоит прожить оставшиеся годы, надо взвесить все без лишней

спешки, – это было ясно. И все свободное от конторских занятий время он посвящал этому обдумыванию, в котором находил большое удовольствие. Едва стало известно о намерении Поланецкого приобрести загородный дом за наличные, отовсюду посыпались предложения – часто неподходящие, но иногда соблазнительные. Приходилось ездить за город или смотреть городские виллы. Нередко, воротясь из конторы и пообедав, Поланецкий уходил в кабинет и сидел до вечера за письмами и планами. У Марыни появилось много свободного времени. От ее внимания не укрылось, что муж чем-то увлечен, и она пробовала его расспросить.

– Скажу, детка, когда будет что-то известно, – отвечал он, пока же сам толком ничего не знаю, а просто так болтать не в моих правилах.

Но Марыня узнала обо всем от пани Бигель, а та – от мужа, в чьих правилах было, наоборот, обсуждать с женой свои дела и планы. Марыне тоже доставило бы истинное наслаждение поговорить с мужем обо всем, тем более о выборе будущего гнезда. При одной мысли об этом ее охватывало радостное волнение, но коль скоро Стаху это «не по душе», она из деликатности не допытывалась.

Он же вел себя так без всяких задних мыслей – ему просто в голову не приходило посвящать ее в свои денежные расчеты. Наверно, Поланецкий поступал бы иначе, получи он за женой большое приданое и распоряжайся также ее состоянием, будучи в подобных вопросах человеком очень щепетильным. Но поскольку распоряжался он только своими деньгами, у него, по сохранившейся холостяцкой привычке, не возникало-и потребности делиться чем бы то ни было, что еще не решено. И советовался он об этом с одним Бигелем, имея обыкновение только с ним говорить о делах.

А с женой разговаривал лишь о том, что, по его представлению, «прямо» ее касалось; в частности, о необходимости составить круг знакомых. В предшествующие женитьбе годы Поланецкий почти перестал бывать в обществе, но понимал; что теперь должно быть иначе. Они отдали визит супругам Машко и как-то вечером принялись обсуждать, надо ли побывать у Основских, которые вернулись из-за границы и собирались прожить до середины июня в Варшаве. Марыня считала, что надо, все равно они будут с ними встречаться в доме Машко, и потом, она любила и жалела Основского. Поланецкий не выразил особого желания поддерживать это знакомство и поначалу настоял на своем, но спустя несколько дней Основские, повстречав Марыню, обрадовались ей так искренне, Анета так настойчиво твердила: «Мы, римлянки», и оба так радушно звали к себе, что уклониться от визита было бы просто неучтиво.

Но во время визита все радушие обратилось главным образом на одну Марыню. Хозяева словно старались превзойти друг друга, оказывая ей разные знаки внимания. А с Поланецким держались лишь благовоспитанно, но не более того, – безусловно вежливо, но сдержанно. Он видел, что Марыне отводится первая роль, а ему – вторая, и это его немного задевало. Основскому, впрочем, не было нужды заставлять себя быть любезным с Марыней; он чувствовал: она питает к нему симпатию – и платил ей сторицей, не будучи в жизни этим избалован.

Марыне показалось, что в жену он влюблен еще больше прежнего. У него словно сердце начинало биться чаще при взгляде на нее. И, говоря, он старательно выбирал выражения, точно опасаясь нечаянно ее обидеть. Поланецкий на него посматривал с некоторым сожалением, но было в этом и нечто трогательное. А в борьбе с тучностью Основский добился результатов прямо-таки блистательных: платье стало сидеть на нем даже чуть мешковато. Угри, нередкие у блондинов,

почти исчезли с его лица, и вообще он стал намного интересней. А жена несколько не изменилась: все те же бесподобно фиалковые, чуть раскосые глазки, мысли, райскими птичками перепархивающие с предмета на предмет.

У Основских Поланецкие завязали новое знакомство: с пани Бронич и ее племянницей, Линетой Каstellи, которые приехали в Варшаву на «летний сезон», поселясь на вилле Основских. Покойный Бронич продал ее Основскому, оставив флигель за женой. Рассказывая о муже, вдова не забывала напомнить, что он потомок князей Острожских, а значит, последний из Рюриковичей. В городе ее прозвали «пани Сахар-Медовичева»; прозвищем она была обязана слащавому голосу, каким разговаривала, стремясь снискать чье-нибудь благорасположение. Любила она и приврать, и сочиняемые ею небылицы становились притчей во языцех. Линета была дочерью ее сестры, которая, к ужасу семьи и света, вышла замуж за итальянца, учителя музыки, и умерла родами, оставив дочку. Через год и отец утонул в Лидо, и пани Бронич взяла племянницу на воспитание.

Панна Каstellи была писанная красавица: черные очи, золотые кудри, тонкий профиль и личико необыкновенной, фарфоровой белизны. Лишь тяжелые веки придавали ей сонное выражение, но оно могло сойти и за самоуглубленность. Естественно было предположить, что она живет напряженной внутренней жизнью и потому недостаточно внимательна к окружающему. А кто сам об этом не догадывался, мог быть уверен, что ему поспешит на помощь пани Бронич. Основская, переживавшая период увлечения своей кузиной, говорила, что очи ее – как бездонные озера; неизвестно, правда, что таилось в их глубине, но это-то как раз и привлекало.

В Варшаву Основские приехали развлечься, но недаром Анета побывала в Риме. «Искусство, – твердила она Поланецкой. – Кроме искусства, ничто больше меня не интересует». И не скрывала намерения устраивать у себя «афинские вечера», а втайне мечтала стать Беатриче какого-нибудь новоявленного Данте, Лаурой новоиспеченного Петрарки или, на худой конец, Витторией Колонной для второго Микеланджело.

– На даче у нас прелестный сад, – говорила она, – мы будем собираться там теплыми вечерами и беседовать, совсем как в Риме или во Флоренции... Представьте себе, – тут она подымала руки вровень с плечами и начинала ими легонько взмахивать, – сумерки, догорающая заря, новолуние, свет ламп, тени деревьев, а мы вот так сидим и негромко рассуждаем о самом сокровенном: о жизни, любви, искусстве. Ведь гораздо лучше, чем сплетничать! Тебе, Юзек, наверно, скучно будет, но сделай это ради меня, не сердись, увидишь, как славно получится.

– Анеточка, да разве может быть скучно, когда тебе весело? – отвечал Основский.

– Надо поторопиться, пока Линета здесь; она ведь прирожденная артистка. – И, обращаясь к ней? – А что там в этой милой головке? Что она нам скажет о таких вот... римских вечерах?

Линета улыбалась вместо ответа, а «последняя из Рюриковичей» сладким-пресладким голоском сказала как-то Поланецким:

– Знаете, когда она была маленькая, сам Виктор Гюго ее благословил!

– Так вы знакомы были с Виктором Гюго? – спросила Марыня.

– Мы? Что вы! Боже упаси от таких знакомств. Но однажды проезжаем мы по Пасси,

мимо его дома, а он на балконе, и то ли по наитию, то ли по внушению свыше, но увидел Линету, поднял вот так руку и перекрестил ее.

– Тетя? – сказала Линета.

– Деточка, но ведь это правда, а правду чего же скрывать! «Гляди, гляди, руку протер! – вскричала я тут же. И консул, пан Кардин, на переднем сиденье, тоже видел, что он поднял руку и тебя перекрестил! Наоборот, я часто рассказываю об этом. Может за то крестное знамение господь ему прегрешения простил, их у него не мало было. Такой заблудший ум, а увидел Линету – и перекрестил!

Правдой в ее рассказе было лишь то, что, проезжая по Пасси, они и в самом деле видели на балконе Виктора Гюго. Но что до благословения, злые языки в Варшаве уверяли, будто руку он поднял, прикрывая зевок.

– Устроим себе здесь маленькое подобие Италии, – развивала тем временем свою тему Основская, – не выйдет, укатим в настоящую зимой. Мне давно хотелось иметь в Риме открытый дом. А пока что у Юзека есть несколько отличных копий картин и статуй. Сделал специально для меня, и очень мило с его стороны, в искусстве он ведь плохо разбирается. Прелестные есть вещицы, у Юзека хватило благоразумия не полагаться на свой вкус, а посоветоваться со Свирским. Жалко, что его здесь нет. И Букацкий умер, как нарочно; его нам тоже будет не хватать. Очень мил бывал иногда. Такой живой, гибкий ум, змейкой перевивал разговор. Вы знаете, – обратилась она к Поланецкой, – Свирский вами просто пленен. После вашего отъезда только о вас и толковал и начал писать мадонну с вашим лицом. Вы станете его Форнариной! У художников вы явный успех имеете, придется нам с Линетой покрепче взяться за руки на моих флорентийских вечерах, не то вы совсем оттесните нас!

Пани Бронич окинула Марыню критическим взглядом.

– Ах, пан Свирский? – протянула она. – Помнишь Линеточка?.. Уж коли речь о лицах, которые производят впечатление на художников, расскажу вам про один случай в Ницце...

– Тетя!.. – перебила Линета.

– Но это же правда, милочка, а правду скрывать нечего... Год назад... Нет, два уже... как время-то бежит...

Основская, однако, не раз, видимо, слышала о происшедшем в Ницце.

– У вас есть знакомства в артистическом мире? – обратилась она к Поланецкой.

– У мужа, наверно, есть, – сказала Марыня, – у меня нет. Правда, я знакома с Завиловским.

Эта новость вызвала живейший энтузиазм у Основской. Она всю жизнь, оказывается, мечтала с ним познакомиться, Юзек может подтвердить. На днях они с Линетой читали стихотворение «Ех імо»[46 - «Из молитвы» (лат.)], и Линета – она, как никто, умеет иногда одним словом передать впечатление... так вот она сказала... Что-то такое оригинальное...

– Что эти стихи словно отлиты из меди, – подсказала пани Бронич.

– Да из меди! И сам Завиловский представился мне бронзовым изваянием. Каков он из себя?

– Низенький, – сказал Поланецкий, – толстый, лет около пятидесяти, и на голове ни волоска.

На лицах Основской и Линеты изобразилось такое глубокое разочарование, что Марыня не выдержала и рассмеялась.

– Не верьте ему, – сказала она, – он злой, любит нарочно смущать. Завиловский молодой, дичится немного людей и немного похож на Вагнера.

– Другими словами, подбородок вот такой, как у полишинеля, – показал Поланецкий.

Но Основская его замечание пропустила мимо ушей, принявшись упрашивать Марыню познакомить ее как можно скорей с Завиловским, «как можно скорей, ведь лето уже не за горами!»

– А мы постараемся, чтобы ему было у нас хорошо, чтобы он не дичился, впрочем, не беда, если и дичится немного, он должен дичиться, нахохливаться, когда к нему приближаются... как орел в неволе! С Линетой они найдут общий язык, она тоже замкнутая, загадочная, как сфинкс.

– По-моему, всякая душевная высота... – отважилась было «Сахар-Медовичева».

Но Поланецкие принялись прощаться. В прихожей столкнулись они с Коповским – лакей обмахивал щеткой ему башмаки, а он тем временем причесывался, ну прямо не человек, а монумент.

– И это им тоже пригодится для «флорентийских» вечеров, – сказал Поланецкий на улице. – Тоже сфинкс порядочный.

– Если бы в нише установить? – подхватила Марыня. – Какие, однако, красавицы обе!

– Удивительное дело, – отозвался Поланецкий, – вот, Основская хороша собой, а мне, пожалуй, жена Машко больше нравится. Панна Кастелли и правда красавица, но слишком уж высока. Ты заметила: разговор все время вокруг нее вращался, а она – ни гугу.

– Она слывет девушкой очень интеллигентной, – ответила Марыня, – но, наверно, робеет, как Завиловский. Надо подумать, как их познакомить.

Случай, однако, помешал этому. На другой день, поскользнувшись на лестнице, Марыня сильно ушибла колено и несколько дней пролежала в постели. Узнав об этом по возвращении из конторы, Поланецкий сперва не на шутку испугался, но, успокоенный врачом, сделал довольно резкий выговор жене.

– Ты должна помнить, что не только себе можешь повредить!

Ушиб болел, но больно было и от его слов, которые показались Марыне слишком холодными: ведь он должен был бы побеспокоиться прежде всего о ее здоровье, тем более что предположения его были еще неосновательны. Но это не помешало ему проявить много заботливости о ней, он даже в контору не пошел ни на другой, ни

на третий день, чтобы ухаживать за женой. Утром он читал ей вслух, а после второго завтрака работал в соседней комнате при открытой двери, чтобы слышать, если она позовет. Тронутая его вниманием, Марыня принялась его благодарить. Он поцеловал ее в ответ.

– Детка, я просто исполняю свой долг. Ведь даже посторонние справляются о тебе каждый день.

И в самом деле знакомые ежедневно осведомлялись о ее здоровье. Завиловский встречал его в конторе вопросом: «Как себя чувствует пани Поланецкая?» Днем ее навещала пани Бигель, а сам Бигель являлся по вечерам и, не входя к ней, садился в соседней комнате за фортепиано, чтобы развлечь больную музыкой. Супруги Машко и пани Бронич дважды оставляли свои визитные карточки. Основская чуть не насильно прорвалась как-то к ней, оставив мужа в карете, и проболтала битых два часа, перескакивая, по своему обыкновению, с пятого на десятое: о Риме, о своих предполагаемых вечерах, о Свирском и о муже, о Линете и Завиловском, мысль о котором не давала ей покоя. Под конец она предложила перейти на «ты» и попросила помочь осуществить один замысел. «Собственно не замысел даже, а заговор», – словом, одна идея, не идущая из головы; так и сверлит, так и сверлит, никакими силами не отделаешься.

– Все о Завиловском думаю, Юзек даже приревновал меня к нему, но он, бедняжка, в этих вещах ничего не смыслит. Они с Линетой созданы друг для друга, я убеждена, – не Юзек, а Завиловский. Он – поэт, и она – сама поэзия! Не смейся, Марыня, и не думай, я не сошла с ума. Ты не знаешь Линету. Ей нужен человек незаурядный. За Коповского она ни за что замуж не пойдет, хотя он красив как бог. Такого лица, как у него, я никогда в жизни не видела... Разве что в Италии на картине какой-нибудь, и то нет. А знаешь, Линета про него говорит: «C'est un imbécile»[47 – Это слабоумный (фр.)]. Может так оно и есть, но она сама на него заглядывается. Представь, как было бы чудесно, если б они, познакомясь, полюбили друг дружку и поженились – я имею в виду не Коповского, а Завиловского. Вот была бы пара! Ведь Линете с ее запросами нелегко мужа найти! И кто достоин ее? Представляю, какая была бы любовь, какая любовь! То-то мы бы радовались, то-то радовались, на них глядя! Жизнь так скучна, что ради одного этого стоило бы потрудиться. Впрочем, не думаю, что это так уж трудно, тетушка тоже отчаялась подходящего мужа ей приискать. Боюсь, совсем тебя замучила, но ведь так приятно поболтать, притом еще о деле.

После ее ухода Марыня действительно почувствовала легкое головокружение. Тем не менее со смехом стала рассказывать мужу какие у Анеты алчные виды на Завиловского.

– Сердце у нее доброе, это мне нравится, но до чего экзальтированная, – сказала она в заключение. – Чего ей только в голову не взбредет.

– Не экзальтированная, а взбалмошная, – возразил Поланецкий. – Это большая разница. Экзальтированность почти всегда предполагает доброту, а взбалмошность прекрасно уживается с черствостью. Голова горячая, а вместо сердца ледышка.

– Ты ее недолюбливаешь, вот и говоришь, – сказала Марыня.

Поланецкий и впрямь недолюбливал Основскую, но на сей раз не стал ни спорить, ни соглашаться, а, посмотрев на жену, поразился: как хороша! Волосы в беспорядке рассыпались по подушке, и личико, точно цветок, выглядывало из этой темной

волны. Глаза казались иссиня-голубыми, и полоска мелких белых зубов меж полуоткрытыми губами.

– Какая ты красивая сегодня, – понизил голос Поланецкий и, наклонясь к ней, с изменившимся лицом стал жадно целовать ее в глаза и губы.

Его поцелуи, неловкие прикосновения причинили ей боль. Кроме того, задела его слова: выходило будто он раньше не замечал ее красоты. Неприятны были его невнимательность, искажившееся лицо, и она отвернула голову.

– Стась, мне больно! Я ведь нездорова.

– Прости, я забыл, – с плохо скрываемым раздражением сказал, выпрямляясь, Поланецкий...

И, удалясь в другую комнату, принялся изучать присланный утром план дома с садом.

ГЛАВА XL

Марыня скоро поправилась, и уже через неделю они смогли поехать к Бигелям, которые тем временем перебирались на дачу. Несмотря на раннюю весну, погода установилась теплая, и в городе стало душно. Завиловский – он уже освоился – тоже приехал, прихватив с собой огромного бумажного змея, которого они собирались запускать с Поланецким и ребятами. Бигели его полюбили; несмотря на свои причуды, он был прост и весел, часто даже ребячлив. Пани Бигель утверждала, что у него незаурядное лицо. Отчасти так оно и было: шрам над глазом и выступающий вперед подбородок сообщали ему энергическое выражение, которому совсем не соответствовала верхняя часть лица с мягкими, почти женственными чертами. Поначалу пани Бигель сочла его оригиналом, но здравые суждения, которые он высказывал обо всем и о себе самом, опровергали это мнение. Странности его объяснялись лишь застенчивостью; кроме того, был он человек увлекающийся и не чуждый тщеславия.

За обедом заговорили об Основских, об афино-римско-флорентийских вечерах, о Линете и большом интересе, проявляемом дамами к его особе.

– Хорошо, что сказали, – отозвался он, – теперь ни за что к ним не пойду.

– Вы сначала у нас с ними познакомьтесь, – сказала Марыня.

– Да я из передней убегаю, – умоляюще сложил он руки.

– Это почему же? – спросил Поланецкий. – Стыдиться, что вы пишете стихи, – все равно как своих убеждений стыдиться.

– Правильно, – поддержала хозяйка дома. – Чего же стыдиться? Надо смело смотреть людям в глаза и говорить: «Пишу, и все тут!»

– Пишу, и все тут, – решительным тоном повторил Завиловский и, вскинув голову, засмеялся.

– Познакомьтесь с ними у нас, потом оставите у них визитную карточку, и отправимся к ним как-нибудь вечером все вместе, – продолжала Марыня.

– Под крыло голову не спрячешь, – крыльев нет, но уж скроюсь как-нибудь? – сказал Завиловский.

– А если я вас очень попрошу?

– Тогда не буду скрываться, – ответил Завиловский, помедлив и слегка покраснев.

Он поднял глаза на Марыню. После болезни она побледнела, немного осунулась и выглядела, как шестнадцатилетняя девушка. Пленный ее красотой, Завиловский не мог ей ни в чем отказать.

– Вот сейчас вас уговаривать приходится, потому что вы не видели Линету, – сказала Марыня вечером, перед тем как ехать в город, – а увидите ее, непременно влюбитесь.

– Я?! Влюблюсь в панну Линету? – вскричал он, прижимая руку к груди.

Но ответил с таким пылом, что снова смутился; на сей раз смутилась, однако, и Марыня.

Тем временем Поланецкий кончил с Бигелем разговор о невыгодах капиталовложения в земельную собственность, и они отправились обратно. Марыне вспомнилось, как они с отцом, пани Эмилией, Литкой и Поланецким возвращались от Бигелей в такую же лунную ночь. И как влюблен был в нее тогда «пан Станислав», и какой был несчастный, как холодно она с ним держалась, – и сердце ее преисполнилось жалости к «пану Станиславу», который столько выстрадал из-за нее. Захотелось прижаться к нему и прощения попросить за причиненную боль, – так она и сделала бы, не будь с ними Завиловского.

Но теперь тот самый «пан Станислав», спокойный и уверенный в себе, сидел подле нее и курил сигару. Теперь ведь она принадлежала ему: женился на ней – и баста!

– Стах, о чем ты думаешь? – спросила она.

– О делах, которые мы обсуждали с Бигелем.

И, скинув пепел с сигары, он глубоко затянулся, так что красный огонек осветил его усы и низ лица.

А Завиловский, глядя на Марыню, со всей пылкой искренностью молодости думал: будь она его женой, он не курил бы сейчас сигару и не размышлял о делах, которые можно обсуждать с Бигелем, а стоял бы перед ней на коленях и молился на нее.

Обаяние ночи и красота боготворимой женщины повергли его в настоящий экстаз. И сначала тихо, как бы про себя, потом все громче стал он декламировать свое стихотворение «Снег в горах». Глубокая тоска по чему-то чистому и недоступному звучала в нем. И он даже не заметил, как они очутились в городе и по обеим сторонам улицы замелькали фонари.

– Значит, послезавтра на five o'clock[48 - пять часов (англ.)], – сказала Марыня возле дома.

– Да, – ответил он, целуя руку.

Под впечатлением ночной поездки, а может быть, и стихов Марыня пришла в мечтательное настроение. И, прочитав молитву, – у них после возвращения из Рима вошло в обычай молиться вместе перед сном, – она ощутила прилив нежности, словно освобожденной вдруг от других, наносных впечатлений. Подойдя к мужу, обвила его шею руками и прошептала:

– Стах, нам ведь очень хорошо с тобой, да?

– Я не жалею, – не без небрежного самодовольства ответил он, привлекая ее к себе.

Он не почувствовал в ее вопросе невысказанной грусти, сомнения, чего-то такого, что она гнала от себя, – и просьбы успокоить ее, утешить.

На другой день Завиловский передал в конторе Поланецкому газетную вырезку со стихотворением «Снег в горах». Поланецкий прочел его за обедом, но под аккомпанемент ножей и вилок оно звучало не так поэтично, как при лунном свете в ночной тишине.

– Он говорит, скоро выйдет книга его стихов, но еще перед тем хочет собрать и принести тебе все напечатанное в разных местах.

– Не надо, пусть лучше сохранит это для Линеты, – ответила Марыня.

– Ах, да! Завтра они встречаются. А вы непременно хотите устроить в его жизни этот переворот?

– Да, хотим, – отвечала Марыня решительно. – Анета меня сначала удивила, но потом я подумала: почему бы и нет?

Знакомство на другой день состоялось. Основские с тетушкой Бронич и панной Каstellи приехали ровно в пять; Завиловский пришел раньше, чтобы не входить в гостиную, когда все общество будет в сборе. Но его и без того бил страх, усугубляя обычную неловкость, – он не знал, куда ноги девать. Но в этой неловкости было свое обаяние, которое Основская тотчас оценила. Начался первый акт человеческой комедии. Дамы, будучи хорошо воспитаны, прикидывались, будто не смотрят на Завиловского, хотя только тем и занимались; Завиловский, со своей стороны, делал вид, что не замечает устремленных на него взоров, хотя ни о чем другом не мог думать, кроме того, что на него глядят и оценивают. Все это страшно его стесняло, и он из самолюбия держался с напускной развязностью, не желая производить неблагоприятного впечатления. Но дамы заранее были настроены так, что он не мог произвести на них впечатление неблагоприятное, и оказавшись он даже глупцом и пошляком, они сочли бы это знаком оригинальности и свойством поэтической природы. Одна только Линета сохраняла свою обычную невозмутимость, хотя и удивлялась немного, почему на сей раз он – солнце, она же – всего лишь луна, а не наоборот. При первом же взгляде на Завиловского она подумала: «Какое может быть сравнение с этим глупцом Коповским», – но лицо красавца тотчас, как живое, всплыло у нее пред глазами, отчего веки ее еще больше отяжелели и она еще больше стала походить на сфинкса... из фарфора. Однако же ее задевало, что Завиловский не обращает почти никакого внимания на ее фигуру, стройности которой могла бы позавидовать сама Юнона, на «загадочное и поэтичное» выражение ее лица,

которое, по утверждению тетушки, приковывало к себе взоры. Мало-помалу она сама стала посматривать на него и, не чуждая при всей поэтичности своей натуры трезвой светской наблюдательности, отметила, что хотя лицо у Завиловского очень выразительное, но сюртук сидит на нем плохо и шит далеко не у лучшего портного, а булавка в его галстук и прямо mauvais genre[49 - дурного вкуса (фр.)]. Завиловский же, поглядывая время от времени на Марыню, как на единственную родственную здесь и приятную душу, беседовал с Основской; а та, вообразив, будто говорить при первой же встрече с поэтом о поэзии признак плохого тона, и услышав, что детство он провел в деревне, зашебетала, как любит деревню. Муж, дескать, всегда предпочитал город, у него тут приятели, развлечения, но она... «Ох, не стану кривить душой: хозяйство вести, счета, за которые мне порядком влетало, за работниками присматривать, – все это, конечно, не по мне... И потом, я немножечко лентяйка, мне бы такую работу, побездельнее... Сейчас скажу какую».

И приготовилась загибать свои тонкие пальчики, чтобы перечислить, какие занятия ей больше всего по вкусу.

– Гусей пасти – раз...

Завиловский засмеялся, не уловив фальши в ее словах и представив ее себе в забавной роли гусятницы.

Ее фиалковые глаза тоже заискрились смехом, и она взяла тон беззаботной, шаловливой девочки, которая болтает о чем попало.

– А вам разве не хочется гусей пасти? – неожиданно обратилась она к Завиловскому.

– Еще как? – ответил тот.

– Вот видите!.. Кем бы мне еще хотелось быть? А, да! Рыбачкой. Как красиво, должно быть, отражается в воде утренняя заря... И эти мокрые сети, развешанные на плетнях перед хатами, – в каждой ячейке капелька, переливающаяся всеми цветами радуги: какая прелесть!.. Ну, не рыбачкой, так цаплей: стоять на одной ноге и смотреть на воду в раздумье или чибисом над лугами летать. Нет, не чибисом. В его крике чудится печальное что-то, не правда ли? – И, обратясь к Линете: – А тебе кем бы хотелось быть?

Панна Кастелли подняла свои тяжелые веки.

– Паутинкой, – помедлив, ответила она.

Поэтическое воображение Завиловского, мгновенно откликнувшись, нарисовало картину: широко откинувшееся светло-желтое жнивье и серебрящиеся на солнце нити паутины в голубом просторе.

– Как красиво? – прошептал он и пристальней взглянул на Линету, а она ему улыбнулась, словно в благодарность за то, что он сумел оценить всю прелесть мелькнувшего и перед ней образа.

Но вошли Бигели, и Завиловским завладела тетушка Бронич, загородившая его даже стулом, чтобы он не ускользнул. О чем они разговаривали, догадаться нетрудно. Временами Завиловский подымал глаза на Линету, будто желая удостовериться, правда ли сообщаемое о ней. И хотя беседа велась вполголоса, до слуха

присутствующих все же долетели медоточивые слова:

– А вы знаете, ее благословил Наполеон... то есть, я хочу сказать, Виктор Гюго...

Завиловский узнавал о панне Кастелли прелюбопытные вещи, и неудивительно, что посматривал на нее не без интереса. По рассказам тетушки, она была необыкновенным ребенком – ласковым, но своенравным. Лет десяти она тяжело заболела. Доктора предписали ей дышать морским воздухом, и они довольно долго прожили на Стромболи...

– Девочка смотрела на вулкан, на море, хлопала в ладоши и приговаривала: «Ах, как красиво, как красиво!» Оказались мы на Стромболи случайно: катались на прогулочной яхте и завернули туда. Но жить там трудно: пустынный островок, ни жилья приличного, ни еды, а она заупрямилась и нипочем не хотела уезжать, будто зная, что там поздоровеет. И через какой-нибудь месяц-два почувствовала себя лучше... Посмотрите, какая высокая и стройная выросла.

Линета действительно сложена была безупречно, и хотя была даже повыше Основской, это ее нисколько не портило. Завиловский поглядывал на нее с растущим любопытством. И перед отъездом, вырвавшись наконец на свободу, приблизился к ней.

– Я никогда не видел вулкана и не представляю себе этого зрелища, – сказал он.

– Я только Везувий видела, – ответила она, – но тогда не было извержения.

– А Стромболи?

– Я там не была.

– Значит, я ослышался, ваша тетушка...

– Ах, да? – сказала Линета. – Но я была еще совсем маленькая и не помню ничего.

Лицо ее выражало досаду и смущение.

Основская до конца вечера играла принятую ею роль очаровательной болтуни и перед уходом пригласила Завиловского заходить к ним «в любой вечер, безо всяких церемоний и без фрака, – весна в этом году как лето, а летом позволительна некоторая вольность». Понятно, что такие люди, как он, новых знакомств не любят, но против этого есть очень простое средство: считать их старыми знакомыми. Вечерами они обычно дома: Линета читает вслух или рассказывает, что в голову придет, а в голову ей иной раз приходит такое, что, право, стоит послушать, особенно тому, кто может по достоинству оценить.

Панна Кастелли на прощанье крепко пожала руку Завиловскому, как бы в подтверждение, что они непременно поймут и оценят друг друга. С непривычки к обществу он был слегка одурманен словами, взглядами, шелестом платьев, запахом ириса, который оставили после себя дамы. Утомя его и разговор, как будто непринужденный и простой, но лишенный спокойной естественности, присущей всегда Поланецкой или пани Бигель. Все казалось каким-то сумбурным сном.

Бигели остались обедать. Поланецкий предложил пообедать с ними и Завиловскому. Речь зашла о гостях.

– Как вам понравилась панна Каstellи? – спросила Марыня.

– У обеих очень богатое воображение, – подумав, ответил Завиловский. – Вы заметили, как образно они говорят?

– Но Линета интересная, правда?

На Поланецкого Линета не произвела большого впечатления, к тому же он был голоден и ему не терпелось сесть за стол.

– Не знаю, что вы находите в ней особенно интересного! Интересная, пока не надоест, – сказал он с некоторой долей раздражения.

– Нет, Линета не может надоест... – ответила Марыня. – Надоедают обыкновенные, ничем не примечательные женщины, которые умеют только преданно любить.

Завиловскому, который взглянул на нее в эту минуту, показалось, что на лице ее тень грусти. Но он приписал это нездоровью, тем более что была она особенно бледна, прямо-таки лилейной бледностью.

– Устали? – спросил он.

– Немного, – улыбнувшись, ответила она.

И его впечатлительное юношеское сердце преисполнилось участия к ней. «И в самом деле похожа на лилию», – мелькнуло в голове, и Основская в сравнении с ее нежной красотой показалась ему крикливой сойкой, а Линета – холодной статуей. Если раньше после каждой встречи с Поланецкой мечталось ему о такой женщине, как она, в тот вечер мечталось уже о ней самой. А поскольку он привык отдавать себе отчет во всем с ним происходящем, то понял, что из простого «полевого» цветка она становится цветком любимым.

– Ну что, приснилась спящая красавица? – спросил, встретив его на другой день в конторе, Поланецкий.

– Нет, – ответил Завиловский, краснея.

– Ничего не поделаешь, – заметив его румянец, засмеялся Поланецкий. – Каждый должен это пережить. И я тоже пережил.

ГЛАВА XLІ

Марыня даже мысленно ни в чем не упрекала мужа. И до сих пор никаких размолвок между ними не было. Но приходилось признать, что настоящее, большое счастье и особенно любовь рисовались ей иначе, когда Поланецкий был ее женихом. С каждым днем она все больше в этом убеждалась. Действительность не оправдывала надежд. Но ее честная душа не бунтовала против действительности, лишь омрачалась тенью грусти – пугающей мыслью, как бы тень эта не легла постепенно на всю жизнь. Так хотелось, чтобы все было хорошо, и она поначалу пыталась уверить себя, что грустные догадки – плод ее воображения. Чего ей недостает в муже? В чем она обманулась? Он никогда не огорчал ее умышленно; если мог, всегда старался

доставить ей удовольствие, не жалея денег, заботился о ее здоровье, осыпал не раз поцелуями лицо и руки, словом, был с ней хорош, а не плох. Но чего-то ей все-таки не хватало. Трудно было словами выразить то, что сердце день ото дня ощущало все острее и болезненней, но сознавать она ясно сознавала: чего-то нет. После светлого и торжественного празднества любви наступили будни, а она тосковала по празднику; хотелось, чтобы празднество длилось всю жизнь» но она с горечью убеждалась, что мужа эта будничность вполне устраивает, он относится к ней, как к чему-то естественному. Ничего плохого в этом, в сущности, не было, но не было и того высокого счастья, которое такой человек должен был знать и дать ей. Дело было еще в другом. Она чувствовала, что привязана к нему больше, чем он к ней, – она отдавала ему всю душу, а он лишь небольшую часть, заранее для того предназначенную. Она, правда, убеждала себя, что он мужчина и, кроме нее, у него есть работа и другие отвлеченные интересы. Но прежде она надеялась, что он возьмет ее за руку и введет в свой мир или хотя бы дома будет разделять с ней свои заботы; однако теперь не хотела обольщаться: этого не произошло. В действительности все было даже хуже, чем она думала. Поланецкий, по его собственным словам, взял ее – и кончено дело; взаимное чувство перешло в сферу обыденных взаимных обязанностей, к которым, как он полагал, и относиться следует не иначе, как к обычным, обыденным обязанностям. Ему и в голову не приходило, что этот огонь не дровами поддерживается, это не печь, в него мирру и ладан сыпать надо, как перед алтарем. Скажи ему кто-нибудь об этом, он только плечами пожал бы и романтиком почел такого человека. Поэтому был он примерным мужем, но не ведал трепетной нежности влюбленного, заботливой тревоги и той робости, какая из чувств земных сопоставима лишь с благоговением. Когда-то, после продажи Кшеменя, отвергнутый Марыней, он все это пережил и перечувствовал, но теперь – и даже еще раньше, после смерти Литки, – стал относиться к ней как к своей собственности и заботиться о ней не больше, чем полагается о собственности. Преобладавшее в его чувстве физическое влечение было удовлетворено и с годами могло лишь притупиться, остыть, опошлиться.

А между тем уже и теперь, еще не охладев, он не был с ней так ласков и неусыпно нежен, как в свое время с Литкой. И это от нее не укрылось. Почему – на этот вопрос Марыня не находила ответа, но инстинктивно чувствовала: она, мечтавшая быть для Стаха всем, оказалась для него и заурядней, и безразличней умершей девочки.

Ей не приходило в голову – просто не умещалось в голове, – что причина одна: та девочки ему не принадлежала, а она принадлежит душой и телом. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, считала Марыня. Но жизнь и тут сильно ее разочаровала. Она не могла не заметить, что всем нравится, все ее ценят, хвалят, – Свирский, Бигель, Завиловский, даже Основский не просто восхищались ею, но преклонялись перед ней, и только он, ее Стах, достоинств ее словно не видел. У нее ни на минуту не возникало мысли, что он не способен понять и оценить ее, как это с легкостью удавалось другим. Так в чем же все-таки дело? Вопрос этот мучил ее, ни днем, ни ночью не давая покоя. То, что Поланецкий, по ее наблюдениям, старается казаться суше и непреклонней, чем на самом деле, всего, увы, не объясняло. Оставалось одно: «Он недостаточно меня любит и потому не ценит, как другие». Как ни печально, ни горько, но это было так.

Женский инстинкт, который редко обманывает в таких вещах, подсказал Марыне: она нравится Завиловскому, и с каждой встречей все больше. Открытие это не возмутило ее, она не восклицала: «Да как он смеет!» – впрочем, он ничего и не «смел». Напротив, влюбленность его вернула ей уже было утраченную веру в себя, в свою красоту, но вместе с тем наполнила и горечью: отчего же не Стах, а человек

посторонний восхищается ею и боготворит ее? Что до Завиловского, он был ей симпатичен, и только, и никаких задних мыслей у нее не было. Мучить же его, чтобы потешить свое тщеславие, была она неспособна, а потому, опасаясь, как бы его чувство не зашло слишком далеко, и отнеслась одобрительно к плану Основской познакомиться с Завиловским Линету, равно неожиданному и нелепому. Впрочем, ум ее и сердце всецело занимало другое: почему ее Стах – такой добрый, умный и горячо любимый – не разделяет с ней своих высоких чувств? Почему не хочет оценить по заслугам? Почему любит, но не влюблен? Почему любовь ее для него нечто само собой разумеющееся, и он ею не дорожит? С чего это началось и в чем причина?

Человек недалекий и эгоистичный обвинил бы во всем его, Марыня же приписала вину себе. К такому заключению пришла она, правда, не без посторонней помощи, но все равно готова была всегда выгородить своего Стаха. Поэтому, испугавшись, одновременно чуть ли не обрадовалась.

Как-то вечером, когда Марыня, сложив руки на коленях, сидела в одиночестве, терзаясь мучительными и неразрешимыми вопросами, дверь отворилась и показались белый чепец и темное одеяние сестры милосердия.

– Эмилька? – радостно вскричала она.

– Да, это я, – отвечала сестра. – Сегодня я свободна и решила вас навестить. А где пан Станислав?

– Стах у Машко, но вот-вот придет. Ах, как он будет рад! Присядь, отдохни.

– Я бы и чаще приходила, – говорила, садясь, пани Эмилия, – да некогда. Воспользовалась вот нынче свободным днем, побывала на Литкиной могиле. Ты не представляешь себе, как там все зазеленело, а сколько птиц!

– Мы были на днях на кладбище. Все в цвету – и такая тишина! Жалко, что Стаха нет!

– Да... У него несколько Литкиных писем есть, я бы хотела их позаимствовать. А в следующее воскресенье верну.

О Литке она вспоминала теперь без волнения. Быть может, оттого что сама уже была не жилица на этом свете, собираясь скоро его покинуть; как бы то ни было, она обрела душевный покой. Мысли ее не были поглощены целиком только горем, исчезло и безразличие ко всему, что не имело отношения к Литке. Сделавшись милосердной сестрой, она снова оказалась среди людей и разделяла их счастье и несчастья, радости и печали вплоть до самых скромных и непритязательных.

– Как уютно у вас? – сказала она, помолчав. – После наших белых стен-все мне кажется прямо-таки роскошью. А пан Станислав прежде был домоседом: к нам выбирался да к Бигелям, почти нигде больше не бывал. Теперь он, наверно, переменялся и вы часто принимаете гостей?

– Нет, – отвечала Марыня. – И сами только у Машко бываем, у Бигелей, у пани Бронич да еще у Основских.

– Постой, я ведь знаю Основскую. Еще девушкой ее помню. И Бронича с женой тоже знала, и племянницу их, тогда она совсем маленькая была. Бронич шесть лет назад умер. Видишь, все знаю! – Во всяком случае, больше моего, – засмеялась Марыня. –

Я с Основскими только в Риме познакомилась.

– Когда столько в Варшаве живешь, поневоле всего слушаешься. Вроде бы дома сидела, но светскими новостями интересовалась. Вот какая была легкомысленная! Твой Стах тоже был с Основской знаком...

– Да, он говорил. Они встречались на балах.

– Она за Коповского хотела замуж. Но ни слезы, ни мольбы не помогли – отец ее был против. И в результате ей повезло, правда ведь? Основский всегда считался человеком порядочным.

– И очень ее любит. А я и не знала, что она хотела выйти за Коповского. Странно, она ведь неглупая...

– Слава богу, что счастлива. Лишь бы умела ценить. Счастье – большая редкость, надо к нему бережно относиться. Теперь, когда я на жизнь смотрю со стороны, ничего для себя уже от нее не ожидая, мне знаешь что часто приходит в голову? Что счастье как глаз: малейшая соринка – и уже мешает, и слезы текут.

– Ой, до чего же верно? – отозвалась Марыня с грустной улыбкой.

Наступило минутное молчание, и пани Эмилия, поглядев пристально на собеседницу, ласково положила на ее руку свою, почти прозрачную.

– А ты счастлива, Марыня? – спросила она.

Той вдруг захотелось плакать, и стоило большого труда сдержаться. Но это длилось один миг. При мысли о том, что ее грусть и слезы могут бросить тень на мужа, чистая душа Марыни содрогнулась, и, овладев собой, она подняла спокойный, прояснившийся взор:

– Лишь бы Стах был счастлив!

– Литка испросит для вас счастье у бога? – сказала пани Эмилия. – Я спрашиваю только потому, что застала тебя как будто чем-то расстроенной. Я-то ведь знаю, как он тебя любил и какой был несчастный, когда ты рассердилась на него из-за Кшеменя.

Марыня просияла. Малейшее напоминание о прежней его любви радовало ее, и она готова была слушать об этом без конца.

– А ты, противная девчонка, – дотронувшись до ее руки, продолжала пани Эмилия, – до чего ты безжалостная была, не берегла и не уважала настоящего чувства, я иногда даже сердилась на тебя. Боялась, как бы наш добрый пан Станислав не отчаялся, не свихнулся с горя, не впал в мизантропию. Бывает, видишь ли, так, что чуточку оцарапаешь сердце, а саднит потом всю жизнь.

Марыня подняла голову, мигая, будто ослепленная ярким светом.

– Эмилька! Эмилька! – воскликнула она. – Как ты правильно подметила!

Пани Эмилия была теперь сестрой Анелей, но Марыня называла ее прежним именем.

– А, что тут правильного? – ответила та. – Вспоминаю просто старое да казнюсь. Но Литка испросит у бога счастье для вас, и он пошлет вам его, потому что вы его достойны.

Сказала и стала собираться. Тщетно уговаривала ее Марыня дожидаться возвращения мужа – сестра Анеля торопилась в лазарет. Тем не менее они проболтали еще с четверть часа, стоя в дверях, как уж водится у женщин. Наконец гостя ушла, пообещав зайти в следующее воскресенье.

А Марыня опустила опять в кресло и, подперев голову рукой, задумалась над ее словами.

– Да, это я виновата!.. – сказала она вполголоса.

И ей показалось, что ключ к разгадке у нее в руках.

Да, не сумела оценить большую, истинную любовь, не склонилась перед ее могуществом. И сердце у нее упало, ибо любовь представилась неким разгневанным божеством, которое мстит теперь за обиду. Поланецкий был в ту пору у ее ног. Заглядывал при встрече в глаза, словно моля сжалиться над ним во имя общих воспоминаний – пусть скудных, мимолетных, но милых сердцу. Сумей она тогда быть добрей и великодушной, протяни ему руку, как подсказывал тайный голос сердца, он всю жизнь был бы ей за это благодарен, он боготворил бы ее, любя тем нежней, чем больше сознавал бы свою вину перед ней и ее доброту. Но она предпочитала носиться со своей обидой, раздувать ее и кокетничать с Машко. Нужно было забыть – не сумела, нужно было простить – тоже не сумела. Страдая сама, хотела, чтобы и он пострадал. И согласилась стать его женой, лишь когда не согласиться стало невозможно, когда отказ равносителен был бы тупому и непростительному упрямству. Заглохшая было любовь вспыхнула тогда, правда, с новой силой, и она полюбила его всей душой, но уже поздно. Любовь была оскорблена. Что-то надломилось, исчезло не возвратно, на сердце у него появилась та самая зловещая царапина, о которой говорила Эмилька, и теперь она, Марыня, пожинает плоды содеянного.

Он тут ни в чем не виноват, и если уж разбираться, кто кому испортил жизнь, то не он ей, а она ему.

Это повергло ее в такой ужас и отчаяние, что она вздрогнула, представив себе свое будущее. И ей захотелось плакать, как плачут маленькие дети. Будь здесь сейчас пани Эмилия, она выплакалась бы у нее на груди. Сознание вины настолько угнетало, что попытайся ее кто-нибудь разубедить и сказать: «Ты невинна, как горлица», – она сочла бы это низкой ложью. Разыгравшаяся в ее душе драма была тем страшней, что ей казалось, будто несчастье непоправимо и дальше будет хуже: Стах окончательно ее разлюбит, и его нельзя за это осуждать, словом, спасения нет.

Простая логика подсказывала: сейчас еще все хорошо по сравнению с тем, что ждет ее завтра, послезавтра, через месяц, через год... А впереди ведь целая жизнь.

И бедняжка ломала себе голову: как найти дорогу, хотя бы тропочку, которая выведет из этого лабиринта несчастья. Наконец, после долгих раздумий и горьких слез, ей показалось, что впереди забрезжил свет.

И по мере того как она всматривалась, свет разгорался все ярче.

Есть сила, чья власть сильнее логики несчастья, тяжести вины, мести разгневанного божества, и эта сила – милосердие божие!

Она виновата – стало быть, должна искупить свою вину. Надо любить Стаха так, чтобы любовь вновь ожила в его сердце. Набраться терпения – и не только не роптать на свою долю, а еще благодарить бога и своего Стаха за нее: ведь могло быть и хуже. А если впереди больше горя и трудностей, надо схоронить их в сердце и ждать, долго и терпеливо, может быть, целые годы, пока бог явит свое милосердие.

Узенькая тропка превратилась в торную дорогу. «Теперь не собьюсь с пути», – подумала Марыня. Хотелось плакать от радости, но она сдержалась. С минуты на минуту придет Стах, не годится встречать его с заплаканными глазами.

И правда, он скоро пришел. Марыне захотелось кинуться ему на шею, но острое чувство вины перед ним остановило, внезапно лишив смелости.

– Заходил кто-нибудь? – спросил он, целуя ее в лоб.

– Заходила Эмилька, но не дождалась тебя. Обещала прийти в воскресенье.

– О господи! – рассердился он. – Ты же знаешь, какая для меня радость ее видеть. Почему ты не послала за мной? Знала, где я, и не подумала обо мне!

Она стала оправдываться, как провинившийся ребенок. В голосе ее слышались слезы, но то были уже слезы облегчения, а не отчаяния.

– Нет, Стах, что ты! Клянусь, я все время думала о тебе.

ГЛАВА XLII

– Ну вот, был у них, – весело рассказывал Завиловский у Бигелей на даче. – Вытаращились на меня, как на пантеру какую-нибудь или волка, но я оказался ручной: никого не укусил, ничего не разбил и отвечал более или менее членораздельно. Кстати, я давно заметил: когда поближе сойдешься, легче ладить с людьми; у меня только в первое мгновение бывает желание удрать. Дамы правда очень милые.

– Нет, вы так просто от нас не отделаетесь, расскажите-ка все по порядку, – сказала пани Бигель.

– По порядку? Ну, вошел я в калитку и остановился: не знаю, где Основские живут, где Бронич, поврозь наносить им визит или тем и другим заодно.

– Поврозь, конечно, – заметил Поланецкий. – Пани Бронич отдельно живет, хотя гостиная у них одна и считается общей.

– Вот в этой гостиной я и нашел их всех, и пани Основская вывела меня из затруднения, сказав, что я их общий гость и могу считать, что нанес визит им обеим. У них я застал пани Машко и еще некоего Коповского, вот это красавец писанный, для такой головы надо особый футляр иметь, бархатный внутри, как у ювелиров для драгоценностей. Кто что такой?

– Дурак, – ответил Поланецкий. – Слово это целиком определяет его звание, состояние, род занятий и особые приметы. Сведений более исчерпывающих даже в паспорте нет.

– Понятно, – сказал Завиловский. – Теперь мне ясен смысл некоторых оброненных там замечаний. Господин этот позировал, а дамы его писали. Основская маслом анфас, а панна Кастелли акварелью в профиль. В ситцевых фартучках поверх платьев выглядели они восхитительно! Основская, видимо, только начинающая, а панна Линета рисует уже порядочно.

– О чем вы говорили?

– Дамы о вашем здоровье опрашивали, – обратился Завиловокий к Марыне. – Я сказал, что вы с каждым днем выглядите все лучше.

Он утаил, однако, что, отвечая, покраснел до ушей, и утешался теперь задним числом лишь одним: дамы, наверно, поглощены были рисованием и не заметили ничего, – хотя глубоко в этом заблуждался. Он и сейчас смутился немного.

– Потом зашел разговор о живописи, о портретах, – продолжал Завиловский, желая скрыть смущение. – Я заметил панне Кастелли, что она слишком уменьшила голову Коповского. А она ответила: «Это не я, а природа!»

– Остра на язык!

– И ответила громко. Я засмеялся, за мной – остальные и Коповский вместе со всеми. Как видно, нрав у него покладистый. Он, кроме того, заявил, что дурно спал, поэтому хуже выглядит и ему пора в объятия Орфея.

– Орфея?

– Да. Основский поправил его без церемоний, а он возразил, что раз десять был на «Орфее» и помнит прекрасно. Дамы потешаются над ним, но он красивый малый, и они охотно пишут его портрет. А панна Кастелли, – так прямо художница! Как начала указывать кистью разные мазки, детали: «Взгляните на эту линию! А этот оттенок как вам нравится?» Даже покраснелась. Без преувеличения, настоящая муза живописи. Больше всего она любит портреты писать, по ее словам, и на каждое лицо смотрит как на возможную модель – люди с примечательной внешностью снятся ей даже во сне.

– Ого! И вы тоже сперва будете ей сниться, а потом – позировать, – сказала Марыня. – Ну, что же, это очень хорошо.

– Она сказала, – слегка растерянно возразил Завиловский, – что взимает эту дань с хороших знакомых, а ко мне с такой просьбой не обратились, и, если бы не пани Бронич, об этом вообще речи бы не зашло.

– На помощь музе поспешила тетушка? – вставил Поланецкий.

– Наверно, это было бы хорошо! – повторила Марыня.

– Почему вы так думаете? – спросил Завиловский, устремляя на нее покорный и вместе тревожный взгляд.

При мысли о том, что она умышленно толкает его к другой, отгадав его тайну, сердце забилось у него радостно и беспокойно.

– Потому что, – сказала Марыня, – хотя Линету я мало знаю и сужу о ней с чужих слов и по первому впечатлению, она мне кажется девушкой незаурядной и глубоко чувствующей, вот почему хорошо бы вам сойтись поближе.

– Я тоже сужу по первому впечатлению, – отвечал, успокоясь, Завиловский, – и мне она тоже кажется не такой поверхностной, как Основская. А вообще они – милые, обаятельные женщины, но... я плохо знаю свет и не нахожу определений поточнее... но вышел я от них с таким ощущением, будто приятно провел время в поезде с очень симпатичными иностранками, веселыми и остроумными собеседницами, но не больше. В них чувствуется словно чуждое что-то. Основская, к примеру, напоминает орхидею. Цветок очень оригинальный и красивый, но чужой какой-то. И панна Линета тоже. Да!.. Нет в ней чего-то близкого сердцу. Про них не скажешь, что нас взрастила одна земля, согревало то же солнце, поливал тот же дождик...

– До чего наблюдателен наш поэт! – заметил Поланецкий.

Завиловский оживился, на лбу его сквозь нежную кожу игреком проступили жилы. Он чувствовал, что, порицая новых знакомых, косвенно хвалит Марыню, и это делало его красноречивым.

– И потом, – продолжал он, – какое-то особое чутье подсказывает, когда люди непритворно доброжелательны. А здесь чутье молчит. Они милы, любезны, но это видимость, и человек простодушный и доверчивый может, по-моему, горько в них разочароваться. Принимать плевелы светскости за хлеб – глупо и унижительно. Что до меня, я потому и сторонюсь людей. И хотя пан Поланецкий похвалил мою наблюдательность, по сути, я очень наивен и знаю это. И всякая такая фальшь причиняет мне душевные страдания. Нервы просто не выдерживают. Помню, еще ребенком я заметил, что при родителях люди относятся ко мне иначе, и это было для меня одним из самых тяжелых переживаний детства. Мне это казалось недостойным и так терзало, точно я сам совершаю постыдный поступок.

– Потому что вы правдивый человек, – сказала пани Бигель.

Он вытянул вперед свои длинные руки, которыми, будучи увлечен, имел обыкновение размахивать, позабывая всякую застенчивость.

– Ах, правдивость! Искренность! Что может быть важнее в искусстве и в жизни!

Но Марыня стала защищать знакомых дам.

– Люди, особенно мужчины, часто бывают несправедливы, принимая за правду свои поверхностные наблюдения, а то и предположения. Разве можно, дважды повидавшись, уже делать заключение, будто пани Основская и Линета неискренни? Они веселы, добры, любезны, а разве доброта не предполагает искренности? – И полушутя, полусерьезно прибавила, поддразнивая Завиловского: – А вы, оказывается, не так прямодушны, как считает пани Бигель, дамы о вас хорошо говорят, а вы о них – плохо...

– Ах, ты тоже наивна, – перебил Поланецкий с обычной своей решительностью, – меряешь всех на свой аршин. Да будет тебе известно, что показная доброта и

любезность прекрасно могут проистекать и из эгоизма, потому что так легче и веселей. – И продолжал, обратясь к Завиловскому: – Если вы такой горячий поклонник искренности, вот ее живое олицетворение перед вами!

– Да, я это знаю! – с горячностью воскликнул Завиловский.

– А ты хотел бы, чтобы я была другой? – смеясь, спросила Марыня.

– Нет, не хотел бы. Но подумай, какое было бы несчастье, будь ты, допустим, маленького роста и тебе пришлось бы носить туфли на высоких каблуках: ведь ты обязательно заболела бы хроническими угрызениями совести, считая себя обманщицей.

Марыня, поймав взгляд Завиловского, невольно убрала ноги под стул и переменяла разговор.

– Я слышала, скоро выйдет сборник ваших стихов?

– Он вышел бы уже, – ответил Завиловский, – но я добавил одно стихотворение, и получилась задержка.

– Как оно называется, если не секрет?

– «Лилия».

– И эта лилия – Линета?

– Нет, не Линета.

Лицо Марыни приняло серьезное выражение. По ответу нетрудно было догадаться, кому посвящено стихотворение, и ей стало не по себе – выходило, будто их с Завиловским связывает какая-то тайна, ведомая лишь им одним. А разве это совместимо с искренностью, о которой только что говорилось, разве хорошо по отношению к Стаху. Делиться же с ним своими догадками было бы совершенно неуместно. Впервые она ощутила, в какое затруднительное положение может поставить даже самую целомудренную и преданно любящую женщину один нескромный взгляд постороннего мужчины. И впервые за все время их знакомства рассердилась на Завиловского. Нервическая натура художника тотчас отозвалась на это, как барометр на перемену погоды, воспринятую по жизненной неопытности трагически. Он уже вообразил, что ему теперь откажут от дома, Марыня его возненавидит, и он никогда ее больше не увидит, – все вдруг представилось Завиловскому в самом мрачном свете. С богатым воображением уживались в нем эгоизм и поистине женская чувствительность, которая нуждалась в тепле и любви. Познакомясь с Марыней, он привязался к ней со всем себялюбием сибарита: мне хорошо, а об остальном не желаю думать. Вознеся ее на высоты своей поэтической фантазии, возвеличив стократ ее красоту, он сотворил себе почти божество. Вместе с тем его чувствительное сердце, страдавшее в одиночестве, без участия, тронула доброта, с какой она отнеслась к нему. В результате зародилось чувство, приметам своими напоминающее любовь, но чувство платоническое. Завиловскому, как, впрочем, большинству артистов, наряду с порывами идеальными, истинно духовными не чужда была и чувственность сатира; но на сей раз она не пробудилась. Марыню окружил он ореолом столь священным, что ничего плотского к ней не испытывал. И если бы, вопреки всякой очевидности, она кинулась ему на шею, то эстетически перестала бы для него быть тем, кем была и кем хотелось ее видеть: существом идеальным.

Поэтому он не считал свои чувства предосудительными и ему жаль было бы упоения, которое столь сладко тешило фантазию и заполняло житейскую пустоту. Как отраднo было, вернувшись домой, мысленно вызывать перед собой образ женщины, повергая к стопам ее свою душу, мечтая о ней, посвящая ей стихи. И ему подумалось: если Поланецкая догадается о его чувстве к ней и он не сумеет скрывать его искусней, их отношения прервутся, и пустота вокруг станет еще томительней. И он стал ломать голову, как это предотвратить и не только не лишиться того, что есть, но видеть ее еще чаще. В пылом его воображении возникло множество способов, но, перебрав их, он остановился на одном, как ему показалось, самом подходящем.

«Прикинусь влюбленным в панну Кастелли, – сказал он себе, – и стану поверять ей свои печали. Это ее не только от меня не отдалит, а, напротив, еще больше нас сблизит. Она будет моей наперсницей».

И тут же сочинил, как стихи, целую историю. Он представил себе, будто на самом деле влюблен в «спящую красавицу» и посвящает Марыню в свою тайну, и она, склонясь к нему, слушает его со слезами сочувствия, кладя, как сестра, руку ему на лоб. Завиловский был так впечатлителен, настолько уверовал во все рисуемое воображением, что увлеченно принялся даже подыскивать слова для своей исповеди, простые и трогательные, а найдя, искренне расчувствовался.

Возвращаясь с мужем домой, Марыня все думала о стихотворении «Лилия», из-за которого задержалось издание книги. И, как всякой женщине, ей было любопытно и немного страшно. Пугали ее и возможные сложности в будущих отношениях с Завиловским.

– Знаешь, о чем я думаю? – сказала она мужу под влиянием этих мыслей. – По-моему, Линета – настоящая находка для Завиловского.

– Чего это вам приспичило сватать Завиловского и эту дылду итальянскую, скажи на милость? – спросил Поланецкий.

– Я, Стах, вовсе не сватаю их, а просто говорю, что это было бы хорошо. Анета Основская – та и правда загорелась этой идеей, она такая пылкая.

– Взбалмошная она, а не пылкая, и вовсе не простая, можешь мне поверить, во всех ее поступках есть какой-нибудь умысел. Мне иногда кажется, Линета интересуется ею не больше, чем меня, и движет ею что-то другое.

– Но что же?

– Не знаю и знать не хочу. Вообще не доверяю я этим дамам.

На том и прервался разговор – навстречу им спешил Машко: он только что подъехал к их дому на извозчике.

– Хорошо, что мы встретились, – поздоровавшись с Марыней, сказал он Поланецкому. – Завтра я на несколько дней уезжаю, а сегодня срок платежа, и я принес деньги. – И, обратясь к Марыне: – Я только что от вашего отца. Пан Плавицкий превосходно выглядит, но говорит, что тоскует по деревне, по занятиям хозяйством и подумывает купить небольшое имение поблизости от города. Я сказал ему: если выиграем дело по завещанию, Плошов, может статься, перейдет к нему.

Легкая ирония, сквозившая в тоне адвоката, делала этот разговор неприятным для

Марыни, и она его не поддержала. Поланецкий увел Машко к себе в кабинет.

– Итак, дела твои поправились?

– Вот первый взнос в счет долга, – сказал Машко. – Будь любезен расписку дать.

Поланецкий присел к столу, написал расписку.

– У меня к тебе еще одно дело, – продолжал между тем Машко. – Как ты помнишь, я продал тебе кшеменьскую дубраву, с условием, что смогу откупить ее за ту же цену под соответствующий процент. Вот деньги с процентами. Надеюсь, ты не будешь возражать. От души тебе благодарен, ты оказал мне поистине дружескую услугу и, если когда-нибудь смогу быть тебе полезен, располагай мной без всяких церемоний. Как говорится, услуга за услугу; Ты меня знаешь, в долгу я не останусь.

«Никак, эта обезьяна собирается мне покровительствовать», – подумал Поланецкий. Но поскольку Машко был его гостем, отказал себе в удовольствии произнести это вслух.

– С какой стати мне возражать, раз был уговор, – заметил он. – И потом, я никогда к этому не подходил как к коммерческой операции.

– Тем ценнее услуга, – заверил Машко великодушно.

– Ну, а вообще что слышно у тебя? – спросил Поланецкий. – Ты, я вижу, летишь на всех парусах. Как процесс?

– Благотворительные заведения представляет на суде молодой какой-то адвокатишка по фамилии Селедка. Ничего себе фамилия, не находишь? Назови я так своего кота, он бы три дня кряду мяукал. Но я эту селедку поперчу да проглочу! Как процесс, спрашиваешь? Вот доведу до конца, – и навсегда, пожалуй, оставлю адвокатскую практику, которая, кстати, совсем не по мне. В Кшемене поселюсь.

– С наличными в кармане?

– Да, и с немалыми. Адвокатура уже вот тут, в печенках у меня. Кто сам от земли, того она к себе тянет. Это в крови у нас. Но хватит об этом. Как я тебе сказал, завтра я уезжаю на несколько дней, и на время моего отсутствия поручаю вам жену, тем более, что и теща моя отправилась в Вену к окулисту. Заскочу еще к Основским, тоже попрошу не забывать ее.

– Хорошо, с удовольствием! – отвечал Поланецкий и спросил, вспомнив разговор с Марыней: – Ты давно с Основскими знаком?

– Довольно давно. Но жена знает их лучше. Он человек очень состоятельный; единственная сестра его умерла, и дядюшка, страшный скупец, огромное состояние оставил. Что до нее – как тебе сказать? Барышней много, без разбора читала, была у нее претензия казаться умней, артистичней – и масса всяческих претензий, что не помешало ей влюбиться в Коповского; тут тебе она и вся как на ладони.

– А пани Бронич и панна Кастелли?

– Панна Кастелли больше нравится женщинам, чем мужчинам, а впрочем, о ней известно мне лишь то только, что в свете говорят, а именно: что за ней ухаживает

все тот же Коповский. А пани Бронич... – засмеялся он. – Пирамиду Хеопса осматривала она в сопровождении самого хедива, покойный Альфонс, король испанский, встречаясь с ней в Каннах, здоровался каждый день: «Bonjour, madame la comtesse!»[50 - Добрый день, графиня! (фр.)], Мюссе в пятьдесят шестом писал ей стихи в альбом, Мольтке сиживал у нее в Карлсбаде на кушетке, – словом, богатое воображение. Теперь, когда Линета подросла, верней, вымахала в высоту на пять футов и сколько-то там вершков, тетка Сахар-Медовичева приписывает воображаемые успехи уже не себе, а племяннице, в чем ей с некоторых пор помогает Анета, с таким рвением, будто сама в этом заинтересована. Вот, пожалуй, и все. Сам же Бронич скончался шесть лет назад неизвестно от какой болезни – супруга его всякий раз называет другую, не забывая прибавить, что он последний из Рюриковичей, но умалчивая, что предпоследний представитель рода, то есть его отец, служил у Рдултовских управляющим, оттуда и состояние... Но довольно об этом... Vanity's fair!..[51 - Ярмарка-тщеславия!.. (англ.)] Желаю здоровья, успехов; в случае чего можешь на меня рассчитывать. Будь я уверен, что такая необходимость вскоре возникнет, взял бы с тебя слово ни к кому другому не обращаться. До свидания!

И, пожав чрезвычайно милостиво руку Поланецкому, Машко удалился.

«Хорошо еще, по плечу меня не похлопал!.. – сказал себе Поланецкий и поежился. – „Vanity's fair! Vanity's fair!“ Человек вроде неглупый, а не замечает за собой недостатков, которые сам высмеивает. А ведь еще недавно был совсем другой! И никого не корчил из себя. Но опасность миновала – и пыжится опять».

На память ему пришли рассуждения Васковского о суетности и лицедействе, и он подумал: «Везет, однако же, у нас таким людям!»

ГЛАВА XLIII

Основская забыла и думать о своих «римско-флорентийских» вечерах и очень удивилась, когда муж о них напомнил. Какие вечера? Сейчас не до них! Она поглощена другим – «приручением орла». Не видеть, что Линета и Завиловский созданы друг для друга, может разве слепец, но тут уж, извините, ничем не поможешь. «Мужчины вообще многого не понимают, чуткости не хватает! Может быть, Завиловский в этом смысле исключение, но неплохо бы Марыне Поланецкой по-дружески сказать ему, чтобы бороду отпустил и одевался помодней. Линетка такая утонченная, ее всякая мелочь задевает, хотя, с другой стороны, она увлечена им, даже прямо заворожена... Артистическая натура, что ж... неудивительно!»

Слушая щебетанье жены, Основский таял от восторга и, пользуясь моментом, завладел ее ручками и стал до локтей покрывать их поцелуями. Но при этом задал ей вполне естественный вопрос, тот самый, что и Поланецкий своей жене:

– Скажи, почему ты принимаешь это так близко к сердцу?

– La reine s'amuse![52 - Королева забавляется! (фр.)] – ответила Анета кокетливо. – Писать романы дело нехитрое. Есть талант, пусть маленький, и ничего больше не надо, а вот устроить в жизни то, о чем пишется, – потруднее. Но так увлекательно!.. – И прибавила, помолчав: – А если ты думаешь, у меня какая-то цель, попробуй-ка, отгадай, какая.

– На ушко тебе скажу, – ответил Основский.

Она с шаловливой гримаской подставила ухо, и ее фиалковые глаза округлились от любопытства.

Но Основский не затем приблизил губы, чтобы сообщить секрет, а чтобы поцеловать.

– *La reine s'amuse!* – чмокнув ее в ушко, повторил он.

И это была правда. Какую бы цель она ни преследовала, сводя Завиловского с «Линеткой», ей прежде всего хотелось помочь осуществиться роману в жизни, и эта роль доброго гения влюбленных несказанно увлекала и забавляла ее.

В этой роли она теперь частенько наведывалась к Марыне Поланецкой – разузнать что-нибудь про «орла» – и возвращалась обычно обнадеженная. Желая усыпить бдительность Марыни, Завиловский все чаще беседовал с ней о панне Линете. Расчет его оказался столь верен, что, когда Основская прямо спросила однажды Марыню, не влюблен ли он в нее, та только рассмеялась.

– Придется нам, Анетка, смириться с тем, что он не влюблен ни в меня, ни в тебя. Яблоко досталось Линете, а нам с тобой остается только плакать – или радоваться за нее.

Линету же, в свой черед, окружала атмосфера, внушавшая мысли и чувства, которые льстили ее самолюбию. С утра до вечера ей твердили, что этот парящий над облаками «орел» готов пасть к ее ногам, влюбленный в нее без памяти, – может ли остаться к этому равнодушной натура столь незаурядная, столь исключительная, как она? Нет, для нее это было слишком лестно, чтобы оставить равнодушной. Рисуя Коповского, она искренне восхищалась его «дивными чертами»; нравилось ей также изощряться в остроумии на его счет, тем паче что словечки ее подхватывались и повторялись в доказательство ее ума и наблюдательности. Привлекал он ее и по другим причинам; но и Завиловский был недурен собой, хотя не носил бороды и одевался не по моде. И потом, столько говорилось о его «заоблачном» парении – и ее возвышенной душе, которая не может этого не оценить... Говорилось не только Анетой, а буквально всеми. Тетушка, не допуская прежде мысли, что кто-то может не влюбиться в нее самое, а теперь перенесшая столь же преувеличенные ожидания на племянницу, естественно, присоединилась к Основской, щедро расшивая канву реальности узорами своей фантазии. К общему хору примкнул в конце концов и сам Основский. Любя жену, он готов был полюбить и Линету, и тетушку, и все, что имеет какое-либо касательство к «Анетке», а потому тоже принял затею близко к сердцу. Завиловский был ему симпатичен, и сведения, собранные о нем, тоже были благоприятны. Из них явствовало, во всяком случае, что Завиловский нелюдим, амбициозен и настойчив в осуществлении задуманного, замкнут и очень талантлив. Дам все это очень к нему расположило, и он тоже подумал: «А может, правда, неплохо бы?..» Поведение Завиловского в известной мере подтверждало серьезность его намерений – с некоторых пор он стал частым гостем в их общем салоне и подолгу разговаривал с Линетой. И если первое было следствием любезных приглашений Основской, то второе – выражением лишь доброй воли. От внимания Анеты не ускользнуло, что он все чаще поглядывает на золотистые волосы и тяжелые веки «Линетки», провожая ее взглядом, когда она прохаживается. А он – отчасти из дипломатических соображений, отчасти из любопытства – и впрямь стал к ней присматриваться.

Когда же вышла его книжка, дело приняло совсем серьезный оборот. Стихи его и

раньше обращали на себя внимание, о них говорили, но то, что они печатались порознь и с большими перерывами, ослабляло общее впечатление. Теперь же, собранные вместе, они явились для читающей публики поистине откровением. Были в них искренность, блеск и сила. Язык, чеканный и весомый, как металл, был в то же время гибок и послушно передавал тончайшие нюансы. Слава его росла. И шепот одобрения сменился бурными изъявлениями восторга. Достоинства книги, как водится, преувеличили, и в молодом поэте приветствовали преемника громких имен, наследника былого величия. Фамилия его, просочась из редакционных кабинетов, стала достоянием гласности. О нем повсюду заговорили, заинтересовавшись и его особой, ища знакомства с ним; любопытство только подогревалось почти полной неизвестностью. Богатый старик Завиловский, отец панны Елены, говаривавший, что не знает бедствий страшнее подагры и обедневшей родни, теперь повторял при каждом удобном случае: «Mais oui, mais oui – c'est mon cousin!»[53 - Как же, как же, это мой родственник! (фр.)] Такое признание имело большой вес для многих, в особенности для тетушки Бронич. Основская, а с ней и Линета примирились даже с «безвкусной» булавкой в его галстук; все теперь в Завиловском могло сойти за оригинальность. Только имя – Игнаций – заставляло их втайне страдать. Они предпочли бы другое, более поэтичное, как и пристало такой знаменитости; но, когда Основский, учившийся в свое время в Меце и вынесший оттуда кое-какие познания в латыни, объяснил, что «Игнаций» означает «Огненный», они смирились: коли так, дело другое.

В доме Поланецких и Бигелей, а также в конторе от души радовались успеху книги. Среди служащих не было завистников. И старик кассир Валковский, и торговый агент Абдульский, и бухгалтер Позняковский гордились коллегой, словно отсвет его славы ложился на всю фирму. «Знай наших!» – приговаривал Валковский. Бигель два дня размышлял, пристало ли такой знаменитости занимать после всего этого скромную должность письмоводителя в торговом доме «Бигель и Поланецкий», спросил даже о том самого Завиловского.

– Как же так, дорогой пан Бигель! – получил он ответ. – Из-за того, что обо мне посудачили немножко, вы хотите меня лишиться куска хлеба и приятного общества? У меня же нет издателя, и, если б не служба у вас, мне бы не на что было и книжку выпустить.

Против такого довода нечего было возразить, и Завиловский остался в конторе. Только еще чаще стал бывать в гостях у Бигелей и Поланецких. У Основских же после выхода сборника в свет не появлялся целую неделю, будто в чем провинился. Но, вняв уговорам пани Бигель и Марыни, выбрался как-то вечером к ним, чего и ему самому в глубине души хотелось.

Но дамы как раз собирались в театр. Обе, конечно, тут же решили остаться, но Завиловский стал их отговаривать. В конце концов, к удовольствию обеих дам, выход был найден: Завиловский поедет с ними. На том и согласились. «А Юзек, коли захочет, может в кресла взять билет». Юзек так и сделал. Во время спектакля Завиловский с Линетой по настоянию Основской, которая заявила, что они с тетушкой будут их «опекать», сели в первом ряду. «Сидите себе там и беседуйте, а заглянет кто ненароком, я сумею его заговорить, чтобы не мешал». Когда публика узнала, кто в ложе, взоры стали часто обращаться на них. Панна Кастелли купалась в лучах его славы; в этих взглядах, казалось, читался вопрос: кто та златокудрая красавица с полуопущенными очами, с которой разговаривает поэт? И, украдкой поглядывая на него, она говорила себе: если бы не выступающий вперед подбородок, он был бы совсем недурен, но недочет легко исправим, достаточно бороду отпустить, зато профиль красивый. Основская добросовестно выполняла свое

обещание и, когда явился Коповский, не дала ему слова сказать. С панной Каstellи удалось ему только поздороваться, а у Завиловского спросить:

– Так вы стихи пишете? – А дальнейшее после этого гениального открытия излилось уже в виде монолога: – Я, может, и полюбил бы стихи, но странная вещь: начинаю читать, а на уме что-нибудь совершенно постороннее.

Оборотясь, Линета смерила его долгим взглядом, неизвестно, что выразившим: язвительную женскую насмешку над глупостью или внезапное восхищение при виде головы, которая выглядела на красном фоне ложи мастерским произведением искусства.

Основская после спектакля не отпустила Завиловского, и он поехал к ним пить чай.

– Нехорошо с вашей стороны, – стала тетушка осыпать его упреками, едва они переступили порог. – Если случится что-нибудь с Линетой, вы будете виноваты. Девочка не ест, не пьет, а только стихи ваши все читает...

– Да, да! – подхватила Основская. – Я тоже хочу на нее пожаловаться: завладела вашей книгой и никому не дает, а когда я сержусь, знаете, что говорит? «Это моя книжка, моя!»

За неимением книги панна Каstellи прижала к груди руку, словно что-то защищая, и тихо, мечтательно сказала:

– Да, моя!

Завиловский посмотрел на нее, и у него сладко дрогнуло сердце.

Возвращаясь от них поздно вечером и проходя мимо дома Поланецких, он увидел у них в окнах свет. После спектакля и разговоров у Основских голова у него шла кругом. Но вид этих окон подействовал на него успокоительно. Его охватило блаженное чувство, какое испытываешь, думая о чем-то бесконечно дорогом и хорошем. И с прежней силой поднялось чистое, благоговейное умиление, которое возникало у него при мысли о Марыне. Восторженная нежность овладела им, когда вождление спит и бодрствует лишь душа; он шел и вполголоса декламировал «Лилию» – самое восторженное стихотворение, когда-либо им написанное.

Свет у Поланецких горел в тот вечер долго, ибо свершилось то, чего Марыня ждала с нетерпением и полагала теперь, что взыскана милостью божьей.

После чая она, как обычно, записывала расходы и вдруг, побледнев, отложила карандаш. Но лицо у нее было просветленное.

– Стах!.. – окликнула она мужа изменившимся голосом.

Его поразил ее тон.

– Что с тобой? Ты побледнела, – спросил он, подходя.

– Подойди поближе, мне надо тебе что-то сказать.

Она обвила руками его шею и зашептала на ухо.

– Только не волнуйся, тебе это вредно... – выслушав, поцеловал он ее в лоб.

Но и у самого в голосе послышалось волнение... Некоторое время он молча ходил по комнате, поглядывая на жену, и снова поцеловал ее в лоб.

– Обычно первым хотят иметь сына, – сказал он, – а я, так и знай, дочку хочу. Мы Литкой назовем ее.

Долго не могли они уснуть в ту ночь; вот почему видел Завиловский свет у них в окнах.

ГЛАВА XLIV

Неделю спустя, когда предположение подтвердилось, Поланецкий поделился новостью с Бигелями. Пани Бигель в тот же день побежала к Марыне, которая заплакала от радости в объятиях доброй женщины.

– Может, Стах теперь больше будет меня любить? – сказала она.

– Что значит «больше»? – спросила пани Бигель.

– Я хотела сказать, еще больше, – поправилась Марыня. – Видишь, какая я ненасытная.

– Он будет иметь дело со мной, если посмеет любить тебя недостаточно.

Слезы уже высохли на миловидном личике Марыни, и она улыбнулась.

– Дал бы только бог девочку! – промолвила она, молитвенно складывая руки. – Стах дочку хочет.

– А ты?

– Я? Только Стаху не говори... Мне мальчика хотелось бы... Но пусть будет, как хочет он. – И, задумавшись, она спросила: – Но ведь это от нас не зависит, правда?

– Нет, – засмеялась пани Бигель. – Не изобрели еще такого средства.

Бигель, который делился приятной новостью с каждым встречным, принес ее и в контору.

– Кажется, господа, у нас появится скоро новый компаньон, – многозначительно сообщил он служащим в присутствии Поланецкого.

Те посмотрели на него с недоумением.

– Чем мы обязаны будем пану Поланецкому – и его супруге, – прибавил он.

Все кинулись поздравлять Поланецкого, за исключением Завиловского – тот, склонясь над конторкой, делал вид, будто сосредоточенно проверяет столбцы цифр, но, спохватываясь через минуту, как бы его поведение не показалось странным, обернулся к Поланецкому.

– Поздравляю, поздравляю... – пожимая ему руку, пробормотал он с вымученной улыбкой.

У него словно внезапно открылись глаза на свое положение, бесконечно глупое и смешное, и вся жизнь показалась невероятно пошлым фарсом. Мучительней всего было сознавать себя смешным: как же было не предвидеть такой естественной и простой вещи, очевидной даже для какого-нибудь Коповского. А он, человек интеллигентный, пишущий стихи, которые встречают восторженный прием, отдающий себе ясный отчет во всем происходящем вокруг, – он заблуждался настолько, что это известие поразило его, как гром среди ясного неба. До чего же унижительно-глупо! Познакомился с Марыней, когда она уже стала Поланецкой, и почему-то вообразил, что так всегда было и будет, без всяких перемен. Присмотрев как-то лиловатую бледность ее лица, назвал ее лилией про себя и написал о ней лилейно-нежные стихи. И вот безжалостный рассудок, всегда готовый найти в беде комическую сторону, нашептывает: «Ничего себе лилия!..» Это подавляло и посрамляло. Он стихи писал, а Поланецкий не писал... В этом сопоставлении чудилась и горькая ирония, и шутовская издевка. Но Завиловский до дна хотел испить эту горькую чашу, умышленно стараясь не пролить ни капли. Да выдай он себя, признайся Марыне, оттолкни она его с презрением и спусти его Поланецкий с лестницы – в этом еще можно бы усмотреть нечто драматическое... А так... какая пошлая развязка! Ему, с его впечатлительностью, намного превосходящей обыкновенную, положение его показалось просто невыносимым, а часы, которые еще предстояло просидеть в конторе, сущей мукой. Чувство его к Марыне, хотя и не глубокое, целиком завладело воображением, и удар, который безжалостно нанесла ему действительность, оказался не просто болезненным и грубым, но ошеломляюще унижительным.

Ему уже приходила на ум отчаянная мысль: схватить шляпу, уйти и никогда больше не возвращаться. К счастью, рабочее время окончилось, и все стали расходиться.

Проходя по коридору и увидев в зеркале возле вешалки свою долговязую фигуру и лицо с выступающим подбородком, Завиловский подумал: «Шут гороховый!» И в тот день не пошел обедать с бухгалтером Позняковским, как обычно. Настроение было – хоть беги от самого себя. Натура артистическая, склонная к преувеличению, он, затворившись дома, принялся сверх всякой меры раздувать свое несчастье и комичность положения. Несколько дней спустя Завиловский успокоился, но на душе стало пусто, как в покинутом жилище. У Поланецких он не был две недели и, увидев по истечении этого времени Марыню на даче у Бигелей, поразился происшедшей в ней перемене.

Она показалась ему почти некрасивой. И хотя в фигуре еще не было заметно никаких изменений, он был отчасти прав, несмотря на свою предвзятость. Губы у нее припухли, цвет лица сделался нездоровый, на лбу выступили пятна. Но она была спокойна, хотя слегка печальна, словно пережив разочарование. Заметив, как она подурнела, Завиловский, человек, в сущности, добрый, растрогался. Прежде он думал, что будет ее презирать. Теперь это показалось ему глупостью.

Впрочем, изменилась она лишь внешне, оставшись все такой же доброй и приветливой. Теперь, когда можно было не опасаться восторженного поклонения с его стороны, она отнеслась к нему даже с большей сердечностью и участием. С интересом расспрашивала о Линете и, заметив, что он тоже говорит о ней охотно, улыбнулась своей прежней, исполненной невыразимой прелести улыбкой и воскликнула почти весело:

– Вот и чудесно! Но только их удивляет, куда это вы опять запропали? Да, и знаете, что они мне сказали, Анета и тетушка Бронич? Они сказали... – Но, помолчав, прибавила: – Нет, не могу при свидетелях... Давайте пройдемся по саду...

Она встала, но, неосторожно ступив, споткнулась и чуть не упала.

– Осторожней! – раздраженно крикнул Поланецкий.

– Но, право, я же нечаянно, Стах!.. – пробормотала она, взглянув на него робко и испуганно.

– Сами ее понапрасну не пугайте, – со свойственной ей прямоотой заметила пани Бигель.

И было настолько очевидно, что Поланецкий беспокоится в первую очередь не о ней, а о будущем ребенке, что это понял даже Завиловский.

Для самой Марыни это не было новостью. Но она мучилась молча, не говоря никому ни слова, и внутренне это состояние еще усугублялось раздражительностью, страхом, мрачными мыслями – следствием ее теперешнего положения.

Поланецкий был бы крайне удивлен, скажи ему кто-нибудь, что он не любит; а главное, не ценит должным образом свою жену. По-своему он ее любил, считая вместе с тем, что нет сейчас ничего важнее для них обоих, чем заботиться о будущем ребенке. Но из-за резкого, вспыльчивого нрава доходил порой в своей заботливости до крайностей, легко себе их прощая. О том же, что делается в душе его жены, даже не задумывался, полагая, что рожать ему детей – главная ее обязанность среди прочих и лишь естественно, если она ее исполняет. Был он ей за это признателен и, беспокоясь о будущем ребенке, воображал, что тем самым заботится о ней, причем как ни один из мужей. И вздумай он даже лучше разобраться в своем отношении к жене, и тут не нашел бы, в чем себя упрекнуть: да, она утратила для него долю былой привлекательности, но это в ее положении вещь опять-таки естественная. С каждым днем становилась она некрасивей, и его эстетическое чувство от этого подчас страдало, но, скрывая это от нее и жалея ее, он, по его мнению, проявлял деликатность, на какую способен далеко не всякий мужчина.

Ей же казалось, что самая заветная ее надежда не оправдалась и она отошла и все дальше будет отходить для него на задний план. И в первое время, несмотря на всю любовь к мужу, на нежность к будущему ребенку, бесценным сокровищем копившуюся в душе, испытывала только горечь и возмущение. Но это длилось недолго. Марыня старалась подавить в себе эти чувства и подавила, убедив себя, что никто не виноват: так устроена жизнь, это в порядке вещей и порядок этот – проявление воли божьей. Она даже стала упрекать себя в эгоизме: какое у нее право думать о себе, а не о Стахе и ожидаемом ребенке? И какие могут быть к мужу претензии? Что удивительного, если он, так любящий детей, переносит эту любовь на собственного ребенка и ни о чем другом не может думать. И разве не грешно требовать каких-то прав, своего счастья ей, которая перед ним так провинилась? Кто она такая и какое у нее право на особую благосклонность судьбы? И она готова была бить себя кулаком в грудь. Возмущение прошло, лишь в глубине души затаилась обида: отчего так странно устроена жизнь, что старые привязанности вытесняются новыми, вместо того чтобы усиливаться... И если это чувство поднималось и глаза наполнялись слезами или губы начинали дрожать, Марыня сразу брала себя в руки. «Успокойся сейчас же? – выговаривала она себе. – Так было, так будет и должно быть, потому

что такова жизнь и воля божья, и надо смириться». И она смирялась.

Мало-помалу она обрела душевный покой, не сознавая, что платит за него ценой самоотречения, ценой печали. Но то была печаль небезысходная. Конечно, ей как молодой женщине неприятно было читать в глазах мужа или знакомых: «Ах, как подурнела!» Но так как «потом», по уверению пани Бигель, красота сторицей вернется, она мысленно всем им отвечала: «Вот погодите», – и это служило ей утешением.

Нечто подобное мелькнуло у нее в голове и при последней встрече с Завиловским. Впечатление, произведенное в этот раз на него, и огорчило ее, и обрадовало; хотя женское ее самолюбие было уязвлено, но она почувствовала себя в безопасности и могла с ним свободно обо всем разговаривать. А поговорить с ним было нужно, и серьезно, так как Анета сообщила ей на днях, что «Лианка» влюбилась в него по уши и у Завиловского есть все основания надеяться.

Марыню немного смущала их настойчивость: они будто торопились ковать железо, пока горячо. Непонятно было, чем это вызвано, даже принимая во внимание нетерпеливый нрав Анеты. Сама она, равно как Бигель с Поланецким, тоже очень хорошо относилась к Завиловскому, который стал их общим любимцем. К тому же была ему в душе признательна за то, что он лучше сумел ее оценить. И была бы рада ему помочь, считая, что Завиловскому выпал счастливый жребий, но заодно и сомневаясь: а что, если ему будет плохо? Пугала ее и ответственность, собственная роль во всем этом. И теперь она прежде всего собиралась узнать, что сам он думает по этому поводу, а потом уже дать ему понять, как обстоит дело, посоветовав под конец взвесить все хорошенько.

– Недоумевают, куда вы запропали, – повторила она, выходя в сад.

– А что вам сказала пани Основская? – спросил Завиловский.

– Могу передать вам только одно, хотя не знаю, имею ли я право... Анета сказала... Нет! Сперва мне надо знать, почему вы там не были так давно?

– Неприятности были, и неважно чувствовал себя. Из дома не выходил. Просто был не в состоянии! Но вы не договорили...

– Да, я хотела узнать, не сердитесь ли вы на них? Линете, во всяком случае, так кажется, по словам Основской, которая несколько раз видела ее из-за этого в слезах.

Завиловский покраснел. Искреннее волнение отразилось на его юном, выразительном лице.

– О господи! – воскликнул он. – Как можно сердиться на такую девушку, как Линета?! Разве способна она обидеть кого-нибудь?

– Я только передаю слова Анеты, хотя с ее эксцентричностью... нельзя, конечно, поручиться, что все обстоит именно так. Лгать она не лжет, я уверена, но впечатлительные натуры, знаете, им все видится, как сквозь увеличительное стекло. Поэтому вы сами должны убедиться, что там и как. Линета – милая, добрая, вообще незаурядная девушка, по-моему, но вам самому нужно убедиться. Ваша наблюдательность вам поможет.

– В доброте ее и незаурядности я не сомневаюсь. Помните, я сказал как-то: они напоминают иностранок, но это не совсем так. Пани Основская – пожалуй, но к панне Линете это не относится.

– Смотрите сами, – сказала Марыня. – Поймите меня, я не уговариваю вас... Я и так немножко побаиваюсь Стаха – он их недолюбливает... Но, откровенно говоря, при словах ее о слезах Линетки у меня сердце сжалось... Бедняжка!..

– А я и сказать вам не могу, до чего взволновался при одной мысли об этом, – отозвался Завиловский.

Тут подошел Поланецкий, и разговор прервался.

– Ну что, все сватаешь? Женщины неисправимы! Знаешь, Марыня, что я тебе скажу? Сделай одолжение, не вмешивайся ты не в свое дело.

Марыня стала оправдываться, но он, не слушая, обратился к Завиловскому:

– Конечно, это дело не мое, только доверия дамы эти у меня не вызывают.

Завиловский вернулся домой в мечтательном настроении. Все струны его души ожили, затронутые воображением, и сон отлетел далеко. Не зажигая лампы, чтобы ничто не мешало наслаждаться этой волшебной музыкой, опустил он в кресло и при свете луны предался своим размышлениям, а вернее, мечтам. Он не был влюблен, но при мысли о Линете волна нежности к ней подымалась в нем, и фантазия разыгрывалась, как у влюбленного. Она, как наяву, вставала перед ним: эти черные очи, золотистая головка, надломленным цветком клонящаяся ему на грудь... Вот он дотрагивается до ее висков, ощущая пальцами шелковистость волос, и глядит, отстранясь: осушила ли ласка ее слезы, – и вот уже глаза сияют, как омытое дождем небо, когда выглянет солнце... И, пробуждая страсть, фантазия продолжала свой смелый полет. Вот он признается в любви, заключая ее в объятия, чувствует, как учащенно бьется ее сердце, вот кладет голову ей на колени, сквозь шелк ощущая лицом исходящее от нее тепло. И он пожегился, охваченный ничуть не воображаемой дрожью. До сих пор была она для него лишь картинкой, теперь впервые стала живой женщиной, овладев все мл мыслями. Размечтавшись, он потерял даже представление, где он и что с ним.

К действительности вернуло его хрипкое пение, донесшееся с улицы. Он зажег свет и попытался в себе разобраться. И его охватило беспокойство: ясно было, что он влюбится без памяти, если не перестанет бывать у них.

«Надо на что-то решиться», – сказал он себе.

В ту ночь Завиловский пытался написать стихотворение под названием «Паутинка», а на другой день захотелось увидеть ее – он уже тосковал по ней.

Но пойти прямо к пани Бронич не решился и дождался, пока не настало время чаепития, чтобы застать их всех вместе в гостиной. Основская встретила его очень радушно, с веселым смехом, а он, поздоровавшись, взглянул на Линету, и сердце у него заколотилось: на лице ее отразилась неподдельная радость.

– Знаете, что я подумала, когда вы исчезли? – с обычной своей непосредственностью сказала Анета. – Наша «Тростинка» обожает мужчин с бородой, вот я и решила, что вы хотите себе бороду отрастить.

– Нет, нет! Будьте таким, каким я вас впервые увидела, – живо отозвалась «Тростинка».

– Прятались от нас, пан Игнаций, прятались, не отпирайтесь! – полуобняв Завиловского, сказал Основский с фамильярностью светского человека, умеющего сразу установить приятельские отношения. – Но я нашел способ, как его привадить. Пусть Линетка примется за его портрет, тогда ему придется бывать у нас ежедневно.

– Какой ты у нас умник, Юзек! – захлопала Основская в ладоши.

Юзек просиял от удовольствия, что удостоился жениной похвалы.

– А что? Неплохо придумано! Правда, Анеточка?

– Я уже думала об этом, – ответила своим грудным голосом панна Каstellи, – но боялась показаться навязчивой.

– Я к вашим услугам, – сказал Завиловский.

– Тогда в четыре часа, после Коповского, – сейчас темнеет поздно. Впрочем, скоро я кончу возиться с этим несносным Коповским.

– Знаете, что она про него сказала? – начала было тетушка Бронич.

Но панна Каstellи не позволила ей докончить. Помешало и появление в гостиной Плавицкого, который расстроил общий разговор. Плавицкий был без ума от Анеты, с которой познакомился у Марыни, и не скрывал этого, а она беззастенчиво с ним кокетничала на потеху себе и остальным.

– Садитесь, папочка, вот сюда, со мной рядышком, нам будет с вами хорошо, правда ведь?

– Как в раю, как в раю! – восклицал Плавицкий, похлопывая себя по коленям и от удовольствия высывая кончик языка.

Завиловский подсел к панне Каstellи.

– Я счастлив, что смогу у вас бывать каждый день... – сказал он. – Но это отнимет у вас много времени.

– Ну и что из этого! – отозвалась она, глядя ему в глаза. – На вас тратить время не жалко, не то что на других. Я не настаивала, оттого что боюсь вас.

Теперь он в свой черед взглянул ей в глаза и сказал с ударением:

– Не надо меня бояться.

Линета потупилась, и наступило неловкое молчание.

– Почему вы не приходили так долго? – минуту спустя спросила она, понизив голос.

«Потому что боялся», – чуть не сорвалось у него с языка; но это значило зайти

слишком далеко, и он ответил:

– Писал.

– Стихи?

– Да, стихотворение «Паутинка». Завтра принесу. Помните, в день нашего знакомства вы сказали, что хотели бы стать паутинкой? С тех пор у меня все время перед глазами паутинка, летящая по воздуху.

– Она летит... но не сама, – отвечала панна Кастелли. – Самой ей высоко не подняться, если только...

– Если – что? Почему вы не договариваете?

– Если не увлекут крылья какой-нибудь огромной птицы...

И она быстро встала, поспешив на помощь Основскому, который пытался открыть окно.

У Завиловского потемнело в глазах. Ему казалось, он слышит, как кровь стучит у него в висках.

Из забытья его вывел медоточивый голосок тетушки Бронич:

– Старый пан Завиловский говорил, что вы родственник ему, но бывать у него не хотите, а он посетить вас не может из-за подагры. Почему вы у него не бываете? Такой любезный, благовоспитанный человек! Навестите, доставьте ему удовольствие. Зайдете к нему?

– Хорошо, зайду, – отвечал Завиловский, который был на все согласен в ту минуту.

– Вот какой вы добрый, уступчивый! И с кузиной своей Еленой познакомитесь. Смотрите только, не влюбитесь – тоже барышня очень томная.

– Это мне не грозит, – засмеялся Завиловский.

– Говорят, она в Плошовского была влюблена, в того, который застрелился, и теперь вечный траур по нем носит в сердце. Когда вы к ним пойдете?

– Завтра, послезавтра... Когда вам будет угодно.

– Они, видите ли, уезжают скоро. Лето ведь не за горами. А вы куда летом собираетесь?

– Не знаю. А вы?

– Мы еще не решили, – услышав вопрос Завиловского, поспешила ответить панна Кастелли, которая тем временем вернулась и сидела неподалеку с Основским.

– Мы собирались в Шевенинген, – продолжала пани Бронич, – но с Линеткой это не так просто... Вокруг нее, – понизила она голос, – всегда столько поклонников увивается, вы не поверите; так и льнут. Да и при чем тут верить, не верить, достаточно на нее взглянуть. Муж-покойник как в воду глядел, когда ей еще только

двенадцать было. «Вот посмотришь, – говорил, – сколько с ней будет хлопот, когда подрастет». Так оно и вышло, хлопот хватает. Муж вообще много чего предвидел... Я вам не говорила, он был последним Рю... Ах да, говорила! Своих детей у нас не было – первенец наш умер, а муж был старше меня на сорок лет, в последние годы относился ко мне... как отец.

«Какое это ко мне имеет отношение?» – подумал Завиловский.

– Его огорчало, что у нас сына нет, – продолжала пани Бронич. – То есть был, но я выкинула... – В голосе ее послышались слезы. – Мы его положили в спирт и долго хранили так... Ах, грустно вспоминать! Муж так печалился, что пресечется род Рю... Но довольно об этом! В конце концов он полюбил Линетку, как родную дочь, – она ведь ближайшая наша родственница, все, что после нас останется, к ней перейдет. Может, поэтому у нее столько кавалеров... Хотя при ее красоте это неудивительно. Но если б вы знали, какое это мученье и для нее, и для меня! В Ницце два года назад один португалец, граф Жоао Колимасао из рода Алькантаров, так совсем голову из-за нее потерял, просто до смешного. А в прошлом году в Остенде грек один... Сын банкира из Марсея, миллионер... Забыла его фамилию. Линетка, как фамилия того грека, ну, миллионера, помнишь...

– Тетя! – промолвила Линета с видимым неудовольствием.

Но «тетя» уже не могла остановиться, как паровоз на полном ходу.

– А, вспомнила! – сказала она. – Канафаропулос, секретарь французского посольства в Брюсселе.

Линета встала и пошла к Анете, которая разговаривала за обеденным столом с Плавицким.

– Рассерчала девочка... – провожая ее взглядом, пробормотала тетушка. – Не любит, когда о ее победах говорят, а я не могу удержаться! Меня-то можно понять, правда ведь? Посмотрите, стройная, высокая какая! Вытянулась девочка! Недаром ее Анетка то Лианкой, то Тростинкой называет, и впрямь на тростиночку похожа! Что удивительного, если все на нее оборачиваются. Я еще вам не рассказывала об Уфинском. Это наш близкий друг. Покойный муж очень его любил. Не слышали о пане Уфинском? Тот самый, который так искусно силуэты из бумаги вырезает. Его знают во всем мире. Затрудняюсь даже сказать, при каких только дворах он не вырезывал силуэтов, последний раз – принца Уэльского. Был еще венгр один...

Основский, сидевший рядом и забавлявшийся от нечего делать брелоком в виде карандашика, не выдержал.

– Еще парочку таких, и настоящий бал-маскарад получится, дорогая тетушка!

– Вот именно, вот именно! – подхватила та. – Я их только потому упоминаю, что Линетка отвергла всех до одного. Она у нас страшная патриотка! Вы и понятия не имеете, какая патриотка!

– И слава богу, – откликнулся Завиловский.

И встал, чтобы откланяться. Прощаясь с Линетой, он задержал ее руку в своей, и она ответила ему долгим пожатием.

– До завтра! – сказал он, глядя ей в глаза.

– До завтра... после пана Коповского. Про стихи не забудете?..

– Не забуду... ни за что не забуду, – ответил он взволнованно.

От Основских вышли они вместе с Плавицким, и когда оказались на улице, старик ударил его легонько по плечу и, приостановясь, сказал:

– Известно ли вам, молодой человек, что я скоро буду дедушкой?

– Известно, – отвечал Завиловский.

– Да, да! – повторил Плавицкий, блаженно улыбаясь. – А все-таки, доложу я вам: нет на свете ничего соблазнительней молодой замужней женщины!.. М-м-м... – И, восторженно поцеловав сложенные щепотью пальцы, он похлопал его по плечу и удалился. Издали еще раз донесся его слегка дребезжащий голос: «Нет ничего соблазнительней...»

Остальное заглушил уличный шум.

ГЛАВА XLV

С тех пор Завиловский стал каждый день бывать у тетушки Бронич. Иногда он заставал там Коповского. Портрет «Антиноя» в последнее время подвигался туго. Он не удовлетворял Линету, которая говорила, что не может никак схватить выражение, оно не такое, как надо, – словом, придется еще потрудиться. С Завиловским же сразу пошло быстрее.

– У Коповского такое лицо, что достаточно одного неверного штриха, не там положенной тени – и все пропало, – сказала она как-то. – А у пана Завиловского главное – сам характер передать.

Оба остались довольны. Коповский заявил даже, что не его, мол, вина, если таким его господь бог сотворил. Тетушка Бронич передавала потом слова Линеты по этому поводу: «Господь бог сотворил, сын божий грехи искупил, да дух святой не просветил». Этот приговор над беднягой Коповским обошел всю Варшаву.

Завиловский относился к нему с симпатией. Поняв после нескольких встреч, что Коповский безнадежно глуп, он и не помышлял ревновать его к Линете. Глазу же он являл приятное зрелище. Дамы тоже ему симпатизировали, хотя часто позволяли себе над ним подшучивать, точно играя, перебрасываясь им, как мячиком, друг с дружкой. Несмотря на глупость, Коповский не был ни мрачен, ни подозрителен. Нрав он имел покладистый, а улыбался так просто обворожительно, о чем, вероятно, знал, так как предпочитал улыбаться, а не хмуриться. Манеры у него были безукоризненные, держать себя в обществе он умел, одевался всегда по последней моде, в каковом отношении вполне мог служить образцом для Завиловского.

Часто ставил он вопросы несуразные, донельзя потешавшие молодых женщин. Однажды, когда тетушка Бронич распространялась о поэтическом вдохновении, поинтересовался у Завиловского: «А что для этого нужно?» Тот даже растерялся, затрудняясь ответить.

– Вы когда-нибудь писали стихи? – спросила его в другой раз Анета. – Попробуйте придумать рифму!

Коповский попросил отсрочки до завтра. Но назавтра или забыл о своем обещании, или не мог подыскать, а дамы оказались столь тактичны, что не напомнили. Созерцать его было им приятней, чем огорчать.

Весна между тем подходила к концу, приближался сезон скачек. И Основский предложил Завиловскому на все время скачек место в их экипаже. Завиловский сидел напротив Линеты и от души ею восхищался. В светлом платье и светлой шляпке, с улыбающимися черными глазами и спокойным, зарумянившимся на воздухе лицом, она казалась самой весной, ангелом небесным. Дома он сердцем, мыслями и воображением продолжал оставаться с ней. Привыкнуть к жизни, какую они вели, он не мог, чувствуя себя неловко в обществе молодых людей, обступавших экипаж, чтобы полюбезничать; но за все вознаграждало присутствие Линеты. Упоенный погожими солнечными днями, дуновением вольного теплого ветра, близостью молодой девушки, к которой он успел привязаться. Завиловский ощутил себя молодым и сильным. В лице его и в самом деле стало проглядывать нечто орлиное. А порой казалось ему, будто он неумолимый колокол, который звенит и звенит, возвещая о радости жизни, любви и счастья, сзывая на великое празднество жизнелюбия. Он много и легко писал, и в стихах его чудились словно бодрящий запах свежевспаханной земли, буйство молодой листвы, шум птичьих крыльев над пашней, необозримый простор полей и лугов. Он обрел уверенность в себе, перестав стыдиться своего ремесла перед посторонними, ибо знал: в нем есть, таится нечто, достойное быть возложенным к стопам любимой.

Поланецкий, который, несмотря на весь свой практицизм, был страстным любителем лошадей и завсегдатаем скачек, все это время видел Завиловского в обществе Основских и Линеты. Видел, с каким обожанием смотрит он на девушку, и стал как-то в конторе поддразнивать его, говоря, что он влюблен.

– Не я, а глаза мои! – отвечал Завиловский. – Но Основские скоро уедут, пани Бронич тоже, и все рассеется, как сон.

Но он говорил неправду, сам не веря, что это сон, который рассеется. Напротив, он чувствовал: для него началась новая жизнь, которую отъезд Линеты может вдребезги разбить.

– А куда собираются пани Бронич с племянницей? – спросил Поланецкий.

– Остаток июня и июль проведут у Основских, а потом как будто в Шевенинген поедут, но окончательно еще не решено.

– Имение Основских, Пштулов, в трех милях от Варшавы, – заметил Поланецкий.

Завиловский уже несколько дней с замиранием сердца ждал, пригласят ли его на дачу, а когда пригласили, притом весьма любезно, поблагодарил, но стал отказываться, ссылаясь на дела и недостаток времени. Линета в сторонке прислушивалась к разговору, удивленно подняв золотистые брови, и перед уходом Завиловского подступила к нему:

– Отчего вы не хотите приехать в Пштулов?

– Оттого, что боюсь, – убедившись, что их никто не слышит, сказал он, глядя ей прямо в глаза.

– А что нужно, чтобы не бояться? – передразнивая Коповского, со смехом спросила она.

– Для этого, – ответил он дрогнувшим голосом, – нужно сказать мне: «Приезжай!»

Она с минуту колебалась, не решаясь, видимо, вымолвить это так, прямо и просто, как ему хотелось, но, поборов смущение и вся зардевшись, прошептала:

– Приезжай.

И убежала, чтобы скрыть краску стыда, заметную даже в полумраке комнаты.

Завиловскому, шедшему домой, казалось, будто с неба дождем сыплются звезды.

До отъезда Основских оставалось всего десять дней. Но писание портрета шло своим чередом до самого последнего момента: Линете не хотелось терять времени. Да и Основская убеждала ее целиком сосредоточиться на нем, а с Коповским покончить в несколько сеансов уже в Пшитулове перед выездом в Шевенинген. Для Завиловского эти сеансы теперь составляли весь интерес его жизни и если возникала какая-нибудь помеха, он считал тот день для себя потерянным. Обычно на сеансах присутствовала тетушка Бронич. Но Завиловский чувствовал, что она к нему расположена, и в конце концов ему даже стала нравиться ее манера рассказывать о племяннице. Оба прямо-таки гимны слагали Линете, которую тетушка Бронич в доверительных беседах с ним называла «Лианочкой». И это прозвище тем больше было ему по сердцу, чем крепче «лианочка» обвивалась вокруг него.

Все же рассказы тетушки Бронич и ему казались порой неправдоподобными. Что Линета была самой способной ученицей Свирского, который называл ее «La perla» [54 – Жемчужина (ит.).] и, как намекала тетушка, был в нее влюблен, – этому еще можно было поверить, но что Свирский, чьи работы гремели на всю Европу и удостаивались на выставках первых премий, сказал якобы при виде какого-то эскиза Линеты, что, кроме техники, она во всем его превзошла и не ей надлежит у него учиться, а ему у нее, – в этом даже Завиловский позволил себе усомниться. И в глубине души, где сохранялась еще крупица здравого смысла, удивлялся, почему «Лианочка» не протестует, а лишь замечает в подобных случаях: «Тетя, ты знаешь, я не люблю, когда ты рассказываешь такие вещи!» Но в конце концов и эти последние проблески здравого смысла угасли, и он с умилением внимал даже небылицам о покойном муже, готовый платить пани Бронич искренней любовью уже за одно то, что мог с утра до вечера болтать с ней о Линете.

Уступая уговорам тетушки, нанес он визит старику Завиловскому, которого прозвали Крезом и у которого он ни разу не бывал. Старый шляхтич с молочно-белыми усами, румяными щеками и седой, коротко стриженной головой остался при его появлении сидеть, положи ногу на кресло; во всей его повадке была барственная фамильярность человека, привыкшего принимать, а не оказывать знаки внимания.

– Извини, что не встаю, – сказал он, – подагра замучила!.. Ничего не поделаешь, это у нас наследственное! Наверно, так и останется на веки вечные в нашем роду. А у тебя, часом, большой палец не болит?

– Нет, – отвечал Завиловский, немного удивленный приемом и тем, что старик,

впервые видя его, называет на «ты».

– Погоди, состаришься – заболит!

И, позвав дочь, представил ей Завиловского, после чего повел речь о родственных связях, объясняя молодому человеку, кем они друг другу приходятся.

– Сам я стихов не писал, – заключил он, – не сподобил господь. Но ты, можно сказать, молодец, не пришлось мне краснеть, хотя под стихами моя фамилия.

Однако добром это свидание не кончилось. Дочь хозяина, девушка лет тридцати, с красивым, но суровым, как бы увядшим до времени лицом, желая принять участие в разговоре, стала расспрашивать кузена, где он бывает, с кем знаком; Завиловский стал называть, а старик каждого характеризовал в одном-двух словах. Услышав о Поланецких, отозвался: «Хорошая фамилия!» При упоминании Бигелей переспросил: «Кто?», а когда Завиловский повторил, прибавил: «Connais pas»[55 - Не знаю (фр.)]. Основскую окрестил лаконично: «Вертихвостка», про тетюшку Бронич буркнул: «Завирушка», а под конец, когда молодой человек с замиранием сердца упомянул панну Каstellи, у старика даже лицо перекошилось – видно, стрельнуло в ногу в эту минуту.

– Ой! Венецианский бесенок! – вскричал он.

Несмотря на робость, Завиловский был изрядно вспльчив; у него даже в глазах потемнело, а выступающий подбородок выдвинулся еще сильнее вперед.

– Ваша манера судить о людях мне не нравится, – смерив старика взглядом с головы до больных ног, сказал он, – а посему разрешите откланяться.

И, схватив шляпу, стремглав удалился.

Не привыкший себя сдерживать старик, которому до сих пор все сходило с рук, долго молчал, ошарашенно глядя на дочь.

– Взбесился он, что ли? – наконец воскликнул он.

Молодой человек ни словом не обмолвился пани Бронич о случившемся. Сказал лишь вскользь, что был с визитом и что отец, как и дочь, не понравился ему. Но тетюшка узнала обо всем от самого старика, который, кстати, даже в глаза не называл Линету иначе, как «венецианским бесенком».

– Наслали вместо вашего бесенка целого беса на меня, – сказал он, – чуть голову мне не оторвал.

В голосе его послышалось даже некоторое одобрение: такая дерзость в Завиловском прилась ему по вкусу, – но тетюшка не уловила этого оттенка и огорчилась.

– Линету он обожает, – сообщила она к величайшему удивлению «беса», – и называет так любя; притом человеку в таком возрасте, с таким положением многое прощается. Вы, верно, не читали роман Крашевского «Венецианский бесенок»? После Крашевского «бесенок» звучит даже поэтично... Вот поостынет старичок, возьмите да напишите ему несколько слов, ладно? Таким знакомством нельзя пренебрегать...

– Ни за что не стану писать! – отвечал Завиловский.

– Даже если не только я попрошу?

– То есть... конечно, я ведь не какой-нибудь бесчувственный чурбан.

Панна Каstellи улыбнулась, услышав этот разговор. Втайне ей приятно было, что из-за одного слова о ней, показавшегося оскорбительным, Завиловский взвился, как от богохульства. И, оставшись во время сеанса с ним наедине, она сказала:

– Странно... Я так не доверяю людям... Так мне не верится, что, кроме тети, кто-то может хорошо ко мне относиться...

– Отчего же?

– Не знаю. Сама не могу объяснить.

– Ну, а Основские? А пани Анета?

– Анета? – повторила она и принялась с удвоенным усердием рисовать, словно позабыв о вопросе.

– А я? – спросил, понижая голос, Завиловский.

– Вы – другое дело! – отвечала она. – Вы никому не позволите плохо обо мне говорить, я уверена. Вы ко мне искренне расположены, я чувствую, хотя не понимаю, почему, я ведь этого недостойна...

– Вы недостойны? – вскричал Завиловский, срываясь с места. – Так знайте же: я и правда никому не позволю плохо о вас отзываться – даже вам самой...

– Хорошо, только сядьте, пожалуйста, на место, я так не могу рисовать, – улыбнулась она.

Он послушно сел, не отрывая взгляда, полного любви и восхищения, мешавших ей продолжать.

– Что за непоседа! Поверните голову немного вправо и не смотрите на меня.

– Не могу! – отозвался Завиловский.

– А я не могу так рисовать... У меня голова начата в другом ракурсе...
Постойте-ка!..

Она подошла и, коснувшись пальцами его висков, слегка повернула голову вправо. Сердце у него бешено заколотилось, в глазах потемнело; схватив руку Линеты, он прижал к губам ее теплую ладонь.

– Что вы делаете? – прошептала она.

А он, не говоря ни слова, не выпуская руки, все сильнее прижимал ее к губам.

– Поговорите с тетей... – торопливо сказала она. – Завтра мы уезжаем.

Больше они ничего не успели сказать друг другу: в мастерскую вошли из гостиной

Основские с Коповским.

При виде пылающего лица Линеты Основская метнула быстрый взгляд на Завиловского.

– Ну, как подвигается работа? – спросила она.

– Где тетя? – перебила Линета.

– С визитом поехала.

– Давно?

– Только что. Как работалось?

– Хорошо, но на сегодня хватит, – ответила Линета и, положив кисти, ушла к себе вымыть руки.

Завиловский посидел еще, более или менее связно отвечая на обращаемые к нему вопросы, хотя ему не терпелось уйти. Пугал предстоящий разговор с тетушкой Бронич, который он, по обыкновению людей нерешительных, предпочел бы отложить на завтра. Кроме того, хотелось побыть наедине с собой, привести мысли в порядок, разобраться в происшедшем, ибо в ту минуту в голове у него все спуталось, – было лишь смутное ощущение чего-то необычайного, открывающего в его жизни новый этап. И от сознания этого у него сладко и вместе тревожно замирало сердце. Ведь теперь только один путь: вперед; теперь надо объясниться в любви, сделать предложение и с благословения родни вести невесту к алтарю. Он жаждал этого всей душой, но счастье настолько для него слилось с областью вымысла, с миром искусства и мечты, что совместить понятия «панна Каstellи» и «моя жена» казалось совершенно невероятным. И, едва дождавшись ее возвращения, он стал прощаться.

– Вы не подождете тетю? – спросила она, подавая ему холодную от воды руку.

– Мне пора уже, а завтра я приду проститься с вами и с пани Бронич.

– Значит, до завтра!

Прощание показалось Завиловскому прохладным и несоответствующим тому, что произошло, и он впал в отчаяние. Но проститься иначе при посторонних не посмел, тем более что поймал непривычно внимательный взгляд Анеты Основской.

– Обождите минутку, – остановил его Основский уже в дверях, – я с вами, мне в город нужно по делу.

И они вышли вместе. Но едва оказались за воротами виллы. Основский остановился и положил Завиловскому руку на плечо.

– Пан Игнаций, уж не поссорились ли вы с Линетой? – спросил он без обиняков.

Завиловский сделал большие глаза.

– Я? С Линетой?

– Вы как-то холодно попрощались с ней. Я думал, вы ей, по крайней мере, ручку поцелуете!

У Завиловского глаза сделались еще больше. Основский рассмеялся.

– Ну так и быть, не стану от вас скрывать! Моя жена подсматривала в щелочку из любопытства и все видела. И потом, дорогой пан Игнаций, я ведь знаю, что такое полюбить. И как самый ваш лучший друг, одного вам желаю: дай вам бог быть столь же счастливым, как я!

И с этими словами стал трясти руку Завиловского, а тот, хотя донельзя сконфуженный, чуть не кинулся ему на шею.

– Чего же вы ушли? Вам в самом деле некогда?

– Откровенно говоря, мысли хочется в порядок привести, и потом, пани Бронич побаиваюсь.

– Да вы не знаете ее. Это такая экзальтированная особа! Проводите меня, а потом к нам возвращайтесь – попросту, без церемоний. Соберетесь на обратном пути с мыслями, а там и тетушка вернется; скажете ей несколько прочувствованных слов, она прослезится – вот и все, что вам грозит. И знайте, счастьем своим вы прежде всего моей Анеточке обязаны: это она Линету обрабатывала – сестра родная, и та не сделала бы для вас больше. Горячая головка, но сердечко золотое! Бывают, конечно, хорошие женщины, но лучше нее на свете нет... Нам казалось, к Линете этот дурень Коповский равнодушен, и Анету это бесконечно возмущало. Они с Линетой неплохо относятся к Копосику, но согласитесь, для нее это неподходящая партия. – И, взяв Завиловского под руку, продолжал: – Давайте на «ты», без церемоний. Мы же скоро породнимся. Так вот я что еще хотел тебе сказать: Линетка, безусловно, тебя любит, она тоже добрейшее создание. Но и похвалы тебе своим чередом могли ей голову вскружить, тем более она так молода... словом, огонь этот надо поддерживать, поддерживать! Понимаешь?.. Чувство окрепнуть должно, что никаких усилий от тебя не потребует, – ведь это такая чуткая, восприимчивая натура! Не думай, будто я тебя предостерегаю или напугать хочу. Боже избави! Речь о том только, чтобы чувство закрепить. Что она любит тебя, тут сомнения нет. Видел бы ты, как она с книжкой твоей носилась или что с ней творилось в тот вечер, когда вы вернулись из театра! А меня нелегкая дернула сказать, будто, по слухам, старик Завиловский ищет с тобой знакомства, чтобы дочь выдать за тебя, – боится, как бы состояние не уплыло в чужие руки, – и, представь, бедняжка побелела как полотно. Я испугался и обратил все в шутку. Ну, что ты на это скажешь?

Завиловскому хотелось и плакать, и смеяться, но он только прижимал к себе крепче локоть Основского.

– И не стою я ее, и... – протянул он после небольшой паузы.

– Что еще за «и»? Уж не хочешь ли ты сказать, и недостаточно любишь ее?

– Нет, упаси бог! – ответил Завиловский, подымая глаза к небу.

– Тогда возвращайся и подумай, что тетушке сказать. Да пафоса побольше, она это любит! До свидания, Игнаций! Я через час вернусь, и мы отметим вашу помолвку.

И в приливе чувств поистине братских они стали пожимать друг другу руки.

– Еще раз тебе повторю: дай бог, чтобы твоя Линета оказалась твоей женой, как

моя Анеточка!

На обратном пути все они виделись Завиловскому ангелами: и Основский, и жена его, и тетушка Бронич, а Линета не то что на ангельских – на архангельских крылах вознеслась над ними надо всеми! Впервые он уразумел, что любить можно до боли в сердце. Мысленно преклонял он пред ней колена, припадал к ее стопам, любил, боготворил, и с этими чувствами, которые возносили в душе его единую славу ей, сочеталась безмерная нежность, будто обожаемая им женщина была одновременно бесценное, единственное дитя, малое и беспомощное. И ему вспомнилось рассказанное Основским, как она побледнела, услышав, что его хотят женить на другой, и он принялся повторять про себя: «Любимая! Любимая моя!» Умиление и благодарность переполняли его сердце, и он клялся: за ту мгновенную бледность быть всю жизнь перед ней в неоплатном долгу. Был он счастлив, как никогда, счастье казалось столь велико, что становилось даже страшно. До тех пор был он пессимистом, но действительность так ревностно разбивала его надуманные теории, что не верилось: как можно так заблуждаться.

Тем временем подошел он к даче, и пьянящий аромат цветущего жасмина показался ему внутренним составным элементом его собственного счастья. «Какие люди, какой дом, какая замечательная семья! Только среди них могла вырасти моя Весталка!» – думалось ему. Он смотрел на заходящее в предвечерней тишине солнце, на золотистый, подбитый алой каймой полог зари, и покой этот сообщался ему. В золотистом сиянии чудились беспредельное милосердие и благодать, которые нисходят на землю, умиротворяя ее и благословляя. И в душе его сама собой слагалась безмолвная, бессловесная благодарственная молитва.

У ворот он очнулся и увидел старого слугу Основских, который глазел на проезжавшие экипажи.

– Добрый вечер, Станислав! – сказал он. – Что, госпожа Бронич не вернулась?

– Да вот, поджидаю, пока нету ее.

– А молодая госпожа и барышня еще в гостиной?

– В гостиной, и пан Коповский там.

– А кто мне откроет?

– Да там открыто, я только на минутку вышел.

Завиловский поднялся наверх и, не найдя никого в общей гостиной, прошел в мастерскую, но и там было пусто, только из отделенной портьерой задней комнатки доносились приглушенные голоса.

Полагая найти там обеих дам и Коповского, он раздвинул портьеру и остолбенел.

Линеты в комнате не было, зато был Коповский – он стоял на коленях перед Анетой, а она, запустив пальцы в его пышную шевелюру, запрокидывала назад его голову, наклоняясь одновременно к нему, словно собираясь поцеловать в лоб.

– Анета! Если любишь... – говорил Коповский сдавленным, полным страсти голосом.

– Люблю! Но не надо. Не хочу! – отвечала, отстраняясь от него Основская.

Завиловский машинально опустил портьеру, постоял с минуту, будто ноги у него приросли к полу, потом пересек, точно во сне, мастерскую, – толстый ковер, как и перед тем, заглушил его шаги, – миновал большую гостиную, прихожую и, спустившись по лестнице, вышел за ворота.

– Уходите? – спросил его слуга.

– Да, – ответил Завиловский.

И поспешно, словно спасаясь бегством, зашагал прочь. Но вскоре остановился и громко спросил себя:

– Да что я, с ума схожу?

И на миг ему показалось, что так оно и есть: мысли разбегались, в голове был хаос; он ничего не понимал и ни во что не верил больше. Внутри что-то оборвалось, навсегда рухнуло. Как же так? В этом доме, который только что виделся ему благословенным приютом избранных душ, гнездятся пошлая ложь, порок и грязь, житейская разыгрывается низкая и постыдная комедия? И его Линета, его «Весталка», живет в этой отравленной атмосфере, в окружении этих людей? Вспомнились слова Основского: «Дай бог, чтобы твоя Линета оказалась такой женой, как моя Анеточка!» «Благодарю покорно», – подумал Завиловский и против воли рассмеялся. Он знал, что на свете есть зло и порок, видел их, сталкивался с ними; но впервые жизнь явила их ему с такой безжалостной иронией: Основский, который отнесся к нему по-братски и которого знал он за честного, порядочного, редкой доброты человека, предстал перед ним шутком, прекраснотушным простофилей; прекраснотушным, потому что любил и верил, простофилей, потому что был одурачен женщиной. И впервые ему ясно стало, в какое – незаслуженно глупое – положение гадкая, безнравственная женщина может поставить мужа. Неведомые, пугающие стороны жизни открылись перед ним – настоящие бездны, о существовании которых он и не догадывался. Что дурная, «демоническая» женщина может высосать из человека кровь, как паук, и погубить его, он допускал; но сделать его еще вдобавок посмешищем... С этим он никак не мог примириться. Тем не менее Основский, желавший ему в будущем того же счастья, что у них с Анетой, был попросту смешон, и ничего тут не поделаешь. Нельзя быть настолько ослепленным любовью.

И он стал думать о Линете. В первое мгновение ему показалось, что грязь этого дома и сомнения, зародившиеся в его душе, и на нее бросают тень. Но он тотчас отогнал эту мысль как кощунственную, оскорбляющую ее невинность, ангельски чистое любимое существо, и рассердился на себя. «Да разве может такая голубка догадываться о чем-либо подобном?» И при мысли, что что «чистое существо» вынуждено жить в порочной атмосфере, любовь его вспыхнула еще сильнее. Им овладело желание как можно скорей оградить Линету от Основской, оберечь от ее влияния, взять на руки и вынести из этого дома, где невинный взор ее мог видеть порок и зло. Временами, правда, какой-то демон нашептывал ему: вот и Основский так же верит, вот и он голову даст на отсечение, что жена верна ему, и малейшее подозрение сочтет оскорбительным для своего кумира. Но Завиловский отверг с негодованием эти дьявольские наущения. «Достаточно в глаза ей взглянуть», – повторял он себе. И, вспоминая эти глаза, готов был бить себя в грудь, словно за тяжкий грех. И злился на себя за то, что ушел, не дождавшись тетушки Бронич, останься он, все его сомнения рассеялись бы при виде Линеты. Вспомнилось, как целовал он ей руки, а она в смущении сказала: «Поговорите с тетей». Какая небесная чистота и неискушенность были в ее словах! Полюбив, эта праведная душа

хотела любить открыто, не таясь! Думы эти побуждали вернуться, но Завиловский чувствовал, что слишком взволнован и не сумеет объяснить свое внезапное исчезновение, если слуга уже доложил о первоначальном его приходе.

Потом ему снова представился Коповский на коленях, и он стал спрашивать себя: что делать и как тут поступить? Предостеречь Основского? Это он тотчас отвергнул с возмущением. Высказать Анете с глазу на глаз все, что он о ней думает? За дверь его выставит. Или пригрозить Коповскому и взять с него слово, что он перестанет бывать у них в доме? Тоже не годится. Коповский, если не совсем трус, оскорбит его, потребует удовлетворения, а он будет вынужден молчать, и люди подумают, будто вся история вышла из-за Линеты. Ему по-дружески жаль было Основского, но, с другой стороны, не мог он по молодости лет примириться с тем, что зло и порок останутся безнаказанными. Ах, если б можно было посоветоваться с кем-нибудь вроде, например, Марыни или Поланецкого! Но это невозможно. И по долгом размышлении пришел он к выводу, что надо скрыть все это и молчать.

К тому же зло, судя по страстным мольбам Коповского и ответу пани Основской, окончательно еще не восторжествовало. Женщин Завиловский не знал, хотя начитался о них достаточно. И из прочитанного явствовало, что бывают женщины, которых соблазняет не сам грех, а форма, в которую он облечен, то есть безнравственные, но холодные; запретный плод их столь же влечет, сколь падение отталкивает, – любить они неспособны и равно обманывают как мужей, так и любовников. Ему пришли на память слова из какой-то французской книжки: «Будь Ева полькой, она сорвала бы яблоко, но не съела». К таким отнес он Анету Основскую. Если ее добродетель и порочность одинаково поверхностны, запретная связь скоро ей наскучит, особенно с таким вот Коповским.

Тут он окончательно стал в тупик, теряясь, какой ключик подобрать к душе пани Основской. Будь у нее роман с кем угодно, это еще можно понять, но с Коповским, этим недоумком с наружностью херувима... «Пудель и тот умнее, – думал он. – И как она, с претензией на ум и образованность, мнящая себя артистической натурой, которой доступны тончайшие оттенки мыслей и чувств, могла настолько пасть и связаться с таким болваном». В прочитанных книгах он напрасно искал этому объяснение.

Но действительность убедительней всяких книг свидетельствовала, что это так. Припомнились и слова Основского о том, как они боялись, что «этот дурень неравнодушен к Линете». И как Анета возмущалась, стараясь отвратить Линету от него. Значит, ухаживанья за ней Коповского ей не нравились, значит, ей хотелось приберечь его для себя. И Завиловский вздрогнул: но если так, у Коповского были какие-то основания надеяться? Светлый образ Линеты снова стал туманиться. Подтвердись это, она в его глазах падет так низко, как Анета Основская. Во рту ощутил он горечь, кровь горячей волной прилила к вискам. Гнев обуял его. Этого он ей не простил бы, да и само подозрение способно отравить ему существование. И, остановившись посреди улицы, он почувствовал: надо задушить в себе эту мысль, иначе он сойдет с ума.

И, наконец, прогнал ее, обругав себя последним дураком за то, что мог выдумать такую нелепость. Линета не могла полюбить Коповского, ведь она любит его! Вот самый веский довод, а опасения и подозрения Анеты Основской Завиловский приписал самолюбию легкомысленной и тщеславной женщины, которая не хочет уступить пальму первенства другой. И у него словно камень с души свалился. Он готов был на коленях умолять свою невинную голубку простить его, думая о ней с любовью, преданностью и раскаянием.

Но для себя отметил, что зло, даже творимое другими, порождает лишь зло. В самом деле, сколько чудовищных мыслей родилось у него самого только потому, что дурак пал к ногам ветреницы. И он постарался запомнить это.

Неподалеку от своего дома повстречал он Поланецкого под руку с пани Машко, и у него под впечатлением сегодняшних переживаний невольно мелькнуло подозрение. Но узнавший его при свете фонаря и луны Поланецкий отнюдь не собирался прятаться и первый его окликнул:

– Добрый вечер! Совсем еще рано, а вы уже домой?

– Да вот был у пани Бронич и решил пройтись немного пешком, больно вечер хорош.

– В таком случае заходите к нам. Я провожу даму и тотчас вернусь. Жена давно вас не видела.

– С удовольствием, – ответил Завиловский.

И ему самому захотелось повидать Марыню. Истерзанной мыслями и переживаниями, он знал, что доброе, спокойное лицо Марыни подействует на него благотворно.

Спустя минуту он уже звонил в дверь и, поздоровавшись, стал оправдываться, что зашел по приглашению ее мужа.

– Что вы, я очень рада, – возразила Марыня. – Муж пошел пани Машко проводить и скоро вернется, – она заходила проведать меня. К чаю обещались еще Бигели и папа, если только в театр не поехал.

Марыня указала ему стул подле стола и, поправив абажур, принялась за прерванную работу. Она мастерила бантики из узеньких розовых и голубых ленточек, во множестве лежавших перед ней.

– Что это вы делаете? – спросил он.

– Бантики. К платьям пришивать. – И, помолчав, добавила: – А вы что подельваете, интересно знать? В городе вас уже считают женихом Линеты Кастелли – знаете вы об этом? Видели вас вместе в театре, на скачках, на прогулках – думают, что это дело уже решенное.

– Я ничего от вас не скрывал, скажу и сейчас совершенно откровенно: да, почти решенное.

Она взглянула на него с живейшим интересом.

– Да? Приятная новость! Дай вам бог, мы оба желаем вам счастья. – И, протянув ему руку, спросила с любопытством: – Уже объяснились с Линеткой?

Завиловский рассказал ей все, как было, – и про то, что произошло между ним и панной Кастелли, и про свой разговор с Основским: потом, постепенно увлекшись, поведал о своих переживаниях: как сначала присматривался ко всему, многого не одобряя, борясь с собой, не смея надеяться; как старался выкинуть из головы, вернее, вырвать из сердца нарождающееся чувство – и ничего не мог с собой поделаться. Уверял, что не раз давал себе слово прекратить это знакомство,

перестать у них бывать, но не хватало духа, – со страхом убеждался он каждый раз, что жизнь тогда потеряет для него всякий смысл: неизвестно, что с ней делать без нее, без его Линеты; и вновь и вновь возвращался к ним.

Присматриваться он присматривался, хотя насчет неодобрительного отношения и борьбы с собой несколько преувеличил. Но исповедовался совершенно искренне. И заключил: теперь нет места сомнениям, любит он не какой-то воображаемый идеал, а ее, Линету, которая дороже для него всего на свете.

– У других – семья, мать, братья, сестры, – говорил он, – а у меня, кроме несчастного отца, никого, и вся моя потребность любить обратилась на нее.

– Да, так и должно было получиться, – сказала Марыня.

А он продолжал с возрастающим волнением:

– Но мне до сих пор кажется, будто это сон, и не верится, что она вдруг станет моей женой. Возникает ощущение, будто это ничем не сбудется: непременно случится что-нибудь и помешает. – И, преувеличивая из-за своей экзальтированности эти опасения, он замолчал, охваченный нервной дрожью, а потом, закрыв глаза, прибавил: – Видите, я зажмуриваюсь даже, чтобы лучше представить себе свое счастье. Уж очень оно невероятно! Что, собственно, ищут люди в жизни, в супружестве? Именно счастья! Но оно превосходит мои силы. Не знаю, может быть, я слаб душой, но, откровенно говоря, иногда просто дыхание перехватывает.

Марыня положила на стол очередной бантик и, прикрыв его рукой, посмотрела на Завиловского.

– Вы поэт и оттого чересчур увлекаетесь. А надо отнестись к этому спокойней. Послушайте, что я вам скажу. У меня есть тетрадошка, в которую моя мама, уже тяжело больная, понимавшая, что скоро умрет, записывала для меня самое важное, могущее мне пригодиться в жизни. Я потом ни от кого не слыхала и нигде не читала такого суждения о замужестве. Вот: «Замуж выходят не для счастья, а чтобы исполнять налагаемые господом обязанности, а счастье – придача только, дар божий». Видите, как просто, а все-таки я ни разу не слыхала и не видала, чтобы кто-нибудь, женись или выходя замуж, помышлял об этом, а не о счастье. Запомните это и передайте Линете, хорошо?

Завиловский поднял на нее удивленный взгляд.

– Да, действительно, так просто, что никому даже в голову не приходит.

Она улынулась невесело и, взяв бантик, снова принялась за работу.

– Скажите Линете, – повторила она, быстро взмахивая похудевшей рукой с иглой. – Видите ли, в жизни можно быть больше или меньше счастливым – это уж как бог даст. Но нерушимый душевный покой можно обрести, только руководствуясь этим правилом. А без этого жизнь превратится в погоню за счастьем, и на каждом шагу будут разочарования, хотя бы потому, что воображение наше часто расходится с действительностью.

Говоря, она продолжала шить.

А он смотрел на ее склоненную голову, на снующую с иглой руку, на ее рукоделье, слушал ее голос, и ему чудилось, будто спокойствие, о котором она говорит, исходит от нее самой, наполняет комнату, реет над столом, сияет в пламени лампы – и передается ему.

Завиловский так поглощен был собой, своей любовью, что не уловил никакого грустного оттенка в ее речах; лишь две вещи его занимали: во-первых, почему излагаемые ею азбучные истины не доступны общему пониманию, а во-вторых, почему сам он до них не додумался. «Как ничтожна книжная наша премудрость в сравнении с мудростью чистого женского сердца», – сказал он про себя. И, вспомнив при виде Марыни Основскую, подумал: «Какая все-таки разница между ними!» И внезапно пришло огромное облегчение; терзавшие его мысли унялись. Он отдышал душой, глядя на это благородное создание. «Вот такая же и Линета – спокойная, правдивая и простая», – подумалось ему.

Тем временем пришел Поланецкий, а за ним – Бигели в сопровождении слуги, несшего виолончель. За чаем Поланецкий заговорил о Машко. Дело об опротестованном завещании повел он со всей напористостью, продвигая его вперед, несмотря на все новые затруднения. Молодой адвокат от благотворительных заведений – тот самый Селедка, которого Машко сулился умаслить, поперчить и проглотить, – оказался против ожидания костистым, и съесть его было не так-то просто. По слухам, дошедшим до Поланецкого, это был хладнокровный, упорный и понаторелый уже юрист.

– Но самое забавное, что Машко верен себе, – продолжал Поланецкий, – мнит себя патрицием, вступившим в единоборство с плебеем. Это, говорит, испытанием будет, чья кровь благородней. Жаль, Букасика нет в живых, его бы это позабавило.

– Машко все еще в Петербурге? – спросил Бигель.

– Сегодня возвращается, поэтому она и не смогла остаться, – ответил Поланецкий, прибавив немного погоды: – Я был раньше против нее предубежден, но теперь вижу: она неплохая женщина. И жаль ее.

– Чего же ее жалеть? Ведь дело Машко пока не проиграл, – заметила пани Бигель.

– Его подолгу дома нет. А мать ее в Вене, в глазной лечебнице, и, кажется, зрения лишится. И она по целым дням одна, как затворница. Оттого мне и жаль ее, несмотря на прежнее предубеждение.

– Она намного симпатичней стала, выйдя замуж, – сказала Марыня.

– Да, – подтвердил Поланецкий, – притом нисколько не подурнела. Раньше эти покрасневшие глаза ее портили, но теперь воспаление прошло, и выглядит она совершеннейшей девушкой.

– Неизвестно только, нравится ли это ее мужу, – вставил Бигель.

Марыню так и подмывало поделиться новостью о Завиловском, но поскольку о помолвке объявлено не было, она не решалась. Однако после чая, когда пани Бигель спросила, как же его-то «дело», и он сам сказал, что почти «выиграно», Марыня вмешалась и сообщила: Завиловского можно поздравить. Все с искренней приятностью, и без того питаемой к нему, бросились пожимать ему руку, и все повеселели. Бигель чмокнул на радостях жену, Поланецкий велел подать шампанское и бокалы – выпить за здоровье «самой экстравагантной пары» в Варшаве; пани Бигель проезжалась на

тот же счет, подтрунивая: можно себе представить, какой порядок будет в доме художницы и поэта. Завиловский смеялся, глубоко, однако, взволнованный в душе тем, что мечты его начинают сбываться.

– С богом! – чокаясь с ним, сказал Поланецкий. – Хочу дать вам совет: вкладывайте весь свой поэтический талант в стихи, в творчество, а в жизни будьте реалистом и помните: супружество – не романти...

Он не договорил: Марыня зажала ему рот рукой.

– Не слушайте этого резонера, – смеясь, сказала она Завиловскому, – и не придумывайте заранее никаких теорий; любите – и все.

– Да, да, конечно! – ответил Завиловский.

– Купите себе арфу в таком случае... – поддразнил его Поланецкий.

При упоминании об арфе Бигель взял свою виолончель, заявив, что такой вечер надлежит завершить музыкой. Марыня села за фортепиано, и они заиграли серенаду Генделя. У Завиловского было чувство, будто душа его покидает тело, уносясь в ночи с этими нежными звуками к Линете и баюкая ее. Ушел он поздно вечером, приободрясь внутренне в обществе этих славных людей.

ГЛАВА XLVI

Марыня обрела наконец покой – «какой уж бог дал», но поистине полный. В этом очень помог голос с того света – пожелтевшая от времени тетрадка, в которой прочла она: «Замуж выходят не для счастья, а чтобы исполнять налагаемые господом обязанности». Она и раньше часто заглядывала в эту тетрадку, но подлинный смысл этих слов поняла лишь в последнее время, после душевной борьбы, пережитой по возвращении из Италии. В результате она не только покорила судьбе, но и перестала считать себя несчастливой. Хотя счастье оказалось и не таким, как желалось, повторяла она себе, но оно все-таки реальное. Конечно, хотелось бы видеть побольше – нет, не поклонения, а ласки, она знала, Стах умеет быть ласковым и был таким с Литкой; хотелось, чтобы его чувство не было таким рассудочным, чтобы в нем была хоть крупица поэтичности, без которой трудно представить себе любовь; но ведь это не в ее власти. Вместе с тем в глубине души оставалась надежда, что он переменится. Но пусть даже этого не произойдет, все равно надо бога благодарить за то, что дал ей в мужа такого дельного, порядочного человека, достойного не только любви, но и уважения. Часто задумывалась она над тем, кого сравнить с ним, и не находила никого, кто выдержал бы такое сравнение. Бигель был славный, но несколько ограниченный; Основскому при всей доброте не хватало энергии и практического смысла; Машко вообще не шел ни в какое сравнение; Завиловский был для нее скорей гениальным ребенком, нежели мужчиной. Словом, при любом сравнении Стах только выигрывал, и она проникалась к нему все большим доверием и любовью. Смирясь, отказываясь от себя ради него, жертвуя своими мечтами и эгоистическими стремлениями, она словно становилась лучше, совершенствовалась духовно, не только не опускалась ниже, а, напротив, поднимаясь выше, ближе к богу, – и в минуту озарения поняла: это и есть счастье. Поланецкого часто не бывало дома, и, оставаясь одна, она частенько говаривала себе с немудрящей женской простотой: «Человек должен стараться быть лучше, и, если я не стала хуже, уже хорошо! Сложись все иначе, пожалуй, я

испортилась бы». Ей не приходило в голову, что в этих рассуждениях больше ума, чем, например, во всех речах и помыслах Основской. Столь же естественным Марыне казалось, что она стала для Стаха менее привлекательной, в чем убеждало ее большое зеркало. И, глядясь в него, она себе говорила: «Глаза, пожалуй, те же, но лицо, фигура – смотреть страшно! На месте Стаха я бы из дома убежала!» Но это была неправда: никуда бы на его месте она не убежала, но ей и это хотелось вменить в заслугу своему Стаху. Утешением служили и слова пани Бигель сказавшей, что после она похорошеет и будет выглядеть, как «молоденькая». И сердце ее временами исполнялось радостной благодарности за то, как мудро все устроено: немножко помучилась, немножко подурнела, а потом не только все сторицей возвращается, но в награду получаешь еще «bebешку», который дает жизни новый смысл, теснее связывая жену и мужа. И от этих мыслей становилось не только покойней, но даже веселее.

– А знаешь, что я думаю? – сказала она как-то пани Бигель. – Очень легко счастливой быть, надо только бога бояться.

– А какая тут связь? – спросила пани Бигель, которая, как и муж, любила отчетливость в суждениях.

– А такая: довольствоваться тем, что он дает, и не надоедать ему просьбами о том, что нам кажется лучше, – ответила Марыня весело. – Не нудить, не нудить!

И обе женщины рассмеялись.

Преувеличенное беспокойство Поланецкого о жене по-прежнему выдавало, что сильней всего заботит его ожидаемый ребенок, но Марыня на него больше не обижалась. По правде говоря, не обижалась и раньше, но сейчас готова была счесть даже за особую добродетель: ведь теперь первейшая их обязанность, думала она, заботиться о будущем ребенке, предмете их общей любви. И с каждым днем, в чем-то себе отказывая, все меньше думая о себе, становилась спокойней и умиротворенней, и это отражалось в ее чудесных глазах. И в главном, ожидаемом тоже приготовилась она смириться с волей божьей, хотя и побаивалась немного мужа.

– Стах, ты не побьешь меня, если у нас будет сын? – шутливо спросила она у него однажды.

– Нет, – засмеялся он, целуя ей руку. – Но мне хотелось бы иметь дочку.

– А пани Бигель говорит: мужчины всегда предпочитают мальчиков.

– А я хочу девочку.

Однако не всегда она бывала в таком веселом расположении. Иногда приходило на ум, что можно умереть, такие случаи бывают, она знала – и горячо молилась, чтобы с ней этого не случилось. Смерти она боялась, и уходить не хотелось, даже в рай, ведь здесь все обещало мир и любовь. И, наконец, думалось ей, Стах будет по ней тосковать. И при мысли об этом становилось так жалко его, точно он уже сейчас пренесчастнейший из людей. С ним она своими страхами не делилась, но ей казалось, что он и сам иногда об этом думает.

Но она глубоко ошибалась. Акушерка, еженедельно навещавшая Марыню, заверяла ее и Поланецкого, что все благополучно, и у него не было оснований опасаться за жизнь жены. Его тревожило другое, о чем Марыня, к счастью для себя, не догадывалась и

в чем он сам боялся до конца себе признаться. С некоторых пор стал он замечать упущения в своем жизненном балансе, которым был так горд и в котором черпал уверенность в себе. Еще недавно почитал он свою житейскую философию неким домом из толстых бревен, покоящимся на прочном фундаменте, и с тайным превосходством взирал на тех, кому не удалось соорудить ничего подобного. Словом, уважал в себе лучшего мастера житейского обустройства. Работа окончена – остается лишь веселиться и отдыхать! Но он забыл, что душа человеческая – как птица: взлетев, надо усиленно работать крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Иначе малейшее искушение – и упадешь на землю.

Досада была тем сильнее, что соблазн был низменный и пошлый. Предмет искусительной страсти – сама посредственность и страсть грубая, не извиняющая даже в собственных глазах. Так или иначе дом дал трещину. Став человеком верующим, причем по убеждению, Поланецкий отнюдь не хотел вступать в сделку с совестью, улаживать себя: дескать, и праведники не без греха. Нет! Логика подсказывала: «Или – или», и, будучи человеком прямодушным, он не мог не соглашаться с этим. И хотя пока не поддался соблазну, злился, что он вообще явился, заставив усомниться в себе. Привыкнув считать себя лучше других, Поланецкий теперь задался вопросом: а вдруг он хуже – ведь искушение не просто возникло, он чувствовал, что на сей раз может и не устоять.

Наблюдая Основскую, нередко вспоминал он изречение Конфуция: «У заурядной женщины ума столько, сколько у курицы, у незаурядной – сколько у двух кур», – но при виде Терезы Машко ему приходило в голову, что в применении к некоторым даже эта возмутительная, китайская поговорка звучит еще похвалой. Сказать, что она откровенно глупа, значило бы еще признать за ней какое-то индивидуальное отличие. А она была никакая. Усвоившее десяток-другой расхожих правил благопристойное ничтожество. Как обитателям Новой Гвинеи двухсот-трехсот слов довольно для общения и удовлетворения своих потребностей, так и ей достаточно этих правил, чтобы жить, рассуждать и вращаться в обществе. В остальном была она крайне апатична и сверх того тупо самодовольна – от умственной ограниченности и слепой убежденности в том, что, автоматически следуя известным правилам, никогда не ошибешься. Такой знал он ее еще девушкой и не раз смеялся над ней, называя куклой, манекеном, не в силах простить ей смерти доктора, сгинувшего из-за нее где-то на краю света. Он не любил и презирал ее. Но даже тогда, встречаясь с ней у Бигелей или заходя к ним домой по просьбе Машко, испытывал к ней физическое влечение и прекрасно это сознавал. Это угасшее, сонно-безразличное лицо, замороженность манер, стройный стан и даже воспаленные глаза – все неудержимо влекло его к ней. Поланецкий объяснил это себе законом естественного подбора и, подыскав научный термин, успокоился, тем более что Марыня произвела на него еще более сильное впечатление, которому он и поддавался. Но Марыня была теперь его женой, и он перестал замечать ее красоту, которая на время увяла; обстоятельства же складывались так, что из-за частых отлучек Машко Поланецкий почти ежедневно виделся с Терезой, и давнее впечатление не только ожило, но вследствие теперешнего Марыниного положения ожило с нежданной силой. И вот он, не пожелавший быть «оселком» для Основской, несравненно более красивой и привлекательной, он, устоявший перед ее римскими фантазиями, считавший себя человеком строгих правил, который превосходит многих волей и умом, понял вдруг, что шевельни Тереза пальчиком – и воздвигнутое им здание пошатнется и рухнет ему на голову. За всем тем Поланецкий не переставал любить жену – он был к ней искренне и глубоко привязан, но чувствовал, что способен изменить ей, и не только ей, но себе, своим принципам, представлениям о нравственности и честности. С ужасом и негодованием обнаружил он в себе зверя, для укрощения которого у него не доставало сил. И эта слабость тревожила его, бесила, но

невозможно было с ней совладать. Самое простое было бы не видеться или видеться как можно реже, но он, напротив, выискивал предлоги встречаться как можно чаще. И вначале пытался прикрываться ими от самого себя, но врожденная честность не позволяла, и кончилось тем, что он себя же ругательски ругал. Но перед женой и посторонними они служили благовидным оправданием. В обществе же Терезы нельзя было удержаться, чтобы на нее не смотреть, фигура ее и лицо так и притягивали взгляд. С нездоровым интересом гадал он, как бы она себя повела и что сказала, не сдерживай он своей страсти, и разохочивал себя ее предполагаемой податливостью. Он заранее ее за это презирал, но вместе с тем она становилась для него еще желаннее. Так обнаружил он в себе бездну порочности, приписав ее долговому пребыванию за границей, и стал сомневаться в собственном моральном здоровье и неиспорченности. Или же это необъяснимое влечение к малопривлекательной женщине – признак какого-то невроза, незаметно подтачивающего организм? Что мужчина может женщину презирать, но зверь, живущий в нем, вожделенно желать, не приходило ему в голову.

Женский инстинкт, заменявший Терезе Машко пронизательность, скоро все сказал ей; да она и не была столь наивна, чтобы не понимать, что выражает его взгляд, скользкий по ее стану, глаза, устремленные на нее в упор, особенно когда они оставались наедине. Сначала это льстило ее самолюбию – так самой высоко нравственной женщине льстит, если она нравится, привлекает внимание, если желанней других, словом, покоряет. К тому же она не видела и не хотела видеть опасность, как куропатка, которая головой зарывается в снег, когда над ней кружит ястреб. Снег ей заменяли приличия. И Поланецкий чувствовал это. Еще холостяком узнал он по опыту, что для некоторых женщин главное – соблюдение известных условностей, подчас весьма странных. Знал он таких, которые возмущались, если сказать им по-польски то, что они с улыбкой выслушивают по-французски. Встречал и таких, которые у себя дома, в городе, были точно неприступные крепости, а за городом, на водах и курортах, быстро сдавались; таких, которые действия предпочитали словам, и даже таких, для кого решающее значение имело, светло или темно. И если нравственность не была изначально заложена в натуре, не привита, как оспа, женское поведение всегда зависело от случая, обстановки, от внешних, часто пустячных обстоятельств, от того, что понимается под приличиями. Это, полагал он, в полной мере относилось и к Терезе Машко, и лишь потому не предпринимал пока никаких попыток, что боролся с собой, своим искушением, и, презирая ее в глубине души, не хотел сам быть достойным презрения в собственных глазах. Останавливали и привязанность к Марыне, сострадание к ней, ее положению, с которым он не мог не считаться, умилявшее его ожидание отцовства, сознание, что они так недавно поженились, порядочность и религиозное чувство. То были цепи, которые сдерживали проснувшегося в нем зверя.

Но сдерживать его не всегда удавалось одинаково успешно. Однажды, а именно в тот вечер, когда они повстречались с Завиловским, он чуть не выдал себя. При мысли, что она торопится домой, потому что должен вернуться Машко, его обуяла самая грубая, животная ревность.

– Понятно, почему вы так торопитесь, – сказал он с плохо скрытым раздражением, испытывая сильное желание просто обругать ее. – Возвращается Улисс, и Пенелопе надлежит дома быть, однако...

– «Однако»? – переспросила она.

– Однако именно сегодня хотелось бы побыть с вами подольше, – брякнул, не задумываясь, Поланецкий.

– Это неудобно, – возразила она своим тоненьким, словно процеженным сквозь частое ситечко, голоском.

Она вся была в этих словах.

Возвращаясь, он клял на чем свет стоит и ее, и себя, а дома в светлой, уютной комнате нашел Марыню с Завиловским, которому она доказывала, что в супружестве не ищут какого-то выдуманного счастья, а исполняют налагаемую богом обязанность.

ГЛАВА XLVII

«Что мне за дело до Основской с ее интрижками? – урезонивал себя Завиловский, направляясь на другой день к Линете. – Ведь не на ней я женюсь, а на той, моей единственной. И зачем было вчера так грызть себя и терзаться?»

Успокоив таким образом свою «возвышенную душу», стал он обдумывать, что скажет тетушка Бронич, ибо, несмотря на заверения Основского и все самоуверения, будто предстоящий разговор – чистая формальность, несмотря на твердую уверенность в расположении Линеты и тетушки Бронич, его «возвышенная душа» замирала от страха. В гостиной застал он обеих дам и, осмелев после вчерашнего, поцеловал Линету руку.

– Я убегаю! – зардевшись, сказала она.

– Лианочка, останься! – попросила тетушка.

– Нет! Мне страшно, – отвечала Линета.

И потерлась, как избалованная кошечка, золотистой головкой о плечо тетушки Бронич, приговаривая:

– Не обижайте его, тетя! Не обижайте!

И, бросив взгляд на Завиловского, в самом деле убежала. Он же побледнел как полотно от волнения и переполнявших его чувств, а у тетушки слезы навернулись на глаза.

Видя, что и он того и гляди заплачет и ком в горле мешает ему говорить, она пришла ему на помощь.

– Догадываюсь о цели вашего визита... Я давно догадалась, что там между вами, дети мои...

Завиловский схватил ее руки и стал по очереди прижимать их к губам.

– Ах, я сама слишком много в жизни перечувствовала, чтобы истинное чувство не отличить, – продолжала тетушка, – я – настоящий знаток в этих делах, смело могу сказать! Женщины только сердцем живут и умеют читать в сердцах. Знаю, вы искренне любите Лианочку и не перенесли бы, если б она не отвечала тем же или если бы я вам отказала, правда ведь?

И устремила на него испытующий взгляд.

– Да? – с усилием выговорил он. – Не знаю, что со мной случилось бы!

– Видите, я сразу поняла! – ответила тетушка, просяив. – Ах, дорогой, мне довольно и взгляда! Но я не хочу быть вашим злым гением, губительницей вашего таланта. Нет, этого я не сделаю, не могу сделать! Кого бы я нашла для Лианочки? Где подходящий для нее человек с такими достоинствами, которые она любит и ценит? Не могу же я выдать ее за этого Коповского – и не выдам! Вы настолько не знаете Лианочки, а я знаю и говорю: не могу и не выдам!

Несмотря на все волнение, Завиловского удивила решительность, с какой отвергла тетушка Бронич Коповского, словно он сватом от него пришел, а не сам просил «Лианочкиной» руки.

– Нет! О Коповском речи быть не может! – с одушевлением продолжала тетушка, любясь собой и своей ролью. – Только вы сумеете Лианочку осчастливить. Только вы сумеете дать ей, чего она заслуживает. Я уже со вчерашнего дня ждала этого разговора... И всю ночь глаз не смыкала. Сомнения одолевали... не удивляйтесь! Ведь тут судьба Лианочкина решается. Страх меня брал: я заранее знала, что не устою перед вами, перед силой вашего чувства и вашего красноречия, как вчера не устояла Лианочка.

Завиловский, ни вчера, ни сегодня не сумевший выдать ни словечка, не мог взять в толк, где, когда, какое красноречие, но тетушка Бронич не дала ему опомниться.

– И знаете, как я поступила? Как всегда в трудные минуты жизни. Поговоривши вчера с Лианочкой, пошла утром на могилу мужа. Он тут похоронен, в Варшаве. Не помню, говорила я вам, что он последний из Рюри... ах да, говорила! Вы не знаете, дорогой, какое для меня спасение эта могила, на сколько благих решений она меня натолкнула!.. Шла ли речь о Лианочкином воспитании, о какой-нибудь поездке, о помещении капитала, оставленного мужем, о том, дать или не дать в долг кому-нибудь из родственников, из знакомых, я устремлялась прямо туда. И поверите? Иной раз, кажется, под какое солидное обеспечение даешь, дело уж какое выгодное, сердце подсказывает согласиться ссудить или занять, а мужнин голос вроде как из-под земли: «Не давай!» И не дам. И никогда еще не ошибалась! Ах, дорогой! Вы все понимаете, все тонко чувствуете – вы поймете, как горячо я нынче молилась, спрашивая со всем пылом души: выдать Лианочку или не выдавать? – И, взяв его голову в свои руки, вымолвила со слезами: – И Теодор откликнулся: «Выдавай!» И вот я отдаю ее тебе: прими вкупе с моим благословением!

Слезы прервали поток ее красноречия. Завиловский опустил перед ней на колени. Рядом с ним на колени бросилась и Лианочка, явившаяся будто по условленному знаку.

– Она твоя! Твоя! – простерши руки, сказала тетушка прерывающимся от рыданий голосом. – Отдаем ее тебе, я и Теодор!

Они встали с колен, тетушка, прижав платок к глазам, оставалась недвижима. Но вот платок стал приподыматься, тетушка – искоса поглядывать на молодых людей.

– Ох, знаю, знаю, хочется небось остаться вдвоем! – рассмеялась она наконец, грозя им пальцем. – Есть, наверно, о чем поговорить!

И с тем вышла. Завиловский взял Линету за обе руки, не сводя с нее влюбленных глаз.

Затем они сели, и она, не отнимая у него рук, положила головку ему на плечо. Это была песня без слов: Завиловский наклонился к ее прелестному лицу, Линета закрыла глаза, но в губы ее поцеловать он не осмелился, слишком молод был и робок, слишком любил, боготворил ее, – и только коснулся устами золотистых волос, но и от этого прикосновения комната поплыла у него перед глазами, все закружилось, исчезло, и он потерял представление, где они, что с ними, слыша лишь биение своего сердца, вдыхая аромат ее шелковисто щекочущих волос. Казалось, это сама вечность.

Но то был краткий сон, за которым пришло скорое пробуждение. Дверь тихо приоткрылась, и заглянула тетюшка Бронич, словно не желая упустить ничего из этой любовной идиллии, чьей доброй покровительницей была она вместе со своим Теодором; в соседней комнате раздались голоса супругов Основских. Через минуту тетя уже обнимала Линету, а из ее объятий перешла она в объятия Анеты. Основский крепко пожал руку Завиловскому.

– То-то радость! То-то радость! Мы ведь все тебя искренне полюбили: и я, и тетя, и Анеточка, не говоря уж о нашей девочке. – И сказал жене: – Знаешь, Анеточка, что пожелал я вчера Игнацию? Чтобы им было так же хорошо, как нам с тобой!

И, взяв ее за руки, стал покрывать их поцелуями. На Завиловского, хоть он и потерял совсем голову от счастья, эти слова подействовали отрезвляюще. Он посмотрел на Анету.

– Нет, им лучше будет, – отнимая у мужа руки, возразила она весело, – потому что Линета положительней меня, да и пан Завиловский не станет при посторонних так неотвязно ей руки целовать. Ну же, Юзек, пусти!

– Лишь бы он любил ее, как я тебя, сокровище мое, деточка моя ненаглядная! – пробормотал сияющий Юзек.

В тот день Завиловский не пошел в контору, оставшись до вечера у них. После завтрака они втроем отправились на прогулку в открытом экипаже – пани Бронич непременно, хотелось, чтобы их увидели вместе. Но сильный, хотя непродолжительный дождик испортил прогулку, экипажи разъехались, аллеи опустели. По возвращении добряк Основский выступил с новым предложением, обрадовавшим Завиловского.

– Пшитулов никуда от нас не денется, мы и так здесь, как в деревне, живем. Сейчас конец июня, ничего не случится, если мы останемся еще на несколько дней. Пусть влюбленные кольцами обменяются, а мы с Анеткой ужин устроим в честь обручения. Вы согласны, тетя? Я вижу, они ничего против не имеют, а Игнацию, наверно, приятно будет друзей увидеть на своей помолвке: Поланецких, Бигелей... У Бигелей, правда, мы не бываем, но это легко поправимо. Завтра же съездим к ним с визитом, и дело с концом. Не возражаешь, Игнаций? А вы, тетя?

Игнаций был на седьмом небе от счастья; что касается тети, она, видимо, не знала, как к этому отнесется Теодор, и была в нерешительности. Можно было, впрочем, спросить у него, но, памятуя, как звучно ответил он ей из-под земли: «Отдавай», – она и без того не сомневалась, что супруг посмотрит на это одобрительно, и на все согласилась.

После обеда явился Коповский, бывавший почти ежедневно, и оказался на даче единственным, кому известие о помолвке не доставило никакого удовольствия.

В первую минуту невольное изумление изобразилось на его лице.

– Вот никогда бы не подумал, что панна Линета согласится пойти за пана Завиловского, – сказал он.

Основский, подтолкнув Завиловского, подмигнул ему с плутовской миной.

– Видишь? Говорил я тебе вчера, что он к Линете равнодушен.

Лишь поздно вечером покинул Завиловский виллу Основских. Дома он, однако, не стихи сел писать, хотя внутри у него все так и пело многострунной арфой, а засел за корреспонденцию и счета, с которыми не сумел управиться днем.

В конторе это на всех произвело большое впечатление, и когда Бигели явились к Основским с ответным, а к пани Бронич – с первым своим визитом, Бигель не преминул высказаться по сему поводу.

– Стихи пана Завиловского вы имели возможность оценить, а вот какой он добросовестный человек, наверно, не знаете. Говорю об этом потому, что в наше время это большая редкость. Пробыв тогда у вас целый день и не попав в контору, он вечером пришел, велел ночному сторожу открыть, забрал с собой книги, счета и дома сделал все, что нужно. Приятно сознавать, что имеешь дело с человеком, на которого можно положиться.

Но тут добропорядочный совладелец торгового дома «Бигель и Поланецкий» заметил, к своему удивлению, что эта высшая, по его мнению, похвала не производит должного впечатления.

– Ах, мы надеемся, пан Завиловский подыщет себе в будущем занятие, больше отвечающее его дарованию и положению, – заметила пани Бронич довольно кисло.

Вообще обе стороны чувствовали себя во время визита несколько скованно. Правда, Линета Бигелям понравилась, но, уходя, он шепнул жене: «Как, однако, роскошно они живут!» Обитатели дачи показались ему людьми, чья жизнь – непрерывное празднество, то есть вечное безделье; но он не обладал способностью быстро выражать свои мысли.

– Да, да!.. Люди, безусловно, хорошие! – повторяла после их ухода тетушка Линете. – Да! Прекрасные люди! Я убеждена. Да! Конечно!..

Она словно чего-то не договаривала, но «Лианочка» поняла.

– Ведь они ему не родня, – сказала она.

Но спустя несколько дней откликнулась и родня. Завиловский, который так и не попросил у старика прощения, несмотря на тетушкины уговоры, получил письмо такого содержания:

«Господин Забияка! Напрасно ты на меня накинулся, я не хотел тебя обидеть, просто привык говорить, что думаю, – мне, старику, это простительно. А тебе, наверно, уже сказали, что я и в глаза не называю твою невесту иначе, как „венцианским бесенком“. Кто же тебя знал, что ты влюблен и собрался жениться. Я про то узнал только вчера и тут-то понял, почему ты чуть глаза мне не выцарапал; но поскольку забияки мне больше нравятся, чем размазни, а из-за подагры, будь она неладна, сам прийти не могу тебя поздравить, зайди к старику, который искренней к тебе расположен, чем ты думаешь».

Получив письмо. Завиловский в тот же день поспешил к старику. Тот принял его радушно, и, хотя без воркотни не обошлось, старый правдолюб на этот раз понравился Завиловскому, и в душе его отозвались родственные чувства.

– Благослови тебя бог и пресвятая богородица, – сказал ему старик. – Я мало тебя знаю, но наслышан, и рад был бы о других Завиловских услышать что-нибудь новое. – Он потряс его за руку и подмигнул дочери: – Гениальный, вот бестия, а? – Перед уходом же спросил гостя: – Ну, а Теодор? Препятствий тебе не чинил?

Завиловский рассмеялся; будучи художником, он обладал сильно развитым чувством юмора и комедию с Теодором тоже находил забавной.

– Нет. Напротив, он был на моей стороне.

Старик покачал головой.

– Да, он чертовски проницателен, этот Теодор! Будь с ним начеку, не то впросак попадешь!

Высокое положение в обществе и богатство старика Завиловского до того импонировали тетушке Бронич, что она на другой же день отправилась к нему с визитом, чуть ли не благодаря за оказанный родственнику любезный прием.

– Вы что, за бурбона меня считаете? – вспылил неожиданно старик. – Да, говорил, не отпираюсь: бедные родственники – наказание господне, а вы услышали и вообразили, будто я бедность ставлю им в вину. Плохо вы меня знаете! Обедневший шляхтич чаще всего пройдохой становится, вот что, да, примите это к сведению. Такой уж наш польский характер, вернее, наша бесхарактерность. А Игнаций, – это все в один голос говорят, – хоть и гол как сокол, а человек порядочный, за то его и люблю.

– Я тоже его полюбила! – ответствовала пани Бронич. – Так вы будете на обручении?

– C'est decide[56 - Непременно (фр.)]. На носилках велю себя отнести, но буду!..

Тетушка вернулась в приподнятом настроении и за завтраком, не удержавшись, стала строить планы, которые подсказывало ей разыгравшееся воображение.

– Старик Завиловский – миллионщик, – говорила она, – и очень стоит за свою родню. Я ничуть не удивлюсь, если он – ну не все состояние, но приличную его часть – завещает нашему Игнацию. Или одно из своих имений на Познанщине на него переписет. Да, ничуть не удивлюсь.

Ей никто не возражал: в жизни всякое бывает. И после завтрака она обняла Лианочку, шепнув ей:

– Ах ты, помещица моя!

А вечером повела разговор с Завиловским.

– Не удивляйтесь, что я во все мелочи вхожу, это так естественно, я ведь ваша мама. Так вот, хотелось бы мне знать, какое вы колечко выберете для Лианочки? Оригинальное, наверно, какое-нибудь? На помолвке столько народу будет. И потом, вы даже не знаете, как трудно этой девочке угодить. Она даже в мелочах такая взыскательная, у этой девочки есть вкус, о, еще какой!

– Я хочу, чтобы камни означали своим цветом веру, надежду и любовь. Ведь она – моя надежда, моя вера и любовь! – отвечал Завиловский.

– Прекрасная мысль! Вы уже говорили об этом с Лианочкой? Знаете что? Пусть в середине будет жемчужина в знак того, что она сама – жемчужина. Сейчас в моде всякие символы. Не помню, говорила я вам, что Свирский – художник тот, который давал ей уроки рисования, – называл ее «La perla»? Кажется, говорила. Вы с ним незнакомы? Вот и он тоже... Юзек сказал, он не сегодня завтра приезжает. Значит, так: сапфир, рубин, изумруд, а в середине жемчужина?.. Да, и Свирский тоже... А вы будете на похоронах?

– На чьих похоронах?

– Букацкого. Юзек сказал, Свирский его прах привезет.

– Я не был с ним знаком, ни разу его не видел.

– Тем лучше. Лианочка рада будет. Мне он, прости господи, никогда не был симпатичен, а Лианочка, та просто терпеть его не могла. Девочка довольна будет колечком, а мне большего и не надо.

А «девочка» довольна была жизнью, не только колечком. Роль невесты все больше нравилась ей. Настали чудесные ясные ночи, и они рядышком сидели на балконе, любуясь листвою в причудливом лунном свете, блуждая взором по усеянному звездными роями небосводу, по серебристой пороше Млечного Пути. Акация под балконом, как гигантская кадила, источала дурманящий аромат. Все желания засыпали, а души, убаюканные тишиной, словно сливались с бездонным ночным простором, сами лучась его чистым светом, трепетным лунным сиянием. Так, рука в руке, сидели они в забытьи, полусне, отрешась от себя и бессознательно ощущая лишь всеобщее счастье бытия, всеобъемлющее *sursum corda*[57 - верх блаженства (лат.)].

Очнувшись, возвращаясь к действительности, Завиловский понимал: такие мгновения, когда сердце преисполняется пантеистической любви ко всему и бьется в унисон с общим, единым гармоническим ладом всей вселенной, суть высшее счастье, которое, продлись оно, стало бы губительно в своей безмерности для одного человека. Но после смерти, с избавлением от телесной оболочки, мгновения эти сольются в вечность – так он, идеалист в душе, представлял себе потусторонний мир, где ничто не исчезает и все монады человеческие соединяются, связуются в общей гармонии.

Линета не могла воспарить так высоко, но тоже упивалась головокружительным полетом его чувств, тоже была счастлива. Женщина, даже не любя другого, любит его любовь и самое себя, свою роль в ней и оттого с радостью переступает порог супружества, благодарная мужчине, который открывает перед ней новые жизненные горизонты. А Линете столько твердили про ее любовь, что в конце концов убедили в этом.

И когда Завиловский спросил ее однажды, уверена ли она в себе, своей любви, она в ответ простерла к нему обе руки, словно от избытка чувств.

– О да! Теперь я не сомневаюсь, что люблю!

Он, как святыню, поднес ее тонкие пальчики к губам, глазам, ко лбу, но ее слова встревожили его.

– Почему же «теперь»? – спросил он. – А раньше ты разве когда-нибудь сомневалась?

Панна Каstellи подняла свои черные глаза и задумалась; потом улыбка тронула ее губы и на щеках обозначились ямочки.

– Нет, – сказала она, – но я страшная трусиха, мне боязно было. Вас любить и какого-нибудь обыкновенного человека – совсем не одно и то же, я ведь понимаю. Ох, с Коповским было бы все *simple comme bonjour!*[58 - проще простого! (фр.)] – вдруг рассмеялась она. – Но с вами!.. Я не умею этого сказать, но мне всегда казалось, это все равно что взбираться на высокую гору или на башню. Взберешься – и видно все далеко вокруг, но перед тем надо идти, идти, а я такая лентяйка!..

– Когда моя дорогая ленивица устанет, – выпрямился худой высокий Завиловский, – я возьму ее, как ребенка, на руки и понесу все выше, выше...

– А я, чтобы легче нести, прижмусь к вам вот так, – съежилась Линета, изображая из себя маленькую девочку.

Завиловский опустил перед ней на колени, целуя край ее платья.

Случалось, на безоблачное небо их счастья набегала тучка, но не по их вине. Молодому человеку чудилось иногда, будто и пани Бронич, и Анета неусыпно за ним наблюдают, словно проверяя, любит ли он и как. Отчасти он приписывал это женскому любопытству, отчасти тому интересу, какой всегда возбуждает у женщин любовь, но больше всего предпочел бы, чтобы его оставили в покое и не опекали. К чувству своему относился он, как к святыне, и не желал выставлять его на показ, а между тем за каждым его словом и жестом следили. Подозревал он также, что тетушка с Анетой устраивают за его спиной свои приватные обсуждения, вынося ему порицание или одобрение, и это его бесило: да разве происходящее с ним доступно их пониманию.

Раздражало его и то, что в Пшитулов пригласили и Коповского, который собирался туда наравне со всеми; но это было ему неприятно из-за Основского, которого он успел искренне полюбить. Предлогом для приглашения послужил неоконченный портрет. Но Завиловскому совершенно ясно было, что подстроено это Анетой, которая, как никто, умела склонять других поступать в угоду собственным желаниям. Иногда хотелось ему даже попросить Линету не кончать портрета, но он

знал: как художницу это ее огорчит. А кроме того, боялся, что заподозрят в ревности – да еще к такому хлыщу, как Копосик.

ГЛАВА XLVIII

Свирский на самом деле привез из Италии гроб с телом Букацкого и на другой день отправился к Поланецким. Но дома застал одну Марыню – Поланецкий уехал за город посмотреть продающуюся дачу. Марыня так изменилась, что Свирский с трудом ее узнал, но за время краткого знакомства в Риме успел полюбить и теперь расчувствовался, а приглядевшись, нашел Марыню трогательной по-своему, в ореоле будущего материнства, даже красивой – и, сравнивая ее с примитивами разных итальянских школ, стал, по своему обыкновению, вслух выражать свое восхищение. Марыня посмеялась оригинальности его вкуса, однако же немного ее ободрившей; приезде его она обрадовалась, во-первых, симпатизируя этой цельной, здоровой натуре, а во-вторых, зная, что он и в присутствии мужа станет ее хвалить и тем возвысит в его глазах.

Надеясь дождаться мужа, она долго его не отпускала, но Поланецкий вернулся лишь поздно вечером. Тем временем зашел Завиловский, который довольно часто стал навещать Марыню, ища, с кем бы поделиться своим безмерным счастьем. Вначале поэт и художник поглядывали друг на друга настороженно, как часто бывает при встрече знаменитостей, когда один опасается, что другой станет важничать, но чем непритязательней оба, тем быстрее сходятся. Так и на этот раз. Лед был окончательно сломан, едва Марыня сообщила, что Завиловский – жених панны Каstellи, хорошей знакомой Свирского.

– Как же, как же! – воскликнул тот. – Отлично ее знаю. Моя ученица. – И, сердечно пожав руку Завиловскому, прибавил: – Волосы у вашей будущей невесты – тициановские... Чуть высоковата, ну, да ведь и вы роста немало. А посадка головы – на редкость хороша! Вы обратили, конечно, внимание на ее движения – плавные, как у лебедя. Я так даже Лебедью ее прозвал.

– «La perla», да?

Свирский удивленно на него посмотрел.

– Да, есть такая картина Рафаэля, в Мадриде, в музее дель Прадо. Почему вы вспомнили о ней?

– Кажется, дамы наши что-то такое говорили, – пробормотал растерявшийся Завиловский.

– А, очень может быть! У меня в мастерской на виа Маргутта копия есть с этой картины, сделанная мной.

Завиловский подумал, что повторять сказанное тетушкой впредь надо поосторожнее, и стал вскоре прощаться, торопясь к невесте. Следом за ним ушел и Свирский, оставив Марыню адрес своей мастерской и попросив передать мужу зайти к нему поскорей по поводу похорон.

На другое же утро Поланецкий отправился к Свирскому. Мастерская его – нечто вроде застекленного павильона – лепилась к крыше высокого каменного дома,

наподобие ласточкиного гнезда, и взбираться туда приходилось по крутой лестнице, как на башню. Зато художник чувствовал себя там вольготно и даже не прикрывал двери – подымавшийся к нему Поланецкий слышал басовитый голос, распевавший песенку, которая сопровождалась глухими ударами по полу:

Тепло весна-красна несет,
Луг зеленеет, луг цветет,
И я пою и слез не лью:
Тебя я больше не люблю!
Гей-гу!

«Да, бас у него отменный, – подумал Поланецкий, приостанавливаясь и переведя дух, – но чем это он так стучит, черт его дерит?»

Преодолев еще несколько ступенек и пройдя коридорчик, он понял причину этого стука: за открытой дверью в обтягивающей атлетический торс сетчатой рубашке появился Свирский с чугунными гириями в руках.

– Кого я вижу! – вскричал Свирский, опуская гири на пол. – Извините, не одет, гимнастикой вот немного занимался. Вчера заходил к вам, да не застал. Привез я нашего бедного Букация! А хата-то готова для него?

– Гробница уже две недели ждет, – ответил Поланецкий, пожимая ему руку. – И крест поставлен. Рад вас приветствовать в Варшаве! Жена сказала мне, что гроб уже на Повонзках.

– Да, стоит пока в кладбищенской часовне. А завтра похороним.

– Хорошо. Сегодня же переговорю с ксендзами и уведомя знакомых. А что там Васковский подельывает?

– Собирался вам написать. Из Рима его прогнала жара, и он знает куда поехал? К младшим арийским братьям европейцев. Месяца два будет по этим местам путешествовать, так он сказал. Сам хочет убедиться, готовы ли они исполнить историческую миссию, которую он им предназначил. В Анкону поехал, Фиуме и так далее!..

– Бедный старикан! Боюсь, как бы его не постигло новое разочарование.

– Весьма возможно. Над ним и так уже смеются. Не знаю уж, способны ли арии воплотить в жизнь его идею, но сама она до того необычна, по-христиански благородна, что, ей-богу, только такой человек и мог до нее додуматься. С вашего позволения я оденусь. У вас тут жарко, почти как в Италии, гимнастикой лучше в одной рубашке заниматься.

– Лучше всего в такую жару вообще не заниматься, – отозвался Поланецкий и прибавил, глядя на его руки: – Вас за деньги можно показывать.

– А что, важные бицепсы? – сказал Свирский. – А дельтовидные мышцы? Посмотрите! Мускулатура – моя гордость. Букацкий говаривал, мол, бездарью меня обзывать всякий волен, зато никто не посмеет усомниться, что я одной рукой сто кило подыму и из десяти выстрелов десять раз попаду в цель.

– И чтоб никто такие мускулы не унаследовал!..

– Эхма! Что поделаешь! Боюсь бессердечных женщин, ей-богу, боюсь! Найдите мне вторую такую же, как ваша жена, и женюсь, не раздумывая ни минуты. Ну да ладно!.. Так, кого вам пожелать – сына или дочку?

– Дочку, дочку!.. Потом пускай идут сыновья, но первая пусть будет дочка.

– А когда ожидаете?

– Как будто в декабре.

– Ну и с богом. Жена ведь ваша здорова, так что опасаться нечего.

– А правда, она очень изменилась?

– Да, она иначе выглядит, но дай бог всякой так выглядеть! Какое лицо! Будто с картины Боттичелли! Честное слово! Помните его «Мадонну с младенцем и ангелами», на вилле Боргезе? Есть там среди ангелов одна головка, склоненная, в венке из лилий, так вот, у вашей жены такое же выражение, в точности. Вчера я просто умилился, до чего поразительное сходство. – Он зашел за ширму одеться. – Вот вы спрашиваете, почему я не женюсь. Знаете почему? Все напоминаю себе (как Букацкий говорил), что у меня мускулы крепкие, язык острый, а сердце мягкое. Да, мягкое до того, что имей я такую жену, как пани Марыня, и будь она в таком положении, то, ей-богу, не знаю, что бы и делал. На коленях ползал перед ней или челом бил – или в красный угол поставил, как икону, и молился бы на нее, видит бог, не знаю!

– Э, – засмеялся Поланецкий, – это так кажется только... до свадьбы, а потом избыток чувств умеряется привычкой.

– Не знаю. Может, я только такой дурак.

– Знаете что? Вот родит Марыня и пускай вам подыщет жену себе под стать.

– Идет! – крикнул Свирский из-за ширмы. – Verbum![59 - Даю согласие! (лат.)] Вверяюсь пани Марыне и, как она скажет: «Женись», – женюсь с закрытыми глазами. – И, выйдя еще без сюртука к Поланецкому, повторил: – Идет! Кроме шуток!.. Лишь бы она согласилась.

– Женщины любят сватать, – отвечал Поланецкий. – Видели бы вы, на какие уловки пускалась Основская, чтобы панну Кастелли выдать за нашего Завиловского! И Марыня моя тоже взялась помогать, даже удерживать ее пришлось. Дай им только волю!

– Я вчера с ним познакомился у вас. Очень приятный молодой человек. Печать таланта на лице, с первого взгляда видно. А профиль какой! Линия лба мягкая, как у женщины, и волевой подбородок. Берцовые кости длинны немного и коленные суставы, пожалуй, тяжеловаты, но голова – великолепная!

– Это наш общий любимец в конторе, и стоит того: такой открытый, честный нрав.

– Ах, вот как! Значит, он у вас служит? А я-то думал, он из тех Завиловских, богачей, – мне доводилось встречать за границей одного старика, большого оригинала.

– Это родственник его, – сказал Поланецкий. – Наш Завиловский беден, как церковная мышь.

– Как же, как же! Старик Завиловский с дочкой, единственной наследницей миллионного состояния! – засмеялся Свирский. – Колоритная фигура! Во Флоренции и в Риме с полдюжины разорившихся итальянских графов вокруг барышни увивалось, а старик: «Не отдам дочь за иностранца, никудышный, говорит, народишко!» Вообразите, он нас, поляков, ставит выше всех, а самих Завиловских, наверно, и того выше. Однажды он так выразился: «Толкуйте себе что угодно, но я немало по свету поездил, сапоги мне и немцы, и французы, и итальянцы чистили, а я вот никому не чистил – и не буду!»

– Хорош гусь! – рассмеялся Поланецкий. – В его представлении, значит, чистка сапог – вопрос не социальный, а национальный.

– Ну да. Считает, что господь бог другие нации создал, чтобы сапоги чистить шляхтичу из-под Кутна, если тому вздумается за границу поехать. А как старик насчет женитьбы молодого родственника – не морщится? Броничи для него всегда, насколько я знаю, мелкой сошкой были.

– Может, и морщится, да они недавно с нашим Завиловским познакомились, а до этого даже не встречались никогда; наш гордец не хотел перед богатым родственником заискивать.

– Это в его пользу говорит. Только бы его выбор удачным оказался...

– А что? Вы знакомы ведь с панной Кастелли. Что она из себя представляет?

– Знаком-то знаком, только вот в барышнях этих не очень разбираюсь. Разбирайся я, не ходил бы до сорока в холостяках... Все они милые, все умеют нравиться. Но поглядишь, во что иные из этих очаровательных созданий замужем превращаются, – и ни одной больше не веришь. Но я и сам не рад: не будь у меня охоты жениться – плюнул бы, и вся недолга, а то ведь есть охота! Ну, что я могу сказать? Что все они корсет носят, мне известно, а вот есть ли сердце под ним, черт их знает! А в панну Кастелли я еще и влюблен был; я ведь во всех влюблялся. Но в нее, пожалуй, больше, чем в остальных.

– Ну и что? Почему не женились на ней?

– Женишься, черта с два! У меня тогда ни денег, ни имени не было, я еще в люди не выбился, а таких больше всего и чураются те, которые сами недавно выбились. Ну, я и побоялся, что Броничи эти кислую мину скорчат, да и в панне Линете не был уверен и отступился.

– Но Завиловский тоже беден.

– Зато знаменит и к тому же родственником доводится старику, а это кое-что значит. Кто у нас старика Завиловского не знает? Что же до меня, то, откровенно говоря, к Броничам у меня до того душа не лежала, что я решил махнуть рукой на это дело.

– Так вы и покойного Бронича знали? Не думайте, что я из пустого любопытства – я из-за нашего Игнасики.

– Господи, кого я только не знал! Я и госпожу Каstellи знал, Линетину матушку. Я ведь двадцать четыре года в Италии провел, и на самом деле мне не сорок – это я просто округляю, – а все сорок пять. Был и с самим Каstellи знаком. Кстати, неплохой был человек. Я их всех знал. Что вам еще про них сказать? Госпожа Каstellи экзальтированная была особа и отличалась тем, что стриглась коротко, одевалась всегда неряшливо и у нее был нервный тик. Сестру ее, пани Бронич, вы и сами знаете.

– А Бронич что представлял из себя?

– Теодор? Он вдвойне был дураком, потому что вдобавок не считал себя таковым. Впрочем, молчу: *de mortuis nihil, nisi bene* [б0 – о мертвых ничего, либо хорошо (лат.)]. В отличие от своей жены был он толстяк, чуть не сто пятьдесят кило весил, толстяк с рыбьими глазами. Вообще люди они суетные. Ах, да что говорить! Когда поживешь с мое на свете да потолкуешь с людьми, как я во время сеансов, то и убеждаешься: есть настоящий свет, с подлинными традициями, и разная шушера, которая денег нажила и только корчит из себя аристократию. Так вот, покойный Бронич с супругой принадлежали, по-моему, к этой малопочтенной категории, и я старался держаться от них подальше. Будь жив Букацкий, он бы не отказал себе в удовольствии пройтись на их счет. Он ведь прознал про мою любовь к панне Каstellи и уж поиздевался надо мной всласть, бог ему простит. Вот увидим теперь, прав он был или нет и что она такое.

– А мне как раз хотелось разузнать о ней поподробней, – сказал Поланецкий.

– Все они добрые, хорошие, но не доверяю я их доброте. Разве что жена ваша поручится за которую-нибудь.

И они переменяли тему, заговорив о Букацком, вернее, о завтрашнем погребении, к которому Поланецкий все заранее приготовил. Оставалось на определенный час уговориться с ксендзами и оповестить знакомых, что он и сделал; выйдя от Свирского.

Церковный обряд был уже совершен в свое время в Риме, и Поланецкий пригласил священников помолиться с присутствующими за упокой души. Сделал он это не только по долгу верующего, но также из любви и благодарности Букацкому, который завещал ему значительную часть своего состояния.

Кроме Поланецких, на кладбище приехали супруги Машко, Основские, Бигели, Свирский, Плавицкий и пани Эмилия – чтобы заодно побывать на Литкиной могиле, День выдался по-летнему солнечный и жаркий. И кладбище выглядело совсем иначе, не так, как раньше, когда здесь бывал Поланецкий. Светлая и темная листва разросшихся деревьев густой и плотной зеленой завесой осеняла белые и серые могильные памятники. Местами было прохладно и сумрачно, как в лесу. Пробиваясь кое-где сквозь листья акаций, тополей, грабов, сирени и лип, солнечные лучи трепещущей сеткой ложились на надгробные плиты; иные затаившиеся в тени кресты, казалось, дремали над могилами. Вверху, на ветках деревьев, громоздились птицы; со всех сторон несся их неумолчный, но негромкий щебет, словно приглушенный, чтобы не потревожить усопших.

Свирский, Поланецкий, Машко и Основский подняли узкий гроб с останками Букацкого и понесли к месту погребения. Ксендзы в белых стихарях, которые то ярко светлели на солнце, то меркли в тени, шли впереди, а за гробом – молодые женщины в

трауре; процессия подвигалась по тенистым аллеям чинно и спокойно, без обычных на похоронах рыданий и слез, лишь торжественная скорбь лежала на лицах, как тень от деревьев на надгробьях. Все овеяно было некой поэтической меланхолией – впечатлительная душа Букацкого сумела бы оценить прелесть этой печальной картины.

Так дошли до гробницы, имевшей форму возвышавшегося над землей саркофага, – Букацкий еще при жизни говорил Свирскому, что не хотел бы гнить в земле. Открыв железные дверцы, гроб легко вдвинули внутрь саркофага; глаза женщин обратились к небу, губы зашептали молитву, и Букацкий вскоре остался наедине с Вездесущим посреди кладбищенского безлюдья, птичьего щебета и шелеста деревьев.

Пани Эмилия и Поланецкие пошли на Литкину могилу, остальные, по желанию Анеты, поджидали их в экипажах у костела.

На могиле Поланецкий убедился, в какую даль отошла эта некогда горячо любимая им девочка, воспоминания о которой побледнели, рассеялись как дым. Раньше, бывая на кладбище, он со всей силой неизбывного горя бунтовал против ее смерти, не мог смириться с ней. А сегодня показалось чуть ли не естественным, что она покоится здесь, в тени деревьев, и забрезжило даже смутное ощущение неизбежности такого исхода; она уже перестала быть для него живым существом, сделавшись достоянием памяти, вздохом, отсветом, отзвуком давней музыки.

И он, быть может, упрекнул бы себя в бесчувственности, не будь и лицо пани Эмилии, которая, помолясь, встала с колен, просветленно-спокойным, – безмерная нежность была в ее глазах, но не слезы. Не укрылось от него и то, как плохо она выглядела, с каким трудом поднялась и пошла, опираясь на палку. Это было начало тяжелой болезни позвоночника, которая приковала ее на несколько лет к постели и в конце концов свела в могилу.

Перед кладбищенскими воротами поджидали Основские; Анета пригласила их завтра вечером на помолвку Завиловского, прибавив: «А потом милости просим в Пшитулов».

Свирский с пани Эмилией сел в экипаж к Поланецким.

– Как странно! Сегодня похороны, завтра – обручение! – помолчав и как бы собираясь с мыслями, сказал он. – Смерть косит, любовь снова засеивает – вот она, жизнь!

ГЛАВА XLIX

Завиловский выразил пожелание, чтобы помолвка состоялась не вечером, при всех, а до съезда гостей, и тетушка Бронич не стала возражать, тем более что его поддержала Линета, которой хотелось предстать перед собравшимися уже невестой. Так и сделали, и прибывающих они встречали, уже немного освоившись со своим новым положением. Линета сияла от счастья. Она упивалась своей ролью, которая, в свою очередь, сообщала ей еще большее очарование. Что-то легкое, воздушное появилось в ее стройной фигуре, полуопущенные обычно веки, придававшие сонное выражение ее лицу, уже не скрывали глаз; очи блистали, губки улыбались, румянец играл на щеках. Она была так хороша, что Свирский, увидев ее, не мог удержаться от вздоха сожаления по утраченному счастью и душевное равновесие обрел, лишь вспомнив любимую песенку:

И я пою и слез не лью:
Тебя я больше не люблю!
Гей-гу!

Впрочем, всех поразила красота ее. Даже старик Завиловский, которого внесли в гостиную на кресле, задержал ее руки в своих и долго смотрел на нее с восхищением.

– Ба! – сказал он дочери. – Да этот «венцианский бесенок» кому хочешь голову вскружит, а поэту и подавно: у них, говорят, ветер в голове. – Потом поискал глазами Завиловского. – Ну что, не свернешь мне шею сегодня за то, что я «бесенком» ее назвал?

Завиловский рассмеялся и, склонясь, поцеловал его в плечо.

– Нет, сегодня я никому не смог бы шею свернуть.

– Ну, то-то же, – сказал старик, тронутый, видимо, этим знаком почтения. – Благослови вас бог и пресвятая богородица! Говорю: «богородица», потому что она скорая заступница!..

С этими словами он пошарил на кресле у себя за спиной, извлек большой футляр и протянул его Линете.

– А это тебе от семьи Завиловских, – сказал он. – Носи себе с богом, да подольше!

Линета взяла футляр у старика из рук и, изогнув свой прелестный стан, хотела его поцеловать в плечо. Но тот, обняв ее за шею, подозвал жениха:

– Иди-ка и ты сюда! – И, поцеловав обоих в лоб, произнес с неподдельным волнением: – Любите друг друга и живите в мире и согласии!

В футляре, который открыла Линета, лежало на голубом бархате кольцо изумительной красоты. Старик повторил еще раз с ударением: «От семьи Завиловских», как бы давая понять, что даже за неимущего Завиловского выйти – это не мезальянс. Но слова его остались без внимания: головы молодых дам – Основской, Машко, Бигель, Линеты, даже Марыни – живым венком склонились над футляром; затаив дыхание, любовались они переливчатыми камнями и лишь немного погодя, обретя дар речи, стали выражать вслух свое восхищение.

– Не в бриллиантах дело! – воскликнула тетушка Бронич, чуть не на шею бросаясь старику. – Щедрость, щедрость какая, какая доброта!

– Да полноте, полноте!.. – твердил, отмахиваясь, старик.

Общество разбилось на группы. Жених с невестой, целиком занятые друг другом, никого кругом не замечали. Основский и Свирский подсели к Марыне и пани Бигель; Коповский развлекал беседой хозяйку дома, Поланецкий – Терезу Машко. Что касается самого Машко, то он сел рядом с престарелым крезом с намерением поближе познакомиться и, загородив его креслом так, что никто к нему не мог подступить, завел речь о былых и нынешних временах, смекнув, что на эту тему старик разговаривает всего охотней.

Однако он был достаточно умен и не поддакивал ему во всем. Да и старик не хулил все новое подряд, напротив, многому давился, признавал за благо, однако не мог принять целиком. Машко же толковал ему, что все на свете меняется – и шляхта среди других сословий тоже не исключение.

– Мне, уважаемый пан Завиловский, – говорил он, – велит держаться земли врожденный инстинкт; кто сам от земли, того она не отпускает. Но, хозяйничая в своем имении, я занимаюсь вот и адвокатской практикой, занимаюсь из соображений принципиальных, потому что и в этой сфере сословие наше должно быть представлено. Иначе мы всецело окажемся во власти людей из иного слоя, в отношении нас подчас предубежденных. И помещики наши по большей части поняли это, надо отдать им справедливость, и дела свои поручают не им, а мне; некоторые даже долгом своим почитают.

– На этом поприще и раньше наши подвизались, а вот в других профессиях, ей-богу, не знаю! Слышать-то я слышал, будто надо нам за все такое приниматься, только забываем мы, что за дело браться и успеха добиваться – вещи разные. Назовите мне хоть одного шляхтича, который преуспел.

– Да не надо далеко за примерами ходить: возьмите Поланецкого. Он вот целое состояние нажил торгово-посредническими операциями, и все в наличности: деньги в любой момент на стол может выложить. И тоже моими советами пользовался, – сам может вам подтвердить; но капитал торговлей нажил, хлебом главным образом.

– Позвольте, позвольте! – сделал Завиловский большие глаза, уставясь на Поланецкого. – В самом деле состояние нажил? Позвольте... Он из тех Поланецких? Старая дворянская семья.

– А вот плотный такой, приземистый брюнет, художник Свирский, – он тоже.

– Того я знаю: встречался за границей. И Свирские не свиней пасли... так он скорее нарисовать их сумеет, деньги, чем сделать.

– Еще как делает! – сказал Машко доверительно. – Иное самое богатое имение в Подолии столько дохода не принесет, сколько его акварели.

– Как вы сказали?

– Ну, картины, писанные водяными красками...

– Вот как! Даже не масляными!.. Так и он тоже?.. Ха! Может, и мой разбогатеет на стихах?.. Ну что же, пускай, пускай пишет! Попрекать его этим не буду... Пан Зигмунт вон знатного рода был, а тоже стишки пописывал, и неплохие. И пан Адам тоже шляхтич, а прославился – и побольше того, третьего, фантазера-то, который демократа из себя строил... Забыл, как звали [61 – Имеются в виду великие польские поэты-романтики: Зигмунт Красинский (1812 – 1859), Адам Мицкевич (1798 – 1855) и Юлиуш Словацкий (1809 – 1849)]. Ну, да бог с ним! Так, говорите, меняются времена? Ну что ж... Пусть меняются, лишь бы, упаси бог, не к худшему.

– Главное, – сказал Машко, – способности в землю не зарывать, а деньги по кубышкам не прятать, обществу от этого прямой вред.

– Позвольте! Как вас прикажете понимать? По-вашему, я не вправе собственные

деньги держать под замком, а должен все ящики пораскрывать: любой вор руку запускать?

– Не в том дело, – улыбнулся Машко с видом превосходства.

И, облокотясь на ручку кресла, стал излагать Завиловскому начала политической экономии, а старый шляхтич слушал, кивая и вставляя время от времени: «Скажите на милость! Новшества какие; прекрасно я без них обхожусь!»

Тетушка Бронич, поглядывая с умилением на жениха с невестой, рассказывала Плавицкому (который, в свою очередь, поглядывал умиленно на Анету Основскую) о молодых своих годах, о Теодоре – и каким горем для них было преждевременное рождение единственного их отпрыска. Плавицкий слушал рассеянно, а она так разволновалась, что голос начал дрожать.

– Теперь всю любовь я на Линеточку перенесла, на нее возложила все свои надежды и чаяния. Вы поймете меня, у вас тоже дочь. А Лоло... подумайте, каким благословением был бы для нас этот ребенок, если он даже после, с того света нам помогал.

– Очень жаль! Очень жаль! – вставил Плавицкий.

– О да! – продолжала пани Бронич. – Бывало, во время жатвы муж прибежит, воскликнет: «Lolo monte!»[62 - Лоло явился мне! (фр.)] – и всех работников в поле вышлет. У соседней пшеница в скирдах проросла, у нас – никогда. О нет! И тем ужасней была несчастье, что уже не поправить! Муж мой в годах был – и остался мне другом, могу сказать, ближайшим, но только другом.

– Вот тут я его отказываюсь понимать, – сказал Плавицкий. – Хе-хе-хе!.. Решительно отказываюсь!

И, приоткрыв рот, покосился игриво на пани Бронич.

– Какие вы все, мужчины, несносные, – ударила она его слегка веером по руке. – Ничего святого для вас нет!

– А кто эта бледная дама, точно с портрета Перуджино? – спрашивал тем временем Свирский у Марыни. – С которой беседует ваш муж?

– Это знакомая наша, пани Машко. Вас ей разве не представили?

– Нет, нет, как же! Вчера на похоровах познакомили, но фамилию забыл. Знаю только, что она жена того господина, который со стариком Завиловским разговаривает. Настоящий Ваннуччи!.. Та же квинтессенция отрешенности – и в желтоватых тонах. А черты правильные. – И прибавил, продолжая ее рассматривать: – Лицо неподвижное, но фигура чудо как хороша. Кажется худощавой, но взгляните на линию плеч и спины!

Но Марыню мало интересовали спина и плечи пани Машко, она с беспокойством следила за мужем. Поланецкий как раз наклонился к Терезе и что-то ей говорил: что – Марыня, сидевшая слишком далеко, расслышать не могла. Но ей показалось, что смотрит он в ее неподвижное лицо и тусклые глаза таким же взглядом, каким иногда смотрел на нее во время свадебного путешествия. Ах, до чего знакомый взгляд! И сердце у нее сжалось, словно в предчувствии несчастья. Но она тут же

сказала себе: «Быть не может! Стах на это неспособен!» Однако не могла удержаться, чтобы не смотреть в их сторону. Поланецкий говорил о чем-то с жаром, а та слушала с обычным своим безразличием. «И что мне только в голову лезет? – подумала Марыня. – Просто оживлен, как всегда, и ничего больше». Окончательно рассеял ее сомнения Свирский, не то заметив ее беспокойство и пристальное внимание, не то и в самом деле не находя ничего особенного в выражении лица Поланецкого.

– Она все молчит, приходится вашему мужу разговор поддерживать; похоже, ему это надоело и раздражает.

– О, совершенно верно! – так и просияла Марыня. – Стаху, конечно, немножко наскучило, а он всегда раздражается, когда ему надоест.

Хорошее настроение вернулось к ней. И она все бы отдала – даже такое бриллиантовое кольцо, какое подарил Линете Завиловский, – подойди к ней Стах сейчас, чтобы обменяться с ним ласковым словом. И желание ее исполнилось: к Терезе Машко подошел Основский, и Поланецкий, встав и перемолвясь мимоходом несколькими словами с Анетой, которая беседовала с Коповским, подсел к жене.

– Ты хочешь мне что-то сказать? – спросил он.

– Как странно! – ответила Марыня. – Я и правда тебя звала, только мысленно, а ты будто услышал и подошел.

– Вот какой я хороший муж! – улыбнулся он. – Но на самом-то деле все гораздо проще: я заметил, что ты смотришь на меня, испугался, не плохо ли тебе, и подошел.

– Я на тебя смотрела, потому что соскучилась.

– И я тоже соскучился. Как ты себя чувствуешь? Скажи-ка правду: может, хочется домой?

– Нет, Стах, мне очень хорошо, честное слово! Мы говорили с паном Свирским о Терезе, и я приятно время провела.

– Злословили небось о ней? У господина художника злой язык, он сам признается.

– Напротив, я ее фигурой восхищался, – возразил Свирский. – Для злословия причин пока нет.

– Анета утверждает, что фигура у нее плохая, – заметил Поланецкий, – но это доказывает лишь противное. – И, наклонясь к жене, вполголоса сказал: – Знаешь, что я слышал, проходя мимо Анеты?

– Забавное что-нибудь?

– Как для кого. Я слышал, Коповский называет Анету на «ты».

– Стах!

– Честное слово! Он сказал: «Ты всегда так!»

– Может, передавал чьи-нибудь слова.

– Не знаю. Может, да, а может, нет. Они, кажется, когда-то были влюблены друг в друга.

– Фу, как тебе не стыдно!

– Стыдно должно быть не мне, а им, вернее, Анете.

Марыня знала, конечно, о супружеской неверности, но полагала это скорее выдумкой французских романистов, не подозревая, что с ней и в обыденной жизни можно столкнуться на каждом шагу, и устремила на Анету взор, полный удивления и любопытства, – так добропорядочные женщины взирают на своих товарок, которые сбились с пути. Но она была слишком добродетельна, чтобы сразу поверить в чужую порочность; просто в голове не уместилось, будто между ними что-то есть, тем более с этим круглым дураком Коповским... Однако ей бросилось в глаза, что разговаривают они очень оживленно.

А они, сидя между огромной фарфоровой вазой и фортепиано, не то что разговаривали, но уже с четверть часа самым форменным образом ссорились между собой.

– Боюсь, не услышал ли он нас. Ты ведешь себя неосторожно, – с беспокойством сказала Анета, когда мимо прошел Поланецкий.

– Ну да, вечно я виноват. А кто тебе все время твердит: осторожней!

Взаимные упреки были равно справедливы: оба на сей раз стоили друг друга. Он вел себя неосмотрительно по глупости, она – из самоуверенности. Для двоих из присутствующих отношения их уже не были тайной, другие легко могли догадаться; только Основский в своем любовном самоослеплении ничего не замечал. Но на это и рассчитывала его жена.

Коповский посмотрел на всякий случай на Поланецкого.

– Он ничего не слышал, – сказал он и вернулся к прерванному разговору, но понизив голос и перейдя на французский. – Если б любила, то относилась бы ко мне иначе, а раз не любишь, не все ли тебе равно?

Сказал и посмотрел на нее своими красивыми, ничего не выражающими глазами.

– Люблю или не люблю, – отвечала она с раздражением, – но на Линетке жениться не позволю, ни за что, слышишь? На ком угодно, только не на ней! Люби ты меня взаправду, то не помышлял бы о женитьбе.

– Я и не помышлял бы, будь ты другая со мной.

– Patientez! [63 - Потерпите! (фр.)]

– До самой смерти? Если я женюсь, мы беспрепятственно сможем видеться.

– Ни за что! Слышишь?

– Но почему?

– Тебе все равно этого не понять. Впрочем, к чему весь этот разговор, она же невеста другого.

– Ты сама велела мне ухаживать за ней, а теперь меня попрекаешь. У меня сначала и в мыслях ничего такого не было, а потом она мне даже понравилась, не отрицаю, она всем нравится, и хорошая партия притом.

Основская нервно комкала носовой платок.

– И ты смеешь еще говорить мне, что она тебе нравится? Отвечай прямо: она или я?

– Ты, но на тебе я жениться не могу, а на ней мог бы: я прекрасно видел, что нравлюсь ей.

– Знал бы ты женщин лучше, так благодарен мне был бы, что я этого брака не допустила. Ты не знаешь ее. Она – сухарь настоящий и с плохим характером. Разве ты не понимаешь, что я для отвода глаз велела тебе ухаживать, чтобы посторонние чего-нибудь не заподозрили и Юзек? Иначе как бы ты свои ежедневные визиты объяснил?

– Все мне было бы понятно, будь ты другая со мной.

– Не перебивай. Я же нарочно так подстроила, чтобы портрет твой остался незаконченным и ты мог в Пшитулов приехать. У нас Стефания Ратковская будет гостить, дальняя родственница Юзeka. Понял? Ты притворись, будто она тебе нравится, – Юзeka мне ничего не стоит убедить. А ты сможешь благодаря этому остаться. Стефании я уже написала. Она славная девушка, хотя и некрасивая.

– Опять притворяться – и без всякой даже награды!

– Ну, так вообще не приезжай!

– Анеточка!

– Имей же терпение! Вот не могу долго сердиться на тебя. Ну, ступай. Иди с пани Машко поговори.

Основская осталась одна. Во взгляде, которым она проводила Коповского, сквозило раздражение и вместе с тем – нежность. В белом галстуке; оттенявшем его смуглое лицо, он был так бесподобно красив, что она не могла им вдоволь налюбоваться. И хотя Линета была уже невестой другого, ей невыносима была мысль, что эта ее každодневная соперница могла стать пусть даже не женой его, но любовницей. Она не лгала, говоря Коповскому, что смирилась бы, женись он на ком угодно, только не на Линете. Тут затрагивалось не только ее самолюбие – она не на шутку была увлечена этим глупцом с наружностью Эндимиона. И ее нервы такого удара попросту не выдержали бы. Под ее равнодушием к красоте, которое сама она почитала за некую высокую потребность своей эллинской природы, по сути, скрывались низменные инстинкты, заменявшие ей совесть и нравственные устои. И хотя красота Коповского действовала на ее пылкое воображение неотразимо, внутренне она оставалась холодна как рыба, и соблазняло ее, по интуитивной догадке Завиловского, не столько грехопадение, сколько игра в него. Но вместе с тем, сказав себе: «Или я, или никто!», – она дошла бы и до последнего, лишь бы помешать браку Коповского и Линеты, тем более приметив, что та, несмотря на шуточки, язвительные словечки и

пренебрежение, тоже пленилась его редкостной красотой и насмешки ее – суть замаскированная досада, попытка скрыть то же влечение, те же чувства, какие Анета сама к нему испытывала. И безотчетно, в глубине души презирала за это Линету.

Она задалась целью во что бы то ни стало устранить соперницу, и благодаря Завиловскому ей это вполне удалось. Что Линета уже из тщеславия не устоит перед обаянием громкого имени, поклонением известного поэта, было ей наперед известно. Сохраняя таким способом Коповского для себя, она устраивала себе заодно великолепное развлечение, на которые столь падки натуры бесстрастные, жаждущие сильных впечатлений. А надоест со временем жена знаменитому поэту, начнет себе искать на стороне Беатриче, глядь, и она подвернется... Кому дано прославить и увековечить имя возлюбленной в памяти потомства, редко встречает отказ. Планов, столь далеко идущих, Анета пока со всей определенностью не строила, но чувствовала, что тогда ее торжество было бы полным.

Но и сейчас она могла уже торжествовать, ибо все шло по ее желанию. Только Коповский ее сердил. Счасть его уже своей собственностью – и заметить вдруг, что как ни глуп он, а выгоду свою понимает и недоволен ее вмешательством. Это настолько выводило Анету из себя, что она даже подумывала ему отомстить. Но пока утешалась тем, что Линета всерьез как будто влюблена в своего жениха, к вящему недоумению и досаде Коповского.

Мысли эти молниеносно промелькнули у нее за краткое время, пока она сидела одна. Размышления ее прервал ужин. За ужином Основский, который обожал жену и хотел, чтобы и другие ею восхищались не меньше, имел несчастье повторить казавшееся ему очень уместным пожелание, высказанное по поводу супружества Завиловскому: он поднял первый тост за то, чтобы им с Линетой так хорошо жилось, как ему с Анетой. При этих словах Завиловский и Поланецкий невольно посмотрели на прелестную хозяйку, а та метнула быстрый взгляд на Поланецкого, и сомнения обоих вмиг рассеялись: она убедилась, что тот слышал их разговор, а он – что Коповский сам ее назвал на «ты», а не повторял чьи-то слова. Анета догадалась также, что он передал это Марыне; она видела, как, подойдя к жене, он что-то сказал ей, и они поглядели на нее с любопытством. Злость и желание отомстить целиком ею овладели, и она еле слушала остальные тосты, которые произносил муж, Завиловский, Плавицкий, а под конец Бигель.

После ужина ей вдруг вздумалось устроить танцы, и разгоряченный вином Юзек, для которого ее желание было законом, поддержал ее с восторгом. Без Марыни, которая танцевать не могла, насчитывалось пять молодых дам: Линета, Основская, Бигель, Машко и панна Завиловская. Эта последняя объявила, правда, что тоже не танцует, но, поскольку молва гласила: не только не танцует, но и не пьет, не ест и почти не разговаривает, отказ ее не расстроил общего веселья. Основский, бывший в превосходном расположении духа, при известии о танцах заметил: очень, мол, кстати; «Игнаций небось до сих пор не осмелился обнять Линету».

Но его добрые пожелания остались втуне, ибо Завиловский никогда в жизни не танцевал, ни малейшего понятия не имея о том, как это делается, чем пани Бронич с Линетой были не только удивлены, но даже несколько шокированы. Зато Коповский владел этим искусством в совершенстве и пригласил Линету на первый вальс как виновницу торжества. Они были красивой парой, и все взоры невольно обратились на них. Завиловский вынужден был наблюдать, как ее золотистая головка склоняется к нему на плечо, как грудь ее почти касается груди Коповского и они согласно кружатся под музыку Бигеля, сливаясь в одно гармоническое целое. И, видя это, он

молча злился на себя, понимая, что его неумение будет сблизать Линету с другими и разъединять с ним. Вдобавок все вокруг наперебой расточали похвалы танцующей паре.

– Вот красавец! – сказал сидевший рядом Свирский. – Если б Магомет создал гурий и в мужском обличье, он вполне бы мог ублажать дам в раю.

А они еще долго вальсировали; и была упоительная, завораживающая истома в их движениях и в самой музыке, что еще больше раздражало Завиловского, которому пришло на память циничное, но справедливое стихотворение Байрона о вальсе. Наконец он сказал про себя в сердцах: «Когда же этот осел ее отпустит!» Тревожился он и что она устанет.

Наконец «осел» отпустил ее на другом конце гостиной, пригласив потанцевать Анету Основскую. А Линета тотчас подбежала к жениху.

– Хорошо танцует, – сказала она, – но покрасоваться любит, больше ему ведь нечем похвастаться. Слишком долго меня не отпускал. Даже запыхалась, сердце так и колотится. Мне бы хотелось, чтобы вы приложили руку и услышали, как оно бьется... Но это считается неприличным, вот странно! Ведь я теперь вам принадлежу...

– Мне!.. – откликнулся Завиловский, протягивая к ней руку. – Линеточка, не говори мне больше «вы».

– Тебе принадлежу... – прошептала она.

И не отняла у него руки, только опустила ее вниз, вдоль платья, чтобы никто не видел.

– Я тебя к нему ревновал, – сказал Завиловский, страстно сжимая ее пальцы.

– Хочешь, чтобы я больше сегодня не танцевала? Хорошо, посижу с тобой... хотя люблю танцевать...

– Прелесть моя!..

– Глупая я, люблю повеселиться, но постараюсь быть тебя достойной. Люблю вот очень музыку... и вальсы, даже польки. Так странно она на меня действует... Как хорошо играет этот Бигель!.. Знаю, есть вещи поважнее вальсов. Подержи платок и отпусти на минутку мою руку. Да, она – твоя, но мне надо поправить волосы. Потанцевать иногда – в этом ничего дурного нет, правда ведь? Но если ты против, не буду, я девочка послушная... По глазам научусь твои желания отгадывать и буду как вода, в которой тучи отражаются и ясное небо. Мне так хорошо с тобой!.. Посмотри, как замечательно они танцуют!

Завиловскому не хватало слов, он мог разве что на колена встать, чтобы передать свои чувства. А она указывала ему на Поланецкого, танцевавшего с Терезой Машко, искренне ими восхищаясь.

– Да, он лучше Коповского танцует, – твердила она с блестящими глазами. – А она, она какая грациозная! Ой, как мне хочется с ним хоть разок потанцевать... если ты позволишь.

И Завиловский, у которого не было поводов ревновать к Поланецкому, отвечал:

– Да танцуй сколько хочешь, сокровище мое! Я сам его к тебе приведу.

– Ах, как они замечательно танцуют, как замечательно! И этот вальс, как сладко от него сердце замирает... Просто плывут, а не танцуют.

То же впечатление было у Марыни, следившей, впрочем, за танцующей парой с чувством еще более неприятным, чем минутой раньше Завиловский: ей снова показалось, что муж смотрит на свою партнершу, как в тот раз, когда Свирский предположил, будто он скучает или раздражен. Но уж теперь-то ничего такого нельзя было предположить. Когда они проносились мимо, она видела, как крепко его рука обнимает ее стан, как овеивает дыхание ее шею и раздуваются ноздри, а взгляд прикован к ее обнаженным плечам. Это могло ускользнуть от постороннего взгляда, но не от Марыни, которая умела читать по его лицу, как по книге. И свет ламп померк в ее глазах. Она поняла, какая это разница: не быть счастливой – и быть несчастной. Длилось это лишь миг, краткий, как такт вальса, как пауза между ударами сердца; но за этот миг она успела почувствовать, сколь все неверно и непрочно и что сама любовь может обернуться в будущем горьким, болезненным разочарованием. И ей стало страшно. На минуту как бы отдернулась завеса, открыв перед нею всю низость и подлость человеческую, неприглядную изнанку жизни. Ничего еще не произошло, абсолютно ничего, но Марыню охватило предчувствие, что может настать время, когда доверие ее к мужу развеется как дым.

Она попробовала отогнать подозрения. Стала себя убеждать, что он под обаянием музыки, а не партнерши. Не хотела верить собственным глазам. Стыд охватил за Стаха, ее Стаха, которым она всегда так гордилась, – и желание подавить всякое сомнение: ведь дело шло о вещах огромной важности, а такой вот пустяк, провинность, собственно, им еще не совершенная, может роковым образом сказаться на всей их дальнейшей жизни.

– Ах, Марыня! Муж твой и Тереза будто отроду вальсировали вместе. Вот великолепная пара! – раздался подле нее иронический голосок Анеты.

– Да, – выдавила Марыня через силу.

– Словно друг для друга созданы. На твоём месте я бы приревновала... – щебетала Основская. – А ты? Не ревнуешь, нет? А я вот ревнива – и не скрываю этого. Во всяком случае, была. Я знаю, Юзек меня любит, но даже любящие мужья такие фокусы выкидывают... И легко к этому относятся, а мы страдай, но им и горя мало. И лучшие – не исключение. Ох! Взять того же Юзека. Уж на что примерный муж, а я насквозь его вижу. Теперь-то я его штучки изучила, и меня смех только разбирает, – все они держатся одинаково глупо в таких случаях!.. Я сразу догадываюсь, что Юзек опять шалить начинает. Знаешь как?

Марыня глаз не сводила с мужа; пройдя еще круг с Терезой Машко, он пригласил Линету. И сразу она почувствовала огромное облегчение: ей показалось, Стах и на Линету смотрит точно так же. Подозрения стали рассеиваться, и ей пришло на ум: коли она плохо о нем судит, значит, сама плохая. До сих пор ей не приходилось видеть его танцующим; может, у него вообще такая манера танцевать?

Основская все не отходила.

– Знаешь, как я о шалостях его догадываюсь?

– Как? – спросила Марыня, приободрясь.

– Сейчас научу. Если у него совесть нечиста, он для отвода глаз тут же наговаривает на других. Ах, Юзек, святая простота! Это их излюбленная метода. Все они хитрят, даже самые лучшие!

И удалилась в уверенности, что сделала ловкий ход в шахматной партии, именуемой светской жизнью. И надо отдать ей должное, ход был действительно удачный. Марыня окончательно была сбита с толку, не зная, что и думать обо всем этом. Вдобавок она чувствовала страшную физическую усталость. «Я нездорова и раздражена, – сказала она себе, – вот мне и чудится невесть что». Усталость возрастала с каждой минутой. И весь вечер стал казаться ей каким-то кошмаром. По словам Стася, Анета неверна мужу, а по ее словам, все мужья изменяют женам; он с вожделием смотрит на жену Машко, Анета же с Коповским на «ты». И еще это мельканье танцующих пар, однообразная мелодия вальса, влюбленные лица жениха и невесты – и внезапная гроза. Какое нагромождение впечатлений, какая фантазмагория! «Я нездорова», – мысленно повторяла Марыня. Но вместе с тем чувствовала, что теряет душевное спокойствие и вечер этот запомнится ей как несчастливый в ее жизни. Захотелось скорее домой, но, как назло, на дворе бушевала гроза. «Домой, домой!» И хоть бы Стах доброе, ласковое слово сказал! Она не желала слышать ни о Терезе Машко, ни об Основской, пусть скажет об их общем, взаимном, самом дорогом.

«Ах, как я устала!»

Поланецкий между тем подошел, и при виде ее бледного, измученного лица участие проснулось в его добром от природы сердце.

– Бедняжка, – сказал он, – тебе спать пора. Вот дождик поутихнет, и поедем домой. Ты грома не боишься?

– Нет. Посиди со мной.

– Летняя гроза, она быстро пройдет. Да ты сонная совсем!

– Мне вообще, наверно, не стоило приезжать. Я так нуждаюсь в покое, Стах!

У него заговорила совесть, он был зол на себя. И хотя далек был от мысли, что ее слова имеют отношение к нему и она по его поведению догадывается, что он увлечен Терезой, все же понял: приметь она что-то – и навсегда лишится по его вине всякого покоя. И не будучи совсем уж испорченным, испугался и устыдился.

– Ну их, эти танцы! – сказал он. – Буду лучше дома сидеть, сокровище свое беречь.

Тон был столь искренний, что она, зная его, вздохнула облегченно, оставив всякие сомнения.

– Когда ты со мной, – сказала она, – мне намного лучше. А то совсем скверно стало. Тут подходила Анета; но что ей до меня! Нездоровому всегда хочется, чтобы рядом был надежный, близкий человек. Ты, может, будешь смеяться над тем, что я сейчас скажу, – сама понимаю, как чудно в гостях и спустя столько времени после свадьбы говорить вдруг такие вещи, пусть это моя причуда, – но я должна тебе сказать: ты мне очень нужен, и я тебя очень люблю.

– И я тебя люблю, дорогая, – ответил он, и в сознании его пронеслось: лишь любя ее, можно сохранить уважение к себе и душевный покой.

Ливень меж тем почти прекратился, только окна еще нет-нет да и озарялись бледно-голубыми сполохами. Бигель, сыграв напоследок прелюдию Шопена, пустился рассуждать о музыке с Завиловским и Линетой.

– Вот Букацкий придумывал разделять женщин на разные типы, а у меня есть свой, музыкальный критерий, – сказал он глубокомысленно. – Некоторые душой понимают музыку, а другие умом, поверхностно, и таких я боюсь.

Короткая летняя гроза миновала через четверть часа, небо очистилось, и гости стали разъезжаться. Остался лишь Завиловский, чтобы наедине пожелать спокойной ночи своей невесте.

Поланецкий, тревожась за Марыню, велел ехать шагом. А в ее измученном воображении возникало лицо мужа, танцующего с Терезой Машко, в ушах звучали слова Анеты: «Все они хитрят, даже самые лучшие!» Но Поланецкий привлек ее к себе, обнял и не отпускал всю дорогу, и беспокойство ее понемногу улеглось. Очень хотелось задать ему какой-нибудь наводящий вопрос, чтобы он догадался и успокоил ее. Но потом подумалось: «Не любил бы меня – не стал бы и заботиться. Скорее уж он способен на жестокость, чем на притворство. Не буду ни о чем спрашивать сегодня».

А Поланецкий, видимо, под влиянием своих чувств и мыслей осознав, что лишь с нею одной возможны настоящая любовь и счастье, наклонился к ней и осторожно поцеловал в щеку.

«И завтра не скажу ему», – подумала Марыня, прижимаясь головой к его плечу.

«И вообще никогда не скажу», – решила она в следующую минуту.

И, не в силах превозмочь душевную и физическую усталость, закрыла глаза и уснула на плече у мужа, еще не доехав до дома.

В это самое время пани Бронич, сидя в гостиной, все поглядывала на застекленную дверь балкона, куда жених с невестой вышли подышать свежим воздухом и проститься друг с другом без свидетелей. Ночь после грозы была светлая, напоенная запахом мокрой листвы, небо усеяно звездами, которые после дождя сияли, как омытые слезами. Некоторое время оба молчали, потом заговорили о своей бесконечной любви.

– Милая моя, любимая! – сказал Завиловский, вытянув руку, на которой поблескивало обручальное кольцо. – Смотрю я на это кольцо и не могу насмотреться. До сих пор мне все это казалось сном, а теперь я отваживаюсь верить, что ты будешь моей женой.

Линета приложила к его руке свою, так что два кольца оказались рядом.

– Да, я уже не прежняя Линета, я твоя невеста, – ответила она томным голосом. – Вот странно, эти кольца как будто обладают волшебной силой, связывают на всю жизнь.

Сердце Завиловского исполнилось счастья и блаженного покоя.

– Потому что в них – наши души, – сказал он, – меняясь кольцами, мы меняемся душами: ты берешь мою, а я – твою. Их золото – залог любви и верности...

– Любви и верности... – отозвалась она, как эхо.

Он обнял ее, прижав к груди, и долго стоял неподвижно перед тем, как проститься. Окрыленный любовью, высоко вознесся он душой и прощался с невестой, словно творя обряд поклонения божеству.

«Спокойной ночи» – говорил он благословенным этим рукам, которые дали ему столько счастья; «спокойной ночи» – сердцу, которое его полюбило; «спокойной ночи» – устам, что произнесли слова любви; «спокойной ночи» – этим чистейшим очам, которые светились взаимностью... И душа его словно отлетела, незримым нимбом осияв обожаемую головку, которая была ему дороже всего на свете.

– Спокойной ночи!..

И минуту спустя пани Бронич остались с панной Кастелли вдвоем.

– Устала деточка? – спросила тетушка, глядя на племянницу, словно только что пробудившуюся ото сна.

– Ах, тетя, я к звездам летала, а это так далеко!

ГЛАВА I

Завиловский вправе был теперь сказать себе, что и поэтам выпадает счастливый жребий. Правда, после помолвки ему не раз приходило в голову, что надо бы подумать об устройстве дома, средствах на венчание и свадьбу, но, имея самое отдаленное представление о таких вещах и будучи влюблен, он относился к ним, как к еще одной жизненной трудности, которую придется преодолеть, а их столько было преодолено, что оставалось только верить в свои силы, не заботясь ни о чем другом.

Зато за него позаботились другие. Старик Завиловский, отдававший должное его таланту, но твердо убежденный, что у поэтов ветер гуляет в голове, пригласил на совет Поланецкого.

– Скажу откровенно: юноша мне нравится, хотя отец его, извините за выражение, отпетый был шалопай: кроме карт, женщин да лошадей, ничего для него не существовало!.. Вот и покарал господь еще при жизни. Но сын по его стопам не пошел – и не только имени своего не уронил, а еще и прославил. Другие родственнички этим меня не радуют, и в завещании я его не забуду, но хотел бы и сейчас, пока еще, слава богу, жив, ему помочь: тоже как-никак родня, хоть и дальняя, наше имя-то, вот что главное!

– Мы уже об этом думали, – ответил Поланецкий, – но не так это просто. Стоит только намекнуть о помощи, и он сразу в амбицию, самого терпеливого человека из себя может вывести.

– Гордости ему не занимать статью, – сказал старик с видимым удовольствием.

– Вот именно. Он у нас книги и деловую переписку ведет, и, хотя работает совсем недавно, мы с моим компаньоном его полюбили и предложили ссудить деньгами. «Возьми, – говорим, – тысячи две-три на расходы и обзаведение в рассрочку на три года, а отдавать будешь из того, что за свои книжки выручишь». Но он отказался. Знает, дескать, свою невесту, уверен, что она в его положение войдет, – и не захотел. Основский тоже собирался займы ему предложить, но мы отсоветовали, – если наперед ясно, что бесполезно... Задача не из легких.

– Может, у него какие средства есть?

– И да, и нет. Недавно узнали мы, что мать оставила ему около двадцати тысяч, но он на проценты с этого наследства содержит отца в доме для душевнобольных и капитала этого не хочет касаться. И правда, не трогает: до поступления к нам он очень нуждался, форменным образом с голода помирал, но не взял ни копейки. Такой уж характер! Понимаете теперь, почему мы его так уважаем. Сейчас он, кажется, что-то пишет и хочет на это покрыть издержки на обзаведение. Может, и удастся. Он теперь пользуется известностью.

– Это еще вилами на воде писано! – сказал старик. – Известностью пользуется? Ну и что... В карман ее не положишь.

– Ну, не совсем так. Только это дело нескорое.

– Стесняется, наверно, братъ, вы же ему не родня.

Поланецкий покачал головой.

– Верно, не родня, но знакомы с ним дольше вас и знаем лучше.

Не привыкший, чтобы ему прекословили, Завиловский повел своими седыми усами и недовольно засопел. Впервые в жизни приходилось ему ломать голову, как заставить того, кому он хочет дать денег, принять их. Это удивляло его, сердило и вместе с тем нравилось. Вспомнил он, не говоря ничего Поланецкому, сколько раз оплачивал векселя Завиловского-отца, и какие векселя! И вот яблоко упало так далеко от яблоньки, что новых, непредвиденных хлопот не оберешься.

– Ну что ж, – помолчав, сказал старик, – бог, стало быть, не оставляет нас своими милостями, коли так изменилось молодое поколение... Не знаешь, с какого бока к ним и подступиться!..

И лицо его осветилось неподдельной радостью. Будучи по натуре неистребимым оптимистом и найдя реальный довод себе в оправдание, он повеселел.

– Сам черт об него зубы сломает, – сказал он. – Как камень, тверд, ох, шельмец!.. И способный, бестия! А главное, упорный: характер, характер есть. – Он сделал большие глаза и, вытянув губы, будто собираясь присвистнуть, покрутил головой. – А тоже ведь шляхтич. Вот вам, пожалуйста! Видит бог, такого от нашего брата не ожидал!

– Ничего не поделаешь, придется, видно, панне Кастелли к нему приноравливаться, – сказал Поланецкий.

– Ну, это еще как сказать! – поморщился старик. – Захочет приноравливаться или не захочет – кто ее там знает! Пока молода, все нипочем, только надолго ли хватит? И потом, тетка у нее и покойничек услужливый – вякнет из-под земли, поди-ка с ним потолкуй!.. Людей, которые своим трудом состояние нажили, я, видит бог, уважаю, но уж кто из приказчиков выбился, а делает вид, будто весь век в хоромах жил, тот без хором не успокоится. Такой и покойный Бронич был. Суетные оба не в меру, и девочка этим воздухом дышала. Богатство и роскошь – вот что всегда их привлекало. Игнаций их с этой стороны не знает, да и вы тоже. Вот она, – кивнул он на дочь, – если даст слово – на чердаке будет жить. А там ни за что нельзя поручиться.

– Да, я их знаю мало, – сказал Поланецкий, – говорят про них разное, а мне важно было бы разобраться в них ради Игнация.

– Разобраться в них? Я вот давно их знаю, а тоже не больно-то разобрался. По словам самой старухи, святые, достойнейшие женщины! А уж благочестивые – у-у! Хоть при жизни к лику святых причислай!.. Но дело-то видите ли какое: иные женщины в сердце бога носят и заветы веры, а иные – им же несть числа – из религии спорт, что ли, делают. Вот оно как!

– Это вы очень верно подметили, – засмеялся Поланецкий.

– А что? Разве не так? – спросил Завиловский. – Я всякое в жизни повидал... Но вернемся к делу. Так можете вы мне какое-нибудь средство посоветовать, чтобы убедить этого дикаря взять деньги, или не можете?

– Нужно пораскинуть мозгами, пока ничего на ум не приходит.

Тут Елена, которая, сидя в стороне, молча вышивала по канве, будто и не слыша разговора, подняла свои холодные стальные глаза и сказала:

– Есть очень простой способ.

Старик взглянул на нее.

– Ого, уже и нашла! Что же это за способ?

– Положите в банк капитал на имя его отца.

– Уж лучше бы ты помалкивала. Я уже и так сделал для его отца предостаточно, хотя и видеть его было тошно, а сейчас для Игнация хочу, а не для него.

– Да, но если проценты с этого капитала до конца жизни обеспечат его отца. Игнаций сможет располагать деньгами, оставленными матерью.

– А ведь верно, ей-богу, верно! – изумился старик – Вот глядите: мы с вами головы ломали, а она – нашла. Ей-богу, верно!

– Панна Елена совершенно права, – сказал Поланецкий, глядя на нее с интересом, но она опять склонилась над вышиванием свое безучастное, как бы до времени увядшее лицо.

Марыня и Бигели очень обрадовались такому обороту дела, давшему им повод также посудить-порядить о Елене Завиловской. Некогда пользовалась она репутацией

холодной, надменной барышни, выше всего ставящей светские условности, но любовь якобы растопила лед в ее сердце, окончившись, однако, трагически, и светская эта особа превратилась в странную женщину, чуждающуюся людей, замкнувшись в себе и своем горе. Иные превозносили ее за благотворительность, но добрые дела она, если и делала, скрывала столь искусно, что никто толком о них не знал. Замкнутость ее, которую легко было принять за высокомерие, отталкивала. К мужчинам она, по их утверждению, относилась с таким презрением, точно не могла им простить, что они живут на свете.

Завиловский воротился из Пшитулова через неделю после разговора Поланецкого со стариком, который успел уже положить в банк на имя его отца капитал, вдвое больший против необходимого для содержания в лечебнице. Узнав об этом, Завиловский помчался благодарить и отказываться, но старик, почуяв твердую почву под ногами, встретил его в штыки.

– О чем тут толковать, – отпарировал он, – разве я для тебя?.. Тебе я ничего не давал, и не тебе решать, принимать или не принимать. А если мне захотелось больному родственнику помочь, это никому не возбраняется.

Возразить тут действительно было нечего, и кончилось дело тем, что два этих еще недавно чужих друг другу человека растроганно обнялись, почувствовав себя воистину родственниками.

Даже Елена отнеслась к «Игнасику» с благосклонностью, а старик, втайне страдавший оттого, что у него нет сына, сердечно полюбил молодого человека, и, когда неделю спустя тетюшка Бронич, приехав в Варшаву за покупками, зашла осведомиться о его подагре и в похвалу «Лианочке» несколько раз повторила в разговоре о молодой парсе, что выходит она за человека без средств, он даже рассердился.

– Что это вы мелете? – воскликнул он. – Неизвестно еще, кто из них для кого лучшая партия, даже в материальном отношении, не говоря уже о прочем.

И пани Бронич, все спускавшая старому ворчуну, простила ему даже намек на «прочее». Не прошло и получаса, а воображение у нее разыгралось вовсю. Завернув по дороге к Поланецким, она объявила им, что старик форменным образом обещал уступить свои познанские имения «дорогому Игнасику». И сама она, дескать, столь безоглядной материнской любовью полюбила «дорогого Игнасика», что он вот-вот заступит место Лоло в ее сердце. И Теодор, без сомнения, полюбил «Игнасика» не меньше, благодаря чему воспоминания о сыне для обоих уже не столь болезненны.

Завиловский ведать не ведал о том, что занял в сердце тетюшки место Лоло и ему якобы уже обещаны имения. Но заметил перемену в отношении знакомых к нему. Должно быть, слухи о майорате с молниеносной быстротой разнеслись по городу, и все при встрече раскланивались теперь как-то иначе; даже сослуживцы, люди простые, стали держаться принужденней. По возвращении из Пшитулова надлежало нанести визиты всем, кто был на его помолвке, и быстрота, с какой с ответным визитом явился, к примеру, Машко, тоже говорила об изменившемся к нему отношении. Машко в первое время их знакомства относился к нему несколько свысока. Он не оставил своего покровительственного тона, но сколько доброжелательности и дружеской фамильярности появилось в его обхождении, какую снисходительность он изъяслял – даже к поэзии. Нет, он ничего против нее не имел. Пожалуй, предпочел бы, чтобы стихи Завиловского по духу своему больше соответствовали образу мыслей людей добропорядочных, но вообще существование

поэзии допускал, даже ее похваливая. Благосклонность его к ней и к самому поэту сквозила во взгляде, улыбке, в том, как он поминутно повторял: «Да, да, очень! Да, конечно!» Несмотря на свою наивность, Завиловский был достаточно умен, чтобы не чувствовать во всем этом какое-то двуличие.

«Зачем этот вроде бы неглупый человек так неприкрыто притворяется?» – думал он.

И в тот же день завел об этом речь у Поланецких, в чьем доме познакомился с Машко.

– Я постарался бы притвориться так, чтобы не заметили, – сказал он.

– Позеры, – сказал Поланецкий, – на то рассчитывают, что люди, даже не обманываясь, по лености или недостатку гражданского мужества соглашаются принимать их такими, какими они стараются выглядеть. Шутка вообще-то коварная. Вы не замечали, что женщины, которые румянятся, мало-помалу теряют чувство меры? То же самое с рисовкой. Даже умные люди не знают меры.

– Это верно, – согласился Завиловский. – И внушению легко поддаются.

– Ну, а Машко вдобавок еще знает, что ты женишься на Линете, которая слывет богатой невестой, и что старик Завиловский к тебе благоволит, вот и рассчитывает, наверно, войти к нему в доверие по твоей протекции. Машко о будущем своем приходится думать: тяжба та судебная, от которой оно зависит, приняла, по слухам, неблагоприятный оборот.

Так оно и было. Выступивший в поддержку завещания молодой адвокат оказался очень искусным, настойчивым и упорным.

На том и оставили пока Машко. Марыня стала расспрашивать о Пшитулове и его обитателях, а о нем Завиловский мог рассказывать без конца. Красочно описал он пшитуловскую усадьбу, липовые аллеи, тенистый сад с прудами, заросшими камышом, ольшаник и полосу соснового леса на горизонте. И перед Марыниными глазами ожил Кшемень, который она понемногу начала уже забывать, а сейчас вдруг затосковала по нему, подумав: свозил бы ее Стах когда-нибудь хоть в Вонторы, в костел, где ее крестили и где похоронена мать. Поланецкому тоже, видно, вспомнился Кшемень.

– В деревне везде одно и то же, – махнул он рукой. – Букацкий еще, помню, говаривал, что полюбил бы деревню от всего сердца, будь там хороший повар, богатая библиотека, общество красивых, интеллигентных женщин, – и чтобы не требовалось там жить больше двух дней в году. И я его отлично понимаю.

– Однако же тебе хочется иметь за городом клочок земли, – возразила Марыня.

– Да, чтобы летом в своем доме жить, а не у Бигелей, как придется в этом году.

– А во мне, стоит мне попасть в деревню, – отозвался Завиловский, – сразу пробуждается какое-то смутное влечение к земле. Линета тоже города не любит, и это уже кое о чем говорит.

– Она правда не любит города? – спросила Марыня с интересом.

– Потому что артистическая натура. Природу я тоже чувствую и люблю, но она мне такие вещи показывает, я сам ни за что бы не заметил. Несколько дней назад

отправились всей компанией в лес, и она мне показала освещенный солнцем папоротник. Как красиво! Или что у стволов сосен, особенно при вечернем освещении, лиловатый оттенок. Она на такие цвета и тона глаза мне открывает, о существовании которых я и не подозревал! Ходит по лесу, как волшебница, и распахивает передо мной неведомые миры.

«Может быть, это и признак артистизма, – подумал Поланецкий, – но, может статься, просто дань моде, повальному увлечению живописью, в особенности колоритом. Сейчас любая барышня с этим носитя – не из любви к искусству, а из желания порисоваться». Сам он живописью никогда не занимался, но, по его наблюдениям, она стала для светских трясогузок в последнее время ходовым товаром на ярмарке тщеславия, патентом на артистизм и тонкий вкус.

Но он умолчал о своих сомнениях.

– А до чего она деревенских ребятишек любит! – продолжал Завиловский. – Говорит, писать их куда лучше и интересней, чем этих итальянских, которые уже приелись. В хорошую погоду мы целый день на воздухе, и оба загорели. Учусь вот в теннис играть и делаю большие успехи. Со стороны кажется, чего проще, а на деле-то, особенно вначале, очень даже трудно. Основский играет как одержимый – поползень боится. До чего добрый, деликатный человек, трудно даже передать.

Поланецкий, который в бытность свою в Бельгии увлекался теннисом не меньше Основского, стал похвалиться своим искусством.

– Будь я там, показал бы вам, как играют в теннис!

– Меня-то нетрудно удивить, – отвечал Завиловский, – но остальные играют превосходно, особенно Коповский.

– А-а, и Коповский, значит, в Пшитулове? – спросил Поланецкий.

– Да, – ответил Завиловский.

И, взглянув друг на друга, внезапно поняли, что оба знают тайну. Наступило молчание, тем более неловкое оттого, что Марыня неожиданно покраснела и, не умея справиться с собой, краснела еще сильнее.

Завиловский, полагавший, что ему одному известно про Коповского и Анету, с удивлением посмотрел на залившуюся краской Марыню и тоже смутился.

– Да, Коповский в Пшитулове сейчас, – торопливо заговорил он, пытаясь скрыть замешательство, – его пан Основский пригласил, чтобы Линета могла закончить портрет, – после уже некогда будет. Еще у них родственница Основского гостит, Стефания Ратковская, и, по-моему, Коповский за ней ухаживает. Очень милая, очень скромная девушка. В августе мы все вместе едем в Шевенинген, дамы Остенде не любят... Если бы не пан Завиловский, не его великодушная помощь отцу, я не смог бы поехать, а теперь вот руки развязаны...

Затем он поинтересовался у Поланецкого о своей работе. Место он терять не хотел, а просил дать ему отпуск на несколько месяцев ввиду исключительных обстоятельств. Затем простился и ушел, торопясь домой написать невесте. Через несколько деньков он снова собирался в Пшитулов, а пока писал ей чуть не дважды на дню.

И сейчас уже сочинял по дороге письмо, заранее зная, что Линета прочтет его вместе с тетушкой и обе ждут не только сердечных излияний, но и поэзии, а особенно понравившиеся строки прочтут по секрету и Анете, и Основскому, и даже панне Стефании. Но на свою «Лианочку» он за это не сердился – наоборот, был ей благодарен за то, что она им гордится, и изо всех сил старался оправдать высокое мнение о себе. Не досадовал и на то, что его любовные признания станут достоянием посторонних. «Пусть все знают, что ее любят, как никого на свете!»

Но заодно его не покидала мысль и о Марыне. Краска смущения на ее лице растрогала его, в этом видел он доказательство чистоты: не только сама неспособна на дурное, но даже за чужой грех стыдится и тревожится, болеет душой. И, сравнив ее с Основской, понял, какая пропасть разделяет этих двух женщин, казалось бы, близких по уму и положению в обществе.

– Видишь, тоже догадывается о чем-то, – сказал Поланецкий жене после ухода Завиловского. – Теперь у меня сомнений нет. Какой же слепец этот Основский! Какой слепец!

– Вот именно из-за его слепого доверия и нужно бы Анете одуматься и пожалеть его, – отозвалась Марыня. – Иначе было бы просто ужасно!

– Не «было бы», а уже есть! Вот тебе пример: благородные натуры платят за доверие признательностью, а низкие – презрением.

ГЛАВА LI

Слова его ободрили Марыню; вспоминая о своих недавних тревогах, она думала: не стал бы он так говорить, будь он способен на обман. А что люди к себе подходят с одной меркой, а к другим – с другой и так на каждом шагу, ей просто в голову не приходило. И она повторяла себе: только безграничное доверие к мужу может удержать его ото всего плохого – и ее уже не так страшило близкое соседство Краславских с Бигелями, у которых они собирались провести лето. Нетрудно было предвидеть: Тереза, которая уже переехала на дачу матери, часто будет навещаться от скуки к Бигелям. В Кшемень Машко ее не отправил, не желая на все лето разлучаться. Из Варшавы же, где его удерживали дела, ничего не стоило ежедневно навещать жену: дачные эти места были в часе езды от города, не то что Кшемень, исключавший возможность таких поездок. Для Машко, горячо привязанного к жене, она была утешением и поддержкой, ибо для него время опять настало трудное. Дело о завещании проиграно еще не было, но вследствие изворотливости адвоката противной стороны принимало неблагоприятный оборот: затягивалось, вызывая у всех сомнения в успешном исходе, что уже само по себе было для Машко равносильно катастрофе. В начале процесса его охотно ссужали деньгами, но теперь древо кредита снова оскудело. Адвокат Селедка, который был завзятым врагом Машко и вообще человеком неумным, не только распространял слухи о шатком положении своего противника, но постарался, чтобы сомнения в правоте его дела проникли в печать. И на юридическом, и на частном поприще началась беспощадная война, ибо Машко тоже, как только мог, старался навредить своему врагу и при встречах с ним держался вызывающе. Но пользы от всего этого было мало. С кредитом становилось туго: заимодавцы, хотя он аккуратно выплачивал ссуды, теряли к нему доверие. И началась опять лихорадочная погоня за деньгами, которая сводилась к тому, чтобы, заняв у одного, другому отдать, лишь бы не заподозрили в неплатежеспособности.

При этом Машко столько выказывал ума и находчивости, что, не будь его подход к жизни ложен в самой основе, он с его способностями и славы добился бы, и богатства.

Решение дела в пользу доверителей могло бы его спасти, но это требовало времени, а пока приходилось то тут, то там связывать рвущиеся нити, что было столь же нелегко, сколь и унизительно. Дошло до того, что через две недели после переезда Поланецкого на дачу к Бигелям Машко, явившийся с женой, вынужден был попросить его о «дружеской услуге»: подписать вексель на несколько тысяч рублей.

Человек по натуре отзывчивый и даже щедрый, Поланецкий в денежных вопросах придерживался строгих правил, от которых никогда не отступал, поэтому вексель подписать отказался и вместо того стал излагать Машко свои взгляды на деловые отношения между друзьями.

– Если речь не о взаимовыгодной сделке, – сказал он, – а о личном одолжении из-за временных трудностей, я всегда готов ссудить деньгами друга или знакомого, хотя подписывать – ничего не подпишу, принципиально. Но если его положение безнадежно, я, прежде чем помочь, предпочитаю немного подождать.

– Иными словами, ты мне даешь понять, – сухо ответил Машко, – что поможешь, когда меня объявят несостоятельным?

– Нет. Это значит, что, если разразится катастрофа, я дам тебе денег в долг, так как тогда на них никто не посягнет и ты сможешь вложить их в новое дело, если захочешь. А сейчас они ухнут как в прорву, безо всякой пользы для тебя и с убытком для меня.

– Мое положение, дорогой мой, – обиделся Машко, – рисуется тебе хуже, чем мне самому и чем на самом деле. Это же временное затруднение, притом пустяковое. Ценю твои добрые намерения, но пока свои надежды на будущее я не променял бы на твой наличный капитал. У меня к тебе дружеская просьба: давай больше об этом не говорить.

И они вернулись к дамам. Машко был зол на себя за то, что обратился за помощью, Поланецкий – что отказал. Теория относительно того, что в денежных делах надлежит быть непреклонным, часто доставляла ему неприятные переживания, не говоря уже о других последствиях.

Его дурное расположение духа еще ухудшилось от сравнения жены с Терезой. К немалому огорчению Машко, пока еще ничто не предвещало, что его Тереза скоро станет матерью; больше того, пользовавший ее с детства домашний доктор вообще выразил сомнения в такой возможности. И фигура ее сохраняла девичью стройность, а сейчас, в легком перкалевом платье, рядом с располневшей, отяжелевшей Марыней она выглядела совсем юной, гораздо моложе своих лет. Поланецкий, думавший, будто поборол свое необъяснимое влечение к ней, вдруг почувствовал, что это не так и благодаря близкому соседству и частым встречам трудно будет ее очарованию противостоять.

После помолвки Завиловского он стал сердечней относиться к жене, и Марыня уже не так робела перед ним, поэтому, заметив, как сдержанно он попроцался с Машко и вообще сердит, спросила, уж не повздорили ли они.

Поланецкий не имел обыкновения посвящать жену в свои дела, но сейчас,

недовольный собой и не чуждый эгоизма, который побуждает искать сочувствия в преданном сердце, испытывал сильную потребность облегчить душу.

– Я отказал ему в деньгах, – ответил он, – и, признаться, мне это неприятно. Кое-какие шансы выкарабкаться у него есть, но малейший пустяк успеет еще до тех пор его погубить. Друзьями мы с ним никогда не были, я его даже недолюбливаю: он меня бесит, раздражает, но судьба, все время сводит нас вместе, и потом, он однажды оказал мне большую услугу. Правда, в долгу я у него не остался, но он в безвыходном положении сейчас.

Марыне отрадно было это слышать; ведь будь ее Стах действительно увлечен Терезой, подумалось ей, он не отказал бы в займе ее мужу, а сожаления его – новый знак сердечной доброты. Она сама их жалела, но, не принеся почти ничего в приданое, не осмеливалась Стаха о чем-нибудь просить.

– А ты уверен, что деньги пропадут?

– Может, пропадут, а может, нет, – отвечал Поланецкий, прибавив не без самодовольства: – Отказывать я умею, Бигель – тот мягкосердечней.

– Не говори так! Ты же такой добрый! И то, что ты огорчен, это подтверждает.

– Конечно, неприятно думать, что из-за нескольких тысяч рублей человек, пусть даже посторонний, бьется как рыба об лед. Я себе представляю, что там у него. Завтра – срок платежа, он поспрошал всех, у кого можно бы занять, но осторожно, чтобы не напугать кредиторов, а меня оставил на последний, крайний случай. Значит, завтра он денег не вернет. Предположим, через несколько дней все-таки раздобудет, но репутация его как аккуратного плательщика будет поколеблена, а в его положении это может оказаться роковым.

– А ты действительно не можешь ему дать займы? – глядя на мужа, робко спросила Марыня.

– Говоря по правде, могу. У меня и чековая книжка с собой – прихватил, если вдруг подходящая дача подвернется, так задаток дать. – И засмеялся: – О, да ты своему бывшему поклоннику сочувствуешь и покровительствуешь! Это наводит на кое-какие размышления.

Марыня тоже рассмеялась, обрадованная, что муж повеселел.

– Нет, – покачала она своей хорошенькой головкой, – это не сочувствие поклоннику, а самый низкий эгоизм: мне твое спокойствие дороже нескольких тысяч рублей.

– Ты у меня добрая женушка, – погладил ее по голове Поланецкий и спросил: – Ну, раз, два, три! Давать или не давать?

Вместо ответа она только прижмурила глаза, как избалованная девочка: дескать, давать. И обоим вдруг стало весело. Поланецкий, однако, притворился недовольным.

– Вот что значит – быть у жены под башмаком, – заворчал он. – Изволь-ка тащись ночью к Машко и упрашивай принять деньги, и все потому, что этой капризнице захотелось!

А она была счастлива оттого, что он назвал ее «капризницей». И все ее тревоги и печали рассеялись как по волшебству.

– А разве непременно сейчас надо? – спросила она.

– Да. Завтра в восемь Машко уезжает и целый день будет мыкаться по городу в поисках денег.

– Тогда вели хотя бы дрожки Бигеля заложить.

– Нет, пешком пройдуся. Ночь лунная, да и близко совсем.

Он простился и ушел, прихватив чековую книжку.

«Однако Марыня – настоящий клад! – думал он дорогой. – Просто золото. Такая доброта обезоруживает: и захочешь обмануть, духу не хватит. Дал мне бог жену, второй такой в целом свете не сыскать».

И остро ощутил в эту минуту, как искренне ее любит. И понял заодно, что не в той любви счастье, которая есть лишь взаимное влечение полов, – дурно направленная, она может, наоборот, несчастье принести; а в глубокой и вместе узаконенной супружеской любви, превосходящей всякое мыслимое блаженство. «Выше этого нет ничего, – рассуждал Поланецкий сам с собой, – и подумать только: ведь оно вот, под рукой, каждому доступно, только надо честные и добрые намерения иметь, а люди топчут это лежащее прямо на поверхности сокровище, жертвуя покоем ради метаний, честью – для бесчестья!»

Размышляя таким образом, дошел он до дачи Краславской, – окна ее, как огромные фонари, светились на темном фоне леса. Открыв калитку и оказавшись на освещенном лунной дворе, приблизился он к крыльцу и в ближайшем от сеней окне на низеньком диванчике в форме восьмерки, перед которым на столе горела лампа, увидел Машко с женой. Обняв жену за талию, Машко держал ее руку, то поднося к губам, то пожимая, словно за что-то благодаря. Но вдруг стиснул в объятиях и, привлеки к себе, стал страстно целовать в губы, а она, с безвольно упавшими руками, не отвечая на его ласки, но и не противясь, бесстрастно принимала их, словно кукла, а не живое существо. Затем остались видны только затылок Машко и его растопыренные бакенбарды, которые шевелились при поцелуях, – Поланецкому даже кровь бросилась в голову. И как в тот раз, когда отыскивал он завязку от мантильи Основской, вспыхнуло у него желание – тем более жгучее, что уже прежде испытанное. Это необъяснимое для него самого чувственное влечение, с которым он давно боролся, овладело им с силой непреодолимой. Во мгновение ока проснулся в нем первобытный инстинкт, и он, как дикарь, впал в бешенство при виде желанной женщины в объятиях другого, готовый вступить в единоборство со счастливым соперником. И вместе со страстью ослепила его ревность, мерзкая и недостойная; ревность самого низменного свойства, ибо вызванная плотским влечением, но столь необузданная, что он, незадолго перед тем смотревший подлинное счастье в супружеской верности и любви, не колеблясь, пограл бы и эту любовь, и это счастье, лишь бы устранить Машко и самому обнять это стройное тело, зацеловать это кукольное личико, невыразительное и некрасивое по сравнению с лицом его жены.

Подсмотренное не только потрясло его, оно было невыносимо, и он подскочив к двери, с силой потянул за звонок: мысль, что звук этот, нарушив тишину, прервет супружеские ласки, доставила ему неистовую, мстительную радость. Когда слуга

открыл, он велел доложить, а сам постарался успокоиться и сообразить, что сказать Машко.

Через минуту с удивленным видом вышел Машко.

– Прости за поздний визит, – сказал Поланецкий, – но мне влетело от жены за отказ тебе, и, зная, что завтра ты рано уезжаешь, я решил вот уладить это сегодня.

На лице Машко изобразилась тайная радость. Он сразу сообразил, что столь поздний визит связан с их недавним разговором, но на желаемый исход не смел еще надеяться.

– Прошу, – сказал он. – Жена еще не спит.

И провел его в ту самую комнату, которую Поланецкий только что видел через окно. Тереза, сидя на том же диванчике, держала в руках разрезательный нож и книгу, которую, очевидно, взяла со стола. Ее неподвижное лицо казалось спокойным, но покрасневшие щеки и влажные губы словно хранили след недавних поцелуев, а взгляд был затуманен. Кровь снова вскипела у Поланецкого в жилах, и, несмотря на все старания быть спокойным, он с такой силой сжал протянутую ему руку, что губы Терезы дрогнули как от боли.

Дрожь пробежала по его телу, едва он дотронулся до ее руки. В Терезиной манере подавать руку была томная вялость, и ему невольно подумалось, что, прояви он смелость и решительность, то мог бы овладеть ею, не встретив особого сопротивления.

– Представь, – начал между тем Машко, – я тоже получил нагоняй. Ты – за то, что отказался помочь, а я за то, что обратился за помощью. Жена у тебя хорошая, но и моя не хуже. Твоя вступилась за меня, моя – за тебя. Я ей признался, что терплю временные денежные затруднения, а она меня отругала, зачем от нее скрываю. В юридических тонкостях она, конечно, не разбирается, но смысл ее слов сводился к тому, что ты вполне прав, поскольку кредитор должен иметь какое-то обеспечение, и она готова его предоставить в виде своей ренты и вообще всего имущества... Я как раз благодарил ее, когда ты пришел. – Он положил руку на плечо Поланецкому. – Дорогой, твоя жена – замечательная женщина, согласен; я только что имел возможность в этом убедиться. Но согласись, что и моя ей не уступит. Неприятности свои я от нее скрываю, но что тут удивительного? Радостью всегда готов с нею поделиться, а огорчать – зачем же, тем более если это временные трудности. Знай ты ее, как я, тоже нашел бы это естественным.

Поланецкий был о ней невысокого мнения, несмотря на всю ее обольстительность, и не считал способной на жертвы.

«Или она в самом деле женщина достойная и я ошибаюсь, – подумал он, – или Машко настолько ее запутал, что она всерьез считает его положение прочным, а затруднения – временными». Вслух же сказал, обращаясь к ней:

– Я человек деловой, но за кого вы все-таки меня принимаете, если думаете, что я могу потребовать в обеспечение ваше имущество? Отказал я единственно из лени – и мне очень стыдно; отказал, потому что не хотелось ехать в Варшаву за деньгами. Лето располагает к лени и эгоизму. Но в общем-то все это сущий пустяк, и кто, как ваш муж, занимается делами, ежедневно сталкивается с такими осложнениями.

Иной раз занимаешь только потому, что свои деньги в нужный срок не можешь получить.

– Именно это и произошло, – сказал Машко, довольный, что Поланецкий таким образом представил дело его жене.

– Я в этих вещах ничего не смыслю, этим всегда мама занималась, – вставила Тереза. – Но я вам очень благодарна.

– Да зачем вообще мне ваше поручительство? – засмеялся Поланецкий. – Ну, предположим, вы обанкротились, – это чистое допущение, потому что ничего подобного вам не грозит, – неужели вы думаете, я судиться буду с вами и лишу вас средств к существованию?

– Нет, не думаю, – отвечала она.

Поланецкий поднес ее руку к губам, но поцелуй этот был настолько не похож на простой акт вежливости и сопровождался взглядом столь страстным, что никакие слова не могли бы красноречивей выразить его чувства.

Она и вида не показала, будто о чем-нибудь догадывается, хотя прекрасно поняла, что этот поцелуй – акт вежливости только для мужа, а для нее – пылкое признание; поняла, что нравится и привлекает Поланецкого, но прежде всего – что одержала победу над Марыней, чьей красоте завидовала еще до замужества, и это чрезвычайно польстило ее самолюбию.

Впрочем, пани Машко давно уже заметила, что Поланецкий к ней неравнодушен, но, не отличаясь преувеличенной стыдливостью или щепетильностью, не видела в этом чего-либо предосудительного и обидного для себя. Напротив, это будило ее любопытство, щекоча нервы и теша тщеславие. Правда, она чуяла инстинктивно, что человек он необузданный, ни перед чем не остановится, и при мысли об этом поеживалась, но куда куда ничего такого не происходило, находила в этих опасениях прелесть. И в своей обычной протяжной манере, будто цедя слова, сказала:

– Мама всегда говорила, что на вас во всем можно положиться.

Прежде манера эта забавляла Поланецкого, теперь же все в ней казалось привлекательным.

– И вы тоже можете положиться, – отозвался он, не сводя с нее глаз.

– Ну, пока вы тут будете разными заверениями обмениваться, – перебил Машко шутливо, – пойду к себе, все нужное для нашего дела приготовлю.

Они остались вдвоем. Она была явно смущена и, пытаясь скрыть это, стала поправлять на лампе абажур.

– Я был бы счастлив удостоиться вашего расположения, – торопливо начал Поланецкий, подходя к ней. – Я вам очень предан, очень!.. И хотел бы, чтобы мы с вами были друзьями... Можно рассчитывать на вашу дружбу?

– Да.

– Спасибо.

И, желая завладеть ее рукой – для чего и говорил все это, – протянул ей свою. Тереза, не решаясь уклониться, подала руку, а он, схватив, стал осыпать ее жадными поцелуями, не удовольствовавшись одним. Страсть застлала ему глаза. Еще миг, и он, забывшись совсем, обнял бы и прижал ее к себе, но в соседней комнате раздался скрип сапог. Первой услышала его Тереза.

– Муж, – предупредила она поспешно.

В ту же минуту Машко отворил дверь.

– Прошу. Вели подать чай, – обратился он к жене, – мы сейчас вернемся.

Дело и правда не затянулось: Поланецкому нужно было всего лишь заполнить чек, что он и сделал. Но Машко, усадив его, предложил сигару: ему, видно, хотелось поговорить.

– Вот, опять неприятности валяются, – сказал он. – Выпутаться-то я выпутаюсь. И не в таких бывал передрыгах, но, как говорится, пока солнце выглянет, роса очи выест, словом, кредит надо получить или другой какой-нибудь доход найти до окончания суда, – это и там бы помогло.

Поланецкий, еще в возбуждении, нервно покусывал кончик сигары и вначале слушал невнимательно. Его занимала внезапно пришедшая в голову и не делавшая ему чести мысль: обанкротиться Машко, жена его стала бы доступнее.

– А ты подумал, что предпринять, если проиграешь дело? – спросил он напрямик.

– Не проиграю, – ответил Машко.

– В жизни все бывает, ты знаешь это лучше других.

– Я и думать об этом не желаю.

– Но тем не менее подумать следует, – заметил Поланецкий не без злорадства, которого, впрочем, Машко не уловил. – Что ты в таком случае намерен делать?

– В таком случае придется уехать из Варшавы, – упершись руками в колени и мрачно уставясь в пол, сказал Машко.

Наступила пауза. Лицо молодого адвоката все больше мрачнело.

– Когда-то, в лучшие мои времена, – сказал он задумчиво, – познакомился я в Париже с бароном Гиршем. Несколько раз с ним встречались, как-то даже вместе участвовали в суде чести. И теперь, в минуты отчаяния, вспоминаю вот о нем, – для вида он отошел от дел, но, по сути-то, у него их тьма, особенно на Востоке. Я знаю таких, кто, работая на него, целое состояние нажил, там для каждого необъятное поле деятельности.

– Ты надеешься пристроиться у него?

– Да. Но есть и другой выход: пуля в лоб...

Поланецкий всерьез к его угрозе не отнесся. Но из краткого разговора с ним

выяснил для себя две вещи: первое – несмотря на кажущееся спокойствие, Машко подумывает о возможной катастрофе; второе – на этот случай у него приготовлен план, пусть и фантастический.

– За двумя зайцами я никогда не гонялся, это меня и спасало в жизни, – отогнав невеселые мысли, сказал Машко. – Занят я исключительно процессом. Этот мерзавец делает все, чтобы уронить меня в общем мнении, но мне на общественное мнение наплевать, мне важно, что судьи обо мне думают. Сорвусь я сейчас, это может неблагоприятно отразиться на ходе дела. Понимаешь? Процесс тогда могут воспринять как отчаянную попытку утопающего спастись любой ценой. А это не в моих интересах. Поэтому нужно делать вид, что я крепко стою на ногах. И как это ни печально, но я даже не могу сейчас позволить себе сократить домашние расходы, жить поскромнее. Неприятностей у меня выше головы, – кому же это лучше знать, как не тебе, коли я у тебя одолжаюсь. А не дальше как вчера торговал вот Выбуж, большое имение под Равой, – все для того, чтобы кредиторам да недругам пыль в глаза пустить. Скажи, ты старика Завиловского хорошо знаешь?

– Недавно познакомился через Игнация Завиловского.

– Ты ему нравишься, он очень уважает выходцев из шляхты, которые своим трудом наживают состояние. Я знаю, он сам свои дела ведет, но ведь старится и подагра у него. Я там посоветовал ему кое-что, и, если он будет спрашивать, замолви за меня словечко. В карман ему руку запускать я, как ты понимаешь, не собираюсь, хотя имел бы небольшой доход в качестве его ходатая, но для меня важнее, чтобы разнеслось: Машко – поверенный этого миллионщика. А это правда, что он будто бы хочет передать свои познанские имения Игнацию Завиловскому?

– Так утверждает пани Бронич.

– Значит, вранье; а впрочем, чего в жизни не бывает. Во всяком случае, молодой Завиловский какое-нибудь приданое за женой возьмет, а в делах, как все поэты, наверно, ничего не смыслит. Я бы мог ему быть в будущем полезен.

– Я должен от его лица отклонить твое предложение: делами его обещали заняться мы с Бигелем.

– Я не в делах его заинтересован, – поморщился Машко, – а в том, чтобы иметь право сказать: я – поверенный Завиловского. А пока разберутся, какого Завиловского, кредит мой будет восстановлен.

– Ты знаешь, не в моих привычках вмешиваться в чужие дела, но, откровенно говоря, для меня жить, рассчитывая только на кредит, было бы невыносимо.

– Спроси-ка у миллионеров, как они состояние нажили.

– А ты у банкиров спроси, отчего они поразорялись.

– Что со мной будет, покажет будущее.

– Да, конечно, – сказал Поланецкий, вставая.

Машко еще раз поблагодарил за одолжение, и они перешли в комнату, где ждала их за чаем Тереза.

– Как? Уже кончили? – спросила она.

Поланецкого при виде ее снова бросило в жар. И, вспомнив, как она перед тем прошептала, точно его сообщница: «Муж!», – он, не обращая внимания на Машко, ответил:

– С вашим мужем – да. Но с вами – еще нет.

При всей своей невозмутимости Тереза смешалась – дерзость Поланецкого ее испугала.

– Это как понять? – спросил Машко.

– А так, – сказал Поланецкий, – жена твоя заподозрила, будто я намерен потребовать ее имущество в обеспечение, и этого я ей не прощу.

В серых невыразительных глазах Терезы отразилось изумление. Ей понравилась смелость Поланецкого, присутствие духа, с каким он сумел найтись и выйти из положения. Он показался ей в эту минуту очень красивым мужчиной, гораздо красивее мужа.

– Извините меня, – сказала она.

– Нет, это вам так не пройдет. Вы еще не знаете, какой я злопамятный.

– Вот уж не поверю, – отвечала она кокетливо, как женщина, сознающая свою красоту и власть над ним.

Он сел подле нее и, взяв слегка дрожащей рукой чашку, стал помешивать ложечкой чай. Им овладевало все большее беспокойство. До замужества называл он ее рыбой, а сейчас чувствовал тепло ее тела под тонким платьем, и будто искры сыпались на него.

И опять вспомнилось: «Муж!» – и кровь горячей волной прихлынула к сердцу. Так могла сказать лишь женщина, которая готова на все! Внутренний голос нашепывал: «Надо только удобного случая дожждаться!» И при этой мысли к необузданной его страсти присоединилась необузданная радость. И он совсем перестал владеть собой. Стал было искать под столом ногой ее ногу, но это ему самому показалось слишком уж грубым и вульгарным. «Если вопрос только в том, чтобы дожждаться случая, – сказал он себе, – надо вооружиться терпением». И его охватывала сладкая дрожь, залог будущих пылких наслаждений.

А между тем ему приходилось поддерживать совершенно не вязавшийся с его настроением разговор, стоивший ему немалых усилий, отвечать на вопросы Машко по поводу планов Завиловского и тому подобное. Наконец он начал прощаться.

– Забыл вот трость, а по дороге собаки набросились, – обратился он перед уходом к Машко, – будь добр, одолжи свою.

Насчет собак он придумал: это был предлог хотя бы на минутку остаться с Терезой наедине. И когда Машко вышел, он быстро подошел к ней.

– Видите, что со мной происходит? – спросил он каким-то сдавленным, не своим голосом.

Она видела, как он возбужден, видела его горящие глаза, раздувающиеся ноздри, и ей вдруг стало страшно, а у него все звучало в ушах: «Муж!», и одна мысль овладела им: будь что будет! И он, кто за минуту перед тем внушал себе, что надо запастись терпением и подождать, во мгновение ока все поставил на карту, прошептав:

– Я люблю вас!

Она стояла, потупясь, пораженная, остолбенелая; от этих слов до измены мужу оставался только шаг, который означал бы новую полосу в ее жизни. И она отвернулась, словно избегая его взгляда. Наступило молчание; слышалось только учащенное дыхание Поланецкого. Но в соседней комнате снова заскрипели сапоги.

– До завтра, – шепнул Поланецкий.

Шепот прозвучал почти повелительно. А она все стояла неподвижно, опустив глаза, точно каменная.

– Вот палка, – сказал Машко. – Завтра утром я еду в город, вернусь только к вечеру. Будет хорошая погода – сделайте одолжение, навестите мою отшельницу.

– Спокойной ночи! – попрощался Поланецкий.

И минуту спустя уже шагал по пустынной, освещенной луной дороге. Ощущение было такое, будто он выскочил из пламени. Тишина ночи и леса поразила его, настолько она противоречила охватившему его возбуждению. С внутренней борьбой и колебаниями покончено, мосты сожжены, отступить поздно – это было первым осознанным чувством. Но внутренний голос кричал, что он просто подлец; однако тут же находилось и горькое утешение: подлец так подлец, пропади оно все пропадом! Подлец – так можно, по крайней мере, не терзаться, поблажку себе дать. Да, поздно отступить, мосты сожжены! Предаст Марыню, надругается над ее сердцем, над собственной порядочностью, над жизненными правилами, которыми до сих пор руководствовался, но взамен получит Терезу! Одно из двух: или она пожалуется мужу, и тогда тот завтра же вызовет его на дуэль – но чему быть, того не миновать! Или же промолчит и, стало быть, сделается его сообщницей. Машко завтра уедет, и он добьется своего, а там хоть трава не расти. Если не пожалуется, нечего ей и сопротивляться. И он представил себе, как она покоряется ему, если и противясь, то лишь для приличия. И снова пришел в возбуждение. Вялость, за которую он раньше ее презирал, приобрела теперь для него особую прелесть. Представились завтрашний день и она с ее податливостью... И хотя мысли путались, ясно было: вялость эта послужит ей и оправданием перед собой; скажет себе, что не виновата, ее принудили, и будет обманывать свою совесть, бога, а понадобится, так и мужа. Обдумывая все это, он презирал ее не меньше, чем желал, но чувствовал, что и сам не лучше – и значит, в силу не только естественного, но и нравственного отбора они должны принадлежать друг другу.

Он понимал, что, поклявшись Марыне в любви и верности и сказав другой женщине «люблю», сам отрезал себе все пути: зло уже содеяно. Остальное – лишь следствие этого, и незачем тогда отказывать себе в удовольствии. Но так в его представлении рассуждали те, кто отреклись от порядочности и встали на путь обмана, хотя рассуждение, несмотря на безнравственность, казалось само по себе вполне логичным. И способность трезво мыслить не мешала ужасаться собственной испорченности. В жизни он не раз сталкивался с пороком и злом под личиной

благовоспитанности и внешнего лоска, знал, что под влиянием разных дрянных книг испорченность получила как бы права гражданства, всегда этим возмущаясь, отстаивая простоту и строгость нравов, будучи убежден: здоровое и сильное общество может развиваться только на их основе. И ничто не вызывало в нем таких опасений за будущее, как эта вот утонченная испорченность, которая пересаживалась с европейской на неовозделанную славянскую почву и расцветала здесь нездоровыми цветами дилетантизма, распушенности, апатии и вероломства. Вспомнил он, как осуждал то финансовую, то родовую аристократию за насаждение испорченных нравов, как яростно нападал на них на всех за это. И совершенно отчетливо уразумел: нельзя жить в атмосфере, отравленной угаром, и не угореть самому. Чем он, собственно, лучше других? Пожалуй, даже хуже: ведь эти другие, чувствуя себя посреди всеобщей испорченности как рыба в воде, по крайности, не лицемерили, не кривили душой, не поучали и не доказывали что здоровый духом мужчина, примерный муж и отец семейства – вот идеал, к которому все должны стремиться. Уже и не верилось, что это он возвышенной любовью любил пани Эмилию, искренне клялся в супружеской верности Марыне, считая себя умным, порядочным человеком, да еще с сильным характером не в пример другим.

Это он-то сильная личность? Что за самообольщение; просто не было настоящего искушения. Если он платонически, по-братски любил пани Эмилию и не поддавался на заигрывания Анеты Основской, то лишь потому, что они не возбуждали того животного влечения, какое возбудила эта кукла с красными глазами, которой он, презируя ее в душе, давно жаждал обладать. И тут ему пришло в голову, что и Марыню он не любил любовью высокой и к ней влекла его просто животная похоть. Прочее со временем еще больше притупилось, и, понуждаемый вдобавок Марыниным положением, он без зазрения совести кинулся за удовлетворением туда, куда мог, и все это – спустя полгода после свадьбы!

Выйдя от Машко и обозвав себя подлецом, Поланецкий вдруг понял, что он еще больший негодяй, чем полагал, так как скоро будет отцом.

В окнах у Марыни еще горел свет. Поланецкий много бы дал за то, чтобы застать ее спящей. Захотелось даже уйти и подождать, пока свет у нее не погаснет. Но за окном проступил ее силуэт. Наверно, поджидает его, а так как на дворе светло, может и увидеть. Сообразив это, он вошел.

Она встретила его в белой ночной кофточке, с распущенными волосами. Косы расплела Марыня из кокетства, зная, что муж ее волосами любит.

– Почему ты еще не спишь? – спросил он.

Она подошла с полусонным лицом и улыбнулась.

– Ждала тебя, чтобы вместе помолиться.

Со времени пребывания в Риме они всегда молились вместе перед сном. Но сегодня мысль об этом повергла Поланецкого в ужас.

– Ну что, доволен, что помог ему? – стала между тем расспрашивать его Марыня. – Доволен, да?

– Доволен, – отвечал он.

– А она знает, в каком положении его дела?

– И да, и нет. Поздно уже. Давай спать.

– Спокойной ночи! А знаешь, без тебя я все думала, какой ты добрый и хороший.

Обратив к нему лицо, она обняла его, а он ее поцеловал и, хотя сделал это искренне и чистосердечно, почувствовал, что совершает подлость и за ней последует целый ряд других.

И одну он тотчас совершил, вставши рядом на колени и слушая, как она читает молитву. Не сделать этого он не мог, а сделав, разыграл гнусную комедию, потому что ему было не до молитвы.

Поднявшись с колен и пожелав еще раз жене спокойной ночи, он ушел, но никак не мог уснуть. Казалось бы, по дороге домой он отдал себе полный отчет в безнравственности своего поступка, в том, какие последствия это может иметь. Но выходило, что нет. Как же так, думалось ему: в бога еще можно не верить, но нельзя же кощунствовать. Было бы, к примеру, неслыханным кощунством с его стороны вернуться завтра или послезавтра, совершив прелюбодеяние, домой и встать, как ни в чем не бывало, на молитву с женой. Он понимал: выбирать надо бесповоротно. Или чистосердечная вера с ее заветами, или Тереза! Совместить то и другое невозможно. И внезапно со всей очевидностью представилось: от всего достигнутого в результате многолетних раздумий и борьбы – того душевного равновесия, которое проистекает из постижения смысла существования, словом, от самого содержания его духовной жизни – нужно оказаться. И от своих убеждений с завтрашнего дня придется отказаться – от своего взгляда на семью как на опору общества. Нельзя исповедовать такие взгляды и тайком совращать чужую жену. Тут тоже надо сделать выбор. Что до Марыни, по отношению к ней предательство уже совершено. Итак, все его убеждения, вера в бога, отношение к женщине – все рассыпается в прах: возводимое с таким трудом здание, в котором обитал его дух, рухнет. Его поразило, как неуклонно зло порождается зло. Стоит одну нитку перерезать – и все расплзается по швам; этого он не предполагал и, озадаченный, спрашивал себя: но как же вероломство уживается с порядочностью и честностью, как возможен такой оппортунизм? В жизни ведь именно так и бывает. Скольких так называемых порядочных людей он знал – женатых, любящих своих жен и даже как будто верующих, которым все это, однако, не мешало волочиться за каждой приглянувшейся женщиной. Они, кто сочли бы свою жену преступницей, оступись только она, сами со спокойной совестью нарушали супружескую верность. Вспомнилось, как один его знакомый, припертый к стенке, вывернулся, ответив известной скабрёзной шуткой, что он – не шведская спичка: сразу зажигается. Мужская неверность стала настолько обыденной, что на это смотрят легко, как на нечто позволительное. Придя к такому заключению, Поланецкий сам почувствовал облегчение, но ненадолго – мешала способность если не поступать, то рассуждать последовательно и логично. Конечно, человечество – это не сплошь одни подлецы и лицемеры, но и глупцов и вертопрахов предовольно, а на оппортунизм, благодаря которому прелюбодеяние уживается с представлением о порядочности и чести, падки именно люди безумные. Разве обычаи сами по себе могут служить оправданием, если понимаешь их безнравственность и нелепость? «Для дурака, – думал он, – супружеская измена – забавное приключение; для человека мыслящего – подлость, которая столь же несовместима с этическими требованиями, как кража, подлог, клятвопреступление, вероломство, мошенничество в торговле или картах. Грех прелюбодеяния прощает церковь как минутную слабость; но закаменелый прелюбодей сам себе все разрешает, он вне религии, вне общества, он отменяет честь и порядочность». Вот к какому итогу пришел Поланецкий, не привыкший обманывать

себя и не отступавший даже перед самыми суровыми выводами.

Пришел – и испугался, словно перед ним разверзлась пропасть. Если он не одумается, то погиб. И он стал укорять себя в слабости. Укорять – и грызть, даже презирать, слишком хорошо себя зная, убежденный: стоит ему увидеть Терезу, и плоть снова одержит верх над духом. Не поддаваться? Но сколько раз он твердил это себе, не устояв перед искушением, – и при каждом новом порыв страсти захватывал его и уносил вопреки воле, как необъезженный конь седока. И, вспоминая это, принялся осыпать себя проклятиями. Будь он хотя бы несчастлив в семейной жизни или будь его страсть порождена большой любовью, это еще могло бы служить оправданием; но он же Терезу не любил, он хотел ею обладать. Перед этой двойственностью человеческой природы он всегда останавливался в полной растерянности, зная одно: что желает ее, и при каждой встрече, каждой мысли о ней желание это будет расти.

Оставался один выход: не видеться, но это было невозможно, и не только потому, что они знакомы домами, – возникли бы подозрения у Марыни. Ему и в голову не приходило, что она уже догадалась и втайне страдает, но одно не вызывало сомнений: узнай эта кроткая, доверчивая женщина каким-нибудь образом о его неверности, такого удара она не перенесет. И совесть стала мучить его еще сильнее. И вместе с жалостью и состраданием к ней росло презрение к себе. Краска стыда и в темноте залила его лицо при воспоминании об этом «я люблю вас», сказанном Терезе. Роковые слова, произнеся которые он предал свою добрую, кроткую жену и готов уже изменить ей, надругавшись над ее чувствами, обманув ее доверие.

Ему самому казалось это невероятным, но голос совести сказал: «Да, ты способен на это!» В то же время в сострадании и жалости к ней обретал он утешение, утверждаясь в сознании: чувство его не сводится к одному лишь плотскому влечению, ведь их связывают совместная жизнь, сопринадлежность, венчание и клятва делить горе и радость, взаимное уважение и привязанность, которая должна окрепнуть благодаря ребенку. И нежность и любовь к ней объяли его, до этих минут душевного смятения никогда еще с такой силой не испытанные. Начало светать. В бледных лучах утренней зари, проникавших сквозь щели в ставнях, неясно вырисовывалась на подушке ее темноволосая голова. И он всем сердцем ощутил: она – его лучший друг, жена и мать его будущего ребенка, единственное и самое дорогое его сокровище. И не доводы, не рассуждения о гнусности прелюбодеяния с точки зрения религии и морали, а ее милое спящее личико убедило его, до чего все это мерзко и как мерзок он сам. Света сквозь щели просачивалось все больше, и головка ее все отчетливее рисовалась в полутьме. Уже можно было различить темные полукружья ресниц на щеках, и Поланецкий, вглядываясь в нее, стал повторять: «Твоя доброта мне поможет!» И добрые чувства восторжествовали, дух победил плоть, и вздох облегчения вырвался у него при мысли: будь он таким негодяем, за какого себя уже счел, то не стал бы мучиться угрызениями совести, а внял бы голосу страсти.

Наутро проснулся он поздно, чувствуя себя измученным и больным. И неведомая ему прежде опустошенность и уныние овладели им. При свете дня – дождливого и пасмурного – взглянул он на случившееся иначе: трезвее и спокойней, и будущее уже не представлялось ему таким ужасным и вина столь большой и непоправимой. Все показалось более заурядным. Но теперь беспокоило его, рассказала Тереза мужу или нет. Допуская на минуту, что рассказала, он чувствовал себя в положении человека, который по собственной глупости впутался в неприятную историю. Но постепенно это чувство переросло в острое беспокойство. «Положение самое

нелепое, – говорил он себе. – Машко можно упрекнуть в чем угодно, только не в трусости и нерешительности, такого оскорбления он не спустит. Итак, объяснение, скандал – а может, дуэль? Черт возьми! Дело дрянь, если это дойдет до Марыни!» И его разбирала злость на все и вся. Жил себе до сих пор спокойно, ни от кого не зависел, ничье мнение его не интересовало, и вот – повторяет на все лады: «Сказала? Не сказала?» Ни о чем другом невозможно думать. Наконец, ожесточась, он спросил себя: «Да какого черта? Неужто я Машко боюсь? Это я-то?» Но он не Машко боялся, а Марыни, и это было для него ново и непривычно. Еще недавно можно было предположить все что угодно, только не это. И с наступлением дня происшествия, которое утром показалось было незначительным, снова стало принимать угрожающие размеры. То он тешил себя надеждой, что она не проговорится, то падал духом, не зная, посмеет ли теперь смотреть в глаза не только Марыне, но вообще всем: и Бигелям, и пани Эмилии, и Завиловскому – всем знакомым, «Вот что значит свалить дурака, – думал он. – Какой дорогой ценой за глупость надо платить!» Беспокойство все росло, и наконец под тем предлогом, что надо отнести палку, он послал с ней к Терезе, велел кланяться и осведомиться о здоровье.

Через полчаса слуга вернулся. Завидев его в окно, Поланецкий поспешил навстречу, и тот передал ему записку для Марыни. И пока она читала, он с замиранием сердца следил за выражением ее лица.

Прочитав, Марыня подняла на него свои ясные, спокойные глаза.

– Тереза, – сказала она, – на чай к себе вечером зовет... нас и Бигелей.

– А-а! – протянул Поланецкий с облегчением, подумав про себя: «Не сказала!»

– Ну что, сходим к ней? – спросила Марыня.

– Как хочешь... То есть... сходи с Бигелями, а я после обеда в город поеду. Со Свирским надо повидаться. Может быть, сюда его привезу.

– Тогда давай откажемся?

– Нет, зачем же? Иди с Бигелями, а я постараюсь заехать по дороге и извинюсь. Нет, лучше ты извинись за меня.

И с тем вышел из комнаты: хотелось побыть наедине с собой.

«Не сказала!»

На душе стало легко и радостно. Не сказала мужу, стало быть, не обиделась, а приглашение в гости означает согласие, готовность на все, чего от нее захочет Поланецкий. Чем еще объяснить ее приглашение – только желанием подать ему надежду, дать ответ на его «До завтра!». Итак, все теперь зависит только от него. И снова по телу его пробежала дрожь. Никаких преград нет, разве что сам он раздумает. Рыбка попалась на крючок. Соблазн был велик, тем более что в успехе он не сомневался. Да! Клынула рыбка! Не устояла! Самолюбие его было удовлетворено, он торжествовал победу и вместе с тем чуть не казнился из-за того, что, пусть недолго, в какие-то минуты, считал ее порядочной женщиной... Теперь, по крайней мере, все ясно, и он ей за это признателен. И давешние опасения показались ему смешными – это была дань презрения: единственная честь, которой мог он ее удостоить. Она перестала быть недоступной, кем-то таким, кто

возбуждает в душе то отчаяние, то надежду. Невольно воображал он ее уже своей, отчего, не становясь менее желанной, Тереза утратила в его глазах ценность. И ему было приятно думать: если он устоит перед искушением, это будет целиком его заслуга. Но теперь, когда путь был открыт, он с удивлением ощущал в себе нарастающее желание противостоять искушению. В голове еще раз промелькнуло все передуманное бессонной ночью о неверности, сердце еще раз напомнило о доброте и преданности Марыни, об ожидающем ее материнстве, о том, что лишь с ней обретет он истинное счастье и покой, – и он решил не заезжать по дороге в город к Терезе.

После обеда он велел запрягать. Садясь в Бигелевы дрожки, еще раз обнял Марыню, сказал ей на прощанье: «Не скучай» – и укатил. Утренней опустошенности как не бывало. Исчезло недовольство собой, и вернулось даже хорошее настроение. Он снова поверил в себя, в свои силы. И не без злорадства представлял себе удивление Терезы при известии, что он уехал. Ему словно отомстить ей захотелось за то физическое влечение, какое она в нем возбуждала. С того момента, когда Марыня получила от нее записку с приглашением, стал он презирать ее еще больше и подумал, что чары ее теперь ему совершенно не страшны – можно даже спокойно к ней заехать.

«А что, если в самом деле заехать и повернуть сказанное вчера как-нибудь по-иному?» – пришло ему на ум.

Но он тут же одернул себя: «Не надо, по крайней мере, самого себя обманывать».

Что приезд его несколько ее не удивит, он ничуть не сомневался. После вчерашнего она имела все основания предположить, что он или зайдет к ней под каким-нибудь предлогом до Марыни и Бигелей, или задержится после их ухода.

А вот если проедет мимо, не заходя, решит, что он трусливо избегает встречи или грубо над ней подшутил.

«Благовоспитанный человек, если он не чужак или рохля, который даст себя опутать любой куколке, зашел бы и постарался исправить вчерашнюю глупость», – продолжал он рассуждать сам с собой.

Но ему стало жутко.

Тот самый внутренний голос, говоривший ему ночью, что он подлец, стал повторять это еще настойчивей.

«Нет, не буду заезжать, – подумал он. – Одно дело – понимать умом, а другое – владеть собой».

Вдали уже виднелась дача Краславской.

«А вдруг, – пришло ему в голову, – она с досады, что ею пренебрегают, из мести и уязвленного самолюбия скажет Марыне что-нибудь такое, что ей откроет глаза?» Слова одного достаточно, улыбки, намек на то, что его дерзкая попытка встретила достойный отпор, в объяснение его отсутствия. Редкая женщина откажет себе в удовольствии отомстить сопернице, а еще реже способна ее пожалеть.

«Только б хватило смелости зайти»...

В эту минуту бричка поравнялась с воротами дачи.

– Стой! – крикнул Поланецкий парню, сидевшему на козлах.

На крыльце он увидел Терезу, но она тотчас скрылась в доме.

Поланецкий пересек двор.

– Барыня наверху, – сказал в дверях слуга.

Поднимаясь по лестнице, Поланецкий чувствовал невольную дрожь в коленках.

«Кто легко относится к жизни, – думал он, – многое может себе позволить, но я не отношусь легко. И если после всего передуманного, понятого и сказанного себе не сумею совладать с собой, я пропащий человек».

Он подошел к двери, указанной лакеем.

– Можно? – спросил он.

– Пожалуйста, – послышался ее бесцветный голосок.

Толкнув дверь, он очутился у нее в будуаре.

– Я зашел извиниться, – сказал он, протягивая ей руку, – потому что не смогу быть нынче вечером. В город надо ехать.

Она стояла перед ним, потупясь и склонив голову, смущенная, испуганная, с видом жертвы, понимающей: час настал и беды не миновать.

Состояние ее передалось Поланецкому.

– Вы боитесь?.. Чего вы боитесь? – сдавленным голосом спрашивал он.

ГЛАВА LII

Утром Марыня получила от мужа письмо, извещавшее, что сегодня он не вернется, так как едет в другое место поглядеть дом. Приехал он на следующий день со Свирским, который давно уже обещался Бигелям навестить их.

– Представь себе, – сказал, поздоровавшись с женой, Поланецкий, – оказалось, дом, который я ездил смотреть, в двух шагах от Ясменя, имения Завиловского. Ну, я и решил проведать старика, – кстати, он неважно себя чувствует, – и встретил там нежданно-негаданно Свирского. Мы вместе осмотрели усадьбу, дом ему очень понравился. Там хороший сад и пруд, есть рожица. Когда-то большое имение было, но землю продали и при доме только небольшой участок.

– Место красивое, очень красивое, – подтвердил Свирский. – Тени много, хороший воздух, и очень тихо.

– Ты решил купить? – спросила Марыня.

– Посмотрим. Пока хотел бы снять. Поживем там до конца лета и сами увидим, подходит или нет. Владелец согласился сдать, уверенный, что нам понравится. Задатка я не давал, хотел с тобой посоветоваться.

Марыне жаль было расставаться с Бигелями, но, видя по глазам мужа, что ему хочется провести остаток лета вдвоем, она с радостью согласилась.

Бигели поначалу противились, возражали, но, когда Поланецкий растолковал, что речь о доме, где они, может быть, будут проводить с Марыней каждое лето до конца своих дней, вынуждены были уступить.

– Тогда я завтра договорюсь окончательно, – сказал Поланецкий, – перевезу нужные вещи из Варшавы, и послезавтра сможем переехать.

– Это на бегство похоже, – заметила пани Бигель. – К чему такая спешка?

В конце концов порешили на том, что Поланецкие переедут в Бучинек через четыре дня. Тем временем подали обед, и Свирский рассказал, как он оказался в Ясмене у Завиловского.

– Елена попросила написать портрет отца, и условились, что в Ясмене. Я согласился – не люблю без дела сидеть, да и внешность эффектная у старика. Но из этой затеи ничего не вышло. Дом старинный, с толстенными стенами, мало света в комнатах. Как работать при таком освещении? А потом и новое осложнение: жестокий приступ подагры у старика. По словам доктора, которого они с собой привезли из города, он в плохом состоянии и это может кончиться печально.

– Жалко старика, – сказала Марыня, – наверно, хороший человек. Бедная Елена. Если он умрет, совсем одна останется. А он сам понимает всю серьезность положения?

– И да, и нет. Ведь он большой оригинал. Вот муж расскажет вам, как он его принял.

Поланецкий улыбнулся.

– Попавши в Бучинек и узнав, что до Ясменя рукой подать, – начал он, – я надумал туда съездить. Елена провела меня к отцу. Но он как раз молился, четки перебирал – и даже в мою сторону не обернулся и не поздоровался, пока «Богородицы» не дочитал. А кончив, извинился и говорит: «Святые угодники – своим чередом, а вот богородицу попросить – не так робеешь, уж она смилуется над стариком, а ей там не откажут».

– Вот чудак! – воскликнул Свирский.

Бигели рассмеялись, но Марыня заметила, что в этом есть трогательное что-то. Свирский согласился.

– Потом он сказал, что ему пора уже о завещании подумать, – продолжал Поланецкий, – а я, помня о нашем Игнации, не стал возражать, как обычно делается. Это акт чисто юридический, сказал я ему, чем раньше напишешь завещание, тем лучше, даже молодым не след об этом забывать.

– Я тоже так считаю, – вставил Бигель.

– Говорили и об Игнации, – сказал Поланецкий, – старик к нему всем сердцем привязался.

– Как же, как же! – воскликнул Свирский. – Узнавши, что я в Пшитулове был, он очень подробно меня расспрашивал о нем.

– Вы в Пшитулове были? – спросила Марыня.

– Да, четыре дня, – ответил художник. – Мне Основский очень нравится.

– А его жена?

– О ней я уже в Риме свое мнение высказал и, кажется, дал волю языку.

– Как же, помню! Вы были не слишком-то любезны. Ну, а жених с невестой как поживают?

– Ничего. Счастливы. У Основских очень милая барышня гостит – по фамилии Ратковская. Я чуть в нее не влюбился.

– Вот тебе на! Хотя Стах мне говорил, вы влюбляетесь во всех подряд.

– Да, постоянно. Постоянно в кого-нибудь.

– Самое верное средство никогда не жениться, – в раздумье произнес Бигель.

– Увы, так оно и есть, – сказал Свирский и продолжал, обращаясь к Марыне: – Не знаю, рассказывал вам муж о нашем с ним уговоре? Так вот, я женюсь, только если вы мне скажете: «Женись!» Вот как мы уговорились, и поэтому мне хотелось бы, чтобы вы познакомились с панной Ратковской. Зовут ее Стефания, что означает: «Увенчанная». Красивое имя, правда? Тихое, кроткое создание, перед Линетой и пани Основской робеет, по всему видно, что предобрая. Я даже имел случай в этом убедиться. Все, что девиц касается, я отлично примечаю и запоминаю. Забрел как-то в Пшитулов нищий – вылитый отшельник из Фиваиды. Обе дамы выскочили с фотографическими аппаратами и ну его снимать – и в профиль, и анфас, им и невдомек, что старику, может, есть хочется. А он терпит – в надежде на милостыню, наверно, но так, скрепя сердце. У простых людей на этот счет свои представления. А они ничего не замечают – или не желают замечать. Как с неодушевленным предметом обращаются. Одна Стефания сказала им наконец, чтобы перестали его мучить и унижать. Мелочь, конечно, но о мягкости говорит, о деликатности. Вокруг нее этот красавчик увивается, Копосик, но она не жалуется не в пример обеим дамам. Те забавляются им, как куклой: наряжают, рисуют, костюмы придумывают, носят, одним словом. А она нет. Сама мне сказала, что он ей надоел: тоже довод в ее пользу, ведь он глуп как пробка.

– Пан Коповский, насколько мне известно, богатую невесту ищет, – сказал Бигель, – а Стефания Ратковская – бесприданница. За ее покойным отцом долг числится в банке, и в истекшем месяце он вместе с процентами составит...

– Да зачем нам это, – перебила его жена.

– Ты права, это не наше дело.

– А какая она из себя? – спросила Марыня.

– Стефания? Не красавица, но очень миловидная, бледненькая, черноглазая. Да вы ее скоро увидите: дамы на днях сюда собираются нагреть. Это я их подбил: хочется, чтобы вы на нее посмотрели.

– Хорошо, посмотрю! – засмеялась Марыня. – А если мой отзыв, окажется благоприятным?

– Тогда, честное благородное слово, предложение ей сделаю. В худшем случае откажет. Но если вы решите: «Нет», – на утиную охоту поеду. В конце июля как раз сезон начинается...

– Серьезные же у вас намерения! – сказала пани Бигель. – Женидьба или охота! Игнаций так никогда бы не сказал.

– Зачем ему рассуждать, если он влюблен? – заметила Марыня.

– Правильно! И я ему завидую, не потому что панна Кастелли – его невеста, о нет, хотя я сам был влюблен в нее; завидую тому состоянию души, когда человек теряет способность рассуждать.

– А что вы имеете против панны Кастелли?

– Да ничего. Напротив, очень ей признателен за то приятное заблуждение, в котором благодаря ей пребывал некоторое время. И не скажу о ней худого слова, разве за язык потянут: но прошу вас, не делайте этого.

– А мы как раз хотим порасспросить вас о них, – вмешалась пани Бигель. – Только пойдемте на веранду, я велела подать кофе туда.

Через несколько минут все собрались на веранде. Под деревьями носились Бигелята, похожие издали на разноцветных мотыльков. Бигель предложил Свирскому сигару, и Марыня, улучив момент, подошла к мужу, который держался в сторонке.

– Стах, ты что сегодня такой молчаливый? – подняла она на него свои добрые глаза.

– Устал, – ответил Поланецкий. – В городе страшная жара, а у нас в квартире просто задохнуться можно. Ну, и не спал, Бучинек из головы не выходил.

– А мне хочется поскорей Бучинек увидеть, правда, очень хочется. Это ты хорошо сделал, что съездил туда и снял дом.

Она с нежностью посмотрела на него и, так как вид у него был утомленный, сказала:

– Мы зайдем гостя, а ты поди отдохни.

– Нет... все равно не засну, – ответил Поланецкий.

– Смотрите, ни ветерка. Ни один листок не шелохнется, – говорил между тем Свирский. – Настоящий летний день! Вы не замечали, в жару, когда вот так тихо, кажется, будто вся природа в задумчивость погружается. Помню, Букацкий находил в

этом что-то мистическое, ему хотелось умереть в солнечный день... заснуть, сидя в кресле, и раствориться в этом свете.

– А умер, бедняга, вовсе не летом, – заметил Бигель.

– Весной... но погода чудесная была. И потом, не мучился долго, вот что главное. – Он помолчал и добавил: – Со смертью можно и должно примириться, мысль о ней никогда не приводила меня в отчаяние, но вот зачем нужно перед смертью страдать, это, право же, превосходит всякое понимание.

Все помолчали.

– Но оставим это, – сказал Свирский, стряхивая пепел с сигары. – После обеда за чашкой кофе можно найти и приятнее тему для разговора.

– Расскажите нам про Игнация! – попросила пани Бигель.

– Игнаций мне нравится. Во всем, что он делает и говорит, узнается талант... Вообще это незаурядная и очень богатая натура. За несколько дней в Пшитулове мы с ним поближе сошлись и подружились. А как его Основский полюбил, вы даже не представляете! Я и Основскому свои сомнения высказывал: будет ли еще он счастлив в этой семье?

– А почему вы в том сомневаетесь? – спросила Марыня.

– Трудно объяснить, особенно когда никакими фактами не располагаешь. Чувство такое. Почему, вы спрашиваете?.. Потому что они из другого теста сделаны. Высокие устремления, которые составляют смысл жизни Завиловского, они для них, видите ли, вроде приклада, что ли, вон как кружева для отделки платья. Они такое платье для гостей по праздникам надевают, а на каждый день у них халат, – вот в чем огромная разница между ними. Боюсь, что с ним в заоблачные выси они не полетят, а заставят плестись черепашью шажком за собой и обратят его дар в разменную монету для удовлетворения светского тщеславия. А ведь это, правда, талант! Катастрофы никакой я не предрекаю, у меня нет оснований сомневаться в их порядочности в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это понятие, но счастливы они вряд ли будут. Возьмите хотя бы его чувство к панне Каstellи; вы все знаете, Игнаций человек очень простой, а любит ее какой-то уж слишком возвышенной любовью. Он душу всю в свое чувство вкладывает, всего себя ей отдает... а она – только частичку, приберегая остальное для светской жизни, развлечений, туалетов, визитов, всевозможного комфорта, для фэйфоклоков, для лаун-тенниса с Коповским, словом, для той мельницы, которая жизнь на отруби перемалывает...

– Вообще-то вы правы, – сказал Бигель, – хотя к панне Каstellи это, может, не имеет отношения, и я надеюсь, что так оно и есть, к счастью для Завиловского.

– Нехорошо с вашей стороны так говорить, – сказала пани Бигель. – Похоже, вы действительно женоненавистник.

– Это я-то женоненавистник? – вскричал Свирский, вздевая руки к небу.

– Послушать вас, можно подумать, будто Линета обыкновенная светская барышня.

– Я уроки живописи ей давал, а воспитанием ее не занимался.

Марыня, которая прислушивалась к разговору, погрозила Свирскому пальцем.

– Удивительно, как это при вашей доброте у вас такой злой язык.

– Мне самому это иногда представляется странным, – отвечал Свирский, – и я спрашиваю себя: да полно, разве ты добрый? Но мне кажется, что да. Некоторые любят сплетничать, потому что им доставляет удовольствие копаться в грязи, и это гадко; другие ближних оговаривают из зависти – тоже гадко. Букацкий, тот на чужой счет ради красного словца прохаживался, а я... я из породы болтунов – это во-первых, а во-вторых, меня больше всего занимают люди, особенно женщины, а всякое убожество, мелочность, пошлость возмущают. Вот, пожалуй, и причина моего злословия. Хотелось бы, чтобы у всех женщин были крылья, а когда я вместо крыльев вижу у них хвосты, то начинаю выть от отчаяния.

– А почему у вас не возникает желания выть, когда вы видите таких же мужчин? – спросила пани Бигель.

– Бог с ними, с мужчинами! Мне-то до них какое дело? К тому же, честно говоря, с них и особый спрос.

Марыня вместе с пани Бигель напустились на злополучного художника, но он стал защищаться.

– Ну вот вам для примера Игнаций и Линета. Он трудится с юных лет, препятствия одолевает, он мыслит – и уже дал что-то людям, а она? Канарейка в клетке!.. Суньте ей воды, сахара, семени конопляного, пенку клюв точить – она перышки золотистые расправила и песенкой залилась. Не так разве? А мы, мужчины, работаем много. Цивилизация, наука, искусство, хлеб насущный, все, чем мир держится, – дело наших рук. А это ведь труд колоссальный. Сказать-то легко, сделать трудно. Справедливо ли, правильно ли, что вас ото всего отстраняют, не берусь судить, да и не о том речь, но коли уж выпало вам любить, так умеете же, по крайней мере!

Смуглое лицо его приняло нежно-меланхолическое выражение.

– Или вот я: посвятил себя служению искусству. Двадцать пять лет вожу и вожу кистью по бумаге и по холсту, и одному богу ведомо, сколько трудов положил, пока достиг чего-то. А между тем одинок как перст. Чего мне надо от жизни? Да чтобы послал господь за труды какую-нибудь добрую женщину, которая любила бы меня хоть немного и мне была благодарна за мою любовь.

– Почему же вы не женитесь?

– Почему? – запальчиво переспросил Свирский. – Из страха. Потому что из десяти женщин любить способна одна, хотя другого дела у вас нет.

Разговор прервало появление Плавицкого с Терезой. В темно-голубом фуляровом платье в горошек она издали напоминала бабочку. Шествовавший рядом Плавицкий тоже был похож на мотылька.

– Я пани Машко похитил – похитил и привел к вам, – восклицал он, подходя к крыльцу. – Добрый вечер, господа! Добрый вечер, Марыня! Еду мимо на извозчике и вижу: она на крыльце, и похитил! И вот мы к вам пешком. А извозчика я отпустил в надежде, что в город вы меня отвезете.

Поздоровавшись со всеми, раздумывая от ходьбы Тереза стала снимать шляпку с пепельных волос, весело объясняя, что Плавицкий в самом деле чуть не насильно ее увел, так как она ждет мужа и не хотела никуда идти до его возвращения. Плавицкий успокаивал ее, говоря, что муж, не застав ее, сам догадается, где она, а за похищение и прогулку по лесу с мужчиной пенять не будет: это ведь не город, где из-за любого пустяка сплетни распускают, а деревня, она имеет свои преимущества, тут не нужна оглядка на этикет. – И он с таким видом стал одергивать на себе белый жилет, словно не удивился бы, если бы сплетничать стали о нем.

– Хе-хе! Да, жизнь в деревне имеет свои преимущества, – прибавил он, потирая руки и поглядывая на Терезу. – Вот именно: преимущества! Вот за что я ее люблю.

Тереза смеялась, зная, что это ей идет и кто-то любит ее.

– Если вы так любите деревню, отчего же летом в городе сидите? – спросил рассудительный Бигель, полагая, что и другие должны быть так же последовательны в своих рассуждениях.

– Что вы сказали? – переспросил Плавицкий. – Отчего я в городе сижу? Я вот собирался в Карлсбад. – Он замолчал, спохватываясь, что за минуту перед тем намекал, что прогулка наедине с ним может еще скомпрометировать молодую женщину. – Да стоит ли хлопотать из-за нескольких лишних лет, никому не нужных, даже мне самому, – прибавил он, сопровождая свои слова взглядом, полным грустной покорности судьбе.

– Перестаньте, папа! – воскликнула Марыня весело. – Если вы не поедете в Карлсбад, будете пить милбрунскую у нас в Бучинеке.

– В каком еще Бучинеке? – удивился Плавицкий.

– Правда, надо же объявить всем эту *grande nouvelle!*[64 - великую новость! (фр.)]

И Марыня рассказала, что муж снял дом, который они, может быть, купят и через четыре дня переедут туда на все лето.

Тереза удивленно подняла глаза на Поланецкого.

– Значит, вы нас покидаете? – спросила она.

– Да, – отрезал он.

– А-а!

С минуту она с недоумением смотрела на него, словно ожидая объяснения, но, ничего не дождавись, обернулась к Марыне и заговорила о каких-то пустяках.

Светские приличия настолько сделались ее второй натурой, что один лишь Поланецкий заметил: весть об их отъезде все-таки проникла сквозь их защитную броню, достигла ее сознания. Она догадалась, что причина внезапного отъезда как-то связана с ней. С каждой минутой это становилось для нее все очевидней, и холодное лицо ее принимало все более отчужденное выражение. Она почувствовала

себя оскорбленной. Поланецкий, по ее представлению, сделал нечто прямо противоположное тому, чего она вправе была от него ожидать: пренебрег не только ею, но и принятыми в обществе правилами обхождения с женщиной. И вся ее природа выразилась в том, что это огорчило ее больше, чем сам отъезд. Некоторые женщины требуют к себе тем большего внимания и уважения, чем меньше они их достойны, – это своего рода самообман; а ослепленные страстью мужчины из деликатности или лукавства потакают им до поры до времени. И в решении Поланецкого уехать через несколько дней куда-нибудь подальше она прежде всего усмотрела выходку неотесанного мужлана, который ставит ее таким образом в известность о разрыве. Супружеская измена сама по себе уже предполагает, правда, развязку именно такого рода, и а posteriori [65 – после свершившегося (лат.).] иначе и быть не может, ибо отношения, основанные на вероломстве, не бывают прочными. Однако на этот раз невежливость была уж слишком явной, и брошенные семена дали преждевременные всходы. Даже не отличавшаяся особой проницательностью Тереза без труда поняла, что иначе, как полным пренебрежением с его стороны, это не назовешь.

А Поланецкий думал в это время: «Как она меня, должно быть, презирает».

Оба не отдавали себе отчета в том, что все равно это рано или поздно должно было произойти.

Но Тереза не теряла надежды, что это лишь недоразумение, минутный каприз, что он, неизвестно почему, рассердился или обиделся на нее; словом, еще не так страшно, как кажется. Краткое объяснение, разговор наедине все поправят. И, полагая, что Поланецкий ищет такого разговора, она решила облегчить ему задачу.

После чая стала она собираться домой.

– Надеюсь, кто-нибудь из мужчин меня проводит, – сказала она и взглянула на Поланецкого.

Поланецкий встал. На его усталом, сердитом лице, казалось, было написано: «Хочешь правду знать, пеняй на себя». Но Вигель нечаянно расстроил все дело.

– Вечер такой чудесный, мы все пойдем, вас проводим.

Так и сделали. Плавицкий, принявший роль Терезиноного кавалера, галантно предложил ей руку и всю дорогу занимал ее разговором, так что с Поланецким, который шел рядом с пани Бигель, не удалось обменяться ни словом, кроме «спокойной ночи» у самой калитки.

Пожелание спокойной ночи сопровождалось и легким пожатием руки – своего рода вопросом, который остался без ответа. Поланецкий рад был, что объясняться не пришлось. Получилось бы только нечто путаное, а главное, мало приятное. Тереза столь же отталкивала его в отношении умственном, сколь влекла в физическом, и он счел за лучшее подальше уехать от нее. Впрочем, дом в Бучинеке снял он прежде всего потому, что, оказавшись в трудном положении, стал, как все энергичные люди, инстинктивно искать для себя дела, занятия – пусть и не прямо связанного с докучавшей ему причиной. При этом он не тешил себя мыслью, будто бегство от опасности означает уже вступление на путь добродетели или хотя бы приближение к нему, – ему казалось, что время упущено и все пропало. «Бежать надо было раньше, а сейчас я поступаю, как зверь, выкуренный из норы, который вынужден искать другое убежище». Свершив предательство по отношению к Марыне, он предает теперь Терезу из опасения, как бы связь их не стала для него обременительна, поступая с

ней и подло, и жестоко. Но одной подлостью больше или меньше – терять нечего, все равно спасения нет.

Однако в глубине души не мог он с этим смириться. Случись нечто подобное с человеком легкомысленным, тот махнул бы рукой да посмеялся. Поланецкий понимал: многие именно так и взглянули бы на это. Но для него отступление от высоких принципов, которых он дотоле придерживался, равнозначно было падению в тем более глубокую пропасть. «Стало быть, – думал он, – никакие принципы и убеждения в конечном счете ни от чего не спасают. И с ними, и без них можно шею себе свернуть». Это было выше его разумения. Почему? В чем причина? И, не находя ответа, Поланецкий, усомнившийся перед тем в своей порядочности и честности, засомневался теперь, в своем ли он уме, если не понимает, не может взять этого в толк.

И вообще в душе была пустота, не ощущал он даже привязанности к жене. Он потерял всякое уважение к себе, а с тем, казалось ему, – право и способность любить ее. Но с удивлением отметил, что сердится на нее, как будто она виновата в его падении. До сих пор он никому не наносил обид – откуда же ему было знать, что недолюбливают, даже ненавидят тех, кого сами обижают.

Расставшись с Терезой, всей компанией пошли домой. Марыня, идя рядом с мужем, не заговаривала, чтобы не мешать его предполагаемым мыслям и расчетам по поводу покупки дома; она знала, как он не любит отвлекаться в таких случаях. Вечер был теплый, и, вернувшись, они еще долго сидели на веранде. Бигель уговаривал Свирского остаться ночевать; такой Геркулес, шутил он, и не поместится в его крохотной бричке рядом с Плавицким. Поланецкому на руку было присутствие постороннего, и он поддержал Бигеля.

– Право, оставайтесь; а завтра утром поедем вместе.

– Да не терпится за работу приняться поскорей, – отвечал Свирский. – Хотел завтра с утра начать писать, а так время уйдет понапрасну.

– У вас срочное что-нибудь? – спросила Марыня.

– Нет, но когда не работаешь, навык теряется. Наше ремесло не любит перерывов, я же вон сколько проваландался: и в Пшитулов, и к вам, а краски-то сохнут.

Марыня и пани Бигель подняли его на смех: ему ли, такому опытному, набившему руку художнику, бояться навык потерять.

– Это только кажется так, что, добившись известного совершенства, можно на лаврах почить, – стал возражать Свирский. – Человек так уж устроен: вперед, иначе отстанешь. Другого выбора нет. О всякой прочей деятельности судить не берусь, но в искусстве нельзя сказать себе: «Хватит, хорошо!» Не поработаешь недельку – и не только рука не слушается, но и вообще как будто разучился. Что сноровку теряешь, это еще понятно, но и чутье художественное теряется, сам талант. Я думал, это только к живописи относится, там очень техника важна, но представьте, вот Снятынский, ну, этот, драматург, то же самое говорит. А у писателя в чем должна заключаться техника? Разве в том, чтобы ее вообще не было. А он вот тоже твердит, что надо писать и писать, идти вперед, сколько хватает сил, иначе покатишься назад. Служение искусству! Красиво звучит. А какая собачья жизнь у посвятившего себя этому служению; ни отдыха, ни покоя. Удел его – каторжный труд и вечный страх. Неужто таково предназначенье и всего рода

человеческого или мы только такие мученики...

На мученика Свирский, правда, мало походил и в патетику не впадал, жалуясь на свое ремесло, – говорил искренне и взволнованно, но именно поэтому слушать его было интересно.

– У, рожа! – наполовину в шутку, наполовину всерьез погрозил он кулаком луне, взошедшей над лесом. – Вертится себе вокруг Земли, и горя ей мало! Вот бы мне хоть капельку такой самоуверенности.

– Не ропщите, – рассмеялась Марыня, невольно следуя взглядом за рукой художника. – Не одни только служители муз не вправе почивать на лаврах. Работает человек над картиной или над собой, все это требует постоянных усилий, иначе дело плохо.

– Да, человек обязан трудиться! – вздохнул Плавицкий.

– Видите ли, – продолжала Марыня, подыскивая нужные слова и подняв брови от сосредоточенной работы мысли, – если человек себе скажет: «Я добр и умен», это само по себе уже не означает ни того, ни другого. Мне думается, что плывем мы к земле обетованной, но под нами – пучина, и кто перестанет работать руками, тот пойдет ко дну.

– Это все фразерство! – перебил Поланецкий.

– Нет, Стах, не фразерство, уверяю тебя! – сказала она, довольная, что нашлось удачное сравнение.

– Умные речи приятно и слышать! – отозвался Свирский с живостью. – Вы совершенно правы.

В душе Поланецкий тоже признавал, что она права, больше того, в окружавшем его мраке блеснул словно огонек надежды. Это ведь сам он сказал себе: «Я умен, добр и могу теперь отдохнуть»; это сам он забыл, что нельзя довольствоваться достигнутым, сам перестал работать руками, и его повлекло ко дну. Да, так оно именно и было! Овладев высокими заветами религии и морали, он замкнул их в своей душе, как деньги в кассе, сделал мертвым капиталом. Они лежали там без движения, как товар на складе. Точь-в-точь, как тот скупец, который любит себя своим золотом, а живет впроголодь. Нажив деньги, не пользовался ими, а, успокоясь, решил подвести баланс и приотдохнуть. И вот в обьявшем его мраке самоуспокоения забрезжил свет, и понемногу начала смутно вырисовываться та неясно еще осознаваемая истина, что такой баланс подводить нельзя, ибо жизнь – это неустанный, каждодневный титанический труд, который, по словам Марыни, кончается на земле лишь той, обетованной.

ГЛАВА LIII

– Игнаций, дорогой, почему бы вам не одеваться, как пан Коповский? – спрашивала тетюшка Бронич Завиловского. – Ну, конечно, стихи ваши для Лианочки выше всяких там нарядов, но вы не поверите, какой у девочки тонкий вкус, вплоть до самых мелочей. Вчера приходит и спрашивает с премиленькой такой гримаской (увидев, вы бы в восторг пришли): «Тетья, почему Игнась не надевает по утрам белый фланелевый

костюм? Мужчинам так идут белые костюмы!» Доставьте ей радость, купите себе белый костюм. У Юзека вон не один, а несколько таких костюмов, он все делает, чтобы Анетке угодить. Я понимаю, это пустяк, но женщинам очень приятно, когда их прихоти исполняют. Вы даже не подозреваете, до чего она наблюдательна. В Шевенингене все мужчины ходят до обеда в таких костюмах, и ей не понравится, если подумают, что вы не того круга человек, не знаете, как нужно одеваться. Вы ведь не захотите ее огорчить, купите себе такой костюм, ведь правда? Сделайте это ради нее и не сердитесь на меня за то, что рассказываю вам про Лианочкины пристрастия.

– Ах нет, что вы! – сказал Завиловский.

– Какой вы добрый! Что я еще хотела?.. Ах, да! И дорожный несессер купите из желтой кожи, хорошо? Лианочке очень нравится, когда у мужчины красивые саквояжи. А за границей ведь по одежке встречают... Вчера, скажу вам по секрету, рассматривали мы несессер пана Коповского! Очень красивый, изящный, куплен в Дрездене... Лианочке очень понравился. Взгляните на него и купите себе такой же. Простите, что вмешиваюсь, пристаю со своими пустяками. Я, видите ли, знаю женщин, а особенно Лианочку. С ней наилучшая метода – уступать в мелочах. Зато, когда коснется серьезного, она всем жертвует. Вы ведь слышали, какие ей блестящие партии представлялись, но предпочтение она отдала вам. Уступайте же ей в мелочах, хотя бы из признательности. Вы, как знаток человеческой психологии, вероятно, замечали, что жертвенные натуры проявляют это свое качество в исключительных обстоятельствах, а в обыденной жизни любят, чтобы им угождали.

– Может быть; никогда над этим не задумывался.

– Да, да, это так! И как раз такая натура у Лианочки! Вы еще ее не оценили, хотя должны бы – за одно уже то, что она вас выбрала. Но для вас, мужчин, это уже тонкости! Но погодите, если что, сами убедитесь, насколько чужд ей всякий эгоизм. Боже сохрани, конечно, но сами убедитесь.

– Я знаю, что вы любите Лианочку, – ответил слегка задетый Завиловский. – Но даже вы не можете думать о ней лучше меня.

– Вот люблю за такие речи! – воскликнула обрадованная пани Бронич. – Милый Игнаций! Коли так, разрешите мне как матери еще кое-что подсказать вам на ушко: ужасно ей нравятся у мужчин черные шелковые носки. Только обязательно шелковые, не забудьте! Она с первого же взгляда шелковые от фильдекосовых отличит. Не сердитесь, ради бога, что в такие мелочи вхожу. Вообще я человек очень деликатный, но не хотелось бы, чтобы вы в глазах Лианочки хоть настолечко уступали другим. Что поделаешь! У вашей невесты артистическая натура, она любит, чтобы ее окружали красивые вещи. Ее же не бедность ждет, чтобы отказывать себе в этом, правда ведь?

Завиловский достал из кармана записную книжку.

– Запишу себе для памяти ваши пожелания, – сказал он.

В словах его сквозила ирония. Многословность пани Бронич, ее манера изъясняться и особенно любовь ко всякому блеску и шикю подчас его раздражали. Коробило от всех этих замашек выскочки. И, не подозревая о надеждах, возлагаемых на состояние старика Завиловского, он недоумевал, как эта вроде бы деликатная женщина может без особого стеснения выпрашивать что-то и вообще вмешиваться в их

будущую жизнь. Прежде был он убежден совершенно в обратном: что тетушка Бронич с Линетой будут скорее чересчур щепетильны во всем этом, – и вот его постигло первое разочарование. Неприятна была и бестактность, с какой пани Бронич чуть не каждый день поминала блестящие партии для Лианочки – и ее самоотречение. Хотя на его взгляд никакого самоотречения тут не было. Он не грешил самоуверенностью, но цену себе знал, полагая, что нисколько не хуже, а лучше всех этих господ Коповских, Колимасао, Канафаропулосов и прочих сомнительных опереточных фигур. И сравнение с ними, да еще в их пользу, его глубоко возмущало. Любовь и поэтический дар были в его глазах таким богатством, которому и великие мира сего могут позавидовать. О том, как реально сложится их семейная жизнь, он не думал и представлял ее в чертах самых общих, но, чувствуя в себе силу противостоять любым препятствиям, не сомневался: они с Лианочкой будут счастливы. И потому, когда пани Бронич изъявляла намерение поторговаться на сей счет, еле сдерживался, чтобы не сказать ей, как это пошло.

Свирский в Пшитулове высказал однажды любопытное суждение о любви. Любовь, по его словам, не совсем слепа, но страдает дальтонизмом. Завиловский отнес это целиком к Основскому, ему и на ум не пришло, что у него самого налицо все признаки этого недуга. Был он слеп, однако лишь в отношении Линеты, во всем остальном проявляя необычайную проницательность. И многое из того, что он видел, приводило его в недоумение. Удивлялся он, не говоря уже о наблюдениях над Анетой, ее мужем и Коповским, еще перемене в отношении к нему тетушки Бронич – узнав его поближе и освоившись как с будущим родственником, мужем Лианочки, она перестала с ним церемониться, не высказывая уже прежнего благоговения перед ним, его талантом и стихами. Иной, позаурядней, и не заметил бы этого, а Завиловский заметил – и не мог себе никак объяснить. Только жизненный опыт мог бы ему подсказать: природы дюжинные, сталкиваясь с явлениями или людьми необыкновенными и свыкаясь с ними, перестают их ценить, невольно перенося на них свою же пошлость и низость и как бы уравнивая с собой. Так или иначе тетушка Бронич разочаровывала его все больше. Раздражал и пресловутый пан Теодор, услужливо поспешавший освятить своим загробным авторитетом любой поступок. Поражало и поистине птичье проворство, с каким пани Бронич подхватывала высокие понятия из области добра и красоты, которые тотчас же становились в ее устах пустым звуком.

Удивляла, наконец, недоброжелательность ее к людям. Заискивая перед стариком Завиловским, она за глаза отзывалась о нем пренебрежительно, а дочь его терпеть не могла. О Краславской и Терезе говорила всегда с насмешкой, о Бигелях – свысока, а имя Марыни донимало ее, как соринка в глазу. Когда Основскому, Свирскому или Завиловскому случалось хвалить Поланецкую, пани Бронич слушала с такой миной, словно они тем самым умаляли достоинства Линеты. И Завиловский убедился, что она никого на свете не любит, кроме своей «Лианочки».

Но именно это искупало в его глазах все ее слабости. Он еще не понимал, что чувство, ревниво сосредоточенное на ком-то одном, очерствляет сердце и, открывая его для одного, замыкает для других; что это особый вид эгоизма, столь же грубый и отталкивающий, как и всякий прочий. Полюбив Линету, сам Завиловский чувствовал, что стал лучше и великодушней, и полагал: человек любящий не может быть дурным, прощая во имя их общей любви тетушке Бронич ее недостатки.

Но едва доходило до Линеты, он сразу терял свою наблюдательность. Недюжинные природы бывают несчастливы в любви оттого, что, окружив женщину ореолом, не сознают потом, что они сами – источник того блеска, который их ослепляет. Такая же участь постигла и Завиловского. Линета с каждым днем все больше свыкалась с ним и со своим положением невесты. Сознание того, что он отличил ее, предпочел

другим, полюбив и сделав своей избранницей, переполнявшее вначале гордостью, льстившее самолюбию, постепенно притупилось, потеряло прелесть новизны. Все, что можно было извлечь лестного из своего положения, она с помощью тетушки Бронич извлекла. Восторженный хор, по выражению Свирского, умолк, а прекрасное изваяние было так близко, что она принялась выискивать изъяны в мраморе, вместо того чтобы им любоваться. Временами чье-то мнение или похвала еще перевешивали, возвращая к прежнему и преисполняя недоумения: неужели этот простой, влюбленный юноша, заглядывающий ей в глаза и готовый исполнить малейшее ее желание, и есть Завиловский, перед которым преклоняется даже Свирский, а Основский считает чуть не национальной гордостью? А она вот может, когда захочется, послать его принести ей клубники или вязанье! Это было приятное чувство, которое он еще доставлял ей, поражая властью над ним, в чем она иногда простодушно ему признавалась.

Как-то, гуляя, забрели они на заболоченный луг, и Завиловский принес ей из дома калоши. Затем, опустившись на колени, сам стал ее обувать, целуя ей ноги.

– Вы такой знаменитый – и калоши мне надеваете! – сказала она, глядя на его склоненную голову.

Завиловского позабавили ее слова.

– Потому что я очень, очень люблю тебя, – весело ответил он, подымая на нее глаза и не вставая с колен.

– Хорошо, но интересно бы знать, что люди-то скажут?

Это занимало ее, казалось, больше всего. Завиловский стал ее укорять за обращение на «вы», не заметив, каким небрежным тоном, будто речь шла о чем-то совсем неважном и давно известном, произнесла она это «хорошо». И дальнейшие его слова тоже слушала краем уха, а говорил он, что не кичлив и не считает себя человеком необыкновенным, но дарование свое ценит и самое большое счастье для него, служа высокому искусству, любить просто, поземному. И в подтверждение, обвив руками, прижал к груди предмет своей «земной» любви. При этом его выступающий подбородок выдвинулся еще больше вперед, как обычно, когда он воодушевлялся. Линета попросила его отучиться от этой дурной привычки, придающей ему суровое выражение: она любит видеть вокруг себя лица веселые. А как тяжело он дышал вчера, катая ее по пруду на лодке, припомнила она заодно, – наверно, от усталости. Но это «действует ей на нервы», хотя тогда она и промолчала. Ей вообще многое «действует на нервы», но больше всего – когда громко сопят при ней.

И с этим заявлением она сняла шляпу и стала обмахиваться. Светлые ее волосы развевались по воздуху, и в зеленоватой тени ольховника, сквозь листву которого там и сям пробивались солнечные лучи, она была сказочно хороша. Завиловский упивался ее красотой, а слова ее принял за каприз очаровательной девочки. Что там было в них еще – он не искал и не находил, потому что любовь его была проста, хотя и велика.

Но в простоте своей и возвышенна. И Лианочка, которая легкой паутинкой обвивалась вокруг крыльев орла, невольно уносилась вместе с ним в горные выси, где каждый удар сердца требовалось услышать, малейшее движение души угадать и понять и, дабы удержаться, приходилось напрягать весь свой ум. А она, по собственному ее выражению, была такая «ленивица»! А «орлу» и невдомек было, что

у нее на такой высоте голова кружится и усталость берет.

И в последнее время, просыпаясь по утрам и думая о предстоящей встрече с женихом и необходимости настраиваться на его высокий лад, она все чаще испытывала чувство ученика, которому задали трудный урок. Урок этот она однажды уже выучила, ответила, что знала, и смотрела теперь на свое положение невесты как на каникулы, сытая по горло собственной и чужой незаурядностью, оригинальными суждениями, меткими словечками – всем, что до сих пор служило ей оружием. Она чувствовала, что запасы истощены и колодезь вычерпан до дна. Оставалось только продемонстрировать свою артистичность, и несносный «Игнась» мог бы удовольствоваться тем, что она, указывая ему время от времени на широко раскинувшийся луг, полоску леса, на золотистую, словно напоенную солнцем рожь, восклицает: «Какая красота!» Для нее это труда не составляло. Правда, надо отдать ему справедливость, он не уставал восхищаться ее художественным чутьем, которое выражается в одном этом слове «красота»; но если так, чего же ему еще надо? К чему тогда понуждать ее делать над собой ненужные усилия всеми этими разговорами и манерой изъяснять свои чувства, наконец, самой любовью? А не подозревает, чего ей это стоит, делает бессознательно, тем хуже: нельзя же быть таким заумным, не отдавая себе даже отчета в этом. Пусть беседует в таком случае со Стефой Ратковской!

В обществе Копосика панна Каstellи отдыхала, тут не нужно было никаких усилий. Один вид его приводил в хорошее настроение, возбуждая улыбку и желание шутить. Поланецкий, тот еще мог приревновать как-то Коповского к Марыне; но Завиловскому, который витал исключительно в духовной сфере и все мерил этой мерой, в голову бы не пришло, что такая «одухотворенная» и «умная» девушка, как Линета, может смотреть на Коповского иначе, чем на объект веселых шуток, которые она беспрерывно с ним проделывала. Ведь даже пани Бронич при всей своей ограниченности и мысли не допускала, что Линета могла бы выйти когда-нибудь за Коповского! Сцена между ним и Анетой, свидетелем которой оказался Завиловский, Ничему его не научила – свою Лианочку считал он полной противоположностью Основской. Недаром же Лианочка его любила, его, кто, в свой черед, прямой антипод Копосика. Уже одно это исключало всякие сомнения. Лианочка дурачилась с Копосиком, писала его портрет, слушала его глупейшие, по мнению Завиловского, разглагольствования, подшучивая над ним, задорно на него поглядывая, но она ведь сущий ребенок, ей поиграть еще хочется, пошалить. Зато никто лучше ее не понимает, как он бесконечно глуп, и никто не поминает этого так часто. Сколько раз она высмеивала его тупость перед Завиловским...

Но не все смотрели на эти отношения как на невинную забаву, и прежде всего Анета, которая не раз говорила мужу, что Линетка просто кокетничает с Коповским. Юзеку тоже иногда казалось, что она права, и он вознамерился под каким-нибудь благовидным предлогом выпроводить Коповского из Пшитулова, но Анета не соглашалась. «А если у него серьезные намерения в отношении Стефы? С нашей стороны нехорошо было бы препятствовать счастью бедной девушки». Копосик был, по мнению Основского, вовсе недостоин этой славной девушки, но она действительно была бесприданницей, и потом, Анете очень хотелось их поженить, – он не смел ей перечить.

Поведение Линеты, однако, удивляло, даже возмущало Основского. «Ведь у нее жених есть, и какой! А она с этим дураком кокетничает, для этого самой надо безмозглой куклой быть». Но поначалу он гнал от себя подобные мысли. И, думая, будто Анета преувеличивает, стал следить за молодой девушкой; а поскольку был человеком неглупым, когда дело не касалось жены, заметил за Линетой такое, что, принимая

во внимание его дружескую приязнь к Завиловскому, настораживало. Не обнаружилось, правда, ничего грозившего изменить положение вещей, но возникал вопрос: что ждет в будущем Игнася, если Линета его не ценит и так мало развита в нравственном отношении – не только находит удовольствие в обществе этого безмозглого красавчика, но еще его завлекает, голову ему кружит? «Анетка судит о других по себе, – рассуждал Основский, – вот и ошибается, приписывая Линете возвышенные чувства; нет, она – кукла, марионетка; если бы не благотворное влияние Анеты и Игнася, душа ее спала бы непробудным сном». Так этот несчастный, страдающий любовным дальтонизмом человек, приближаясь, с одной стороны, к истине, с другой – удалялся от нее. Присматриваясь все внимательней к Линете, он без особого труда убедился, что, хотя эта «идеальная» натура как будто и не принимает Коповского всерьез – дурачится, дразнит его, даже выставляет на смех, но одновременно питает к нему и неодолимую слабость, род влечения всех светских вертушек к смазливим франтам. А Коповский, и без того дурак феноменальный, на свежем воздухе будто еще больше поглупел, зато его нежная кожа покрылась золотистым загаром, отчего и зубы стали казаться еще белей, и глаза ярче, а растительность на лице, выгорев, приобрела лоснистую шелковистость. Он был само изящество – благодаря не только молодости и красоте, но и своему тонкому белью, галстукам, изысканным и вместе простым костюмам. Озаренный солнцем, в белой английской фланели для лаун-тенниса, казался он олицетворением утренней свежести и неги. Мягкая ткань красиво облегла его гибкую, стройную фигуру; где же было костлявому, голенастому Завиловскому с его массивной вагнеровской челюстью тягаться с этим дамским любимчиком, напоминавшим одновременно и греческих богов, и картинки из модных журналов, и итальянские глиптотеки, и франтов за табльдотами в Биаррице или Остенде! Нужно было чудачкой быть, как эта тихоня Стефа, чтобы утверждать (наверно, назло), что он ходячий манекен. Линета посмеялась, правда, когда Свирский однажды пошутил, что, если спросишь Коповского о чем-нибудь невзначай, у него такой взгляд, словно он дурак в шестнадцатом поколении равно по мужской и женской линии. Вид у него и в самом деле бывал бестолковый, и он не сразу понимал, чего от него хотят. Но зато какая жизнерадостность, приветливость и при всей несообразительности – какая воспитанность, а за его бесподобную красоту и элегантность все прощалось.

Завиловский ошибался, полагая, что слабость к роскошеству питает только тетушка Бронич, а невеста его ведать не ведает о просьбах, с которыми та к нему обращается. Линета знала обо всем. Простясь с надеждой, что ее «Игнась» сможет когда-нибудь сравняться с идеалом, она хотела, чтобы он, по крайней мере, к нему приблизился. Влечение к внешнему лоску и шику было у нее врожденное, и тетушка, прося Завиловского купить то или другое, выполняла лишь пожелания Линеты. Та действительно с одного взгляда отличала шелк от фильдекоса и тянулась к шелку всей душой. Сам Коповский был для нее словно шелк среди других тканей. И не внушай ей Анета всякие возвышенные чувства и не удерживай сама молодого человека, Линета, несомненно, вышла бы замуж за Коповского. Основский, пришедший в конце концов к заключению, что так было бы лучше и для нее, и для Завиловского, но не знавший всей подоплеки, только удивился, почему этого не случилось.

Как-то он поделился своими мыслями с женой, но та рассердилась.

– Не случилось, потому что было невозможно. А ты думаешь, все должно следовать твоей логике? Я первая заметила, что она кокетничает с Коповским. Но кто же знал, что она способна на такое? Слыханное ли дело – невеста, а кокетничает с другим. Она это со скуки, назло Стефе, а может, в Завиловском хочет ревность возбудить. Кто ее там знает! Легко тебе теперь говорить и на меня свалить: я

этот брак устроила. А ты где раньше был? Вспомни лучше, как сам Линетой восхищался, какая, мол, возвышенная натура, вот именно она бы и составила счастье Игнася. Ничего себе возвышенная натура! Сейчас кокетничает с Коповским, а будь она его невестой, кокетничала бы с Завиловским! Горбатого могила исправит! По-твоему, она больше для Коповского подходит; ну, так надо было думать заранее, а не теперь, когда она уже невеста Завиловского. Но ты это нарочно, чтобы мне досадить: какую я сделала глупость, помогая Игнацию.

И разговор принял совсем другой оборот: Линета и Завиловский отошли на задний план, а на передний выступили жестокость и деспотичность Юзeka. В результате Основскому же пришлось оправдываться.

– Анеточка, как ты можешь даже допустить, что я хотел попрекнуть тебя? – развел он руками. – Я же знаю, ты из самых лучших побуждений. Но я люблю Игнася, и меня тревожит его будущее. Я от всей души желал бы ему точно такую женушку, как ты. Да пусть у меня язык отсохнет, если я птичку мою дорогую обидел чем-нибудь ненароком. Я просто так пришел, поговорить, посоветоваться, ты ведь у меня умница, всегда найдешь выход из положения.

И он стал целовать ей руки, плечи, лицо, нежно, с упоением, а она уклонялась, отворачивалась.

– Ах, Юзек, какой ты потный!

Он потный был почти всегда, потому что по целым дням играл в теннис, ездил верхом, занимался греблей, таскался по полям и лесам – все в угоду ей, чтобы похудеть.

– Скажи только: ты не сердишься? – спросил он, отпуская ее руку и с нежностью заглядывая ей в глаза.

– Ну, не сержусь!.. Только какой я могу дать совет? Ну, пускай поскорей уезжают в Шевенинген, а Коповский здесь со Стефой останется.

– Вот и выход! Да, пусть в начале августа уезжают. А тебе не кажется, что Стефа как-то не очень... что Копосик не по сердцу ей?

– Она скрытная. И вообще ты плохо женщин знаешь.

– Да, наверно, ты, как всегда, права. Но, по-моему, она недолюбливает Линету. Может, поэтому и на Коповского сердится?

– А что? – встrepенулась Анета. – Ты что-нибудь заметил между ним и Линетой?

– Копосик он и есть Копосик. Знает, что зубы у него красивые, вот и улыбается ей. Но если бы я заметил между ними что-нибудь такое, его давно бы уже здесь не было. Может, и Линета кокетничает с ним просто так... *sans le savoir*... [бб - безотчетно... (фр.)] Хорошего тут, конечно, мало, но не думаю, чтобы серьезное что-нибудь.

– Нужно бы выведать все-таки у Коповского, как он к Стефе относится. Знаешь что? Съезжу-ка я с ним сегодня верхом к лесной сторожке и поговорю дорогой. А вы в другую сторону поезжайте.

– Ладно, детка. Вот как славно у тебя головка работает!

И он пошел было к двери, но в раздумье остановился на пороге.

– Странно как, однако, и непонятно... Игнась на лету все схватывает, а ее боготворит – и ровно ничего не видит.

После полудня Коповский с Анетой верхами ехали по тенистой дороге к лесной сторожке. Провожая глазами всадницу, Завиловский zalюбовался ее стройной фигурой, похожей издали, в облегающей амазонке, на изящный кувшинчик.

«До чего же стройна и хороша! – подумал он. – Какая, однако, ирония судьбы: Основский, человек такой добрый и достойный, а вот обманут».

Да, была в этом ирония судьбы. Но не только в этом.

ГЛАВА LIV

После верховой прогулки Анеты с Коповским в лесную сторожку в настроении обитателей Пшитулова произошла перемена. Завиловский, правда, по-прежнему не сводил восторженных глаз с невесты, но в ее обращении с ним и остальными проскальзывало плохо скрытое раздражение. Коповский держался скованно, на Линету поглядывал украдкой, подходя к ней с явной поспешностью и только в отсутствие Анеты, зато много времени проводил в обществе Стефании, хотя с видом самым рассеянным. Анета была еще деятельнее обычного и принимала, к удовольствию Юзека, столь горячее участие во всем происходящем в Пшитулове, что еще дважды беседовала с Коповским наедине. Линета не поглядывала больше на Коповского с прежним полушутливым, полунасмешливым выражением, а грустные глаза Стефании задерживались на Завиловском с сочувствием; словом, происшедшая в Пшитулове перемена выражалась не только в настроениях, но и во взорах.

Но лишь привычному, наметанному взгляду удалось бы подметить эти перемены в праздной, бесцельной жизни, в которой тончайшие оттенки чувств, настроений и мыслей приобретают видимость важных событий, а чаще их предвещают. Внешне жизнь в Пшитулове оставалась тем, чем была, то есть отдыхом на лоне природы, веселым, нескончаемым пикником, в программу которого входили любовь, восхищение красотой, более или менее приятные беседы и развлечения. Усилия ума направлялись только на то, чтобы измыслить новые забавы и заполнить ими день, но и эту обязанность по большей части брал на себя Основский как хозяин дома.

Но однажды Завиловскому и Основскому вручили по конверту с траурной каймой, которые, точно удар грома, смутили эту безмятежно-размеренную жизнь. Принесли их, когда вся компания сидела за послеобеденным кофе, и дамы с беспокойством обратили взоры на мужчин, которые вскрыли конверты и читали вложенные в них карточки.

– Завиловский умер! – в один голос вскричали они.

Известие произвело на всех сильное впечатление. Пани Бронич как особа старого-закала, не запомнявшая те времена, когда при одном появлении нарочного в деревне чувствительные барышни падали в обморок, обмерла и лишилась дара речи. Стефания, которая жила некоторое время у Завиловских и была к ним

непритворно привязана, побледнела; панна Каstellи схватила тетушку за руку и, шепча: «Voyons chere, tu n'es pas raisonnable[67 - Ну, дорогая, будьте благоразумны (фр.)], – старалась привести ее в чувство. Анета, словно желая собственными глазами удостовериться в подлинности известия, взяла у мужа карточку и прочла вслух: «Светлой памяти Эустахий Завиловский опочил двадцать пятого июня и прочая, и прочая... Дочь его, с глубоким прискорбием извещая о кончине, приглашает родных и близких на погребение, имеющее быть в епархиальном костеле в Ясмене двадцать восьмого числа сего месяца...»

Наступило минутное молчание; первым его нарушил Завиловский.

– Я мало его знал и был против него предубежден, – сказал он, – но убедился, какой это на редкость порядочный человек, и теперь мне очень его жаль.

– Он тоже тебя полюбил, – заметил Основский. – Могу это подтвердить.

Тетушка Бронич, которая успела уже немного прийти в себя, сообщила, что подтверждения эти вполне обнаружатся лишь теперь, и пан Эустахий окажется, быть может, еще добрей, чем можно было полагать. «Он всегда Лианочку любил, а значит, не мог быть дурным человеком». Ей, то есть пани Бронич, он покойного Теодора напоминал, вот почему она была привязана к нему. Правда, он резковат бывал, не то что Теодор, всегда ласковый; но оба великодушные, господь бог обоим за это воздаст.

Затем, обратясь к Лианочке и напомнив о ее прирожденной впечатлительности, стала умолять не волноваться, не то опять под ложечкой заболит. Завиловский, охваченный чувством, что у них с Линетой первое общее горе, взял ее руки и стал целовать. Один Коповский нарушил подавленное настроение.

– Интересно, а как панна Елена отцовскими трубками распорядится? – высказал он свое глубокомысленное суждение о бренности всего сущего.

У старика, не признававшего ни сигар, ни папирос, была славившаяся на весь город коллекция курительных трубок, и он в свое время даже устраивал у себя своеобразные сидения трубокоров. Но беспокойный вопрос Коповского об участии трубок так и повис в воздухе: Завиловскому как раз принесли еще письмо – от Поланецкого, который тоже извещал о смерти старика и о дне похорон, – а Основский отвлекся, улавливая с женой о поездке в Ясмень.

Было решено не медля возвращаться в город, чтобы дамы успели купить кое-какие принадлежности траурного туалета, а назавтра, в день похорон, всем отправиться в Ясмень. Так и сделали. Завиловский отвез вещи к себе на квартиру, приготовил на утро черный костюм и пошел к Поланецким в надежде застать их тоже в городе. Но от слуги узнал, что был только барин и вчера же уехал в Ясмень и что господа вот уже недели две и живут там, поблизости, где у них дом, не то снятый, не то купленный.

Тогда Завиловский вернулся на дачу, чтобы провести вечер с невестой. Входя, он с удивлением услышал доносившиеся из дома звуки вальса Штрауса и спросил у Стефании, кто это играет.

– Лианочка с Коповским, – отвечала она.

– Как, и Коповский здесь?

– Да, уже с четверть часа.

– А Основские?

– Еще не возвращались. Анета ездит по магазинам.

Завиловский впервые ощутил недовольство своей невестой. Он понимал: покойник – чужой ей человек, тем не менее играть сейчас вальс в четыре руки совсем неуместно. Многоопытная тетушка Бронич тотчас обо всем догадалась по его лицу.

– Лианочка так расстроена, так утомлена, – упредила она его, – а музыка лучше всего ее успокаивает. И я побоялась приступа: у нее уже заболело под ложечкой, вот и предложила им сыграть что-нибудь.

Игра прекратилась, и неприятное впечатление рассеялось. Все в этом доме было полно для него недавних, милых сердцу воспоминаний. И, прохаживаясь теперь в сумерках под руку с Линетой по комнатам, он то и дело останавливался и припоминал какой-нибудь случай.

– А помнишь, – сказал он в мастерской, – как ты во время сеанса трогала меня за виски, чтобы повернуть мне голову, и я первый раз поцеловал тебе руку? А ты мне сказала: «Поговорите с тетей», – и у меня даже дыхание перехватило, только что сознание не потерял. Ты моя единственная, самая, самая дорогая...

– Ты тогда очень побледнел, – отозвалась она.

– Еще бы! У меня чуть сердце не разорвалось. Ведь я был уже без памяти влюблен.

Панна Каstellи устремила глаза вверх.

– Как странно!

– Что, Лианочка?

– Да так, начинается вроде бы незаметно, с пустяков, а потом втягиваешься, как в игру, и вдруг – замок защелкнулся.

– Да, замок защелкнулся! – повторил Завиловский, прижимая ее руку к груди. – И я никому не отдам мою ненаглядную.

Они перешли в гостиную, и Завиловский, не выпуская ее руки, указал на застекленную дверь.

– Наш балкон и наши акации.

Сумерки сгущались. Комната погрузилась в полумрак, только на позолоченных рамках картин бликами отсвечивал закат, точно чьи-то глаза подглядывали за молодой парой.

– Ты меня любишь? – спросил вдруг Завиловский.

– Ты же знаешь.

– Скажи: да!

– Да!

Он еще сильней прижал ее руку к груди и голосом, дрогнувшим от избытка чувств, признался:

– Ты и не представляешь, как я счастлив! Просто не можешь себе представить! И не знаешь, как я тебя люблю. Я жизнь за тебя готов отдать. Один волосок твой дороже мне всех сокровищ мира! Ты моя жизнь, моя вселенная, ты для меня все! Я жить без тебя бы не мог!

– Давай посидим, – прошептала Линета. – Я очень устала.

Они присели в темноте, касаясь друг друга плечами. Наступило молчание.

– Что с тобой? Ты весь дрожишь, – сказала шепотом Линета.

И то ли ей передались его чувства, то ли взволнованная воспоминаниями или его близостью, только она сама задышала прерывисто и, закрыв глаза, подставила губы для поцелуя.

И в ту же минуту раздались звуки вальса, игранного ею только что с Коповским: тот, видимо скупая в обществе Стефании и пани Бронич, опять сел за фортепиано.

А Завиловский, воротясь в свою холостяцкую квартиру, почувствовал себя так неприятно и одиноко, словно во временном пристанище, которое навсегда забудется, и подумал: золотая «Лианочка» так крепко обвилась вокруг его сердца, что он жить без нее не может.

Состоявшиеся на другой день похороны Завиловского были немногочисленны. Имена близ Варшавы принадлежали по большей части людям состоятельным, которые поезжали на лето за границу, да и в городе по той же причине не оказалось почти никого из знакомых. В костел набилось лишь множество крестьян, глазевших на гроб с некоторого рода удивлением: такой знатный, богатый пан – всего-то у него было вдоволь: и земли, и денег, и добра всякого, – а тоже вот зароят в могилу, как последнего бедняка. Иные с завистью поглядывали на дочь покойного – наследницу всего этого добра. И не только крестьяне, но и люди просвещенные – такова уж натура человеческая – не могли, даже во время заупокойной службы, не думать об этих миллионах, которые остались панне Елене в утешение, и на что она их употребит. Иные в молодом Завиловском как последнем мужском представителе рода видели наследника значительной доли состояния, задаваясь втайне вопросом, не перестанет ли этот удачливый поэт, а завтра, может, миллионер, писать стихи. И думали с необъяснимым злорадством: наверно, перестанет.

Но главное внимание приковывала к себе дочь покойного. Все дивились смирению, с каким переносит она утрату, тем более тяжкую, что после смерти отца у нее не осталось никого на свете, не считая молодого поэта, – даже друзей, которых она давно порастеряла. Слезы струились по ее словно окаменелому, помертвело-спокойному лицу, когда она шла за гробом, и, воротясь с похорон, упоминала она о смерти отца так, будто по меньшей мере несколько месяцев минуло с той поры. Пшитуловским дамам не дано было понять, что спокойствие ее – следствие глубокой веры, благодаря которой эта утрата в сравнении с той, другой, истерзавшей ей душу, печалит ее, но не убивает, вызывая слезы горести, а не

отчаяния. И хотя смерть наступила внезапно, Завиловский скончался как христианин. Со времени переезда в Ясмень он, ища утешения в религии, исповедовался два раза в неделю. И в тот день задремал в своем кресле с четками в руках, умерев во сне, а мучившие его боли за несколько дней перед тем прекратились, так что у него появилась даже надежда на выздоровление. Рассказывая обо всем этом тихим, монотонным голосом, Елена под конец обратилась к Завиловскому:

– Отец часто вас вспоминал. И за какой-нибудь час до конца сказал, что хотел бы повидаться, если вы будете в Бучинке у Поланецких, – чтобы ему сейчас же дали знать. Он очень хорошо к вам относился, ценил вас и любил.

– Дорогая Елена, – сказал Завиловский, целуя ей руку, – я скорблю вместе с вами.

В его словах и тоне было столь неподдельное благородство, что на глаза Елены навернулись слезы, а тетушка Бронич зарыдала в голос, и только флакончик с нюхательной солью, поданный панной Кастелли, удержал ее от истерики.

Елена же, словно не слыша, стала благодарить Поланецкого за помощь, – он занялся похоронами, взял на себя все хлопоты, которые смерть, кроме горя, обрушивает на близких. Отчасти взялся он за это из сочувствия, отчасти же потому, что хватался теперь за любое дело, лишь бы занять себя, отвлечься от мучительных мыслей.

Марыня по совету мужа, который боялся, как бы сутолока и волнение ей не повредили, не была на похоронах, но и до, и после не отходила от Елены и утешала ее как умела. Под конец пригласила ее вместе с пшитуловскими дамами в Бучинек, уговаривая пожить у них несколько дней. Поланецкий присоединился к просьбе, но Елена, с которой в Ясмене жила ее бывшая гувернантка, отказалась, говоря, что не будет одинока, да и не хотелось бы уезжать из дома, особенно первое время.

Пшитуловские дамы, напротив, охотно согласились, тем паче давно собирались в Бучинек, увещаемые Свирским, да и тетушке Бронич не терпелось расспросить Поланецкого поподробней о последних минутах покойного. Марыня, с интересом присматривавшаяся к Стефании, усадила ее с собой в экипаж, и, как это порой бывает, молодые женщины сразу прониклись горячей симпатией друг к другу. Марыня с первого взгляда, по печальным глазам Стефании, ее «притихшему», как выразился Свирский, лицу, угадала в ней натуру робкую, замкнутую, но тонкую и впечатлительную. Стефания, со своей стороны, слышала о Марыне много хорошего от Завиловского – другие пшитуловские дамы не очень-то любили внимать похвалам кому бы то ни было, кроме себя самих, – и, прочитав в глазах Марыни участие и доброжелательность, которых ей в одинокой, исполненной лишений жизни так не доставало, тоже почувствовала к ней расположение. Таким образом, в Бучинек приехали они уже добрыми приятельницами, и Свирский, явившийся следом за ними с Поланецким, Основским и Коповским, без труда понял, что мнение Марыни о Стефе самое лестное.

Но ему хотелось услышать это из ее уст. Между тем Марыня показывала гостям дом, который скоро должен был перейти к ним в собственность: Поланецкий решил на покупку. Особенно понравился всем сад, где росли старые тополи. Свирский, воспользовавшись тем, что общество разбрелось по аллеям, подал Марыне руку и на обратном пути спросил напрямик:

– Ну что? Каково первое впечатление?

– Самое хорошее. Ах, какая она, наверно, ласковая, добрая девочка? Постарайтесь с ней поближе познакомиться.

– Поближе? А зачем? сегодня же и сделаю ей предложение. Не верите? Даю слово, сегодня – и прямо здесь, в Бучинеке. Некогда мне раздумывать да присматриваться. В таких делах риск должен быть. Вот клянусь, нынче же ее руки попрошу.

Марыня засмеялась, думая, что он шутит.

– Мне тоже смеяться хочется – от радости, – сказал он. – И не беда, что это с похоронами совпало: я не суеверен. Наоборот, убежден, что с вашей легкой руки все будет хорошо.

– При чем же тут я? Ведь мы с ней только что познакомились...

– Не важно. Всю жизнь я остерегался женщин, а ее не боюсь ни капельки почему-то. Она не может быть черствая, не может.

– По-моему, тоже.

– Вот видите! А мне откладывать уже некогда. Согласится быть моей женой – всю жизнь буду ее носить вот тут. – Он сунул руку за борт сюртука. – А нет...

– Тогда что?

– На уток охотиться не поеду, нет-нет! Затворюсь в мастерской и неделю буду работать с утра до вечера. Это для меня поважней, чем вы думаете. Но сдастся мне, она не откажет. Этот дамский угодник, Копосик, ей не нравится. Она сирота, у нее никого на свете нет, а мне она такое благодеяние окажет, которого я вовек ей не забуду; ведь, в сущности, я добрый человек, хотя и боюсь стать мизантропом.

Впервые Марыня слышала его говорящим так серьезно.

– Да, вы добрый, вы никогда не будете мизантропом.

– Ошибаетесь, – возразил он с живостью, – от этого никто не застрахован. Я буду с вами откровенен. Вы думаете, я доволен жизнью? Вовсе нет! Это только кажется. Ну, заработал немного денег, добился известности. Но вряд ли есть другой такой мужчина, который бы так жаждал найти в женщине идеал. И что же? Узнал вас, узнал пани Бигель, еще, быть может, двух-трех женщин – добрых, умных, благородных, чистых как слеза... Не перебивайте! Я не собираюсь комплименты вам делать и не осуждаю никого, просто у меня сердце болит оттого, что большинство наших соотечественниц тщеславны, ограничены, черствы; все такие эгоистичные, мелочные, неблагодарные натуры, точно куклы из папье-маше, а сколько неискренности, сколько претензий! Больше чем достаточно, чтобы разочароваться в людях. – Он помолчал и прибавил: – А Стефания не такая: спокойная, мягкая и очень порядочная, такое у меня впечатление. Дай бог, чтобы так оно и было – и чтобы она мне не отказала.

Тем временем пани Бронич на глазах у всех отвела в сторону Поланецкого.

– О! Он мне мою молодость напоминал! – сообщила она, закатывая глаза. – И хотя долгие годы мы не поддерживали отношений, я всегда питала к нему самые дружеские

чувства. Вы ведь, наверно, слышали... Нет, вы не могли слышать – я никому не говорила, – что единственно от меня зависело, стать или не стать мне матерью Елене... Теперь хранить эту тайну нет нужды. Он дважды просил моей руки, и я дважды ему отказывала. Я всегда его почитала и уважала, но молодость, знаете, ей другое нужно, и я это нашла в моем Теодоре... Да, да, как же... Первый раз на Искии, второй раз в Варшаве. Он страдал, но что мне было делать? Вы на моем месте, наверно, поступили бы точно так же, ведь правда?

У Поланецкого не было ни малейшего желания соображать, как бы он поступил на ее месте.

– У вас ко мне какое-то дело? – осведомился он.

– О да! Мне хотелось узнать о его последних минутах. Елена сказала, он умер внезапно, но вы, живя по соседству, наверно, его навещали и, может быть, помните, о чем он думал, говорил? Какие выражал желания? Я спрашиваю совершенно бескорыстно. Помилуй бог, какие тут расчеты! Вы плохо Лианочку знаете! Просто покойный обещал свои познанские имения Игнасю отказать. Если он не сдержал обещания или не успел отдать нужные распоряжения – бог простит, как я ему прощаю. Не в деньгах счастье! Кто лучше Лианочки это понимает! Иначе не отказала бы она маркизу Колимасао или Канафаропулосу. А про господина Уфинского не слышали? (Тот самый, который палаццо купил в Венеции на доходы от своих знаменитых силуэтов. Последним силуэтом, который он вырезал, был силуэт принца Уэльского). Так вот, он в этом еще году сватался к Лианочке. Да, да, дорогой пан Станислав! Мы за богатством не гонимся, чего нет, того нет. Но мне не хотелось бы, чтобы Лианочка пожалела когда-нибудь, что пожертвовала собой, а, между нами говоря, она ведь на жертву идет, и, по мнению света, немалую!

Поланецкий был слишком вспыльчив, чтобы пропустить эти последние слова мимо ушей.

– Не имею чести знать ни маркиза Колимасао, ни господина Канафаропулоса, – отрезал он. – И вообще имена эти... мало что здесь кому-нибудь говорят. Панна Кастелли выходит за Игнация, как я полагаю, по любви, а в таком случае о каком самопожертвовании речь? Я человек прямой, говорю, что думаю. В практичности же Завиловского позволительно усомниться, его ведь не интересует, да и не интересовало приданое панны Линеты; но вы отлично знаете, что для нее он партия блестящая, даже по мнению света.

– Ах, вы не слышали, наверно, что Кастелли прямые потомки Марино Фальери...

– Признаться, это новость для меня и, думаю, для всех. Допустим, вы за всякими такими вещами не гонитесь, но коль скоро вы первая заговорили о самопожертвовании, позволю себе возразить: если даже оставить в стороне дарование Игнация и его положение в обществе, для панны Линеты это не мезальянс.

По лицу его и тону было ясно: попробуй пани Бронич заупрямиться, он выразится еще резче, и она, переменяв тактику, крепко пожала руку Поланецкому.

– Ах, как это благородно, что вы так горячо защищаете Игнация, как я благодарна вам за это! Но передо мной нет нужды его защищать, ведь я сама полюбила его, как родного сына. Кроме них двоих, никого у меня нет на свете, и если я спрашиваю, не знаете ли вы чего о последней воле покойного, то единственно ради Игнася. Знаю я, знаю: любят старики откладывать все на потом, как будто смерть можно

обмануть. Ее не обманешь, ох, не обманешь! Елене-то к чему все это богатство, а Игнась... он бы расправил крылья... Превыше всего для нас с Лианочкой его талант. Но если, боже упаси...

– Что я могу вам сказать? – отвечал Поланецкий. – Что покойный думал об Игнасе, для меня нет сомнения, и вот почему. Дней десять назад велел он принести разное старинное оружие – хотел мне показать, и я слышал, как он сказал дочери: «Отдашь после моей смерти Игнацию – тебе оно ни к чему, и запись делать в завещании тоже не буду». Из чего я заключаю: или он уже отписал что-то Игнасю, или собирался. Больше мне ничего неизвестно, и ни о чем я его не спрашивал. Если есть какое-нибудь новое завещание, мы через несколько дней узнаем, Елена его не утаит...

– Конечно, не утаит! Вы хорошо знаете эту честную девушку? Я, пожалуй, знаю получше и могу поручиться за нее. И вы даже и не стройте при мне всяких таких предположений. Чтобы. Елена утаила? Да быть такого не может!

– Не приписывайте мне, пожалуйста, того, что я не думал и не говорил. И вообще утаить завещание невозможно, оно пишется при свидетелях.

– Стало быть, нельзя утаить, свидетели не позволят. Я тоже подумала, нельзя. Не мог пан Завиловский забыть сделать запись хотя бы ради Лианочки, ведь он души в ней не чаял, на руках ее носил, еще вот такусенькую... – И пани Бронич показала руками, какой была Лианочка. – А может, еще меньше... – подумав, прибавила она.

Тут из сада начали сходить к завтраку гости, и они присоединились к ним. Глянув на Линету, Поланецкий подумал: наверно, хорошенькой, милой девчушкой была, когда Завиловский ее на руках носил. И ему вспомнилось, как сам он носил Литку.

– Значит, вы много лет знакомы с Завиловским? – спросил он.

– О да! – отвечала Линета. – Года четыре, пожалуй... Тетя, сколько лет мы уже знаем пана Завиловского?

– У тебя от любви все в голове перепуталось! – воскликнула тетушка Бронич. – Ах, вот завидный возраст, вот счастливое время!

Между тем Свирский, сидя подле Стефании, всем своим существом чувствовал, как непросто исполнить обещание, данное Марыне. Мешало не только присутствие посторонних; еще больше – робость, усугубляемая волнением и неуверенностью. «Оказывается, я еще больший трус, – повторял он про себя, – чем даже ожидал!» И дело не подвигалось. Хотел хотя бы почву подготовить, а говорил совсем не то и не так. Только теперь увидел он, какая красивая шея у Стефании, с перламутровым отливом возле ушей, и голос очень приятный, – отметив не без удивления, что робеет от этого еще больше. Гости после завтрака, как назло, не расходились. Дамы были утомлены похоронами, и, когда через час Анета объявила, что пора домой, Свирского охватили досада и вместе с тем облегчение. «Я не виноват, – подумал он, – намерение у меня было твердое».

Но вот дамы пошли усаживаться в экипаж, и вместо облегчения Свирскому стало жалко себя. Подумалось об одиночестве, о том, что не с кем разделить свою славу и достаток, о той полной участливого доверия симпатии, какую он почувствовал к Стефании с первого взгляда... И в последнюю минуту Свирский решил.

– Пан Юзеф звал меня в Пшитулов, – сказал он, подавая ей руку, чтобы проводить к экипажу. – И я обязательно приеду, но прихвативши кисти и мольберт – очень хочется всегда иметь перед собой вашу головку!..

И осекся, не зная, как перейти к главному, и вместе с тем понимая, что раздумывать некогда.

– Мою головку? – спросила Стефания с непритворным удивлением, не привыкшая, видимо, к таким знакам внимания.

– Могу только, как эхо, повторить с вашего разрешения: всегда перед собой, – понизив голос, торопливо отозвался Свирский.

Стефания с недоумением взглянула на него, но в эту минуту заторопила ее Анета, и Свирский, пожав ей руку, едва успел бросить: «До свидания!»

Экипаж тронулся. Лицо Стефании заслонили раскрытые зонтики, а художник, глядя вслед, спрашивал себя: «Объяснился я или нет?»

Однако он был уверен: Стефания всю дорогу будет раздумывать над его ответом. И даже был доволен своей находчивостью. «Удачно получилось», – думал он; странно только, почему вместо радостного волнения гложет какая-то неудовлетворенность. И слишком уж он спокоен для такого торжественного события.

И он в раздумье зашагал к дому от ворот. Наблюдавшая за ним Марыня сгорала от любопытства, но спросить не решалась, хотя мужа в комнате не было. Свирский сам все прочел в ее глазах и ответил точно на вопрос.

– Можно считать, объяснился.. Но не совсем.. Поговорить не удалось. Она и ответить не успела. Не знаю даже, поняла ли.

Не замечая в нем прежнего оживления и приписывая это тревоге, Марыня хотела ободрить его, но помешал приход мужа. Свирский стал прощаться, но, невзирая на присутствие Поланецкого, не захотел, по-видимому, оставлять ее в неведении.

– Завтра или сам поеду в Пшитулов, или письмо ей напишу; ответ, надеюсь, будет благоприятный, – сказал он, с чувством целуя ей руку.

Затем сел на извозчика, целиком погрузясь в свои мысли – и в скрывшее его от глаз облако пыли.

Будучи художником, имел он привычку даже невольно, бессознательно подмечать все кругом, но сейчас лишь краем глаза следил за дорогой, занятый совсем другим.

«Какого черта! – говорил он себе. – Что с тобой, Свирский? Или не готовился ты двадцать пять лет перескочить этот рубеж? Разве не свершилось то, о чем еще сегодня утром мечталось? Почему ты не ликуешь? Не радуешься? Почему не кричишь: „Вот оно! Женишься, старый бирюк! Наконец-то! Наконец-то!“

Но напрасно он себя подогревал. Душа оставалась холодной. И хотя разум внушал: ты счастлив, – ощущения такого не было.

И удивление его все возрастало. Ведь, кажется, шаг сознательный, добровольный. И

делает его не зеленый юнец, не вертопрах, не истерик, который сам не знает, чего хочет. Как рассудил, так и поступил, не меняя решения. И Стефания все та же милая, тихая девушка, которая – он знал – его не разочарует. Почему же не вдохновляет его мысль, что она станет его «женушкой», о какой давно мечталось?

«Сказал я, может быть, и находчиво, но недоставало чувства. Да, будь я неладен, чувства не было в моих словах – и ясности. Просто неудовлетворенность меня мучает, недоведенность до конца».

Тут течение его мыслей нарушили впечатления эстетические. На пологом склоне паслись овцы, и на этом залитом солнцем зеленом фоне казались они издали обрамленными золотом голубоватыми пятнами.

«Овцы-то, оказывается, голубые, выходит, правы импрессионисты, – пробормотал он. – А ну их к черту, женюсь, да и все!»

И вернулся к прерванным мыслям. Да!.. Внутреннее его состояние не оправдывало ожиданий и надежд. Бывает, самому себе не хочется в чем-то признаваться. Так и со Свирским. Он Стефанию не любил – вот простой ответ, который напрашивался сам собой. Но он избегал его, пока мог. Не хотелось признаваться, что не чувство к девушке, а желание жениться толкнуло его на этот шаг. Попытки объяснить себе свое состояние неуверенностью в ее согласии были только уверткой. Он ее не любил, только и всего! Обыкновенно сначала является женщина, а потом пробуждается любовь, он же искал женщину для удовлетворения своей потребности в любви, то есть шел прямо противоположным путем. Храм воздвигают, уже имея кумир, а он возвел храм, чтобы ввести туда свое божество, – и не потому, что возлюбил его; просто оно подходило к архитектурному стилю постройки. И уразумел в конце концов, почему давешняя решимость и нетерпение сменились безразличием. Понятно стало, почему, взявшись с таким пылом за свой план, он остыл, осуществив его.

И уже не удивление, а печаль овладела им. Лучше было бы, наверно, не размышлять, какова должна быть его избранница, не строить теорий, а взять да и жениться на первой приглянувшейся. Женщину любят такой, какая она есть, рассуждал он, а не прилагают к ней каких-то взятых с неба представлений о любви, ведь они сами – как дитя, рождаемое той же женщиной. И это было тем неприятней, что он считал себя способным на большое чувство, а к Стефании испытывает совсем не такое. Вспомнилась рассказанная Поланецким в Риме история молодого доктора, отвергнутого бездушной куклой, который говорил: «Я не идеализирую ее, но вырвать из сердца не могу!» Вот тот любил, любил ее больше жизни! И почему-то подумалось о Линете с Завиловским. В памяти всплыло его восторженное, блаженное лицо, виденное в Пшитулове.

И в нем снова пробудился художник, и личные переживания по долголетней привычке отступили перед эстетическими. Он забыл на минуту о себе, о Стефании, сосредоточась мысленно на лице Завиловского, определяя, что в нем самое особенное. Глубокая одухотворенность? Да! Но есть что-то еще более характерное.

И внезапно вздрогнул.

«Как ни странно, у него трагическое лицо».

Через несколько дней, вызванный Поланецким, Завиловский отправился в Варшаву. Уезжать ему не хотелось, но Елена настаивала, чтобы он присутствовал при вскрытии завещания. С этой целью они с Поланецким и поверенным покойного, адвокатом Кононовичем, отбыли в Ясьмень. Прошло два дня, в письмах к «Лианочке» жених щедро изливал свои чувства, но о завещании не поминал ни словом, и пани Бронич, которую его излияния приводили обычно в восторг, на сей раз сказала Анете по секрету, что писать так невесте довольно глупо, в этом умышленном умолчании вообще есть *quelque chose de louche* [68 - что-то подозрительное (фр.)]. И хотя первое письмо было писано еще в городе, а второе – едва по приезде в Ясьмень, маститая дама твердила, что можно бы намекнуть на свои упования, молчание же говорит о недоверии и просто обидном неуважении к Линеточке.

Основский, напротив, утверждал, что Завиловский об этом умалчивает из деликатности; между ним и тетужкой Бронич даже завязался небольшой спор, и тетужка как тонкий знаток человеческой души выложила ему свое убеждение, что мужчинам вообще не свойственны последовательность и деликатность. «Да, да, все вы непоследовательны, вы-то сами тут, может, ни при чем, да это дела не меняет». И не в силах дальше выносить эту неизвестность, под первым удобным предлогом укатила через два дня в город в надежде разузнать о завещании.

Вернулась она на другой день с Терезой Машко, которую прихватила на станции в Пшитулове: та, оказывается, давно уже собиралась навестить «дорогую Анеточку», – и с известием, что никакого нового завещания нет и единственной законной наследницей огромного состояния остается Елена. В Пшитулове об этом уже знали из третьего письма Игнация, но, подтвержденная тетужкой, новость произвела большое впечатление, так что появление Терезы прошло почти незамеченным. Все это было весьма странно, тем паче что все наперед знали: Завиловский беден. И невестой его Линета стала, когда никакого завещания еще в помине не было. Сблизились они при деятельном участии Анеты, которая без устали «поддавала жару», так что ничего не оставалось, кроме как мчаться «на всех парах» вперед. Повлиял и успех стихов Завиловского, его слава; сыграло свою роль также тщеславие Линеты и ее тетки, польщенных и покоренных тем, что такой известный, превозносимый поэт, чье имя у всех на устах, выбрал именно Лианочку. И наконец, барышня, которая богатству предпочла талант, ценности духовные, выростала в общем мнении, этой похвальной молвой тоже нельзя было пренебречь. А дальше все пошло своим ходом: жизненный поток подхватывает нас, как река – щепку, и несет вперед помимо нашей воли. Так или иначе панна Каstellи согласилась стать невестой человека необеспеченного, и, если б не явившиеся позже надежды, ни она, ни тетужка – вообще никто – и не подумал бы смотреть на Завиловского как на лишившегося наследства несчастливца. Благодаря же блеснувшей надежде Завиловский стал еще и выгодной партией, и, когда жизнь, подобно ветру, эту надежду развеяла, – так уж устроен человек! – все были разочарованы. Одни огорчились искренне, другие – в их числе Коповский и пани Машко (последняя сама не зная почему) были втайне довольны таким оборотом дела; даже такой добрый приятель Завиловского, как Основский, не избегнул разочарования.

«Мне хотелось быть богаче только ради тебя, – писал между прочим Линете Завиловский в последнем письме. – Но что богатство в сравнении с тобой! И веришь, я даже забыл и думать об этом и знаю: ты со своими высокими помыслами тоже не станешь огорчаться. А я, клянусь любовью к тебе, ничуть не огорчен. Клятва эта – самая для меня святая, так что верь мне. Знай, со мной тебе не грозят никакие беды и лишения, которые другим приходится терпеть, я тебя от них

огражу. Сокровище мое! Деточка моя и повелительница» и т. д. «Лианочка» показала письмо Анете, Стефании, а по приезде тети, разумеется, и ей. В одном только Завиловский не ошибся: пока в Пшитулове только и делали, что толковали о завещании, Линета посреди всех этих пересудов и сожалений хранила молчание. Пожалуй, лишь взгляд ее стал, как прежде, сонным и, когда речь заходила о Завиловском, едва приметная презрительная улыбка трогала ее губы, да, может быть, дольше обычного оставалась она поговорить с тетей по вечерам, после того как все расходились спать, но на людях эта «возвышенная натура» и голоса не подавала о завещании.

Как-то с глазу на глаз с ней Копосик заикнулся было о сем предмете, но она, приложив пальчик к губам, погрозила им, давая понять, что не позволяет об этом говорить. Даже сама тетушка при ней выражала свое расстройство очень сдержанно и осторожно. Зато в ее отсутствие вволю изливала накопившуюся на сердце горечь, настолько не зная удержу, что однажды чуть не поссорилась с Основским.

Основский, недовольный, что поддался было общему настроению, всячески старался теперь умалить значение катастрофы и доказать, что для Линеты это блестящая партия, даже в финансовом отношении.

– Не думаю, что Игнась перестал бы писать, получивши наследство, – говорил он, – но распоряжаться таким огромным состоянием – это отняло бы у него страшно много времени в ущерб творчеству. Знаете, тетя, при мысли об Игнации мне невольно припоминаются слова Генриха Восьмого, который сказал одному из принцев, пригрозившему Гольбейну: «Десять лордов я могу сделать и из десяти мужиков, стоит мне захотеть, но одного Гольбейна не заменят мне и десять лордов». Игнась – человек выдающийся. Поверьте, тетя, я всегда любил Линету и считал ее доброй и очаровательной девушкой, но она еще больше выросла в моих глазах, сумев оценить Игнация... Соединить свою судьбу с таким человеком – да этому любая женщина позавидовала бы. Правда, Анетка?

– Конечно, – откликнулась та, – каждой женщине лестно сознавать, что ее муж что-то из себя представляет.

– А меня, думаешь, не удручает, что по сравнению с тобой я ничтожество? – ответил он полушутя, полусерьезно. – Но что поделаешь! Теперь передумывать поздно! И вдобавок ничтожество это очень, очень тебя любит... – И добавил, обратясь к тетушке Бронич: – У Игнация в банке своих около двадцати тысяч, да еще капитал, оставленный стариком Завиловским, – он тоже перейдет к нему после смерти отца. Так что нуждаться они с Линетой не будут...

– Ну, конечно, – кивнула та снисходительно. – Лианочка знала, на что идет, давая ему согласие; ищи она богатства, достаточно было бы кивнуть Канафаропулосу...

– Ой, тетя! Помилосердствуйте! – смеясь, перебила Анета.

– Стало быть, ничего плохого не случилось, – сказал Основский. – Замуж Елена, наверное, не выйдет, и все состояние рано или поздно перейдет если не к нему, то к его детям – только и всего! – Но, видя расстроенное лицо тетушки, прибавил: – Ну, тетя, не унывайте! Положитесь на волю божью! Игнаций хуже от этого не стал...

– Конечно, – ответила она кисло. – Конечно, это дела не меняет. Завиловский талантлив, этого никто не отрицает, но никто не станет отрицать, что ему и не снилась подобная партия. Да! Об этом двух мнений быть не может. И конечно, речь

не о состоянии, тем более что разное поговаривают о том, как старик его нажил. Бог ему судья, авось простит за то, что он так бессовестно обманул меня... Мы вот с Линеточкой только что молились за него. Ну, да что поделаешь!.. Лучше бы, конечно, не было у него этой привычки говорить неправду, может, это у них фамильная черта... Да и Игнаций мог бы нам с Лианочкой не так часто на наследство намекать...

– Позвольте! – перебил ее Основский с горячностью. – Никогда он об этом не говорил. Извините, тетя, но это уж слишком! Он даже ходить к нему не хотел, вы сами при мне его уговаривали.

Но тетушку было уже не удержать.

– Тебе не говорил, а мне так говорил, – возразила она с раздражением. – И Лианочка может подтвердить. И вообще не стоит об этом. Все остается по-прежнему, и огорчаюсь я совсем по другой причине. Ты, Юзек, не знаешь, что такое материнские чувства, и вообще вам, мужчинам, не дано понять, как страшно матери отдавать своего ребенка чужому человеку. Совсем недавно я узнала, что у Завиловского при всех его достоинствах деспотический характер. Да, да! Я и раньше подозревала... А для Лианочки это смерти подобно... Сам Поланецкий этого не отрицает... Он сам, хотя они с Игнацием друзья (насколько мужчины вообще могут быть друзьями), довел до моего сведения, что отец его был самодур и в результате помешался, а это ведь передается по наследству. Я знаю, Игнаций Лианочку любит (если мужчины вообще способны любить), но, как знать, надолго ли его хватит? Он ведь немножко эгоист, этого ты сам не станешь отрицать; впрочем, все вы, мужчины, эгоисты. Что же тут удивительного, если меня все чаще страх берет: а ну как моя девочка достанется деспоту, безумцу и эгоисту...

– Вот чушь! – воскликнул Основский и обратился к жене: – Просто уши вянут! С ума можно сойти!

Анету их разговор забавлял получше всякого спектакля. Пререкания мужа с пани Бронич всегда доставляли ей удовольствие, но на сей раз сцена обещала быть особенно забавной.

– И потом, что за общество!.. – продолжала тетушка, с некоторым даже сожалением глядя на Основского. – Свирские эти, Поланецкие, Бигели!.. Завиловскому многое прощается за талант, но разве для Лианочки это подходящее общество?.. Ну, что делать! Различия в положении – они от бога, но отсюда и разница воспитания. Ты, Юзек, не отдаешь себе в этом отчет (мужчины вообще таких вещей не понимают), но есть мелочи, оттенки, которые приобретают огромное значение. И потом, ты забываешь: Лианочка не такая, как все, малейшее разочарование, обида может ей стоить жизни. Сам подумай, кто они такие, между нами говоря, все эти Поланецкие, Свирские и прочие, с кем водит компанию Завиловский? А ведь Линеточке, может быть, с ними жить!

– Ах, вот вы как поворачиваете? – перебил Основский. – Ладно, попробуем по-вашему. Прежде всего, кто такой старик Завиловский? Это вам хорошо известно, недаром вы добивались его расположения. Но уж коли вы завели речь о подходящем обществе, осмелюсь вам доложить: парвеню – не «все эти Поланецкие», а мы с вами, и это нам знакомство с ними делает честь. Меня никогда ничьи родословные не интересовали, но, ежели вам так угодно, извольте уж выслушать. О Свирских вы должны были слышать, что они княжеского рода. Та ветвь их, которая переселилась в Польшу, перестала себя титуловать, но права на княжеский титул не утратила.

Вот кто такие Свирские. А что до нас, дед мой был управляющим имением на Украине, и я этого не скрываю; о происхождении Броничей вы лучше моего знаете. Я этого предмета никога не касался, но, коли уж здесь все свои, стесняться нечего. Кто Кастелли, вам тоже известно...

– Кастелли свой род от Марино Фальери ведут! – запальчиво воскликнула тетушка.

– Дорогая тетя! Повторяю, здесь все свои.

– Пожелай только Лианочка, и она могла бы стать маркграфиней Колимасао.

– *La vie parisienne!*[69 - Парижская жизнь! (фр.)] – ответил Основский. – Не слышали про такую оперетку? Там тоже есть швейцарский адмирал.

Анету перепалка эта несказанно забавляла, Основский же подумал, что ему как хозяину дома не пристало говорить пани Бронич неприятности.

– Но к чему все это? – сказал он миролюбиво. – Вы же знаете, как я Лианочку люблю, мне от всей души хотелось бы, чтоб она была достойна Игнася.

Но его слова только подлили масла в огонь. Услыхав такое кощунство, пани Бронич потеряла всякое самообладание.

– Что? Лианочка?.. Чтобы она достойна этого...

К счастью, дальнейшее объяснение прервал приход Терезы. Тетушка замолчала, не в состоянии вымолвить ни слова от возмущения; Анета спросила Терезу, что поделявают остальные и куда все подевались.

– Пан Коповский, Лианочка и Стефа остались в оранжерее, – ответила Тереза. – Они там орхидеи рисуют. А пан Коповский нас развлекал.

– Это чем же?

– Разговорами... мы так смеялись. Он рассказывал, что его знакомый, некто пан Выж, большой знаток геральдики, уверял его совершенно серьезно, будто в Польше есть герб, в котором изображен стол с ножками.

– Чей же это? Уж не Коповских ли? – отозвался Основский весело.

– А Стефа тоже в оранжерее? – поинтересовалась Анета.

– Да. Все рисуют.

– Сходим к ним?

– Хорошо.

В это время принесли письма; Основский стал просматривать, кому они.

– Это все Анетке, такая маленькая литераторша, а какая у нее всегда огромная корреспонденция... А вот это вам, – протянул он Терезе конверт, – вот это тете, а это Стефе... Знакомый почерк, очень знакомый... Разрешите, я сам ей снесу?

– Иди, иди, – с готовностью согласилась Анета, – а мы пока письма прочтем.

Основский направился к оранжерее, с любопытством разглядывая конверт.

– Чья же это рука?.. – бормотал он. – Похоже, что... Где-то я этот почерк видел!

Он нашел всех троих под большой пальмой у желтого железного столика, на котором стояла орхидея. Девушки срисовывали цветок в свои альбомы. А Коповский в белом фланелевом костюме и черных носках, с тонкой папироской, которую только что достал из лежавшего возле цветочного горшка изящного портсигара, заглядывал им через плечо.

– Добрый день, – сказал, подходя, Основский. – Ну как мои орхидеи? Правда, хороши? Вот великолепные цветы! Стефа, тебе письмо... Извинись и возьми, прочти. Почерк мне очень знаком, но я, хоть убей, не могу припомнить, кому он принадлежит.

Стефания вскрыла конверт и, пробежав письмо глазами, изменилась в лице. Она побледнела, потом покраснела и опять побледнела. Основский наблюдал за ней с любопытством.

– Вот от кого, – дрогнувшим голосом сказала она и показала подпись.

– А!.. – сказал Основский, сразу обо всем догадавшись.

– Можно попросить тебя на несколько минут?

– Конечно, детка, – ответил искренне тронутый Основский. – Я к твоим услугам.

И они вышли из оранжереи.

– Наконец-то нас оставили одних, – простодушно сказал Коповский.

Линета помолчала и, взяв со стола его замшевый портсигар, стала водить им по щеке. Коповский устремил на ее красивое лицо свои чарующие глаза, от взгляда которых Линета просто таяла. Она давно знала, что он из себя представляет, и беспредельная его глупость не была для нее тайной, но изящество и несравненная красота этого глупца волновали ее плебейскую кровь. Каждый волосок в его бороде имел для нее странную, неотразимую прелесть.

– Вы заметили, что с некоторых пор за нами следят, как не знаю за кем, – продолжал Коповский.

А она, будто не слышала, продолжая водить портсигаром по щеке, потом поднесла его к губам.

– Какая замша мягкая, – сказала она. – Попробуйте...

Коповский взял портсигар и стал целовать то место, к которому прикасалась Линета.

Оба притихли.

– Нам нельзя тут оставаться, – сказала Линета.

И, взяв горшок с орхидеей, хотела поставить его на одну из полочек, которые лесенкой протягивались в теплице, но не могла дотянуться.

– Разрешите мне, – предложил Коповский.

– Нет, нет! – ответила она. – Еще уроните и разобьете. Я с той стороны зайду.

И с этими словами с горшком в руках зашла с другой стороны, где между полками и стеной оставался узкий проход. Коповский последовая за ней.

Линета взобралась на кучу кирпичей, поставила горшок на самую верхнюю полку, но тут кирпичи, дрогнув, разъехались под ней, и она пошатнулась. Стоявший сзади Коповский подхватил ее за талию. И так на несколько секунд застыли они в неподвижности: она – прислонясь спиной к его груди, он – прижимая ее к себе. Линета все больше стала клониться назад, наконец голова ее оказалась на груди Коповского.

– Что вы делаете... нехорошо! – прошептала она, обдавая его горячим дыханием; грудь ее высоко вздымалась.

А он вместо ответа впился губами в ее губы. Руки ее быстрым движением крепко обвили его шею, и она, не переводя дыхания, стала исступленно отвечать на его поцелуи.

В ослеплении страсти оба не заметили, как в оранжерею вошел Основский. Неслышно приблизившись по песку к лестничке, он с искаженным, бледным как полотно лицом уставился на них.

ГЛАВА LVI

Завиловский меж тем то приезжал на несколько часов в Бучинек, то спешил обратно в Варшаву – и так каждый день, в зависимости от дел и работы. Свадьба должна была состояться осенью, сразу по возвращении из Шевенингена, и Поланецкий советовал ему заранее подыскать квартиру и обставить ее хоть как-нибудь, на первый случай. Они с Бигелем предложили ему во всем этом свою помощь, а пани Бигель – по части хозяйственной. Наезды его в Бучинек связаны были и с Еленой. Хотя по завещанию, составленному год назад, она оказалась единственной наследницей огромного состояния, она прямо говорила: отец своей воли не изменил лишь потому, что не предвидел близкой кончины и откладывал это со дня на день, по обыкновению людей пожилых. По ее убеждению, отец несомненно хотел оставить что-то своему родственнику и продолжателю рода и ее долг – исполнить его желание. Как именно она это сделает, никто не знал, да и ей самой не очень было ясно до составления точной описи недвижимого имущества и капиталов. Но тем временем она уже отдавала Игнацию все, что, по ее представлению, должен был наследовать мужчина. Подарила почти весь гардероб покойного, большое и ценное собрание оружия – предмет гордости отца, великолепных лошадей, к которым он питал слабость и продажу которых Поланецкий взял на себя, и, наконец, ту самую коллекцию трубок, судьбой которых был так озабочен Коповский.

Холодная и неприступная с виду, с нерасполагающим выражением лица, всегда сурового и сосредоточенного, Елена отнеслась к Игнацию с нежностью прямо-таки

материнской, словно унаследовав от отца и привязанность к нему. С ним и голос ее смягчался, и взгляд. И в самом деле, ведь, кроме Игнация, носящего одну с ней фамилию и все-таки родственника, хоть и дальнего, у нее никого на свете не было. И, узнав о намерении Завиловского обставить квартиру, она попросила Поланецкого положить в банк на имя молодого человека довольно значительную сумму, не говоря ему пока об этом.

Завиловский с его отзывчивым юношеским сердцем быстро привязался к ней, как к старшей сестре, и она это почувствовала. Это была взаимная симпатия, опиравшаяся на доверие и желание друг другу добра. Со временем такая симпатия перерастает обычно в прочную дружбу, которая помогает сносить жизненные невзгоды. Но пока Елена занимала лишь скромное место в его сердце, ибо и сердцем его, и душой, и всем существом безраздельно владела Лианочка – кумир, которому поклонялся он с одержимостью фанатика.

Разрываясь между Бучинком и Варшавой, Завиловский вертелся, как белка в колесе, успевая, однако, заводить и новых знакомых. Одним из них стал старик Васковский, который как раз воротился из своего паломничества к «самым юным из ариев». Он объездил побережье Адриатического моря, весь Балканский полуостров, и здоровье его настолько пошатнулось, что Поланецкие взяли его к себе в Бучинек: лишь здесь можно было оградить его от домогательств и обеспечить ему уход, которого одинокий старик нигде бы не нашел. Завиловский, сам человек экзальтированный, готовый вдохновиться всякой возвышенной идеей, хотя бы и нелепой в глазах респектабельных недоумков, с первого дня знакомства полюбил старого чудака, заинтересовавшись его теорией об исторической миссии молодых арийских народов. Он уже слышал о ней от Свирского и Поланецких, считая ее прекрасной и возвышенной мечтой. Но и его, и Свирского, и Поланецких удивило, что после возвращения он почти о ней и не вспоминал. А если спрашивали о его книге или путешествии, отвечал: «Не в нашей власти противиться воле господа нашего Иисуса Христа», – устремляя взгляд в пространство, словно прозревая там нечто недоступное прочим смертным. И лицо его принимало при этом такое грустное, страдальческое выражение, что никто не решался больше ни о чем спрашивать. Приглашенный Поланецким доктор заявил, что слишком жирная национальная кухня «младших братьев ариев» наградила старика острым катаром желудка, к чему присоединяется также *marasmus senilis*[70 – старческое слабоумие (лат.)]. Но чутье подсказывало Завиловскому, что, кроме катара желудка, Васковского мучает еще и другое: он усомнился в том, чему верил и посвятил с маниакальностью идеалиста всю жизнь. Один Завиловский понимал весь трагизм этой борьбы с собой, этого *ergo erravi!*[71 – итога заблуждений (лат.)] и сочувствовал старику вдвойне: как добросердечный человек и поэт, в чьем воображении тотчас возник замысел поэмы. Поэтическим оком он уже видел старца, который предается на закате у своего жилища размышлениям о неудавшейся жизни, несбывшихся надеждах, словами «суета сует» встречая смерть, чья поступь слышится все ближе.

Но старик еще не так далеко зашел в своих сомнениях, как представилось было Завиловскому. Правда, «младшие братья арии» его разочаровали, но осталась вера, что христианство себя еще не исчерпало и грядущую эпоху ознаменует широкое распространение его духа, которым, кроме отношений частных, проникнутся и общечеловеческие. «Историческим пресуществлением Христа» по-прежнему казалось ему будущее. И верилось, что миссию эту – заветы любви претворить в историю – осуществят «младшие братья арии». Лишь совершив путешествие в придунайские страны и отведав тамошнюю неудобоваримую пищу, пал он духом, ибо понял: прежде еще целым поколениям суждено, вроде него, помереть от катара желудка.

Замкнувшись в себе, он подолгу молчал и, судя по его отрешенному виду, глубоко страдал: но это было не так. Просто вся мысль его сосредоточилась на той же идее, хотя он не раскрывал рта, – так стрелки часов, у которых кончился завод, показывают одно и то же время; и когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал невпопад, не в силах отвлечься. К действительности возвращался он, словно очнувшись ото сна. И одевался с каждым днем все небрежней, неуклонно забывая, что пуговицы – к примеру, на жилете – нужны, чтобы застегиваться. Вечно рассеянный, со своими близорукими и вместе младенческими глазами, казалось, не видящими, а лишь механически отражающими окружающее, с озабоченным лицом, усеянным от плохого пищеварения красными пятнами, в неряшливом платье и необъятных, неизвестно почему вдвое шире обычного брюках, он производил комическое впечатление, служа предметом для насмешек, не всегда безобидных. Должно быть, такой же прием встретил он и у «младших братьев ариев». Вообще его частенько принимали за помешанного, относясь к нему даже с сочувствием. И, не стесняясь его присутствием, часто произносили слово «тихий»; но он будто и не слышал.

Но все-таки понимал преимущества жизни у Поланецких, где никто над ним не смеялся и в то же время не жалел, как жалеют идиотов. Впрочем, несмотря на неудобоваримые кушанья, которыми потчевали его «младшие арии», и катар желудка, свойственной ему доброжелательности и терпимости он не утратил. Это был все тот же добрый старик, который, забывая о себе, не забывал о других. По-прежнему любил он Марыню, Поланецкого, пани Эмилию, Свирского, Бигелей, даже Машко, словом, всех, с кем свела его жизнь. У него вообще было странное понятие о людях: будто они живут не сами по себе, а вольно или невольно чему-то служат, как пешки в руке вседержителя, передвигаемые с ему одному ведомой целью. А служителей муз, в том числе Свирского, почитал за избранных божиих, посылаемых для «всеединения».

Таким был в его глазах и Завиловский, чьи стихи знал он еще раньше. А увидев самого автора, воззрился на него, как на редкостное диво; на другое утро, когда молодой человек уехал в город и за чаем зашла о нем речь, Васковский поднял палец.

– О, это птаха, свыше ниспосланная! – сказал он Марыне загадочно. – Он и сам не ведает своего предназначения.

Марыня рассказала о предстоящей женитьбе Завиловского и как он любит свою невесту, с похвалой отозвавшись о доброте ее и красоте.

– Да! – выслушав, сказал старик. – Вот видишь? И у нее свое предназначение, и она избранница божия. Бог ей повелел поддерживать священный огонь, а коли так, избрана и она, надо чтить и ее... Благодать над ней. – Он задумался и прибавил: – Они пролагают человечеству путь в будущее.

Поланецкий взглянул на жену, давая ей понять, что старик заговаривается. Но тот, прищурясь и глядя в пространство, продолжал рассуждать:

– На небе есть Млечный Путь, и бог по хотению своему, беря из него персть, творит новые миры. А мне кажется, есть и духовный млечный путь, слагаемый всеми мыслями и чувствами людскими. Там все: и творения гениев, и свершенья талантов, и открытия великих умов, и верность женских сердец, там человеческая доброта и мука, и, хотя все обращается в прах, ничто не пропадает, ибо из этого праха волею божией творятся новые сокровища духа.

Он заморгал, задумавшись над сказанным, потом, точно очнувшись, стал застегивать ошупью жилет, приговаривая:

– У той панны душа должна быть чиста как слеза, коль скоро господь ее избрал, повелев быть жрицей этого огня.

Дальнейший разговор был прерван появлением Свирского. Для Марыни это не было неожиданностью: Свирский обещал приехать сам или написать, как у него дела. Завидев его в окно, Марыня по его виду заключила, что все благополучно. Но, войдя и поздоровавшись со всеми, художник посмотрел на нее очень загадочно. Она уже не знала, что и думать.

Ему, очевидно, не терпелось с ней поговорить, причем не откладывая, но не хотелось начинать при Поланецком и Васковском. Поланецкий, посвященный женой в его затруднения, сам пришел ему на помощь.

– Ей полезно побольше двигаться, – указал он на жену, – пройдитеесь-ка с ней по саду: я знаю, вам поговорить надо.

Через минуту оба уже шли тополевой аллеей. Широкобедный, крепкого сложения Свирский, шагая чуть враскачку, обдумывал, с чего начать; Марыня, слегка подавшись вперед, с любопытством на добром своем лице молча ожидала. Оба готовы были к разговору, но Свирский начал издали.

– Вы все рассказали мужу? – спросил он.

Марыня покраснела, будто в чем-то уличенная.

– Но Стах так любит вас... – возразила она, – и потом, у меня нет секретов от него.

Свирский поцеловал ей руку.

– Да я ничего против не имею! И ничего тут нет постыдного, как и в том, что я получил отказ.

– Быть не может! Вы шутите, – сказала, остановясь, Марыня.

– Честное слово! – И, видя ее волнение, он стал ее успокаивать: – Не принимайте этого к сердцу еще ближе моего. Случилось то, чего и следовало ожидать. И тем не менее, видите, я приехал, стою вот, разговариваю, пулю в лоб себе не пустил и не намерен этого делать, хотя факт остается фактом.

– Но почему? Что она сказала?

– Почему? Что сказала? – повторил Свирский. – Вот тут, знаете ли, вся она и есть, самая горькая для меня пилюля. Честно говоря, я не был в Стефанию влюблен. Она мне понравилась, да, но мне ведь все девушки нравятся; вот, думаю, доброе, благородное сердце – и сделал предложение. Больше по голосу рассудка – и еще, что пора жениться. Даже неприятный осадок остался от всего этого. И в какую-то минуту подумалось: «Собственно, то, что сказано ей в Бучинеке, объяснением в любви не назовешь. Поэтому, пока не поздно, поставь-ка на этом крест. Но стыдно стало. Какого черта, сказавши „а“, надо говорить „б“. И написал ей, назвав вещи

своими именами, и вот ее ответ! – Он достал из кармана сюртука письмо, предварив чтение краткими замечаниями: – Сначала обычные в таких случаях фразы... Ну, вы сами знаете... Что ей, дескать, очень лестно, что почла бы за счастье для себя (хотя почему-то от него отказывается), что питает симпатию ко мне (симпатия-то симпатией, но для замужества этого недостаточно), а в конце, значит, так: „Не могу ответить вам взаимностью, коей вы заслуживаете. Выбор свой я уже сделала, и, если не буду в жизни счастлива, то в неискренности не смогу себя, по крайней мере, упрекнуть. После того, что у нас произошло, больше писать не могу, но заверяю вас, что вечно буду благодарна вам за внимание и буду отныне просить бога помочь вам найти сердце, вас достойное, и послать вам свое благословение...“ Вот и все!

Они помолчали.

– Значит, она любит другого, а все остальное, обо мне, – пустые слова.

– Наверно, вы правы, – с грустью сказала Марьяна. – А жаль, по письму видно, какая она славная.

– Славная! Славная! – вскричал Свирский. – Все они славные! Но почему-то обидно. Ну, ладно, я ей не нравлюсь, насильно мил не будешь. Ну, хорошо, любит другого. Тоже дело ее. Но кого? Не Основского же, не Завиловского? Тогда кого же? Неужто дубину этого, истукана, красавчика, портновский манекен, кумира горничных! Видали вы на штуках ситца ярлыки с изображением красавца? Это же вылитый Коповский! Выставить его в витрине парикмахерской – девицы стекло бы разбили. Помните, назвал я его гурией мужского пола? Вот что противно! Вот что грустно! – Свирский все больше распалялся, делая особенное ударение на этих своих «вот что». – Это не в пользу женщин говорит. Значит, будь ты хоть Ньютоном, Рафаэлем, Наполеоном и пожелай в награду за все только преданное женское сердце... Так нет же, нет! Им сусального херувимчика подавай! Вот они, женщины!

– Не все! Не все! Вы человек искусства и должны знать, что такое любовь. Захватит – и всякому умствованию конец.

– Да, знаю, что не все таковы, – спокойно отвечал Свирский. – А любовь... Вот вы говорите: «Захватит – и умствованию конец». Может, и так. Вроде болезни... Но есть болезни, которым более совершенные существа не подвержены. Вот, например, ящур, заболевание копыт. Но ведь, прошу прощения, нужны копыта, чтобы им заболеть. Не было еще случая, чтобы горлица влюбилась в удода, хотя удода и красавец. С голубкой, видите ли, этого не случается... А вот самочка удода будет с ним миловаться. Ну и пусть себе, на здоровье. Не надо только голубкой притворяться. Меня только это раздражает. Помните, как-то у Бигелей я вам определял панну Каstellи. А ведь выбрала же все-таки Завиловского. Я против фальши, неискренности, громких фраз. Коли ты из удодов, так имей смелость признаться в этом. И не притворяйся, не лги, не обольщай. Я ведь не такой уж неопытный, но голову готов был отдать на отсечение, что панна Стефания ну просто не может влюбиться в этого Копосика, а вот влюбилась же! Я-то утешусь, тут дело не во мне и не в панне Стефании, вся эта комедия, эта общепринятая ложь меня возмущает – и что такой вот Копосик ходит в победителях.

– Да, конечно, – сказала Марьяна. – Но интересно, отчего все так запуталось.

Свирский махнул рукой.

– Вернее сказать, не запуталось, а прояснилось. Выйди она за меня, я ее на руках бы носил. Даю вам слово... У меня в сердце столько нежности скопилось. Ей хорошо было бы со мной, и мне с ней тоже. И мне этого немного жаль. Но свет ведь на ней клином не сошелся. Найдется с вашей помощью добрая душа, которая меня не отвергнет. Но поторопитесь, дорогая пани, ждать мне уже не вмоготу. Хорошо?

Видя, что Свирский не принимает отказ Стефании близко к сердцу, Марыня повеселела. Но, обдумывая уже спокойней ее ответ, припомнила вдруг одну фразу, на которую вначале, огорченная отказом, не обратила внимания, и встревожилась.

– Вы не заметили в одном месте она говорит, что не может вам больше писать после всего происшедшего? Как, по-вашему, что это значит?

– Может быть, Копосик уже сделал ей предложение?

– Нет. Тогда она так и написала бы. И если влюбилась в него, вот уж правда бедняжка: у нее ведь, кажется, никакого состояния нет, и Коповский тоже небогат, так что вряд ли женится на ней.

– Да, – ответил Свирский. – Я тоже об этом думал. Что она в него влюблена, это не подлежит сомнению, но он на ней не женится. – Но вдруг, остановясь, перебил сам себя: – Но в таком случае чего он там торчит?

– Развлекается и других развлекает, – поспешила ответить Марыня, отворачиваясь в замешательстве.

Ответ был уклончивый. С тех пор как муж поделился с ней наблюдениями относительно Коповского и Основской, она часто думала об этом, и пребывание молодого человека в Пшитулове ей самой казалось подозрительным, пользоваться же Стефанией для отвода глаз – просто бесчестным. Тем более если Стефания в самом деле влюбилась в Коповского. И все эти интриги могли в любую минуту раскрыться – не это ли означали, думала с беспокойством Марыня, слова обо «всем происшедшем»? В таком случае это подлинное несчастье для добряка Основского и Стефании.

Поистине дело могло принять самый трагический оборот.

– Завтра же еду в Пшитулов, – сказал Свирский. – Нарочно покажусь у Основских, чтобы видели: я ничуть не обижен. А если там правда что случилось или захворал кто, дам вам знать. Завиловского там, наверно, нет сейчас.

– Игнась в городе. Но завтра или послезавтра он должен навеститься к нам или в Ясьмень. Стах сегодня тоже в город собирается. Приятельница моя, сестра Анеля, тяжело больна, мы хотим взять ее к себе, а так как я поехать не могу, едет Стах.

– Сестра Анеля? Та, которую муж ваш называет пани Эмилия? С лицом святой... настоящий фра Анджелико! Очень красивое лицо! Видел ее у вас раза два. Вот если б она не была инокиня...

– И хворает очень, бедняжка. С трудом передвигается. Заболевание позвоночника от чрезмерной работы.

– О, это плохо! – сказал Свирский. – У вас Васковский уже и теперь вот она... Однако вы добрые люди!

– Это все Стах! – воскликнула Марыня.

В эту минуту в конце аллеи показался Поланецкий, который быстрым шагом подошел к ним.

– Я слышал, вы сегодня в город? – спросил Свирский. – Захватите и меня.

– С удовольствием, – отозвался Поланецкий и, обратясь к жене, прибавил: – Марыня, не слишком ли ты много ходишь? Обопрись о мою руку.

Марыня взяла его под руку, и они вместе подошли к веранде. Марыня пошла в дом распорядиться насчет чая. Поланецкий поспешно подошел к Свирскому.

– Я какую-то странную телеграмму получил, – сказал он, – не хотел показывать при жене. Основский осведомляется, не знаю ли я, где Игнаций, и просит по его делу приехать завтра в город. Что это может значить?

– Да, странно, – отвечал Свирский. – Стефания тоже пишет, у них там что-то произошло.

– Может, заболел кто?

– Тогда бы прямо вызвали Завиловского... Если панна Кастелли или тетушка Бронич... сразу бы вызвали...

– А если б Основский побоялся его испугать, мне бы сообщил.

И оба с тревогой посмотрели друг на друга.

ГЛАВА LVII

На следующий день через полчаса после приезда Поланецкого к нему позвонил Основский. Услышав звонок, Поланецкий сам пошел открывать. Со вчерашнего дня его не покидало беспокойство. Он давно опасался, что в Пшитулове в любой момент может произойти взрыв, но тщетно ломал себе голову, с какой стороны это может относиться к Завиловскому.

Основский особенно крепко пожал ему руку, как это делают в минуты трудных испытаний.

– Пани Марыня в Бучинеке? – осведомился тот.

– Да, – отвечал Поланецкий. – Мы одни.

В кабинете Основский сел на стул и, опустив голову, с минуту помолчал, прерывисто дыша, – он страдал эмфиземой легких из-за чрезмерных занятий спортом, а сейчас волнение и подъем по лестнице усиливали одышку. Поланецкий подождал немного, но природная живость одержала верх, и он спросил:

– Что случилось?

– Случилось несчастье, – с глубокой печалью в голосе отозвался Основский. –

Свадьба Игнация не состоится.

– Не состоится? Почему?

– Это так гадко, что Игнацию, может, лучше и не знать. Я даже колебался некоторое время, не скрыть ли от него... Но нет! Нужно, чтобы он знал всю правду, тут более важные вещи затронуты, чем его самолюбие. Может быть, гнев и отвращение помогут ему перенести несчастье. Свадьбы не будет, потому что панна Кастелли недостойна быть женой такого человека, и, если б даже можно было еще поправить дело, я первый бы этому воспротивился.

Основский замолчал, хватая воздух ртом. Поланецкий, который слушал, не проронив ни слова, не выдержал и вскричал:

– Да говорите, ради бога, что произошло?

– Произошло то, что пани Бронич с племянницей три дня как выехали за границу и Коповский с ними в качестве жениха.

Поланецкий вскочил со стула, но, услышав конец фразы, снова сел. Лицо его вместе с волнением и тревогой выражало беспредельное удивление. Молча уставился он на Основского, словно не в силах собраться с мыслями.

– Коповский?.. Значит, он и с панной Кастелли?.. – произнес он наконец.

Основский был слишком расстроен, чтобы обратить внимание на странную форму вопроса.

– Увы, да, – сказал он. – Вы ведь знаете, что они доводятся мне родственницами: моя мать и тетушка Бронич, а следовательно, и мать Линеты были двоюродными сестрами и одно время воспитывались вместе. Поэтому я скорее должен был бы их выгораживать, но даже и не подумаю. Отношения между ними порваны, и, будь мне Линета хоть родной сестрой, я сказал бы о ней то же самое, что сейчас вам расскажу. Что до Завиловского, то, поскольку мы с женой сегодня тоже уезжаем, я могу с ним не увидеться. И честно говоря, у меня духа не хватит поговорить с ним, но вам я расскажу все, как было. Вы с ним ближе знакомы, и, может, вам удастся смягчить удар, но не надо ничего утаивать от него: отвращение к изменнице – лучшее средство превозмочь горе.

И он рассказал, что видел в оранжерее, и, хотя сам волновался и время от времени боролся с одышкой, был удивлен горячностью, с какой его слушал Поланецкий. Он думал, тот хладнокровно отнесется к его рассказу, откуда ему знать было, что у Поланецкого есть свои причины нервничать, и веские, – известие о смерти Линеты или Завиловского не потрясло бы его больше.

– В первое мгновение я просто растерялся, – рассказывал Основский, – самообладанием особым я не отличаюсь, не знаю уж, как только кости ему не переломал. Может, меня то удержало, что, он мой гость, может быть, стало не до него, об Игнации подумал, но скорее всего вообще не думал ни о чем. Растерялся просто и вышел. Но тут же вернулся и велел ему следовать за мной. Он побледнел, – но вид у него был решительный. В кабинете я заявил ему, что он поступил недостойно, злоупотребив гостеприимством людей порядочных, что Линета негодница и я ее глубоко презираю, что между ней и Завиловским все кончено, но его я заставлю на ней жениться, даже если придется прибегнуть к самым крайним

мерам. В ответ он сказал, что давно ее любит и готов жениться хоть сейчас, – наверно, успели сговориться, когда я вышел из оранжереи. Говоря о Завиловском, он слово в слово повторял Линету, это чувствовалось, самому ему никогда бы не додуматься. Выразил готовность дать ему удовлетворение, хотя, дескать, вовсе тут ни при чем, так как никаких обязательств перед ним не несет... Мол, если панна Линета предпочла меня, тем хуже для него; но это уж ее дело. Что тем временем происходило между тетушкой и Линетой, не знаю, но не успел я кончить разговор с Коповским, как пани Бронич ворвалась ко мне, точно фурия, с упреками, что это мы с женой помешали Линете следовать влечению сердца, навязав ей Завиловского, – она-де его не любила, плакала все ночи напролет, выйти за него было для нее равносильно смерти и во всем совершившемся она видит волю божью... И в таком духе битый час... Виноваты мы, виноват Завиловский, а они безупречны!.. – И, потерев лоб рукой, продолжал: – Ах, пан Станислав! Вот мне скоро тридцать шесть, а я понятия не имел о женском коварстве. Верите ли, до сих пор опомниться не могу, как это они ухитрились вывернуть все шиворот-навыворот. Я понимаю, в каком они оказались положении. Увидели, что с Завиловским теперь все кончено, хотя бы уже потому, что я вмешался, ничего другого им не оставалось, как ухватиться за Коповского. Но легкость, с какой они черное представляют белым, а белое – черным!.. Полнейшая безнравственность, лживость, полное отсутствие чувства справедливости... эгоизм самый беспредельный... Да и черт с ними, кабы не Игнаций!.. Он был бы несчастнейшим человеком, свяжи он с ними свою жизнь, но с его экзальтированностью, его влюбленностью это страшный удар, страшное разочарование!.. А Линета? Кто бы мог подумать!.. И с таким дурнем, с таким дурнем!.. Вроде бы такая возвышенная натура и всего несколько недель после обручения, после того, как слово дала... И это невеста Завиловского!.. Ей-богу, с ума можно сойти!

– С ума сойти? – отозвался как эхо Поланецкий.

Наступило минутное молчание.

– И как давно это случилось? – спросил Поланецкий.

– Три дня назад все вместе уехали в Шевенинген. Выехали в тот же самый день. Коповский имел паспорт при себе. Выходит, осел ослом, а кое-что все-таки соображает... Делал вид, будто ухаживает за моей кузиной, а сам вместе с ними за границу собирался, вот и паспорт захватил. Для отвода глаз ухаживал за одной, а волочился за другой. Ах, бедный, бедный Игнаций! Я и родному брату не сочувствовал бы больше, честное слово... Но это и к лучшему! Хорошо, что не связался с такой вот Линетой... с этой полутальянкой. Но для него какая трагедия!..

Основский вынул носовой платок и стал потирать пенсне, моргая глазами с видом растерянным и озабоченным.

– Почему же вы раньше не дали мне знать об этом? – спросил Поланецкий.

– Почему раньше?.. Жена заболела. Нервные припадки... Бог знает что!.. Вы и не поверите, как она близко к сердцу приняла. Да и неудивительно! Такая женщина... да еще в нашем доме! При ее впечатлительности это тяжелый удар. И обмануться в Линете, которую она так любила, и жалость к Игнацию, и столкновение со злом, и чувство омерзения!.. Слишком уж много для нее, с ее чистой, чувствительной душой... Я поначалу за ее здоровье опасался, да и сейчас бога молю, чтобы это не сказалось губительно на ее нервах. Мы даже представить себе не можем, что для

такой природы значит столкновение со злом.

Поланецкий внимательно посмотрел на Основского, закусил ус и промолчал.

– Я послал за доктором, – продолжал после небольшой паузы Основский, – и от волнения опять совсем голову потерял. К счастью, Стефания была рядом и эта милейшая пани Машко. Они с таким сердечным участием ухаживали за Анетой, что я по гроб жизни буду им благодарен. Пани Машко только кажется холодной, а на деле – такое доброе создание!..

– Я думаю, – перебил Поланецкий, желая замять разговор о Терезе, – оставь Завиловский наследство Игнацию, всего этого не произошло бы?

– Может быть, – ответил Основский, – но, выйди она за него и унаследуй он даже все состояние старика, ее инстинктивно влекло бы к таким вот Коповским, с которым ее сталкивала бы жизнь, тут нет никакого сомнения. Такая уж у нее натура. Но кое-что для меня теперь прояснилось. И хотя я сказал: можно сойти с ума, мне отчасти понятно, почему все так получилось. Она с ее ограниченностью не могла полюбить такого человека, как Завиловский. Ее вполне устраивают Коповские. Но ей приписывали разные высокие порывы, и в конце концов она сама себе приписала то, чего в ней не было. Игнаций им понадобился, чтобы потешить свое самолюбие, тщеславие, чтобы о них заговорили в обществе, но они переоценили самих себя. Построенное на притворстве не может быть долговечно. Когда их тщеславие было удовлетворено, Игнаций потерял для них интерес. Кроме того, они испугались, как бы не пришлось изменить привычный и желательный образ жизни; может быть, стало тяготить и все его умонастроение, слишком возвышенное для них. А тут еще эта история с завещанием, – конечно, не она главная причина катастрофы, но Игнаций упал в их глазах. Прибавьте к этому низменные влечения Линеты, прибавьте Коповского – и вот вам ответ на все. Есть женщины, подобные вашей жене, моей Анетке, но есть и как она... – Основский помолчал. – Представляю себе гнев и огорчение вашей жены; жаль, что вы не видели, как отнеслась к этому моя жена... и даже пани Машко. Да! Женщина женщине рознь... Ах, дорогой пан Поланецкий... мы с вами ежедневно должны на коленях бога благодарить за то, что у нас такие жены!

И даже голос задрожал у него от волнения.

И хоть Поланецкий не мог отрешиться от мысли о Завиловском, он поразился, как человек, только что рассуждавший так здраво и умно, мог быть одновременно и столь наивным. При упоминании о Терезе он горько усмехнулся про себя. И вообще впервые с подобной остротой ощутил всю злокозненную иронию бытия.

– Вы не повидаетесь с Завиловским? – спросил он.

– Откровенно говоря, смелости не хватает. И потом, я еще сегодня должен возвратиться в Пшитулов, и мы сегодня же уедем с нашей станции. Надо увезти отсюда жену – она сама просила меня об этом со слезами, да оно и на пользу только, смена впечатлений. Поедем куда-нибудь на море, конечно, не в Шевенинген, куда они отправились с Коповским. Но у меня большая просьба к вам. Вы знаете, как я люблю и ценю Игнация. Напишите, как бедняга примет эту новость и вообще, в каком будет состоянии. Я мог бы и Свирского попросить, но боюсь, что с ним не увижусь. – И, закрыв лицо руками, воскликнул: – Ах, до чего же грустно! До чего тоскливо!

– Хорошо, – сказал Поланецкий, – сообщите свой адрес, и я вам напишу. Но раз уж мне выпадает эта тяжелая миссия, попрошу вас ее немножко облегчить. Лучше, если он обо всем узнает не из вторых или третьих рук, а от прямого очевидца. Услышав от меня, он еще заподозрит, что я представил ему положение неточно. Утопающий готов ведь схватиться за любую соломинку. Сядьте и напишите ему. А я отдам ему ваше письмо в подтверждение. А то еще, чего доброго, полетит за ними в Шевенинген. Считаю такое письмо совершенно необходимым.

– А он сюда, часом, не нагрянет?

– Нет. У него отец заболел, и он при нем в больнице. И потом, он ждет меня после полудня. Непременно напишите.

– Да, вы правы, абсолютно правы, – сказал Основский и присел к столу.

«Какая ирония судьбы! Какая злая ирония судьбы! – повторял про себя Поланецкий, в волнении расхаживая по комнате. – Как же иначе и назовешь случившееся с Завиловским?.. Линета – эта лебедь белая с инстинктами горничной, эта избранница божья, как не дальше чем вчера окрестил ее Васковский! А тетушка Бронич, а Основский с этой своей слепой верой в жену, объясняющий ее нервные припадки встречей чистой души со злом, а возмущение Терезы – что все это, как не пошлая комедия человеческая? Да, комедия, в которой одни обманывают других, другие – самих себя; есть только обманщики и обманутые, и жизнь – не что иное, как цепь ошибок, заблуждений, соблазнов, ложных положений, одни жертвы обмана, мошенничества, жертвы иллюзий; сплошная путаница и безысходность. Смешная и печальная комедия, а под ее клоунской маской – страсти, надежды, чувства, как зимой под снегом земля. Вот что такое жизнь!»

Мысли эти были тем мучительней, что усугублялись собственными переживаниями, укорами собственной совести. Достаточно эгоистичный, чтобы отнести свои рассуждения только на свой счет, он не был и настолько глуп, чтобы не понимать, какую незавидную роль играет сам в сей жалкой комедии. Нелепость положения заключалась в том, что он, несмотря на все свое желание, меньше, чем кто другой, имел право осудить, освистать эту презренную панну Каstellи. А чем сам он лучше? Разве сам не поступил так же мерзко? Она дурака предпочла достойному человеку, он жене – безмозглую куклу. Ею руководило инстинктивное кокетство, им – инстинкт павиана. Она отбросила пустые фразы, которыми морочила себя и других, он попрал принципы. Она обманула доверие, нарушив только слово, он же, обманув доверие, переступил не просто слово, а клятву. И как же теперь? Какое у него право осуждать ее? Если нельзя ее оправдать, если признать, что брак подобной особы с Завиловским был бы несправедлив и возмутителен, на каком основании сам он может быть мужем Марыни? Коли у него находятся слова в осуждение Линеты, которые не могут не найтись, тогда, будучи последовательным, должно расстаться с Марыней, а этого он никогда не сделает, не в силах сделать. Вот какой заколдованный круг! Не впервые переживал Поланецкий горькие минуты по поводу своего «успеха» у пани Машко, но на этот раз ему было на удивленье тяжело. Это была просто мука. И из чувства самосохранения, чтобы облегчить ее хоть на время, он стал искать себе оправдание. Но напрасно убеждал себя, что, положим, какой-нибудь Коповский и не стал бы из этого делать ровно никакой трагедии. Утешало это ровно настолько, как соображение, что и кот или жеребец на его месте тоже ничуть бы не огорчились. Напрасно припоминал он Бальзака: «Измена, пока она не открылась, – не измена, а открылась – сущий пустяк». «Неправда! – стискивал он зубы. – Ничего себе „пока“, если оно уже так мучает». Он допускал, что бывают разные смягчающие обстоятельства, но в его случае обстоятельства лишь усугубляют вину, отнимая

всякую возможность снисхождения. «Я теперь уже лишился права судить, апеллировать к совести! Светлую личность променяли на болвана, унизили, сделали несчастным, обрекли на трагедию, которая может сломать ему жизнь, поступили подло и гадко, а я не смею даже в мыслях покрыть позором такую вот панну Каstellли!» И никогда еще не было ему столь очевидно, что, подобно преступнику, который ставит себя вне общества, можно поставить себя своим поступком вне морали. Ему хватало уже всяких огорчений, но сейчас стали рисоваться новые, непредвиденные. Чем больше думал он о Завиловском, о всей трагичности его положения, тем сильнее ощущал необъяснимое беспокойство, похожее на предчувствие несчастья, которое по какой-то таинственной высшей закономерности должно вторгнуться в его жизнь. Для того, кто носит в себе смертельную-болезнь, кончина – лишь вопрос времени.

Наконец он нашел некоторое облегчение, обратясь мыслями к сегодняшнему дню, к Завиловскому. Как-то он примет известие? Как перенесет его? Последствия могли быть ужасны, беря в расчет его экзальтированность и слепое, безусловное доверие к невесте, его любовь к ней. «У него все внутри оборвется, и жизнь потеряет смысл», – подумал Поланецкий. Как страшно и чудовишно, что вещи, не несущие в себе ничего трагического, а, напротив, сулящие благополучный исход, без видимой причины оборачиваются бедой; жизнь точно лес, где несчастья преследуют человека, как псы – зверя и даже хуже, ибо не оповещают о себе. И Поланецкий ощутил вдруг, что, кроме давно утраченной веры в самого себя, грозит пошатнуться его уверенность в чем-то гораздо более важном и существенном. Но в ту минуту он старался думать единственно о Завиловском. И как человек добрый и не чужой ему, не мог от души не сочувствовать его несчастью. Слышно было, как в соседней комнате поскрипывает перо, и у Поланецкого промелькнуло в голове: «Точно приговор ему пишет. Бедный малый!.. Вот уж не заслужил!»

– Я старался выбирать выражения, – кончив и открыв дверь, сказал Основский, – но написал все как есть. Дай бог ему сил перенести все это! Никогда бы не подумал, что придется сообщать ему такое. – Но в его огорченном тоне слышалось удовлетворение. Он явно считал, что справился с задачей лучше, чем сам ожидал. – Еще раз очень и очень прошу черкнуть мне несколько слов об Игнации. Ах, если б только не так *irreparable!*[72 - непоправимо! (фр.)] – прибавил Основский, протягивая Поланецкому руку. – До свидания, до свидания!.. Я напишу ему и сам, но сейчас еду, жена ждет... Дай-то бог встретиться еще при более счастливых обстоятельствах. До свидания! Сердечный привет жене.

И он ушел.

«Что делать? – размышлял Поланецкий. – Послать ему письмо на квартиру, подождать его здесь или идти разыскивать? Лучше, конечно, не оставлять его в такой беде; но вечером мне придется вернуться в Бучинек, к Марыне, и он все равно будет один. А впрочем, не мешать же ему сторониться общества? И я бы на его месте искал уединения!.. А мне еще нужно заехать к пани Эмилии...»

Он был так подавлен этим неожиданным несчастьем, мыслями о себе и о предстоящем тяжелом разговоре с Завиловским, что не без удовольствия вспомнил о необходимости заехать к пани Эмилии и отвезти ее в Бучинек. С минуту Поланецкого даже одолевало искушение отложить встречу с Завиловским и отдать письмо завтра; но ведь тот мог сам нагряться в Бучинек.

«Нет, пусть уж лучше здесь узнает обо всем, – возразил он себе. – Марыня в таком положении, что лучше скрыть от нее случившееся и все возможные последствия. И

предупредить, чтобы кто-нибудь не проговорился. А Завиловскому лучше всего уехать за границу. Скажу Марыне, что он уехал в Шевенинген, а потом, что раздумали жениться и расстались».

Большими шагами мерил он комнату, повторяя: «Какая ирония судьбы! Какая ирония!»

И снова нахлынула горечь и совесть заговорила. Странное чувство охватило, будто он ответствен за происшедшее. «Какого черта! – сказал он себе. – Ведь я же не виноват!» «Лично не виноват, – подумалось тут же, – но мы с Линетой одного поля ягода, вот и создается благодаря людям вроде меня общественно-нравственная атмосфера, в которой вырастают и распускаются такие вот цветочки».

Тут в передней послышался звонок. Поланецкий был не робкого десятка, но при звуке колокольчика сердце у него тревожно забилось. Он запомнил, что условился со Свирским пойти позавтракать, и решил было: это Завиловский. И лишь услышав голос художника в передней, немножко успокоился; но до того устал, что даже его приход был ему в тягость.

«Начнет сейчас болтать! – подумал он с досадой. – Язык распустит».

Но поскольку в тайне это все равно остаться не могло, решил сам рассказать. Пусть Свирский знает на случай своего приезда в Бучинек, как вести себя с Марыней. Но он ошибся, полагая, что тот станет доносить его рассуждениями о женской неблагодарности. Жалость к Завиловскому оттеснила отвлеченные соображения, и, отложив их на потом, он повторял только, слушая Поланецкого: «Вот несчастье-то! Господи боже!» или «Черт бы их побрал!» – и сжимал при этом с возмущением свои геркулесовы кулачищи.

Поланецкий корил немилосердно панну Кастелли, забывая в своей горячности, что тем самым осуждает и себя. Однако разговор принес облегчение и вернул присущую ему трезвость суждений. «Не стоит оставлять Завиловского одного», – подумалось ему, и он попросил Свирского отвезти пани Эмилию в Бучинек, а его отсутствие объяснить делами. Свирский согласился тем охотней, что в Пшитулове ему теперь делать было нечего, и, едва нанятый экипаж подъехал, они вместе отправились к пани Эмилии.

Обязанности сестры подорвали ее силы, вызвав заболевание позвоночника. Они нашли ее изменившейся и похудевшей, лицо у нее стало совсем прозрачное, веки полуопущены. Она еще ходила, но опираясь на две палки и еле передвигая ноги. Прежде труд приблизил ее к жизни, теперь болезнь снова отдаляла. Она жила лишь своими мыслями и воспоминаниями, на заботы людские взирая как сквозь сон, словно с другого берега. На страдания свои почти не жаловалась, что, по мнению врачей, было плохим признаком. Ей самой, повидавшей столько болезней, ясно было, что спасенья нет и не во власти человеческой ее исцелить, а потому она оставалась совершенно спокойна. И на вопрос Поланецкого о ее здоровье ответила, с трудом приподняв веки:

– С ногами вот только худо, а так – хорошо!

И правда, ей было хорошо. Лишь одно смущало: в глубине души она верила, что ей вернула бы здоровье поездка в Лурд. Но не хотелось так далеко уезжать от Литкиной могилы; удерживало и желание самой поскорее умереть. Однако оставалось и беспокоило сомнение, а вправе ли она пренебречь дарованной ей жизнью, пренебречь милостью божией и чудом.

Мысль повидаться с Марыней радовала ее, и она уже собралась в дорогу. Но Свирский пообещал заехать в пять часов, а пока они отправились с Поланецким пообедать: несмотря на сочувствие Завиловскому, Свирский был голоден как волк. Некоторое время сидели молча. Наконец Поланецкий сказал:

– У меня еще одна просьба: дайте знать панне Елене обо всем случившемся, но попросите ее не говорить ничего моей жене.

– Хорошо, – ответил Свирский, – сегодня же под предлогом прогулки схожу в Ясьмень. Если не примет меня, напишу на визитной карточке, что дело касается Игнация. А захочет поехать в город, сам отвезу, так как к вечеру мне надо домой. – И спросил после небольшой паузы: – Основский не говорил вам; панна Ратковская останется в Пшитулове или с ними поедет?

– Нет, не говорил, – отозвался Поланецкий. – Стефания поселяется обыкновенно у своей престарелой родственницы, Мельницкой. И если поедет с ними, только для сопровождения пани Анеты: у этого ангела сердце чуть не разорвалось от всего происшедшего.

– А-а! – протянул Свирский.

– Другого резона брать ее с собой у них нет. Они пригласили Стефанию, потому что Коповский якобы имел на нее виды, а раз он приглядел себе другую, ей там делать больше нечего.

– Да, просто невероятно! – воскликнул Свирский. – Выходит, они там все, исключая Основскую, повлюблялись в этого хлыща!

Поланецкий покачал головой с иронической улыбкой, как бы говоря: «Не исключая!..»

Но Свирский пустился в свои рассуждения о женщинах, от которых до сих пор воздерживался.

– Вот видите, теперь сами убедились! – твердил он. – Знаю я и немок, и француженок, а особенно итальянок. Итальянкам в общем не свойственны высокие порывы, они не столь образованны. Но таких напускных претензий, такого несоответствия между криводушием и пышнословием, как у нас, нигде я не встречал, – подавиться мне вот этими самыми макаронами. Послушали бы вы, как мне панна Ратковская Коповского расписывала! Или возьмите хоть эту «Лианочку», «Паутинку», «Лебедушку», или как ее там, – панну Кастелли. Лилия! – скажете вы, правда? Мимоза! Артистическая натура! Сивилла! Идеальная красавица – златокудрая, стройная и черноокая, не так ли? А вот подите же! Достойному человеку фата предпочла, мужчине – манекен. Как до дела дошло. Сивилла в горничную превратилась. И все они такие, вот что я вам скажу, все к хлыщам этим, фатам льнут, черт бы их побрал!

И Свирский сжал свой кулачище, собираясь стукнуть по столу, но Поланецкий удержал его.

– Но согласитесь: это случай из ряда вон выходящий.

Свирский пустился было спорить, уверяя: все они на один манер, – зачем им Фидий,

портновский аршин им важнее, но понемногу умерил свой пыл и признался, что случай с Линетой особый.

– Помните, когда вы спрашивали, что я вам говорил о Броничах? – сказал он. – Канальи они! Безнравственные, беспринципные канальи, выскочки во всем, и больше ничего! Он был дурак набитый, а ее вы сами знаете... Меня просто бог уберег. Не смотри они на меня свысока, прознай про мою родословную – предел их глупых вожделений, – и я бы влип! Попал как кур в ощиц!.. Нет, ей-же-ей, отправлюсь-ка я с Завиловским за границу. Хватит уже с меня.

Они расплатились и вышли.

– Что вы думаете предпринять? – спросил Свирский на улице.

– Буду искать Завиловского.

– Но где же?

– В сумасшедшем доме у отца, а там не найду, у себя его подожду.

Но тут как раз показался сам Завиловский, направляясь к ресторану. Свирский первый его заметил.

– Да вон он идет!

– Где?

– Вон, по другой стороне. За версту можно узнать по подбородку. Вы сейчас все скажете ему? В таком случае я ретируюсь. Лучше сделать это с глазу на глаз.

– Хорошо, – согласился Поланецкий.

Завиловский тоже заметил их и ускорил шаг. Он был изящно, даже щеголевато одет и оживлен.

– Отцу лучше! – сказал он, запыхавшись, и подал им руку. – Сегодня я свободен и хочу поехать в Пшитулов.

Свирский, не говоря ни слова, крепко пожал ему руку и удалился. Молодой человек с удивлением посмотрел ему вслед.

– Не обидел ли я его? – спросил он.

И, взглянув на Поланецкого, только сейчас заметил, какое у него озабоченное, почти суровое лицо.

– Что такое? – спросил он. – Что-нибудь случилось?

Поланецкий взял его под руку.

– Дорогой Игнаций, я всегда считал вас человеком не только талантливым, но и волевым, – обратился он к нему с волнением и участием. – Я должен сообщить вам неприятную новость, но уверен, что у вас достанет сил перенести несчастье.

– Что случилось? – вскричал, меняясь в лице, Завиловский.

Поланецкий подозвал извозчика.

– Садитесь!.. К мосту! – крикнул он извозчику и, достав письмо, протянул Завиловскому.

Молодой человек поспешно его вскрыл и углубился в чтение. Поланецкий, ласково полюбив своего спутника, не спускал глаз с его лица, на котором отражались удивление, недоверие, растерянность, но прежде всего безграничный ужас. Он побледнел как полотно, но видно было, что всей глубины постигшей его беды понять еще не мог.

– Как же так?.. – бессмысленным взглядом уставясь на Поланецкого и запинаясь, тихо спросил он. И, сняв шляпу, провел рукой по волосам.

– Не знаю, как представил дело Основский, – сказал Поланецкий, – но это правда... И надо иметь мужество посмотреть ей в глаза и сказать себе: тут уж ничего не изменишь. Да и не стоила она вас; вы достойны лучшей участи. У вас есть настоящие друзья, которые вас ценят и любят. Я понимаю: горе огромное; родной брат не пожалел бы вас больше. Но что делать, дорогой Игнаций... Они уехали куда-то. И Основские тоже. В Пшитулове никого нет. Знаю, каково вам сейчас, но вас ждет жизнь счастливее, нежели с панной Кастелли. У вас высшее предназначение, и сил вам ниспослано больше, чем другим. Вы-то, что называется, соль земли и несете огромные обязанности перед собой и перед людьми... Знаю, что непросто вырвать из сердца любовь, и вовсе этого не требую, но вам не подобает предаваться отчаянию, как всем прочим. Бедный, бедный, дорогой Игнаций!..

Поланецкий долго продолжал в том же духе и с той силой убеждения, которую дает искреннее чувство. Мысли он высказывал не только утешительные, но и здравые: что горе, дескать, отодвигается в прошлое, а человек, хочет или нет, должен жить дальше. Конечно, нить горестных воспоминаний тянется за ним, но со временем становится все тоньше, ибо жизнь так устроена, что увлекает вперед. Все это было так, но то, другое, о чем гласило письмо Основского, было ближе, реальней, осязаемей. И по сравнению с этим фактом все остальное казалось Завиловскому пустым, посторонним звуком, касавшимся лишь слуха, а не души и имевшим смысла не больше, чем стук колес или дребезжание железной решетки моста, по которому они проезжали с Поланецким. Он был как в тумане, однако понимал, что свершилось нечто невероятное, но тем не менее бесповоротное, с чем невозможно примириться и он никогда не примирится, хотя это не меняет ровно ничего. И сознание этого вытесняло все остальное. Он знал только, что лишился Линеты, не испытывая ни горя, ни сожаления, не в силах еще уразуметь, что рушится все и почва уходит из-под ног. Линеты больше нет, Линета его не любит, бросила и уехала с Коповским, свадьба расстроилась, он снова одинок, хотя не хочет, не может взять в толк случившегося, настолько, все это невероятно, неправдоподобно и страшно.

И однако это свершившийся факт.

За мостом пролетка поехала медленней – навстречу гнали стадо, но и под его глухой топот Поланецкий продолжал говорить свое. В ушах Завиловского отдавались его слова: «Свирский», «за границу», «Италия», «искусство», – но до сознания не доходило, что Свирский – это его знакомый, за, границу уезжают, Италия – страна... Мысленно он разговаривал с Линетой: «Ну хорошо, а что будет со мной? Как же ты обо мне не подумала, обо мне, который так любит тебя?» И ему показалось: увидься

они и скажи он ей, что нельзя не считаться с человеческим горем, она расплакалась бы и кинулась к нему на шею. «Ведь нас с тобой столько связывало, – говорил он ей, – и я ведь все тот же, твой Игнаций...» И его выступающий подбородок задрожал, на лбу вздулись жилы, на глаза навернулись слезы. Добросердечный Поланецкий вообразил, что его уговоры достигли цели, и, сам растрогавшись, обнял его за шею и поцеловал. Завиловский быстро овладел собой, вернувшись к действительности. «Никогда я ей этого не скажу, потому что больше не увижу, она уехала со своим женихом – Коповским». И при мысли об этом лицо его снова застыло. Только сейчас начал он осознавать всю глубину своего несчастья. «Умри она, утрата и то была бы легче», – подумал он и поразился. Смерть оставляет верующим надежду на встречу в ином мире, для неверующих она – небытие, а значит, тоже общая участь и соединение. К тому же смерть бессильна перед лицом любви, которая продолжается и за гробом; смерть может отнять дорогое существо, но не может запретить любить или осквернить его, – напротив, оно живет в нашей памяти, еще более любимое, даже боготворимое. А Линета, лишив его себя, этого драгоценного душевного богатства, отняла у Завиловского и надежду, право любить, горевать, тосковать по ней, чтить ее. Оставив вдобавок по себе память оскверненную. И Завиловский ощутил со всей остротой: если он не перестанет ее любить, то будет жалким ничтожеством, зная вместе с тем, что не в силах не любить! И понял в эту минуту всю чудовищность постигшего его несчастья, которое сокрушило надежды, обрекло на муку. И понял, что этого не перенесет.

А Поланецкий все говорил:

– Поезжай в Италию со Свирским, нужно это перестрадать, избыть боль... Другого выхода нет, дорогой! Мир так велик! Столько еще интересного и достойного любви! А перед тобой, как ни перед кем другим, открыты все дороги. Ты много можешь дать людям, но и они тебе – тоже. Поезжай, дорогой! Жизнь, она везде и всюду. Нахлынут новые впечатления, захватят, отвлекут тебя, смягчат горе. И перестанешь думать все об одном и том же. Свирский тебе покажет Италию. Увидишь, какой он замечательный спутник и какие горизонты откроет перед тобой. Ты ведь, подобно раковине жемчужнице, должен все в жемчуг обращать. Послушай дружеского совета: уезжай, и как можно скорее. Обещай мне, что поедешь. Даст бог, жена благополучно разрешится, и мы тоже, может быть, весной выберемся туда. То-то славно заживем. Ну, обещаешь, да?

– Да, – повторил Игнаций машинально, не зная, о чем, собственно, речь.

– Ну вот и слава богу! – воскликнул Поланецкий. – А сейчас вернемся-ка в город и проведем вечер вместе. У меня кое-какие дела в конторе, выбрался сюда на два дня.

И он велел извозчику поворачивать, тем более что солнце уже клонилось к закату. Стоял один из тех чудесных дней, какие выдаются в конце лета. Пыль над городом нежно золотилась, скаты крыш и колокольни, отсвечивая янтарем, четко вырисовывались в прозрачном воздухе и, казалось, застыли, наслаждаясь покоем.

Некоторое время ехали молча.

– Куда, ко мне или к тебе? – спросил Поланецкий, когда они миновали заставу.

Городской шум отрезвляюще подействовал на Завиловского, и он уже осмысленно взглянул на Поланецкого.

– Я ночевал у отца и со вчерашнего дня не был дома. Пожалуй, поедem ко мне, может, есть какие-нибудь письма.

Предчувствие его не обмануло: дома дожидалось письмо от пани Бронич из Берлина. С лихорадочной поспешностью вскрыв его. Завиловский начал читать. Поланецкий, следя за меняющимся выражением его лица, подумал: «А он все еще не потерял надежды». И в памяти всплыли слова молодого доктора о Краславской: «Знаю, какая она, но ничего не могу с собой поделать...»

Завиловский кончил чтение, подпер голову рукой и невидящим взглядом уставился на стол и лежащие на нем бумаги. Наконец, очнувшись, протянул письмо Поланецкому.

– Прочтите.

Поланецкий взял письмо и прочел: «Я знаю, вы искренне верили в свое чувство к Лианочке, и случившееся в первую минуту будет для вас ударом. Поверьте же и мне, что обеим нам было нелегко решиться на этот шаг. Вы, конечно, не сумели оценить Лианочку по достоинству (мужчины вообще ничего ценить не умеют), но настолько-то вы ее знаете, чтобы понять, чего ей стоит причинить малейшую неприятность даже человеку постороннему. Но что поделаешь! На все воля божья, и противиться ей грешно. Мы поступили, как подсказывает нам совесть, – Лианочка слишком честна, чтобы отдать вам руку без истинной привязанности. Но то, что произошло, свершилось по воле бога и на благо ее и ваше. Выйди она замуж не по любви, где бы ей взять силы для борьбы с искушениями, которым постоянно подвергается такая женщина, как она, из-за всеобщей испорченности. Кроме того, у вас есть талант, а у Лианочки только сердце, и оно не выдержало бы принуждения – и если вам кажется, что она не оправдала ваших надежд, прислушайтесь к голосу своей совести, и пусть он вам скажет: чья вина больше? Ведь вы причинили Лианочке много зла – опутали ее волю, помешали последовать естественному влечению сердца и тем самым, из эгоизма, чуть не лишили ее счастья, даже жизни: я глубоко убеждена, что в таких условиях она не протянула бы и года. Да простит вам бог, как прощаем мы обе, и да будет вам известно, что мы сегодня молились за вас в костеле святой Ядвиги.

Сделайте одолжение, отошлите обручальное кольцо в Пшитулов, а ваше кольцо, поскольку Основские тоже уезжают, передаст вам Стефания Ратковская. Еще раз: да простит вам бог и не оставит своими милостями».

– Неслыханно! – сказал Поланецкий.

– С правдой, видимо, можно поступать так же, как и с любовью, – с грустью сказал Завиловский, – а я и не подозревал.

– Слушай, Игнаций, что я тебе скажу, – отозвался Поланецкий (он проникся к нему таким сочувствием, что стал обращаться на «ты»), – горе горем, но нельзя позволять унижать себя. Ты, конечно, волен страдать, но найди силы показать, что тебе дела нет до них.

Наступило продолжительное молчание. Только Поланецкий, вспоминая письмо, время от времени восклицал:

– Нет, это просто невысказано! – И наконец обратился к Завиловскому: – Свирский еще сегодня вернется из Бучинека и зайдет ко мне. Приходи и ты. Проведем вечер вместе, и вы поговорите насчет вашего путешествия.

– Нет, – возразил Завиловский, – я по возвращении из Пшитулова собирался провести ночь в больнице у отца – и сейчас туда пойду. А к вам зайду завтра утром, тогда и повидаясь со Свирским.

Он отказывался, так как хотел остаться один. А Поланецкий подумал, что уход за больным отцом отвлечет его, он устанет и поспит, и не возражал. Но решил проводить его до больницы.

Там у ворот они расстались. Но Завиловский, осведомившись только у служителя о здоровье отца, через несколько минут вышел и украдкой вернулся домой.

Зажегши свечу, он еще раз перечитал письмо пани Бронич и, закрыв руками лицо, погрузился в раздумья. Несмотря на письмо Основского и на все, что толковал ему Поланецкий, в глубине души у него еще шевелились сомнения и теплилась надежда. Он понимал: беда случилась, но временами ему казалось, что это не явь, а лишь дурной сон. Тетушкино письмо окончательно изгнало сомнения, лишив даже тени надежды. Да, Линеты у него уже больше нет, нет будущности, нет счастья! Все досталось Коповскому, а его удел – одиночество, унижение и ужасающая пустота. Было такое чувство, что, будь Лианочка в состоянии отнять у него и талант, о котором поминала тетушка, она без колебания отняла бы и отдала Коповскому. Что он для нее в сравнение с Коповским?! «Никогда я этого не пойму, – подумал он, – но это так!.. Стало быть, есть во мне что-то отталкивающее, коли не пожалела, пренебрегла мною, откинув, как жалкого червяка. Почему она Коповского любит, а не меня, а ведь говорила же, что меня?» И он вспомнил, как она вздрагивала в его объятиях, когда он прощался с ней после помолвки. А теперь вот так же в объятиях Коповского дрожит. И чтобы не закричать от боли и бешенства, он вцепился зубами в платок. «Почему? Отчего так случилось?» Что ей мешало выйти за Коповского, пока он, Завиловский, еще не полюбил ее? Зачем понадобилось растоптать, раздавить его без всякой нужды?

И он снова схватил письмо пани Бронич в надежде найти ответ на эти страшные вопросы. Еще раз прочел место о воле божьей и о том, как виноват он перед Лианочкой, сколько зла ей причинил, а также, что она ему прощает; прочел и про молебен за него в костеле святой Ядвиги. А кончив, уставился на свечу и заморгал глазами.

«Как?.. Разве так можно?.. Чем же я виноват?»

И вдруг почувствовал, что теряет представление о том, где кончается правда и начинается ложь, где добро и где зло, справедливость и несправедливость. Ушла Линета, лишив его будущего, и одно за другим стало колебаться все, чем держится человек: разум, чувства, сама жизнь... Он знал только, что любил свою Лианочку больше жизни и никакого зла ей не желал, но, кроме этого, разум его отказывался что-либо понимать. Все, из чего слагается мыслящее существо, развеял, разметал вихрь несчастья.

Однако же он ее любил. В сознании его Линета как бы разделилась на теперешнюю и прежнюю. И стали вспоминаться ее голос, лицо, золотистые волосы, черные глаза, губы и стройная фигура, ее руки, чье тепло он столько раз ощущал губами. Силой воображения воскресил он ее, как живую, и понял, что не только любил, но и любит свою прежнюю Линету, безмерно тоскует по ней и безмерно страдает, ее утратив.

«И ты думала, я это перенесу?» – обратился он к ней мысленно.

Но так, значит, угодно было богу – в этом у него не возникало сомнений. И он долго сидел неподвижно, а когда очнулся, свеча до половины сгорела.

Но тут с ним произошло нечто странное.

Было такое впечатление, будто он отчалил от берега, и, как это бывает, показалось, что не он удаляется, а берег, где столько прожито, отодвигается от него. Он сам и все, что составляло его жизнь, – мысли, надежды, гордые замыслы, цели и планы, даже любовь, даже Линета и ее утрата, безысходная мука, которую он пережил, – все отдалилось, сделалось чужим, словно осталось на том берегу. И все постепенно скрывалось из виду, становясь все меньше, бледнее, воздушней, как сон. И отдаляясь, он чувствовал, что не хочет и не может вернуться в этот уже чужой ему край, что уцелевшая частица его существа целиком принадлежит тому таинственному, безграничному простору, который, маня и принимая, раскрывался перед ним...

ГЛАВА LVIII

Четыре дня спустя, на Успенье, которое совпало с Марыниными именинами, в Бучинек приехали Бигели со Свирским. Но Марыни дома не оказалось: она пошла с пани Эмилией в ясьменьский костел. Услышав это, и пани Бигель с детками отправилась им вослед. Оставшись одни, мужчины заговорили о том, о чем вот уже несколько дней судачил весь город: о попытке Завиловского покончить с собой.

– Я три раза к нему заходил, – сказал Бигель, – но Елена Завиловская велела прислуге никого, кроме докторов, не пускать.

– И кроме меня, – вставил Поланецкий. – Сегодня я первый раз не смог его навестить, а в прошедшие дни по несколько часов там проводил. Жене говорил, что занят в конторе.

– Расскажи, как это произошло? – спросил Бигель, желавший знать подробности, чтобы потом, по своему обыкновению, все обстоятельно взвесить.

– Дело было так: Игнаций сказал, что пойдет к отцу в больницу. Я обрадовался, подумав, что это его отвлечет, и проводил его до ворот. Он обещался зайти утром ко мне, но оказалось, просто отделаться хотел, чтобы без помех пустить себе пулю в лоб.

– Значит, не ты первый узнал?..

– Нет. Я и в мыслях не допускал и спокойно прождал бы до утра. Но, к счастью, приехала Елена, узнав, что свадьба расстроилась...

– Это я ей сообщил, – перебил Свирский. – И она так огорчилась, что я даже удивился. Как будто предчувствовала беду!

– Она странная девушка, – сказал Поланецкий. – Я так и не смог от нее добиться, как это случилось, но, во всяком случае, она первая подала ему помощь, позвала докторов и, наконец, перевезла его к себе.

– А доктора как считают, он выживет?

– Да они сами не знают. У него, видимо, дрогнула рука, и пуля, пробив лобную кость, застряла в верхней части черепа. Извлечь ее оказалось делом несложным. Но выживет ли он, а если да, то не лишится ли рассудка, – неизвестно. Один врач опасается, как бы у него не отнялся язык, но пока неясно, останется ли он вообще жив.

Случай этот, всем уже известный и обсуждавшийся ежедневно в газетах, тем не менее производил каждый раз при упоминании о нем сильное впечатление. И сейчас тоже воцарилось молчание. Свирский даже побледнел: несмотря на свое атлетическое телосложение, он был чувствителен, как женщина.

– И все из-за этих лицемеров!

– Бог им судья, – тихо молвил сидевший тут же Васковский.

– Скажи, – обратился снова Бигель к Поланецкому, – а ты так ничего и не подозревал?

– Мне даже в голову не могло прийти, что он стреляться вздумает. Видно было, конечно, что он страдает. Когда мы ехали на извозчике, у него вдруг подбородок задрожал, я подумал, сейчас разрыдается. Но он гордец, он превозмог себя и внешне был спокоен. И главное, усыпило мою бдительность обещание Игнася назавтра зайти. Знаете, что я думаю? – добавил он после небольшой паузы. – Последней каплей было письмо пани Бронич. Игнаций дал мне его прочесть. Она написала, что это промысел божий, что он эгоист и сам во всем виноват, они же поступили по чести и совести, но ему прощают и молят бога, чтобы и он его простил, словом, нечто невообразимое! Я видел, это ужасно на него подействовало, – представляю себе, что должен чувствовать такой экзальтированный, глубоко обиженный человек, когда вдруг его же выставляют обидчиком, когда он убеждается: все можно очернить, извратить, пограть – и разум, и правду, элементарные представления о справедливости, да еще прикрыться именем бога. Пусть меня лично это не касалось, но при виде такого цинизма, такой безнравственности я сам усомнился: да полно, в здравом ли я уме? Может быть, честность, справедливость – только химера, иллюзия?

И Поланецкий стал теребить бороду, разволновавшись при воспоминании о письме.

– Мне это понятно, – сказал Свирский. – Бывают минуты, когда и веруя можно наплевать на свою жизнь.

– Да, встречал я и таких, – словно сам с собой заговорил Васковский, потирая лоб. – Некоторые веруют не потому, что бога возлюбили, а из-за краха атеизма... веруют как бы от отчаяния. Если представлять себе, что там, на небесах, не отче милосердный, который руци возлагает на головы страждущих, а некто недоступный, непостижимый, безразличный, тогда можно называть его как угодно: абсолютом, нирваной... Тогда он – отвлеченное понятие, а не источник любви, и его тоже не полюбишь. Вот и лишает себя жизни человек, как случится несчастье.

– Все это так, – сказал Свирский недовольно, – но Завиловский лежит с разможенной головой, а они вон поехали куда-то на море и живут себе припеваючи.

– А почему вы знаете, может, не припеваючи? – спросил Васковский.

– Да ну их к черту!..

– Поверьте, они достойны сожаления. Истину нельзя попирать безнаказанно. Как ни оправдывай они себя, уважения никакими словами не вернешь. И втайне они начнут презирать друг друга, презрение перерастает в неприязнь, которая вытеснит любовь из их сердец. Чаша сия их не минет.

– Да пошли они к черту! – повторил Свирский.

– Милосердие божие грешникам нужнее, чем праведникам, – заключил Васковский.

Тем временем Бигель превозносил доброту и самоотверженность Елены Завиловской, разговаривая с Поланецким.

– Люди ведь невесть что начнут болтать, – заметил он.

– Это мало ее заботит, – отвечал Поланецкий. – Она с мнением света не считается, потому что не ждет от него ничего. У нее тоже своя гордость есть. К Игнацию она всегда питала расположение, и поступок его, должно быть, потряс ее. Вы ведь знаете историю Плошовского?..

– Я с ним даже знаком был, – ответил. Свирский. – Его отец первый предсказал в Риме, что из меня что-то выйдет... Говорят, Елена невестой Плошовского была?

– Нет, это выдумки, но втайне она как будто была в него влюблена. Под такой уж родился звездой... Одно верно: после смерти его она очень переменилась. Для нее, женщины религиозной, самоубийство его было страшным ударом. Каково это: не иметь даже возможности помолиться за упокой души любимого человека!.. А теперь вот еще Игнаций!.. Кто-кто, а она все делает, чтобы его спасти. Вчера, когда я был там, она ко мне вышла чуть живая – бледная, усталая, невыспавшаяся. А в доме есть ведь кому за ним ухаживать. Панна Ратковская мне сказала, что Елена спала за четыре дня не больше часа.

– Панна Ратковская? – переспросил Свирский с живостью.

– Да. Забыл сказать: она из газет узнала о случившемся и переехала в тот же день к Елене, помогать ухаживать за больным. Бедняжка тоже на тень стала похожа.

– Панна Ратковская!.. – повторил Свирский, нащупывая машинально в кармане сюртука бумажник, где лежало ее письмо.

«Я уже сделала свой выбор, и если не буду счастлива в жизни, в неискренности, по крайней мере, не смогу себя упрекнуть», – припомнились ее слова из письма. Только теперь он понял их значение, их трагический смысл. Пренебрегши светскими условностями, не боясь пересудов, молодая девушка ухаживает за самоубийцей. Что это может значить? Ясно как божий день. Коповский, правда, уехал с другой, но она никогда и не скрывала о нем своего мнения, а вместе с тем, будь ей безразличен Завиловский, не стала бы она дежурить у его постели.

– Сдается мне, что я осел! – пробормотал Свирский.

Но это был не единственный вывод, к которому он пришел по здоровом размышлении. Тоска по Стефании, по упущенным возможностям и поздние сожаления охватили его.

«Опять дал маху, старина! – сказал он себе. – Да так тебе и надо! Хороший человек отнесся бы к ней с участием, а ты стал возводить на нее напраслину, осуждать за любовь к дураку, за притворство, ограниченность; оговорил перед Марыней и Поланецким. Ты был несправедлив к кроткой, несчастной девушке – и не потому, что болезненно переживал ее отказ, а потому, что уязвили твое самолюбие. Так тебе и надо! Так и надо! Ты осел и ее не стоишь – и всю жизнь до гробовой доски будешь маяться в одиночестве, как мандрил в зверинце».

В упреках этих была доля правды. Стефанию он в самом деле не любил, но отказ ее задел его больше, чем можно было ожидать. И, не в силах совладать с разочарованием, призвал он на помощь свои общие суждения о женщинах, беря в пример панну Ратковскую, отыгрываясь на ней.

Теперь он понял бессмысленность таких рассуждений. «Эти дурацкие обобщения ничего, кроме вреда, мне не приносили, – думал он. – Женщина, как и все люди, – индивид, и понятие это само по себе еще ничего не означает. Есть панна Кастелли, есть Анета Основская, за последней, я подозреваю, водятся кое-какие грешки, хотя доказательств у меня нет, – но, с другой стороны, есть Марыня Поланецкая, пани Бигель, сестра Анжелика, Елена Завиловская, Стефания. Бедная девочка! И поделом мне! Она втайне страдала, а я злился на нее. Да мне с ней себя равнять – это все равно, что свою трубку – с солнцем. Она десять раз права, отказав такому буйволу. Нет, лучше уеду на Восток – и баста! Таких красок, как в Египте, больше нигде не найдешь!.. Но вот что значит женское благородство! Даже ее отказ на пользу мне пошел, это благодаря ей я убедился, что мои теории о женщинах выведенного яйца не стоят. Пусть Елена Завиловская перед домом хоть полк драгун выставит, все равно прорвусь и выскажу этой бедняжке свое мнение о ней».

И на другой день он отправился к Завиловской. Сначала его не хотели пускать, но он так настаивал, что в конце концов добился своего. Елена, полагая, что его привели сюда дружеские чувства и беспокойство о Завиловском, даже проводила Свирского к больному. Когда он вошел в затемненную шторами комнату, в нос ему ударил сильный запах йодоформа, и в полумраке он разглядел забинтованную голову с торчащим вверх подбородком, а рядом двух женщин, осунувшихся, с лихорадочным румянцем от бессонных ночей, и впрямь похожих на тени. Рот у Завиловского был открыт, из-под бинтов виднелись опухшие веки. Он изменился до неузнаваемости и казался старше своих лет. И хотя Свирский успел к нему привязаться и, будучи человеком отзывчивым, жалел его не меньше, чем Поланецкий или Основский, но при виде этого обезображенного лица испугался. «Эка отделал себя!» – подумал он.

– Не приходил в сознание? – тихо спросил он у Елены.

– Нет, – шепотом ответила она.

– А что доктора?

Елена развела своими худыми руками, давая понять, что пока ничего неизвестно.

– Нынче пятый день... – прибавила она вполголоса.

– И температура упала, – поддержала Стефания.

Свирский предложил им свою помощь, но Елена глазами указала на молодого врача. Свирский не разглядел его в темноте, – сидя в кресле возле стола, на котором стоял таз и лежала пропитанная йодоформом вата, он дремал от усталости в

ожидании, пока его сменит другой доктор.

– У нас их двое, – прошептала Стефания, – и сиделки из больницы, которые отлично знают свое дело.

– Очень уж измученный у вас вид.

– Тут речь о его жизни... – ответила она, посмотрев в сторону кровати.

Свирский последовал за ее взглядом. Глаза его немного привыкли к темноте, и он лучше разглядел лицо Завиловского – застывшее, с запекшимися губами. Большое тело его тоже было неподвижно, только исхудалые пальцы шевелились, теребя одеяло.

«Ей-богу, его через пару дней свезут прямиком на кладбище», – пронеслось у него в голове, и он вспомнил своего приятеля – того, прозванного «Славянином», над которым в свое время трунил все Букацкий; он тоже пустил себе пулю в лоб и, промучившись две недели, умер. Но чтобы не огорчать женщин, сказал прямо противоположное тому, что думал:

– От таких ран или сразу умирают, или выздоравливают.

Елена не ответила, только губы у нее побелели и лицо судорожно передернулось. Видимо, в глубине души она сама боялась, что Завиловский умрет, но гнала эту страшную мысль. Довольно было с нее одного самоубийства, да и нечто другое заботило, нежели только спасти жизнь Игнацию.

Свирский стал прощаться. Он заранее обдумал слова, с какими обратится к Стефании, – скажет, что был к ней несправедлив, что глубоко ее уважает, предложит свою дружбу; но пред лицом этой трагедии и грозного призрака смерти, при виде этих двух несчастных женщин и этого полутрупа понял, как неуместны и ничтожны все его оправдания и как нелепо сейчас выяснять отношения.

Молча поцеловал он руку Елене, потом – Стефании и, выйдя из этой обители печали, с наслаждением вдохнул свежий, не пахнувший йодоформом воздух.

Его воображению художника живо представлялся Завиловский – изменившийся, постаревший лет на десять, с запекшимися губами и забинтованной головой.

И несмотря на участие, его вдруг разобрала злость.

– Послал к чертям и жизнь, и талант, – проворчал он, – и хоть бы что! А они, бедняжки, душу за него готовы отдать, дрожат над ним, точно листья на ветру.

Он будто завидовал Завиловскому и жалел себя.

«Что, старина, – говорил он себе, – небось ты бы разделался вот так с собой и своим талантом, никто не ходил бы вокруг да около на цыпочках!»

Но дальнейшие его размышления прервал Плавицкий, который с ним столкнулся на углу.

– Я только что из Карлсбада, – сообщил он. – Сколько там очаровательных женщин, если бы вы только знали! А сегодня вот в Бучинек собираюсь. С зятем я уже

виделся и знаю от него, что Марыня здорова, но сам он что-то неважно выглядит.

– Это от огорчения. Вы ведь слышали про Завиловского?

– Как же, как же! А вы, что сами вы об этом думаете?

– Беда большая.

– Да, беда, а все оттого, что нравственных устоев нет. Придумали какие-то там атеизмы, магнетизмы, социализмы, от них и пошло все зло. Нет у молодежи устоев, вот в чем беда!..

ГЛАВА LIX

На Поланецкого этот катастрофический случай так подействовал, что он совершенно забыл о своем обещании написать Основскому, как Игнаций перенес отъезд Линеты и разрыв с ней. Но тот у знал обо всем из газет и ежедневно осведомлялся по телеграфу о здоровье Завиловского, очень за него беспокоясь. Газетные сообщения и слухи были самые разноречивые. Одни газеты писали: надежды на выздоровление нет, другие – что состояние больного улучшается. И, не зная сам ничего определенного, Поланецкий лишь две недели спустя известил Основского телеграммой, что кризис миновал и врачи ручаются за его жизнь.

Основский прислал в ответ пространное письмо, в котором сообщал между прочим и разные новости из Остенде.

«Благослови вас господь за добрую весть. Значит, и правда, опасность миновала? Не могу и выразить, какая у нас тяжесть с души свалилась. Передайте Игнацию: не только я, но и жена моя со слезами приняла известие о его выздоровлении. Ни о чем другом она сейчас не может ни думать, ни говорить. Ах, эти женщины! О них тома целые впору писать. Конечно, моя Анетка – исключение, и, верите ли, несмотря на испуг, сострадание и жалость к Игнацию, он после этого случая еще больше вырос в ее глазах. Женщины во всем ищут романтическую сторону, и даже в Коповском, чья глупость ей хорошо известна, она как в виновнике несчастья видит что-то демоническое. Но, слава богу, Игнаций поправляется, и это главное! Пусть здравствует народу нашему во славу и найдет себе достойную спутницу жизни. По телеграмме вашей я заключаю, что его опекает панна Елена. Бог ее благослови за такую доброту. Ведь у нее никого близкого нет на свете, а Игнаций благодаря памяти о Плошковском, думаю, тем дороже.

Ну, а теперь, успокоенный касательно его здоровья, могу сообщить вам кое-какие подробности о тетушке Бронич и Линете. Может, вы уже слышали, что они тут с Коповским. Они направились было в Шевенинген, но, узнав, что там оспа, уехали в Остенде, не предполагая, что и мы здесь. Несколько раз мы их встречали в курзале, но делали вид, будто не знакомы. Коповский даже оставил у нас визитную карточку, но я никак не отозвался, хотя, как справедливо заметила моя жена, он куда меньше виноват. И, лишь получив вашу телеграмму, что Игнацию лучше, я из простого человеколюбия передумал и немедля переслал ее им. Ведь и им тоже несладко приходится: знакомые от них отвернулись, и мне хотелось, чтобы хоть жизнь человеческая не лежала у них на совести, тем паче что Линета, кажется, поступок Игнация все-таки переживает. Они в тот же день пришли к нам, и жена их приняла. Она правильно считает, что дурные свойства – это род морального недуга,

а больных не годится лишать помощи. Первая встреча была неприятна и тягостна и для нас, и для них. Об Игнации не было сказано ни слова. Коповский выступает в роли жениха Линеты, но впечатления счастливой пары они не производят, хотя, по правде говоря, он гораздо больше ей подходит и в этом смысле во всем происшедшем приходится видеть промысел божий. Стороной я узнал: тетушка так именно дело и представляет. Излишне говорить, как меня бесит это упоминание всуе имени божьего. Некоторых наших общих знакомых тетушка пыталась уверить, будто они порвали с Игнацием из-за недостатка у него религиозных чувств, другим плетет небылицы о его деспотическом нраве и неспособности ужиться с Линетой. Все это сплошной обман и самообман. Внушая себе и окружающим, что Линета возвышенное существо, тетка сама в конце концов этому поверила и теперь переживает жестокое разочарование. Правда, она почитает своим долгом выгораживать Линету и мечется как угорелая, выдумывая бог весть что в ее защиту, но сдается мне, мысль, что она в ней обманулась, порядком ее грызет, уж больно вид у нее неважнецкий. Им, видимо, важно возобновить отношения с нами, это, по их расчетам, вернуло бы им отчасти общее расположение – но, хотя жена и приняла их, отношения наши, конечно, не могут быть прежними. Я первый бы этому воспротивился, ибо считаю себя обязанным оберегать жену от дурного влияния. Свадьба Линеты состоится, кажется, через два месяца в Париже. Мы, разумеется, присутствовать не будем. И вообще жена смотрит на все это скептически. Пишу столь пространно в надежде и от вас получить подробное письмо с уведомлением обо всем, что касается Игнация. Как только состояние его позволит, обнимите его и скажите, что во мне он всегда имел и будет иметь искреннейшего друга, преданного ему душой и сердцем».

Невзирая на осеннюю пору, Марыня все еще жила в Бучинеке, и Поланецкий, забрав письмо из конторы, показал его прежде Бигелям, к которым зашел пообедать.

– Во всем этом одно радуется, – сказала, прочитав, пани Бигель, – что она выходит за этого своего Коповского. Иначе я была бы неспокойна: вдруг у Игнация снова проснется чувство и он, поправившись, вернется к ней.

– Нет. У Завиловского сильный характер, и он, по-моему, ни за что к ней не вернулся бы, – сказал Бигель. – А ты как думаешь, Стах?

Бигель так привык советоваться со своим компаньоном, что и тут не мог без этого обойтись.

– Я думаю, скорее уж они пойдут на попятный, сообразив, что сделали, а что до него... я всякое повидал, самое несообразное, и ни за что не поручусь.

И Поланецкому снова пришли на память слова: «Знаю, какая она, но ничего не могу с собой поделаться».

– А ты вернулся бы на его месте? – спросил Бигель.

– Наверно, нет, но и за себя не ручаюсь. Да я прежде всего стреляться бы не стал. А впрочем, не знаю!

Ему неприятно было говорить об этом; кому-кому, подумал он, а уж не ему зарекаться.

– Много бы я дала, чтоб Игнация повидать, – сказала пани Бигель, – но, право, легче крепость взять, чем к нему проникнуть. Не понимаю, почему Елена так его бережет, даже от близких друзей?

– Бережет, потому что врач предписал абсолютный покой. Да и ему с тех пор, как он в сознании, не хочется видеть людей, даже самых близких. И это можно понять. Говорить о происшедшем он не может, но чувствует, что у всех, кто приходит, одно и то же на уме.

– А вы у него каждый день бываете?

– Меня пускают, потому что я с самого начала в какой-то мере причастен ко всему. Я первый ему сообщил, что Линета порвала с ним, и вроде бы его опекал.

– Он еще ее вспоминает?

– Я спрашивал Елену и панну Ратковскую, они говорят: нет. И сам я часами просиживаю у его постели, но тоже ни разу не слышал. Сейчас он в полном сознании, понимает, что ранен, болен, но странное дело: такое впечатление, будто все предшествующее выпало у него из памяти, перестало существовать. Доктора говорят, что ранения в голову могут вызвать всякие такие необычные последствия. Но при этом узнает всех, кто приходит, страшно благодарен Елене и Стефании Ратковской. Особенно привязался он к Стефании и с явным нетерпением поджидает ее, стоит ей хоть на минутку отлучиться. Обе они до того добры к нему... право, просто слов не нахожу.

– Меня больше всего трогает Стефания, – сказала пани Бигель.

– По зрелом размышлении я пришел к заключению, – вставил Бигель, – что она в него просто влюблена.

– Напрасно ты тратил время на размышления, – заметил Поланецкий, – это ясно как божий день. Бедняжка скрывала свое чувство, пока с Игнацием не случилось несчастья. И Свирскому отказала именно поэтому. Секрета я не выдаю: Свирский сам рассказывает об этом направо и налево. Виноватым себя считает перед ней за то, что заподозрил ее в любви к Коповскому. После отъезда Основских жила она у своей родственницы, Мельницкой, но, узнав, что Игнаций стрелялся и Елена взяла его к себе, явилась к ней и упросила разрешить ей за ним ухаживать. Всем ясно, что это значит, но она, как и сама Елена, выше людских толков. – И Поланецкий продолжал, обращаясь к пани Бигель: – Вот вы говорите, вас трогает Стефания, но подумайте, какую трагедию переживает Елена! Завиловский, по крайней мере, остался жив, Плошовский целил лучше. И, по ее понятиям, даже на том свете для него не будет прощения. А она ведь его любит. Вот положение! А тут еще второе самоубийство растравило раны, всколыхнуло воспоминания. Стефания трогательна, не спорю, но у Елены жизнь навек разбита и никакой надежды, только отчаяние.

– Да, вы правы! Но, видимо, она привязана к Игнацию, если ходить за ним так самоотверженно...

– А я догадываюсь почему. За спасение Завиловского она надеется испросить прощения для того, другого.

– Очень может быть, – сказал Бигель. – Как знать, не женится ли еще Завиловский на панне Ратковской, когда выздоровеет.

– Если забудет ту, прежнюю, если несчастье его не сломит и, наконец, если он вообще поправится.

– Как это, если поправится? Ты же говорил: в этом нет сомнения.

– Нет сомнения, что будет жить, но еще вопрос, останется ли он прежним Завиловским. Если б он даже не стрелялся, при его экзальтированности трудно поручиться, что это не сломило бы его. А тут как-никак голова прострелена! Такое даром не проходит. Как дальше пойдет, еще неизвестно. И сейчас вот он, например, в сознании и объясняется вполне осмысленно, но нет-нет да и запнется, простейших слов не может вспомнить. Раньше с ним этого не бывало. Странно, названия предметов помнит хорошо, а коснется речь какого-нибудь действия, останавливается, силится найти слово, но не всегда находит.

– А что доктор?

– Бог даст, все образуется, так и доктор считает. Но вот вчера, едва я пришел, Игнаций ко мне: «А пани...» – и замолчал. Вспомнил, наверно, про Марыню, захотел спросить, но не сумел. С каждым днем он говорит все свободней, это верно, но сколько еще времени пройдет, пока он окончательно поправится... а какие-то последствия могут остаться и на всю жизнь.

– Марыня знает уже?

– Пока уверенности не было, что он выживет, я скрывал от нее, но потом решил сказать. Конечно, в самой осторожной форме. Держать дольше в тайне становилось трудно. Слишком уж большие толки это вызвало, я боялся, как бы она не узнала со стороны. Я сказал, что ранение легкое, жизнь его вне опасности, но навещать доктора не разрешают. Но она и так ужасно расстроилась.

– Когда вы сюда ее забираете?

– Пускай в деревне поживет, пока погода хорошая.

Разговор был прерван появлением слуги, передавшего Поланецкому записку от Машко.

«Нужно бы повидаться по твоему делу, – писал он. – Буду дожидаться у тебя до пяти часов».

– Интересно, чего ему надо от меня, – сказал Поланецкий.

– Кому?

– Да вот Машко. Хочет повидаться.

– Все дела небось, – сказал Бигель. – У него всегда их выше головы. Удивляюсь, как у него сил и ума хватает на все на это. А знаешь, старуха Краславская приехала, совсем слепая. В полном смысле ослепла, не видит ровно ничего. Мы были у них перед возвращением в город. Куда ни глянешь, всюду горе, просто сердце разрывается.

– Но человек познается в беде, – сказала пани Бигель. – Помните, мы считали пани Машко холодной, суховатой, а как она заботится о матери! Вы и не представляете. Прислугу даже и не подпускает, сама ее повсюду провожает, ухаживает, читает ей. Для меня это приятная неожиданность с ее стороны, даже со стороны обеих, потому что и мать оставила свою прежнюю фанаберию. Приятно видеть их взаимную нежность.

Стало быть, есть в Терезе что-то такое, что мы проглядели.

– И обе страшно возмущаются поступком Линеты, – прибавил Бигель. – Краславская нам сказала: «Сделай такое Тереза, я бы от нее отреклась, несмотря на мою слепоту и беспомощность». Но Тереза, какая она ни есть, никогда бы так не поступила, она совсем другого склада женщина.

Поланецкий, допив свой черный кофе, начал прощаться. С некоторых пор всякое упоминание о Терезе сделалось для него невыносимо; ему казалось, будто перед ним наново разыгрывается отрывок из той странной человеческой комедии, в которой сам он сыграл свою малопримечательную роль. Ему не приходило в голову, что люди – существа сложные, даже самые испорченные не лишены каких-то добрых качеств, и Тереза, вопреки всему, может быть любящей дочерью. Он вообще предпочитал о ней не думать и сейчас сосредоточился на одном: чего Машко от него нужно? Машко сообщал в записке, что хочет увидиться не по своему собственному, а по его, Поланецкого, делу, но это вылетело у него из головы, и зашевелилось беспокойство: опять будет просить займы.

«И я не смогу теперь ему отказать», – подумал он.

Жизнь подобна часовому механизму, пришло ему на ум. Один винтик неисправен – и все разлаживается. Какая, кажется, связь между тем, что было у них с Терезой, и его финансовыми, коммерческими интересами, торговыми сделками? И однако, у него как коммерсанта – по крайней мере, в отношении Машко – вот уже чувствительно сократилась прежняя свобода действий.

Но опасения его были напрасны: Машко явился не за деньгами.

– Искал тебя и в конторе, и здесь, – сказал Машко, – потом догадался, что ты, наверно, у Бигелей, и послал записку. Хочу по одному делу с тобой поговорить, касающемуся тебя.

– Чем могу служить? – спросил Поланецкий.

– Прежде всего прошу: пускай это останется между нами.

– Изволь. Так что же? Слушаю тебя.

Машко с минуту молча смотрел на Поланецкого, словно желая подготовить его к важному известию, и наконец совершенно спокойно сообщил, отчеканивая каждое слово:

– А что, что я погиб безвозвратно.

– Дело в суде проиграл?

– Нет. Дело будет слушаться через две недели, но я знаю, что проиграю.

– Почему ты так уверен в этом?

– Помнишь, я как-то говорил, что дела по опротестованию завещаний, как правило, выигрывают, потому что истец как лицо заинтересованное обычно действует энергичней, чем ответчик, которому исход безразличен. Повод для придинок всегда найдется, и даже если какое-то обстоятельство или утверждение согласно с духом

закона, оно в большей или меньшей степени может не соответствовать его букве, а судьи должны придерживаться именно буквы.

– Да. Говорил.

– И дело, за которое я взялся, в этом смысле не исключение. Это была не авантюра, как могло показаться. Я задался целью доказать формальную недействительность завещания, и, может, мне это удалось бы, если бы не то, что мой противник с не меньшим рвением старался доказать противоположное. Не стану утомлять тебя подробностями, скажу только одно: я столкнулся не просто с адвокатом противной стороны, причем подкованным на все четыре ноги, а еще и личным врагом, который не только выиграть дело стремится, но заодно меня погубить. Когда-то я его оскорбил, и вот он мстит.

– Не понимаю, почему тебе вообще не иметь дела только с самим прокурором?

– Потому что там есть записи в пользу частных лиц, и они для защиты своих интересов обратились к этому Селедке. Впрочем, не о том речь. Дело проиграно, потому что в сложившихся обстоятельствах ничего у меня не выйдет, а у Селедки выйдет, вот и все. Заранее знаю и не обольщаюсь. Хватит уже с меня, сыт по горло.

– Ты можешь дальше пойти... подать апелляцию.

– Нет, дорогой, ничего я не могу.

– Почему?

– Потому что у меня долгов больше, чем волос на голове, и после первого же проигрыша кредиторы накинутся на меня и... – понизил Машко голос, – придется тогда удариться в бег.

Наступило молчание. Машко некоторое время сидел, положив голову на руку и опершись локтем в колено, затем, не меняя своей понурой позы, заговорил, как бы рассуждая сам с собой:

– Лопнуло. Вязал из последних сил, другой на моем месте давно бросил бы, пускай рвется, а я не покладал рук. Но больше не могу! Видит бог, мочи больше нет. Все когда-нибудь кончается, положим и этому конец. – Он вздохнул, как от смертельной усталости, и поднял голову. – Но это все мои дела, а я пришел поговорить о твоих. Так вот, слушай! По контракту, заключенному при покупке Кшеменя, я должен выплатить твоей жене сумму, полученную после парцелляции Магерувки. Кроме того, я занял у тебя несколько тысяч рублей. И тестю твоему обязался выплачивать пожизненный пенсион. И вот я пришел тебе сказать: если не через неделю, то через две меня объявят банкротом, я буду вынужден бежать за границу, и вы не получите ни гроша.

Решительно и нимало не смущаясь выложив это, как человек, которому нечего терять, Машко посмотрел Поланецкому в глаза, ожидая вспышки гнева.

Но ничего подобного не произошло. Поланецкий, правда, помрачнел было, но, овладев собой, сказал спокойно:

– Я так и думал, что этим кончится.

Зная Поланецкого, Машко вполне допускал, что тот может схватить его за шиворот, и глянул на него испытующе, недоумевая, что это с ним.

А у Поланецкого в голове промелькнуло: «Попроси он денег на дорогу, я бы не смог отказать». Вслух же он повторил:

– Да, этого и следовало ожидать.

– Нет, не следовало! – вскричал Машко, не желая расставаться с мыслью, что всему виной неблагоприятное стечение обстоятельств. – Ты не имеешь права так говорить. Я и на смертном одре готов подтвердить, что все могло обернуться иначе.

– Чего тебе, любезный, собственно, нужно от меня? – с оттенком раздражения спросил Поланецкий.

– От тебя ровно ничего, – поостыв немного, ответил Машко. – Я пришел к тебе как к человеку, который всегда оказывал мне дружеское расположение, пришел как должник, имея в виду не деньги, а долг благодарности, – чтобы поделиться с тобой откровенно и сказать: спасай, что можно, пока не поздно еще.

Поланецкий стиснул зубы. Он полагал, что есть какой-то предел тем злым шуткам, которые жизнь в последнее время не уставала шутить над ним и остальными. Но слова Машко о дружеском расположении и долге благодарности звучали насмешкой, превосходившей уже всякие пределы. «Катись ты ко всем чертям вместе со своими деньгами!» – чуть не сорвалось у него с языка, но, сдержавшись, он сказал только:

– Не вижу такой возможности.

– Возможность есть, – ответил Машко. – Пока никто не знает, что я банкрот, пока теплится надежда выиграть процесс и моя фамилия и подпись чего-то еще стоят, продай закладную твоей жены. А покупателю скажи: решил, дескать, обратить недвижимость в капитал или что-нибудь в этом роде. Глаза всегда можно отвести. И покупатель найдется, особенно если цену сбавишь, продашь с уступкой. Любой еврей купит в расчете на барыш. Да кто угодно пусть погорит на этом, только не ты. А предупредил я тебя или нет о своем банкротстве, никто ведь не знает, ты мог рассчитывать и на благоприятный исход судебного дела. И будь спокоен: покупатель твоей закладной сам продаст бы ее тебе без зазрения совести, наперед зная, что завтра ей будет грош цена. Жизнь – это биржа, а на бирже так дела и делаются. Это называется изворотливостью.

– Нет, – отвечал Поланецкий, – это называется иначе. Ты упомянул евреев, так вот, есть дела, которые они определяют словом «schmutzig»[73 - грязные (итал.)]. И чтобы выручить деньги по закладной, я поищу другой способ.

– Как знаешь. Мне, милый мой, самому известно, как называется мой способ, тем не менее по долгу порядочности я счел нужным тебе его предложить. Может, это уже порядочность будущего банкрота, но другой у меня нет. Можешь себе представить, как легко мне все это говорить. Я заранее знал, что ты не согласишься, но мое дело было посоветовать. А теперь прикажи подать чашку чаю да рюмочку коньяку, а то я совсем обессилел.

Поланецкий позвонил.

– Конечно, – продолжал Машко, – кто-то должен из-за меня пострадать, тут уж ничего не поделаешь; но я предпочел бы, чтобы в их числе оказались люди мне безразличные, а не расположенные ко мне. Бывают в жизни такие положения, когда невольно приходится идти на сделки с совестью. – Машко горько усмехнулся. – Раньше я этого не знал, но теперь мои горизонты расширились. Век живи, век учись. У нас, банкротов, тоже есть свое понятие о чести. Что до меня, я обеспокоен участью не тех, кто поступил бы со мной точно так же, а близких мне людей, которым я признателен. Может быть, это мораль Ринальдини, но все-таки мораль.

Лакей принес тем временем чай. Машко для подкрепления сил долил чашку коньяком и, остудив ее таким образом, выпил одним духом.

– Ты лучше меня во всем разбираешься, – сказал Поланецкий, – и все доводы против отъезда, в пользу того, чтобы остаться и попытаться поладить с кредиторами, ты сам, наверно, уже обдумал. Поэтому я хочу спросить о другом. Чем ты собираешься заняться, есть ли у тебя что-нибудь на примете? И деньги хотя бы на дорогу?

– Есть. На сто тысяч обанкротиться или на сто десять – это уже значения не имеет, но спасибо за вопрос. – И Машко опять подлил коньяку в чай. – Не думай, будто я запил с горя, просто я сегодня еще с утра не присел и устал безумно. Ах, хорошо, теперь немного подкрепился. Скажу тебе откровенно: надежды я еще не потерял. Пулю в лоб, как видишь, не пустил – вот тебе лучшее доказательство. Это все устарело, это все мелодрама. Я понимаю: здесь для меня все кончено, но на здешней почве особенно-то и не развернешься. Интересы настоящего нет, да и простора. То ли дело Европа, Париж! Вот где колесо фортуны оседлать можно – со дна под самое небо взлететь. Да что тут распространяться! У того же Гирша, когда он уезжал, и трехсот франков небось не было! Ладно, можешь мне не говорить, в нашем тухлом болоте это миражем кажется, горячечным бредом банкрота... Но там и поглупей меня миллионы наживали, да, поглупее!.. Пан или пропал, но уж если ворочусь когда-нибудь... – И, сжав кулаки – чай с коньяком оказывал, видимо, свое действие, – прибавил: – Вот увидишь!..

– Миражи не миражи, – отозвался Поланецкий, – но, во всяком случае, еще дело будущего. А пока-то что?

В тоне его чувствовалось растущее раздражение.

– А пока... – ответил Машко не сразу, – пока что мошенником будут считать. Никому и в голову не придет, что крах краху рознь... Я вот, к примеру, у жены ни одной подписи не взял, ни единого поручительства, ни разу капитал ее не тронул, сколько было до замужества, столько и осталось... Поеду один и, пока не устроюсь, здесь ее оставлю с матерью. Не знаю, слышал ли ты, что Краславская ослепла совсем. С собой я не могу их взять, так как не знаю даже, где еще поселюсь... в Париже или Антверпене... Но надеюсь, мы ненадолго разлучаемся... Они ничего еще и не подозревают... Вот в чем трагедия, вот что меня мучает...

Машко схватился за голову и зажмурился, словно от боли.

– Когда ты едешь? – спросил Поланецкий.

– Не знаю еще, но сообщу тебе. Ты мне вызвался помочь, так помоги – но не деньгами. От жены на первых порах все отвернуты. Не оставляйте ее совсем,

возьми хоть ты под свою опеку. Ладно? Ты всегда был ко мне расположен – и к ней тоже, я знаю.

«Ей-богу, спятить можно!» – подумал Поланецкий, но вслух сказал:

– Ладно.

– Сердечное тебе спасибо. И еще одна просьба к тебе. Они обе очень тебя уважают, и жена, и теща. Каждому твоему слову верят. Выгороди меня хоть немного перед женой. Растолкуй ей, что одно дело – мошенничество, а другое – невезение. Право же, не такой я негодяй, за какого меня примут. Ведь мог бы и жену разорить, а вот не разорил, мог и у тебя призанять еще несколько тысяч, но не занял. Словом, ты сумеешь изложить все, как надо, – и она тебе поверит. Сделай для меня, хорошо?

– Хорошо, – повторил Поланецкий.

А Машко, обхватив голову и морщась, как от физической боли, стал твердить:

– Вот он, крах настоящий! Вот от чего я страдаю!

И через несколько минут попрощался с Поланецким, еще раз поблагодарив за доброе отношение к жене и обещание позаботиться о ней.

Поланецкий вышел с ним вместе, сел на извозчика и поехал в Бучинек.

По дороге он думал о Машко, о постигшей его участи, говоря себе: «Я тоже банкрот!» И был прав. К тому же все последнее время владела им какая-то безотчетная, глухая тревога, которую он никак не мог подавить. Вокруг наблюдал он обман, неудачи, крушенья и сам жил в ожидании какой-то беды, грозящей ему в будущем. И хотя разубеждал себя в основательности таких опасений, тайный страх не покидал его. «А почему я, собственно, должен быть исключением?» – спрашивал он себя. И сердце у него сжималось от дурных предчувствий. Даже в словах друзей невольно стали чудиться ему какие-то намеки, шпильки, коловшие тем больнее. В последнее время нервы у него расшатались до того, что он сделался прямо-таки суеверен. Возвращаясь ежедневно в Бучинек, все беспокоился, а не стряслось ли чего?

В тот раз, задержавшись из-за Машко, приехал он позже обычного, когда совсем уже стемнело. Сойдя перед крыльцом на песчаной дорожке, которая заглушала звук колес, он увидел в окно Марыню, пани Эмилию и Васковского, сидевших в гостиной за круглым столом. Марыня раскладывала пасьянс и объясняла, наверно, что-то пани Эмилии, повернувшись к ней и указывая пальцем на карту. «Более чистой души я в жизни не встречал!» – подумал Поланецкий при виде жены. Это он все чаще повторял себе с некоторых пор – с острым чувством счастья и одновременно глубокой печали. И с этой же мыслью вошел.

– Ты сегодня опоздал, – сказала Марыня, когда он, поздоровавшись со всеми, поднес ее руку к губам. – Но мы ждем тебя с ужином.

– Машко задержал, – ответил Поланецкий. – А что у вас слышно?

– Ничего нового. Все благополучно.

– А ты как себя чувствуешь?

– Прекрасно! – весело ответила она, подставляя лоб для поцелуя.

И стала расспрашивать о Завиловском. Поланецкий впервые после неприятного разговора с Машко вздохнул облегченно. «Здорова, значит, все хорошо!» – словно удивившись в душе, подумал он. И действительно, было хорошо в этой освещенной, настраивавшей на мирный лад комнате среди приветливых людей, подле верной, доброй жены, самого близкого ему существа на свете. Было ощущение, что есть все, потребное для счастья. И вместе с тем – что счастье это он сам же губит, заноса в чистую атмосферу семейного очага миазмы зла и порока, и недостойно жить под одной кровлей с Марыней.

ГЛАВА LX

В середине сентября похолодало, и они перебрались на свою городскую квартиру. К приезду жены Поланецкий как следует прибрал ее, поставил всюду цветы. Ему казалось, он лишился теперь права любить Марыню. Но это было не так: лишился он лишь прежней свободы по отношению к ней, но, может быть, именно поэтому стал гораздо внимательней и предупредительней. Права любить никто не дает и не отнимает. Другое дело – чувствовать себя недостойным чистого, благородного существа, если у самого совесть нечиста. Тогда-то к любви и примешивается смирение, не позволяющее назвать ее по имени. Утратил Поланецкий лишь прежнюю самоуверенность, нетерпеливость и бесцеремонность в обращении с женой. И теперь в его обхождении с ней проскальзывали такие нотки, словно она была еще панной Плавицкой, а он – не смевшим надеяться на благосклонность претендентом на ее руку.

Но внешне эта робость слишком походила иногда на безразличие. И в результате, несмотря на все его старания и заботливость, прежней близости между ними не было. Поланецкий душил свои душевные порывы, всякий раз говоря себе: «Не имею права!» Марыня не могла не заметить перемены в их совместной жизни, но извиняла это разными причинами.

Во-первых, в доме бывали гости, что так или иначе стесняло их свободу. Во-вторых – несчастье с Завиловским, которое могло подействовать на Стаха, завладев его мыслями. Да и вообще Марыня привыкла уже к изменчивому настроению мужа, перестав придавать этому чрезмерное значение.

После долгих, печальных размышлений пришла она к заключению, что первое время, пока все неровности и несходство характеров не сгладятся, переменчивость настроения и разногласия неизбежны, хотя преходящи. Открытие это помогла ей сделать здравомыслящая пани Бигель.

– Не сразу так было, – заметила она однажды, когда Марыня стала восхищаться их супружескими отношениями. – Сначала мы любили друг друга вроде бы горячее, но были очень разные: я в одну сторону тянула, он – в другую. Но намерения у нас были добрые, и господь бог, видя это, помог нам. А после рождения первого ребенка все наладилось – и теперь я ни за что не рассталась бы со своим старым конягой, хотя он и стал, полнеть, а стоит мне заикнуться о Карлсбаде, только рукой машет.

– После рождения ребенка? – с живостью переспросила Марыня. – Почему-то я так и думала, что с появлением ребенка все налаживается.

Пани Бигель рассмеялась.

– А какой он смешной был, когда наш первый родился! Несколько дней почти что и не разговаривал, очки только сдвинет на лоб и уставится на него, как на чудо морское, потом подойдет ко мне и руки целует.

Ожидание ребенка тоже помогало Марыне не принимать близко к сердцу изменившееся отношение мужа. Она уверяла себя, что его еще сильнее привяжет к ней и их ребенок (не сомневаясь, что он будет верхом совершенства), и красота ее, которая вернется после родов. И потом, Марыня считала, что не имеет права думать сейчас только о себе или даже о Стахе. Надо было приготовить местечко для будущего пришельца не только в доме, но и в душе. Ведь, кроме пеленок, этому созданию нужна любовь. И она копила ее в своем сердце, повторяя себе: жизнь вдвоем может быть и переменчива, но втроем будет не чем иным, как счастьем, постоянным изъяснением долгожданного милосердия и благоволения божьего.

И вообще она с надеждой смотрела на будущее. И хотя Поланецкий держался несколько отстраненно и церемонно, зато был необычайно внимателен, чего за ним раньше не водилось. А утомленное, озабоченное выражение его лица приписывала она беспокойству о Завиловском, чья жизнь была, правда, вне опасности, но недуг, как ей подсказывало сердце, мог продлиться еще невесть сколько, сделав его навечно калекой. Боязнь этого угнетала и ее, и Бигелей, и всех, кому был дорог Завиловский.

К тому же вскоре после возвращения в город из Остенде дошли вести, грозившие новыми осложнениями. Однажды утром в контору, как бомба, влетел Свирский и, затащив Поланецкого с Бигелем в отдельную комнату, сообщил с таинственным видом:

– Вы знаете, что случилось? Ко мне Кресовский заходил, он вчера вернулся из Остевде. Основский поколотил Коповского и от жены ушел. Чудовищный скандал! В Остевде только об этом и говорят.

Бигель и Поланецкий молчали, пораженные.

– Рано или поздно это должно было случиться, – сказал наконец Поланецкий. – Уж слишком слепо он ее любил.

– А я так ничего не понимаю, – вставил Бигель.

– Неслыханная история! – воскликнул Свирский. – Вот уж никто не ожидал.

– А что Кресовский рассказывает?

– Он говорит, Основский условился с какими-то англичанами поехать в Блакенберг поохотиться на дельфинов. Но опоздал – не то на поезд, не то на трамвай, короче говоря, до следующего оставался целый час, и, вернувшись домой, он застал там Коповского. Представляете, что он увидел, если при всей своей кротости вышел из себя и, не побоявшись скандала, так отделал Коповского, что тот слег.

– Он настолько был влюблен в свою жену, что и с ума мог сойти или убить ее, – заметил Бигель. – Какой удар для него!

– Вот они, женщины! – воскликнул Свирский.

Поланецкий промолчал. Бигель в волнении ходил по комнате, охваченный жалостью к Основскому. Наконец, остановясь перед Свирским и сунув руки в карманы, сказал:

– И все-таки я ничего не понимаю.

Свирский, не отвечая, обернулся к Поланецкому.

– Помните, что я вам о ней в Риме говорил, когда писал портрет вашей жены? Старик Завиловский жаворонком ее называл; теперь понятно, почему: у жаворонка и другое название есть: «сквернавка». Ну и женщина! Я догадывался, что нестоящая, но не думал, что до такого дойдет... И с Коповским притом... Теперь мне многое становится ясным. Коповский ведь целыми днями торчал у них; сначала делал вид, будто за Линетой Кастелли ухаживает, потом – за Стефанией Ратковской, а на деле-то они все это придумали с хозяйкой дома для отвода глаз. Экий ловкач! Линетка на обед, Анетка на десерт! Недурненько устроился!.. Они небось еще соперничали между собой. Одна ему авансы, другая – того пуще, лишь бы на свою сторону перетянуть. Думаете, тут не играло роли женское тщеславие?

– Вы правы, – сказал Поланецкий. – Основская всегда была против брака Коповского с Линетой, потому и сватала ее с таким рвением за Игнация. А когда они, несмотря ни на что, все-таки сблизились, она пошла на все, лишь бы его удержать. Это давний роман.

– Теперь я начинаю понимать, – сказал Бигель. – Грустная история!

– Грустна»?.. – переспросил Свирский. – Напротив, для Коповского даже очень веселая... Хотя не все коту масленница! Ему теперь не позавидуешь. Основский ведь, пожалуй, не слабей меня – с утра до вечера спортом занимался, чтобы не пополнеть и жене не разонравиться. Ах, как он ее любил! Редкостной доброты человек, очень его жаль! И чего ей только не хватало? И любовь, и состояние, и преданность поистине собачья – все у нее было, и все втоптала в грязь. Кастелли – та хоть не обвенчана была.

– А они и вправду разошлись?

– Настолько вправду, что она даже уехала уже. Можно вообразить, что там было, если такой вот Основский решился бросить ее.

– Интересно, на что она будет жить, – заметил практичный Бигель. – Состояние-то все его.

– Если уж сразу не убил, так и с голода не даст помереть. Не такой он человек. Кресовский говорит, он остался в Остенде, чтобы потребовать удовлетворения у Коповского. Но тот еще с неделю в постели пролежит. А уж потом дуэль. Ну, а пани Бронич с племянницей укатили в Париж.

– А как же свадьба?

– Да какая тут свадьба! После столь явной измены между ними, разумеется, все кончено. Зло не остается безнаказанным. Остались и они у разбитого корыта. Ха-ха! Пускай теперь поищут себе за границей какого-нибудь князя Крапулеску – у

нас после ее поступка с Завиловским на ней разве что жулик женится либо дурак. Завиловский больше уж не воротится.

– То же самое и я говорил Поланецкому, – заметил Бигель, – а он ответил: «Как знать!»

– Э-э! Вы и в самом деле думаете?..

– Не знаю! Ничего не знаю! – сказал Поланецкий с раздражением. – Ни за что и ни за кого не поручусь, даже за самого себя!

Свирский удивленно посмотрел на него.

– Гм, может, вы и правы, – отозвался он немного погодя. – Скажи мне кто вчера, что Основские разойдутся, я бы счел его за сумасшедшего.

Свирский попрощался, торопясь в мастерскую, а потом – встретиться с Кресовским, с которым условился пообедать, чтобы разузнать подробности этой скандальной истории. Бигель с Поланецким остались одни.

– За содеянное всегда приходится расплачиваться, – сказал задумчиво Бигель. – Знаешь, меня поражает, до чего упала у нас нравственность! Взять хотя бы такую вот пани Бронич с этой Каstellи или Основскую... Что за безнравственные, испорченные и к тому же глупые существа! Чего в них только не намешано, сам черт не разберет, претензии непомерные, а ведут себя, точно горничные! При одной мысли противно становится, правда? А такие люди, как Игнаций или Основский, страдают из-за них.

– Логика здесь бессильна, – мрачно ответил Поланецкий.

Бигель снова, принялся расхаживать, причмокивая и крутя головой, потом с просиявшим лицом вдруг остановился перед Поланецким и хлопнул его по плечу.

– Эх, старина! Зато хоть мы с тобой вытянули счастливый билет в жизненной лотерее. Тоже святыми не были, да бог простил, потому что не забирались воровским манером в чужие дома.

Поланецкий, не отвечая, стал собираться уходить.

Как нарочно все складывалось так, чтобы дергать ему нервы. И видеть, слышать все это было не только больно, мучительно, но уже просто смешно. И хотелось иногда забрать с собой Марыню и скрыться куда-нибудь в глушь, подальше от этого омерзительного жизненного фарса, который становился все несносней. Но он понимал, что не сделает этого, хотя бы из-за положения Марыни. Однако переговоры о покупке Бучинека, уже близкие к завершению, прекратил, решив подыскать себе летнее пристанище в другом, не столь близком и доступном месте. Вообще люди стали его тяготить; казалось, будто он попал в водоворот, из которого никак не выбраться. Иногда просыпался в нем прежний энергичный, здравомыслящий человек, и он в недоумении спрашивал себя: «Какого черта? Почему из-за проступка, какие тысячами совершаются каждодневно, я каюсь и винюсь так непомерно?» Но чувство справедливости говорило: как для врача существуют прежде всего больные, а не болезни вообще, так и в нравственном смысле есть виновники, а не только отвлеченное понятие вины. И за то, что один переносит с легкостью, другой расплачивается жизнью. И тщетно он старался перед собой оправдаться. Вина его,

как человека с принципами, который всего полгода как женился на такой женщине, как Марыня, и вскоре должен был стать отцом, была безмерна и непростительна, и ему подчас не верилось даже, что он мог так поступить. И теперь, возвращаясь домой под впечатлением этого несчастья с Основским, он не мог отделаться от мысли, что и сам виноват в случившемся. «Я, – говорил он себе, – член акционерного общества, которое фабрикует такие отношения и таких женщин, каковы Каstellи и Основская». Бигель прав, говоря об упадке нравственности, подумалось ему, и вот эта-то атмосфера общей снисходительности благоприятствует пороку и тлетворна. Ведь яснее ясного, что случившееся – не следствие несчастного стечения обстоятельств, исключительной страсти или пылкого темперамента, а плод всеобщей распущенности, и имя таким грехам – легион. «Вон только среди моих знакомых – и Тереза Машко, и Основская, и Линета, – думал он, – а кого им противопоставить? Одну мою Марыню!» В ту минуту ему не пришло в голову, что, кроме Марыни, есть среди его знакомых и пани Эмилия, и пани Бигель, и Елена Завиловская, и Стефания Ратковская. И посреди всеобщей испорченности и легкомыслия Марыня представилась Поланецкому столь чистой, преданной и непохожей на других, что он даже растрогался. «Она совсем иного склада, как из другого мира!» – подумалось ему. И сразу вспомнилось, что и Основский считал свою жену исключением; но он тут же с негодованием отменил эту мысль. «Основский ошибался, а я не ошибаюсь». Никакой скептицизм с Марыней не вязался. Сомневаться в ней было бы не только глупо, но и подло: ничему дурному в ее душе просто не было места. Болотная птица и гнездится ведь только на болоте. Как-то Он сказал ей в шутку: вздумай она носить ботинки на высоких каблуках, ее, пожалуй, совесть заела бы от неловкости, что она обманывает людей. И в этой шутке была доля правды. И он увидел ее так явственно, как только могло нарисовать напрягшееся воображение. Увидел ее пополневшую фигуру, ее изменившееся, но по-прежнему обаятельное лицо с этим чуть великоватым ртом и ясными, кроткими глазами – и разволновался.

«Мне и правда достался счастливый билет в жизненной лотерее, – подумал он, – но я не сумел оценить своего счастья». За содеянное надо, по словам Бигеля, расплачиваться. Поланецкому и самому это не раз приходило в голову, и теперь вдруг стало страшно. «Зло не остается безнаказанным, в силу какого-то закона оно отражается, как возвратная волна, – думал он, – значит, я тоже буду наказан». И ему внезапно показалось полнейшим недоразумением его слишком безмятежное счастье, такая жена, как Марыня. Ведь это противоречит закону, по которому зло возвращается, как волна. Но что из этого следует? А то, что Марыня может, например, умереть родами. Или Тереза из мести обронит какое-нибудь словечко, которое западет ей в память, будет мучить и доведет в конце концов до горячки. Для этого не нужно даже и рассказывать всего. Достаточно похвастаться, что она дала ему отпор. «А вдруг она сейчас как раз у Марыни, – испугался он, – и если зайдет речь о мужчинах, один игривый намек – и все кончено...»

При одной мысли об этом у него волосы зашевелились на голове, и домой он явился совершенно взбудораженный. Но Терезы не было, а Марыня передала ему записку от Елены Завиловской, которая просила к ней зайти после обеда.

– Боюсь, не хуже ли Игнацию, – забеспокоилась Марыня.

– Не думаю. Я забежал к нему утром на минутку. Елена была занята, совещалась с нотариусом Кононовичем, но и его, и Стефанию я видел. Он себя чувствовал хорошо, оживился даже, поговорив со мной.

За обедом Поланецкий решил поделиться с женой новостью, услышанной от Свирского; ведь скрыть все равно не скроешь, а выложит кто-нибудь неожиданно – это ее

слишком потрясет, чего он вовсе не хотел.

И на вопрос, что слышно в конторе и в городе, ответил:

– В конторе – ничего нового, а в городе говорят о размолвке между Основскими.

– Между Основскими?

– Да. Что-то там вышло у них в Остенде. И, кажется, из-за Коповского.

– Стах! Что ты говоришь? – сказала Марыня и покраснела.

– Говорю, что слышал. Помнишь, я еще сказал тебе о своих подозрениях вечером на помолвке у Игнация? Оказывается, я был прав. Короче говоря, там скандал и вообще дела плохи.

– Но ты же говорил, что Коповский – жених панны Кастелли?

– Был женихом, а сейчас не знаю. Они могли и порвать.

Марыня разволновалась и стала расспрашивать мужа. Но тот сказал, что подробности дойдут скорей всего через несколько дней, а больше пока ничего неизвестно, и она принялась жалеть Основского, которому всегда симпатизировала, и возмущаться Анетой.

– Я думала, его преданность подкупит ее и привяжет, но, значит, она просто его недостойна. Прав Свирский, плохо отзываясь о женщинах.

Дальнейший разговор был прерван Плавицким, который после раннего ресторанного обеда явился поделиться с ними «свежей новостью», о которой судачил уже весь город. Новость в передаче Плавицкого приобрела весьма фривольный колорит, и Поланецкий, подумал, что хорошо сделал, заранее подготовив жену. Плавицкий, правда, упомянул, каких строгих правил были женщины «прежних времен», но происшествие явно раздражило его любопытство и очень позабавило.

– Вот разбойница! Вот проказница! – заключил он. – Ничего не боялась! И никого не пропускала!.. Бедняга Основский! Никого, никого!

И с этими словами поднял брови, испытующе глядя на Марыню с Поланецким, будто проверяя, вполне ли они улавливают смысл этого «никого». Но Марыня только поморщилась.

– Фу! Стах! – сказала она. – Как это гадко и пошло!

ГЛАВА LXI

После обеда Поланецкий отправился к Елене. Завиловский носил еще на голове черную повязку поверх широкого пластыря посередине, закрывавшего рану; он заикался и немного косил, но в общем вполне окреп и сам себя почитал уже здоровым. Доктор уверял, что и эти последствия ранения пройдут бесследно. Поланецкий застал молодого человека сидящим в глубоком кресле старика Завиловского; закрыв глаза, слушал он стихи, которые ему читала Стефания.

При появлении гостя она закрыла книгу.

– Добрый вечер! – поздоровался он. – Как дела, Игнаций? Я не помешал? Что это вы читаете с таким увлечением?

Стефания наклонила стриженую голову к книжке (раньше она носила длинные косы, но при больном некогда было ухаживать за ними) и ответила:

– Стихи пана Завиловского.

– Собственные стихи слушаешь? – засмеялся Поланецкий. – Ну и как, нравятся?

– Мне кажется, они как будто не мои, – отвечал Завиловский. И, помолчав, прибавил, растягивая слова и слегка заикаясь: – Но я опять буду писать, вот только поправлюсь совсем..

Мысль эта, видимо, не давала ему покоя, и он не раз уже заговаривал об этом со Стефанией, потому что она тотчас отозвалась, словно в ободрение:

– И еще лучше будете писать, теперь уже совсем скоро.

Он улыбнулся ей признательно и умолк.

Вошла Елена.

– Вот хорошо, что пришли, надо бы с вами посоветоваться... – сказала она, пожимая руку Поланецкому.

– К вашим услугам.

– Не здесь, пойдете ко мне.

И, проводив его в соседнюю комнату, указала на кресло, а сама села напротив и помолчала, словно собираясь с мыслями.

На нее падал свет, и Поланецкий, заметив у нее в волосах серебряные нити, подумал: а ей ведь нет и тридцати.

– Мне, собственно, помощь нужна, а не совет, – своим обычным холодным и решительным тоном сказала она. – Я знаю, вы добрый друг Игнация, и ко мне после смерти отца проявили такое участие, что я никогда этого не забуду, поэтому я могу быть с вами откровенней, чем с кем-либо... По причинам личного свойства – говорить мне о них тяжело – я решила изменить свою жизнь, чтобы избежать лишних страданий. У меня давно было такое желание, но, пока был жив отец, нельзя было его осуществить. А потом – несчастье с Игнацием. И я подумала, что не имею права бросить в беде родственника, последнего представителя нашего рода по мужской линии, к которому я вдобавок искренне привязана. Но теперь он, слава богу, спасен. Доктора ручаются за его жизнь, и, коли ему даны выдающиеся способности, предназначенные для великих свершений, ничто больше его предназначению не препятствует. – Она умолкла, словно уносясь мыслями в будущее, потом продолжала: – Долг свой я выполнила и могу вернуться к своему замыслу. Нужно только еще распорядиться состоянием, довольно значительным, которое оставил отец, – в той жизни, что я собираюсь вести, оно мне совершенно не понадобится. Если бы я

считала его своей безраздельной собственностью, может быть, и распорядилась бы им иначе, но, поскольку это достояние фамильное, я не вправе предназначать его на иные цели, пока жив хотя бы один наследник нашего родового имени. Не скрою от вас: отчасти мною руководит симпатия к кузену, однако прежде всего я повинуюсь своей совести и воле отца, который не успел изменить завещание, но мне доподлинно известно, что часть состояния хотел он отделить Игнацию. Сколько оставить себе, я сама решила; это меньше, чем думал отец, но больше, чем может мне понадобиться в моей новой жизни. Все остальное перейдет к Игнацию. Дарственная уже написана по всем правилам Кононовичем. Игнаций унаследует этот дом, Ясмень, имение под Кутном, познанские имения и весь капитал, за исключением моей доли и небольшой суммы, которую я предназначаю для Стефании. Дело только в том, чтобы вручить Игнацию этот документ. Я уже советовалась с двумя докторами, не повредит ли волнение его здоровью и не лучше ли подождать. Однако оба заверили меня, что всякая добрая весть может сказаться на его здоровье лишь благоприятно, а коли так, зачем медлить, хочется покончить с этим поскорее.

И слабая улыбка тронула его губы.

– Дорогая пани Елена, скажите – это не пустое любопытство, поверьте, – что вы намерены делать? – с неподдельным волнением пожимая ей руку, спросил Поланецкий.

– Каждый волен искать покровительства у бога, – ответила она уклончиво. – Что до Игнация, его честность и благородство порукой, что богатство не пойдет ему во вред. Но поскольку он еще очень молод и неопытен, а ему предстоит совсем другая жизнь, и состояние, которое он унаследует, очень значительно, мне бы хотелось просить вас как его друга и честного человека принять опеку над ним. Блюдайте его, оберегайте от дурных людей, но главное, напоминайте, что его долг творить, продолжать писать. Спасая ему жизнь, я спасала его талант. Пускай пишет и служит обществу – не только за себя, но и за тех, кто был сотворен на благо людям и в помощь, а они загубили себя и свое дарование.

Голос у нее прервался, губы побелели, и она крепко сжала руки. Казалось, накопившееся в душе отчаяние прорвется наружу, но она совладала с собой, и лишь стиснутые руки свидетельствовали, с каким трудом ей это далось.

Видя, как она страдает, и желая отвлечь ее, Поланецкий перевел разговор в сугубо практическое русло.

– Да, жизнь Игнация изменится самым коренным образом, – сказал он, – но я тоже надеюсь, что это пойдет ему только впрок... Зная его, трудно предположить противное. Но не могли бы вы подождать год или хотя бы полгода со вручением дарственной записи?

– Зачем?

– По причинам, которые прямо Игнация не касаются, но могут иметь свои последствия для него. Не знаю, дошли ли до вас вести о том, что свадьба Линеты Каstellи и Коповского расстроилась, и тетушка с племянницей оказались вследствие этого в весьма щекотливом положении. Порвав с Игнацием, они очень уронили себя в общем мнении, их имена сейчас у всех на устах. И лучшим выходом для них было бы воротить Игнация, а, узнав про дарственную, они уж, надо полагать, постараются этого добиться, и неизвестно еще, устоит ли он при его болезни и по прошествии столь небольшого времени...

Елена, нахмутив брови, с напряженным вниманием слушала Поланецкого.

– Нет, – сказала она наконец. – Думаю, что Игнаций сделает другой выбор.

– Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, но не забывайте, как сильно он любил, если даже пережить своей утраты не мог.

Тут случилось нечто для Поланецкого неожиданное. Всегда такая холодная и сдержанная, Елена беспомощно развела руками.

– Ну что ж... – сказала она, – если так... Если только с ней будет он счастлив... Ох, знаю, что лучше бы без этого, но бывают положения, когда человек над собой не властен и жить иначе не может, и...

Поланецкий взглянул на нее удивленно.

– И... пока жив, он всегда может избрать другой, лучший путь, – помедлив, договорила она.

«Вот уж не ожидал услышать ничего подобного», – подумал Поланецкий и сказал вслух:

– В таком случае идемте к Игнацию.

Завиловский сначала удивился, потом обрадовался, но, казалось, больше для приличия. Слово разумом он понимал, какое счастье привалило, и говорил себе: радуйся же, но в душе оставался безучастен. Зато как сердечно и участливо расспрашивал Елену, что она задумала, что собирается делать. Елена лишь вскользь обронила, что хочет удалиться от мира и намерение ее неколебимо, принявшись заклинать Игнация не зарывать в землю свой талант – это, видно, больше всего ее занимало, – не обманывать возлагаемых на него ожиданий.

Она по-матерински наставляла его, а он со слезами на глазах повторял: «Я опять буду писать, вот только совсем поправлюсь», – и целовал ей руки. И не понять было, слезы это участия к ней или слезы ребенка, который лишается доброй и ласковой покровительницы. Елена сказала, что отныне она гостя в его доме и уедет через два дня.

Завиловский стал просить ее остаться еще хотя бы на недельку и просил так горячо, что она согласилась, боясь огорчить его и тем повредить его здоровью. Он успокоился и развеселился, как мальчуган, чьей прихоти потакают.

Но под конец вечера задумался, словно стараясь припомнить что-то, и, обведя всех отсутствующим взглядом, сказал:

– Странно, мне кажется, все это уже было.

– В прошлой твоей жизни, на другой планете? – спросил со смехом Поланецкий, желая обратить все в шутку.

– Да, все это уже было когда-то, – повторил Завиловский.

– И стихи эти ты написал на Луне?

Завиловский взял со стола книжку, в раздумье посмотрел на нее и сказал:

– Я опять буду писать – вот только совсем поправлюсь.

Поланецкий простился и ушел. В тот же вечер Стефания Ратковская перебралась обратно к Мельницкой в свою комнатку.

ГЛАВА LXII

Разрыв между Основскими, занимавшими в обществе довольно видное положение, и свалившееся вдруг на Завиловского наследство были важнейшими событиями, о которых говорил весь город. Те, кто утверждал, будто Елена взяла Завиловского к себе с тайной мыслью выйти за него замуж, онемели от изумления. Поползли новые сплетни и слухи: шептались, будто молодой поэт – внебрачный сын покойного богача и пригрозил сестре судом за сокрытие завещания, а та во избежание скандала предпочла ото всего отречься и уехать за границу. По мнению других, уехала она из-за Ратковской, которая якобы устраивала ей возмутительные сцены ревности, так что двери порядочных домов перед Стефанией теперь навсегда закрыты. Нашлись и поборники общего блага. Эти во всеуслышание заявляли, что Завиловская не имела права так распорядиться состоянием, давая понять: они на ее месте распорядились бы иначе, с большей пользой для общества.

Словом, сплетники, любители вмешиваться в чужие дела, пустоболты и низкие завистники распускали самые невероятные выдумки. Но вскоре новое известие послужило пищей для пересудов: о дуэли между Основским и Коповским, на которой Основский был ранен. Вернулся и сам Коповский, овеянный славой герой бранных и любовных походов. Умнее он, правда, не стал, зато стал еще прельстительней и неотразимей в глазах дам и юных, и немолодых, чьи сердца равно начинали биться при его появлении.

Получивший легкую рану Основский лечился в Брюсселе. Свирский вскоре после дуэли получил от него коротенькое письмецо, извещавшее его, что чувствует он себя хорошо и зимой собирается в Египет, но перед тем завернет в Пшитулов. С этим известием Свирский побывал у Поланецких, выразив опасение: не затем ли он возвращается, чтобы снова вызвать Коповского.

– Я убежден, – сказал он, – что Основский нарочно подставил себя под пулю. Он искал смерти. Мы немало практиковались с ним у Бруфини, и мне ли не знать, как он стреляет. Он при мне в спичку попал, и пожелай он прикончить Копосика, только мы его бы и видели.

– Возможно, что и так, – отозвался Поланецкий, – однако, раз он пишет, что собирается в Египет, стало быть не думает умирать. Вот и пускай возьмет Завиловского с собой.

– Верно, не мешало бы ему свет повидать. Я бы не прочь к нему заглянуть. Как он поживает?

– Сегодня я еще не был у него, пойдете вместе. Чувствует он себя неплохо, странный только стал. Помните, какой гордый, сдержанный был? А теперь вроде бы и здоров, но совсем как ребенок: чуть что, у него слезы на глазах.

Они вышли вместе на улицу.

– Елена еще здесь?..

– Здесь. Он так огорчен ее отъездом, что она сжалилась над ним: хотела уехать через неделю, а вот уже и вторая подходит к концу.

– А что она, собственно, намерена предпринять?

– Ничего определенного она не говорит. Но, вероятно, уйдет в монастырь и до конца дней будет за Плошовского молиться.

– А Стефания Ратковская?

– Стефания по-прежнему у Мельницкой живет.

– Игнастик очень скучает по ней?

– Первые дни скучал, а теперь словно вовсе позабыл.

– Если он в течение года не женится на ней, я, ей-богу, опять сделаю ей предложение. Такая будет преданной женой.

– И Елена в глубине души за этот брак. Но что из этого выйдет, трудно сказать.

– Э, да я уверен, что женится, а про себя – это я просто так мелю. Никогда я не женюсь.

– Знаю, знаю, жена говорила про ваш вчерашний зарок, да только смеется над ним.

– А я и не зарекаюсь, просто не везет.

Разговор прервало появление экипажа, в котором сидели Краславская с дочерью. Ехали они в сторону Аллеи: как видно, подышать воздухом. День был ясный, но холодный, и Тереза укутывала мать в теплое пальто, настолько этим поглощенная, что не заметила их и не ответила на поклон.

– Я был на днях у них, – сказал Свирский. – Она добрая женщина!

– И, говорят, заботливая дочь, – отозвался Поланецкий.

– Да, я заметил. Но мне, закоренелому скептику, подумалось: «Нравится, наверно, играть роль заботливой дочки». Женщины часто совершают добрые поступки из желания покрасоваться – вы разве не примечали?

Свирский не ошибался; роль самоотверженной дочери Терезе действительно нравилась, но говорила в ней также искренняя привязанность к матери, чья болезнь, как видно, растопила лед в ее душе. Высказав верное наблюдение, Свирский не развил его дальше, а именно: как к новой шляпке женщина подбирает мантильку, платье, перчатки, так и с добрыми поступками. Один обязывает к другому, и вся душа преображается. Благодаря этому свойству женщина всегда сохраняет возможность стать лучше.

Тем временем дошли до Завиловского, который принял их с распростертыми

объятиями, – как все выздоравливающие, он очень радовался посетителям. Услышав, что Свирский едет в Италию, он стал просить взять его с собой.

«Ага? – подумал художник. – О Стефании, стало быть, мы не помышляем!»

А Завиловский рассказывал, как давно мечтает об Италии, уверяя, что нигде ему так легко не писалось бы, как там, под сенью памятников искусства и увитых плющом древних руин. Его столь очевидно радовала и увлекала эта мысль, что добряк Свирский легко дал себя уговорить.

– Но на этот раз я там долго не пробуду, – предупредил он, – я тут подрядился сделать несколько портретов и к Поланецкому обещался на крестины. – И оборотился к нему: – Кого крестить-то будем, дочь или сына?

– Да мне все равно, бог бы дал только, чтобы разрешилась благополучно, – ответил Поланецкий.

И когда Свирский с Завиловским принялись составлять план поездки, попрощался и ушел. В конторе ждала неразобранная вчерашняя почта, и, уединясь в своем кабинете, он взялся просматривать письма и заносить в записную книжку неотложные дела. Но через некоторое время вошел недавно нанятый рассыльный и сказал, что его желает видеть какая-то дама.

Поланецкий переполошился. Почему-то он решил, что это непременно должна быть Тереза Машко. И в предчувствии неприятной сцены и объяснений у него тревожно забилось сердце.

Но, к величайшему его удивлению, в дверях показалась веселая, улыбающаяся Марыня.

– Что, не ожидал? – спросила она.

Обрадованный Поланецкий вскочил и стал целовать ей руки.

– Ах ты, милая моя! Вот уж правда сюрприз! – твердил он. – Как это тебе пришло в голову зайти?

И, придвинув кресло, стал ее усаживать, как дорогого, почетного гостя. Его сияющее лицо без слов говорило, как он рад ее видеть.

– А у меня есть кое-что интересное для тебя, – сказала Марыня. – Все равно мне предписано ходить, вот я и решила к тебе заглянуть. А ты кого ждал? Признавайся!

И она, смеясь, погрозила ему.

– Сюда столько народу приходит, – отвечал он. – Во всяком случае, тебя я не ждал. Ну так что там у тебя?

– Смотри, какое я письмо получила.

Поланецкий взял и прочел:

«Дорогая и любимая пани! Пусть вас не удивляет, что я обращаюсь к вам: ведь вы скоро сами станете матерью и должны понять, как надрыдают материнское сердце

страдания ребенка (нет нужды, что Линета не дочь мне, а племянница). Поверьте, мной движет лишь желание хоть немного облегчить горе бедной девочки, тем паче что главная виновница всего – я. Может быть, вас удивят мои слова, но это сущая правда. Да, я всему виной! Нельзя было настолько терять голову, приносить в жертву свое дитя из-за того только, что гадкий, безнравственный человек, воспользовавшись тем, что Лианочке стало дурно, осмелился коснуться ее чистых уст. Но и Юзек Основский виноват, подступивший к Коповскому с требованием жениться, – наверно, уже тогда в чем-то его подозревал и хотел таким образом от него избавиться. Видит бог, недостойно жертвовать чужой жизнью и счастьем ради собственного благополучия. Ах, дорогая пани, мне и самой поначалу показалось, что ничего другого не остается, как пойти за этого негодяя, и Лианочка уже не вправе притязать на Игнация. И я же сама, нарочно, думая облегчить для него утрату и смягчить его страдания, еще и написала ему, будто Лианочка выходит замуж по велению сердца... Лианочка – и Коповский! Но бог справедлив, он этого не допустил. Едва я поняла, что брак этот равносителен для нее смерти, мы обе стали ломать голову единственно над тем, как порвать с ним. О возобновлении отношений с Игнацием, конечно, и речи быть не может: Лианочка изверилась в людях и в жизни и нипочем на это не согласится. Про это письмо она даже и не знает. Ах, знали бы вы, дорогая пани, как потряс ее поступок пана Завиловского и сколько ей здоровья стоил, вы бы ее пожалели. Не должен он был этого делать, хотя бы ради нее. Но; увы, все мужчины – эгоисты, только о себе думают. Ее же в этом винить – все равно что новорожденного младенца. Лианочка тает как свечка, с утра до ночи терзаясь, что стала невольной виновницей несчастья, которое могло стоить Игнацию жизни. Не дальше чем вчера она со слезами меня умоляла в случае ее смерти заменить ему мать и заботиться о нем, как о собственном сыне. Изо дня в день твердит, что он, наверно, ее проклинает, а у меня, глядя на нее, сердце разрывается. Доктор-то ведь говорит: продлится такое состояние – он ни за что не ручается. Я уповаю на бога, но и вас умоляю: помогите несчастной матери, присылайте хоть изредка весточки о нем – или напишите лучше, что он здоров, спокоен, простил ее и забыл; я ей покажу письмо, и пусть бедняжка хоть капельку успокоится. Я пишу путано, но вы поймете, что со мной творится при виде мучений, которые терпит эта невинная жертва. Господь вознаградит вас за доброту, я же буду молиться, чтобы ваша дочка, если бог девочку пошлет, была счастливее моей бедной Лианочки».

– Ну, что скажешь? – спросила Марыня.

– Я думаю, до них уже дошла весть о наследстве, – сказал Поланецкий, – и еще мне кажется, что письмо, хотя и адресовано тебе, предназначено для Игнация.

– Да, пожалуй. Написано не без задней мысли. Но, должно быть, им несладко приходится.

– Еще бы! Прав Основский, когда писал, что тетушку постигло разочарование, но она не хочет в этом признаваться. Знаешь, что Свирский о Линете сказал? Я не стану повторять, он выразился резко, но в общем считает, что на ней теперь женится разве дурак или безнравственный человек. Они сами это понимают, и, конечно, им невесело. А может, и совесть заговорила, хотя вряд ли, письмо уж больно неискреннее. Игнацию не показывай!

– Нет, конечно, – ответила Марыня, которая всей душой была на стороне Стефании.

А Поланецкий, следуя за ходом преследовавших его мыслей, почти дословно повторил ей то, что говорил самому себе: кара настагает, как возвратная волна.

– Зло в силу некой закономерности не остается безнаказанным, – сказал он, – и они пожинают, что посеяли.

Марыня в задумчивости водила зонтиком по полу.

– Ты прав, Стах, – сказала она, подняв свой ясный взор на мужа, – расплата неминуема, но душевные терзания и муки совести – тоже кара, и бог, принимая это как покаяние, не наказывает больше.

Ничего лучше этих простых слов Марыня не могла бы придумать, знай она даже, что мучает ее мужа, и пожелай его утешить и приободрить. Поланецкий жил с некоторых пор в ожидании несчастья, в постоянном страхе. А из ее рассуждения следовало, что его мучения и раскаяние и есть кара, волна, уже настигшая его. Да, он вамучился, настрадался, но если в этом искупление вины, то готов страдать вдвойне! Прямодушие ее, честность и доброта, которая исходила от нее, его умиляли, и ему захотелось обнять ее, но боязнь взволновать – и робость, которую он испытывал перед ней в последнее время, – удержали.

– Ты права. И добра бесконечно.

Она улыбнулась ему, обрадованная похвалой. После ее ухода Поланецкий долго провожал ее взглядом, стоя у окна. Издали наблюдал он, как она идет, тяжело ступая, откинувшись назад, видел выбившиеся из-под шляпки пряди темных волос, и вдруг с глубочайшей нежностью ощутил, что она дороже ему всего на свете, что он одну ее любит и будет любить до самой смерти.

ГЛАВА LXIII

Два дня спустя Поланецкий получал от Машко коротенькую прощальную записку.

«Сегодня уезжаю, – писал Машко. – Постараюсь заглянуть к тебе, но на всякий случай прощаюсь и благодарю за доброе отношение ко мне. Дай бог, чтобы у тебя, не в пример мне, все было хорошо. Очень хотелось бы повидаться, и, если сумею, около четырех забегу на минутку в контору. Еще раз прошу: не забывайте мою жену и поддержите ее, когда от нее отвернутся. И за меня заступись перед ней, когда начнут меня осуждать. Уезжаю в Берлин в девять вечера и не таясь. До свидания, будь здоров, еще раз спасибо за все.

М а ш к о».

Поланецкий заблаговременно пришел в контору и около часа прождал его. «Не придет, – решил он. – И слава богу!» Домой он отправился с чувством облегчения оттого, что удалось избежать неприятной встречи. Но вечером почувствовал жалость к нему. Хотя, думалось ему, Машко избрал в жизни дурной, неверный путь, он порядком намучился, натерпелся и тяжело за это поплатился под конец, чего рано или поздно можно было ожидать; но если мы, предвидя такой исход, продолжали знаться с ним и принимать его у себя, тем непростительней теперь отвернуться от него. Не могло быть сомнений, что Машко будет приятно, если он придет его проводить, и, поколебавшись немного, он отправился на вокзал.

По дороге ему пришло в голову, что он увидит Терезу, но ясно было: встречаться

все равно придется, а отступить сейчас было бы трусостью.

Рассуждая таким образом, пришел он на вокзал. Там, в небольшом зале первого класса, ожидали уже несколько человек, и столы были завалены ручной кладью, но Машко не видно было. Лишь взглядевшись повнимательней, узнал он в сидевшей в углу молодой женщине под вуалью Терезу.

– Добрый вечер, – подходя, сказал Поланецкий. – Я пришел проститься с вашим мужем. Но куда он подевался?

– Он сейчас вернется, за билетами пошел, – с легким кивком ответила она своим обычным бесстрастным голосом.

– За билетами? Разве вы тоже едете?

– Нет. Я хотела сказать: за билетом.

Говорить было не о чем; но тут подошел Машко в сопровождении носильщика, которому он отдал билет и деньги, велел сдать вещи в багаж. В длинном пальто с пелериной, в мягкой фетровой шляпе, в пенсне на золотой цепочке, со своими роскошными бакенбардами он походил на дипломата. Но Поланецкий заблуждался, полагая, что Машко рад будет его увидеть. Он бросил, правда: «Вот спасибо, что приехал», – но небрежно и мимоходом, как при самом обычном прощанье.

– Ну, – сказал он, озираясь по сторонам, – все в порядке! Но где же мой саквояж? А, вот он! Отлично! – И, оборотясь к Поланецкому, повторил: – Спасибо, что приехал. Окажи мне в таком случае еще одну любезность: отвези жену домой или хотя бы посади на извозчика. Тереня, пан Поланецкий проводит тебя домой. Отойдем на минутку, дорогой, надо еще кое-что тебе сказать. – И, отведя Поланецкого в сторону, продолжал торопливо: – Отвези ее непременно! Я объяснил свой отъезд делами, но ты заметь, как бы между прочим, что удивлен, почему это я уезжаю перед самым судом. Ведь так, дескать, процесс легко и проиграть, если меня задержит что-нибудь непредвиденное. Я хотел зайти, чтобы специально об этом попросить, но сам знаешь, как перед отъездом... Дело слушается через неделю!.. Я скажусь больным. В суд за меня явится мой помощник, начинающий адвокат, и, конечно, проиграет. Но это можно будет объяснить случайностью. В отношении жены я принял необходимые меры. Имущество записано на ее имя, у нее и ложки не отнимут. Есть у меня один проект, хочу предложить его кораблестроительной компании в Антверпене. И если удастся контракт заключить, то-то здесь шуму будет!.. В таком случае почему бы и не вернуться, по сравнению с этаким предприятием тяжба из-за Плошова – сущий пустяк. Но сейчас некогда об этом распространяться. Да, если бы не тяжелые минуты, которые ждут мою жену, и горя бы мало, но теперь мне все это – вот так! – Он приставил ладонь ребром к горлу и продолжал еще торопливей: – Что ж, не повезло, но с кем не бывает. Впрочем, жалеть уже поздно. Что было, то было, но я делал все, что мог, и сейчас тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Я рад, что по закладной ты хоть часть своих денег вернешь. Было бы время, рассказал бы тебе подробней о моем проекте, сам бы увидел: такое не всякому в голову придет. Может и с вашей фирмой дело придется иметь. Видишь, я не сдаюсь... И жену обеспечил. Да, не повезло, не повезло! Но другие на моем месте кончили бы хуже, разве нет? Однако пора возвращаться к жене.

Поланецкий слушал его с неприязнью. Отдавая должное его душевной стойкости, он не чувствовал в Машко достаточной уравновешенности, которая отличает

предприимчивого дельца от авантюриста. Казалось, уже сейчас есть в нем что-то от потрепанного жизнью пройдохи, который долго еще будет хорохориться, пока не докатится со своими проектами до того, что будет ходить в стоптанных ботинках и в компании таких же неудачников разглагольствовать в захудалых кофейнях о былом своем величии. Подумалось заодно, что виной всему жизнь, основанная на лжи, и сколько бы Машко ни бился, ему при всем уме не вырваться из тенет лжи.

И сейчас притворяется перед женой. Перед ней, конечно, поневоле; но вот зал стал заполняться людьми, среди которых оказались знакомые, подходящие поздороваться, обменяться несколькими словами, как всегда на вокзале, и Машко отвечал с такой высокомерной снисходительностью, что Поланецкого зло взяло. «Подумать только, – сказал он про себя, – и это когда он удирает от кредиторов! А как бы он себя держал, если б разбогател!..»

Меж тем раздался звонок, и из-за окон донеслось нетерпеливое пыхтенье паровоза. Началось движение и суета.

«Интересно, что он чувствует сейчас», – подумал Поланецкий. Но даже в такую минуту Машко не удалось сбросить путы лжи. И хотя сердце у него, быть может, сжалось от недоброго предчувствия и в сознании мелькала догадка, что не придется больше увидеть любимую жену и впереди лишь нужда, мытарства и унижения, все это нужно было скрывать, и даже проститься с Терезой он не смог, как хотелось.

Второй звонок прозвенел. Они вышли на перрон. Машко на минутку остановился перед спальным вагоном. Свет фонаря упал на его лицо, и возле рта стали заметны две морщины, которых не было раньше. Но голос у него был спокоен – прощался он тоном человека, который отлучается ненадолго и не сомневается, что вернется.

– Ну, до свидания, Тереня! Поцелуй за меня маму и береги себя! До свидания, до свидания!

Он прижал к губам ее руку и все не отпускал.

Поланецкий из деликатности отошел в сторону с мыслью: «Они видятся последний раз. Через какие-нибудь полгода и закон их разлучит».

И его поразила странная схожесть судьбы матери и дочери. Обе как будто удачно вышли замуж, и обеих мужья бросили, обрекая на одиночество и позор.

Раздался третий звонок. Машко поднялся в вагон. В большом окне спального купе показались его бакенбарды, пенсне на золотой цепочке, но поезд уже тронулся и исчез в темноте.

– Я к вашим услугам, – сказал Поланецкий.

Он был почти уверен, что Тереза поблагодарит и откажется. И уже наперед на нее за это рассердился, так как собирался поговорить не только о муже, но и о себе. Но она кивнула в знак согласия. У нее были свои счета с Поланецким, на которого она затаила горькую обиду, решив теперь хорошенько его проучить, если он опять захочет воспользоваться тем, что они останутся наедине.

Но она глубоко заблуждалась. Поланецкий, чья жизнь чуть не разбилась из-за нее, как лодка об утес, питал к ней острую неприязнь; больше того: какое-то время даже ненависть. После, уразумев собственную вину, перестал ненавидеть – и

внутренне настолько переменялся, что вообще сделался другим человеком. Прикинув приход-расход, он убедился, что интрижка эта обойдется ему слишком дорого; да и устал он от всякого криводушия, и раскаяние, угрызения совести уничтожили его страсть, как ржавчина – железо. Подсаживая Терезу в пролетку, Поланецкий нечаянно коснулся ее руки, но это его нисколько уже не взволновало, и, сев рядом с ней, он сразу заговорил о Машко, чтобы из простого человеколюбия подготовить ее к надвигающейся катастрофе и тем смягчить удар.

– Удивляюсь вашему мужу, его безрассудной смелости, – сказал он. – Достаточно ведь обрушиться какому-нибудь железнодорожному мосту, пока он в Берлине, и ему уже не успеть к слушанию дела, от успеха которого зависит, как вы, наверно, знаете, вся его дальнейшая судьба. Уехать его заставили, без сомнения, веские причины, но это все-таки рискованный шаг.

– Надеюсь, мост не обрушится, – ответила она.

Не обращая внимания на этот не слишком любезный тон, он продолжал, однако, толковать свое, понемногу приоткрывая перед ней завесу над будущим, и не заметил даже, как они подъехали к ее дому. Не понимавшая, куда он клонит, а может быть, раздосадованная, что сразу же не поставила его на место, Тереза спросила, выйдя из пролетки:

– Вы, кажется, нарочно задались целью напугать меня?

– Нет, – возразил Поланецкий, решив, что настал момент самому с ней объясниться. – У меня в отношении вас одна только цель: признать, что я вел себя недостойно, и от всего сердца попросить прощения.

Не сказав ни слова, молодая женщина скрылась в подъезде. И Поланецкий так никогда и не узнал, что крылось за этим молчанием: злоба или прощение.

Однако на душе от сознания исполненного долга стало легче. Для него это был акт покаяния, а как к нему отнеслась Тереза, было ему безразлично. «Может, она подумала, что я прошу прощения за то, как вел себя потом, – сказал он себе. – Но так или иначе, я могу теперь прямо смотреть ей в глаза».

Это соображение было не лишено эгоизма. Но крылось в нем и желание разрубить затянувшийся узел.

ГЛАВА LXIV

Елена Завиловская перед отъездом тоже получила от пани Бронич письмо того рода, что и Марыня, и, как Марыня, Игнацию его не показала. Впрочем, Завиловский спустя неделю сам уехал со Свирским, из всех знакомых простясь, по его совету, с одной только Стефанией. И Поланецкий в беседе с женой признал его совет правильным. «И для нас, и для Игнация встреча сейчас была бы тягостна, – говорил он. – Видевшие его изо дня в день к нему привыкли, а чужие невольно стали бы разглядывать его шрам. Да и вообще Игнаций очень изменился. За время поездки он оправится, и мы встретим его, как будто ничего не произошло, а для посторонних он будет просто богатым молодым человеком».

И, наверно, это было разумно. Но пока, после отъезда Завиловского со Свирским,

образовалась ошутительная пустота. Круг знакомых распался. Основский был все еще в Брюсселе; где Анета, никто не знал. Пани Бронич с Линетой жили в Париже, дом Завиловских обезлюдил. Краславская с дочерью нигде не показывались и жили только друг для друга. А пани Эмилию болезнь окончательно приковала к постели.

Из близких людей остались одни Бигели да старик Васковский. Но он тоже хворал и держался так странно, что посторонние считали его сумасшедшим. И знакомые подсмеивались над ним, говоря, что надеяться, будто заветы христианства распространятся на историю, – чистейшее безумие. В последнее время старик стал часто подумывать о смерти и готовиться к ней, выражая желание скончаться в «преддверии иного мира» и для этого поехать в Рим. Но из привязанности к Марыне откладывал свой отъезд, пока она не разрешится от бремени.

И Поланецкие жили почти в полном одиночестве. Впрочем, оно было и необходимо: как Марыне, которая недомогала в последнее время, так и Поланецкому. Ему – для работы в конторе и над собой; а она радостно приготавливалась к новой эпохе в своей жизни. Ей казалось, на них обоих ожидание этого события сказывается благотворно. Поланецкий стал заметно снисходительней в суждениях, терпимей и мягче не только с женой, но и со всеми, с кем сталкивался. И хотя она относилась к его заботливости и предупредительности не столько к себе, сколько к будущему ребенку, что было в порядке вещей, но и за то была ему благодарна. Иногда ее удивляла его несмелость и скованность в обращении с ней, но она и это приписывала беспокойству о ее благополучном разрешении, не догадываясь, что он сдерживает, подавляет свое чувство.

Так проходила неделя за неделей. Однообразие их жизни скрашивали только письма Свирского, который, улучая свободную минутку, сообщал им подробности их с Игнацием житейно-бытия. В одном из писем передавал он Марыне просьбу Завиловского позволить ему излагать свои впечатления в виде писем к ней. «Мы с ним обстоятельно это обсудили, – писал Свирский. – Ему кажется, вам приятны будут эти весточки из страны, столь милой вашему сердцу. И ему легче будет работать в форме как бы личного обращения. Чувствует он себя хорошо, много ходит, с аппетитом ест и спит отлично. По вечерам обыкновенно садится за стол. По-моему, и стихи пробует сочинять. Однако что-то плохо подвигается – пока, насколько мне известно, ничего еще не сочинил, но, надеюсь, все образуется, а тем временем, может быть, письма помогут ему войти в работу. Добавлю напоследок, что Елену он вспоминает с благодарностью, а при упоминании о Стефании преображается прямо на глазах. Я часто завожу о ней разговор, да и что мне, несчастному, остается делать? Значит, не судьба. Насильно мил не будешь».

В середине октября Поланецкие получили из Рима письмо, которое дало им обоим богатую пищу для размышлений.

«Вообразите: здесь пани Бронич с Линетой Кастелли, – писал Свирский, – и я с ними виделся. У меня пол-Рима знакомых, и я об их приезде узнал на другой же день. И вот какой придумал выход. Уговорил Игнация поехать на Сицилию, что, кстати, не составило большого труда. Пускай, думаю, поживет в Палермо, в Сиркузах и Таормине, а паче чаяния, угодит в руки мафиози, то выкуп обойдется ему, во всяком случае, не дороже обручального кольца от „панно Лианочки“. Уж если им суждено когда-нибудь встретиться и помириться, сказал я себе, пускай себе встречаются и мирятся, но брать это на свою совесть, особенно после того, что случилось, не хочу. Игнаций как будто и здоров, но душевно еще не вполне оправился и может в таком состоянии совершить шаг, о котором потом будет жалеть. Я мигом смекнул, зачем они сюда пожаловали, и радовался втихомолку, что удалось

спутать их карты. И вот, словно в подтверждение моей догадки, через несколько дней и вправду приходит письмо на имя Игнация. Почерк вдовы покойного пана Теодора я сразу узнал и, написав на конверте, что адресат выбыл в неизвестном направлении, отправил письмо обратно.

Но это еще не все. На другой день приходит письмо уже на мое имя с предложением объясниться. Я ответил, что, к сожалению, вынужден отказать себе в этом удовольствии, так как очень занят. В ответ получаю второе письмо, где она взывает к моему сердцу, к моему таланту и происхождению, которые не позволят отвернуться от несчастной женщины, и умоляет зайти к ним или назначить время для встречи в мастерской. Мне ничего не оставалось, как пойти. Тетушка встретила меня в слезах и стала потчевать рассказами, – не буду их повторять, но суть в том, что «Лианочка» ни дать ни взять – святая Агнесса. Я спрашиваю, чем могу быть полезен. Она уверяет: им, мол, ничего не нужно, лишь бы услышать от Завиловского, что он не сердится на Лианочку: «Девочка кашляет, больше года вряд ли протянет, не хочется ей умирать непрощенной». Тут я, признаться, размяк, но держусь. Сообщить ей адрес Завиловского я так и так не мог: не знал, в какой гостинице он остановился. За этим словоприемием с меня семь потов сошло; в конце концов, не пообещав ничего определенного, я сказал: если Игнаций сам заговорит о панне Кастелли, мол, постараюсь убедить исполнить ее просьбу.

Но и это еще не все. Только собрался уходить – входит сама Линета и просит тетку оставить нас с ней с глазу на глаз. Она, между прочим, очень похудела и кажется еще выше ростом: настоящая тростинка, малейший ветерок может сломать. Едва мы остались одни, она говорит: «Тетя старается меня оправдать и делает это из любви ко мне, за что я ей благодарна, но не в силах выносить это и хочу сказать вам, что сама во всем виновата, – я скверная, гадкая; да, я несчастна, но стократ это заслужила». Я просто опешил, сомневаться в ее искренности не приходилось: у нее и губы дрожали, и глаза были полны слез. Вы, конечно, скажете, что я слишком мягкосердечный, но я и вправду растрогался, спрашиваю, что могу для нее сделать. «Ничего», – говорит. Не думайте, мол, только, будто возобновить отношения с Игнацием тетюшка старается с ее ведома; поступок Завиловского открыл-де ей глаза на нее самое и останется укором на всю жизнь. И под конец повторила, что всему сама виной, попросив передать наш разговор Завиловскому, но не теперь, а позже, чтобы он не подумал, будто она хочет разжалобить его.

Ну что тут скажешь? Трудно поверить, правда? Как бы там ни было, но для меня очевидно, что попытка Игнация покончить с собой ее потрясла и что она несчастна, а может быть, еще и больна. И мне вспомнились слова Елены Завиловской, которые вы повторили мне в разговоре: пока человек жив, он может исправиться. Как хотите, это дает пищу для размышлений! И я убежден, пожелаю Игнаций к ней вернуться, она не согласилась бы, так как считает, что недостойна его. Что до меня, я знаю: есть женщины гораздо лучше и благородней, но черт меня побери, если я буду действовать против нее!»

Затем следовали вопросы о здоровье и поклоны Бигелям.

Письмо произвело на всех большое впечатление, послужив поводом для долгих споров между Поланецким и Бигелями. Заодно выяснилось, насколько изменился в последнее время Поланецкий. Раньше он не уставал бы осуждать Линету и никогда не поверил бы, что у такой женщины может заговорить совесть. А сейчас, стоило пани Бигель (и остальным дамам, державшим сторону Стефании Ратковской) предположить, не простая ли это перемена тактики, тотчас возразил:

– Нет, для этого она слишком молода. И вообще мне кажется, она раскаялась искренне. Если она винится так безоглядно, это уже очень много, значит, ей опротивела ложь, в которой они погрязли. – И прибавил после минутного раздумья: – Вот Машко сколько раз, бывало, признавался, что пошел по ложному, неверному пути, но всегда оправдания искал, сваливал вину на обстоятельства. «У нас иначе нельзя», «это не я виноват, а общественное устройство», «я им той же монетой плачу», – каких только отговорок я не наслушался! Но это все неправда. Чтобы сказать себе: я кругом виноват, надо мужество иметь, и у кого оно есть, тот еще не совсем потерян.

– Значит, вы считаете, что Завиловский правильно поступил бы, вернись он к ней?

– Нет, не считаю и даже возможности такой не допускаю.

Однако интерес к известиям из Рима и тревогу за Игнация вскоре потеснила прямая опасность, нависшая над домом Поланецких. К концу октября здоровье Марыни заметно ухудшилось. Она давно уже стала недомогать, но скрывала, пока могла. Однако теперь у нее появилось сердцебиение и такая слабость, что в иные дни она с кресла не вставала. Прибавились и боли в спине, головокружение. За неделю истаяла она прямо на глазах, забеспокоились даже доктора, прежде считавшие такое недомогание естественным в ее положении. Бледное лицо ее отливало голубишной, и с закрытыми глазами она становилась похожа на покойницу. Даже всегдашняя оптимистка, пани Бигель, и та встревожилась, а врач прямо заявил Поланецкому, что роды в таком состоянии и сами по себе опасны, и могут вызвать разные осложнения. Только сама Марыня, которая с каждым днем чувствовала себя хуже и слабела все больше, не унывала.

А Поланецкий пал духом. Для него настали тяжелые времена, и все прежние огорчения и страдания показались ему ничтожными в сравнении с охватившей его ужасающей тревогой, переходившей подчас в полную безнадежность. После свадьбы дети в представлениях его о супружестве и будущей семейной жизни играли главную роль, теперь же не одного ребенка, а всех, которые могли бы у него родиться, отдал бы он ради спасения любимого существа. У него просто сердце разрывалось, когда Марыня ослабевшим голосом спрашивала его, как бывало: «Стах, а что, если мальчик?» В такие минуты он готов был припасть к ее коленям и, обняв их, воскликнуть: «Да черт с ними, с мальчишкой и девчонкой, лишь бы ты у меня была!» Но вместо того улыбался и говорил спокойно, что ему безразлично. Его снова объял страх, и надежда, поданная словами Марыни, будто бог в милосердии своем вместо кары посылает раскаяние, развеялась как дым. И время от времени ему стало казаться, что болезнь Марыни и есть та самая кара. Почему это так, он не мог себе объяснить, и напрасно рассудок подсказывал, что, положим, Основская и Линета наказаны по заслугам, а его вина несоразмерна. Страх отвечал, что пути зла неисповедимы, и постигнуть его последствия разуму человеческому не дано. И мистический ужас охватывал его. Человек в беде утрачивает способность рассуждать здраво и живет во власти страха; то же было и с Поланецким. Бездна разверзлась пред ним, и он стоял на краю в полном бессилии, говоря себе при виде осунувшегося Марынина лица: «Чистое безумие думать, будто она выживет!» – и в то же время судорожно ловя во взорах окружающих хотя бы тень надежды, душой и сердцем, всем своим существом восставая против самой мысли о смерти. Ему казалось чудовищно несправедливым, если она оставит его, так и не узнав, сколь безмерна его любовь, – не вознагражденной за всю невнимательность, неделикатность, эгоизм, неумение ценить ее, прежде чем он успеет высказать, кем она стала для него: частицей его собственного «я», не просто любимой, но боготворимой. И он все повторял про себя: уж коли к нему немилостив господь,

пусть хотя бы над ней сжалится, дарует ей перед кончиной миг столь заслуженного счастья. Потом дерзостные поучения, обращенные к всевышнему, опять сменялись сокрушением и смиренными мольбами. А Марыне меж тем день ото дня становилось хуже, и он, из одной крайности бросаясь в другую, места себе не находил, то возмущаясь: «Этого не может быть!», – то сдаваясь: «Так и должно было получиться».

А в довершение всего, из опасения, как бы жена не догадалась, приходилось притворяться, будто болезнь ее нисколько его не беспокоит. И доктор, и пани Бигель не уставали повторять, чтобы он ненароком ее не напугал; он и сам этого остерегался, но каких мучений стоило сдерживаться и думать: а вдруг она заподозрит его в бесчувственности, да так и умрет с мыслью, что он никогда ее не любил. Поланецкий стал сам на себя непохож. Бессонница, усталость и волнение привели его в состояние какой-то болезненной экзальтации, и опасность, без того серьезная, приняла в его глазах ужасающие размеры. Ему уже казалось, что надежды нет, и он ловил себя на том, что думает о Марыне как о покойнице. По целым дням припоминал ее добрые качества, ласковые слова, кроткий, мягкий и нрав, как все ее любили, коря себя за то, что не платил ей взаимностью, не любил и не ценил по достоинству, обманул, а теперь вот потеряет – и по заслугам.

И от сознания, что сам накликал беду на свою голову и искупать вину уже поздно, у него сердце разрывалось на части. Ведь даже смерть горячо любимых при жизни людей оставляет сожаления, что любили их недостаточно, – и нет ничего горше этого чувства.

В начале декабря из двухмесячной поездки в Италию вернулись Свирский и Завиловский. Поланецкий так исхудал за это время и вид у него был такой изможденный, что они еле его узнали. А он, убитый горем, едва замечал их и словам утешения, которыми они старались ободрить его, внимал, как сквозь сон, – равно как и рассказам художника, пытавшегося его развлечь. Какое ему дело было до Завиловского или пани Бронич с Линетой, если его Марыня могла со дня на день скончаться! Свирский, очень любивший Марыню, отправился за поддержкой к пани Бигель, но и та не сказала ничего утешительного. Доктора сами толком не понимали, что с ней: к естественному в ее положении недомоганию прибавились другие, не поддававшиеся точному диагнозу. Они знали только, что сердце работает с перебоями, и боялись, как бы из-за нарушений кровообращения в сосудах не образовались тромбы, грозившие немедленной смертью. Но даже в случае благополучного разрешения от бремени оставалась опасность малокровия, упадка сил и прочих осложнений, которые трудно было и предугадать. Пани Бигель тоже рассталась с надеждой: Свирский понял ото, когда она в конце разговора расплакалась.

– Бедная Марыня! Да и его жалко! Хоть бы ребенок жив остался, может, это смягчит потерю. – И прибавила сквозь слезы: – Даже не представляю себе, как он еще держится.

И в самом деле: Поланецкий не ел, не спал. В конторе он давно уже не появлялся, отлучаясь из дому только ненадолго за цветами для Марыни – она любила их и всегда им радовалась. Но состояние ее настолько ухудшилось, что всякий раз, возвращаясь с букетом хризантем, он со страхом думал, не к смертному ли одру их несет. И Марыню, у которой тоже открылись глаза на серьезность положения, стали посещать мысли о близкой смерти. Мужу она об этом не говорила, но при пани Бигель как-то не выдержала и расплакалась: жалко было расставаться с жизнью и со своим Стахом. Мучила и жалость к нему: как-то он еще перенесет ее кончину; и

хотелось, чтобы он поплакал, и не хотелось заставлять его очень страдать. И она долго перед ним притворялась, будто не сомневается в благополучном исходе.

Однако позже, когда у нее начались обмороки, собралась с духом и, почитая это прямой своей обязанностью, решила откровенно объясниться с ним. И однажды ночью, когда пани Бигель, измученная долгим бдением, пошла прилечь, а Поланецкий сидел, по обыкновению, у ее постели, притянула его к себе за руку.

– Стах, – сказала она, – я хочу поговорить с тобой и попросить об одной вещи.

– О какой, дорогая?

Она помедлила, словно подыскивая слова, и промолвила наконец:

– Обещай мне... Я выздоровею, наверно, но ты мне поклянись, что, если родится мальчик, будешь его любить и хорошо с ним обходиться.

Огромным усилием воли сдержав подступившие к горлу рыдания, Поланецкий ответил спокойным голосом:

– Дорогая, любимая, конечно же, я всегда буду любить и тебя, и его. Ты не беспокойся!..

Марыня хотела поднести его руку к губам, но не хватило сил, и она только улыбнулась ему благодарно.

– И еще одно... – помолчав, добавила она. – Не думай, будто я воображаю всякие там страшные вещи – вовсе нет! Но мне хотелось бы исповедаться...

Дрожь пробежала по телу Поланецкого.

– Хорошо, деточка! – согласился он глухим, прерывающимся голосом.

А она, вспомнив, как ему понравились когда-то ее слова «служба божия», и желая дать понять, что речь идет всего лишь об исполнении обычного религиозного обряда, повторила с улыбкой, почти весело:

– Служба божия!

И на другой день исповедалась. Поланецкий был убежден: это уже конец, и удивился, что она еще жива и что к вечеру ей даже стало лучше.

Но надеяться он не смел. А Марыня почувствовала себя бодрей и объявила, что ей легче дышать. Около полуночи она, как всегда, принялась спорить с мужем, прося его пойти отдохнуть. От усталости и волнения он выглядел немногим лучше нее. Он отказывался, утверждая, будто поспал днем, хотя это была неправда, но в конце концов уступил тем более что при ней оставалась сиделка и пани Бигель, а доктор, уже неделю ночевавший у них, заверил: ничего плохого сегодня не предвидется.

Выйдя от нее, он, по своему обыкновению, сел в кресло за дверью и стал прислушиваться, что делается в комнате. Так час за часом тянулась ночь.

При малейшем шорохе он вскакивал, но, едва все стихало, опять садился. В голове у него царил полный сумбур, как всегда в тревожные минуты ожидания, обрывки

мыслей мелькали и путались от усталости, и клонило в сон. Поланецкий был вынослив, но последние десять дней провел, ни разу не раздеваясь, только переодеваясь, и на ногах держался единственно благодаря черному кофе и нервному напряжению. Держался и сейчас, механически твердя себе, что Марыня больна и нельзя засыпать, хотя голова была налита свинцом и мрачные мысли туманили, застилали ее, точно тучи без единого просвета, так что и собственные слова уже не доходили до сознания.

И в конце концов усталость, бессонные ночи, нервное истощение свалили его. Он заснул мертвым сном, без сновидений, утратив всякое представление о действительности, об окружающем, будто жизнь его покинула.

Под утро его разбудил стук в дверь.

– Пан Станислав! – послышался приглушенный голос пани Бигель.

Вскочив и тотчас придя в себя, Поланецкий кинулся в комнату, бросил взгляд на Марынину постель – и при виде опущенных штор у него подкосились ноги.

– Что случилось? – прошептал он побелевшими губами.

– Сын у вас... – так же тихо, прерывающимся от волнения голосом ответила пани Бигель и приложила палец к губам.

ГЛАВА LXV

Но впереди еще были тяжелые, очень тяжелые дни. Марыня совсем ослабела, жизнь едва теплилась в ней, как пламя догорающей свечи. Погаснет или разгорится? – никто не мог ответить с уверенностью. Иногда казалось: вот-вот погаснет. Но молодость и рождение ребенка, облегчившее от бремени организм, перевесили чашу. В один прекрасный день, пробудившись после долгого сна, она почувствовала себя как будто лучше. Старый доктор, неотлучно находившийся при ней, подтвердил улучшение, но, чтобы удостовериться в этом, пожелал пригласить другого, который уже раньше ее консультировал. Поланецкий сам поехал за ним и полдня как безумный разыскивал его, колеся по всему городу, – он еще не смел надеяться, что опасность миновала и его страдания окончились. Найдя наконец злополучного эскулапа, он доставил его домой. В передней встретила их пани Бигель с заплаканным, но счастливым лицом.

– Ей лучше, значительно лучше! – сказала она, и слезы хлынули у нее из глаз.

Поланецкий побледнел от волнения, а она, совладав с собой, стала рассказывать в радостном возбуждении, улыбаясь сквозь слезы:

– Есть уже просит, вот как! И ребенка велела принести. И спрашивает все время, куда вы пропали. Требуется все, чтобы дали поесть, да как требует! И слава богу, слава богу!

И в порыве радости она заключила Поланецкого в объятия, а он прильнул губами к ее руке, дрожа и делая над собой невероятные усилия, чтобы не разрыдаться, – рыдания так и подступали к горлу, сдерживаемые все эти дни, дни волнений и муки.

Врачи тем временем направились к Марыне и просидели у нее довольно долго. Но вышли оба после консилиума с удовлетворенным видом. На лихорадочные расспросы Поланецкого тот, который безотлучно находился при ней, – старый брызга в золотых очках и с золотым сердцем, сам обрадованный, но изнемогающий от усталости, – отрезал ворчливо:

– Как она, спрашиваете? Идите бога благодарите!.. Вот как!

И Поланецкий послушался его совета. Будь он даже неверующий, все равно в эту минуту от всей души помолился бы со слезами благодарности за то, что бог смилостивился над ним.. и не покарал смертью любимого существа, послав в наказание лишь муки раскаяния.

Успокоясь немного, он на цыпочках вошел к жене, возле которой уже сидела пани Бигель. Марыня глядела веселей, было сразу видно, что ей гораздо лучше.

– Видишь, Стах, мне лучше!

– Вижу, дорогая, – тихо отозвался Поланецкий.

Рано еще было выражать свои чувства вслух, и он молча присел возле ее постели. Но радость, нежность нахлынули на него, и он, отбросив всякую сдержанность, вдруг прильнул к ее покрытым одеялом ногам, обнял их и замер.

А Марыня, превозмогая слабость, счастливо улыбалась. Долго она не спускала с него глаз, радуясь, как ребенок, которого приласкали, потом, указав худеньким пальчиком на его темную голову в изножье кровати, сказала пани Бигель. – Значит, любит!

И с того раза состояние ее стало улучшаться не по дням а по часам. Это было не постепенное восстановление здоровья, а словно внезапный расцвет, приход весны после зимних холодов, немало дививший даже доктора. А Поланецкий кричать был готов от радости, которая его душила, как недавно еще – страдания. Вставать Марыне еще не разрешали из предосторожности. Но живость и бодрость быстро возвращались к ней, краска вновь появилась на щеках, и она каждый вечер стала капризничать, грозясь завтра же встать с постели. Это был единственный нравственный след измучившей ее долгой болезни, который должен был изгладиться, как и все остальные. Но пока Марыня, всегда такая рассудительная и спокойная, вела себя, как избалованный ребенок, требуя то одного, то другого и не на шутку огорчаясь, когда встречала отказ. Уговаривая ее, Поланецкий невольно впадал в тот же тон, так что капризы оканчивались часто просто смехом.

Как-то она пожаловалась, что пани Бигель не дает ей красного вина. Та стала оправдываться, что дала, сколько доктор позволил, и надо спросить его разрешения. Поланецкий принялся утешать жену, как, бывало, Литку.

– Сейчас, детка, дадут, сейчас!.. Вот доктор придет.

– Красного хочу!

– Красного, красного, – совершенно серьезно, в тон ей подтвердил Поланецкий.

Оба рассмеялись, а с ними и пани Бигель. Веселье озаряло теперь эту комнату, где еще недавно царили страх смерти и ожидание несчастья. Смешливое настроение

разделял и «дедушка Плавицкий», который со времени рождения внука держался с подобающей, но снисходительной к молодости степенностью. Бывало, впрочем, по-всякому; иногда впадал он и в серьезный, патетический тон. Так, принес однажды завещание и заставил выслушать по пунктам с начала до конца. Во вводной части он в трогательных выражениях прощался с жизнью, с дочерью, зятем и внуком, не скупясь при этом на советы, как его воспитывать, чтобы вырастить примерным внуком, сыном, отцом семейства и гражданином; затем назначал его наследником всего своего состояния и, хотя после банкротства Машко жил на средства Поланецкого, пришел от своей щедрости в такое умиление, что весь остальной вечер хранил вид пеликана, накормившего детенышей своей кровью.

Поправляясь после тяжелой болезни, мы будто сызнова проходим все стадии детства и юности, с той лишь разницей, что исчисляются они не годами, а неделями, даже днями. Так и Марыня. Вначале пани Бигель называла ее «беби», потом стала шутить, что «беби» превращается понемножку в девочку, девочка же – в подростка. А у подростка начало пробуждаться женское кокетство. И когда ее причесывали, она уже требовала оставшееся ей от матери зеркальце, устраивала его на коленях, всматривалась внимательно в свое лицо, желая убедиться, правильно ли предсказывала пани Вигель, будто бы «потом» женщины хорошеют. Сперва пробы эти ее не удовлетворяли, потом стали радовать больше. И вот как-то в который раз попросила, уже причесанная, подать зеркало и в который раз принялась пылливо разглядывать свои волосы, глаза, губы, выражение лица – словом, все, что только можно увидеть.

И, судя по улыбке, осталась наконец довольна собой.

– Ну, теперь я тебе покажу, пан Стах! – вымолвила она вслух, воинственно погрозив в сторону мужниной комнаты исхудалым кулачком.

И правда, она очень похорошела. Белое лицо ее сделалось еще белей и напоминало лилию даже больше, чем когда ее воспел в стихах влюбленный Завиловский. А щеки окрасил первый вестник здоровья – нежный румянец. Осунувшееся после болезни лицо, глаза, губы как бы осветились ожиданием жизни, новой весны. Дивная головка, будто написанная светлой, легкой пастелью, изысканная и вместе простая, исполненная, что уловил когда-то Завиловский, прелести полевого цветка. Покоившаяся на подушке в обрамлении темных волос, она была так хороша, что нельзя и глаз оторвать. Нечего было пану Стаху и «показывать», он все и так прекрасно видел и прямо-таки исходил нежностью, по словам Бигеля. Он не просто любил в ней женщину или самого близкого человека, а словно благодарил ее за то, что она жива, и из благодарности предупреждал малейшие ее желания. Марыня никогда и не думала, что ею будут так дорожить, беречь как зеницу ока, отдавать ей все силы и помыслы. Они и раньше ладили между собой, но с выздоровлением Марыни настоящее счастье и веселье воцарилось в доме.

Немало тому содействовал и Поланецкий-младший. Сама кормить ребенка Марыня не могла, и Поланецкий взял кормилицу – из Кшеменя, чтобы сделать жене приятное. Когда-то она служила у Плавицких, а по их отъезде нанялась в работницы в Ялбжиков, и там с ней приключился грех. Кто был тому виной, так и осталось загадкой, но уж кого-кого, а Гонтовского, не в пример иным землевладельцам, меньше всего можно было упрекнуть в равнодушии к простому народу – доказательств его любвеобилия в Ялбжикуе было предостаточно. И крестьяне, даже договариваясь о сервитутах, предъявляли ему, помимо прочих, и ту претензию, что панде все больше «на белом коне скачет, из ружья палит да на девок заглядывается», и если, с одной стороны, не совсем ясным оставалось, какое отношение эти склонности

имеют к переговорам, то, с другой, вполне понятно, почему именно в Ялбжикове Поланецкий нашел кормилицу для сына.

Это была девушка молодая, крепкая и пригожая, из Мазовии родом, от чего для подопечного могла получиться одна только польза. Сам юный Поланецкий с момента появления на свет стал в доме своевольничать, расходясь день ото дня все больше, ни с кем не желая считаться и ни о чем не думая, кроме собственных нужд и удовольствий. Сообразно с этой методой он в свободное от сна и еды время принимался упражнять свои крохотные легкие, вопя так громко, как только позволял нежный возраст. Обычно в этих случаях приносили его к матери, и начиналось бесконечное обсуждение его достоинств, физических и умственных, равно как поразительного сходства с родителями. В результате пришли к заключению, что нос у него мамин, отвергнув с редким единодушием мнение няньки, будто у малыша носик, как у «котеночка»; установлено было также, что улыбка у него очаровательная, что будет он брюнетом и непременно высокого роста, причем с феноменальной памятью, ибо и сейчас на редкость смышлен. Пани Бигель, пока Марыня еще не подымалась с постели, в свой черед, не уставала открывать в нем все новые достоинства, охотно делясь со всеми своими открытиями.

– Представляешь, пальчики на одной руке растопырил, а другой, вот ей-богу, пересчитывает их, – вбежав к Марыне и захлебываясь от восторга, объявила она как-то. – Математиком будет.

– Это у него от отца, – совершенно серьезно отвечала Марыня.

Но одно открытие сделала она сама, предвосхитив пани Бигель, а именно: что он «очень миленький». Что же до Поланецкого, он поначалу с удивлением и недоверием поглядывал на незнакомца. В свое время хотелось ему иметь дочку – главным образом потому, что он, хотя и любил детей, вообразил себе, будто излить всю нежность, накопившуюся в душе, можно лишь на девочку. Сын же, неизвестно почему, представлялся ему таким детиной чуть не с усами, который говорит басом, лягается, как жеребенок, – к такому и не подступишься, он все эти нежности презирует. Но, приглядываясь к крошечной, спящей на подушке фигурке, он убедился, что ничего такого нет в этом жалком, слабом, беспомощном существе, которое не меньше девочки нуждается в ласке и заботе. «Какой там детина!» – сказал он, испытывая прилив нежности к сыну, и через несколько дней даже сам попытался отнести его к Марыне, но делал это с такой преувеличенной осторожностью и вместе столь неловко, что вызвал смех не только у Марыни и пани Бигель, но, невзирая на все почтения, даже у няньки.

Смех почти не смолкал в квартире Поланецких. Просыпались оба с блаженным ожиданием новых радостей, которые принесет грядущий день, Вечерами, после того, как Марыня начала вставать, заходил к ним Бигель со своей виолончелью.

– Плохо всем бывает, даже людям хорошим, – глубокомысленно изрек он как-то, приглядываясь к ним, – зато уж, коли им хорошо, так лучше, ей-богу, не бывает.

А им и правда было хорошо. Марыня, памятуя разговоры с пани Бигель и свои собственные размышления, заключила, что это благодаря ребенку, который свяжет их еще крепче, любовь мужа разгорелась с новой силой... И однажды сказала ему об этом.

– Нет! Честное слово, нет! – со всей прямоотой возразил Поланецкий. – Конечно, я его люблю, но и до его рождения я любил тебя без памяти, – любил ради тебя

самой, за то, что ты такая, какая есть. Ты посмотри, что творится на свете, и подумай, разве, я могу сравнить тебя с кем-нибудь?.. – И с благоговейной любовью стал целовать ей руки, прибавив: – Ты и не представляешь, что ты для меня значишь и как я тебя люблю!

– Правда, Стах?.. – спрашивала она, прильнув к нему, и лицо ее просияло от счастья.

ГЛАВА LXVI

Наступил день крестин. Младенца уже успели окропить, едва он появился на свет; пани Бигель опасалась и за его жизнь, напуганная Марыниной болезнью.. Но Поланецкий-младший не помышлял ни о чем подобном и в добром здравии и с отменным аппетитом дожидался торжества, в котором ему предстояло играть главную роль. Отец пригласил всех знакомых. Кроме домочадцев и деда, была пани Эмилия, которая, собрав остаток сил, встала ради такого дня; были супруги Бигели с Бигелятами, Васковский, Свирский, Завиловский и Стефания Ратковская. Марыня, нарядная и счастливая, уже совсем оправилась и была так хороша, что Свирский при виде ее схватился за голову.

– Нет, это превосходит всякое вероятие! Ослепнуть можно от такой красоты! – воскликнул он с обычной своей непосредственностью.

– А что, конечно, – отозвался Поланецкий, удовлетворенно посапывая и с такой уверенностью, словно то, в чем другие убедились только сейчас, давно ему известно.

– На колени, люди! Слова тут бессильны! – вскричал Свирский.

Марыню восторги Свирского смутили и одновременно обрадовали: внутренний голос подтверждал ей, что он прав. Но не до того было: предстояло заняться гостями и церемонией, тем более что началось с небольшой заминки. Восприимчивыми маленького Стася были пани Эмилия с Бигелем и Стефания Ратковская со Свирским. И последний стал вдруг уклоняться от этой чести, отговариваясь неизвестно почему. «Я бы с удовольствием, не даром же я ради этого из Италии приехал... Как же! Был такой уговор. Но я никогда не крестил детей и не знаю, принесет ли это счастье моему крестнику, особенно у женщин». Поланецкий засмеялся, назвав его суеверным итальянцем, а пани Марыня, еще раньше смекнувшая, в чем дело, отошла с ним к окну.

– Ко второй паре кумовьев это не относится, – сказала она Свирскому вполголоса, – и вам не помешает.

Свирский вскинул на нее глаза и улыбнулся, показывая два ряда крепких мелких зубов.

– Верно, – обратился он к Стефании, – мы ведь во второй паре... Тогда я к вашим услугам!

Все обступили маленького Стася; на руках у няни, весь в кружевах и муслине, с лысой головенкой и круглыми, вытарашенными глазенками, в которых окружающее отражалось, как в зеркале, он выглядел преотлично. Бигель взял его на руки, и

обряд начался.

Собравшиеся с подобающим вниманием слушали торжественные слова священника, но юный язычник проявил удивленное непокорство. Сначала вырывался из рук так отчаянно, что Бигель едва не выронил его, а когда тот от его имени стал отрекаться от нечистого и козней его, сделал все от него зависящее, чтобы перекричать своего восприемника. И лишь увидев у него на носу очки, умолк, как бы давая понять: мол, если такие замысловатые вещи на свете есть, тогда дело другое.

По окончании обряда ребенка отдали няне, и та, уложив его в нарядную колясочку – подарок Свирского, – хотела увезти. Однако художник, быть может, впервые в жизни видевший вблизи такого крошку и в глубине души давно мечтавший об отцовстве, наклонился и взял ребенка на руки.

– Осторожней! Осторожней! – вскричал, подходя, Поланецкий.

– Не беспокойтесь! – возразил тот. – Ведь я держал в руках шедевры дела Роббиа. – И действительно, так умело стал покачивать ребенка, будто всю жизнь детей нянчил. Потом на руках с ним подошел к Васковскому. – Ну, что скажете о сем юном арии?

– А что? – отвечал старик, с умилением поглядывая на младенца. – Конечно, ария! Чистейший ария!

– И будущий миссионер? – вставил Поланецкий.

– Он исполнит в жизни свою миссию, как исполнили ее и вы, – ответил Васковский.

Однако далеко вперед заглядывать трудно, а пока что маленький ария уклонился от выполнения какой бы то ни было миссии столь недвусмысленным и даже скандальным образом, что его пришлось поскорей передать няне. Но дамы не могли им налюбоваться и все чмокали, улыбались ему, пока не пришли к единодушному заключению: ребенок необыкновенный, это, мол, совершенно очевидно, только слепец не распознает в нем будущего красавца и гения.

Наконец будущий гений – может статься, одурманенный воскурением ему фимиамом – заснул, и подали завтрак. Несмотря на свое расположение к художнику, Марыня рядом со Стефанией посадила Завиловского. Ей, как и всем, не исключая самого Свирского, хотелось, чтобы их отношения прояснились. Завиловский между тем вел себя очень странно. Свирский находил, что здоровье еще не совсем вернулось к нему. Физически он чувствовал себя хорошо: спал, с аппетитом ел, даже пополнил немного и разговаривал вполне разумно, хотя и несколько медлительно, но появилась в нем какая-то апатичность и нерешительность, раньше ему совершенно несвойственная. В Италии при одном упоминании о Стефании лицо у него светлело и на глазах даже выступали слезы. И по возвращении, стоило кому-нибудь напомнить, что надо бы навестить Стефанию, и вызваться его сопровождать, он соглашался и шел охотно. Но после, казалось, забывал о ее существовании. Видно было, что какие-то неотвязные мысли его гложут, поглощая все душевные силы. Свирский заподозрил было, что о Линете, но потом, к немалому своему удивлению, убедился, что не о ней; она как бы перестала для него существовать или же настолько отдалилась, что и воспоминания о ней, сам ее облик стерлись, утратили живые черты. При этом Завиловский отнюдь не печалился. Напротив, иной раз бывал так доволен, так радовался жизни, будто лишь теперь, после возвращения к ней, оценил

по-настоящему всю ее прелесть. А вот кто грустил, так это Стефания; она совсем притихла и замкнулась в себе. Может быть, кроме недостатка взаимности со стороны Завиловского, были у нее и другие поводы огорчаться, но она никого ни во что не посвящала. Марыня и пани Бигель, усматривая причину единственно в этом, в равнодушии Завиловского, окружали ее самой сердечной заботой и решительно всем готовы были ей помочь. Марыня увидела Завиловского на крестинах в первый раз после его приезда из Италии, но пани Бигель по целым дням твердила ему о Стефании, расхваливая ее, напоминая, как преданно она ухаживала за ним, – всячески давая понять, что он перед ней в долгу. Добряк Свирский себе же в ущерб толковал ему то же самое, – и Завиловский соглашался, но, не умея или не желая сделать напрашивающийся из этого вывод, заводил речь о новом своем скором отъезде, о других будущих путешествиях, еще интересней, словом, о вещах, не имеющих к Стефании никакого отношения.

И сейчас, сидя рядом, они почти не разговаривали. Завиловский ел много и жадно, с нетерпением провожая глазами новые кушанья, которыми сперва обносили старших. Стефания, перехватывая его взгляды, смотрела на него с жалостью и состраданием. Марыня, неприятно этим пораженная, перегнулась через стол, желая его разговорить.

– Вы недавно из Италии, расскажите же нам что-нибудь, – попросила она. – Ты, Стефа, никогда ведь там не бывала?

– Нет, – ответила она, – но недавно прочла описание одного путешествия... хотя читать и видеть своими глазами – не одно и то же.

И слегка покраснела, поняв, что почти выдала себя: читала об Италии, так как там был Завиловский.

– Свирский уговорил меня и на Сицилию съездить, но там еще слишком жарко было. Туда надо бы сейчас, – сказал Завиловский.

– Ах, кстати, – вспомнила Марыня. – Где же обещанные письма? Вы ведь через Свирского просили позволения писать мне о своих путевых впечатлениях, а я так и не получила ни строчки!

Завиловский смутился и покраснел.

– Я... не мог... – каким-то странным, неуверенным голосом возразил он. – Но скоро я опять начну писать...

Свирский услышал его и после завтрака подошел к Марыне.

– Знаете, какое он впечатление производит? – сказал он, указывая глазами на Завиловского. – Сосуд драгоценный, но – разбитый.

ГЛАВА LXVII

Спустя несколько дней Свирский зашел к Поланецкому в контору осведомиться о здоровье Марыни и поболтать по душам. Но тот уже собрался уходить.

– Не задерживайтесь из-за меня, – сказал Свирский, – можно по дороге поговорить.

При таком ярком освещении, как сегодня, работать все равно невозможно, так что я вас провожу.

– Я должен перед вами извиниться, но мы приглашены к Бигелям на обед, и это первый Марынин выход. Она, наверно, уже одета, но минут двадцать у меня есть.

– В гости идет – значит, здорова.

– Да, слава богу! – радостно отозвался Поланецкий.

– А юный ария?

– Тоже молодцом.

– Счастливец вы! – сказал Свирский. – Будь у меня такой вот клоп, о жене уж и не говорю, я бы, кажется, колесом ходил.

– Вы не представляете, до чего я его люблю... и с каждым днем все больше. Вот уж никак не ожидал. Ведь я, признаться, о дочке мечтал.

– За чем же дело стало, будет и дочка! – сказал Свирский, прибавив: – Пойдемте, однако, вы ведь спешите.

Поланецкий надел шубу, и они вышли на улицу. Был морозный, солнечный день. Мимо проносились сани, звеня бубенцами. Воротники у прохожих были подняты, над заиндевельными усами вился пар.

– Славный денек! То-то Марыня солнышку обрадуется!

– На душе у вас хорошо, вот вас и радует все, – сказал Свирский, беря Поланецкого под руку. Но вдруг выпростал свою руку и заступил Поланецкому дорогу. – Известно ли вам, уважаемый, – спросил он таким тоном, словно собирался поспорить, – что ваша жена – красивейшая женщина Варшавы? Это я вам говорю, я! – И стукнул себя несколько раз в грудь кулаком, как бы в подтверждение.

– Ба! – воскликнул Поланецкий. – Что – красивейшая! И лучшая, добрейшая притом. Однако пойдемте, а то холодно.

Свирский снова взял его под руку.

– И что я только пережил во время ее болезни, известно богу одному, – волнуясь, продолжал Поланецкий. – Лучше и не вспоминать... Ее выздоровление – настоящий подарок для меня. Но, бог даст, доживем до весны, я тоже преподнесу ей приятный сюрприз.

– Жене вашей равных нет, – заметил Свирский и прибавил, опять остановившись, словно в удивлении: – А сколько в ней простоты!

Некоторое время шли молча, потом Поланецкий стал его расспрашивать о предстоящей поездке в Италию.

– Недельки три пробуду во Флоренции, – отвечал художник, – кое-какая работенка есть. И потом, в Сан Миньято тянет, какое там освещение! По Джиневре соскучился, в которую когда-то был влюблен, по Чимабуэ, наконец. Помните, в Санта Мария

Новелла, в часовне Ручеллаи?.. А через три недели – в Рим. Я как раз я собирался об этом обо всем поговорить: сегодня утром у меня был Игнаций и предложил ехать вместе.

– А! – сказал Поланецкий. – Ну и вы, конечно, согласились?

– Не хватило духа отказать, хотя, между нами, с ним иногда бывает очень трудно. Сами знаете, как я его полюбил и жалею, но просто чертовски трудно, как мне ни неприятно вам это говорить... Слов нет, он очень, очень переменялся. Я сказал еще пани Марыне на крестинах: сосуд драгоценный, но разбитый. Так оно и есть! Разве я не видел, как он мучился над этими письмами к вашей жене, собираясь описать ей Италию. Часами по комнате ходит, трет эту свою простреленную башку, сядет, опять вскочит, а бумага как была чистая, так и останется. Дай-то бог, чтобы к нему вернулся прежний дар. А всем ведь твердит, что будет писать стихи, но сам, видно, в этом уже сомневается и очень мучается. Я-то знаю, как он мучается.

– Да, это большой удар был бы и для него, и для Елены, – отозвался Поланецкий. – Знали бы вы, как боролась она за его жизнь... боролась, чтобы спасти и талант!

– Большая потеря была бы для всех, – согласился Свирский. – Но кого мне особенно жаль, так это Стефанию. Ее тоже сомнение берет, а будет ли он опять прежним, – это, пожалуй, ее больше всего удручает.

– Бедняжка, – заметил Поланецкий. – Тем более что сам-то он даже и не вспоминает о ней, судя по всем этим его планам насчет будущих путешествий. Хорошо еще, что благодаря Елене у нее есть теперь средства к существованию.

– Подожду год – и опять сделаю ей предложение, – сказал Свирский. – Чего уж там, если сердцем завладела! Вы не обратили внимания, как ей короткие волосы идут? Вот бы всегда такие носила. Год жду и молчу, а там будем считать, что руки у меня развязаны. Не может ведь быть, чтобы и ее отношение к нему за год никак не изменилось, особенно если он ровно ничего не будет предпринимать... Как странно! Думаете, я не делаю всего, что в моих силах, чтобы раздуть в нем хоть искорку чувства к ней? Вряд ли другой на моем месте вот так же шел бы против собственного сердца. Пани Бигель тоже старается, как может. Но поди попробуй? Ведь не скажешь ему: «Женись», – коли он ее не любит. Но еще чуднее, что он и о той, прежней, кажется, совсем забыл. Положим, и целый табун таких девиц не стоит одной Стефании, но то особая статья! Мне-то важно, чтобы она не думала, будто я нарочно Игнация увожу. Отказать ему я ведь не мог, но если паче чаяния зайдет о том разговор, объясните, что я его, избави бог, не уговаривал и много бы дал, лишь бы ей было лучше, а мне, старому псу, хоть бы и совсем счастья не видать.

– Хорошо, так мы и скажем, – ответил Поланецкий.

– Благодарствуйте! Перед отъездом я еще зайду к пани Марыне попрощаться.

– Непременно – и вечером, чтобы посидеть подольше. Если вернетесь летом, надеюсь, погостите с Завиловским у нас.

– В Бучинеке?

– В Бучинеке или еще где, пока не знаю.

Разговор прервался при виде Основского, который выходил из фруктовой лавки с

белым пакетом в руках.

– Смотрите-ка: Основский! – воскликнул Свирский.

– Как изменился, – сказал Поланецкий.

И в самом деле, тот резко изменился. Из-под меховой шапки виднелось осунувшееся, желтое, словно бы постаревшее лицо. Шуба на нем болталась, как на вешалке. Заметив приятелей, он растерялся и хотел было пройти мимо, будто не узнавая. Но они слишком близко сошлись, да и на тротуаре никого, кроме них, не было, и, мгновенно передумав, он подошел и заговорил с ненатуральной поспешностью, точно боясь коснуться того, что у всех троих было на уме.

– Добрый день! Вот нежданная встреча! Я ведь почти безвыездно в Пшитулове сижу и в городе бываю редко. Купил вот винограду – доктора мне рекомендовали. Но от него опилками пахнет, я думал, может, в этом магазине лучше. Какой мороз сегодня, правда? А в деревне уже санный путь установлен.

И они пошли вместе, все трое испытывая неловкость.

– Говорят, вы в Египет собираетесь? – первым прервал молчание Поланецкий.

– Давно уже подумываю и теперь вот, наверно, выберусь. Тоскливо зимой в деревне без дела, да еще одному.

Тут он осекся, почувствовав, что вступил на скользкий путь.

Молчание становилось все тягостней, росла и неловкость, которая неизбежна, когда, словно по молчаливому уговору, обходят главное и наиболее болезненное, болтая о разных пустяках. Основский рад был бы распрощаться. Но по многолетней привычке придерживаться определенных правил поведения, которая и в тяжком горе заставляет соблюдать приличия, он бессознательно искал какого-нибудь удобного предлога, чтобы откланяться, и, не находя, только затягивал неловкую паузу. В конце концов он принялся было прощаться, вскинувшись вдруг самым неожиданным и ненатуральным образом, точно не в своем уме.

Но в последнее мгновение, видимо, передумал. Эта комедия была ему невыносима. Опротивело притворяться! И подумалось; зачем из всего делать тайну, избегая малейшего упоминания о своем несчастье, в этой уклончивости есть что-то унижительное. По его напряженному лицу видно было, что в душе у него происходит мучительная борьба.

– Господа... – остановясь, сказал он дрожащим, прерывающимся голосом. – Простите, что задерживаю... Я расстался с женой, как вам известно... И не считаю нужным это скрывать, тем более от людей близких, которых я уважаю... Заверяю вас, это произошло... так случилось... потому, что я этого хотел... и жена моя ни в чем...

У него перехватило горло от волнения. Он хотел взять вину на себя, но, поняв внезапно всю неправдоподобность, бессмысленность и никчемность этой лжи, этого пустого набора слов, которых даже чувством долга и светскими приличиями оправдать нельзя, умолк.

И, запутавшись окончательно, ушел с кульком винограда и адской мукой в душе.

Свирский и Поланецкий, подавленные, некоторое время молчали.

– Ей-богу, просто сердце разрывается, – сказал наконец Поланецкий.

– Только смерть может принести ему облегчение, – заметил художник.

– А ведь он не заслужил такой участи.

– Не заслужил? – повторил Свирский. – Знаете, он навсегда запомнится мне целующим ручки жене. Это было его основное занятие, и иначе я его и представить себе не могу... Удивительное дело, – прибавил он немного погодя, – горе, подобно смерти, разлучает людей или, во всяком случае, отдаляет друг от друга. Вы вот с ним познакомились недавно, а мы – старые друзья, но и между нами теперь нет близости, я ему как чужой. Грустно, но что делать!

– Да... Грустно и непонятно.

– Черт бы ее побрал, эту Основскую! – внезапно остановившись, вскричал Свирский. – Человек, пока жив, может исправиться, по словам панны Елены, и все-таки; черт ее побери совсем, вот что я вам скажу!

– Ни одну женщину так не боготворили, как ее, – отозвался Поланецкий.

– То-то и оно! – вскричал Свирский с горячностью. – Женщины, они вообще... – Но зажал рот себе перчаткой. – Нет? – сказал он. – К черту старые привычки! Дал же я себе слово: о женщинах – никаких обобщений.

– Я сказал: ни одну так не боготворили, – только потому, что не представляю, как он будет жить без нее.

– А жить тем не менее надо! – заключил Свирский.

И, разумеется, Основский жил, а вернее, существовал. В Пшитулове и Варшаве, где все напоминало о жене, ему стало совсем невмоготу, в спустя месяц он отправился в свое путешествие. Но уже из Варшавы выехал не совсем здоровым, а дорогой в жарко натопленном вагоне вдобавок простудился и в Вене слег. Простуда, которую приняли вначале за инфлюэнцу, перешла в тяжелейший тиф. Впав через несколько дней в беспамятство, лежал он в гостинице на попечении чужих людей и незнакомых докторов, вдали от дома и друзей. В бреду, который туманил голову и мысли, ему померещилось склонившееся вдруг над ним дорогое лицо, которое он не переставал любить ни в своем уединении, ни во время болезни, ни перед лицом смерти. Казалось, было оно рядом и когда сознание стало возвращаться к нему, но он так ослаб, что ни шевельнуться не мог, ни слова вымолвить, ни собрать разбегающиеся мысли.

А потом видение исчезло.

Он стал расспрашивать сестер милосердия, неизвестно кем к нему приставленных и окруживших его заботливейшим уходом, и затосковал безмерно.

ГЛАВА LXVIII

После крестин сына и отъезда Свирского с Завиловским Поланецкие снова зажили своим отдельным мирком, почти нигде не бывая и ни с кем не встречаясь, кроме Бигелей, пани Эмилии и Васковского. Но им было хорошо в тесном дружеском кружке, а вдвоем – даже еще лучше. Поланецкий в последнее время был очень занят, подолгу засиживаясь в конторе и улаживая какие-то дела на стороне, в которые никого не посвящал. Но освободясь, летел домой еще поспешней, чем когда-то к Плавицким в пору жениховства. К нему вернулись былая бодрость и энергия, и он смотрел в будущее с надеждой. Неожиданно сделал, он удивившее его самого открытие, что любит в Марыне не только жену и самого близкого человека, но и женщину, – любит стойко, без тревог и метаний, резких переходов от блаженства к сомнениям и отчаянию, любит с присущей истинному чувству трепетной страстью, но и неизменным преклонением перед ее красотой, побуждающим оберегать, лелеять, предупреждать желанья, заботиться неустанно и нежно о том, как бы не спугнуть и не лишиться своего счастья.

«Я становлюсь похож на Основского, – посмеиваясь, говорил он себе, – но мне это ничем не грозит, потому что моя детка никогда Анетке не уподобится!» Он часто называл теперь Марыню «деткой», вкладывая в это слово нежность и благоговение. Будь она другой, он не полюбил бы ее так, это ясно; счастьем своим он обязан ее душевной доброте и удивительному благородству, которое исходило от нее, как тепло от огня. Гибкостью и глубиной ума, широтой познаний Поланецкий ее превосходил и видел это, но благодаря ей, и только ей, все заложенное в нем становилось возвышенной и совершенной. И принципы, которыми он руководствовался и которые оставались мертвой теорией, пока были достоянием рассудка, тоже благодаря ей проникали в сердце, обретая истинную жизнь. «Не только своим счастьем, – думал он, – но и тем, каким я стал, я обязан ей». И он даже несколько разочаровался в себе, придя к заключению, что женись он на женщине не такой, и сам стал бы совсем не тем. Казалось порой даже странным, как это она могла его полюбить, но вспомнились ее слова о «службе божией», и все становилось понятно. Супружество для такой женщины тоже означало «службу божию», – любовь была для нее не стихийной, неподвластной силой, а сознательным актом доброй воли: служением обету, христианскому закону, нравственному долгу. Марыня любила его, потому что он был ей мужем. Такой уж она была – и все тут! Поланецкий долго не понимал, что добродетели, перед которыми он преклоняется, внушены еще евангельскими заповедями, верности которым не убило в ней воспитание. Быть может, воспитывали ее недостаточно старательно, но научить научили с детства, что богу надо служить, а не прислуживать.

Впрочем, и не доискиваясь, почему она такая, какая есть, Поланецкий все больше ею восторгался, уважал ее и любил. А Марыня при виде этого не возомнила о себе, не забывая, что не всегда было так хорошо, помня о выпавших на ее долю испытаниях, – понимая: она вела себя правильно и вознаграждена за свое терпение. И было отрадно это сознавать, зная притом, что, поправившись, она очень похорошела и горячо любима. Стах, которого она раньше немного побаивалась, часто склонял теперь свою темноволосую голову ему на колени, и, глядя на него, она с тихой радостью думала: «Кротким нравом господин этот не отличается, и если уж делает так, значит, ужасно любит». Счастью ее не было границ. И, преисполненная признательности, она сама отвечала ему беспредельной любовью.

Светлым лучиком в доме был и юный «ария». Бывал он, правда, и криклив, но зато, убоготоренный, такими разнообразными возгласами свидетельствовал свое удовольствие, что все домочадцы обоего пола собирались у кровати, где он лежал в своей излюбленной позе, задрав ножки кверху под прямым углом. Марыня прикрывала его, называя «противным мальчишкой», он же, как пристало человеку с

характером, продолжал брыкаться, поминутно сбрасывая одеяльце и показывая свои беззубые десны, смеясь и гукая на все лады: то чирикающая, как воробышек, то воркуя по-голубиному, то мяукая, то попискивая, словно обезьянка уистити. И мать, и няня разговаривали с ним, случалось, целыми часами, а старик Васковский, который души в нем не чаял, утверждал с полной серьезностью, что это «речь эзотерическая» и, ежели записать ее на фонограф, очень поможет ученым проникнуть в тайны астральной жизни, во всяком случае, многое подсказала бы на этот счет.

Так проходили зимние месяцы в доме Поланецких. В феврале Поланецкий стал часто уезжать по делам, а вернувшись, подолгу советовался о чем-то с Бигелем. Но с середины февраля засел неотлучно дома, выбираясь только в контору или покататься иногда с Марыней и маленьким Стасем. Их не богатую событиями, но исполненную покоя и счастья жизнь разнообразили городские новости, которые приносила чаще всего пани Бигель. От нее узнала Марыня, что Стефания Ратковская, которая давно нигде не показывалась, на проценты с оставленных Еленой денег устроила сиротский приют, что Основский уехал-таки в Египет, но не один, а со своей «Анеткой», примирясь с ней после выздоровления. Бывший секундантом Машко Кресовский видел их в Триесте и сказал с насмешкой, что у Основской вид кающейся грешницы. Но Поланецкий, зная по собственному опыту, насколько в несчастье становишься лучше и как искренне раскаиваешься, совершенно серьезно ответил: если муж простил, никто ее не вправе осуждать.

Но вскоре дошло до них известие еще невероятней, которое стало предметом обсуждения не только в доме Поланецких и Бигелей, но и во всем городе, а именно: будто Свирский сделал предложение панне Каstellи и свадьба состоится после пасхи. Марыня так разволновалась, что попросила мужа написать Свирскому и спросить, правда ли это. Ответ пришел дней через десять, и, когда Поланецкий с конвертом в руке вошел к ней и объявил: «Письмо из Рима!», Марыня, как девочка, подбежала с разгоревшимися от любопытства щеками, и они прочли следующее:

«Вы спрашиваете, правда ли? Нет, дорогие, неправда! Но чтобы вы поняли, почему этого не могло быть и не будет никогда, я должен рассказать о Завиловском. Он приехал в Рим три дня назад – я уговорил его задержаться во Флоренции и посмотреть еще Сиену, Парму, а особенно Равенну. Завтра он с виа Бриндизи уедет в Афины. А эти три дня с утра до вечера просидел у меня в мастерской, и я, видя, что он чем-то расстроен, и желая навести разговор на вещи, его занимающие, спросил неосторожно: не привез ли он, часом, из Равенны с полдюжины сонетов? И знаете, что за этим последовало? Он побледнел, сказал, что нет, но скоро начнет писать, а потом швырнул вдруг шляпу на пол и разрыдался, как ребенок. Никогда мне еще не доводилось видеть такого взрыва отчаяния. Он бился у меня в руках, твердя, что загубил свой талант, и не способен больше ни на что, и стихов писать никогда уже не будет, и было бы во сто раз лучше, если бы панна Елена не выходила его тогда. Вот как он страдает, а досужие языки небось мелют: зачем ему писать, коли он разбогател. И таким он уже и останется. Сгубили беднягу, отняли душу и талант – погасили огонь, который мог бы светить и греть. Вот что нейдет у меня из головы. Бог с ней совсем, с панной Каstellи! Но надергать перьев у птицы такого полета себе на веер и выбросить его потом в окно – этого я не могу ей простить. Я сказал как-то в Варшаве, что теперь на ней никто не женится, пусть поищет себе какого-нибудь князя Крапулеску, но это все так, слова. На самом же деле дураков много. Что до меня, я не дурак и не Крапулеску. Прощать можно свои обиды, а не чужие, простить за другого ровно ничего не стоит. Вот и все, что я имею по сему поводу сообщить, остальное вам известно. Подожду годик и повторю Стефании свое предложение. Примет она его или нет, в любом случае бог ее благослови, а мое решение неизменно».

– Но откуда же тогда эти слухи? – перебила Марыня.

Читая дальше, нашли они ответ и на этот вопрос.

«Сплетни эти могли появиться оттого, что меня часто видели в обществе этих дам. Помните, прошлый раз в Риме пани Бронич первая мне написала, а Линета, когда я к ним пришел, сама взяла на себя вину безо всяких оправданий. Признаться, меня это тронуло. Что ни говори, для чистосердечного признания нужно иметь какое-то мужество, чуточку порядочности, как-никак это признак раскаяния, крик страдающей души, могущий ее спасти, пусть даже вины не искупающий. Не думайте, будто я пишу это по своему мягкосердечию. Они действительно несчастны, можете мне поверить. Сколько раз приходилось видеть, как опасливо приближаются они к знакомым и каким холодом обдают их те, кто не боится выразить им свое неодобрение. У них столько всего против всех накопилось, что они скоро сами начнут между собою грызться, как справедливо предсказал Васковский. И правда, ужасное положение: в обществе вроде бы приняты, но с запятнанной репутацией. Ну, да бог с ними! Написал бы о них и покрепче, да вспоминаю Елену Завиловскую, которая сказала, что никогда не поздно исправиться. Бедная Линета от всего пережитого очень изменилась: похудела и подурнела, и мне очень жалко ее. Жалко и тетушку Бронич, хотя она по-прежнему несет вздор, от которого уши вянут. Но это она из любви к племяннице, что ее отчасти оправдывает. И хотя я уже написал, что прощать можно только свои обиды, но хоть каплю жалости к ближнему не иметь – для этого гориллой надо быть, а не христианином. Не знаю хватит ли ее у меня, чтобы зайти к ним после того, как я был свидетелем отчаяния Игнация, но что бывал – не жалею. Люди поговорят, поговорят, да и перестанут, год минет – дай бог дожить мне и Стефании, – и сами увидят, что болтали чепуху».

Письмо кончалось упоминанием об Основских: Свирский уже знал об их примирении, сообщая кое-какие подробности, неизвестные Поланецким.

«Думаю, – писал он, что господь в бесконечном могуществе, но и милосердии своем не только предотвращает зло, но и сам обрушивает удары, чтобы высечь из нас искру порядочности. И я в исправление даже такой вот Основской и то верю. Наивно, может быть, но, по-моему, нет людей совсем дурных! Вот вам Анета: и у нее ведь совесть заговорила, и она за ним во время болезни ухаживала. Ох уж эти мне женщины! Такая у меня из-за них путаница в голове, скоро вообще перестану сколько-нибудь здраво рассуждать».

Под конец спрашивал он о здоровье маленького Стася, желая всяческого благополучия его родителям и обещаясь приехать в начале весны.

ГЛАВА LXIX

А весна уже наступила, ранняя и теплая. В конце марта – начале апреля Поланецкий опять стал куда-то уезжать и пропадал, случалось, по нескольку дней. Они были так заняты с Бигелем, что нередко допоздна засиживались в конторе. Жена Бигеля полагала, что затевается некая грандиозная операция, недоумевая только, почему это муж, который всегда посвящал ее в дела, словно бы вслух размышляя о них при ней и часто даже советуясь, на этот раз как в рот воды набрал. Марыня тоже заметила, что Стах целиком чем-то поглощен. Он был с ней даже ласковей, чем обычно, но ей чудилась в его нежности, в каждом ласковом слове какая-то задняя

мысль, которая ни на минуту его не оставляет. И эта его озабоченность с каждым днем росла, к началу мая достигнув апогея. Марыня хотела спросить мужа, что с ним, но колебалась, боясь показаться навязчивой, хотя и безразличной выглядеть не хотелось. Пребывая в этой неуверенности, порешила она выждать, пока муж сам при удобном случае хотя бы намекнет о своих заботах.

Спустя несколько дней ей показалось, что подходящий момент настал. Поланецкий раньше обычного вернулся из конторы с лицом довольным и вместе серьезным.

– Что, Стах, можно поздравить с успехом? – при взгляде на него вырвалось у нее невольно.

Он сел подле нее и, не отвечая прямо, сказал не совсем обычным тоном:

– Смотри, какая погода хорошая, совсем тепло. Пора и рамы выставлять. Знаешь, о чем я думаю последнее время? Что хорошо бы вам со Стасем поскорей уехать из города.

– Если Бучинек никем еще не снят... – отозвалась Марыня.

– Бучинек продан, – возразил Поланецкий. – И продолжал, взяв ее за обе руки и с нежностью заглядывая в глаза: – Послушай, дорогая, я хочу тебе что-то сказать, что-то очень приятное, только обещаю, что не будешь волноваться.

– Хорошо, не буду. Ну, говори же, Стах!

– Видишь ли, детка, Машко бежал за границу как несостоятельный должник. А на оставшееся имущество накинудись кредиторы – хоть отчасти возместить убытки. И банк пустил все с торгов. Магерувку, ту разбили на участки и распродали, но Кшемень, Скоки и Сухотин еще можно было спасти, и – ты только не волнуйся, дорогая, – я купил их для тебя.

Марыня глядела на него, не веря своим ушам. Но нет, это не шутка, он сам взволнован не меньше. И со слезами на глазах она обвила руками его шею.

– Стах!!!

Никакие другие слова не шли ей в эту минуту на ум, но в этом одном слились и любовь, и благодарность, и преклонение перед человеком, который так по-деловому, по-мужски сумел всего этого добиться. Поланецкий понял ее и, бесконечно счастливый, прижал к своей груди.

– Я знал, что ты будешь рада, а радость твоя, видит бог, – величайшее для меня счастье. Я помню, как ты жалела Кшемень и как я тебя обидел, продав его, вот и постарался загладить свою вину при первой возможности... Но это все пустяки! Я и десятком Кшеменей не могу отплатить за твою доброту ко мне, не стою тебя все равно.

Он говорил от чистого сердца, и Марыня, чуть отстранясь, сияющими, мокрыми от слез глазами посмотрела на него.

– Нет, Стах, это я тебя не стою! – возразила она. – Я и мечтать о таком счастье не смела!

Они заспорили, кто кого достойней, но спор то и дело прерывался, так как Марыня, прижимаясь к мужу, протягивала ему свои красивые, немного крупные губы, а он впивался в них, целуя потом ее глаза. Марыня долго не могла прийти в себя; ей хотелось то плакать, то смеяться от счастья, превзошедшего все ее ожидания. Когда-то мать уже слабеющей рукой написала ей: «В супружестве не ищут счастья, а исполняют обязанность, возложенную богом, счастье – это лишь придача, дар божий». И дар этот был так щедр, что сердце его не вмещало. Да, бывало тяжело, она тосковала, а порой отчаивалась, но теперь все в прошлом, Стах любит ее больше всего на свете, доказав это с избытком.

А он большими шагами мерил комнату, взволнованный и довольный.

– Ну что же, Марыня, теперь – за дело! – сказал он с несколько даже хвастливым выражением на смуглом лице. – Как хозяйство вести, я понятия не имею, хозяйством распорядиться будешь ты. Но управляющий из меня должен получиться неплохой. Кшемень – твердый орешек, работы там хватит на двоих.

– Стах, дорогой, я знаю, ты сделал это для меня, – сказала она, прижимая руки к груди. – Но делам своим ты ущерба не нанес?

– Ущерб? Ты думаешь, я на этом проиграл? Да ни вот столько! Задешево купил, совсем задешево! Бигель на что уж осторожный, и то признает, что сделка выгодная. И потом, ведь я же остаюсь его компаньоном... Ты не беспокойся, тебе не придется биться с нуждой, как прежде. У нас есть, на что начать хозяйство. И вообще я тебе скажу: если бы сейчас мы вдруг остались без Кшеменя, то все равно прожили бы, ты, я и Стась.

– Знаю, – сказала Марыня, глядя на него, как на Наполеона или другого великого полководца, – знаю, ты можешь все, что захочешь, но Кшемень ты купил единственно ради меня.

– Не отпираюсь! – ответил Поланецкий. – Купил, потому что там похоронена твоя мать, потому что ты его любила, а я люблю тебя. Но, кроме того, благодаря тебе меня самого потянуло к земле. Вспоминалось, что ты в Венеции говорила, когда Машко предлагал Букацкому купить Кшемень. Ты и не представляешь, как влияешь на меня. Иногда скажешь что-нибудь, а я даже не придам сразу этому значения, но в душу западет и потом неожиданно отзовется. Так и тут. Теперь мне даже самому странно: как же это, иметь состояние, но и трех аршин той земли не иметь, на которой живешь, – пяди, которую мог бы назвать своей. Я давно уже решил про себя: куплю. И последние месяцы вертелся, как белка в колесе, – ты, наверно, заметила. Не хотелось только ничего тебе говорить, пока дело не выгорело. Сюрприз решил тебе сделать. Ну, вот и получай! Это тебе за то, что выздоровела, и за то, что ты такая хорошая!

И, схватив ее за руки, снова стал осыпать их поцелуями и прижимать к щекам. Она тоже хотела поцеловать ему руку, но он не дал, и оба, как дети, принялись бегать друг за дружкой, перекидываясь словами ласковыми и теплыми, как солнечные лучи. Марыне уже не терпелось в Кшемень – ни о чем другом она думать не могла, – так что он даже пригрозил в шутку: вот приревную тебя к нему, возьму да и продам.

– Не продашь! – покачала головой Марыня.

– Почему же это?

– Потому что любишь меня... – шепнула она ему на ухо, встав на цыпочки.

И он кивнул, соглашаясь.

И они, к великой радости Марыни, условились всем семейством переехать в конце недели в Кшемень: вещь вполне возможная, так как дом был уже приготовлен к приезду «помещицы». Поланецкий заверил Марыню, что почти ничего не тронул, постаравшись только привести все в жилой вид, и вдруг рассмеялся:

– Интересно, а что папа на это скажет?

Представив себе папино удивление, Марыня еще больше обрадовалась. А Плавицкий не заставил себя долго ждать, явившись через полчаса к обеду. Едва он вошел, Марыня бросившись ему на шею, одним духом выпалила радостную новость. Тот действительно поразился и даже растрогался. Может быть, обрадовался за дочь, а может, проснулась привязанность к уголку, где он прожил столько лет; так или иначе, глаза его подернулись влагой. Не обошлось, конечно, и без слов о поте, коим орошена эта земля, и о «немощем ныне старце», для которого, быть может, тоже найдется «пристанище где-нибудь во флигельке».

– Дай бог тебе мое умение, но побольше удачи, – сказал он, обнимая зятя, – и знай: у меня ты всегда найдешь и помощь, и совет.

– Ну скажи сама: можно разве его не любить? – спрашивала счастливая Марыня вечером в гостях у пани Бигель.

ГЛАВА LXX

Приехали в Кшемень под самое воскресенье, уже во втором часу ночи, так что Поланецкий встал поздно. Прислуга поджидала их накануне с хлебом-солью; Марыня не утерпела и, смеясь и плача, обежала все комнаты, заглянула во все уголки и от волнения не могла заснуть до рассвета. Поланецкий не позволил ей поэтому вставать, обещав разбудить, когда запрягут, – Марыне хотелось пораньше поехать в Вонторы, чтобы успеть до обедни помолиться на могиле матери. А сам вышел после завтрака взглянуть на свои владения. Была вторая половина мая, и день выдался чудесный. Ночью прошел дождь, и лужи во дворе, у хозяйственных пристроек, блестели на солнце, капли на листьях переливались, как бриллианты; ярко отсвечивали мокрые крыши овинов, хлевов и овчарни. Залитый солнцем, утопающий в буйной майской зелени Кшемень радовал глаз. У хозяйственных построек было по-воскресному безлюдно, лишь возле конюшни толклись несколько конюхов, наряженных ехать в костел. Поланецкого поразили царившие вокруг тишина и безлюдье. Решив купить Кшемень, он несколько раз бывал здесь и знал, что имение расстроено. Машко начал было возводить амбар под красной черепичной крышей, но не закончил. Сам он никогда в Кшемене не жил, да и средств у него не было, – и следы запустения виднелись на каждом шагу. Но никогда оно не казалось Поланецкому столь очевидным, как теперь, когда он мог сказать: «Это мое!» Службы покосились и обветшали, забор местами повалился, а кое-где в нем зияли проломы. Под стенами валялся поломанный хозяйственный инвентарь; всюду виднелись разные предоставленные себе предметы, словно брошенные истлевать за ненадобностью, во всем чувствовалось небрежение и нерадивость. Про сельское хозяйство Поланецкий твердо знал одно: деньги в него вкладывать следует осмотрительно; в остальном же, кроме самых общих сведений, вынесенных еще из детства, был в нем совершенным

профаном. Однако же, оглядывая свои владения, понял, что и поля, должно быть, обрабатываются с той же нерадивостью, которая повсюду заметна, и если хозяйство вообще велось, то лишь по устоявшейся привычке, раз заведенным порядком, как и десять, двадцать, сто лет назад. Здесь и в помине не было того напряжения, той неусыпной энергии, без которых немислимы коммерция, промышленность и вообще городская жизнь. «Если бы я ничего другого и не принес в это сонное царство, – подумал Поланецкий, – и то уже неплохо, потому что здесь этого явно не хватает. А у меня к тому же еще и деньги, и хоть капля здравого смысла: я наперед знаю, что ничего не знаю, и надо расспрашивать и учиться». Еще в бытность свою в Бельгии имел он возможность убедиться, что даже там разум и воля человеческие значат больше, чем самые совершенные машины. А на себя он в этом смысле рассчитывал – и с полным правом. Упорства и энергии ему было не занимать, он чувствовал это. Все, за что Поланецкий ни брался, в конце концов ему удавалось. В делах он был практичен и не давал фантазии увлечь себя, а потому не пал духом при виде представшей его взору заброшенности, загоревшись, наоборот, жадой действия. Окружающее оцепенение, запустение, спячка и застой возбуждали у него желание побороться, и, воодушеваясь, он уже словно бросал вызов: «А ну-ка! Посмотрим, кто кого!» Не терпелось поскорее приняться за дело.

Первый, беглый осмотр хозяйства и эти размышления настроения не испортили, но время отняли. И, взглянув на часы, он распорядился запрягать: иначе не поспеть в Вонторы до обедни, – и, быстро воротясь, постучался к Марыне.

– Госпожа помещица! Служба божия!

– Входи, входи, – слышался веселый голос Марыни. – Я уже готова!

Поланецкий вошел и увидел ее в светлом платье, похожем на то, в котором она была в его первый приезд в Кшемь. Оделась она так умышленно, и муж, к ее удовольствию, отгадал хитрость.

– Панна Плавицкая! – воскликнул он, протягивая к ней руки.

Она подошла и, словно застыдясь, ткнулась ему в щеку розовым носиком, указывая на кроватку, где спал маленький Стась.

В костел поехали вместе с Плавицким. Был солнечный весенний день, теплый и ликующий. В роще куковала кукушка, по дугам бродили аисты. Перед экипажем с дерева на дерево перепархивали сороки и удода. Налетавший время от времени ветерок, точно водную гладь, колыхал молодые всходы, пригибая стебли, и зыбкие тени бежали по зеленому полю. Пахло землей, травой и весной. Воспоминания обступили Марыню и Поланецкого. У нее проснулась притупившаяся в городе любовь к земле и деревне, к лесам, зеленым лугам, одиноким грушам на межах, к полоскам пашен, сужающимся вдаль, к полевым просторам и необъятному, не по-городскому высокому небу. Все это наполняло ее безотчетной радостью, граничащей с упоением. А Поланецкому вспомнилось, как они с Плавицким ехали вот так же в костел и сороки и удода тоже передетали с дерева на дерево перед экипажем. Но теперь с ним рядом было то юное создание, Марыня Плавицкая, которую он тогда увидел впервые. И в голове пронеслось все бывшее между ними: первое знакомство и как она ему понравилась, размолвка и удивительная роль Литки в их судьбе, свадьба, совместная жизнь, испытания, которым подверглось их счастье, и благотворное влияние на него этой чистой души, и теперешнее безоблачное житье-бытье. И его охватило блаженное чувство, что все плохое позади, что действительность превзошла самые смелые мечты и, хотя от бед никто не застрахован, их совместная

жизнь будет теперь всегда возвышенно чистой, как сама «служба божья», и словно посветлеет настолько, насколько солнце здесь ярче, чем в городе. И сердце его преисполнилось счастья и любви к Марыне. И в Вонторах он с не меньшим рвением, чем она, помолился за упокой души ее матери, которой обязан такой женой, испытал к праху ее, погребенному под костелом, чувство, как ему показалось, поистине сыновнее.

Зазвонили к обедне. В костеле Поланецкого снова обступили воспоминания. Все было здесь так знакомо, что порой чудилось, будто он только вчера вышел отсюда. Все тот же запах аира и непокрытые мужицкие головы, тот же ксендз у алтаря, и так же ударяются в стекла ветки раскачиваемой ветром березы... И Поланецкому, как и тогда, подумалось, что все проходит: жизнь с ее горестями, радостями и страстями, меняются взгляды и философские системы, только служба правится по-прежнему, словно время над нею не властно. Новым ликом в этом давнем обрамлении была лишь Марыня. Поланецкий нет-нет да и поглядывал на нес, по ее сосредоточенному виду и взору, обращенному к алтарю, догадываясь, что она усердно молится за будущую их жизнь в деревне. И, настроясь на ее лад, он тоже стал горячо молиться.

После службы их окружили во дворе старые знакомые Плавицкого и Марыни. Но Плавицкий тщетно озирался по сторонам в поисках пани Ямиш: она уехала в город несколько дней назад. Зато сам Ямиш, поздоровевший и помолодевший после того, как вылез из своего катара, пришел при виде Марыни в полный восторг.

– А, вот она, моя питомица! – восклицал он, целуя ей руки. – Вот моя хозяйюшка! Золотко мое! Вернулись, значит, на старое гнездовье. А Марыня все такая же красавица! Совсем барышня, ей-богу, не верится, что у нее уже сынок!

Марыня покраснела от удовольствия, но в эту минуту к ним подошли Зазимские с кучей детей, а за ними Гонтовский, vulgo[74 - в просторечии (лат.).] «увалень», несчастный Марынин обожатель, дравшийся с Машко. Гонтовский держался несколько скованно и смущенно, ослепленный ее красотой и опечаленный тем, что упустил свое счастье. Марыня тоже поздоровалась с ним сконфуженно, а Поланецкий с великодушием победителя дружески протянул ему руку.

– Оказывается, и у меня тут есть старые знакомые. Как живете?

– По-прежнему, – отозвался Гонтовский.

Ямиш, который был в отличном расположении духа, бросил на него насмешливый взгляд.

– Все с сервитутами у него нелады, – сказал он.

Гонтовский пришел в еще большее замешательство, потому что нелады эти стали уже притчей во языцех. Бедняга в последние годы едва сводил в своем Ялбжикове концы с концами и все надежды возлагал только на сделку с крестьянами да продажу леса. Но каждый раз, уже почти договорясь, ялбжиковские мужики вдруг припоминали ему, что он все «на белом коне скачет, из ружья палит да на девок заглядывается».

Зная с детских лет крестьянскую повадку ничего не говорить прямо, без обиняков, он тем не менее терял иногда терпение.

– Вот дьяволы! Ну какая здесь связь! Чтоб вас всех черти взяли! – восклицал он с

отчаянием.

Столь убедительное dictum[75 - высказывание (лат.).] производило обыкновенно то действие, что ялбжиковские выборные умы снова держали совет и, взвесив все «за» и «против», снова заявляли, почесывая затылки, что все бы ничего, кабы барин «на белом коне не скакал, из ружья не палил...» и так далее.

Марыня, которая почти по-родственному относилась к Ямишу, узнав, что он остался в соломенных вдовцах, пригласила его к обеду. Недовольный же отсутствием госпожи советницы, Плавицкий со своей стороны пригласил «Гонтосика», вспомнив, как они играли с ним в карты по воскресеньям, вследствие чего Поланецкие поспешили домой, чтобы Марыня поспела с нужными распоряжениями. Плавицкий с Ямишем поехали следом, а за ними в бричке, запряженной тощей рабочей клячей, тащился Гонтовский.

– Дочь моя счастлива... – говорил Плавицкий Ямишу по дороге. – Ничего не скажешь!.. Человек он хороший, дельный, но...

– Что «но»?

– Сумасброд! Помните, как он пристал ко мне вернуть ему какие-то жалкие двадцать тысяч рублей. Пришлось продать Кшемень. И что же? Теперь сам же его купил... А не требовал бы долга с меня, не пришлось бы и за Кшемень платить – задаром бы его после моей смерти получил. Человек неплохой, но... – постучал себя Плавицкий пальцем по лбу, – ветер еще в голове! Что правда, то правда.

– Гм! – только и сказал Ямиш в ответ, не желая обидеть старика, а про себя подумал: останься Кшемень в его руках, от него давно и следа бы не было.

– Опять работать придется на старости лет, на меня ведь все ляжет, – пожаловался со вздохом Плавицкий.

«Не приведи господь! – едва не вырвалось у Ямиша, но он достаточно знал Поланецкого, чтобы не тревожиться на этот счет. Да Плавицкий и сам не очень-то верил в свои слова: зря он немного побаивался и понимал, что тот все возьмет на себя.

Беседуя таким образом, подъехали они к крыльцу; Марыня, успевшая уже распорядиться относительно обеда, вышла навстречу с сыном на руках.

– Хочу представить вам сына, прежде чем садиться за стол, – сказала она. – Вот какой у меня сынок! Большущий сынок! Послушный сынок!

И, покачивая ребенка в такт словом, поднесла его к Ямишу. И когда тот коснулся пальцем его щечки, «послушный сынок», сперва поморщась, а потом улыбнувшись, издал радостный вопль, который для изучающих «эзотерический язык» имел несомненный интерес, но неискушенному слуху удивительно напоминал крик сороки или попугая.

Подъехал между тем и Гонтовский и, повесив в сених пальто, стал рыться в карманах, ища носовой платок. В сених оказалась и Розалька, нянька Стася; она подошла и, поклонясь в ноги, поцеловала барину руку.

– Ну, как дела? Как поживаешь? Что скажешь? – спросил ялбжиковский помещик.

– Ничего! Хотела вот только к ручке подойти, – смиренно отвечала Розалька.

Скособочась, Гонтовский запустил два пальца в жилетный карман, нащупывая что-то, но та, как видно, и в самом деле хотела только поклониться прежнему своему барину и, не дожидаясь подношения, еще раз приложила к ручке и пошла себе в детскую.

А Гонтовский направился с победоносным видом в гостиную, напевая басом:
«Трам-та-там! Трам-та-там!»

За столом предметом общего разговора стало возвращение Поланецких в деревню. Ямиш, человек образованный, которого само положение обязывало быть красноречивым и рассудительным, обратился к Поланецкому с такими словами:

– Пусть у вас нет опыта ведения хозяйства, зато у вас капитал и деловые способности, чего как раз очень не хватает большинству наших землевладельцев. Поэтому я надеюсь и верю, что с Кшеменем у вас все пойдет гладко. Возвращение ваше – большая радость для меня не только потому, что я хорошо отношусь к вам и моей любимой подопечной. Оно еще вдобавок подтверждает мою правоту, а именно: мы, старшее поколение, вынуждены покидать землю, но сыновья наши, а не они, так внуки, вновь к ней возвратятся. Это я всегда повторял и повторяю. Возвратятся окрепшие, закаленные в жизненной борьбе, приобретя деловую сметку и умение трудиться. Помните, я говорил, что земля влечет и что она – единственное наше истинное богатство. Вы мне тогда возражали и вот – стали владельцем Кшеменя.

– Это все ради нее и благодаря ей, – сказал Поланецкий, кивая на жену.

– Ради нее и благодаря ей! – повторил Ямиш. – А вы думаете, я не отдаю женщинам должное, не знаю им цену? Им сердце и совесть подсказывают, в чем наша настоящая обязанность, и, любя нас, они внушают это нам. А наша истинная обязанность, равно как и богатство, – земля. – Пан Ямиш, имевший ту общую многим судьям слабость, что любил слушать самого себя, прикрыл глаза и продолжал: – Да! Вот вы вернулись благодаря ей! Это ее заслуга! И дай бог побольше нам таких женщин. Но что ни говорите, земля и вас притягивает, вы тоже вышли из нее недр. У всех у нас плуг должен быть в гербе! И еще я вам что хочу сказать: вернулся не только Станислав Поланецкий, не только Марыня Поланецкая, вернулась семья, в которой отозвался инстинкт многих поколений землевладельцев, всех, кто жили на этой земле и чей прах покоится в ней. – Он встал и поднял бокал. – За здоровье пани Поланецкой! За здоровье семьи Поланецких!..

– За здоровье семьи Поланецких! – подхватил Гонтовский, на которого красноречие всегда оказывало благотворное действие, готовый в эту минуту простить Поланецким даже все муки, какие из-за них перетерпел.

Все с бокалами устремились к Марыне, а она благодарила, растроганная.

– Ах, Стась, как я-счастлива, – шепнула она мужу, который к ней подошел.

– Я всегда говорил: нельзя землю из рук выпускать! – заявил Плавицкий, когда все снова уселись.

– Верно! – подтвердил Гонтовский, подумав про себя: «Кабы только не баламуты эти окаянные!»

А Розалька качала тем временем маленького Стася в детской, напевая свое грустное деревенское:

Горе горькое в хоромах,
Ясек мой родной!..

После обеда гости стали было собираться, но Плавицкий предложил партию в карты, и разъехались только уже на закате. Поланецкие, натешившись сыном, вышли на террасу и спустились оттуда в сад; вечер был тихий и теплый. Все напоминало им далекое воскресенье, проведенное здесь вместе, и воспоминания эти – а было их множество – казались дивным, сладостным сном. Как и тогда, опускался к горизонту огромный шар и деревья недвижно стояли в вечерней тишине с озаренными закатными лучами верхушками; как тогда, раздавался из гнезда за домом клекот аиста и торжественная, умиротворяющая тишина была разлита вокруг. Они заглянули во все уголки, обежали все аллеи, наконец подошли к ограде и долго смотрели на уходящие вдаль поля, на темную полосу леса на горизонте, тихо переговариваясь друг с другом, и от голосов их веяло таким покоем, каким напоен был этот вечер. Отныне их жизнь – это мир, который их окружает. И оба почувствовали, что земля зовет их и привлекает, что завязывается какая-то связь, обязывающая жить здесь, и нище больше: трудиться, служба богу, на ниве с народом вместе.

Когда солнце зашло, они вернулись на веранду и, как в тот далекий вечер, остались посидеть до наступления полной темноты. Только тогда Марыня сидела поодаль, а сейчас притулилась к мужу.

– Нам будет тут хорошо, правда, Стах? – сказала она.

– Дорогая! Любимая моя! – повторял он, обнимая ее и крепко прижимая к сердцу.

Над окутанными туманом ольхами показалась румяная луна, и лягушки, угадав, наверно, что вернулась та девушка, которая так часто гуляла по берегу пруда, хором завели, нарушая вечернюю тишину:

– Рады! Рады! Рады!..

И потекла новая жизнь, не чуждая забот, но несущая больше меда, чем полыни.

Автор вкусил от этого меда – уже в своем воображении.

Примечания

1

важность (ит.).

2

Влука – около 17 га .

3

Кшемень – кремень (пол.).

4

Это поразительно! (фр.)

5

до свидания! (фр.)

6

В конце концов (фр.).

7

Дальше я уже не властен (англ.).

8

Итак (лат.).

9

подлинные (фр.).

10

Хлопот не оберешься! (фр.)

11

пожизненной ренты (фр.).

12

между нами (фр.).

13

Спускающаяся к Висле улица в Варшаве.

14

Часть Варшавы, расположенная на правом берегу Вислы.

15

уметь жить (фр.).

16

Здравствуй, добрый день (фр.).

17

Здесь ну ладно! (фр.)

18

Париж стоит бедни (фр.).

19

принижаящим обстоятельством (лат.).

20

Мадам... даю вам честное слово (фр.).

21

ты, счастливец.. женись! (лат.)

22

маленькая странница-душа (лат.).

23

«Вечный покой...», «Душа ее...» (лат.)

24

Кладбище в Варшаве.

25

благовоспитанный (фр.).

26

вельможа (фр.).

27

Оставь надежду всяк сюда входящий (ит.).

28

человек разумный (лат.).

29

святая святых (лат.).

30

Вот забавная история! (фр.)

31

корректно (фр.).

32

Что бог соединяет, человек не разъединит (лат.).

33

Творец явился (лат.).

34

Нет уж! Нашли дурака! (фр.)

35

приписанным к земле? (лат.)

36

«Л и л л а В е н е д а» – драма польского поэта-романтика Ю. Словацкого (1809 – 1849). П е р е в о д В. Л у г о в с к о г о.

37

Прелестна!.. (фр.)

38

напоказ (фр.).

39

собеседника (фр.).

40

Святой Павел за городскими стенами (ит.).

41

сольдо (ит.).

42

Одно сольдо несчастной! Одно сольдо!.. (ит.)

43

и так далее (лат.).

44

Прыгающий раб (лат.).

45

крупными партиями, оптом (фр.).

46

«Из молитвы» (лат.).

47

Это слабоумный (фр.).

48

пять часов (англ.).

49

дурного вкуса (фр.).

50

Добрый день, графиня! (фр.)

51

Ярмарка-тщеславия!.. (англ.)

52

Королева забавляется! (фр.)

53

Как же, как же, это мой родственник! (фр.)

54

Жемчужина (ит.).

55

Не знаю (фр.).

56

Неприменно (фр.).

57

верх блаженства (лат.).

58

проще простого! (фр.)

59

Даю согласие! (лат.)

60

о мертвых ничего, либо хорошо (лат.).

61

Имеются в виду великие польские поэты-романтики: Зигмунт Красинский (1812 – 1859), Адам Мицкевич (1798 – 1855) и Юлиуш Словацкий (1809 – 1849).

62

Лоло явился мне! (фр.)

63

Потерпите! (фр.)

64

великую новость! (фр.)

65

после свершившегося (лат.).

66

безотчетно... (фр.)

67

Ну, дорогая, будьте благоразумны (фр.).

68

что-то подозрительное (фр.).

69

Парижская жизнь! (фр.)

70 старческое слабоумие (лат.).

71 итога заблуждений (лат.).

72 непоправимо! (фр.)

73 грязные (итал.).

74 в просторечии (лат.).

75 высказывание (лат.).